3р.60к.

ЛАО ШЭ

мастера современной прозы

ЛАО ШЭ

МАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ

МОСКВА «РАДУГА»
1982

МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ ● КИТАЙ

Редакционная коллегия:

Андреев Л. Г., Барабаш Ю. Я., Засурский Я. Н., Затонский Д. В., Клышко А. А., Мамонтов С. П., Марков Д. Ф., Палиевский П. В., Челышев Е. П.

ЛАО ШЭ

РИКША

РОМАН

ЗАПИСКИ О КОШАЧЬЕМ ГОРОДЕ

РОМАН

ПОД ПУРПУРНЫМИ СТЯГАМИ

РОМАН

РАССКАЗЫ

СТАРЫЙ ВОЛ, РАЗБИТАЯ ПОВОЗКА

ЭССЕ

ПЕРЕВОД С КИТАЙСКОГО

Составитель и редактор А. А. Файнгар
Предисловие Н. Т. Федоренко

Лао Шэ. Избранное. Сборник. Пер. с кит.— М.: Радуга, 1982.— 512 с.— (Мастера современной прозы).

Лао Шэ — один из крупнейших китайских прозаиков XX века, автор многочисленных романов, рассказов и пьес, вошедших в золотой фонд современной китайской литературы.

В сборник включен роман «Рикша», наполненный глубоким гуманистическим содержанием, сатирический роман «Записки о Кошачьем городе», фрагменты незаконченного романа «Под пурпурными стягами» — о Пекине времен маньчжурских богдыханов, избранные рассказы, отрывки из биографических записок «Старый вол, разбитая повозка».

© Составление, предисловие и перевод на русский язык издательство «Прогресс» 1981

Л $\frac{70304\text{-}006}{030(01)\text{-}82}$ без объявления 4703000000

ЛАО ШЭ И ЕГО ТВОРЧЕСТВО

Лао Шэ (литературный псевдоним, настоящее имя — Шу Шэюй) — выдающийся китайский писатель. Родился Лао Шэ в Пекине, 4 февраля 1898 года, в семье бедняка. Сам факт рождения Лао Шэ в бедной семье имел немалое значение в его дальнейшей творческой жизни. Писатель неизменно изображает в своих произведениях людей труда, неимущих и обездоленных. Художественные произведения Лао Шэ — его романы, рассказы и пьесы — исполнены глубокого сочувствия к горькой судьбе бедняков, к тяжкой жизни униженных и оскорбленных, проникнуты подлинным гуманизмом, человечностью.

Удивительный знаток народного разговорного языка, Лао Шэ создал произведения, которые завоевали широкое признание. Примечательно, что множество сюжетов Лао Шэ подхвачено странствующими сказителями-шошуды, вошло в народную память как произведения фольклора. В народе бытует немало острых словечек, пришедших в разговорный язык из книг Лао Шэ: «При нашем строе большая рыба ест маленьких, маленькая — креветок», «Он глуп, как верблюд», «Своей глупостью он прокладывает путь умным», «Он, как рыбак, старается поймать попутный ветер». Такое бывает только с произведениями большого мастера слова.

Книги Лао Шэ хорошо знакомы советскому читателю. Еще в 1944 году в сборник китайских новелл, выпущенный Гослитиздатом, был включен один из патриотических рассказов писателя, написанных в разгар войны

против японских агрессоров В последующие годы на русском языке были опубликованы роман «Рикша», несколько сборников рассказов, пьесы, двухтомник избранных произведений. Однако богатейшее творческое наследие Лао Шэ продолжает привлекать переводчиков и исследователей Жизнь заставляет по-новому смотреть на произведения прошлых лет, в свое время обойденные вниманием или неправильно понятые. Такова судьба сатирического романа «Записки о Кошачьем городе» (1932—1933), переведенного у нас в 60-е годы. Маоистская критика вынудила писателя отречься от этой книги (заметим, кстати, что в КНР произведения писателя, созданные в 20—40-е годы, за исключением «Рикши» и нескольких рассказов, не переиздавались), но в наши дни она зазвучала с новой, невиданной силой Писатель-сатирик оказался писателем-пророком.

В настоящее издание включен и незавершенный роман Лао Шэ «Под пурпурными стягами», опубликованный в КНР в 1979 году. Это произведение заставляет нас иначе оценить содержание последних лет жизни писателя и прийти к выводу, что он погиб в период, быть может, наивысшего расцвета своих творческих сил и что его молчание объяснялось недвусмысленными политическими причинами

Долгое время наши переводчики проходили мимо книги эссе «Старый вол, разбитая повозка» (1940). Эта творческая исповедь, вопреки традиции созданная еще молодым писателем, содержит бесценный биографический материал и множество интереснейших мыслей о путях становления выдающегося китайского прозаика В свете этой публикации автору предисловия нет нужды подробно излагать творческий путь Лао Шэ (он сделал это сам со свойственным ему остроумием), к тому же у нас писалось об этом немало во вступительных статьях к его книгам и в монографиях.

Я вспоминаю сегодня свои многочисленные встречи с писателем, наши беседы о литературе. Мне, молодому китанисту, посчастливилось познакомиться с Лао Шэ в Чунцине военных лет, куда он был вынужден переехать из оккупированного Пекина

Лао Шэ — уроженец Пекина, и, кажется, нет темы, о которой он мог бы говорить с таким увлечением, как о Пекине. Его чудесный баритон, таивший неистощимое богатство интонаций, никогда не звучал так страстно, как в те моменты, когда писатель говорил о Пекине.

— Я верю,— делился он однажды,— что к этому древнему городу, может быть самому древнему на земле, еще вернется юность... Мы с вами будем свидетелями этого ..

Пекину посвящены наиболее сильные в художественном отношении книги писателя. Как хорошо знакомы улицы и переулки этого города Сянцзы, герою романа «Рикша» (1936—1937), исколесившему их вдоль и поперек со своей коляской! Именно здесь, в Пекине, он бросил вызов безжалостному, бездушному обществу. Этот выходец из городских низов, которому еще только предстоит стать пролетарием и обрести чувство классовой солидарности, попытался своим трудолюбием, полагаясь исключительно на силу

своих мускулов, вырваться из нужды капиталистического рабства. Единоборство «маленького человека» с противостоящей ему безликой силой кончается трагическим поражением. С потрясающей силой рисует Лао Шэ крах индивидуалистических иллюзий Сянцзы, психологически тонко фиксирует губительное воздействие безостановочной погони за лишним медяком на его чистое, доброе сердце и душу. Критика не раз упрекала Лао Шэ за тот тупик, в который он привел своего героя. Оглядываясь теперь на творческий путь писателя, ставший уже историей, можно отчетливо видеть несправедливость иных критических выпадов, крайним выражением которых явилась травля, доведшая его до самоубийства Нам кажется, что есть книги, положительный смысл которых заключен в силе отрицания. К таким книгам, несомненно, относится роман Лао Шэ о «верблюде-счастливчике». Общество, превращающее человека в тягловую скотину, растаптывающее его духовно,— такое общество безнравственно, оно не имеет права на существование. Убежден, что именно в этом и состояло послание Лао Шэ своим современникам .

В годы антияпонской войны Лао Шэ задумал трилогию, также посвященную Пекину,— «Четыре поколения под одной крышей». Она осталась незавершенной (третий роман так и не был издан), хотя две первые части— романы «Страх» и «Нужда» — позволяют судить о монументальном замысле писателя. В эти годы Лао Шэ возглавляет Всекитайскую ассоциацию писателей по отпору агрессору. Писатель-патриот, он горячо ратовал за изображение войны в литературе, принимал активнейшее участие в литературных дискуссиях, подавал другим писателям пример собственным творчеством. Действие трилогии происходит в оккупированном японскими милитаристами Пекине.

Творческая мысль художника снова и снова возвращается к родному городу. Наши читатели впервые познакомятся в этой книге с незавершенным произведением Лао Шэ — романом «Под пурпурными стягами». Это уже другой Пекин, столица маньчжурских богдыханов конца XIX — начала XX столетия, частично знакомый нам по пьесам Лао Шэ «Чайная» и «Ихэтуань». Думаю, что не ошибусь, если скажу, что этому роману наверняка суждено было стать одним из наиболее заметных явлений современной китайской прозы. Перо зрелого мастера воссоздало далеко ушедшую от нас эпоху, нравы «знаменных» маньчжуров, народа, некогда силой оружия завоевавшего Китай и полностью растворившегося в его человеческом море уже в начале нашего века. Сам по происхождению маньчжур, Лао Шэ схватывает и передает потомкам последние еще сохранившиеся в дни его детства национальные черты маньчжуров, особенности их быта, а также паразитизм и духовный паралич маньчжурской верхушки, сделавшие Китай легкой добычей империалистических хищников. Сколько ядовитого юмора в штрихах, характеризующих маньчжурского аристократа и заокеанского миссионера! Недаром Лао Шэ начинал свою творческую жизнь как писатель-юморист, заставивший целое поколение китайских читателей смеяться

над всем косным, отсталым, нелепым, что в таком изобилии присутствовало в Китае на рубеже исторического времени.

...В ранние сумерки, когда спадает жара и кажется, что далекие горы смыкаются с дымным небом, мы возвращались с Лао Шэ полями, лежащими вокруг сычуаньской деревни Лайцзяцяо. Пахло пылью, разопревшими после полуденной жары травами, в воздухе стоял сладковато-горький запах ромашки, которая выбелила кюветы и канавы.

Волнение, вызванное воспоминаниями Лао Шэ о Пекине, еще не улеглось, и рассказ, который мне предстояло услышать, большой рассказ о судьбе художника, будто рожден этим волнением .

Лао Шэ говорит, и я нахожу в его рассказе ответы на многие из вопросов, что волновали меня, когда я думал о его творчестве

— Для меня,— говорит Лао Шэ,— хороший рассказ дороже иного романа, хотя я писал и романы Жанр рассказа привлекает меня как самый экономный и эмоциональный Нарушение этих принципов неминуемо ведет к неудаче. Произведение гибнет, жанр перестает существовать. Мой писательский архив потерян в Пекине — пропала коллекция картин и фарфора, собранию которых я отдал немало труда Однако, если бы мой архив остался цел, то немногое из того, что мною было написано прежде, я решился бы опубликовать. Я не позволял себе печатать слишком плохих вещей, но, когда вещь написана, я смотрел на нее, как на дочь, выданную замуж, или воду, которая утекла под мостом Может быть, поэтому я плохо помню, где, когда и при каких обстоятельствах были написаны мои произведения. Из написанного мной я оставлял у себя только рукописи рассказов, все остальное куда-то исчезало.

Эти слова были вступлением к тому, что Лао Шэ намеревался поведать мне сегодня. Может быть, поэтому, прежде чем продолжить рассказ, он долго шел молча, словно стараясь сосредоточиться, а вместе с тем найти настроение, тот тон, которые помогут ему раскрыть события своей жизни.

— Моя творческая биография,— заговорил он,— началась в 1924 году. До того, как я написал рассказ «Братья», у меня было опубликовано четыре романа. «Серп луны» — попытка написать прозу в стихах. «Рикша» — простой рассказ о событиях Здесь трудно говорить о каком-то мастерстве, поскольку я прибег к прямому изложению фактов. Как видите, у меня было два пути: «Серп луны» и «Рикша» символизируют каждый из них. Я отверг первый путь и пошел вторым. Вот почему, если не считать «Серпа луны», все мои рассказы лишены формальной изощренности. И еще одно обстоятельство, которое я имел в виду: я всегда стремился умерить элемент юмора в моих рассказах. Однако мне это не всегда удавалось Было время, когда хорошую остроту я ставил превыше всего, сбивался на злословие, а нередко и брань Может быть, это происходило от недостаточной внутренней зрелости. С годами и я стал понимать, что прелесть истинной литературы отнюдь не в игре слов, что смех может стать средством борьбы за высокие человеческие идеалы, хотя, справедливости ради, отмечу, что мои рассказы и преж-

де были посвящены жизни народа, его испытаниям, невзгодам, лишениям. Может быть, потому, что я сам происхожу из бедной семьи, у меня всегда было глубокое сочувствие к людям нужды. В силу своих профессиональных обязанностей мне приходилось вращаться в так называемой интеллигентной среде, но моими друзьями отнюдь не всегда являются врачи и ученые Сказители-шошуды, странники, бродячие актеры, кули и рикши — тоже мои друзья Мое общение с этими людьми, с людьми лишений, состоит отнюдь не в том, что я сижу с ними в чайной и украдкой наблюдаю за их действиями и речами, чтобы потом перенести эти наблюдения в свою записную книжку. Нет, я этим не занимаюсь. Напротив, когда я с ними, я совершенно не думаю о том, что мне нужно наблюдать за ними.

Иногда они мне помогают, иногда помогаю им я. Такие отношения дали мне возможность понять не только условия их жизни, но их душу. А это очень важно, если учесть, что мы ищем типичное в характере людей. В моих произведениях описаны люди и события, взятые из жизни и преломленные в моем писательском сознании Много людей, много событий...

На поля упал туман, пока еще редкий, прозрачный. Лао Шэ поправил очки, поднял голову, стараясь охватить ширь полей. Он накинул на плечи пиджак, который до сих пор нес в руках, пошел медленнее. Сумерки сгущались, и я видел, как тускло поблескивали стекла его очков.

— Мне всегда казалось, что первые мои вещи явились плодом творческого воодушевления Его источником были антифеодальные и антиимпериалистические революционные события 4 мая 1919 года Я писал и до 4 мая, но тогда я был слишком молод и не шел дальше подражания старым мастерам. «Движение 4-го мая», как известно, возвысило литературу, написанную на живом языке народа, языке, на котором он думает и говорит. Для всех, кто хотел освободить наше слово от академической скованности, раскрепостить его, не было большей радости на свете, чем это событие, и я неудержимо возликовал. Этот восторг был так велик, что на первых порах я явно переоценил свои силы. Если кто-нибудь и полагал в то время, что достаточно более или менее бойко владеть пером, чтобы стать писателем, то это, конечно, был я. Правда, справедливость требует отметить, что я начал писать свои рассказы без намерения публиковать их. Мне доставляло удовольствие писать на языке, который понятен и рикше, и ученому-астроному, вводить новые словечки, рожденные жизнью, или пользоваться знаками препинания, которых ранее в литературном языке не было. Теперь меня не мог увлечь ни один старый маститый писатель, которому я прежде подражал. Эта радость языковой раскованности заставила меня и тысячи других молодых людей истратить бог весть сколько крови, а заодно и чернил. Мы не должны забывать, что «Движение 4-го мая» было антиимпериалистическим и антифеодальным по своему характеру. Именно в то время до нас дошли вести о великой революции в России, о марксистской науке. Все это явилось для китайской интеллигенции и, пожалуй, для всего народа великим откровением. Понятие «классовая борьба» впервые открылось нам имен-

по в те дни. И разве все это не тронуло наши сердца, сердца детей нужды, которым все невзгоды мира до сих пор объяснялись волей судьбы...

Мне всегда казалось, что произведения Лао Шэ если и носили социальный характер, то исключительно потому, что он умел при всех обстоятельствах видеть правду жизни, а правда жизни всегда социальна. Так казалось мне прежде. А теперь я слушал писателя, и иное мнение складывалось у меня о путях формирования его личности, о становлении его творческой судьбы Оказывается, многое из того, что дал писатель своему народу, было предопределено и крепнущей мыслью писателя, и его душевным возмужанием, и зрелостью его взглядов Именно об этом свидетельствовали слова писателя, и те, что я уже услышал, и особенно те, что предстояло мне услышать в этот вечер, осененный звездным сиянием синеватого сычуаньского неба: на небе давно зажглись звезды, тьма укрыла поле, и от дальних горизонтов, отмеченных мглистой полоской гор, до восточной окраины неба, лежащей где-то далеко за деревней Лайцзяцяо, протянулась золотая тропа Млечного Пути Но неяркое сияние звездного неба не могло победить густой вечерней тьмы, и я чувствовал человека, идущего рядом со мною, по легкому прикосновению плеча и звучанию голоса.

— У каждого писателя был свой путь к революции,— говорил Лао Шэ.— У меня было немного произведений, посвященных антиимпериалистической, антифеодальной тематике. В ту пору я недостаточно усвоил революционную теорию, не совсем ясно понимал практические средства, с помощью которых революции осуществляются. В сущности, я опирался на небольшой опыт, на свои наблюдения общественной жизни, на накопившееся в моем сердце негодование против людей и правительств, угнетавших народы. Это нашло свое выражение в моих романах «Философия старого Чжана» и «Отец и сын Ма». Когда это было? Вскоре после того, как завершилась революция, начатая 4 мая 1919 года, мы сделали первые шаги от «литературной революции» к революционной литературе. В стране обозначился подъем пролетарской литературы. Споры продолжались, у меня была своя точка зрения. Я считал, что взятое направление было верным, однако многие произведения наших пролетарских писателей в тот момент не могли меня удовлетворить ни по содержанию, ни по форме Тем не менее вскоре я начал писать такие свои рассказы, как «Братья». Я ссылаюсь на этот рассказ не потому, что он лучше или хуже других, но лишь с целью показать влияние на мое творчество пролетарской революционной литературы. Теперь этот рассказ кажется мне несовершенным, но тогда он свидетельствовал о сдвигах в моем сознании. В первом варианте повести «Серп луны», который сгорел при пожаре шанхайского издательства, одним из центральных образов был отец моей героини — человек передовых взглядов, коммунист. Я показал, что моя героиня выросла в лишениях, показал ее противоречивый характер, но я не решился показать, какими путями она придет в революцию. Почему? Скажу откровенно: мое понимание революции было книжным, а я не решался писать о практических делах революции на основе того, что

вычитал в книгах. Сказывалось и влияние европейской буржуазной литературы. В итоге моим произведениям не хватало активности, созидательного действия. Как говорят у нас, хотелось отведать супа, и был страх обжечься. Так обозначался мой творческий путь. Я понимаю, что нет для человека задачи более сложной, чем говорить о своем труде. Как ни хорошо зеркало, но человек, желающий рассмотреть себя в нем, многого не видит...

После этой беседы я не видел Лао Шэ много лет. Из газет я знал, что вскоре после освобождения писатель вернулся в свой родной Пекин, создал новую пьесу, которая была принята несколькими театрами. Пьеса посвящена судьбе китайской актрисы, которая в новом китайском обществе обретает человеческое достоинство и подлинную радость творчества.

Пьеса была хорошо принята китайской прессой, отметившей, что это первое произведение Лао Шэ, написанное им после освобождения, свидетельствует о том, что писатель нашел свое место в новом Китае. Китайский зритель с благодарностью встретил пьесу Лао Шэ — она повсюду имела успех.

Как это часто бывает с людьми искусства, успех «Фан Чжэнчжу» вдохновил Лао Шэ на создание новой пьесы. Это была «Лунсюйгоу». Немногие произведения новой китайской литературы получали столь единодушную восторженную оценку. Критик Чжоу Ян отозвался тогда на новую пьесу Лао Шэ статьей, названной весьма характерно: «Чему мы должны учиться у автора «Лунсюйгоу» «Лао Шэ,— писал критик,— почерпнул в революции новые творческие силы, очень многому научился и, что весьма важно, продолжает учиться. И мы хотим пожелать всем работникам литературы и искусства идти по пути, избранному Лао Шэ».

Что же собой представляла эта пьеса? Приехав в Пекин, я едва ли не в первый же свободный вечер побывал в столичном художественном театре на спектакле «Лунсюйгоу».

Я смотрел «Лунсюйгоу», и в памяти возникали сычуаньская деревенька Лайцзяцяо и Лао Шэ, мечтавший о возвращении в свой родной Пекин. Да, пьеса эта была не только выражением патриотических чувств Лао Шэ, но и бесценным даром писателя родному городу. Ничто так не выражало радости писателя, вернувшегося в отчий дом, как эта пьеса, хотя начиналась она с событий печальных, очень печальных.

Итак, занавес поднялся, и взору зрителей открылся небольшой дворик в рабочем районе Пекина на берегу зловонной канавы Лунсюй, что значит «Драконов ус» Во двор выходят три дома, крохотных, будто выросших из самой земли. Через двор протянута веревка, на ней сушатся лохмотья. В каждом домике живет семья со своей особенной судьбой. В одном — рикши, в другом — актера, лишившегося рассудка, в третьем — вдовы, суеверной и нищей Будто три новеллы, большим мастером которых всегда был Лао Шэ, вплетены в пьесу рассказы об этих семьях. Каждая из них была

несчастна по-своему, но ко всем семьям счастье пришло одним путем — тем самым, которым пришла в Китай свобода. И вместе с судьбами людей меняется и судьба города, в котором они живут, и прежде всего судьба пекинского предместья, известного под именем канавы «Драконов ус».

В этой пьесе Лао Шэ словно слились воедино многие из качеств, свойственных писателю: и знание жизни простых людей, и знание быта пекинских предместий, и владение чудесным пекинским говором. В сочетании с умением строить напряженный сюжет и лепить характеры получилось произведение увлекательное, правдивое и впечатляющее. Все это бесспорно, и все-таки, как мне казалось, многие из достоинств этой пьесы предопределены качествами Лао Шэ — новеллиста, владеющего лаконичным и выразительным языком, мастера человеческих характеров.

Итак, три действия пьесы, по сути дела, это три новеллы. В центре каждого действия — судьба семьи. Но в произведении есть человек, который участвует в судьбах всех трех семей. Всем своим существом он олицетворяет идею пьесы, ее ведущую мысль, ее руководящий принцип. В сущности, человек этот скрепляет три новеллы воедино и делает их пьесой.

В маленьком дворике на канаве Лунсюй живет каменщик Чжао. Он много ездил по стране, много видел, он лучше своих соседей знает людей, жизнь. Человек незаурядного ума и опыта, он всегда рядом со своими соседями, во всех испытаниях. Лао Шэ с симпатией относится к своему герою и очень хочет, чтобы его полюбил зритель. И зритель высоко оценил чуткое и мужественное сердце Чжао, его цельную натуру. Вот в дом несчастного Чэня вломился бандит Фын Гоуцзы. Сникнув, беспомощно опустив руки, отступает жена Чэня. Бандит остается лицом к лицу с Чэнем. Словно окаменев, стоит бедняга Чэнь, не в силах уйти и не в силах поднять руку на бандита. И в эту минуту в дверях появляется старик Чжао. В его руках нож. Он идет на бандита, непоколебимый в своей решимости. Бандит медленно пятится, обращается в бегство

Зал неистово аплодирует. Рукоплескания возникают с новой силой, когда Чжао кричит вслед бандиту: «Если бы мы каждый раз при появлении вымогателя брались за нож, то все деспоты давно бы уже сбежали, поджавши хвост.. »

Логично, что именно Чжао становится в пьесе страстным поборником реконструкции Лунсюйгоу. Конец канавы Лунсюй для каждого из них означал конец старой и начало жизни новой...

Не без волнения смотрел я эту пьесу, столь человечную, правдивую. Сила ее была в характерах, взятых из самой жизни. Конечно, как во всякой хорошей пьесе, сюжет был разработан очень тщательно, но главное достоинство пьесы было все-таки в разработке характеров. И спектакль получился яркий, впечатляющий, хотя постановочно он был небогат. Впрочем, постановочной роскоши не требовалось по самой пьесе, в которой события происходили на фоне трех полуразрушенных домов пекинского предместья.

Я встретился с Лао Шэ едва ли не на следующий день после спектакля. Мы вспомнили Сычуань, деревушку Ляйцзяцяо, гостеприимное жилище Го Можо. Затем заговорили о пьесе. Писатель сказал, что он сознательно обратился к драматическим формам. Он считал, что пьеса благодаря свойственной ей эмоциональности и способности воздействовать на зрителей, независимо от того, приобщены они к грамоте или нет, предоставляет автору такие возможности, каких не дают ему другие жанры. С помощью пьесы, заметил Лао Шэ, он имеет возможность разговаривать с такой аудиторией, какую он вряд ли бы имел, если бы писал только романы и рассказы Тем большее значение это обстоятельство приобретает в Китае, где театр всегда был необыкновенно популярен.

По мнению Лао Шэ, как ни значительны были проблемы, поставленные в «Фан Чжэнчжу», пьеса рассказывала о жизни актеров, то есть жизни среды в такой же мере своеобычной, в какой и кастовой. Свою новую пьесу Лао Шэ хотелось создать о жизни рабочих, крестьян или солдат Но писатель не решался браться за такую пьесу, полагая, что он плохо знает жизнь этих слоев населения. Начав писать «Лунсюйгоу», Лао Шэ, по его признанию, решился на шаг чуть ли не самый рискованный в жизни Он рассказывает, что непосредственным толчком к созданию пьесы явилось событие, которое действительно имело место. Весной 1950 года правительство решило реконструировать Лунсюйгоу и в течение нескольких месяцев претворило это решение в жизнь На писателя этот факт произвел большое впечатление, и в его мыслях возник тот маленький дворик в пекинском предместье на берегу канавы, в котором произошли события, рассказанные в пьесе.

— А знаете, как возник мой старик Чжао? — взглянув мне в глаза, спросил Лао Шэ — Нет? Вот послушайте: когда замысел пьесы почти отлился, я задумался над образом человека, наделенного качествами настоящего руководителя, человека, преданного новому строю, сознательного, полного решимости работать на благо народа Ни рикша, ни торговец мелким товаром не мог быть таким человеком — мой герой должен быть настоящим рабочим. Я решил вывести в пьесе каменщика Он много ездил по стране, много видел... Однажды меня познакомили на Лунсюйгоу с одним из старожилов этих мест, который оказался членом районного комитета по охране порядка. Но трудность заключалась в том, что он был мелким торговцем-лотошником. Однако, поразмыслив, я сделал его своим героем, правда, одни его приметы — общественная работа по охране порядка — я отдал старику Чжао, а другие — лоток с папиросами — своей юной героине Нянцзы

Наша беседа легко перекинулась на какие-то смежные темы, и, отвечая на все новые мои вопросы, Лао Шэ как бы вводил меня в свою творческую лабораторию, раскрывая дневники, рукописи, роясь в книгах

— Есть писатели,— говорил Лао Шэ,— которые наблюдают человека специально, чтобы потом сделать его героем произведения. То, что они делают, является своего рода портретом с натуры Я не пользуюсь этим средством, а наблюдаю жизнь в более широком смысле этого слова. Конечно,

прообразами моих героев являются люди, которых я когда-то наблюдал в жизни. Но почти никогда я не переносил человека на страницы своего произведения таким, каким я его видел. Прототип служит не более чем своеобразным семенем. Моя задача заключается в том, чтобы заставить это семя прорасти и дать цветы и злаки. Что же касается фактов, то и они не переносятся в произведения в готовом виде Моя работа над ними обычно сводится к тому, чтобы простые факты обогатить, а чрезмерно сложные раскрыть и объяснить, но не опошлить их Важна, так сказать, психология факта Мой опыт свидетельствует. чем лучше изучены факты, чем больше накоплено материала, тем легче складывается план, тем сподручнее пишется. Поэтому изучение фактов, длительное и тщательное накопление материала — обязательное условие каждой большой работы. Для меня эта работа так же увлекательна, как и работа за письменным столом, когда произведение пишется.

— Нет ничего более интересного в нашей нынешней жизни для писателя,— продолжал Лао Шэ,— чем наш новый человек, рождение новых отношений между людьми. Эти новые отношения все органичнее, все глубже входят в наш быт По-иному сегодня относятся друг к другу учитель и ученик, шофер и пассажир, продавец и покупатель. Главное в тех переменах, которые произошли во взаимоотношениях людей, вызвано изменениями, возникшими в отношениях личности и государства. Прежде благосостояние человека составлялось из того, какие выгоды он извлечет из своих отношений с государством, с людьми. У государства и народа были разные интересы. Государство могло богатеть, а народ прозябал в нужде. Конечно, я не склонен рисовать нынешнее положение дел в розовом свете. В своей новой пьесе я хочу показать, что мы видим трудности, но видим и то хорошее, что произошло в стране в эти годы, что произошло в самой натуре народа. А эти перемены радостны. Изменился характер народа, если понятие «характер» можно применить к народу. Ум нашего народа все больше становится умом государственным. Заинтересованность, кровная заинтересованность в судьбах отечества, в том, что страна делает сегодня и будет делать завтра, становится органической чертой характера народа.

В ту нашу встречу, которая так символически совпала с пятилетием республики, писатель сделал попытку воссоздать в памяти эти пять лет, осмыслить события, происшедшие в эти годы в жизни страны и в жизни самого писателя. Для меня эта беседа была интересна тем, что она как бы завершала цикл моих бесед с Лао Шэ и многое дала мне для понимания натуры писателя, а заодно и тех процессов, которые происходили в сознании многих китайских интеллигентов. Символично было и то, что передо мной сидел не просто писатель, но еще и государственный деятель, активный строитель нового общества, депутат Собрания народных представителей, редактор крупного столичного журнала, педагог.

— Ничто так не волнует меня,— сказал мой собеседник,— как внимание, с которым относится к моей работе народ. Во времена гоминьдана ни-

кому и в голову не приходило поинтересоваться, работает Лао Шэ или нет, жив Лао Шэ или он уже скончался. Власти были озабочены другим: как бы рукопись Лао Шэ не попала в печать прежде, чем клеймо цензорской кисти упадет на нее. Власти интересовались одним: каким образом предупредить выход книги в свет, а писателя, создавшего эту книгу, упечь за решетку. Теперь у писателя широкий простор для творчества. И государство, и общественность единодушны в своем желании помочь писателю осуществить его замысел, каким бы широким и смелым он ни был.

Я преподаю в литературной школе, созданной для пекинских рабочих. Среди них люди разных специальностей: металлурги и текстильщики, шоферы и железнодорожники Среди них люди разных профессий, но больше всего строителей, тех, чьим трудом строится сегодня новый Пекин Заветное желание каждого из них — стать писателем. Недавно возник вопрос: что нужно, чтобы стать писателем? Одни сказали — овладеть мастерством; постичь опыт старой литературы — сказали вторые Не только овладеть мастерством и изучить опыт старой литературы, заметили третьи, но еще и как можно полнее познать жизнь Я мог только немногое прибавить к тому, что сказали третьи: только знание жизни, проникновение в ее недра способно обогатить писателя. Эту истину, как нечто самое дорогое, что дала мне моя долголетняя работа в литературе, я хотел бы передать моим молодым друзьям, вступающим в жизнь.

Он умолк и немного позже добавил:

— Когда-то я мечтал о возвращении в Пекин. Я думал о древнем городе, которому предстоит пережить еще раз пору своей юности И вот эта юность пришла Я вижу ее не только в том, что древний город оделся лесами, как одевается ими только новый город, но и в том, что он преображается руками молодых хозяев нашей жизни, работящими руками вот таких же чудесных юношей и девушек, что вечерами собираются в нашей литературной школе .

Остается добавить немногое: Лао Шэ говорил это в 1954 году, за несколько лет до того, как маоистская верхушка предала истинные интересы китайского народа, разорвала связи с международным коммунистическим движением и возвела антисоветизм в ранг государственной политики.

Лао Шэ был искренним другом советского народа «Выражение· «Советский Союз сегодня — это наше завтра»,— писал Лао Шэ,— стало одним из самых любимых у китайского народа Оно точно отражает его волю, решимость идти к социализму по примеру Советского Союза Наши взоры устремлены на Советскую страну еще со времени Великой Октябрьской социалистической революции Свет Октября озарил наши сердца» [1].

С неизменным интересом Лао Шэ относился к советской литературе, высоко оценивая ее идейность и художественные достижения.

---

[1] Лао Шэ. Это наше завтра.— «Литературная газета», 7 ноября 1954 г.

Вернувшись из Москвы, где он был гостем III съезда советских писателей, Лао Шэ писал. «Я испытывал большое волнение, слушая доклады и речи на съезде. Я думал: трудитесь так же и вы, писатели Китая! Лишь в том случае, если мы, прилагая все силы, будем идти вперед, мы сможем принять на наши плечи задачу столь же благородную, как и та, что легла сейчас на плечи писателей СССР. Мы всегда считали советских писателей нашими учителями и друзьями и сегодня должны учиться у них еще лучше и напряженнее — ведь сегодняшний день, который рисуют советские писатели, станет счастливым завтрашним днем всего человечества» [1].

Глубоко самобытное, гуманистическое творчество Лао-Шэ, одного из ярких прозаиков Китая XX века, давно уже перешагнуло национальные рубежи и завоевало международное признание. Роль писателя в создании современного китайского романа и рассказа необычайно велика — он принадлежит поколению художников (Мао Дунь, Е Шэнтао, Ба Цзинь и др), которые вслед за Лу Синем прокладывали в китайской литературе новые пути, осваивали подлинно жизненный материал, демократические литературные формы. В романах, повестях, рассказах и пьесах Лао Шэ вставала целая историческая эпоха ломки старого и возникновения нового уклада жизни многомиллионной страны.

В высшей степени прискорбно, что талантливейший художник китайского народа Лао Шэ трагически погиб от рук хунвэйбинов в 1966 году во время пресловутой «культурной революции», которая обернулась для Китая национальной катастрофой. Именно во время маоистского угара хунвэйбиновщины остервенело выкорчевывалось наследие прошлого, великие ценности классики, создававшиеся китайским народом на протяжении веков; жестокая расправа велась и с современными художниками слова, их прогрессивным творчеством, их активной жизненной позицией, утверждавшимися ими высокими социалистическими идеалами. Это была бесславная и безнадежная попытка убить духовную жизнь, герметически изолировать Китай от внешнего мира.

Но Лао Шэ, как и другие его коллеги по перу, обессмертил себя своим художественным творчеством, снискав великую признательность неисчислимых читателей на своей родине и далеко за ее пределами.

Н. Т. Федоренко

---

[1] «Жэньминь жибао», 13 июня 1959 г.

РИКША

РОМАН

Перевод Е. Молчановой

Глава первая

Мне хочется познакомить вас не с Ло́то, а с Сянцзы, потому что Лото — всего лишь прозвище этого человека.

Итак, расскажу вам о Сянцзы, а заодно объясню, почему его стали называть Лото — Верблюдом.

В Бэйпине можно встретить самых разных рикш.

Лучшие из них, молодые и быстроногие, всегда стараются взять напрокат самую красивую коляску, и обязательно на целый день. Но работают они, когда им вздумается. На стоянках или у какого-нибудь подъезда часами дожидаются пассажира повыгоднее, которому непременно нужен хороший бегун. Подвернется такой клиент — сразу отвалит пару юаней [1]. Но бывает, что эти рикши зря ждут целый день и потом не знают, чем заплатить хозяину за коляску. Однако неудачи их не тревожат. Все они мечтают устроиться на постоянное место, а главное — обзавестись собственной коляской. Со своей коляской можно работать и по месячному договору, и возить случайных пассажиров — как душа пожелает. Была бы только коляска!

У рикши постарше иные повадки. Здоровье не позволяет бегать так же проворно, как прежде, а кроме того, все они обременены

[1] Юань (доллар) — основная денежная единица в Китае.— *Здесь и далее примечания переводчиков.*

семьями и не могут рисковать целым днем работы, рассчитывая на одного выгодного клиента. Одеваются они сравнительно прилично, коляски у них почти новые, поэтому такие рикши и цену запрашивают, и даже торгуются с известным достоинством. Они возят пассажиров иногда с утра, иногда со второй половины дня, но в таком случае обычно задерживаются до глубокой ночи Чтобы работать вечером или ночью, да еще в непогоду, конечно, нужна сноровка и осторожность, но зато и заработок больше.

Совсем молоденьким рикшам, которым не исполнилось и двадцати, либо старикам, которым уже далеко за сорок, не так-то легко войти в одну из этих двух категорий. У них ветхие, ободранные коляски, появляться на улицах с наступлением темноты они не рискуют и выезжают ранним утром в надежде до обеда заработать на уплату за коляску и на еду. Бегают они медленно, поэтому работать им приходится больше, а запрашивать меньше. Они возят овощи, фрукты, арбузы, дыни и всякую всячину. Платят за это немного, зато не требуют скорости.

Рикши-юнцы обычно впрягаются в коляску лет с одиннадцати и лишь в редких случаях становятся первоклассными бегунами, так как обычно надрываются еще в детстве. Многие из них так и останутся на всю жизнь рикшами, но им не удастся выдвинуться даже среди себе подобных.

А те, кому перевалило за сорок, зачастую работают с юных лет. Измученные непосильным трудом, они довольствуются последним местом среди своих собратьев и мало-помалу свыкаются с мыслью, что рано или поздно им придется умереть на мостовой. Но они так искусно возят коляску, так умело договариваются о цене, так хорошо знают маршруты, что невольно вспоминается их былая слава, да и сами они помнят о ней и смотрят поэтому на рикш-новичков свысока. Но страх перед будущим сильнее этих воспоминаний, и частенько, вытирая пот, они горько вздыхают, думая о том, что их ждет.

Но даже их жизнь не так горька, как жизнь тех, кого лишь призрак голодной смерти заставил впрячься в коляску. Среди них можно встретить и бывших полицейских, и учителей, и разорившихся мелких торговцев, и безработных мастеровых. Доведенные до отчаяния, с болью в сердце вступили они на эту дорогу — дорогу смерти. Жизнь доконала их, и теперь они влачат жалкое существование, поливая своим потом мостовые. У них нет ни сил, ни опыта, ни друзей — рикши и те относятся к ним с пренебрежением. Этим беднягам всегда достаются самые потрепанные коляски. Они то и дело подкачивают камеры, а когда везут пассажира — заранее молят его о снисхождении. Пятнадцать медяков в день — для них уже приличный заработок.

Еще одна, особая категория рикш выделяется пристрастием к постоянным маршрутам. Тем, кто живет в Сиюане или в Хайдяне, удобно возить пассажиров в Сишань, в университеты Яньцзин, Цинхуа; тем, кто живет за воротами Аньдинмынь,— в Цинхэ и Бэйюань; тем, кто за воротами Юньдинмынь,— в Наньюань... Эти рикши предпочитают дальние расстояния и не любят размениваться на короткие пробежки. Длинный путь сулит хорошую выручку, зачем же им, словно нищим, гоняться за несколькими медяками?!

Но все же выше всех стоят рикши посольского квартала, которые возят иностранцев. Они знают кратчайший путь от любого посольства до Юйцюаньшаня, Ихэюаня или Сишаня [1] и домчат вас одним духом. Но не это главное. Простые смертные ни за что не смогли бы работать на их месте, потому что эти рикши умеют говорить на иностранных языках. Во всяком случае, они понимают, когда английские или французские офицеры приказывают отвезти их в Ваньшоушань [2], Юнхэгун [3] или Бадахутун [4]. У них свой жаргон, непонятный другим, и бегают они тоже по-своему: важно, с независимым видом, вдоль самой обочины дороги, не глядя по сторонам. Им разрешается не носить установленную для рикш форму. На них, как правило, белые курточки с длинными рукавами, белые или черные свободные штаны, подхваченные тесемками у щиколоток, удобные прочные тапки из синей материи. Эти рикши чистоплотны, аккуратны, подтянуты. Никто не осмеливается оспаривать у них пассажиров или состязаться с ними в беге. Другим рикшам они кажутся недосягаемыми.

Теперь, после этого краткого вступления, можно определить место Сянцзы среди рикш, пожалуй, так же точно, как место винтика в сложном механизме.

До того как Сянцзы получил прозвище Лото, он был самостоятельным рикшей. А это значит, что он был молод и силен и имел собственную коляску. Своя коляска, своя судьба — все в своих руках! Он стал первоклассным рикшей, а это совсем непросто. День за днем, год за годом,— столько пота было пролито за эти четыре года, пока он заработал на коляску! Ради нее недоедал, трудился и в дождь и в холод, терпел любые лишения. Коляска стала его наградой за все мучения и невзгоды, словно боевой орден за отвагу.

Но до этого Сянцзы целых четыре года без малого с утра до ве-

---

[1] Юйцюаньшань, Ихэюань, Сишань — живописные окрестности Пекина.

[2] Ваньшоушань — одно из живописнейших мест в окрестностях Пекина.

[3] Юнхэгун — знаменитый буддийский храм в северо-восточной части Пекина.

[4] Бадахутун — квартал в Пекине, где в старое время находились публичные дома.

чера сновал по городу с коляской, взятой напрокат. Он не принадлежал самому себе и только мечтал о коляске, которая сделает его свободным, независимым. Своя коляска — это же как свои руки и ноги!

Он мечтал о том времени, когда не придется больше терпеть обиды от хозяев прокатных контор, не придется им кланяться. Ведь когда у тебя есть силы и коляска — кров и еда обеспечены!

Он не боялся трудностей и не имел свойственных многим рикшам дурных наклонностей — недостатки можно простить, но зачем же им подражать! У него было довольно усердия и разума, чтобы добиться своего. Сложись его жизнь удачнее или получи он хоть какое-нибудь образование, Сянцзы не стал бы рикшей. В любом деле он сумел бы себя показать. Но ему не повезло — пришлось сделаться рикшей. Однако он и здесь проявил свой ум и способности. Пожалуй, такой человек не пропал бы и в аду.

Сянцзы родился и вырос в деревне. Потеряв родителей и махнув рукой на клочок скудной земли, он восемнадцати лет ушел в город. Сильный и неприхотливый деревенский парень перепробовал почти все виды физического труда, зарабатывая себе на пропитание. Но вскоре он понял, что деньги проще всего достаются рикшам. Прочая работа ничего не сулит, а у рикши есть хоть какая-то надежда. Кто знает, где и когда поджидает его непредвиденное вознаграждение! Конечно, Сянцзы понимал, что успех сам собой не придет. Надо, чтобы и рикша и коляска выглядели приличнo: солидному покупателю нужен хороший товар.

Поразмыслив, Сянцзы решил, что у него есть все для достижения цели. Он силен и молод, беда лишь, что еще неопытен и не может сразу взять напрокат красивую коляску. Но эту трудность легко преодолеть: дней за десять — пятнадцать он научится бегать и тогда выберет себе красивую новую коляску. Если подвернется постоянная работа, он за год-два — пусть даже за три-четыре,— отказывая себе во всем, непременно скопит денег на собственную коляску. Самую лучшую, самую красивую! Сянцзы думал, что все это лишь вопрос времени и что его желание не пустая мечта — он своего добьется!

Ему было немногим более двадцати, он был крепок и мускулист, высок и широкоплеч. По годам взрослый мужчина, он сохранял, однако, юношескую наивность и непосредственность. Увидит первоклассного рикшу и тут же подтягивается, выставляя напоказ свою железную грудь и прямую спину. Покосится на свои плечи и подумает — до чего ж они широки и могучи! А если еще надеть белые штаны да подвязать их узкой ленточкой у щиколоток — всем будут видны его крепкие ноги. Наверняка он станет отменным рикшей! При этой мысли Сянцзы заливался радостным смехом...

Внешность у него была самая заурядная, и только выражение лица внушало симпатию. Не очень большая голова, всегда выбритая до блеска, мясистый нос, круглые глаза под густыми бровями, короткая толстая шея багрового цвета, у правого уха довольно глубокий шрам — в детстве Сянцзы как-то спал под деревом, и его укусил осел.

Он не считал себя красавцем, но любил свое лицо, как и свое пышущее здоровьем тело. И очень гордился своей силой. Когда Сянцзы только приехал в город, он мог подолгу стоять на руках, вниз головой — такие у него были сильные руки! Ему иногда казалось, что он весь похож на дерево, прямое и крепкое. И действительно Сянцзы чем-то походил на дерево, могучее и молчаливое.

У него были свои мечты, свои желания, но он не любил о них рассказывать. Обычно рикши поверяют друг другу все свои обиды и невзгоды. На стоянках, в чайных, в трущобах каждый, как умеет, изливает душу, дела каждого становятся общим достоянием, и рассказы о них, словно песня, передаются из уст в уста. Сянцзы родился в деревне и не отличался красноречием горожан. Считается, что хорошо подвешенный язык — своего рода талант. Однако Сянцзы таким талантом не обладал и учиться краснобайству не хотел. Он таил в душе свои переживания, всегда молчал, зато любил поразмышлять, времени на это у него хватало. Казалось, он был постоянно погружен в свои мысли. «Главное,— думал он,— принять решение, а уж сердце подскажет, что делать дальше». Даже в минуты отчаяния он, стиснув зубы, искал силы только в самом себе.

Итак, Сянцзы решил стать рикшей — и добился своего. Взял напрокат старую коляску и прежде всего принялся тренировать ноги. В первый день он ничего не заработал. Второй принес кое-какую выручку, но после этого Сянцзы слег: ноги у него распухли и стали походить на тыквы. Лишь на третий день Сянцзы смог подняться, несмотря на мучительную боль. Он терпел, зная, что это неизбежно, что таков удел всех начинающих рикш. Иначе не научишься легко и свободно бегать.

Когда ноги перестали болеть, Сянцзы испытал необычайную радость. Теперь его ничто не страшило! Он уже помнил расположение улиц, а если иной раз и приходилось поколесить, беда не велика — сил у него хватало. Чем только он не занимался в жизни — возил, грузил, таскал. Поэтому работа рикши казалась ему не такой уж тяжелой. Главное — придерживаться правила: соблюдать осторожность и никогда не лезть на рожон,— тогда не будет и неприятностей. Он еще не умел, как его опытные собратья, торговаться и выхватывать пассажиров из-под носа у других. Зная за собой этот недостаток, он выжидал подальше от стоянок, на менее

бойких местах. Да и там частенько не запрашивал цену, а просто говорил: «Садитесь, дадите, сколько можете».

У него было такое простое и открытое лицо, он казался таким добродушным, что люди верили ему, не допуская даже мысли, что этот простоватый верзила может оказаться вымогателем. Если у пассажиров и возникали сомнения, то лишь в том, сможет ли неопытный деревенский парень проехать по городу. Но когда его спрашивали, знает ли он дорогу, Сянцзы глуповато и вместе с тем загадочно улыбался, приводя тем самым пассажиров в замешательство.

Прошло две-три недели, и шаг его обрел скользящую легкость. Он знал, что бегает красиво. А поступь рикши говорит о его способностях и опыте. Рикши, отбрасывающие ноги в стороны, это явные новички, только что из деревни. Те, кто низко опускает голову и волочит ноги по земле,— старики, которым перевалило за пятьдесят; они лишь делают вид, что бегут, а на самом деле еле тащатся. Рикши, умудренные опытом, но уже растратившие силы, бегают по-иному: наклонившись всем телом вперед и ссутулившись, они высоко вскидывают колени и на каждом шагу вздергивают голову, будто несутся во всю прыть, но в действительности бегают они ничуть не быстрее других.

Сянцзы, разумеется, не прибегал к таким уловкам. Ноги у него были длинные, шаг широкий, спина сильная, бегал он бесшумно, плавно. Он не дергал коляску, и пассажир чувствовал себя спокойно и уверенно. Он мог остановиться в любой миг, как бы быстро ни бежал, а останавливаясь, всегда делал несколько шагов на месте. Его сила, казалось, подчиняла себе коляску. Чуть подавшись вперед, он держал ручки свободно, был проворен, ловок и точен в движениях. Бегал осторожно, не чувствуя устали. Даже среди рикш, имеющих постоянную работу, такие встречаются не часто. И пассажиры это ценили.

Наконец Сянцзы взял напрокат новую коляску. Он разузнал, что такую коляску с эластичными рессорами, медной отделкой и прорезиненным тентом от дождя, с двумя фонарями и медным рожком можно купить за сотню с небольшим юаней, а если чуть похуже, то и всего за сто. Одним словом, было бы сто юаней, будет и коляска. И он вдруг подумал: если в день откладывать по одному цзяо [1], сто юаней наберется за тысячу дней. Тысяча дней! Как это было далеко! Но он принял решение. Пусть тысяча дней, пусть десять тысяч — он должен купить коляску! Но для этого, подумал он, надо прежде всего найти постоянную работу.

Если он наймется к хозяину с большими связями, к которому

[1] Цзяо (мао) — гривенник.

ходит много гостей и который раза два в неделю устраивает банкеты, может статься, и ему перепадет юань-другой чаевых, да еще юань из месячного заработка, вот и наберется юаня три-пять в месяц, а в год это будет пятьдесят-шестьдесят. Это уже не просто мечты, а реальность. Он не был обременен семьей, не курил, не пил, не играл в азартные игры, не страдал другими пороками. И считал, что всего можно достичь, если не бояться трудностей.

Сянцзы дал себе клятву, что через полтора года у него будет своя коляска! Новая, непременно новая!

Он нанялся на помесячную работу. Но жизнь не всегда идет нам навстречу. Сянцзы отказывал себе во всем, однако прошло полтора года, а мечта его так и не сбылась. Нанимаясь к хозяевам, он исправно выполнял свои обязанности, был предупредителен, услужлив, однако это не мешало хозяевам увольнять его. Иногда ему удавалось продержаться на одном месте месяц-другой, а порою и того меньше. И он снова начинал искать работу, а пока возил кого придется; недаром говорят: «Не бросай коня, пока не найдешь другого». Сянцзы не хотел зря терять время.

За эти полтора года Сянцзы совершил немало промахов. Он трудился изо всех сил, чтобы прокормиться и пополнить свои сбережения. Но всему надо знать меру. Бегая с коляской, он постоянно думал о своем будущем, мысли его путались, и душевная тревога росла. А что, если этому не будет конца? Когда же он купит коляску? Отчего ему так не везет? Разве он не старается все делать как можно лучше? И Сянцзы забывал об осторожности. Как-то раз наехал на что-то острое; лопнула шина, пришлось прекратить работу. Случалось и похуже: налетал на пешеходов. А однажды, торопясь протиснуться вперед, потерял даже колпак от втулки колеса. За порчу коляски нужно было платить. Работай Сянцзы у одного хозяина, он был бы избавлен от такой спешки. Но с постоянным местом дело не ладилось, и в душу Сянцзы закрадывалась неуверенность. Он нервничал все больше. В страхе перед новыми неприятностями залеживался допоздна и потом с досадой убеждался, что день прошел даром. Его грызло раскаяние, он ненавидел себя и от этого страдал еще сильнее. А страдая, забывал о еде.

Сянцзы был уверен, что здоровье у него железное, но оказалось, что и он может заболеть. Тратить деньги на лекарства не хотелось, он решил, что поправится и так. Однако ему стало хуже — пришлось раскошелиться на лекарство да еще несколько дней не работать.

Все эти напасти сделали Сянцзы еще более усердным, еще более терпеливым. Но от этого сбережения на коляску нисколько не увеличились.

Прошло целых три года, пока он собрал сто юаней. И решил

больше не ждать. Свою давнюю мечту о самой лучшей, самой новой, самой красивой коляске он не мог осуществить. У него была только сотня юаней! Но откладывать покупку коляски было опасно. Чего доброго, случится еще какая-нибудь неприятность, и снова часть денег уйдет зря. К счастью, подвернулась коляска, только что сделанная на заказ,— ее не выкупили вовремя. Она мало чем отличалась от той, о которой мечтал Сянцзы. Собственно говоря, такая коляска стоила больше ста юаней, однако, поскольку задаток не возвращался, хозяин мастерской мог немного и уступить.

Когда Сянцзы увидел коляску, он весь покраснел, и даже руки у него задрожали.

— Я ее беру! — сказал он и отсчитал девяносто шесть юаней.

Но хозяин решил выжать кругленькую сумму и принялся расхваливать свой товар. Он то вывозил коляску, то завозил обратно, то поднимал ее вверх, то опускал, поминутно нажимал рожок, сопровождая каждое свое движение потоками красноречия. Наконец, стукнув ногой по спицам, он сказал:

— Ты послушай, как звенят! Что колокольчики! Бери! Ни одна не ослабнет, хоть коляску расшиби. А если выскочит спица, приди и брось ее мне в лицо! Сто юаней, и ни цзяо меньше!

Сянцзы снова пересчитал деньги и проговорил:

— Девяносто шесть!

Хозяин понял, что с этого больше не выжмешь. Он поглядел на деньги, затем на Сянцзы и вздохнул.

— Ладно, по рукам, коляска — твоя! Гарантия на шесть месяцев. Починка — бесплатно, разве что — разобьешь совсем! Вот квитанция, держи!

Руки Сянцзы задрожали еще сильнее. Он спрятал квитанцию, потянул к себе коляску и чуть не расплакался от счастья. Заехав в укромное место, внимательно осмотрел покупку и полюбовался на свое отражение в блестящем кузове.

Коляска нравилась ему все больше и больше. И хотя она оказалась не совсем такой, о какой он мечтал, он простил ей все, потому что теперь это была его собственность. Он еще раз оглядел коляску и, решив, что теперь можно и передохнуть, уселся на подножку, рассматривая блестящий медный рожок.

Вдруг он вспомнил, что в этом году ему исполняется двадцать два года. Правда, он не знал точно дня своего рождения — родители его давно умерли, а сам он ни разу не отмечал этой даты. Пусть же счастливый день, когда он купил новую коляску, станет днем его рождения, днем рождения человека и коляски. Ведь коляска заработана его потом и кровью, она неотделима от него самого.

Как же отметить этот двойной день рождения? Сянцзы решил: первым пассажиром непременно должен быть мужчина, и отлично

одетый Лучше всего довезти его до Цяньмыня или до рынка «Восточное спокойствие». А там в самой лучшей закусочной поесть горячих жареных пирожков с бараниной. Потом отвезти еще одного-двух пассажиров. Не попадутся — тоже не беда: можно закончить пораньше. Ведь сегодня — день его рождения!

С тех пор как у Сянцзы появилась своя коляска, жизнь ему улыбалась. Имел он постоянную работу или возил случайных пассажиров, ему не надо было каждый день платить хозяину за прокат. Сколько ни заработает — все его. А зарабатывал он теперь гораздо больше. Сердце Сянцзы успокоилось, он стал приветливее и жизнерадостнее.

Прошло полгода, и Сянцзы начал мечтать о большем: если дела его и дальше пойдут так же успешно, через год, самое большее через два, он сможет купить еще одну коляску... потом другую, а потом откроет собственную контору по прокату!

Но наши мечты редко сбываются. Не сбылись и мечты Сянцзы.

Глава вторая

Радость, охватившая Сянцзы после того, как он купил коляску, придала ему смелости. Он стал бегать еще быстрее. Со своей коляской, разумеется, надо было быть осторожнее, но когда он глядел на себя и на коляску, то чувствовал, что ему бегать медленно просто неприлично.

В городе Сянцзы заметно вырос, однако ему казалось, что со временем он еще подрастет. Он стал крепче, сильнее, над верхней губой пробивались усики. Когда ему приходилось нагибаться, проходя в дверь, он ощущал огромное удовлетворение, но ему хотелось быть еще выше. Сянцзы походил на большого ребенка — со стороны это выглядело очень забавно. Рослый парень катит красивую коляску, свою собственную. Рессоры мягко пружинят, ручки слегка подрагивают, кузов сверкает, сиденье сияет белизной, рожок заливается вовсю. Бежать медленно — значит быть недостойным себя и такой коляски! Быстрый бег — не пустое тщеславие, это дело чести. Только в быстром, стремительном беге можно показать свою силу и все достоинства коляски. А коляска и в самом деле хороша! За полгода она научилась понимать своего хозяина: стоит ему повернуться, шагнуть, выпрямиться — она тотчас откликается на каждое его движение и как бы с удовольствием помогает ему.

Между Сянцзы и коляской установилось полное согласие. Когда он бежал по ровным немноголюдным улицам, он мог держаться только за одну оглобельку, и колеса сами с легким шумом катились позади, подгоняя его, словно попутный ветер. Сянцзы бегал быстро

и плавно. Когда он довозил пассажира до места, одежда его прилипала к спине и весь он бывал такой мокрый, будто его только что вытащили из воды. Конечно, он уставал, но эта усталость доставляла ему необычайное удовольствие. Он испытывал гордость наездника, проскакавшего несколько десятков ли [1] на прославленном коне.

Иногда смелость граничит с неосторожностью, но Сянцзы был очень осмотрителен. Бежать медленно — значит позориться перед пассажиром, но мчаться сломя голову с риском поломать коляску — тоже не дело. Потому что в коляске — вся его жизнь. Осторожность в сочетании со смелостью придавала Сянцзы уверенность; он считал, что и он, и его коляска несокрушимы.

Эта уверенность Сянцзы проявлялась не только в быстроте бега: теперь он не очень заботился и о том, когда начинать работу. Он знал, что коляска прокормит его, и выходил на поиски пассажиров, когда ему вздумается. Профессия рикши — самое надежное дело в Подпебесной! Его не волновали слухи о том, что в Сиюань снова пришли солдаты, что в Чансиндяне идут бои, что за воротами Сичжимынь хватают людей и заставляют работать на армию, что ворота Цихуамынь закрыты. Вот если бы были закрыты лавки, а улицы наводнены полицейскими и охранниками, тогда Сянцзы не стал бы рисковать, а поторопился бы, как другие рикши, закончить работу. Но слухам он не верил. Сянцзы вырос в деревне и не поддавался панике, как горожане, которые из мухи могут сделать слона. Зато он верил в себя. Если даже с ним что-нибудь и приключится, он все равно вывернется и не даст себя в обиду. Попробуйка задень детину с такими широченными плечами!

Вести и слухи о войне приходят обычно тогда, когда начинают подниматься весенние всходы. Для северян колосья пшеницы — символ надежды, штык — символ страха.

С тех пор как Сянцзы купил коляску, прошло полгода. Весенним всходам как раз нужен был дождь. Но дожди не всегда выпадают по нашему желанию, а война обычно приходит вопреки ему. Действительно ли шла война или это были только слухи? Сянцзы словно забыл, что когда-то сам был хлебопашцем; он мало беспокоился о том, какой ущерб принесет война полям, не очень заботили его и весенние дожди. Он пекся лишь о своей коляске — она давала ему горячие лепешки и всякую прочую снедь. Коляска для него была все равно что клочок земли, послушной, живой и драгоценной. Дождей давно не было, слухи о войне множились, но Сянцзы не принимал этого близко к сердцу. Он роптал лишь из-за того, что цены на продовольствие подскочили,— но что тут поде-

[1] Ли — мера длины, равная 576 м.

лаешь? Сянцзы волновала только его собственная жизнь; к тревогам и волнениям остальных он был безучастен

Горожане во многом беспомощны, зато горазды распускать самые невероятные слухи. Наговорят вам с три короба только затем, чтобы показать: мол, мы вовсе не глупы и тоже кое-что понимаем! Словно рыбы, напускают пузырей и довольны!

Разговоры о войне всегда вызывают у них особый интерес. Прочие слухи так и остаются слухами. Сколько ни болтай о дьяволе, дьявол не появится. Но слухи о войне в какой-то мере заменяют точные сведения. Пусть они не всегда соответствуют истине, но раз пошли разговоры о войне — значит, война идет. Если говорят: «Скоро начнутся бои»,— рано или поздно бои начнутся. Что же касается того, кто с кем воюет и где воюет, тут уж каждый плетет, что взбредет на ум.

Нельзя сказать, чтобы Сянцзы ничему не верил, но люди физического труда, в том числе рикши, хотя и не радуются войне, все же не считают ее таким уж несчастьем Больше всего войны боятся богачи, боятся за свою жизнь, за свое богатство. Как только до них доходят тревожные вести, они срываются с места и спешат удрать подальше от войны. Но чтобы переехать куда-нибудь, они вынуждены прибегать к услугам многих людей, которые заменяют им ноги и руки, переносят их имущество, перевозят их родичей, детей, жен. В такие дни все, кого кормят руки и ноги, в большой цене. «Цяньмынь, Дунчэчжань!» — «Куда?» — «Дун... чэ... чжань!» — «Полтора юаня, окончательно! Не торгуйтесь! Время смутное!»

Однажды Сянцзы выехал со своей коляской за город. Уже более десяти дней по городу ползли разные слухи, но война, казалось, была еще далеко и не могла так сразу очутиться у стен Бэйпина. Сянцзы не верил слухам. Но в тот день, оказавшись в западной части города, он почуял неладное. На перекрестке улиц Хугосы и Синьцзекоу никто не нанимал рикш, чтобы ехать в Сиюань или в Цинхуа. Он повертелся на улице Синьцзекоу и понял, что рикши боятся выезжать за город. Рассказывали, будто за воротами Сичжимынь отбирают все подряд: арбы, телеги, повозки и коляски рикш.

Сянцзы решил выпить чашку чаю и отправиться в южную часть города. Мертвая тишина царила на стоянке, словно предупреждая о грозящей опасности. Сянцзы не был трусом, однако рисковать жизнью не собирался.

И тут с южной стороны подъехали две коляски: пассажиры, видимо, были студентами. Рикши кричали на бегу:

— Есть желающие отвезти господ в Цинхуа? Эй, кто повезет в Цинхуа?

Никто не отозвался. Одни ухмылялись в ответ, другие сидели, покуривая трубки, и даже не оглядывались.

— Вы что, оглохли? Кто повезет в Цинхуа?

— Я поеду! За два юаня! — как будто шутя, вызвался молодой коренастый парень с бритой головой, видя, что все молчат.

— Идет! Нужна еще коляска!

Парень оглянулся в нерешительности, но охотников больше не оказалось.

Сянцзы понял: за городом опасно. Иначе никто не отказался бы от двух юаней — обычно до Цинхуа платят в десять раз меньше. Он тоже не собирался ехать. Но парень, видно, и впрямь решил заработать свои два юаня, если кто-нибудь составит ему компанию. Сянцзы ему приглянулся, и он спросил:

— Ну что, великан, поедем?

Такое обращение польстило Сянцзы. Это была своего рода похвала, и она как бы обязывала его оказать поддержку смельчаку. К тому же два юаня — сумма порядочная, такая не каждый день перепадает. И Сянцзы решился. Конечно, ехать опасно. Но может быть, они проскочат? Два дня назад болтали, что в Храме Неба полным-полно солдат, но он, проезжая мимо, сам убедился, что это вранье. Вспомнив об этом, Сянцзы подкатил свою коляску.

Подъехали к Сичжимыню. В туннеле никого не было, и на сердце у Сянцзы похолодело. Спутник его тоже приуныл, однако сказал с улыбкой:

— Поднажмем, приятель! Чему быть, того не миновать!

Сянцзы понял, что дело плохо, но за годы работы он привык держать свое слово и сейчас не хотел показаться трусом.

Ворота Сичжимынь остались позади. Ни одна коляска не попалась им навстречу. Сянцзы бежал, опустив голову, не решаясь смотреть по сторонам. Когда подъехали к мосту Гаолянцяо, он осмотрелся: солдат нет. От сердца немного отлегло.

«Два юаня — это два юаня,— думал он.— Трусу столько за месяц не заработать!»

Обычно неразговорчивый, Сянцзы на этот раз решил перебросится несколькими словами с напарником. Вокруг стояла жуткая тишина.

— Поедем проселочной дорогой. На шоссе...

— Да, да! — Тот угадал его мысль.— Проселочной дорогой поспокойнее...

Но не успели они свернуть, как были схвачены солдатами.

Наступило то время года, когда на горе Мяофыншань открывают храмы для жертвоприношений, однако ночи все еще стоят

холодные, и в одной рубашке легко замерзнуть. А на Сянцзы не было ничего, кроме старой гимнастерки серого цвета и таких же ветхих военных брюк. Глядя на это драное обмундирование, он вспоминал свою белоснежную рубашку, добротную куртку и синие штаны. Какие они были чистые и какой имели приличный вид! На свете, конечно, есть и более дорогие вещи, но Сянцзы знал, какой ценой они достаются. Горестно косясь на пропахшую чужим потом гимнастерку, он с гордостью думал о своем былом достатке и былых удачах, которые казались ему теперь особенно значительными. Вспоминая о прошлом, он еще сильнее ненавидел солдат. Они отняли у него все: одежду, башмаки, шляпу, коляску — даже пояс! И наградили его синяками, ссадинами и волдырями на ногах. Одежда — это пустое, ссадины тоже скоро заживут, но он лишился коляски, своей коляски, заработанной потом и кровью! Она исчезла сразу после того, как он попал к солдатам в лагерь. Можно забыть все невзгоды и огорчения, но как забыть об этом!

Заработать на новую коляску не так-то просто. Для этого нужно по меньшей мере несколько лет. Все его старания пошли прахом, придется все начинать сначала, не имея за душой ни гроша. Сянцзы заплакал. Он ненавидел сейчас не только этих солдат, но и все на свете! За что его так обидели? Почему?

— По какому праву? — крикнул он.

От этого крика ему вроде стало легче, но тут же он вспомнил об опасности. Не стоит возмущаться так громко, главное — спасти жизнь.

Где он? Сянцзы не мог сказать толком. Все эти дни он брел за солдатами, обливаясь потом. В пути ему приходилось таскать тяжести, возить вещи солдат, на привалах носить воду, разводить огонь, кормить скот. Он работал с утра до ночи, выбиваясь из сил. На душе было пусто. Когда же наступала ночь, он сразу забывался мертвым сном, едва голова касалась земли. Заснуть бы вот так и не проснуться!

Вначале он еще понимал, что солдаты отступали к Мяофынпапю. Но когда перевалили за хребет, он перестал что-либо соображать и лишь покорно карабкался по горам, постоянно опасаясь, что оступится, полетит вверх тормашками в пропасть и коршуны растерзают его труп.

Много дней шли они по горным дорогам. И вот горы расступились, солнце начало пригревать спину. Внизу показалась долина. Раздался сигнал к ужину, солдаты разбили лагерь. Вскоре подошли остальные, ведя за собой верблюдов.

Верблюды! Сердце Сянцзы дрогнуло, и к нему сразу вернулась способность мыслить. Так сбившийся с дороги путник, увидев зна-

комый перекресток, начинает понимать, где он находится. Верблюды не пасутся в горах — значит, недалеко равнина. Он помнил, что к западу от Бэйпина — в Баличжуане, Хуанцуне, Бэйсиньане, Мошикоу, Улитуне, Саньцзядане — всюду держат верблюдов. Неужели эти вояки побродили по горам и снова очутились в Мошикоу? Может быть, это военная хитрость? Вряд ли, эти солдаты только и умеют, что таскаться по дорогам да грабить. Ясно одно: если это действительно Мошикоу, значит, солдаты не смогли перебраться через горы и решили спуститься вниз в поисках выхода. Из Мошикоу они могут двинуться куда угодно: пойдут на северо-восток — окажутся в Сишане, повернут на юг — попадут в Чансиндянь или Фынтай, отправятся на запад — там тоже есть дорога. Сянцзы вроде бы искал выход для солдат, но в действительности думал о себе: пора бежать! Если солдаты снова уйдут в горы, оттуда не убежишь, там его ждет голодная смерть.

Сянцзы верил, что сумеет добраться до Хайдяня. Путь не близкий, зато идти придется по знакомым местам.

Закрыв глаза, он мысленно представил себе всю дорогу. Это Мошикоу! Бог мой, конечно, Мошикоу! Отсюда он повернет на северо-восток, пройдет Цзиньдиншань, Ливанфын, Бадачу; от Сыпинтая подастся на восток в Синьцзыкоу и попадет в Наньсиньчжуан. На всякий случай лучше держаться поближе к горам. Из Бэйсиньчжуана, забирая на север, он пройдет Вэйцзяцунь, затем Наньхэтан, дальше будут Хуншаньтоу, Цзеванфу и Цзиниюань. А от Цзиниюаня он с закрытыми глазами доберется до Хайдяня.

Кровь прилила к его сердцу, и оно, казалось, готово было разорваться от радости. Сянцзы весь дрожал при мысли о побеге.

Долго не мог Сянцзы сомкнуть глаз. Надежда на спасение окрыляла, мысль, что побег не удастся, вселяла ужас. Сянцзы лежал, разметавшись на сухой траве, и тщетно пытался уснуть. Вокруг царила тишина, и звезды, казалось, мерцали в такт биению его сердца. Внезапно невдалеке раздался жалобный крик верблюда. Этот крик был приятен Сянцзы, он напомнил ему пение петуха по ночам, которое навевает грусть и в то же время приносит успокоение.

Где-то далеко, но отчетливо загрохотала канонада. В лагере тотчас поднялась паника. Сянцзы замер — пришел его час! Он знал наверняка, что солдаты снова будут отступать, и непременно в горы. За эти дни он понял, что эти вояки просто мечутся, словно пчелы, залетевшие в комнату. Орудийные залпы близились. Сейчас солдаты наверняка пустятся наутек. Только бы не упустить момент. Затаив дыхание, Сянцзы медленно пополз. Ему хотелось найти верблюдов. Он знал, что они ему, скорее всего, будут только

мешать, но ведь они тоже попали в беду и были его товарищами по несчастью.

В лагере царила невообразимая суматоха, и, пользуясь ею, Сянцзы отыскал верблюдов. Они лежали, похожие в темноте на живые холмики, и, как всегда, дышали порывисто и шумно, но не шевелились, будто вокруг все было спокойно. Это придало Сянцзы храбрости. Он спрятался за верблюдами, как укрываются за мешками солдаты во время боя. Мгновенно промелькнула мысль: канонада доносится с юга, значит, если даже там и нет настоящих боев, этот путь закрыт. Солдаты, наверное, уйдут в горы и не смогут захватить с собой верблюдов. Судьба верблюдов, решил он, будет его судьбой. Вспомнят солдаты о верблюдах — для него все будет кончено, а забудут — тогда и ему удастся бежать. Приложив ухо к земле, Сянцзы прислушался. Сердце его бешено колотилось.

Он ждал очень долго, за верблюдами никто не приходил. Осмелев, Сянцзы присел, огляделся по сторонам, но ничего не увидел. Вокруг стояла кромешная тьма. Бежать! Будь что будет! Бежать!

Глава третья

Сянцзы пробежал шагов тридцать и остановился: жаль было расставаться с верблюдами. Единственно ценное, что у него осталось,— это его собственная жизнь. Но зачем она ему, если он гол как сокол? Сейчас он с радостью подобрал бы даже никому не нужную веревку — все-то спокойнее, чем с пустыми руками! А может, прихватить с собой верблюдов? Он, правда, не знал еще, что с ними делать, но для начала и верблюды пригодятся.

Сянцзы потянул за собой верблюдов, связанных веревкой. Он не умел с ними обращаться, однако страха не испытывал, так как родился в деревне и не боялся животных. Верблюды медленно поднялись. Он не удосужился проверить, хорошо ли они связаны. В руках что-то есть, и ладно. Он сразу пустился в путь, не заботясь о том, ведет он одного верблюда или нескольких.

Однако, отойдя немного, он начал раскаиваться в своем решении. Верблюды привыкли двигаться с тяжелым грузом медленно и сейчас шли не спеша. К тому же в темноте они ступали особенно осторожно, боясь поскользнуться. Из-за какой-нибудь грязной колдобины верблюд может сломать или вывихнуть ногу — и тогда конец. Однако Сянцзы думал сейчас не о них, а о том, как спасти свою жизнь!

И все же он не мог расстаться с животными. Нельзя же бросить верблюдов, доставшихся ему даром! И он положился на волю неба.

Сянцзы привык возить коляску ночью и обычно легко находил дорогу в темноте. Однако теперь все его внимание было поглощено верблюдами, и он боялся заблудиться. В душу Сянцзы закралась тревога. В другое время он мог бы определить направление по звездам, но сейчас он не смел довериться даже звездам. Ему казалось, что они взволнованы еще больше, чем он,— мерцают, мечутся в беспорядке по небу, то сталкиваются, то разбегаются.

Сянцзы опустил глаза. Наклонив голову, он медленно брел вперед. Не сразу до него дошло, что с верблюдами следует идти по дороге, а не по горным склонам. От Мошикоу — если это Мошикоу — в Хуанцунь ведет удобная дорога. По ней как раз и водят караваны, а главное — это прямой путь, что его, рикшу, особенно привлекало. Правда, на этой дороге негде укрыться. Что, если опять встретятся солдаты? И вообще, кто поверит, глядя на его заросшее, грязное лицо и рваное обмундирование, что он хозяин маленького каравана? Нет, он решительно не похож даже на погонщика верблюдов! Больше всего он смахивает на дезертира. Дезертир! Если его схватят солдаты, еще полбеды, а попадешь в руки селян, живым закопают.

От таких мыслей Сянцзы бросило в дрожь. Верблюды мягко ступали, но каждый их шаг отдавался в его ушах. Если он хочет спасти свою жизнь, следует избавиться от этой обузы. Но он никак не мог выпустить уздечку из рук! «Ладно,— решил он,— пойду куда глаза глядят. Останусь жив — верблюды мои, помру — значит, так суждено».

Однако он тут же подвернул штаны, снял гимнастерку, не колеблясь оторвал воротничок и медные пуговицы, которые могли бы еще послужить, и бросил в темноту. Темнота безмолвно поглотила все. Потом, скатав гимнастерку в жгут, он перебросил ее через плечо и связал узлом на груди. Так, пожалуй, он будет вызывать меньше подозрений. Конечно, и в таком виде он не очень походил на погонщика верблюдов, зато, может быть, теперь его не примут за дезертира! Грязный и потный, он скорее напоминал возчика угля. Медленно, но тщательно Сянцзы обдумывал свое положение.

Ночь темная, никто его не видит, к чему спешить? И все же ему не терпелось поскорее покинуть эти места. Он не знал, сколько прошло времени. А вдруг скоро рассвет?

Днем на дороге негде будет укрыться. Значит, надо держаться так, чтобы его никто ни в чем не заподозрил. Надо приободриться!

На сердце стало веселее, будто опасность уже миновала и перед ним лежал Бэйпин. Во что бы то ни стало нужно добраться до Бэйпина побыстрее, нельзя попусту терять время: и есть нечего, и за душой ни гроша. Хорошо бы сесть на верблюда — так и силы сбережешь, и можно дольше терпеть голод. Но на это он не

решался: ведь прежде нужно заставить верблюда опуститься на колени, а Сянцзы не хотел возиться. К тому же, если взобраться так высоко, не будешь знать, что делается под ногами. Повалится верблюд, и сам полетишь головою вниз. Нет, уж лучше пешком.

Сянцзы знал, что идет по какой-то дороге, но точно не представлял, куда она ведет. Глубокая ночь, усталость многих дней, страх — все давало о себе знать. Хотя он шел медленным, размеренным шагом, силы покидали его, и вскоре он почувствовал себя совсем разбитым. Ночь стояла темная, воздух был влажный, все вокруг окутывал туман. Сянцзы вновь охватило смутное беспокойство.

Он напряженно смотрел под ноги, ему все время мерещились то бугры, то выбоины, но всякий раз дорога оказывалась совершенно ровной. Эта неуверенность доводила его до исступления. Он решил идти наугад, глядя прямо перед собой и нащупывая дорогу ногами. Казалось, тьма всех ночей сгустилась и окружила его здесь. Сянцзы шел сквозь мрак, и за ним почти неслышно следовали верблюды.

Постепенно Сянцзы привык к темноте, словно сжился с ней, но сердце его обмирало. Он уже не знал, идет он или стоит на месте; все колыхалось, все расплывалось перед глазами. Вдруг ему почудилось, что он увидел что-то, а может, услышал, но что именно, он и сам не мог сказать. Сянцзы вздрогнул и открыл глаза. Оказывается, он все шел и спал на ходу, ничего не помня и ничего не замечая. Вокруг царило спокойствие, и он тоже постепенно успокоился. Сянцзы старался разогнать сон, собраться с мыслями. Главное сейчас — поскорее дойти до города. Когда ни о чем не думаешь, глаза сами закрываются... Нет, надо думать, надо бодрствовать! Он знал, что если уснет, то проспит несколько дней подряд. О чем же думать? У него кружилась голова, тело продрогло от сырости, кожа зудела, ноги ныли, во рту пересохло. Ничто не шло на ум, он испытывал только чувство острой жалости к себе. Пытался думать о своей жизни, но мысли путались и меркли, как гаснущая свеча, которая не может осветить даже подсвечника. Сянцзы казалось, что он плывет во мраке. И хотя он знал, что еще жив, что движется по дороге, он не мог понять, где он и куда идет. Сянцзы походил на человека, затерянного в безбрежном море и утратившего надежду на спасение. Никогда еще не приходилось ему испытывать такого безысходного, полного одиночества!

Обычно Сянцзы не очень тянулся к друзьям. Днем, при свете солнца, среди мелькающих вокруг машин, колясок, пешеходов он не чувствовал одиночества. Но сейчас ему было не по себе. Он не знал, чем ему себя занять. Если бы хоть верблюды были упрямы, как мулы, если бы нужно было их все время понукать и подгонять!

Но они, словно парочно, вышагивали по дороге неслышно и покорно. Была минута, когда Сянцзы вдруг усомнился: да идут ли верблюды вообще за ним? Он даже вздрогнул в страхе, словно эти великаны и в самом деле могли свернуть в сторону и раствориться в темноте, бесшумно и незаметно, как тает лед.

Неизвестно, где и когда он присел. Доведись ему умереть, а потом воскреснуть, он все равно не смог бы вспомнить этого. Он не знал, долго ли просидел — несколько минут или час. Не знал также, сел он прежде, чем уснуть, или уснул, а затем опустился на землю. По всей вероятности, сначала уснул, а потом уже сел: от усталости можно заснуть и стоя.

Очнулся он неожиданно. И совсем не так, как пробуждаются ото сна, а как-то сразу, словно из одного мира вдруг перенесся в другой. Кругом было по-прежнему темно, но до слуха его донесся отчетливый крик петуха, настолько отчетливый, что казалось, он прозвучал над самым ухом. Сянцзы пробудился окончательно. И тут же его пронзила мысль о верблюдах. Но веревка по-прежнему была у него в руке, и верблюды стояли рядом. Сянцзы успокоился. Лень было подниматься, тело ныло, но он боялся снова заснуть. Нужно обдумать все как следует, обдумать и принять решение. Неожиданно ему снова вспомнилась коляска, и он опять закричал: «По какому праву?»

Но что толку от крика? Все равно его никто не слышит. Сянцзы не знал, скольких верблюдов ведет за собой, и ощупью пересчитал — их оказалось три. Он не мог сообразить, много это или мало. Он еще не решил, что с ними делать, но смутно чувствовал, что от них зависит его будущее.

«А почему бы не продать верблюдов и не купить коляску?» Сянцзы готов был запрыгать от радости! Однако тут же его охватило чувство, похожее на досаду: как это раньше такая естественная и простая мысль не пришла ему в голову! Потом досаду сменила радость: ведь только что совсем близко пропел петух! Пусть сейчас еще ночь, все равно до рассвета не так уж далеко. А где петух, там и деревня. Кто знает, может быть, это Бэйсиньань? Там держат верблюдов. Нужно торопиться, чтобы успеть туда до рассвета. Он сбудет верблюдов, а в городе сразу же купит коляску. В тревожное время коляски всегда дешевеют. Он думал лишь о коляске, словно продать верблюдов было проще простого. И эти мысли вернули ему бодрость. Усталость как рукой сняло. Если бы ему предложили за верблюдов не коляску, а сотню му [1] земли или несколько жемчужин, он, пожалуй, отказался бы.

Сянцзы быстро поднялся и потащил за собой верблюдов. Он

[1] Му — мера площади, равная 0,06 га.

не знал, в какой они сейчас цепе, но от кого-то слышал, что в прежние времена, когда еще не было железных дорог, они стоили недешево: верблюды выносливы, а едят меньше, чем мулы. Сянцзы не мечтал разбогатеть, он надеялся лишь выручить столько, чтобы хватило на покупку коляски.

Начало светать. Прямо перед ним занималась заря — значит, он в самом деле шел на восток. Он знал, что если даже и перепутал дорогу, то направление взял верное: горы остались позади, впереди лежит долина. Мрак рассеивался, и, хотя света было еще недостаточно, очертания полей и дальнего леса становились все более отчетливыми. Звезды постепенно бледнели, небо было не то в тумане, не то в облаках; казалось, оно стало немного выше.

Сянцзы поднял голову. Он ощутил запах травы, услышал пение птиц, увидел вырисовывающиеся в предрассветной дымке контуры холмов; к нему как бы снова вернулись слух, зрение и обоняние. Он мог теперь рассмотреть свой наряд, но увидел только грязные лохмотья. Зато убедился, что руки-ноги у него целы и что он действительно жив. Он словно пробудился от страшного сна и почувствовал, как хороша жизнь!

Осмотрев себя, он перевел взгляд на верблюдов: они выглядели такими же измученными, как и он, и были ему так же дороги, как собственная жизнь. Верблюды линяли, мертвая шерсть сползала с них клочьями, обнажая розоватую кожу. Они походили на огромных нищих. Особенно жалкое впечатление производили их голые, изогнутые, как у отощавших драконов, шеи с глуповатыми и презрительными мордами. Однако, несмотря на их вид, Сянцзы не испытывал к ним отвращения — все-таки это были живые существа! Он считал себя самым счастливым человеком на свете — небеса ниспослали ему три живые драгоценности, на которые можно выменять коляску. Такое случается не каждый день. Сянцзы не выдержал и рассмеялся.

На востоке занималась заря, земля и лес вдали потемнели; серый полумрак утра отступал перед красным светом восхода. Кое-где небо стало фиолетовым, местами на нем разгорались красные полосы, но большая часть его все еще оставалась сизовато-серой. Вскоре сквозь тучи прорвались лучи, и краски стали ярче. Неожиданно все кругом обозначилось чрезвычайно отчетливо. На востоке небо вспыхнуло багрянцем и из серого стало чисто-голубым. Тучи расступились, и на землю хлынул золотой поток. На юго-востоке засверкал громадный занавес, сотканный из облаков и солнечных лучей. Темная зелень полей, яркая листва деревьев и трав засверкали, словно малахит. На соснах заиграли желто-красные зайчики. Золотом отливали крылья птиц. Вокруг все искрилось радостью. Сянцзы хотелось громко приветствовать восходящее

светило, ему казалось, что он не видел солнца с тех пор, как его схватили солдаты. Сколько страданий перенес он за эти дни! Он не смел поднять голову, он забыл о солнце, о луне, забыл о небе. А теперь он свободно шел навстречу свету. Солнце золотило росу на траве, било прямо в лицо, согревало душу. Он забыл обо всех своих горестях, обо всех невзгодах. Пусть он в лохмотьях, в грязи, но ему светит солнце и он снова живет в ласковом, теплом мире. Радость переполняла его душу, ему хотелось громко петь и кричать!

Еще раз взглянув на свои лохмотья и плетущихся за ним облезлых верблюдов, Сянцзы рассмеялся. Наверное, потому что у него и у верблюдов такой жалкий вид, думал он, ему удалось избежать смертельной опасности и снова увидеть зарю. Удивительно! Невероятно! Но к чему ломать голову,— на все воля неба.

Он успокоился и медленно зашагал вперед. Бояться нечего, лишь бы Небо не отвернулось от него. Сянцзы не спрашивал, где он, хотя и видел на полях крестьян. Нужно было спешить. Если не удастся продать верблюдов сразу — не беда! Главное — добраться до города, а там видно будет. Ему не терпелось снова увидеть город, он был для Сянцзы родным домом, хотя там его не ждали ни родители, ни родственники, ни богатство. И все-таки он стремился в город, в любой город! Там он из самого отчаянного положения найдет выход.

Вдали показалась деревня, довольно большая. Высокие зеленые ивы, склонив ветви и поглядывая на низенькие хижины, стояли вдоль дороги, точно стражи. Над крышами домов клубился дым. Издалека доносился милый сердцу лай собак. Сянцзы быстро, с храбрым видом шел по деревне, надеясь, что все обойдется благополучно. Он не какой-нибудь разбойник, ему нечего опасаться селян. Ведь солнце в этом светлом мире греет всех одинаково! Может быть, он даже попросит воды, а не дадут — тоже не страшно. Раз уж в горах не умер, ничего с ним не случится, потерпит еще немного.

Он не обратил внимания на собак, поднявших лай при его приближении, но огорчился, увидев, как дети и женщины в испуге таращат на него глаза. По всей вероятности, он был мало похож на погонщика верблюдов и выглядел довольно странно. Иначе почему на него так глазеют! Ему стало не по себе. Солдаты не считали его человеком, а теперь крестьяне пялились на него, как на диковинку! Сянцзы оробел. Он всегда гордился своим ростом и силой, но за последние дни претерпел столько обид и оскорблений, что потерял уверенность в себе.

Над крышами домов вставало солнце, однако сейчас оно уже не казалось ему таким приветливым, как ранним утром.

Единственная дорога через деревню была завалена всяким мусором и покрыта зловонными лужами. Сянцзы боялся, как бы верблюды не оступились. Они устали, да и ему тоже не мешало передохнуть. Дом слева от дороги, видимо, принадлежал довольно зажиточному человеку: он был под черепицей, проем в ограде прикрыт дощатым щитом. Сердце Сянцзы затрепетало от радости. Дом под черепицей — наверняка дом богача. В воротах — щит, признак того, что хозяин держит верблюдов. Отлично! Он отдохнет здесь. А может быть, и сбудет верблюдов.

— Сэ! сэ! сэ! — Сянцзы дал знак верблюдам опуститься на колени.

Из всех команд, которым повинуются верблюды, он усвоил лишь эту и рад был щегольнуть своими познаниями,— пусть селяне знают, что он в этом деле кое-что смыслит. Верблюды послушно опустились, а сам он с важным видом присел под низенькой ивой. Люди глазели на него, а он — на них. Он понимал, что только его спокойствие может рассеять их подозрения.

Сянцзы сидел недолго. Вскоре со двора вышел старик с лоснящимся лицом, в распахнутой синей куртке. С первого взгляда было видно, что это деревенский богач. Сянцзы решил действовать:

— Отец, есть у тебя в доме вода? Испить бы...

— А!..— Вертя в руке комочек глины, старик испытующе поглядел на Сянцзы, затем, очень внимательно, на верблюдов и сказал: — Вода найдется. А ты откуда?

— С запада.— Сянцзы не осмелился точно назвать место, откуда он шел, так как и сам этого не знал.

— Там солдаты? — Старик уставился на военные брюки Сянцзы.

— Да, едва унес от них ноги.

— А с верблюдами на дороге не опасно?

— Солдаты ушли в горы, кругом спокойно.

— Н-да.— Старик медленно кивнул.— Погоди, я вынесу воды.

Сянцзы вошел следом за ним. Во дворе он увидел четырех верблюдов.

— Купи, отец, и моих, соберешь караван.

— Хм, караван Тридцать лет назад я держал три каравана! Нынче времена не те. Кто сейчас может прокормить столько! — Старик уставился на своих верблюдов — Несколько дней назад собирался с земляками погнать их на подножный корм. Но куда ни ткнись — везде солдаты Как тут быть?! Держать их летом дома — душа разрывается. Смотри, сколько мух! А станет жарче, появятся еще и слепни! На глазах гибнут самые лучшие верблюды, сущая беда! — Старик сокрушенно качал головой.

— Купи, отец! Отгонишь и моих на подножный корм. А то

летом их и вправду заест всякий гнус.— Сянцзы почти умолял старика.

— Да, но откуда взять такие деньги? В наше время трудно держать верблюдов.

— Дашь, сколько сможешь. Мне они ни к чему, мне надо в город, работу искать

Старик снова внимательно посмотрел на Сянцзы. Видимо, он начинал верить, что перед ним не бандит, а честный человек. Потом перевел взгляд на верблюдов за воротами. Кажется, они пришлись ему по душе, хотя и не были особенно нужны. Но как ни один книголюб не может пройти мимо редкой книги, а лошадник — расстаться с хорошим конем, так и этот старик, державший когда-то три каравана, не мог равнодушно смотреть на верблюдов. К тому же этот парень, видимо, отдаст их задешево; в таких случаях знатоку еще труднее удержаться.

— Эх, дружище! Будь у меня деньги, я бы и в самом деле купил твоих верблюдов,— признался старик.

— Бери! Как-нибудь столкуемся.

Сянцзы был так простодушен, что старику даже стало его жаль.

— Я тебе правду скажу, парень: лет тридцать назад они бы стоили лянов сто — сто пятьдесят серебром, а в такое неспокойное время... Ты все-таки поищи кого побогаче!

— Дай сколько можешь! — твердил Сянцзы; он понимал, что старик прав, но не хотел таскаться с верблюдами по дорогам — еще попадешь в беду!

— Да ты подумай! Двадцать — тридцать юаней даже предлагать неудобно, хотя мне и столько набрать нелегко. Но такие уж времена, что поделаешь!

У Сянцзы похолодело на сердце. Двадцать — тридцать юаней? Разве этого хватит на коляску! Но ему хотелось поскорее разделаться с верблюдами — неизвестно еще, подвернется ли другой покупатель.

— Давай, старик, сколько есть.

— Чем ты вообще занимаешься, парень? Вижу, ты не мастак в этом деле. Где верблюдов-то взял?

Сянцзы рассказал все, как было.

— О-о! Так ты вместе с ними спасал свою жизнь!

Старик посочувствовал Сянцзы и в то же время успокоился: верблюды вроде бы не ворованные. Хотя разница и не велика, но все-таки Сянцзы как бы захватил их на войне. В смутное время на такие вещи смотрят проще.

— Ладно, парень, дам тебе тридцать пять юаней. Не хочу душой кривить — это дешево, но больше дать не могу. Мне уже за шестьдесят, обманывать не стану: нет у меня больше.

Сянцзы колебался. Он никогда не упускал случая заработать лишнюю монету, но после всего, что он вытерпел от солдат, ему казалось неудобным торговаться с этим стариком, который говорил с ним так искренне и участливо. Да и тридцать пять юаней в руках лучше сотни в мечтах. Жаль, конечно, что так дешево. За трех верблюдов, конечно, можно было бы взять куда больше. Но что поделаешь?!

— Считай, отец, верблюдов своими. Только еще попрошу тебя вот о чем: найди для меня какую-нибудь курточку и чего-нибудь поесть.

— Это можно.

Сянцзы залпом выпил холодной воды, взял тридцать пять блестящих серебряных юаней, две кукурузные лепешки, надел белую поношенную куртку, еле прикрывавшую грудь, и направился в город.

Глава четвертая

Три дня пролежал Сянцзы в одной из харчевен Хайдяня. Его бросало то в жар, то в холод, он терял сознание, десны его покрылись фиолетовыми волдырями. Все эти три дня он ничего не брал в рот, только пил не переставая. Потом жар спал, но осталась страшная слабость. Вероятно, в бреду и во сне он все время говорил о верблюдах, о своих трех верблюдах. Люди подслушали и с тех пор Сянцзы стали называть Лото — Верблюд.

Когда он впервые попал в город, его звали просто Сянцзы, по имени, будто у него вовсе не было фамилии. А теперь, когда к имени Сянцзы прибавилась кличка Лото, тем более никто не интересовался его настоящей фамилией. Сянцзы это мало беспокоило. Но было как-то обидно, что он получил за верблюдов всего тридцать пять юаней, да еще кличку Лото в придачу.

Как только Сянцзы смог подняться, его потянуло на улицу. Он не думал, что так ослаб, но у самой двери ноги у него подкосились, и он сел на землю. Долго сидел, словно в забытьи, обливаясь потом. Когда же слабость наконец прошла и Сянцзы открыл глаза, голод напомнил о себе: в пустом желудке бурчало. Сянцзы медленно поднялся, добрел до продавца пельменей, заказал порцию и снова сел на землю. Отпил глоток бульона, но почувствовал тошноту. Он долго держал бульон во рту и проглотил через силу. Есть больше не хотелось. Однако вскоре горячая жидкость пробудила аппетит, и Сянцзы почувствовал, как к нему возвращается жизнь.

Насытившись немного, Сянцзы впервые после болезни оглядел себя. Он сильно похудел, драные штаны были все в грязи.

Ему лень было шевельнуться, но хотелось немедленно умыться и привести себя в порядок: в таком ужасном виде невозможно появиться в городе. А где взять деньги на бритье, одежду, тапочки и носки? Из тридцати пяти юаней, вырученных за верблюдов, нельзя тратить ни одного. Ведь даже этого на коляску не хватит! Но тут ему стало жаль себя. Хотя солдаты и недолго таскали его за собой, эти дни вспоминались как страшный сон; Сянцзы согнулся и будто сразу стал старше на несколько лет. Он глядел на свои огромные руки и ноги, и они казались ему чужими. На душе у Сянцзы было тяжело. Он старался не думать о пережитых опасностях и обидах, но не мог забыть ничего. Так в пасмурный день, даже не глядя на небо, человек ощущает его тяжесть и хмурость.

Сянцзы всегда дорожил своим здоровьем и теперь понял, что должен беречься. Несмотря на слабость, он решил сейчас же вымыться и переодеться, словно от этого зависело его выздоровление.

На одежду он потратил два юаня и два мао: купил брюки и куртку из грубой некрашеной ткани, синие матерчатые тапочки, соломенную шляпу и дешевые носки. Свою драную одежонку Сянцзы обменял на две коробки спичек.

С двумя коробками спичек Сянцзы отправился по большой дороге к Сичьжимыню. Вскоре он почувствовал недомогание и слабость, однако решил перебороть себя. Не мог же он взять рикшу! С любой точки зрения не мог. Во-первых, что такое восемь-десять ли для деревенского парня? А потом — он же сам рикша. Но даже не в этом дело. Смешно, что его, такого здорового и сильного, скрутила какая-то пустяковая болезнь. Нет, он во что бы то ни стало сам доберется до города, пусть даже через силу. Нельзя сдаваться. Если он сегодня отступит, значит, ему конец. Нельзя из-за болезни терять веру в себя!

Шатаясь, брел Сянцзы по дороге. Он прошел совсем немного, и тут в глазах у него потемнело. Земля и небо завертелись. Он долго стоял, прислонившись к иве, и старался прийти в себя, но не хотел садиться. Постепенно земля и небо перестали кружиться, и сердце успокоилось. Сянцзы вытер потную голову и снова двинулся в путь. Теперь, когда он выбрил голову и надел новую одежду, ноги не должны подводить его. Вперед!

Вскоре он добрался до предместий Бэйпина.

Когда Сянцзы увидел снующих повсюду людей, услышал резкие выкрики продавцов, вдохнул зловонный городской воздух и ощутил под ногами мягкую пыль и грязь, ему захотелось припасть к этой усыпанной отбросами милой, кормившей его земле и поцеловать ее.

У Сянцзы не осталось родных и был только один настоящий друг — этот древний город. Он давал ему все. Здесь и голодать

было не так тяжело, как в деревне, здесь было что послушать и на что посмотреть — всюду свет, шум, суета. Город сулил верный заработок, была бы только сила, которую можно продать. А сколько здесь всего: еды — не переесть, одежды — не переносить. Милостыню попросишь — и то перепадет что-нибудь вкусное, а в деревне и в хорошие дни приходилось довольствоваться сухой кукурузной лепешкой.

Перейдя мост Гаолянцяо, Сянцзы присел на берегу. По щекам его скатилось несколько горячих слезинок.

День клонился к закату. Поникли над рекой старые ивы, позолоченные лучами заходящего солнца. Река обмелела, вся заросла водорослями, похожими на длинные засаленные ленты, узкие и темно-зеленые, с затхлым запахом. На северном берегу реки уже колосилась пшеница, низкая, высохшая, серая от пыли. Листья лотоса лениво плавали в заводи у южного берега. По мосту взад и вперед сновали пешеходы и коляски с пассажирами. К концу дня люди как-то особенно торопились. Все это было необычайно близко и дорого сердцу Сянцзы. Только такую реку, такие деревья, лотосы и мосты мог он любить по-настоящему. Потому что все это — город Бэйпин.

Сянцзы сидел на берегу. Ему некуда было торопиться. Все было таким знакомым, таким родным, что здесь он бы даже умер с легким сердцем.

Сидел Сянцзы долго. Потом поднялся, подошел к мосту, купил у разносчика чашку соевого творога доуфу с уксусом, соей, перцем и мелко нашинкованной черемшой. Горячий, белый, как снег, доуфу издавал такой аромат, что у Сянцзы захватило дыхание. Он держал чашку, смотрел на темно-зеленую черемшу, и руки у него дрожали. Попробовав немного, добавил в чашку перца. От таких приправ Сянцзы согрелся и весь вспотел. Полузакрыв глаза, он попросил:

— Еще чашку!

Насытившись, Сянцзы снова почувствовал себя человеком. Солнце заходило, и его красноватые лучи отражались в реке. Сянцзы готов был плакать от счастья. Он погладил шрам на лице, нащупал деньги в кармане, бросил взгляд на угловую башню, залитую вечерним светом. Куда уж тут думать о всяких болезнях! Позабыв обо всем на свете, словно одержимый, Сянцзы устремился вперед.

У городских ворот скопились люди и коляски. Никто не решался обгонять других, но каждый старался поскорее проскочить это место. Здесь щелканье хлыстов, звонки, гудки рожков, крики, брань сливались в сплошной многоголосый гул.

Сянцзы кидало в толпе из стороны в сторону, руки его беспо-

мощно болтались, как плавники большой оглушенной рыбы, которую несет поток. С трудом он протиснулся наконец в город.

Глазам его предстала Синьцзекоу — широкая и прямая улица. Глаза Сянцзы вспыхнули, словно окна, в которых отразились закатные лучи. Он шел быстро, радостно кивая головой в такт шагам.

Постель его осталась на улице Сианьмынь, поэтому прежде всего он решил пойти туда. Как многие холостяки, жил он при конторе проката «Жэньхэчан», хотя далеко не всегда пользовался ее колясками.

Хозяину конторы Лю Сые вот-вот должно было исполниться семьдесят. Но несмотря на преклонный возраст, честностью он не отличался. В молодости, еще при маньчжурах, Лю Сые служил солдатом, потом держал игорный притон, торговал живым товаром, давал деньги в рост. Все качества, необходимые для подобного рода занятий,— сила, смекалка, коварство, связи, удачливость— были тогда у Лю Сые. Он участвовал в поножовщинах, похищал женщин. В полиции на допросах его не раз пытали, но он молчал и никогда не просил пощады. Суд ничего не мог с ним поделать: отсюда и пошла его «слава». Последний раз он вышел из тюрьмы после провозглашения республики[1]. Полиция приобретала все большую силу. Лю Сые понял, что «подвигам» его пришел конец. Пусть воскреснет сам Хуан Тяньба[2] — прошлого не вернешь. И тогда Лю Сые решил открыть прокатную контору.

Этот проходимец знал, как обращаться с бедняками: кого поманить пряником, кого огреть кнутом. Он умел держать людей в руках, и рикши не смели ему перечить. Бывало, он только глянет да так свирепо осклабится, что от его звериной усмешки людей бросало то в жар, то в холод. Рикши предпочитали терпеть.

Сейчас Лю Сые имел больше шестидесяти колясок. Самые плохие из них были почти новыми: старых он не держал, за прокат брал больше, чем другие, зато в праздники, три дня в год, а не один, как остальные хозяева, освобождал рикш от платы за коляску. В «Жэньхэчане» было где поместиться, и холостяки жили там бесплатно, но они должны были своевременно расплачиваться за коляски. Того, кто задерживал плату да еще вступал в пререкания, хозяин просто выбрасывал на улицу. Ну, а если рикше требовалась помощь или он серьезно заболевал, тут хозяин, как говорится, зимой снега не жалел. Это тоже его по-своему «прославляло».

---

[1] Имеется в виду буржуазная республика, провозглашенная в 1911 г. после свержения маньчжурской династии Цин.

[2] Хуан Тяньба — персонаж популярной средневековой пьесы «Деяния судьи Ши», помощник судьи Ши, отличавшийся смелостью, ловкостью, находчивостью.

Несмотря на возраст, Лю Сые держался прямо и мог без труда пройти двадцать ли. Ростом он был с Сянцзы, брил голову и не отпускал усов. У него были большие круглые глаза, огромный нос, квадратный рот с двумя большими клыками. Оскалится — чистый тигр! Он гордился тем, что походил на тигра. К вящему сожалению старика, у него не было сыновей, а одна лишь дочь лет тридцати семи. Кто знал Лю Сые, тот знал и его дочь Хуню. В ней тоже было что-то от тигрицы, мужчинам она внушала страх. Хуню была хорошей помощницей отцу, но претендентов на ее руку не находилось. Хуню была груба, не смущаясь, ругалась, как рикши, а то и похлестче. Отец хозяйничал во дворе, дочь — в доме. У них во всем царил строжайший порядок.

Контора «Жэньхэчан» имела солидную репутацию. Владельцы других контор, да и сами рикши даже повторяли высказывания старика, как образованные люди цитируют каноны.

Сянцзы брал коляску у Лю Сые, пока не приобрел собственную. Свои сбережения он отдавал хозяину на хранение, а когда скопилось достаточно, взял все сразу и купил коляску.

— Лю Сые, взгляни на мою красавицу! — похвастался Сянцзы, прикатив коляску в «Жэньхэчан».

Старик поглядел и кивнул:

— Ничего!

— Пока поживу здесь. А когда найду постоянную работу, перееду к хозяевам! — гордо сказал Сянцзы.

— Ладно,— снова кивнул Лю Сые.

Жить у Лю Сые и не пользоваться его колясками казалось рикшам делом неслыханным. Поэтому одни считали Сянцзы дальним родственником Лю Сые, другие думали, что Сянцзы приглянулся старику и тот задумал женить его на своей дочери.

Многие завидовали Сянцзы. Если и в самом деле так случится, думали они, то после смерти Лю Сые «Жэньхэчан» перейдет к Сянцзы. Конечно, это были только догадки, и в присутствии Сянцзы рикши не позволяли себе никаких шуток. В действительности же старик Лю хорошо относился к Сянцзы совсем по другим причинам. В любой обстановке Сянцзы не менял своих привычек. Стань он, допустим, солдатом, он не смог бы без всякой причины жестоко обходиться с людьми только потому, что напялил на себя солдатскую форму. Вот и в прокатной конторе он никогда не сидел сложа руки. Вернется с работы, смоет пот и тут же принимается за какое-нибудь дело: накачивает камеры, просушивает прорезиненные тенты, чистит и смазывает коляски. Его не надо было ни о чем просить, он сам охотно помогал хозяину, словно находил в этом удовольствие. В «Жэньхэчане» обычно жило рикш двадцать, а то и больше. Все они, поставив коляски на место, либо

болтали, либо заваливались спать. Один лишь Сянцзы работал без устали. Вначале все считали, что он выслуживается перед Лю Сые. Но вскоре убедились, что он не преследует никаких корыстных целей, а все делает искренне, от души. Пересуды прекратились.

Лю Сые никогда не хвалил его и ничем не выделял, однако у старика был свой расчет. Он понимал, что Сянцзы мастер на все руки, и хотел, чтобы парень жил у него, пусть даже он не пользуется его колясками. Пока Сянцзы здесь, по крайней мере во дворе и у дома всегда чисто, не говоря уже о других услугах, которые он оказывает.

Хуню тоже нравился этот глуповатый верзила. Что бы она ни говорила, он ее внимательно выслушивал, не вступая в пререкания и не огрызаясь, как другие рикши, хлебнувшие горя. Хуню не боялась пререканий, она просто не обращала на рикш внимания. Все добрые слова она оставляла для Сянцзы. Когда он находил постоянную работу, отец и дочь словно теряли старого друга. А когда возвращался, старик даже бранился по-другому, мягко и добродушно.

На этот раз Сянцзы вернулся в «Жэньхэчан» без коляски, с двумя коробками спичек. Сумерки еще не наступили. Отец и дочь как раз ужинали. Увидев Сянцзы, Хуню опустила палочки для еды.

— Тебя что, Сянцзы, волки съели? Или ты был на золотых приисках в Африке?

Сянцзы только вздохнул.

Большие круглые глаза Лю Сые испытующе оглядели Сянцзы, от тапочек до новой соломенной шляпы, но старик ничего не сказал.

— Поужинай с нами, если еще не ел,— пригласила его Хуню, как близкого друга.

Сянцзы не ответил, но на сердце у него потеплело. Он давно считал «Жэньхэчан» своим домом, потому что все остальное было слишком непостоянным: и хозяева, и пассажиры. Только здесь ему всегда позволяли жить, и только здесь он мог при желании отвести душу. Вот и сейчас он возвратился оттуда, откуда мог совсем не вернуться, только вошел, а уже увидел знакомых людей, и его приглашают поужинать... Сянцзы чуть не расплакался от радости.

— Я только что съел две чашки доуфу,— вежливо объяснил он.

— Где ты был? — Круглые глаза Лю Сые все еще в упор смотрели на Сянцзы.— Где твоя коляска?

— Коляска? — Сянцзы сглотнул.

— Ты сначала поешь, не бойся, не отравишься. Доуфу разве еда? — Хуню потянула его к столу, как сестра любимого брата.

Однако Сянцзы не сразу взял чашку. Прежде всего он вытащил деньги.

— Сые, возьми, здесь тридцать юаней,— сказал он, положив мелочь себе в карман.

— Откуда они? — Старик вопросительно вскинул брови.

За едой Сянцзы рассказал о своих злоключениях.

— Эх ты, дурья башка! — проговорил Лю Сые, качая головой.— Привел бы их в город, продал мясникам, и то получил бы больше. А зимой, когда верблюды обрастают шерстью, за них, пожалуй, дали бы все шестьдесят юаней.

Сянцзы и раньше мучило раскаяние, что он продешевил, а теперь он окончательно расстроился. Но, поразмыслив, решил, что продать трех здоровехоньких верблюдов мясникам на убой было бы просто нечестно. Ведь он спасался вместе с ними от одной беды! Этого Сянцзы вслух не сказал, но успокоился.

Хуню убрала посуду. Лю Сые запрокинул голову, будто вспомнил что-то, и вдруг рассмеялся, обнажив клыки, которые с каждым годом, казалось, становились длиннее.

— Дурень! Говоришь, три дня провалялся в Хайдяне? Почему же ты из Хуанцуня не шел прямиком, по большой дороге?

— Я обошел Сишань, боялся, что на большой дороге меня, чего доброго, примут за дезертира и схватят.

Лю Сые снова захохотал, прищурив глаза. Он боялся, что Сянцзы его обманывает. А что, если парень ограбил кого-нибудь? В таком случае он, Сые, укрывает краденое? В молодости он сам занимался всякими темными делишками, но сейчас вроде бы встал на праведный путь и должен быть осторожным. А это он умеет.

В рассказе Сянцзы была только одна эта неувязка, но Сянцзы говорил без запинки, и старик успокоился.

— Что думаешь с этим делать? — спросил Лю Сые, указывая на деньги.

— Послушаю, что ты скажешь.

— Снова хочешь купить коляску? — Лю Сые обнажил клыки, словно собираясь упрекнуть Сянцзы: мол, купишь коляску, а жить у меня останешься?

— Денег маловато. Покупать надо новую.— Сянцзы старался не смотреть на клыки старика.

— Может, одолжить? Под один процент, только для тебя. Другим в долг под два с половиной.

Сянцзы покачал головой.

— Лучше платить проценты мне, чем брать коляску в рассрочку,— продолжал старик.

— Я и не собираюсь,— проговорил Сянцзы решительно.— Накоплю сколько надо, тогда и куплю сразу.

Старик удивленно посмотрел на Сянцзы. «Ишь какой умный стал!» — подумал он, но так и не смог на него рассердиться. Через секунду он взял деньги.

— Здесь тридцать? Смотри, не обманывай!

— Ровно тридцать.— Сянцзы поднялся.— Пойду спать. Прими от меня в подарок! — Он положил на стол коробок спичек, помялся с минуту, затем добавил: — Только никому не рассказывай об этих верблюдах.

Глава пятая

Старик Лю сдержал слово и никому ничего не сказал. Но об этой истории очень быстро проведали рикши. Прежде они хорошо относились к Сянцзы и даже его замкнутость объясняли неумением сходиться с людьми. Когда же история с верблюдами сделалась всеобщим достоянием, рикши стали смотреть на него по-другому, хотя Сянцзы вел себя по-прежнему и трудился не покладая рук. Одни говорили, что он нашел золотые часы, другие — что ему с неба свалились триста долларов, а те, кто считал себя наиболее сведущим, утверждали, будто он пригнал из Сишаня тридцать верблюдов.

В общем, говорили разное, но все разговоры сводились к тому, что, раз он что-то скрывает, значит, разбогател нечестным путем. Этого рикши ему простить не могли, но в душе относились к нему с уважением. Труд рикши — дело настолько нелегкое, что каждый мечтал разбогатеть. А так как это было почти невозможно, то рикши считали счастливыми тех, на чью долю выпадало богатство.

Молчаливость и замкнутость Сянцзы они принимали теперь за спесь. Но богачу и положено вести себя таким образом, а рикшам — перед ним заискивать.

— Ну, хватит тебе. Сянцзы, расскажи, как ты разбогател!

Подобными просьбами они донимали Сянцзы каждый день. Он отмалчивался. А когда они выводили его из себя, шрам у него на щеке наливался кровью и он огрызался:

— Разбогател?! А где же моя коляска, дьявол вас побери!

В самом деле, где его коляска! Люди задумывались. Но всегда приятнее радоваться чужому счастью, чем переживать за чужое горе. Поэтому все забывали о коляске Сянцзы, а помнили только о его удаче. Однако, убедившись, что он не переменил профессию, не обзавелся ни домом, ни землей, люди потеряли к нему интерес. Его называли теперь Лото Сянцзы, но никто не спрашивал, откуда у него эта кличка, словно он с ней и родился.

Однако сам Сянцзы не мог так легко и быстро забыть обо всем случившемся. Он очень переживал, что не может купить новую коляску. И чем больше переживал, тем чаще вспоминал о постигшей его беде. С утра до позднего вечера он работал, не зная отдыха, но недавнее прошлое неотступно напоминало о себе. На душе у него становилось все тревожнее. Невольно приходила на ум мысль: что ждет его впереди? Станет ли мир справедливее оттого, что какой-нибудь один человек выбьется в люди? По какому праву, за что отобрали у него коляску? Вот он купит другую, но как знать, не постигнет ли ее та же участь?

Прошлое казалось ему страшным сном, и в будущее он почти утратил веру. Сянцзы видел, как другие пьют, курят, ходят в дома терпимости, и почти завидовал им. Если не удается выбиться в люди, почему не пожить в свое удовольствие? Его собратья поступают правильно! Конечно, он не бросится сразу в публичный дом, но почему не выпить рюмку-другую? Больше всего его тянуло к табаку и вину. Ему казалось, что на это уйдет не так уж много денег, зато он забудется и сможет, как и прежде, смело смотреть вперед.

Но пока он не притрагивался ни к вину, ни к табаку. Нужно беречь каждый медяк, иначе не видать ему коляски. А купить ее он обязан. Без собственной коляски и жить не стоит. Он не мечтал стать чиновником, разбогатеть, нажить состояние; его способностей хватало только на то, чтобы возить свою коляску. Это было его самой большой мечтой.

Целыми днями Сянцзы думал об этом и пересчитывал деньги. Забыть о своей коляске значило признать, что он всего лишь быстроногое животное, без всякого будущего. Какую бы хорошую коляску он ни брал напрокат, Сянцзы возил ее без всякой радости, словно таскал на себе кирпичи. Он никогда не бросал коляску где попало, всегда сдавал ее хозяину вычищенную до блеска, но делал это равнодушно, лишь потому, что был от природы аккуратен и добросовестен. Вот если бы он приводил в порядок свою коляску и подсчитывал собственную выручку, тогда другое дело, тогда он испытывал бы настоящую радость.

Он все еще не курил и не пил, воздерживался даже от хорошего чая. Первоклассные рикши, такие, как он, в свободную минуту любили выпить чашку крепкого чая с сахаром, чтобы восстановить силы. Когда бежишь с коляской, пот льет ручьями, в горле пересыхает и так хочется настоящего чая, не шика ради, а потому, что это просто необходимо! Однако Сянцзы лишь мечтал о хорошем чае, а пил всегда самый плохой. Иногда он ругал себя за то, что отказывает себе во всем. Однако, если рикша хочет скопить хоть немного денег, он не может поступать иначе. Сянцзы не на-

дил себя. «Куплю коляску, все пойдет по-другому,— думал он.— Будь у меня своя коляска, я бы ничего не боялся!»

Он экономил на всем и старался заработать побольше. Когда не было постоянной работы, возил кого придется. Выкатывал коляску рано, возвращался поздно, не жалея ног, бегал до тех пор, пока не набирал определенной суммы. Иногда работал день и ночь без передышки. Раньше он не отбивал пассажиров у других рикш, особенно у старых, изнуренных работой. Разве им достанется что-нибудь, если он, молодой и сильный, с хорошей коляской, станет соперничать с ними?! Теперь это его не заботило. Он думал лишь о деньгах. Одной монетой больше — и хорошо. Он не считался ни с чем, перехватывал пассажиров у товарищей, не думая о том, каково им придется. Он был подобен дикому зверю, обезумевшему от голода. Возил всегда бегом — чтобы ни о чем не думать. Так спокойнее! Тем более что, стоя на месте, на коляску не заработаешь.

Лото Сянцзы уже не походил на прежнего Сянцзы. О нем шла дурная слава. Выхватив пассажира из-под носа у другого рикши, он слышал, как вслед ему несутся проклятья, но он не отвечал, а старался поскорей убежать. «Я никогда не поступал так бессовестно,— думал он.— Ах, если бы не коляска!» Он, казалось, готов был у всех просить прощения, но боялся в этом признаться даже себе. На стоянках или в чайных он часто замечал на себе недружелюбные взгляды рикш. Вначале ему хотелось все объяснить, но их холодность сдерживала его. К тому же он, как и прежде, не пил, не играл в карты и не любил судачить, поэтому рикши чуждались его, а он замыкался в себе и молчал.

Постепенно чувство неловкости сменилось у него наглостью. Сянцзы день ото дня становился все озлобленнее. Рикши смотрели на него с укором, но ему было наплевать. Он помнил, с каким сочувствием его встретили, когда он возвратился после своих злоключений. А теперь все его презирали. Сянцзы становилось не по себе. Даже в чайной он сидел один перед своим чайником, и на стоянках один пересчитывал заработанные медяки, еле сдерживая закипавшую злобу. Он не собирался драться с рикшами, хотя и не боялся потасовок. А они? Они тоже не боялись драк, но связываться с Сянцзы? В одиночку никто из них не смог бы его одолеть, а напасть всем на одного — тоже не велика честь.

Сянцзы решил не давать воли гневу, пока не приобретет коляску. Тогда все уладится, тогда не нужно будет волноваться из-за платы за прокат; он почувствует себя свободнее, не станет перехватывать пассажиров и обижать своих собратьев. Рассудив так, он посматривал на рикш спокойно, словно хотел им сказать: «Поживем — увидим, кто был прав».

Ему, конечно, не следовало так надрываться. Возвратившись в город, он не дождался, пока поправится окончательно, а тут же впрягся в работу. Он старался побороть слабость, не отдыхал, но все же частенько усталость давала о себе знать. Вся надежда была на то, что во время бега он пропотеет, и ломота в теле пройдет. В еде он себе не отказывал, но и не позволял ничего лишнего. Он видел, что сильно похудел, но находил утешение в том, что остался таким же высоким и мускулистым. Сянцзы всегда казалось, что, раз он крупнее других, значит, и выносливее. Ему не приходило в голову, что именно поэтому он должен есть больше других.

Хуню не раз выговаривала ему:

— Если ты, дурная башка, и дальше будешь так бегать — захаркаешь кровью! Пеняй тогда на себя!

Он хорошо понимал, что она говорит это из добрых побуждений. Но дела его шли неважно — где уж тут заботиться о здоровье?!

— Если я не буду так бегать, разве мне купить коляску? — вскипел он однажды, злобно уставившись на Хуню.

Будь на его месте кто-нибудь другой, Хуню орала бы добрых полдня, но с Сянцзы она была покладиста и терпелива, поэтому только и сказала:

— Не все сразу делается, и ты не железный! Не мешало бы тебе отдохнуть день-другой!

Сянцзы не обратил внимания на ее слова, и Хуню добавила:

— Как знаешь! Протянешь ноги — вини себя!

Лю Сые тоже был не совсем доволен. Сянцзы работал, не щадя сил, выезжал рано, возвращался поздно, а это не шло коляскам на пользу. Конечно, рикши, берущие коляски на весь день, могли начинать и заканчивать работу в любой час, но если все будут лезть из кожи вон, коляски наверняка износятся на полгода раньше. Ни одна вещь не выдержит, если с ней так обращаться. Кроме того, у Сянцзы теперь совсем не оставалось времени на то, чтобы ухаживать за колясками хозяина. Старик хмурился, но молчал.

Сдавая коляску на целый день, хозяин не ограничивал рикш во времени — так было принято. Приводить коляски в порядок не входило в обязанности рикш; это делалось по доброй воле, а потому Лю Сые, дорожа своей «славой», не мог выказывать Сянцзы недовольство. Но это недовольство притаилось в щелках его глаз и в углах крепко сжатых губ. Частенько ему хотелось просто выгнать Сянцзы, однако, взглянув на дочь, он сдерживал себя. Хуню нравился этот неотесанный малый — так что лучше не вмешиваться. Дочь-то у него одна! И по всему видно, что замуж ей уже не выйти. Не лишать же ее единственного приятеля!

Говоря по совести, Хуню была нужна ему самому, и Лю Сые вовсе не стремился выдать ее замуж. Однако он чувствовал себя перед дочерью виноватым и немного побаивался ее. Он, Лю Сые, никогда ничего не страшившийся, на старости лет стал бояться собственной дочери! Испытывая угрызения совести, он старался оправдать себя: раз он кого-то боится, значит, не такой уж он пропащий человек, и ему не грозят страшные кары на том свете. Получалось, что из-за дочери он не мог выгнать Сянцзы. Это, разумеется, не значило, что он во всем ей потворствовал и, уж конечно, не собирался выдавать ее замуж за этого неотесанного дурня. Нет! Он догадывался, что дочь имела на Сянцзы виды, но сам парень, похоже, об этом и не подозревал. На всякий случай старик был настороже, но заранее огорчать дочь не хотел.

Сянцзы не замечал, что хозяин сердится: ему некогда было обращать внимание на такие пустяки. И если он мечтал покинуть «Жэньхэчан», то вовсе не из-за Лю Сые — просто ему хотелось найти постоянное место. Надоело возить кого попало, отнимая чужой заработок и вызывая всеобщую ненависть. Кроме того, он никогда не знал, сколько заработает; сегодня выходило больше, завтра меньше, и трудно было рассчитать, когда наберется нужная сумма. А ему так хотелось знать точно. Пусть у него пока немного денег, главное — каждый месяц откладывать определенную сумму, тогда он успокоится и будет уверен в своем будущем. Он хотел, чтобы в его жизни все было ясно и определенно.

После долгих поисков Сянцзы нашел постоянное место. Но оно не пришлось ему по душе. На этот раз он нанялся к Янам. Господин Ян был шанхайцем, одна его жена — северянка, уроженка Тяньцзиня, другая — южанка, из Сучжоу. Один господин и две госпожи, хоть и говорили на разных диалектах, наплодили бог знает сколько детей!

В первый же день Сянцзы сбился с ног. Ранним утром он повез жену-северянку на рынок за продуктами. Возвратившись, стал развозить господских детей: одних в среднюю школу, других — в начальную, третьих — в детскую группу. Школы разные, возраст разный, физиономии разные, но все отпрыски Яна были одинаково песносны, особенно когда сидели в коляске. Даже самые спокойные из них вертелись, как обезьяны! Развез детей, вези на службу господина Яна. Вернулся домой — доставь вторую госпожу на рынок, а потом к родственникам, а потом к знакомым. Не успел вернуться — настало время везти детей к обеду. После обеда Сянцзы снова отвез их в школу. Теперь вроде можно было бы и поесть, но госпожа своим тяньцзинским говором приказала ему натаскать воды. Питьевую воду доставляли Янам на дом, воду же для стирки обычно носили слуги. Это не входило в обязанности Сянцзы, но,

чтобы не портить отношений с хозяевами, он не перечил. Не говоря ни слова, он наполнил водой чан, ведра и только собрался поесть, как вторая госпожа послала его за покупками.

Обе госпожи не ладили между собой, но в управлении домом придерживались единых взглядов: не позволяли слугам ни минуты сидеть без дела и не желали видеть их за едой. Сянцзы не знал этого. Он подумал, что просто выдался такой суматошный день, и по дороге купил себе несколько лепешек. Деньги он любил больше жизни, но ради коляски следовало подумать и о своем здоровье.

Вернувшись с покупками, Сянцзы получил от первой госпожи приказание подмести двор. Господин и обе госпожи одевались красиво и заботились о своей внешности, но комнаты и двор напоминали свалку. Сянцзы мутило от этой грязи, и он взялся за уборку, совершенно позабыв о том, что это не его дело. Когда он вычистил двор, вторая госпожа велела ему заодно подмести в комнатах. Сянцзы не возражал, но его удивило, как могли эти с виду приличные и красивые дамы развести у себя такую несусветную грязь! Когда он прибрал комнаты, вторая госпожа вручила ему годовалого чумазого дьяволенка. Сянцзы не знал, что с ним делать. Бывало, он брался за всякую работу, но нянчить детей ему не приходилось. Поэтому он крепко и вместе с тем бережно держал маленького господина, боясь, как бы тот не выскользнул из рук. Сянцзы был весь в поту. В конце концов он попытался отдать это сокровище большеногой деревенской служанке Чжанма, но та встретила его бранью.

В доме Янов прислуга держалась не больше трех — пяти дней. Господа считали слуг своими домашними рабами и драли с них три шкуры,— иначе за что же им платить? Только Чжанма жила у этих хозяев вот уже шестой год. И лишь потому, что сама могла обругать кого угодно. Как только ее задевали, она тут же разражалась потоками брани. Ехидство господина Яна, бойкий язычок первой госпожи и трескотня второй казались непревзойденными, но, сталкиваясь с разъяренной Чжанма, господа чувствовали, что перед ними противник, достойный уважения.

Сянцзы вырос среди вежливых северян и больше всего не любил, когда при нем ругались без всякой причины. Он не посмел ударить Чжанма, так как порядочный человек не бьет женщин, и не стал отвечать на ругань. Он просто уставился на Чжанма в упор, и она замолчала, почувствовав опасность.

Как раз в эту минуту первая госпожа приказала Сянцзы ехать за детьми в школу. Он поспешил отдать ребенка второй госпоже. Та приняла это за оскорбление и без стеснения обругала его последними словами. Первая госпожа в душе была недовольна тем, что он нянчится с ребенком второй госпожи, однако, услышав, как

Сянцзы влетает от второй госпожи, тоже открыла рот и в свою очередь напустилась на него. Сянцзы оказался под перекрестным огнем. Он схватил коляску и умчался, позабыв даже рассердиться. Ему никогда не случалось бывать в таких переделках, и с непривычки у него кружилась голова.

Когда он доставил одного за другим всех детей, поднялся галдеж, какого не бывает и на рынке. Женщины ругались, дети ревели — во дворе творилось что-то невообразимое, как бывает у театра после спектакля. Хорошо еще, что Сянцзы нужно было спешить за господином Яном, и он быстро покинул двор. Шум улицы показался ему после этого ласковым шепотом.

Только часам к двенадцати ночи Сянцзы смог передохнуть. Он чувствовал страшную усталость, голова трещала. Все в доме Янов, и старые и малые, наконец угомонились, а в ушах Сянцзы все еще стояла разноголосая брань, словно рядом одновременно прокручивалось несколько патефонных пластинок.

Не в силах ни о чем думать, он решил забыться сном. Но когда вошел в свою каморку, сердце его сжалось и сон как рукой сняло. Дощатая перегородка разделяла каморку пополам; в каждую половину вела отдельная дверь. В одной половине жила Чжанма, другую отвели для Сянцзы. Лампы не было, крохотное оконце выходило на улицу, и сквозь него проникал тусклый свет уличного фонаря. От земляного пола отвратительно пахло сыростью и пылью, никаких вещей в каморке, кроме топчана, не было. Сянцзы ощупал топчан и понял: если лечь как следует, то ног не выпрямишь, упрешься в стену; если вытянуть ноги, то придется полусидеть, а свернувшись калачиком он спать не привык. Поразмыслив, он поставил топчан наискосок,— правда, ноги будут свисать, но ничего, как-нибудь притерпится.

Сянцзы внес постель, устроился кое-как, но долго не мог уснуть. Он силился не открывать глаз, уговаривал себя: спи, завтра рано вставать! Чего только ты не натерпелся, неужели не перенесешь и этого? Пусть кормят плохо, пусть работа трудная. Зато, может быть, хозяева часто устраивают банкеты, приглашают гостей, играют в карты... Зачем ты сюда нанимался? Разве не ради денег? Лишь бы побольше платили, стерпишь все.

Рассуждая так, он почти совсем успокоился: казалось, в каморке и пахло уже не так скверно. Незаметно Сянцзы уснул. Сквозь сон он чувствовал, как его кусают клопы, но был не в силах даже пошевельнуться.

Прошло два дня. Сянцзы словно окаменел, все стало ему безразлично. На четвертый день пришли в гости две дамы. Чжанма быстро приготовила столик для карт. В душе Сянцзы словно повеял весенний теплый ветерок. Началась игра. Чжанма прислужи-

вала гостям, и, естественно, всех детей поручили заботам Сянцзы. Ему быстро надоела эта шумная орава, но, украдкой заглянув в комнату, он увидел, как первая госпожа деловито собирает выигрыш, и подумал: пусть у нее скверный характер, но она, должно быть, знает, что в таких случаях нужно и слуге подкинуть три-четыре мао. Он решил быть терпеливым с этими мартышками. Ради чаевых он должен относиться к ним, как к маленьким господам.

Когда кончили играть, госпожа велела Сянцзы отвезти гостей. Обе госпожи заволновались: они хотели ехать домой вместе. Пришлось искать еще одну коляску. Сянцзы крикнул рикшу. Первая госпожа, шаря в карманах, орала во все горло:

— Что вы, что вы, мои дорогие! Приехали к нам, да еще платить за проезд! Удобно ли вам? Хорошо ли разместились?

Наконец госпожа вытащила один мао.

Сянцзы видел совершенно отчетливо, как дрожали ее руки, когда она отдавала деньги.

Отвезя гостей, Сянцзы принялся помогать Чжанма убирать карточный столик и все прочее, время от времени поглядывая на госпожу. Та приказала Чжанма принести кипяченой воды. А когда служанка вышла, протянула Сянцзы один мао:

— На, чего глаза пялишь!

Сянцзы побагровел, он выпрямился во весь свой рост, и голова его едва не коснулась балки. Схватив монету, он швырнул ее в заплывшее жиром лицо госпожи:

— Плати за четыре дня!

— Чего разошелся? — заверещала госпожа, но, взглянув на Сянцзы, умолкла.

Она выдала ему деньги за проработанные дни. Он бросил постель на сиденье коляски и покатил ее. Вслед ему неслась ругань.

Глава шестая

Стояла ранняя осень. Легкий ветерок шевелил листву. Сянцзы поднял голову, посмотрел на Млечный Путь. Вздохнул. Вечер был прохладный, но Сянцзы все казалось, что ему не хватает воздуха. Сердце его наполнилось безысходной тоской. Ему хотелось присесть и заплакать с горя: его, такого сильного и выносливого, мечтавшего только о том, чтобы встать на ноги, заставили уйти, выгнали со двора, как последнюю скотину! Он возненавидел весь род Янов!

Выкатив коляску на ярко освещенный безлюдный проспект, Сянцзы еще сильнее ощутил пустоту и растерянность. Медленно

тащился он со своей коляской, чувствуя всю безнадежность своего положения. Это был уже не прежний, не знающий устали Сянцзы, полный радужных надежд. Куда идти? Разумеется, в «Жэньхэчан». На сердце у него было тяжело.

Торговцы и люди физического труда не боятся, что останутся без дела,— куда страшнее упустить покупателя или постоянную работу! Обидно, когда посетитель заходит в закусочную или парикмахерскую и уходит, не воспользовавшись твоими услугами. Обидно, когда теряешь место. Сянцзы хорошо знал, как часто хозяева отказывают рикшам. Что ж, не уживешься у одного, найдешь другого. Но ведь он работал безропотно, унижался ради коляски, и все-таки его выжили, как последнего проходимца.

Ему было больно. Так стыдно возвращаться в «Жэньхэчан» и выслушивать насмешки рикш: «Смотрите, смотрите, Лото Сянцзы, оказывается, тоже поперли!»

Но куда же идти, если не в «Жэньхэчан»? И чтобы больше не раздумывать, он решительно направился туда.

Главная постройка «Жэньхэчана», если смотреть с фасада, состояла из трех помещений. В среднем была контора — сюда рикши могли заходить только для переговоров с хозяином и для денежных расчетов, торчать здесь без дела запрещалось, так как справа и слева от конторы были комнаты отца и дочери. К главной постройке с западной стороны примыкали выкрашенные темно-зеленым лаком двустворчатые ворота во двор, откуда выкатывали коляски; над воротами на железном крюке болталась яркая электрическая лампочка. А под ней — вывеска с большими золотистыми иероглифами: «Жэньхэчан».

Лампочка освещала и темную зелень лака на воротах, и позолоту иероглифов на вывеске. Взад-вперед сновали красивые коляски, покрытые темным или желтым лаком, с белоснежными чехлами — даже рикши ими гордились,— эти коляски были аристократами среди своего сословия. За воротами, позади главного помещения, был широкий квадратный двор, посредине которого рос могучий ясень. По обеим сторонам двора тянулись навесы для колясок. В южной постройке и в нескольких маленьких комнатах за ней, на заднем дворе, жили рикши.

Шел, наверное, уже двенадцатый час ночи, когда Сянцзы увидел яркую, но удивительно одинокую лампочку над вывеской «Жэньхэчан». В конторе и в комнате хозяина было темно, однако в комнате дочери еще горел свет. Сянцзы понял — Хуню не спит. Он решил войти потихоньку, чтобы она не услышала. Именно потому, что она хорошо к нему относилась. Сянцзы не хотелось, чтобы Хуню первая узнала о его неудаче. Но только он поравнялся с ее дверью, как она окликнула:

— Ой, Сянцзы, это ты?

Она хотела было пуститься в расспросы, но, взглянув на приунывшего Сянцзы и постельный сверток, удержалась.

Чего больше всего боишься, то непременно и случается. Стыд и тоска в сердце Сянцзы слились воедино, он стоял, не говоря ни слова, и только смотрел на Хуню. И она сегодня выглядела как-то необычно. То ли от света лампочки, то ли от пудры лицо ее казалось белее, чем всегда, и как-то добрее. Слегка подкрашенные губы придавали ей миловидность. Сянцзы удивился: он никогда не смотрел на Хуню как на женщину и сейчас, увидев эти подкрашенные губы, смутился. На ней были светло-зеленая шелковая курточка и темные штаны. При свете лампы курточка переливалась мягкими, чуть грустными тонами; она была коротенькая, из-под нее выглядывала белая полоска кожи на талии, еще более подчеркивавшая легкость одежды. Ветерок трепал штаны, словно они хотели убежать от предательской яркой лампочки в темноту и слиться с ночью.

Сянцзы в смятении опустил голову, но перед ним назойливо маячила зеленая сверкающая курточка. Хуню — он знал — никогда прежде не одевалась так. У нее, конечно, была возможность постоянно ходить в шелках, но она целыми днями была занята с рикшами, а потому носила штаны и куртку из простой, иногда цветной, но неяркой ткани. И вот сейчас Сянцзы увидел что-то необычное — хорошо знакомое, но необычное,— и на душе его стало тревожно.

Сянцзы надеялся, что Хуню сразу уйдет в комнату или прикажет ему что-нибудь сделать: никогда еще он не испытывал такой мучительной, невыразимой растерянности. Однако Хуню сделала шаг вперед и тихим голосом сказала:

— Ну, что ты застыл на месте? Иди поставь коляску и скорей возвращайся! Мне нужно поговорить с тобой.

Обычно он во всем повиновался ей, но сегодня она выглядела по-другому, и Сянцзы невольно призадумался. Он попытался собраться с мыслями, однако усталость мешала сосредоточиться. Сянцзы вкатил коляску во двор и бросил взгляд на комнаты, где жили рикши,— там было темно, наверное, все уже спали, а некоторые еще не возвратились. Поставив коляску на место, он подошел к двери Хуню. Сердце его тревожно билось.

— Входи же! Поговорим! — сказала она не то всерьез, не то шутя. Он помедлил и вошел.

На столе лежали не совсем спелые груши с зеленоватой кожицей, стояла водка и три фарфоровые рюмочки. На великолепном блюде красовались цыпленок в соевой подливе, жареная печенка и прочая снедь.

Хуню предложила ему стул:

— Я уже перекусила, угощайся и ты!

Она налила ему водки. Резкий запах спиртного, смешиваясь с запахом жареного цыпленка, дразнил аппетит.

— Выпей, закуси! Я уже наелась, так что не стесняйся! Я знала, что ты возвратишься; только что гадала на косточках, и они предсказали.

— Я не пью,— сказал Сянцзы, рассеянно глядя на рюмку.

— Не пьешь, так убирайся вон! Я ведь из добрых чувств, а ты не ценишь! Глупый ты, Лото, выпьешь — не умрешь. Я и то могу выпить еще четыре ляна [1]. Не веришь? Гляди!

Она налила почти полную рюмку и, закрыв глаза, залпом выпила водку.

— Теперь пей ты! — сказала она, подняв его рюмку.— Не выпьешь, за ворот вылью!

Злоба душила Сянцзы, не находя выхода; он готов был ударить Хуню — как она смеет над ним издеваться! Но Хуню всегда была с ним добра, да и со всеми держалась запросто — не стоило ее обижать.

«А раз не хочешь обидеть,— подумал он,— расскажи ей о своей беде!» Он не любил много говорить, но сегодня тысячи слов готовы были сорваться с его уст. «Надо поделиться с ней»,— решил он, почувствовав, что Хуню не смеется, а угощает его от души.

Он принял рюмку, отпил. Живительная влага медленно разлилась по телу. Сянцзы поднял голову, расправил плечи, но вдруг совсем некстати икнул. Хуню рассмеялась. Он с трудом допил рюмку и опасливо взглянул в сторону комнаты хозяина.

— Отца нет.— На лице Хуню блуждала улыбка.— Старик уехал в Наньюань к тетке на день рождения. Его не будет дня три.

Она снова налила ему рюмку. Сянцзы стало не по себе, в сердце закралось недоброе предчувствие. Но уйти он не мог. Лицо Хуню было так близко, яркие губы ее улыбались, кофточка сверкала и переливалась. Сянцзы чувствовал какое-то доселе неведомое волнение. Хуню оставалась такой же некрасивой, но в ней появилось что-то живое, привлекательное. Перед ним сидела все та же Хуню, а казалось — другая, незнакомая женщина.

Он не старался понять, что именно в ней изменилось, не мог сразу принять ее такой, но и отказаться от нее не хватало сил. Лицо его покраснело. Он отпил еще глоток для храбрости.

Вначале он хотел пожаловаться на свою судьбу, но сейчас забыл обо всем. Невольно он поглядывал на Хуню, и ему становилось все тревожнее. Наконец он понял, чего она добивается, и его

[1] Лян — мера веса, равная 37,3 г.

охватило горячее желание. Теперь он видел в Хуню только женщину.

Он предостерегал себя, сдерживался, да куда там! Сянцзы выпил три рюмки подряд и забыл об осторожности.

Он смотрел на нее затуманенным взором и не знал, отчего ему так весело, с чего он так расхрабрился. Ему хотелось сейчас же испытать что-то неизведанное, радостное. Раньше он побаивался Хуню, но теперь она уже не казалась ему страшной тигрицей, а себя он чувствовал таким сильным, что казалось, сможет подхватить ее на руки, как котенка... Свет в комнате погас.

На другой день Сянцзы проснулся очень рано и тотчас выкатил коляску. В голове шумело, мучила изжога — вероятно, оттого, что впервые выпил, но Сянцзы старался не замечать этого. Наслаждаясь утренним ветерком, он сел на землю и стал размышлять. Он знал, что головная боль пройдет, а вот душевный покой не скоро вернется.

Все случившееся этой ночью повергло его в смятение. Сянцзы мучил стыд, сердце сжималось, словно в предчувствии какой-то беды.

Почему Хуню так поступила? Всего несколько часов назад он узнал, что она не девица, а раньше Сянцзы относился к ней с уважением и никогда не слышал о ней ничего дурного. Ее никто не осуждал. Говорили только, что очень уж она сердита и на язык невоздержанна.

Что же случилось ночью? Все это казалось таким нелепым, что Сянцзы даже усомнился, не приснился ли ему дурной сон. Он давно не бывал в «Жэньхэчане», как же она могла его ждать? А что, если ей все равно — с кем?..

Сянцзы опустил голову. Он вырос в деревне, и хотя еще не задумывался о женитьбе, у него имелись свои планы на этот счет. Если он обзаведется собственной коляской, наладит жизнь и захочет жениться, то поедет в деревню и возьмет в жены молодую, сильную и трудолюбивую девушку, которая умеет и постирать и приготовить. Обычно мужчины его возраста, даже обремененные семьей, тайком бегают по белым домам [1]. Однако Сянцзы никогда этого не делал: он решил во что бы то ни стало выбиться в люди и не хотел тратить деньги на женщин, а кроме того, он знал, как страдали от дурных болезней завсегдатаи публичных домов. А ведь некоторым из них не было и двадцати! Наконец, он просто хотел остаться порядочным человеком, быть достойным своей будущей

---

[1] Белыми домами в старом Китае назывались низкоразрядные публичные дома.

жены. Когда-нибудь он женится на невинной девушке и должен сам быть чист. А теперь.. теперь...

Он вспомнил о Хуню. Может быть, она неплохой друг, но как она отвратительна, стара и бесстыдна! Вспоминать о ней было противнее, чем о солдатах, которые отняли у него коляску и чуть не лишили жизни! И она стала его первой женщиной! Из-за нее Сянцзы чувствовал себя развратником...

А что, если об этом заговорят? Что, если слух дойдет до Лю Сые? Знает ли старик, что его дочь — подпорченный товар? Если не знает, тогда он, Сянцзы, окажется во всем виноватым. А если старику давно все известно и он просто не желает сдерживать свою дочь — что же они тогда за люди? И он водится с такими подонками! Выходит, и сам он такой же негодяй? А вдруг они захотят его женить? Нет, ему не нужна такая жена. Все равно, сколько у ее отца колясок — шестьдесят, шестьсот или шесть тысяч. Надо немедленно оставить «Жэньхэчан», разом порвать с ними всеми. Когда-нибудь он снова купит коляску, а потом найдет себе достойную пару.

Он почувствовал себя молодцом: нечего бояться, не о чем печалиться, нужно лишь не жалеть сил, и все желания его исполнятся.

Подвернулись два пассажира, но Сянцзы с ними не сговорился, и настроение у него снова испортилось. Он не хотел больше думать о Хуню, однако мысли о ней преследовали его, волновали кровь. Он никогда не переживал ничего подобного. Даже если он порвет с ней, забыть ее все равно не сможет. Ему казалось, что он осквернил не только свое тело, но и душу, и это грязное пятно останется на всю жизнь. Однако, несмотря на ненависть и отвращение, которые он испытывал к Хуню, она не выходила у него из головы. Как только он пытался забыть о ней, она неожиданно вставала перед глазами, бесстыдная, голая, предлагая ему свое безобразное и вместе с тем влекущее тело Он походил на человека, которого засасывает зловонная трясина. Хотя все произошло так грубо и было так отвратительно, он не мог забыть эту ночь. Он старался не думать, но воспоминания всплывали сами собой, словно пустили корни в его сердце. Близость с женщиной была для него не только чем-то новым, она внесла в его жизнь тревогу. Сянцзы не знал, как вести себя с Хуню дальше. Он походил на мошку, попавшую в сети паука.

Сянцзы машинально отвез нескольких пассажиров, но даже в те минуты, когда он бежал с коляской, его не покидала мысль о случившемся. Он не помнил всего, в памяти всплывали какие-то отрывочные образы, неясные, горячечные, бередящие сердце. Ему захотелось напиться до потери сознания — может, станет легче, и

он избавится от этих мучений! Но он не посмел. Он не должен губить себя из-за женщины! Снова пытался думать о коляске, но не мог теперь сосредоточиться, что-то мешало ему: едва он вспоминал о коляске, как мысли его заволакивало туманом, будто тучи в небе заслоняли солнце.

Вечером, закончив работу, он почувствовал еще большую тяжесть на душе. Он боялся возвращаться в «Жэньхэчан», но деваться было некуда. А что, если он встретит *ее*? Что тогда делать? Сянцзы кружил по улицам с пустой коляской, раза три приближался к «Жэньхэчану», но вновь поворачивал и катил куда глаза глядят. Он походил на школьника, который впервые сбежал с урока и не решается вернуться домой.

Но удивительно, чем больше он хотел избавиться от Хуню, тем сильнее его влекло к ней. С наступлением темноты мысли о ней становились все настойчивее. Он знал, что не должен думать об этой женщине, но разбуженное желание говорило другое. Он испытывал такое же чувство, как в детстве, когда разорял осиные гнезда: и страшно, и руки дрожат от нетерпения, будто дьявол тебя подстрекает! Он чувствовал, что эта страсть сильнее его, что она способна его погубить, но не в силах был ей противиться.

Сянцзы снова возвратился к Сианьмыню. Он больше не колебался и решил идти прямо к Хуню. Она для него была теперь только женщиной. Все тело его горело.

У самых ворот конторы Сянцзы столкнулся под фонарем с мужчиной лет сорока. Лицо и походка этого человека показались ему знакомыми, но он не посмел его окликнуть, только машинально спросил:

— Вам коляску?

Человек удивился:

— Сянцзы?

— Да,— улыбнулся Сянцзы.— Господин Цао?

Господин Цао, тоже улыбаясь, кивнул головой.

— Как дела, Сянцзы? Если у тебя нет работы, приходи ко мне. Мой рикша очень ленив, даже коляску никогда не вытрет, хотя бегает быстро. Ну как, согласен?

— Как же не согласиться, господин? — Сянцзы мялся, не находя слов, и непрестанно вытирал мокрую от пота голову.— Когда можно приступить к работе?

Господин Цао подумал и сказал:

— Послезавтра.

— Хорошо, господин Цао: я отвезу вас домой.

— Не стоит. Я вечерами обычно прогуливаюсь. Я живу сейчас на улице Бэйчанцзе; с прежней квартиры я съехал, когда вернулся из Шанхая. Так что до послезавтра!

Господин Цао сообщил Сянцзы номер дома и на прощанье сказал:

— Возить меня будешь на моей коляске, как и раньше.

Сянцзы чуть не запрыгал от радости: сразу, словно ливнем, смыло все огорчения этих дней.

Господин Цао был его старым хозяином. Сянцзы работал у него недолго, но воспоминания сохранил самые теплые. Господин Цао был очень симпатичным человеком и семью имел небольшую: жену да сынишку.

Сянцзы устремился с коляской прямо в «Жэньхэчан». В комнате Хуню еще горел свет. Сянцзы замер.

Долго стоял он так и наконец все же решил повидать Хуню, сказать ей, что снова нашел постоянную работу. Надо расплатиться за коляску, взять свои сбережения и разом покончить с этим. Разумеется, он не сможет сказать ей все прямо, но она и так поймет.

Он въехал во двор, поставил коляску, храбро подошел к двери и окликнул Хуню.

— Войди!

Он толкнул дверь. Хуню полулежала на кровати, босая, в своей обычной одежде. Не поднимаясь, она лениво спросила:

— Что, понравилось?

Он покраснел как рак, долго стоял молча, потом медленно проговорил:

— Я нашел место. Послезавтра уйду. У хозяина своя коляска...

— Ах ты негодяй! Вот какой неблагодарный!

Хуню села и принялась его уговаривать:

— Здесь у тебя будет все: и еда и одежда. Неужели ты не можешь жить, не проливая вонючего пота? Я не хочу всю жизнь ходить в старых девах. Старик мне не указ. Если даже и заупрямится, у меня самой кое-что есть про запас. У нас будет несколько колясок — значит, каждый день принесет юань, а это куда лучше, чем месить грязь на улицах. Чем я плоха? Разве что немного старше тебя. Так ведь на самую малость! Я буду заботиться о тебе, жалеть тебя!

— Я хочу быть рикшей,— только и мог проговорить Сянцзы.

— Соломенная твоя башка! Сядь, я тебя не съем,— осклабилась Хуню, обнажив клыки.

Сянцзы в смятении присел.

— А где мои деньги?

— У отца. Не бойся, никуда не денутся. Ты пока денег не спрашивай. Знаешь ведь его характер! Вот когда наберется на коляску, тогда и возьмешь. А если сейчас потребуешь, только об-

лает, слово даю. Он к тебе хорошо относится. Деньги твои не пропадут: не хватит юаня — добавлю. Понял, деревенщина? А теперь не выводи меня из терпения!

Сянцзы ничего не ответил. Опустив голову, долго рылся в кармане, наконец достал деньги и положил на стол.

— Вот плата за день.— Помолчав, добавил: — Сегодня я сдаю коляску, завтра денек отдохну.

У него и мысли не было об отдыхе, но так лучше: расплатится и не будет больше жить в «Жэньхэчане».

Хуню схватила деньги и сунула ему обратно в карман.

— На этот раз и коляска и я — все бесплатно. Тебе повезло! Скажи спасибо...

Она заперла дверь.

Глава седьмая

Сянцзы переехал к Цао.

Ему было стыдно перед Хуню. Но ведь она сама втянула его в эту историю, он не зарился ни на нее, ни на ее деньги! Он считал, что может покинуть «Жэньхэчан» и порвать с ней, не чувствуя вины. Сянцзы беспокоило лишь то, что его деньги оставались у Лю Сые. Сразу потребовать — старик, чего доброго, заподозрит неладное. Да и Хуню, пожалуй, обозлится, наговорит чего-нибудь старику, и тогда плакали его денежки. Если же и дальше отдавать деньги Лю Сые на хранение, придется бывать в «Жэньхэчане», встречаться с Хуню, а перед ней он чувствовал себя неловко. Он не видел выхода. Ему хотелось посоветоваться с господином Цао, но как это сделать? Рассказать о своих отношениях с Хуню он не мог. Вспоминая о ней, он искренне раскаивался, да что толку! Сянцзы начинал понимать, что сразу с этим не разделаешься. Такого не забыть, как не смыть родимого пятна. И за что на него столько напастей. Сначала он лишился коляски, теперь ни с того ни с сего на его голову свалилась новая беда. Ему казалось, что так будет всю жизнь: ему никогда не выбиться в люди! Еще, чего доброго, придется забыть о чести и жениться на Хуню. И вовсе не из-за нее и не из-за колясок, а потому, что так случилось, и никуда не денешься!

Сянцзы снова потерял уверенность в себе. Его рост, сила, воля ничего не значили. Он-то думал, что жизнь принадлежит ему, а на самом деле ею управляли другие, люди без стыда и чести.

Если бы не эта история, Сянцзы мог быть доволен: господин Цао — самый лучший из всех хозяев, у каких ему доводилось ра-

ботать. Платил он столько же, сколько и другие, чаевые давал только по праздникам, три раза в год, зато был обходителен и добр. Конечно, Сянцзы мечтал заработать побольше, но в то же время ему хотелось иметь и сносное жилье, и сытный обед. У господина Цао везде было чисто, даже в комнатах для прислуги, кормили неплохо, и, уж во всяком случае, не тухлятиной. К тому же Сянцзы поселили в отдельной просторной комнате, где он мог спокойно поесть и отдохнуть. А главное — хозяева были людьми деликатными. Поэтому даже Сянцзы, такой жадный до денег, согласился пойти к ним на небольшое жалованье. Когда Сянцзы приходилось платить за еду из собственного кармана, он во многом себе отказывал. А теперь он жил на всем готовом — почему же не поесть вволю? Есть — не воду возить! Да, нелегко найти второе такое место, где бы так сытно кормили и где можно как следует выспаться и всегда быть опрятно одетым.

У господина Цао в карты не играли, гости приходили редко, и больших чаевых не перепадало, зато за каждое, даже незначительное, поручение Сянцзы всегда получал мао-другой. Пошлет, например, госпожа за пилюлями для ребенка — всегда даст лишний мао на проезд, хотя отлично знает, что он быстрее доберется пешком. Деньги небольшие, но он чувствовал доброе отношение к себе и понимал, что хозяева стараются сделать ему приятное.

На своем веку Сянцзы видел немало хозяев, и почти все они хоть на день задерживали жалованье, словно показывая, что могли бы вовсе не платить, и относились к слуге, как к собаке, а иногда и того хуже.

Господа Цао составляли исключение, поэтому Сянцзы и нравилось у них. Он убирал двор и поливал цветы, не дожидаясь, когда ему об этом скажут. Хозяева всякий раз хвалили его и дарили какую-нибудь старую вещь, чтобы он мог обменять ее на спички, но вещи эти были вполне пригодные, и Сянцзы оставлял их себе.

Сянцзы считал, что Лю Сые очень похож на Хуан Тяньба. Но кроме Хуан Тяньба, для Сянцзы существовал еще один важный человек — Конфуций [1]. Кто он такой, Сянцзы толком не знал, но слышал, будто это был очень образованный и вежливый господин.

Сянцзы приходилось работать у разных хозяев — и у военных, и у штатских. Среди штатских встречались преподаватели университетов и крупные чиновники, и хотя люди они были грамотные, но вежливостью не отличались. Если господин попадался сносный, нелегко было угодить госпоже или ее дочерям. Один только гос-

[1] Конфуций (551—479 гг. до н. э) — выдающийся философ Древнего Китая.

подин Цао был и образован и добр. Вот таким, как господин Цао, Сянцзы и представлял себе Конфуция.

На самом-то деле господин Цао не отличался особой ученостью: он был обыкновенным грамотным человеком, который где-то преподавал и вел еще кое-какие дела. Он считал себя социалистом и большим ценителем прекрасного, увлекался передовыми идеями и Вильямом Моррисом. Но ни в области политики, ни в области искусства настоящих, глубоких познаний не имел. Впрочем, господин Цао, видимо, сам понимал, что большие дела ему не по плечу, и все свои идеалы старался воплотить в повседневной работе и домашней жизни. Разумеется, обществу это не приносило особой пользы, но, по крайней мере, в личной жизни слова у господина Цао не расходились с делом.

Маленьким делам господин Цао придавал особое значение, видимо, считал, что главное — хорошо устроить свою семейную жизнь, а общество пусть существует, как ему угодно. Правда, иногда его мучили угрызения совести, но они исчезали, как только он возвращался в свою семью, этот оазис, где путник обретает пищу и свежую воду.

Сянцзы тоже посчастливилось набрести на этот оазис. Он так долго блуждал в пустыне, что ему это показалось чудом. Он еще никогда не встречал хозяев, подобных господину Цао, и тот представлялся ему почти святым. Может, потому, что Сянцзы мало знал людей, а может быть, потому, что такие люди, как господин Цао, попадаются редко.

Выезжая в город, господин Цао одевался просто, но изысканно. Сянцзы, одетый также опрятно, выглядел здоровым и сильным. Он возил господина Цао с искренним удовольствием, словно его удостоили великой чести.

Дома у господина Цао было так чисто и тихо, что Сянцзы не мог нарадоваться. У себя в деревне в зимние или осенние вечера ему часто доводилось видеть, как старики сидят у огня и попыхивают трубками. «В этом определенно что-то есть»,— думал он, глядя на молчаливых стариков. Но тогда по молодости он не мог последовать их примеру. Тишина в доме господина Цао живо напомнила Сянцзы родную деревню, и теперь ему хотелось так же молча посидеть, выкурить трубочку, вкусить радости неизведанного.

К несчастью, мысль о Хуню и деньгах, которые оставались у ее отца, не давала ему покоя. Он запутался, словно зеленый лист в клейких нитях гусеницы-шелкопряда. Частенько он смотрел на окружающих и даже на самого господина Цао отсутствующим взглядом, отвечал невпопад. Он совершенно измучился.

В доме Цао рано ложились спать, и к девяти часам вечера Сян-

цзы уже освобождался. Он сидел в своей комнате или во дворике и вновь и вновь обдумывал свое положение. Он додумался даже до того, что ему следует немедленно жениться: брак избавит его от мыслей о Хуню. Но может ли рикша прокормить семью? Он знал, как живут такие бедняки: мужчины возят коляски, женщины латают дыры, дети собирают недогоревший уголь, летом глодают арбузные корки, найденные в мусорных ямах, а зимой бегают за даровой похлебкой на раздаточные пункты.

Сянцзы не мог обречь свою семью на такую жизнь. И потом, если он женится, деньги, хранящиеся у старика Лю, пропадут. Разве Хуню пощадит его? А Сянцзы не мог расстаться с этими деньгами: он добыл их, рискуя жизнью.

Прошлой осенью у него была своя коляска, а сейчас нет ничего, кроме душевных мук да тридцати юаней, которые он не знает как вернуть. От этих дум Сянцзы становился все мрачнее и мрачнее.

Вскоре после осеннего праздника наступили холода. Надо было купить теплую одежду. Значит, опять потребуются деньги. Купишь одежду — ничего не сумеешь отложить. А коляска? Нет, лучше ни о чем не думать. Ведь если даже работаешь у одного хозяина, все равно без коляски — не жизнь.

Как-то господин Цао позднее обычного возвращался из восточной части города. Сянцзы вез коляску осторожно. Перед ним лежала ровная и в этот вечер почти безлюдная дорога. Уличные фонари излучали спокойный свет. Сянцзы ускорил шаг, и тоска, которая все эти дни терзала его, словно поутихла. Прислушиваясь к своим шагам, к поскрипыванию рессор, он на минуту забыл обо всем. Холодный ветер посвистывал, дул прямо в лицо, но Сянцзы расстегнул куртку. Он почувствовал странное облегчение. Ему казалось, что он мчится как на крыльях и может бежать так без конца. Он летел все быстрее. В один миг площадь Тяньаньмынь осталась позади. Его ноги, словно пружины, отталкивались от земли. Колеса вертелись так быстро, что не видно было спиц, шины едва касались мостовой. Коляску словно подхватил вихрь.

Господин Цао, видимо, задремал, иначе он наверняка запретил бы Сянцзы нестись с такой скоростью. А Сянцзы бежал, и в голове у него мелькало: «Устану, пропотею и хорошенько высплюсь. Ни о чем не буду думать».

Неподалеку от Бэйчанцзе деревья у Красной стены отбрасывали тень на дорогу. Сянцзы хотел было остановиться, но вместе с коляской налетел на груду камней. Он упал, что-то треснуло — сломались ручки.

— Что? Что случилось? — закричал господин Цао, выброшен-

ный из коляски. Сянцзы молча вскочил. Господин Цао тоже поднялся с земли.— Что произошло?

Перед ними громоздились камни, приготовленные для ремонта дороги, а красный фонарь почему-то не был выставлен.

— Ушиблись? — спросил Сянцзы.

— Нет... Я пойду пешком, а ты вези коляску.

Господин Цао еще не пришел в себя. Он шарил среди камней, проверяя, не обронил ли чего-нибудь.

Сянцзы поднял отломившийся кусок ручки.

— Вроде все цело,— сказал он, выкатывая коляску из камней.— Садитесь, прошу вас, садитесь.

Господину Цао не хотелось снова влезать в коляску, но, уловив мольбу в голосе Сянцзы, он согласился. Когда доехали до перекрестка, где горел фонарь, господин Цао увидел ссадину у себя на правой руке.

— Сянцзы, остановись! — крикнул он. Сянцзы обернулся — по лицу его текла кровь. Господин Цао перепугался.— Нет, нет, давай скорее! — крикнул он в растерянности.

Сянцзы, не разобравшись, решил, что господин велит ехать быстрее. Напрягая все силы, он вниг домчался до дома. Только здесь, поставив коляску, он увидел кровь на руке господина Цао. Сянцзы хотел побежать к госпоже за лекарством, но господин Цао остановил его.

— Не беспокойся обо мне, посмотри лучше на себя,— сказал он и поспешил в дом.

Только теперь Сянцзы почувствовал боль; у него были разбиты оба колена, правый локоть, и все лицо в крови. Не зная, что делать, он присел на каменную ступеньку и тупо уставился на сломанную коляску. У совершенно новой черной лакированной коляски безобразно торчали сломанные ручки с обнаженной белой сердцевиной. Коляска напоминала красивую куклу, у которой оторвали ноги.

— Сянцзы! — громко окликнула его служанка Гаома.— Куда ты запропастился?

Он не отзывался. Эти белые осколки дерева словно вонзились ему в самое сердце!

— Да ты что здесь притаился? Перепугал меня до смерти,— продолжала Гаома.— Пойдем, господин зовет!

Когда Гаома передавала что-нибудь, она тут же высказывала свое отношение к делу; получалось это очень непосредственно, однако понять ее было не всегда легко.

Гаома была вдова лет тридцати трех, шустрая, добросовестная, работящая. В других домах были недовольны тем, что она слишком разговорчива. Зато в доме Цао полюбили эту опрятную, смы-

шленую женщину. Она служила у них уже более двух лет, и, когда семья Цао выезжала куда-нибудь, ее всегда брали с собой.

— Господин зовет тебя! — повторила она.

Когда Сянцзы поднялся, она увидела кровь на его лице.

— Ой, страх-то какой! Что случилось? Что ж ты сидишь? Будет у тебя заражение крови, тогда узнаешь. Иди скорей! У господина есть лекарство!

Сянцзы шел впереди, Гаома, журя его, следовала за ним. Они вместе вошли в кабинет, где госпожа бинтовала руку мужа. При виде Сянцзы она так и ахнула.

— Госпожа, этот негодник здорово расшибся,— сказала Гаома, словно боясь, что хозяйка сама не заметит. Она быстро налила в таз холодной воды и затараторила: — Я знала, что этим кончится. Всегда летит как бешеный. Это рано или поздно должно было случиться. Вот и случилось. Ты чего стоишь, не умываешься? Умойся скорее, приложи лекарство. Ну!

Сянцзы стоял не шевелясь, поддерживая рукой правый локоть. Просто невероятно, как это он, деревенский парень с окровавленным лицом, попал в такой чистый и красивый кабинет. Все, казалось, поняли его мысли, даже Гаома затихла.

— Господин, найдите себе другого рикшу,— проговорил Сянцзы тихим, но твердым голосом и опустил голову.— Мое жалованье за этот месяц пусть пойдет на починку коляски; сломаны ручки, с левой стороны разбит фонарь, остальное в порядке.

— Прежде обмой раны и приложи лекарство, а потом потолкуем,— ответил господин Цао, глядя на свою забинтованную руку.

— Да, да, умойся сначала,— снова зачастила Гаома.— Ведь господин тебе ничего не говорит, так и не суйся раньше времени.

Однако Сянцзы не шевельнулся.

— Не нужно мне ничего, и так заживет. Что я за рикша! Вы мне дали постоянную работу, а я сломал коляску, ушиб вас...

Он не мог выразить словами свои переживания, но мука звучала в его голосе, Сянцзы чуть не плакал. Лишиться места, отдать заработанные деньги — для него это было равносильно самоубийству. Но честь казалась ему сейчас важнее жизни: ведь пострадал не кто-нибудь, а господин Цао! Случись это с госпожой Ян, он бы и ухом не повел. С ней он мог вести себя по-уличному грубо: раз она не считает его человеком, нечего разводить церемонии. Для нее главное деньги, так стоит ли говорить о приличиях? Но ведь господин Цао совсем другой человек. И сейчас Сянцзы был готов пожертвовать даже своими деньгами, лишь бы сохранить честь. Он ни на кого не роптал, только на свою судьбу. Он думал, что уйдет из дому Цао и никогда больше не возьмется за коляску. Его собственная жизнь ничего не стоит, и ею можно рисковать. Но

жизнь других людей? Что, если он расшибет кого-нибудь насмерть? Прежде его не тревожили подобные мысли, но теперь, когда пострадал господин Цао, Сянцзы был в отчаянии.

Видно, придется ему расстаться со своим опасным ремеслом, которое он считал самым лучшим и самым надежным. Но это значит проститься со своей мечтой. Ему казалось, что вся его жизнь пошла прахом. Теперь нечего и думать о том, чтобы стать первоклассным рикшей. Напрасно он вырос таким верзилой. Раньше, перевозя случайных пассажиров, он бесцеремонно отбивал заработок у других, вызывая общее негодование. Но ведь он поступал так лишь потому, что мечтал купить коляску. Тогда у него было оправдание. А сейчас? Натворить столько бед, нанявшись на постоянную работу! Что скажут люди, когда узнают, что он расшиб человека, сломал коляску... Какой из него рикша?! Нет, он не станет ждать, пока господин Цао выгонит его, лучше уйти самому.

— Умойся, Сянцзы,— услышал он вдруг голос господина Цао.— Зачем тебе уходить? Это не твоя вина. Когда выгружают на дороге камни, надо выставлять красный фонарь. Обмой раны,— повторил он,— и смажь лекарством.

— Верно говорит господин,— снова вмешалась Гаома.— Тебе, Сянцзы, должно быть стыдно. Ведь ты ушиб господина! Но раз господин говорит, что не твоя вина,— не расстраивайся! Поглядите на него — такой большой, здоровый, а сам как ребенок. До чего разволновался! Скажите ему что-нибудь, госпожа, пусть успокоится!

Гаома тараторила, как заведенная.

— Умойся поскорее,— промолвила госпожа Цао.— На тебя смотреть страшно.

Сянцзы все еще не мог прийти в себя, но, сообразив, что госпожа боится крови, вынес таз из кабинета и ополоснул лицо несколькими пригоршнями воды. Гаома с лекарством ждала его в комнате.

— А руки и ноги? — спросила она, смазав Сянцзы лицо.

— Да ничего...

Господа ушли отдыхать. Гаома с пузырьком в руках проводила Сянцзы, но, вместо того чтобы уйти, остановилась у порога и снова заговорила:

— Смажь все ссадины лекарством. Послушай, не стоит убиваться из-за такого пустяка. Раньше, когда был жив муж, я тоже часто бросала работу. Очень уж я уставала, а мужу ни до чего не было дела, и меня это злило. Все молодые вспыльчивы! Скажут тебе слово, и берешь расчет. Тот, кто собственным потом зарабатывает на жизнь, вовсе не раб. У них — поганые деньги, а у меня — гордость. Барыням я, видите ли, не угождала! Но сейчас

я куда покладистее. Муж умер, исчезли заботы, и характер стал лучше. Девятого сентября будет три года, как я здесь служу. Хоть чаевых перепадает мало, зато хозяева к нашему брату относятся неплохо. Мы, конечно, работаем ради денег, но все надо делать с умом. Если бегать от одного хозяина к другому, полгода можно проболтаться, а какой из этого толк? Лучше всего, если хозяин хороший, продержаться у него подольше. Чаевых мало, зато работа постоянная, хотя понемногу, а можно поднакопить деньжат. Хозяин молчит, и ты молчи. К чему лезть на рожон? Не думай, я не для них стараюсь. Ты мне как младший брат. В молодости можно погорячиться, но тебе этого делать не стоит. Упрямством сыт не будешь! Экий ты простак... Я бы на твоем месте поработала здесь подольше. Это ведь лучше, чем целыми днями болтаться без пристанища. Я не о них, о тебе пекусь. Мы ведь с тобой друзья! — Гаома перевела дух.— Ну ладно. До завтра. Не упрямься. Я человек откровенный. Что думаю, то и говорю.

Сянцзы чувствовал острую боль в локте и долго не мог уснуть. Он многое передумал за эту ночь и понял, что Гаома права. Все ерунда, истина в деньгах. Накопит денег, купит коляску. «Упрямством сыт не будешь!» — с этой мыслью он спокойно уснул.

Глава восьмая

Господин Цао починил коляску, ничего не удержав с Сянцзы. Госпожа дала ему таблетки, но он не стал их принимать. Об уходе Сянцзы больше не заговаривал. Несколько дней он чувствовал себя неловко, но потом понял, что Гаома права, и успокоился.

Жизнь снова вошла в колею. Сянцзы постепенно забыл об этой неприятности, и в душе его опять проснулись надежды. Глаза Сянцзы загорались, когда он, оставшись один в комнате, думал о том, как скопит денег и купит коляску. Сянцзы не был силен в арифметике и постоянно про себя или вслух упражнялся в вычислениях. Голова его была все время забита цифрами, хотя они не имели прямого отношения к наличным его деньгам.

Сянцзы относился к Гаома с уважением. Эта женщина казалась ему умнее и сообразительнее многих мужчин: она знала жизнь. Он не заговаривал с ней первым, но, встречаясь во дворе или в доме, охотно выслушивал ее, если она хотела что-нибудь сказать. Он подолгу раздумывал над каждым ее словом и всякий раз при встрече глуповато улыбался, выражая этим свою почтительность. Ей это доставляло видимое удовольствие, и она всегда находила для него время, как бы ни была занята. Однако Сянцзы не решал-

ся давать деньги в рост, как советовала ему Гаома. Получать проценты, конечно, неплохо, но дело это сопряжено с риском. Тем не менее Сяцзы охотно прислушивался к рассуждениям Гаома: ему хотелось перенять ее житейский опыт, чтобы лучше во всем разбираться. Но он не мог расстаться со старыми предубеждениями: отдавать свои деньги в чужие руки даже на время просто не было сил!

Гаома и в самом деле была практичной женщиной. После смерти мужа она все свои сбережения из месяца в месяц ссуживала слугам, полицейским или мелким торговцам — кому юань, кому два,— взимая самое малое по три процента. Бедняк, которому нечего есть, с радостью возьмет деньги и под сто процентов, если это единственный способ их раздобыть. Долги для бедняка погибель, он расплачивается за них своей кровью, но все-таки идет к ростовщику. Он готов на все, лишь бы передохнуть, и живет, стараясь не думать о завтрашнем дне.

Гаома сама испытала такую жизнь. Муж пьяный являлся к ней и не уходил до тех пор, пока она не доставала для него юань-другой. Если денег не было, муж устраивал перед домом хозяина скандал, и ей приходилось добывать их любой ценой. Сама жизнь привела ее к ростовщичеству. Гаома и не помышляла о мести за свои прошлые мучения, она считала, что делает доброе, разумное дело, выручая людей из беды. Так уж заведено: одним нужны деньги, другие готовы одолжить их, одни расставляют сети, другие в них лезут.

Раз в ростовщичестве нет ничего постыдного, рассуждала она, значит, надо действовать, не упускать своей выгоды. Надо быть дальновидной, ловкой и в то же время безжалостной, чтобы самой не попасть впросак. Она тратила на свои маленькие операции не меньше сил, чем управляющий банком, потому что они требовали большой осторожности и предусмотрительности.

И при большом, и при малом капитале в буржуазном обществе действует один и тот же закон: деньги просеиваются словно сквозь сито — вверху их много, внизу совсем мало, вверху остаются крупные, вниз попадает только мелочь. Иначе обстоит дело с принципами. Это и понятно: ведь принципы бесплотны и могут проскочить через любое, даже самое крошечное отверстие!

Все говорили, что Гаома жестока, и она сама признавала это. Но ее жестокость родилась от трудностей и нищеты. Стоило ей вспомнить о покойном муже и пережитых мучениях, как все вокруг начинало казаться несправедливым, бесчестным, и она закипала от гнева. Временами она бывала очень добра, но иногда не в меру сурова; она знала, что иначе в этом мире не проживешь.

Гаома не раз из добрых побуждений советовала Сянцзы отдавать деньги под проценты; ей хотелось ему помочь.

— Вот что я скажу тебе, Сянцзы,— говорила Гаома.— Если будешь держать деньги в кубышке, монета так и останется монетой, а если одолжишь их под проценты, одна монета родит другую, поверь мне! Сначала, конечно, все разузнай как следует, а уж потом давай. Для этого у тебя и голова на плечах. Если полицейский вовремя не заплатит процентов или не возвратит долг, иди к его начальнику. Одно слово — и его выгонят. Узнай хорошенько, когда он получает жалованье, пойди в участок, потребуй! Пусть попробует не возвратить! А барыш хороший. Главное — знать, кому можно одолжить, а кому нет. Послушай меня — не пожалеешь!

Сянцзы не знал, что отвечать. Пока он слушал Гаома, все виделось ему в радужном свете. Но когда он оставался один, наедине со своими мыслями, ему казалось, что самое верное — держать деньги при себе. Пусть лежат мертвым грузом, зато не пропадут.

Вот и сейчас он тихонько достал из своего тайника несколько юаней, заработанных за последние три месяца,— все серебряные — осторожно повертел каждую монету, стараясь, чтобы они не звякали. Какие они блестящие — душа радуется! Еще острее он почувствовал, что не в силах расстаться с ними, разве только отдать за коляску. Каждый живет, как может. Сянцзы так и не послушался совета Гаома.

В доме Фанов, где ему довелось как-то работать, вся семья от мала до велика, даже слуги, имели сберегательные книжки. Госпожа Фан уговаривала и Сянцзы:

— На книжку можно положить даже юань,— почему бы тебе не завести свою? Недаром говорят: «Береги деньги про черный день». Пока молодой, в силе, ты всегда можешь подзаработать. Но в году триста шестьдесят пять дней, и не все дни безоблачные. Дело это несложное, надежное и выгодное. Когда нужно, сразу можно взять деньги обратно. Очень удобно! Иди принеси бланк, я заполню его, а то ведь ты писать не умеешь. Я тебе добра желаю!

Сянцзы знал, что госпожа говорит искренне, знал также, что повар Ванлю и кормилица Цинма имеют сберегательные книжки. Решился было и он завести себе счет. Но тут госпожа велела ему отнести в сберегательную кассу десять юаней. Сянцзы очень внимательно рассмотрел ее книжку: сверху какие-то иероглифы и маленькая красная печать, в общем, легонькая бумажонка. Когда он сдал деньги, в книжку вписали всего лишь несколько иероглифов и поставили еще одну маленькую печать. Он был уверен, что здесь дело не чисто: берут сверкающее серебро, пишут что-то, и готово. Нет, Сянцзы не попадется на эту удочку! Он заподозрил

даже, что господин Фан вступил в сделку с этой сберегательной кассой. Он всегда считал сберкассу торговой фирмой, повсюду имеющей свои филиалы. Она, по-видимому, такая же почтенная, как самые известные торговые фирмы — Жуй Фусян и Хун Цзи,— наверное, потому госпожа так уговаривала его. Может быть, он ошибается, но все равно лучше держать деньги при себе. Куда надежнее! Деньги на книжке — это всего лишь несколько иероглифов!

Сянцзы знал, что возле банков и денежных контор легко найти пассажира и хорошо заработать. Если бы не полицейские, лучшего места для стоянки не сыскать. Но он не мог понять, что делалось внутри банка. Там наверняка кучи денег, но почему именно здесь ведутся все денежные операции? Двери банка перед ним были закрыты, и он не хотел попусту ломать себе голову. Многое в городе казалось ему непостижимым. Прислушиваясь к разговорам своих приятелей — рикш в чайных, он порой терялся: каждый болтает, что на ум взбредет,— поди-ка тут разберись! Ни слушать их, ни думать не хотелось. Он знал одно: если уж грабить, то лучше всего банк, а если не собираешься стать взломщиком, держи покрепче свои денежки и не заботься о чужих. Это казалось ему самым надежным.

Зная, что Сянцзы спит и видит свою коляску, Гаома снова принялась его уговаривать:

— Зря ты не хочешь отдавать деньги под проценты, ведь так ты быстрее купишь коляску. Будь я мужчиной, да еще рикшей, я непременно возила бы свою коляску; была бы сама себе хозяйкой и ни от кого не зависела! Назначь меня начальником уезда, и то бы не согласилась. Труд рикши тяжелый, но я бы взялась только за это дело! Даже полицейским не согласилась бы быть! Стоишь на улице и зимой и летом в одной и той же черной форме, а получаешь гроши, и никакого тебе дохода, никакой свободы. До старости стой да свисти, а надеяться не на что. Если хочешь побыстрее купить коляску, послушайся моего совета: собери компанию, этак человек десять — двадцать, пусть каждый внесет по два юаня. Ты возьми первый взнос. Сразу наберется юаней сорок, да и у самого, наверное, тоже кое-что скопилось. Берись сразу за большое дело! Купишь коляску, постепенно со всеми расплатишься. И выгодно и удобно! Как раз по себе! Решишься на это, я первая вступлю в пай, можешь не сомневаться! Ну, как?

Сердце Сянцзы забилось сильнее. Пожалуй, верно — нужно собрать тридцать — сорок юаней, прибавить к ним тридцать, что лежат у Лю Сые, и еще несколько юаней, которые ему удалось сберечь,— вот и наберется больше восьмидесяти. Если не сможет купить новую коляску, то подержанную всегда найдет. Пусть по-

держанная, зато своя, а со временем купит и новую. К тому же только так можно взять деньги у Лю Сые, иначе тот их не отдаст, а этого допустить нельзя.

Но где найти таких людей? Нужно, чтобы они тебе верили. Сегодня тебе нужны деньги, а что, если завтра понадобятся другим? Времена тяжелые, и затея эта ненадежная. Нет, самостоятельный человек не станет искать помощи у других. Сумеет купить коляску — купит, но не станет просить взаймы.

Сянцзы так ничего и не ответил. Гаома хотела было посмеяться над его нерешительностью, но, вспомнив, какой он простодушный, сочла за лучшее промолчать.

Когда Гаома ушла, Сянцзы одобрительно кивнул головой, гордясь своей стойкостью. Он был очень доволен собой.

Наступили первые зимние дни. По вечерам на улицах раздавались крики торговцев: «Жареные каштаны в сахаре! Орехи, земляные орехи! Горшки, кому горшки!»

Продавцы ночных горшков торговали заодно и копилками. Сянцзы купил самую большую. Он был первым покупателем, и у торговца не оказалось сдачи. Сянцзы приглянулся самый маленький зеленый горшочек, и он с легким сердцем сказал:

— Сдачи не надо, я возьму еще вот эту штуку.

Оставив копилку у себя в комнате, Сянцзы взял горшочек и пошел к хозяевам.

— Маленький господин еще не спит? Я принес ему интересную игрушку!

Как раз в это время взрослые любовались, как купается Сяо Вэнь, сынишка господ. Увидев «игрушку», все расхохотались. Господа ничего не сказали, им, видимо, было неловко за Сянцзы, но подарок следовало принять — ведь Сянцзы хотел сделать им приятное! Поэтому они поблагодарили его. Однако Гаома не удержалась:

— Ну и Сянцзы! Отличился! Большой детина, а что умудрился выбрать? Глаза бы не глядели!

Зато Сяо Вэню «игрушка» очень понравилась: он тут же принялся наливать в нее воду из ванночки, приговаривая:

— У маленького чайника большой ротик!

Все рассмеялись. Сянцзы гордо выпрямился, довольный собой. На душе у него было радостно. Ему казалось, что все смотрят на него, словно на важную персону, никогда еще он не испытывал подобного чувства.

У себя в комнате он, улыбаясь, вытащил скопленные серебряные монеты и потихоньку, одну за другой, опустил их в копилку. «Так, пожалуй, надежнее! — думал он.— Наберется нужная сумма,

разобью копилку об стену, серебряных монет будет больше, чем черепков!»

Сянцзы больше ни на кого не надеялся. Даже на Лю Сые, хоть он человек вполне надежный. Деньги у него, конечно, не пропадут, но все-таки Сянцзы было как-то неспокойно. Деньги как кольцо на руке, думал он, их надо всегда иметь при себе. Приняв решение, он выпрямился и расправил плечи.

Становилось все холоднее, однако Сянцзы словно ничего не замечал. Он жил одним стремлением, будущее представлялось ему ясным и светлым, и он не ощущал холода. Землю сковали первые заморозки, тротуары стали жестче под ногой. Земля высохла и приобрела сероватый оттенок. Особенно холодно было по утрам. Колеса оставляли на инее темные следы, резкий ветер разгонял утренний туман, и тогда появлялось небо, высокое, голубое, чистое.

Однажды ранним утром Сянцзы захотелось пробежаться. Холодный ветер забирался в рукава, по телу пробегали мурашки, но ему было приятно, словно после освежающего душа. Порою ветер хлестал так, что трудно было дышать, но Сянцзы, наклонив голову и стиснув зубы, летел вперед, навстречу ветру, как большая рыба, которая плывет против течения: чем сильнее задувало, тем отчаяннее мчался Сянцзы, будто решил вступить с ветром в смертельную схватку. Но вот налетел такой бешеный порыв, что у Сянцзы захватило дух. Он долго стоял с закрытым ртом, наконец вобрал в себя воздух, словно вынырнув из-под воды. А потом снова помчался вперед — ничто не могло остановить этого великана! Каждый мускул его напрягался, он весь покрылся потом, но зато, когда остановился, глубоко вздохнув, и стер с губ песок, почувствовал себя непобедимым. Подставив грудь ветру, Сянцзы гордо вскинул голову.

Ветер гнул деревья по сторонам дороги, трепал полотняные вывески лавчонок, срывал объявления со стен, вздымал тучи песка и пыли, заслонявшие солнце. Он завывал, гудел, ревел и метался, как огромное обезумевшее чудовище, слетевшее с небес на землю. Неожиданно вихрь закружил и завертел все вокруг, словно разбушевавшийся злой дух, а потом устремился вперед, сокрушая все на своем пути: он ломал деревья, срывал с крыш черепицу, рвал провода. Однако Сянцзы стоял и смотрел. Он-то вырвался из объятий ветра, и ветер не одолел его! Сянцзы покрепче ухватился за ручки, повернул в обратную сторону, и ветер, как надежный друг, сам покатил за ним коляску.

Конечно, Сянцзы не был слеп: ему то и дело попадались на глаза старые и слабые рикши. Плохонькая одежонка не защищала их даже от легкого ветерка, а этот вихрь рвал ее в клочья. Ноги у них были обмотаны каким-то тряпьем, бедняги дрожали от холо-

да на стоянках и при виде пешехода наперебой предлагали коляску, стараясь не смотреть друг на друга. На ходу они согревались, и ветхая одежонка их становилась мокрой от пота. Но стоило им остановиться, пот, замерзая, леденил спины. Навстречу сильному ветру они и шага не могли сделать и только зря напрягали силы, пытаясь сдвинуть коляску с места. Налетал ветер сверху, они низко опускали голову; дул снизу, земля уходила у них из-под ног; при встречном ветре они поднимали руки, будто собираясь взлететь, а когда ветер дул в спину, не в силах были удержать коляску. Бедняги приноравливались, как могли; бежали из последних сил, полумертвые от усталости. Ради нескольких медяков они рисковали жизнью. И когда наконец доставляли пассажира, их лица от пыли и пота становились черными, выделялись только покрасневшие от мороза глаза и потрескавшиеся губы.

Зимние дни коротки и холодны, на улицах почти безлюдно. Промаешься весь день и не всегда добудешь на чашку риса. А дома ждут пожилых — жены и дети, молодых — родители, сестры, братья. Зима для рикши сущий ад, и сам он походит зимой на пришельца с того света, только еще не совсем бесплотного, и к тому же лишенного всех благ, которые есть на том свете. Ведь настоящим духам не приходится так мыкаться! Для рикши собачья смерть на мостовой — чуть ли не счастье и, уж во всяком случае, избавление от всех страданий. Говорят, на лицах таких бедняг навсегда застывает блаженная улыбка.

Мог ли Сянцзы не знать всего этого? Но он не хотел заранее ни думать, ни тревожиться. Пусть его ждет такой же конец, но пока он молод, силен и не боится ни холода, ни ветра. Одет он прилично, дома его ждет чистая, теплая комната. Потому он и не сравнивал себя с этими несчастными. Конечно, зимой ему тоже было нелегко, но не в такой мере. Он не бедствовал сейчас и в будущем надеялся избежать горькой участи. Ему казалось, что если он и доживет до преклонных лет, то, уж во всяком случае, не будет возить изодранную коляску и страдать от голода и холода. Он думал, что его сила и здоровье — надежная гарантия обеспеченной старости. Шоферы, например, встречаясь с рикшами в чайной или у дома богача, считали унизительным даже разговаривать с ними: они боялись уронить свое достоинство. Почти так же относился к старым и слабым, изувеченным рикшам Сянцзы. Рикши жили словно в аду, но каждый в своем круге. Им и в голову не приходило, что нужно действовать сообща. Каждый брел в потемках своей дорогой, не обращая внимания на других, каждый мечтал создать свою семью, свой дом. Так и Сянцзы не думал ни о ком, никем не интересовался и заботился лишь о деньгах и о своем будущем.

Все сильнее чувствовалось приближение Нового года. Дни стояли ясные, холодные и безветренные, улицы выглядели нарядно: новогодние картинки, фонарики, красные и белые свечи, цветы из шелка для женских шляпок, праздничные лакомства — все было выставлено в витринах, все радовало взоры и наполняло надеждой сердца людей. Все, от мала до велика, мечтали повеселиться под Новый год, хотя у каждого были свои заботы.

Когда Сянцзы смотрел на разложенные по обеим сторонам дороги новогодние товары, глаза его разгорались. Он думал о том, что господа Цао будут посылать новогодние подарки друзьям, и Сянцзы наверняка перепадет несколько мао. Кроме того, по праздникам хозяева обычно дарят слугам два юаня на угощенье. Это, конечно, немного, но, провожая приезжающих с поздравлениями гостей, слуги всякий раз получают еще несколько медяков. Так собирается довольно приличная сумма. Не стоит пренебрегать и мелочью: давали бы побольше, а копилка не подведет.

Вечерами, на досуге, Сянцзы глядел и не мог наглядеться на своего верного друга — глиняную копилку, которая жадно поглощала деньги и ревниво хранила их. Он тихонько приговаривал: «Глотай, дружок, заглатывай монеты! Когда ты наешься, и я буду сыт!»

Новый год подходил все ближе, и незаметно наступило восьмое декабря. Все радовались празднику и в то же время беспокоились, прикидывали, как бы получше устроить свои дела. Сутки по-прежнему состояли из двадцати четырех часов, но были какими-то особенными. Люди уже не могли проводить их как вздумается. Каждому нужно было перед Новым годом что-то сделать. Само время, казалось, напоминало о себе, заставляло людей спешить, ускоряя свой ход. Настроение у Сянцзы было отменное; оживление на улицах, бойкие крики торговцев, надежда на добавочные чаевые, предвкушение отдыха и вкусной еды в дни Нового года — все его радовало.

Сянцзы решил истратить юань на подарок Лю Сые. Дело, конечно, не в подарке — дорого внимание. Обязательно нужно что-нибудь купить, пойти к старику, извиниться, сказать, что был очень занят и не мог навестить его раньше, а заодно взять свои тридцать юаней. Стоит истратить один юань, чтобы вернуть тридцать!

Сянцзы ласково поглаживал глиняную копилку, представляя, как приятно будет звенеть она, когда в ней прибавятся еще тридцать с лишним юаней. Вернуть бы только эти деньги, тогда не о чем будет беспокоиться!

Как-то вечером, когда он снова собирался полюбоваться своей сокровищницей, его позвала Гаома:

— Сянцзы, там у ворот какая-то женщина, просит позвать тебя.— И тихонько прибавила: — Ну и уродина — до того страшна, хуже не придумаешь!

Лицо Сянцзы запылало. Он понял — дело принимает скверный оборот.

Глава девятая

Сянцзы с трудом нашел в себе силы выйти за ворота. Еще со двора он увидел под уличным фонарем Хуню и едва не лишился чувств. Ее напудренное лицо при электрическом освещении казалось зеленовато-серым и походило на высохший лист, покрытый инеем. Сянцзы поспешно отвел глаза.

Лицо Хуню выражало самые противоречивые чувства: глаза горели желанием, рот кривился в усмешке, брови были вопросительно приподняты, нос сморщен от досады. Она привлекала к себе и в то же время отталкивала выражением холодной жестокости.

Увидев Сянцзы, Хуню в растерянности сглотнула слюну. Однако, не желая выдавать свои чувства, тут же напустила на себя безразличный вид и с отцовской ухмылкой проговорила:

— Хорош же ты, однако! Нашкодил, и носа не кажешь. Видно, знает кошка, чье мясо съела!

Хуню говорила громко, как у себя дома, когда ругалась с рикшами. Но вдруг улыбка сползла с ее лица: она, видимо, поняла всю унизительность своего положения и закусила губу.

— Не кричи! — Сянцзы собрал все силы, чтобы голос его прозвучал внушительно.

— Мне же еще и бояться! — Хуню засмеялась недобрым смехом и уже тише продолжала: — Ясно теперь, почему ты прячешься! Видела я твою маленькую старую ведьму! Я давным-давно знала, что ты подлец, только с виду такой простоватый. Дурачком прикидываешься!

— Тише! — Сянцзы боялся, как бы Гаома не подслушала их разговор.— Сказал тебе: не кричи! Пойдем отсюда.— Он зашагал от ворот.

— А я ничего не боюсь! И не кричу. Просто у меня голос громкий! — возразила Хуню, но последовала за ним.

Они перешли улицу и пошли по тротуару к Красной стене. Здесь Сянцзы остановился и по старой деревенской привычке присел на корточки.

— Зачем пришла? — спросил он.

— Я-то? Дело есть! — Она выпятила живот, искоса взглянула

на него, подумала минутку и мягко проговорила: — У меня к тебе очень важное дело, Сянцзы.

Этот тихий, ласковый голос умерил его гнев. Он поднял голову, взглянул на женщину. В ней по-прежнему не было ничего привлекательного, но имя «Сянцзы», произнесенное ею так нежно, тронуло его сердце. Этот голос будил в нем жгучие воспоминания, от которых он никак не мог избавиться. Сдержанно, но уже не так сурово он спросил:

— Что случилось?

— Сянцзы, я жду,— промолвила она, приблизившись к нему.

— Чего?

— Вот.— Она указала на свой живот.— Ты должен что-то придумать.

Сянцзы обомлел. Он все понял. Случилось то, о чем он и подумать не мог. Мысли хлынули потоком, стремительные и беспорядочные, и вдруг оборвались, как обрывается кинолента, оставляя на экране пустоту.

Облака скрыли луну. Пробежал ветерок, покачивая сухие листья на ветках. На улице стояла необычайная тишина. Лишь изредка доносились душераздирающие кошачьи вопли. Однако Сянцзы ничего не слышал. С ним творилось что-то неладное. Подперев рукою щеку, он тупо смотрел вниз, и все плыло у него перед глазами. Он не мог, да и не хотел ни о чем думать, чувствовал только, что словно съеживается, становится все меньше, и больше всего на свете желал тут же провалиться сквозь землю! Вся жизнь его рушилась, ничего не оставалось, кроме безысходной тоски. Сянцзы знобило, тряслись даже губы.

— Ну что ты сидишь и молчишь? Скажи что-нибудь!

Хуню тоже чувствовала озноб. Она решила пройтись, и Сянцзы, поднявшись, поплелся за ней. Слова не шли на ум, руки и ноги не слушались, он словно окоченел.

— Так ничего и не скажешь? — Хуню взглянула на Сянцзы глазами, полными любви.

Сянцзы молчал.

— Двадцать седьмого день рождения отца, ты должен прийти.

— Я буду занят, это канун Нового года.— Несмотря на смятение, охватившее его душу, Сянцзы не забыл о делах.

— Ты, негодяй, видно, не понимаешь добрых слов!

Она снова повысила голос, и в мертвой тишине на улице он прозвучал особенно громко. На душе Сянцзы стало еще тяжелее.

— Ты думаешь, я испугалась? Не хочешь по-хорошему — наплачешься. Смотри, не выводи меня из терпения, а то подниму у твоих ворот такой шум, что чертям тошно станет! Я тебя везде найду! От меня не уйдешь!

— Но ведь можно и без крика,— промолвил Сянцзы и отступил на шаг.

— А, крика боишься?! Не соблазнял бы! Получил удовольствие — и в кусты, а позор мне одной? Надо было раньше думать, скотина! А ты залил глаза бесстыжие, забыл, с кем дело имеешь!

— Не горячись, говори спокойней!

Сянцзы больше не знобило, но от такого потока брани его внезапно бросило в жар и по всему телу пошел зуд, особенно сильно чесалась голова.

— Со мной лучше не ссориться! — Хуню оскалила свои клыки.— Скажу, не кривя душой, люблю я тебя. Цени мое доброе отношение. И не упрямься, а то худо будет!

— Не...— Сянцзы хотел вспомнить пословицу: «Не задаривай пряником, отхлестав кнутом», но не смог.

Он знал немало поговорок, однако они никогда не приходили на ум вовремя.

— Что значит «не...»?

— Ладно уж, говори, а я послушаю.

— Давно бы так! Я тебе дам хороший совет.— Хуню перевела дух и продолжала: — Если пришлешь свах, старик ни за что не согласится. Он владелец конторы, ты — рикша, он не захочет породниться с человеком ниже себя. А мне это безразлично, раз ты мне нравишься. Понравился — и все, и плевать я хотела на то, что другие скажут! Сколько ко мне ни сватались, все без толку: как заговорят о помолвке, старик тут же начинает считать свои коляски. Отказывал людям и почище тебя. В этом деле мне никто не поможет, кроме меня самой. А я выбрала тебя. Поженимся, там видно будет. Я жду ребенка, от этого никуда не денешься! Но если мы прямо скажем отцу, у нас ничего не получится. С годами старик совсем рехнулся; если до него что дойдет, тотчас женится на молодой, а меня выставит. Не гляди, что ему вот-вот стукнет семьдесят, он еще в силе. А если женится, то, наверное, двух-трех детей еще сработает,— хочешь верь, хочешь не верь!

— Идем отсюда, поговорим в другом месте!

Мимо уже два раза прошел постовой, и Сянцзы стало не по себе.

Перехватив его взгляд, Хуню тоже увидела полицейского.

— Нет, поговорим здесь, какое ему до нас дело? Ты же без коляски, чего боишься? Что он, съест тебя? Не обращай внимания... Слушай, я вот что думаю: двадцать седьмого, в день рождения старика, ты придешь к нему с поклоном. Настанет Новый год, поздравишь с праздником, задобришь его. Как увижу, что момент подходящий, принесу закуски, вина. А когда он напьется как следует, не мешкай — назови его крестным отцом. Потом я намекну,

что жду ребенка. Он наверняка примется расспрашивать, я промолчу. А когда у него лопнет терпение, я назову ему имя нашего соседа Цяоэра, второго хозяина лавки похоронных принадлежностей. Он, конечно, ни в чем не повинен, и вот уже месяц лежит на кладбище за Дунчжимынем, но кто докопается до истины? Старик растеряется, а мы намекнем, что лучше всего выдать меня замуж за тебя: что крестник, что зять — какая разница, главное — избежать позора. Ну, как тебе мой план?

Сянцзы молчал.

Подождав, Хуню предложила пройтись. Она была явно довольна собой и хотела, чтобы Сянцзы поразмыслил. Ветер разорвал серые облака, и на небе показалась луна. Сянцзы и Хуню дошли до конца улицы. Ров с водой уже замерз, ровная поверхность его была твердой, с сероватым отливом. Ров подходил вплотную к стенам Запретного города [1]. За стеной стояла мертвая тишина. Изящные башни, позолоченные мемориальные арки, ворота, покрытые киноварью, беседки Цзиншаня [2] — все безмолвствовало, словно прислушиваясь к чему-то. Как скорбный вздох, между дворцов и башен прошелестел ветерок, казалось, он принес какую-то важную весть.

Хуню пошла дальше, Сянцзы за ней. Они подошли к искусственным озерам перед дворцами. На мосту было пустынно и тихо; бледный свет луны освещал два больших ледяных поля по обе стороны моста. Вдали, на берегу озера, отбрасывая легкие тени, в безмолвии застыли беседки, поблескивая желтой черепицей крыш. Деревья слегка покачивались. Луну окутала туманная дымка. От изваяний на берегах трех озер [3], окружающих дворцы, веяло безмолвием севера. Белая пагода, устремленная в небо, усугубляла зловещее впечатление.

Хуню и Сянцзы взошли на мост, и их обдало холодом. Сянцзы задрожал. Обычно, когда он катил через мост коляску, бег поглощал все его внимание: он боялся оступиться, и ему некогда было глядеть по сторонам. Сейчас он мог спокойно осмотреться, но картина, представшая его глазам, вселила в его сердце страх: серый лед, покачивающиеся тени деревьев, скорбно-белая пагода; казалось, что все это вот-вот дико завопит и помчится вскачь. На белокаменном мосту было особенно пустынно и жутко, даже фонари горели каким-то леденящим мрачным светом.

Сянцзы не хотел идти дальше, не желал смотреть вокруг и тем

---

[1] Запретный город — бывшая резиденция императоров Минской и Цинской династий

[2] Цзиншань — один из парков Запретного города.

[3] Имеются в виду Бэйхай, Чжунхай и Наньхай (Северное, Центральное и Южное моря), окружающие Запретный город.

более оставаться с Хуню. Он с удовольствием бросился бы вниз головой, пробил лед и замер в глубине, как мертвая рыба.

— Ну я пошел,— буркнул он и повернул обратно.

— Значит, до двадцать седьмого! — бросила Хуню вслед удаляющейся широкой спине Сянцзы. Она взглянула на пагоду, вздохнула и пошла по мосту.

Сянцзы шагал быстро, словно за ним гнался сам дьявол. Он шатался как пьяный и возле Туаньчэна [1] едва не наскочил на стену. Оперся на нее и чуть не расплакался. Так простоял он несколько минут, как вдруг со стороны моста донесся голос Хуню:

— Сянцзы, Сянцзы, иди сюда!

Он медленно пошел назад, к мосту. Хуню шла ему навстречу, и рот ее был полуоткрыт в улыбке.

— Иди сюда, Сянцзы, я тебе кое-что дам...

Не успел он сделать и десятка шагов, как она оказалась рядом.

— Возьми свои тридцать юаней! Здесь недоставало несколько мелких монет, так я добавила. Держи! Видишь, как я к тебе отношусь — пекусь о тебе, душой болею. Ничего мне не надо, только не будь неблагодарным. Бери да хорошенько спрячь. Потеряешь — пеняй на себя!

Сянцзы взял деньги — целую пачку кредиток,— постоял молча, не зная, что сказать.

— Ну, ладно, увидимся двадцать седьмого! — засмеялась Хуню.— Не пожалеешь! — И она пошла обратно.

Сянцзы держал деньги и растерянно глядел ей вслед, пока она не скрылась за мостом.

Луна снова спряталась за облака, ярче загорелись фонари. На мосту было пустынно, холодно, бело. Сянцзы повернулся и бросился бежать как сумасшедший. Но до самых ворот дома перед глазами его стоял белый безлюдный мост.

У себя в комнате Сянцзы первым делом пересчитал кредитки. Пересчитал несколько раз — от потных рук бумажки слипались. Наконец засунул их в копилку и, присев на край кровати, тупо уставился на свою глиняную сокровищницу. Он решил пока ни о чем не думать. С деньгами можно найти выход из любого положения. Он был уверен, что эта копилка разрешит за него все вопросы, и ему незачем ломать себе голову. Юйхэ, Цзиншань, белая пагода, Хуню, ее живот... все это сон. А когда Сянцзы пробудится, в его копилке будет тридцатью юанями больше. Только это и есть правда!

Наглядевшись вдоволь на копилку, он спрятал ее и решил хо-

---

[1] Туаньчэн (Круглый городок) — часть дворцового комплекса за южными воротами Бэйхая.

рошенько выспаться. Во сне забываются и не такие неприятности. К тому же утро вечера мудренее...

Он улегся, но не смог сомкнуть глаз. События, словно пчелы, кружились вокруг него, жужжали и жалили, причиняя острую боль.

Он не хотел ни о чем думать, да, пожалуй, и не мог — Хуню отрезала ему все пути. Он не видел выхода.

Проще всего было сбежать из столицы куда глаза глядят. Однако Сянцзы согласился бы даже сторожить пагоду на Бэйхае, лишь бы не возвращаться в деревню. А что, если уехать подальше? Но он не знал города лучше Бэйпина и не в силах был его покинуть. Даже умереть он хотел бы только здесь.

А если он останется, тогда и вовсе не о чем раздумывать. Хуню сделает, как сказала. Пока своего не добьется, все равно не отстанет. И всюду его разыщет. А с ней шутки плохи! Обозлишь ее, она, чего доброго, втянет в это дело Лю Сые. А тот подкупит одного-двоих,— больше и не надо! — и прихлопнут его где-нибудь в темном углу.

Сянцзы вспоминал слова Хуню и чувствовал, что попал в западню. Он был связан по рукам и ногам. Ему было трудно разобраться во всех хитростях этой женщины, но одно он знал точно: из ее сетей не ускользнет даже самая маленькая рыбешка! Сянцзы чувствовал, как на него наваливается нечто огромное и давит непомерной тяжестью.

Не в силах избавиться от гнетущих мыслей, Сянцзы думал, что, видно, вся жизнь рикши заключается в одном слове — «горемыка». Раз ты рикша, знай свое дело и не связывайся с бабами. Свяжешься — попадешь в беду. У Лю Сые — богатство, у Хуню — бесстыдство, вот они и будут помыкать тобой. Значит, нечего и гадать. Хочешь жить — пойди поклонись Лю Сые, назови его крестным отцом, а потом женись на этом чудище. А недорога жизнь — плюнь на все и ни о чем не думай.

Дело тут не только в Хуню. Просто такая уж у рикши жизнь! Как ребенок может без причины стукнуть собаку, так и на рикше любой может выместить гнев, надругаться над ним. Стоит ли дорожить этой жизнью? Эх, будь что будет!

Уснуть Сянцзы так и не смог. Сбросив с себя одеяло, он присел на постели. Напиться! Напиться до потери сознания, чтобы все — и дела, и всякие приличия — послать к дьяволу! Напиться и заснуть. А двадцать седьмого? Нет, не пойдет он к ним с поклоном. Посмотрим, что они сделают с Сянцзы!

Он накинул на себя ватную куртку, взял пиалу, из которой обычно пил чай, и выбежал.

Ветер дул еще сильнее и разогнал облака. Луна посылала на

землю холодный свет. Сянцзы только что вылез из-под ватного одеяла и ежился, жадно вдыхая свежий воздух. На улице не было ни души; только у дороги стояли две коляски, и рикши, прикрыв уши руками, прыгали, стараясь согреться.

Сянцзы мигом добежал до лавочки. Ее двери были закрыты, чтобы не выдувало тепло: получали деньги и выдавали товар через маленькое окошечко. Сянцзы попросил четыре ляна водки и на три медяка земляных орехов. Он осторожно нес пиалу, держа ее перед собой; бежать боялся, но шел довольно быстро, как носильщик паланкина. Возвратившись к себе, Сянцзы юркнул в постель. От холода у него стучали зубы, из-под одеяла не хотелось высовывать руку, пропало всякое желание выпить. Водка издавала резкий, неприятный запах. Не хотелось и орехов. Сон прошел, словно Сянцзы окатили ледяной водой. Постепенно он успокоился и долго лежал с открытыми глазами, иногда поглядывая на водку.

Нет, он не должен из-за всех этих неприятностей губить себя, не должен спиваться. Дела его действительно плохи, но он может найти выход. А если и не найдет, все равно не станет лезть в грязь. Пусть попробуют его заставить!

Сянцзы погасил свет, укрылся с головой, но сон не шел. Он откинул одеяло, огляделся; лунный свет поголубил бумагу в окнах. Казалось, скоро наступит рассвет. У Сянцзы замерз даже кончик носа, торчавший из-под одеяла. В комнате пахло сивухой. Сянцзы быстро сел, нащупал в темноте пиалу и залпом осушил ее до дна.

Глава десятая

Сянцзы не умел разрешать свои трудности постепенно — на это у него не хватало ума и терпения, а разрубить узел сразу не хватало мужества. Как всякое живое существо, он старался уйти от беды. Даже сверчок, лишившись больших ног, пытается уползти на маленьких. Однако Сянцзы не знал, куда ему ползти. Он лишь надеялся, что со временем все неприятности уладятся сами собой. Поэтому Сянцзы целиком положился на судьбу и перестал бороться.

До двадцать седьмого оставалось больше десяти дней, но Сянцзы только и думал об этом дне, он ему даже снился. Казалось, минует двадцать седьмое, и все как-нибудь обойдется. Однако Сянцзы знал, что обманывает самого себя. Порою ему приходили в голову и другие мысли: а что, если взять свои несколько десятков юаней и уехать в Тяньцзинь? Может быть, в этом городе ему повезет, удастся сменить профессию и не быть больше рикшей! Не станет же Хуню и там его преследовать! В его представлении все ме-

ста, куда нужно было ехать поездом, находились очень далеко от Бэйпина и были недосягаемы для Хуню. Но разум подсказывал ему, что это не выход. Нет, он пойдет на все, лишь бы остаться в Бэйпине.

Перед ним снова и снова вставало двадцать седьмое число. Скорей бы только прошел этот день! Может быть, он как-нибудь выпутается из беды? А если не удастся ничего придумать, по крайней мере все будет уже позади.

Но что тут можно было придумать? Либо забыть о Хуню и не ходить к Лю Сые с поздравлениями, либо сделать, как она велела. Одно было не лучше другого: не пойдешь — она не успокоится, пойдешь — все равно не пощадит. Ему вспомнилось, как он впервые взял коляску и, подражая опытным рикшам, нырял в переулки, чтобы сократить расстояние, ошибался, плутал по незнакомым улочкам, кружил и возвращался на прежнее место. Вот и сейчас он тоже словно попал в лабиринт: куда ни кинься — выхода нет.

Дело принимало дурной оборот. Жениться на Хуню? При одной этой мысли в нем поднималось отвращение. Вспоминая, как она выглядит, он сокрушенно тряс головой. Да что там вид, а как она себя ведет? И он, такой работящий, такой порядочный, возьмет в жены этот подпорченный товар? Да он людям в глаза не сможет смотреть! Даже на том свете стыдно будет предстать перед родителями! И кто поручится, что она ждет ребенка от него? Да и есть ли у нее деньги на коляски? Со стариком Лю шутки плохи! Если даже все обойдется благополучно, Сянцзы все равно долго не вытерпит. Как жить с такой, как Хуню? Своими выходками она способна любого довести до белого каления. Он знает, какой она бывает жестокой! Нет, если он и задумает жениться, то уж не на ней. Об этом и говорить нечего. Взять ее в жены — значит погубить свою жизнь. Но что же делать?

Сянцзы ругал себя за оплошность и готов был хлестать себя по щекам. Но честно говоря, в чем он виноват? Все подстроила она сама, чтобы завлечь его в сети. Вся беда в том, что он чересчур простодушен, а такие всегда попадаются. Где же тут справедливость?

Сянцзы некому было излить душу, и это его угнетало больше всего. У него не было ни родных, ни друзей, но если раньше он прочно стоял на земле и ни в ком не нуждался, то сейчас он понял, что человек не может жить один, и пожалел, что так одинок. Рикши, его собратья по ремеслу, казались ему теперь особенно близкими. Если бы он дружил с кем-нибудь из них, он не испугался бы и десятка таких, как Хуню. Друзья придумали бы выход, не пожалели сил, выручили бы из беды. Но он всегда был одинок.

А сразу найти приятеля — дело нелегкое! Впервые в жизни ему стало страшно. Пока он один, всякий может его обидеть: одному со всеми бедами жизни не справиться.

Страх породил мрачные мысли. Зимой, когда хозяин бывал на банкетах или в опере, Сянцзы обычно прятал резервуар от карбидного фонаря у себя на груди, чтобы вода не замерзла. Когда холодная, как лед, банка прикасалась к разгоряченному, потному телу, Сянцзы бросало в дрожь, но приходилось терпеть, пока резервуар не согревался, и порой подолгу. Прежде Сянцзы считал, что так и полагается. Иногда он даже чувствовал свое превосходство над рикшами, которые возили старые, обшарпанные коляски,— у них не было таких фонарей. Но сейчас ему казалось несправедливым, что за какие-то жалкие гроши он должен еще заботиться об этой проклятой банке, согревать ее на своей груди. Грудь у него, правда, широкая, но что толку, если она ценится дешевле банки с карбидом! Подумать только: его жизнь и здоровье дешевле карбидного фонаря! Не удивительно, что даже Хуню может его обидеть.

Прошло два дня. Вечером господин Цао вместе со своим приятелем поехал в кино. Сянцзы ждал его в маленькой чайной, как обычно согревая на груди холодную банку.

День выдался морозный. Окна и двери чайной были плотно закрыты. В комнате стоял смрад, пахло потом и дешевым табаком. Некоторые рикши, сомлев в духоте, дремали, прислонившись к стене, другие не спеша пили водку, причмокивая губами, третьи, свернув лепешки, торопливо и жадно ели, краснея от натуги. С хмурым видом говорили о своих делах: выезжаешь с самого раннего утра, весь день бегом, пот не просыхает... Остальные посетители смолкали, услышав горькие слова, потом снова начинали вспоминать свои обиды, галдели, словно вороны у разрушенного гнезда. Каждому хотелось излить душу. Даже рикша, который давился лепешкой, бормотал, еле ворочая языком:

— Можно подумать, что работать у одного хозяина большое счастье... Будь проклято все на свете! Я с двух часов не держал во рту и маковой росинки... От Цяньмыня до Пинцземыня и обратно пробежал уже три раза! Шутка сказать! А сегодня такая погодка — даже зад себе отморозил... И голодное брюхо не дает покоя...— Он оглядел всех, сокрушенно покачал головой и снова взялся за лепешку.

Заговорили было о погоде, да опять свернули на свои несчастья.

Сянцзы не произнес ни единого слова, но прислушивался очень внимательно. У каждого была своя манера говорить, свой выговор, но когда люди вспоминали свои обиды, все волновались и брани-

лись одинаково. То, о чем рассказывали рикши, было хорошо знакомо Сянцзы. Он впитывал их слова, как высохшая земля — капли дождя. Сам он рассказать о своей беде не умел, но, слушая других, чувствовал, что в своем горе не одинок.

Все страдали, и он вместе со всеми. Его жизнь была тяжела, и он проникался сочувствием к своим ближним. Когда люди поверяли свои обиды, он хмурил брови, заговаривали о смешном — улыбался. Он молчал, но чувствовал, что все они — друзья по несчастью.

Прежде Сянцзы думал, что рикши просто от нерадивости болтают с утра до вечера — ведь от болтовни не разбогатеешь! Сегодня же он впервые понял, что они говорят об их общих бедах, бедах всех рикш, и о его беде, и о нем самом.

В разгар беседы дверь неожиданно открылась, и в комнату ворвался поток холодного воздуха. Все сердито оглянулись, чтобы узнать, кто это. Но никто не входил, будто посетитель нарочно медлил. Мальчик-слуга обеспокоенно закричал:

— Побыстрее, дяденька милый! Холода напустишь!

Не успел он договорить, на пороге появился человек. Тоже рикша, с виду лет пятидесяти. На нем была короткая ватная куртка, вся в заплатах: на локтях и из передней полы торчала вата. Казалось, он много дней не умывался, и нельзя было понять, какого цвета его кожа; только замерзшие уши были красны, как созревшие помидоры. Из-под рваной шапчонки выбивались седые волосы; на ресницах и коротких усах висели сосульки. Человек нащупал табурет, опустился и, собрав последние силы, едва слышно попросил:

— Чаю...

В этой чайной обычно собирались рикши, имевшие постоянную работу; видимо, старик зашел сюда случайно. Все поняли, что с ним случилось нечто более серьезное, чем то, о чем они толковали. У всех пропала охота говорить. В другое время какой-нибудь зеленый юнец непременно высмеял бы такого посетителя, но сейчас всем было не до шуток.

Неожиданно голова старика начала медленно клониться книзу, и он свалился на пол. Все вскочили.

— Что такое? Что случилось? — загалдели посетители.

— Стойте! — остановил их хозяин чайной, опытный в таких делах. Он подошел к старику, расстегнул ему ворот, приподнял беднягу и, поддерживая его за плечи, прислонил к стулу.— Сладкой воды, быстро! — приказал хозяин. Наклонившись к старику, он прислушался к его дыханию и пробормотал: — Ничего страшного!

Все стояли ошеломленные, никто не садился. Едкий дым на-

полнял комнату, но люди ничего не чувствовали: не мигая, смотрели они на старика и двери, и каждый думал: «Такая же участь ждет и меня! Вот доживу до седых волос, может случиться, что и я так же свалюсь и больше не встану!»

Когда ко рту рикши поднесли сладкую воду, он застонал. Не открывая глаз, провел по лицу черной от грязи рукой.

— Выпей воды,— сказал хозяин на ухо старику.

— А? — Старик открыл глаза и, увидев, что сидит на полу, хотел было подняться.

— Пей, пей, не торопись,— проговорил хозяин.

Все столпились вокруг.

— Охо-хо! — вздохнул старик. Обхватив чашку обеими руками, он медленно выпил воду, затем обвел всех растерянным взглядом.— Спасибо вам! Спасибо!

Голос его звучал необычайно ласково, задушевно. Казалось странным, что этот голос исходил из-под жалких обвисших усов. Старик попытался встать. Несколько человек поспешили ему на помощь, усадили на стул. На лице старика проступила робкая улыбка, и он мягко произнес:

— Ничего, ничего, я сам! Замерз, проголодался, вот и закружилась голова. Теперь все прошло...

Он улыбнулся шире, и сквозь толстый слой грязи все увидели доброе, открытое лицо.

У людей дрогнуло сердце. На покрасневших хмельных глазах рикши, который только что пил водку, появились слезы.

— Налейте-ка еще два ляна,— попросил он.

Когда принесли водку, рикша подошел к старику и подал ему чашку:

— Выпей, прошу тебя! Я работаю у одного хозяина, но скажу тебе — мне тоже не сладко. Стараюсь ни о чем не думать. Год прошел, и ладно. Еще два-три года, и я стану таким же, как ты! Мне ведь уже за сорок... А тебе, наверное, скоро шестьдесят стукнет?

— Нет, мне пятьдесят пять! — Старик отпил глоток.— Холодно, пассажиров не найдешь. Вот я и бегал с голодным брюхом: было у меня несколько монет, выпил на них, чтобы согреться. А когда подъехал сюда, не удержался, решил заглянуть. Здесь у вас жарко, я ничего не ел, вот и помутилось в голове. Ничего, это пустяки!.. Спасибо вам всем!

Желтовато-седые, похожие на солому волосы старика, его грязное лицо, даже черные, как уголь, руки — все, казалось, излучало свет. Так светятся древние изображения святых в заброшенных храмах, по-прежнему вызывая священный трепет. Все, не

отрываясь, смотрели на старика с каким-то особым почтением, словно боялись, что он вдруг исчезнет.

Сянцзы стоял рядом и все время молчал. Но, услышав, что старик голоден, опрометью бросился на улицу и возвратился с десятком пирожков с бараниной, завернутых в капустный лист. Подавая их старику, Сянцзы вымолвил лишь одно слово:

— Ешь!

Потом уселся на свое место и низко опустил голову, как будто очень устал.

— Ой-ой! — Старик готов был заплакать от радости.— Вы мне все равно что братья! Сколько сил тратишь, пока везешь пассажира, а попробуй получи с него лишний медяк...

Он поднялся.

— Погоди! Поешь сначала! — закричали на него со всех сторон.

— Я позову Сяо Маэра, это мой внук; он караулит коляску.

— Сиди, я схожу! — вызвался рикша средних лет.— Здесь твоя коляска не пропадет, будь спокоен: напротив — полицейский участок.— Он приоткрыл дверь: — Сяо Маэр! Тебя дедушка зовет! Оставь коляску, иди сюда!

Старик несколько раз потрогал пирожки, но так ни одного и не взял. Когда Сяо Маэр вошел, он протянул ему пирожок:

— Сяо Маэр, внучек мой, это тебе!

Мальчику было лет двенадцать. Вид у него был изможденный, но на него было накручено столько лохмотьев, что он казался даже полным. Из покрасневшего на морозе носа капало, уши горели под рваными наушниками. Он подошел к дедушке, взял пирожок, надкусил, затем сразу схватил второй.

— Не спеши!

Старик погладил мальчика по голове, тоже взял пирожок и начал медленно жевать.

— Дедушке хватит двух пирожков, остальное — твое! Съедим и отправимся домой, больше возить сегодня не будем. А завтра, если потеплеет, выедем пораньше. Ладно?

Мальчик кивнул головой на пирожки и, шмыгнув носом, проговорил:

— Съешь три, дедушка, мне хватит. Я отвезу тебя домой.

— Ну что ты, не нужно! — Старик с улыбкой посмотрел на всех.— Пойдем пешком, в коляске холодно.

Он допил водку, съел два пирожка и ждал, пока внук доест остальные. Вытерев губы тряпочкой, служившей ему платком, старик заговорил:

— Сына взяли в солдаты, он так и не вернулся, а жена его...

— Не надо!..— прервал его мальчик, давясь пирожком.

— Не бойся, они нам не чужие.— Старик тихонько продолжал: — Мальчик гордый, самостоятельный. Его мать ушла. Кое-как вдвоем перебиваемся. Коляска у нас очень уж старая, правда, своя — не нужно каждый день за нее платить. Сколько ни заработаем, все наше. Но трудно! Очень трудно!

— Дедушка! — Сяо Маэр дернул старика за рукав.— Нужно кого-нибудь отвезти, а то не на что будет купить уголь. И все из-за тебя! Давал человек двадцать медяков до Хоумыня, а ты заупрямился! Вот не будет завтра угля, что тогда делать?

— Придумаем что-нибудь. Возьму в долг фунтов пять угольных брикетов.

— И щепы на растопку!

— Да, да! Скорее доедай и пойдем домой! — Старик встал и снова поблагодарил всех: — Спасибо вам, братья мои!

Он взял внука за руку, пока тот поспешно засовывал в рот последний пирожок, и они двинулись к выходу.

Некоторые рикши пошли проводить старика. Сянцзы вышел первым взглянуть на его коляску.

Коляска была очень старая, лак потрескался, ручки облезли, фонарь еле держался, дуги тента стягивали веревки. Сяо Маэр отыскал спички у себя в наушниках, чиркнул о подметку и, прикрывая грязными ручонками огонек, зажег фонарь. Старик поплевал на ладони, вздохнул и взялся за ручки.

— Ну, до свиданья, братья!

Сянцзы неподвижно стоял у двери чайной и глядел им вслед. Старик что-то говорил, удаляясь, и голос его звучал едва слышно. Тени на улице то становились светлей, то вновь сгущались.

Тяжелое, не изведанное ранее чувство охватило Сянцзы. В мальчике он видел свое прошлое, в старике — будущее! Ему всегда было трудно расставаться с деньгами, но сейчас он испытал радость оттого, что купил этим беднягам десяток пирожков.

Когда старик и мальчик совсем скрылись из виду, Сянцзы вернулся в чайную. Там снова шумели, смеялись. Однако Сянцзы было не до смеха. Он расплатился, вышел, подвез коляску к кинотеатру и стал дожидаться господина Цао.

Ночь выдалась холодная. Ветра не чувствовалось, но в воздухе кружилась пыль, заслоняя звезды,— видимо, где-то высоко гулял бешеный ветер. Земля потрескалась от мороза и словно поседела, дорога стала твердой и неровной. Сянцзы, постояв у кино, замерз, но возвращаться в чайную не хотелось. Он думал о своей жизни. Старик с мальчиком разбили его самую заветную мечту — ведь у них была своя коляска, а что толку? С самого первого дня, как только Сянцзы стал рикшей, он мечтал приобрести коляску и до сих пор мыкался целыми днями только ради этого. И теперь из-за

этого не хотел сходиться с Хуню. Думал, купит коляску, соберет деньжат и возьмет в жены достойную девушку. Но вот он видел Сяо Маэра. Разве сына Сянцзы ждет не такая же участь? Может, не стоит пренебрегать Хуню? Если уж нет выхода из этого заколдованного круга, не все ли равно, кто станет его женой? К тому же, раз у Хуню будет несколько колясок, почему не попользоваться даровым счастьем? Он ничуть не лучше других, так что нечего привередничать. Хуню так Хуню! Какая разница!

Сеанс окончился. Сянцзы быстро поставил на место банку с карбидом и зажег фонарь. Сбросил ватник и остался в легкой курточке. Ему хотелось стрелой пролететь весь путь до дома и на бегу забыть обо всем. Разобьется насмерть — тоже невелика беда!

Глава одиннадцатая

Когда Сянцзы вспоминал о старике и о мальчике, ему не хотелось ни думать, ни мечтать, а жить только сегодняшним днем. Зачем стремиться к невозможному, не щадя себя? Если бедняк не помрет с голоду в молодости, его ждет голодная смерть на старости лет! Куда ни кинь — всюду клин! Он наконец понял это. Только пока ты молод, силен и трудишься из последних сил, ты вроде человек. И глупо отказывать себе в чем бы то ни было. Уйдут годы — не вернешь!

Его перестали тревожить даже мысли о Хуню. Но стоило ему взглянуть на копилку, на ум приходило другое: нет, нельзя поступать так легкомысленно! Никак нельзя! Ему недостает каких-нибудь нескольких десятков юаней. Непростительно бросать на ветер деньги, доставшиеся с таким трудом. Надо идти своей дорогой! Но как быть с Хуню? Тут он снова попадал в тупик и с тоской вспоминал о двадцать седьмом числе. Когда становилось совсем невмоготу, он сжимал глиняную копилку и нашептывал: «Будь что будет, а деньги все-таки мои! С ними мне ничего не страшно. Станет невмоготу, плюну на все и убегу. Когда есть деньги, всегда можно сбежать!»

На улицах становилось все оживленнее, повсюду сновали разносчики, со всех сторон доносилось: «Сладости! Покупайте сладости!»

Сянцзы собирался отпраздновать Новый год, но сейчас у него пропала охота. Чем оживленнее выглядели улицы, тем тревожнее становилось у него на душе. Роковой день приближался! Глаза у Сянцзы ввалились, шрам на щеке обозначился резче. На улицах давка, земля скользкая, приходилось быть осторожным, но тревога и заботы отвлекали внимание. Сянцзы чувствовал, что теряет

уверенность. Он стал сбивчивым, рассеянным, часто беспричинно пугался. Его мучил зуд, как будто все тело было покрыто сыпью, как у детей в летнюю пору.

Во второй половине дня, когда все совершают жертвоприношения духам и предкам, с востока подул сильный ветер. Все небо заволокло черными тучами, и неожиданно потеплело. К вечеру ветер утих, и редкими хлопьями повалил снег.

Торговцы заволновались. Потеплело! Снег! Придется присыпать сладости сахарной пудрой, чтобы не слипались. Вскоре снег повалил гуще, и вмиг вся земля побелела. После семи часов вечера лавочники и остальной люд начали обряд жертвоприношений. Всюду курились благовония, взрывались хлопушки; густой снегопад придавал празднику особую таинственность. Пешеходы и пассажиры на колясках волновались: все торопились домой, чтобы принести жертвы предкам, но земля была мокрая, скользкая, и никто не решался ускорить шаг. Торговцы спешили распродать праздничные угощения. Их непрерывные выкрики оглушали людей.

Было часов девять вечера, когда Сянцзы возвращался с господином Цао из западной части города. Проехали Сиданьпайлоу, самый оживленный район, затем повернули на Чанъаньцзе.

Здесь движения было меньше. Ровные асфальтированные улицы под тонким слоем снега сверкали при свете фонарей.

Неожиданно вынырнула машина, и ее фары далеко осветили дорогу. Падающий снег в свете фар казался желтым и был похож на золотистый песок. Дорога перед Синьхуамынем, и без того достаточно широкая, от снега казалась еще шире. Она поражала простором и белизной, вызывая чувство какой-то необычной радости. Чанъаньпайлоу, ворота Синьхуамынь с лепными карнизами, Красная стена, величественные колонны — все оделось в белый наряд. Освещенные фонарями, молчаливо стояли эти памятники, олицетворяя собой величие древней столицы. Казалось, Бэйпин весь вымер, остались только дворец да сосны, безмолвные под снежным покровом.

Но у Сянцзы не было времени любоваться пейзажем. Глядя на снежную, сверкающую, словно яшма, дорогу, расстилавшуюся перед ним, он думал лишь о том, как бы скорее попасть домой. За ровной, белой, безлюдной улицей ему уже чудились ворота господского дома. Однако быстро бежать он не мог. Снег был неглубокий, но прилипал к подошвам, и все старания стряхнуть его были напрасны. Тяжелые хлопья летели в лицо, ослепляли глаза. Снег таял не сразу. Он ложился плотным слоем на плечи Сянцзы, и вскоре одежда его промокла насквозь.

В этом районе было не так оживленно, лишь издалека доноси-

лись раскатистые выстрелы хлопушек, и высоко в темном небе рассыпались разноцветные огни. Но когда они гасли, становилось еще темнее. Темнота нагоняла страх. Взрывы хлопушек, вспышки фейерверка и сменяющий их мрак словно подгоняли Сянцзы. Как на грех, бежать быстрее было нельзя.

Особенно раздражал его какой-то велосипедист, который увязался за ними еще в западной части города.

Подъехали к Сичанъаньцзе. Здесь было тише, и Сянцзы острее почувствовал за своей спиной преследователя. Он слышал даже еле уловимое поскрипывание снега под колесами велосипеда. Как и все рикши, Сянцзы терпеть не мог велосипедистов. К машинам он тоже не питал особой симпатии, но те хоть сигналят, можно вовремя посторониться. А велосипедисты норовят проскочить в любую щель, виляют из стороны в сторону, так что от них рябит в глазах. И если произойдет несчастный случай, обязательно обвинят тебя. Полицейский всегда примет сторону велосипедиста, чтобы унизить рикшу.

Несколько раз Сянцзы хотелось резко остановить коляску, чтобы негодяй налетел на нее и свалился на землю. Но он не отваживался на это — рикша обязан все терпеть. Каждый раз, перед тем как сделать остановку, он должен крикнуть: «Стоп!»

Они подъехали к Наньхаю. Улица здесь довольно широкая, однако велосипедист не обгонял, а продолжал ехать сзади, не отставая ни на шаг. Сянцзы вышел из себя, нарочно остановил коляску и начал стряхивать снег с плеч. Велосипедист тихо проехал мимо, обернулся и поглядел на него. Сянцзы умышленно помедлил, пока велосипедист не скрылся из виду. Потом поднял ручки коляски и выругался.

— Чтоб ты провалился!

«Демократизм» господина Цао не позволял ему пользоваться утепленным верхом, да и брезентовый он поднимал лишь в тех случаях, когда лил дождь. Сейчас шел небольшой снежок, и господин Цао считал, что нет никакой необходимости от него укрываться. Кроме того, ему хотелось полюбоваться городом в эту снежную ночь. Он тоже обратил внимание на преследователя и, когда Сянцзы выругался, тихо сказал ему:

— Если он не отстанет, не останавливайся у дома, а проезжай прямо на Хуаньхуамынь, к господину Цзоу.

Сянцзы встревожился. Он просто не любил назойливых велосипедистов, но не думал, что среди них могут быть опасные люди. Однако, если господин Цао не решается подъехать к собственному дому, значит, от этого мерзавца можно ждать всего. Сянцзы пробежал несколько десятков шагов и опять наткнулся на своего преследователя, явно поджидавшего коляску. Тот пропустил их

вперед. Окинув его внимательным взглядом, Сянцзы наконец понял: это сыщик. Ему частенько доводилось встречать подобных типов в чайных, и хотя Сянцзы ни разу не имел с ними дела, он хорошо знал, как они выглядят. Ему примелькалась их одежда: у всех такой же синий халат, у всех низко надвинутая на лоб фетровая шляпа.

Когда подъехали к Наньчанцзе, Сянцзы на повороте обернулся: велосипедист не отставал. Сянцзы, забыв о снеге, побежал быстрее. Дорога тянулась прямая, длинная, белая, вокруг — никого, лишь холодные фонари по сторонам да преследователь позади! Сянцзы не приходилось бывать в подобных переделках, от волнения он весь взмок. Подъехав к парку с западной стороны, он снова оглянулся: сыщик был почти рядом. У дома хозяина Сянцзы только замешкался на миг, но господин Цао ничего не сказал, и он побежал дальше. Свернул в маленький переулок,— велосипедист за ним! Выехал на улицу — тот снова сзади. Чтобы проехать на Хуаньхуамынь, не нужно было никуда сворачивать, он сообразил это, когда уже проехал переулок насквозь. Мысли его путались, и он злился на себя. Только когда они миновали Цзиншань, велосипедист свернул в сторону Хоумыня и исчез. Сянцзы вытер пот. Снегопад кончился, в воздухе кружились только одинокие снежинки. Сянцзы на миг залюбовался ими; они опускались мягко и не слепили, как пороша.

— Куда теперь прикажете? — спросил Сянцзы, обернувшись.

— К господину Цзоу. Если кто-нибудь спросит обо мне, скажешь: «Такого не знаю!»

— Хорошо.— Сердце Сянцзы тревожно забилось, но пускаться в расспросы он не посмел.

Когда подъехали к дому Цзоу, господин Цао велел Сянцзы вкатить коляску во двор и быстро закрыть ворота. Господин Цао держался стойко, хотя и был взволнован. Распорядившись поставить коляску, он вошел в дом, но вскоре снова вышел вместе с господином Цзоу: это был близкий друг хозяина, и Сянцзы его знал.

— Сянцзы,— торопливо сказал господин Цао,— домой поезжай на машине, скажи госпоже, что я здесь. Пусть едет сюда. Только на другой машине, а не на той, на которой поедешь ты. Понял? Отлично! Передай госпоже, чтобы она захватила самые необходимые вещи и несколько картин из кабинета. Ясно? Я сам позвоню госпоже, а ты еще раз напомни. Боюсь, она разволнуется и все забудет.

— Может быть, мне поехать? — предложил господин Цзоу.

— Не стоит. Возможно, это был и не сыщик. Но все-таки надо быть поосторожнее. Вызови, пожалуйста, машину!

Пока Цзоу звонил по телефону, господин Цао втолковывал Сянцзы:

— За машину я заплачу. Передай госпоже, чтобы собралась побыстрее. Пусть ни о чем не беспокоится, захватит только вещи сынишки и несколько картин из кабинета. Когда госпожа соберется, вели Гаома вызвать машину по телефону, и пусть едут сюда. Ясно? А когда они уедут, запри ворота и ложись спать в кабинете: там есть телефон. Ты умеешь звонить?

— Я не смогу набрать номер. Но если позвонят, отвечу.

Сянцзы не очень-то умел и отвечать на телефонные звонки, однако не хотел волновать хозяина.

— Вот и хорошо! — продолжал господин Цао по-прежнему торопливо.— Если услышишь какой-нибудь шум, ворот не открывай! Даже после нашего отъезда. Боюсь, они не оставят тебя в покое. Поэтому, чуть что — гаси свет и через задний двор беги к Ванам. Знаешь Ванов?

— Да-да!

— Побудь немного у них, а потом уходи! Перепрыгнешь через стену и беги, иначе тебя схватят! Ни о моих, ни о своих вещах не беспокойся. Если вещи пропадут, я возмещу убытки. Вот пока пять юаней. Пойду звонить госпоже. А ты напомни ей, о чем я просил. Только пока ничего не рассказывай,— может быть, это и не сыщик. Да и сам заранее не волнуйся.

Сердце у Сянцзы билось тревожно, ему хотелось о многом расспросить, но он не смел — боялся забыть наставления господина Цао.

Подъехала машина, Сянцзы растерянно влез в нее. Редкими крупными хлопьями шел снег, и трудно было что-либо различить.

Сянцзы сидел выпрямившись, голова его почти касалась верха машины. Он хотел поразмыслить, но перед глазами мелькали светофоры такие яркие, что он поневоле залюбовался. А тут еще щетки перед водителем сами двигались из стороны в сторону, вытирая снег и влагу со стекла, и это тоже необычайно интересно! Не успел он собраться с мыслями, как такси остановилось. С беспокойным сердцем выпрыгнул Сянцзы из машины.

Он уже собирался нажать кнопку звонка, когда перед ним, словно из-под земли, вырос человек и схватил его за локоть. Сянцзы хотел было отбросить цепкую руку, но тут разглядел лицо незнакомца и замер. Перед ним стоял велосипедист.

— Не узнаешь меня, Сянцзы? — осклабился тот, отпустив его локоть. Сянцзы не знал, что сказать, и лишь тяжело дышал.— Разве ты забыл, как мы тогда увели тебя в Синань? Я командир взвода Сунь. Теперь вспомнил?

— А-а! Командир взвода Сунь! — пробормотал Сянцзы, так ни-

чего и не вспомнив. Когда солдаты уводили его в горы, ему было не до того, чтобы разобраться, кто командир взвода, а кто командир роты.

— Ты забыл меня, зато я тебя помню: шрам на лице — хорошая примета. Полдня за тобой ездил, вначале тоже не узнавал, боялся ошибиться. И так посмотрю и этак, но шрам твой — обознаться нельзя!

— У тебя ко мне дело? — Сянцзы снова собрался позвонить.

— Ну, конечно! И очень важное! Войдем, поговорим.— Командир взвода Сунь — ныне сыщик — поднял руку и позвонил сам.

— Сейчас уже поздно...— промямлил Сянцзы. У него даже голова вспотела от злости. «Вот привязался! Да разве можно пускать его в дом?!»

— Не волнуйся, я пришел тебе помочь.— Сунь расплылся в хитрой усмешке. И как только Гаома открыла дверь, прошмыгнул в дом.— Благодарю вас, благодарю,— зачастил он и, не дав им возможности обменяться даже словом, потянул Сянцзы к сторожке.— Здесь живешь? — спросил он, осматривая комнату.— О, как чисто! Недурно устроился! Недурно!

Сянцзы надоела его болтовня.

— Что у тебя за дело? Мне недосуг.

— Ведь я же сказал: очень важное дело! — Сунь все еще улыбался, но в голосе его зазвучала угроза.— Скажу тебе прямо: твой господин — бунтарь! Поймаем его — расстреляем. Он от нас не уйдет! А с тобой мы все же знакомые: ты служил под моим началом. И потом, я человек порядочный. Не надо бы говорить, да скажу: влип ты в историю. Тебе нужно бежать, иначе и тебя схватят. А к чему тебе впутываться в чужие дела и отдуваться за других! Так ведь?

— Но я же подведу людей! — возразил Сянцзы, вспомнив напутственные слова господина Цао.

— Кого? — осклабился сыщик, злобно сверкнув глазами.— Людей?! Они сами виноваты. Знали, что делали, пусть теперь и выкручиваются. Ради чего тебе страдать из-за них? Вот посадят тебя на пару месяцев, тогда поймешь, каково птице в клетке. Пара месяцев еще куда ни шло, а если засадят надолго? Они, если попадут за решетку, отделаются легким испугом. У них есть деньги. А у тебя, братец? Так что готовься к худшему! Но это еще не все. Богач, он даст взятку — и на воле! А с тобой, если дело получит огласку, церемониться не станут: отведут на Тяньцяо — и конец! Ну скажи, разве не обидно умирать ни за что ни про что? Ты же толковый парень, зачем тебе зря рисковать головой? «Людей подведу!» Эх, ты! Каких людей? Скажу я тебе: случись с нами что, никто из них о нас, бедняках, даже не подумает!

Сянцзы перепугался. Вспомнив, сколько он выстрадал, когда его забрали солдаты, он представил себе, что его ждет в тюрьме.

— Значит, по-твоему, мне уйти и бросить хозяев?

— Ты что, заботишься о них? Лучше о себе побеспокойся!

Сянцзы помедлил минутку, словно прислушиваясь, но совесть его молчала.

— Хорошо, я уйду.

— Уйдешь? — с холодной усмешкой переспросил Сунь.— Так просто вот и уйдешь?

У Сянцзы помутилось в голове.

— До чего же ты глуп, приятель! Хочешь, чтобы я, сыщик, даром тебя отпустил?

Сянцзы от волнения не знал, что сказать.

— Не прикидывайся дурачком! — Глаза сыщика впились в рикшу.— У тебя, наверное, есть кое-какие сбережения, давай их сюда, выкупай свою жизнь! Я ведь зарабатываю меньше тебя, мне тоже нужно есть, пить, одеваться, да еще семью кормить. Приходится не брезговать и такими доходами. Вот и подумай, могу ли я отпустить тебя просто так? Будь на твоем месте другой, не стал бы и разговаривать! Но дружба дружбой, а служба службой! Мне тоже нужно жить. Неужели ты думаешь, что моя семья питается святым духом? Ну, ладно, нечего болтать. Давай выкуп!

— Сколько? — спросил Сянцзы, опускаясь на кровать.

— Сколько есть!

— Я лучше отсижу в тюрьме!

— Подумай, что говоришь! — Рука сыщика скользнула в карман халата.— Смотри, раскаешься! Мне тебя забрать ничего не стоит, а станешь сопротивляться — пристрелю. Я тебя вмиг отведу куда надо! А там, за решеткой, не только деньги, одежонку последнюю отберут... Не валяй дурака, подумай!

— Нашел кого обирать! — еле выговорил Сянцзы после долгого молчания.— А почему бы тебе не сорвать куш с господина Цао?

— Он — большой преступник. Поймаем его — получим вознаграждение, не поймаем — будем наказаны. Тебя же, мой глупый братец, отпустить, что чихнуть, убить, что раздавить клопа! Получу с тебя деньги — пойдешь своей дорогой, не получу — встретимся на Тяньцяо. Так что не канителься, выкладывай все! Ты не маленький, должен понимать, этими деньгами придется поделиться с другими, мне-то самому немного перепадет. Я, можно сказать, дарю тебе жизнь, а ты упрямишься. Сколько там у тебя?

Сянцзы вскочил, сжав кулаки, вены на его висках вздулись.

— Не вздумай буянить! Предупреждаю, за воротами наши ре-

бята. А ну, выкладывай деньги! Да поживее, пока я по-хорошему разговариваю.

Глаза сыщика были страшны.

— Но кому я что сделал?

В голосе Сянцзы слышались слезы. Он бессильно опустился на край кровати.

— Никому, просто влип в историю. Человек счастлив только в утробе матери, а мы с тобой давно ходим по земле.— Сунь сокрушенно покачал головой, словно его самого постигло большое горе.— Я, конечно, тебя обижаю, но что делать? Ладно, хватит тянуть канитель!

Сянцзы подумал минуту. Выхода не было. Дрожащими руками он вытащил копилку из-под одеяла.

— Дай-ка взглянуть! — засмеялся Сунь и, схватив копилку, разбил об стену.

Сянцзы смотрел на рассыпавшиеся по полу деньги, и сердце его готово было разорваться от горя.

— Только и всего?

Сянцзы молчал, его била лихорадка.

— Ладно, оставляю тебя в живых! Друзья есть друзья. Но ты должен понять: за эти деньги ты купил себе жизнь и еще легко отделался!

Сянцзы по-прежнему молчал, пытаясь натянуть на себя одеяло: он весь дрожал, как в ознобе.

— Не тронь одеяло! — рявкнул сыщик.

— Холодно...

В глазах Сянцзы вспыхнул гнев и тут же погас.

— Говорю, не тронь, значит, не тронь! Убирайся вон!

Сянцзы вздохнул, прикусил губу, толкнул дверь и вышел.

Земля уже покрылась толстым слоем снега. Вокруг все побелело. Сянцзы шел, опустив голову, и за ним на снегу оставались темные следы.

Глава двенадцатая

Сянцзы хотелось присесть, подумать, сообразить, наконец, что же с ним случилось. Хоть бы заплакать — может, станет полегче. Все произошло так быстро, что он не успел ничего понять. А присесть было негде — повсюду снег. Все чайные уже закрылись — время позднее. Да он, пожалуй, и не зашел бы туда. Он искал уединения. Сянцзы чувствовал, что слезы вот-вот хлынут у него из глаз.

Он медленно, без цели, брел по улице. В этом серебристо-белом

мире у него не было пристанища. Только голодные птицы зимой да бездомные бродяги могли его сейчас понять и посочувствовать его горю.

Куда идти? Вопрос этот мучил Сянцзы, и ни о чем другом он не мог думать. В ночлежку? Чего доброго, лишишься последней одежонки да вшей наберешься. Пойти в более приличное место он не мог: у него осталось всего пять юаней. В баню? Они закрылись в двенадцать часов, почевать там нельзя. Деваться было некуда.

Только теперь он почувствовал всю безвыходность своего положения. Он прожил в городе несколько лет и по-прежнему ничего не имел. Ничего, кроме одежды и пяти юаней в кармане. Даже одеяла с тюфяком — и тех лишился. Тут он подумал о завтрашнем дне. Что делать завтра? Опять браться за коляску? Но он уже возил ее, а толку чуть. Ни пристанища, ни денег. Стать торговцем-разносчиком? Но ведь у него только пять юаней, а нужны коромысло, корзины. К тому же разве такой торговлей проживешь? Рикша заработает на еду и доволен, а чтобы заняться торговлей, нужны большие деньги. Иначе это не дело. Проешь все, что имеешь, а потом снова за коляску? Это значит выбросить на ветер последние пять юаней. А их никак нельзя выпускать из рук: это его последняя надежда. Слуги из него не выйдет: ни прислуживать, ни стирать, ни готовить он не умеет. Ничего-то он не знает, ничего-то не может. Он всего лишь верзила, глупый и неотесанный!

Сянцзы не заметил, как подошел к Чжунхаю. Поднялся на мост. Пустынно было вокруг, и куда ни глянь — всюду снег. Только сейчас он заметил, что снег все еще идет. Он дотронулся до шапки, она промокла насквозь. На мосту не было ни души, даже постовые и те куда-то укрылись. Снег облеплял фонари, и казалось, они непрерывно мигали. Сянцзы глядел на снежную пустыню, окружавшую его со всех сторон, и глубокая тоска охватывала его душу.

Он долго стоял на мосту. Вокруг все как будто вымерло — ни звука, ни движения. Снежинки, радостно кружась, падали на землю, словно спешили незаметно для людей окутать весь город холодным покрывалом. И в этой тишине Сянцзы вдруг услышал тихий голос своей совести: «Не думай о себе, вспомни о семье Цао! Там ведь остались только госпожа с маленьким сыном и Гаома! Кто дал тебе эти пять юаней? Разве не господин Цао?»

Не раздумывая больше, он быстро зашагал обратно, к дому.

У ворот виднелись следы, на дороге — две свежие колеи от колес машины. Неужели госпожа Цао уехала? Почему же Сунь не забрал их?

Сянцзы не решался войти, боясь, что его схватят. Он огляделся по сторонам: вокруг никого. Сердце тревожно забилось. Может быть, войти? Все равно деваться некуда. Заберут — ну и пусть! Сянцзы тихонько толкнул дверь. Она оказалась незапертой. Сделал несколько шагов по коридору, он увидел свет в своей комнате — в своей комнате! — и чуть не заплакал. Согнувшись, подошел к окну, прислушался — в комнате закашляли. Гаома! Он потянул дверь к себе и открыл ее.

— Кто там? А, это ты! Испугал до смерти! — Гаома схватилась за сердце, потом, успокоившись, присела на кровать.— Что тут случилось, Сянцзы?

Сянцзы не мог вымолвить ни слова; ему показалось, что он встретился с Гаома через много лет разлуки, и на сердце у него вдруг стало тепло-тепло.

— Что же это такое? — снова спросила Гаома, готовая заплакать.— Хозяин звонил, велел нам ехать к Цзоу, сказал, что ты вот-вот приедешь за нами. Ты и приехал — я ведь сама открыла тебе дверь! А с тобой какой-то незнакомец... Я ни о чем не спросила, пошла к госпоже помочь ей собрать вещи. Ждали тебя, ждали... Пришлось нам с госпожой одним суетиться впотьмах. Малыш спал, мы его вынули из теплого гнездышка, уложили вещи, взяли из кабинета картины, а ты как сквозь землю провалился... Где ты был, я тебя спрашиваю? Кое-как мы собрались. Я вышла посмотреть, а тебя и в помине нет. Госпожа от гнева и страха вся дрожала. Я вызвала машину, но мы не могли оставить дом без присмотра. Решили, что госпожа поедет, а я останусь, приеду к Цзоу, когда ты вернешься. Что все это значит? Говори!

Сянцзы молчал.

— Да скажи хоть слово! Чего ты молчишь? Что стряслось?

— Поезжай! — с трудом проговорил Сянцзы.— Не задерживайся!

— А ты присмотришь за домом? — Гаома немного успокоилась.

— Увидишь господина, скажи ему, что сыщик задержал меня, но потом... потом отпустил.

— Что ты городишь? — воскликнула Гаома, не понимая, шутит он или говорит серьезно.

— Слушай,— раздраженно продолжал Сянцзы,— передай господину, чтобы побыстрее скрылся. Сыщик сказал, что его собираются арестовать. В доме Цзоу тоже опасно. Поезжай быстрей. Я переберусь к Ванам и там переночую. Ворота запру, а завтра пойду искать работу. Я очень виноват перед господином!

— Ничего не понимаю,— вздохнула Гаома.— Ну ладно, я пошла. Малыш, наверно, замерз, пока везли. Побегу! Увижу господина, обязательно передам ему твои слова: чтобы он побыстрее

уезжал. Значит, ты запрешь ворота, ночевать переберешься к Ванам, а завтра пойдешь искать работу? Так я говорю?

Сянцзы только кивнул головой.

Когда Гаома ушла, он запер ворота и вернулся к себе в комнату. Осколки разбитой копилки валялись на полу. Он машинально поднял один черепок, посмотрел на него и бросил на пол. Постель осталась нетронутой. Странно, что бы это значило? А что, если Сунь вовсе не сыщик? Тогда господину Цао не грозит никакая опасность, ему незачем бросать семью и прятаться. Непонятно! Ничего не поймешь! Сянцзы присел на кровать, но сразу же, словно чего-то испугавшись, вскочил. Нельзя тут задерживаться! Что, если Сунь вернется? В голове промелькнула мысль: он подвел господина Цао, но Гаома передаст ему, чтобы он бежал, и Сянцзы может быть спокоен. Он никогда никого не подводил, наоборот — ему самому то и дело приходилось терпеть от других обиды. Вот и сейчас потерял свои деньги. А из-за кого? И еще должен стеречь этот дом!

Так, разговаривая сам с собой, он поднялся и начал собирать постель. Затем, погасив огонь, отправился на задний двор. Здесь Сянцзы положил постель прямо на землю, ухватился руками за гребень стены, подтянулся и тихо позвал:

— Лао Чэн! Лао Чэн!

Лао Чэн служил рикшей в доме Ванов. Сейчас он почему-то не отзывался. Сянцзы решил перепрыгнуть через стену. Сначала перебросил постель; она бесшумно упала на снег. Сердце Сянцзы тревожно билось. Он быстро вскарабкался на стену, спрыгнул, поднял постель и пошел разыскивать Лао Чэна: он знал, где его комнатушка. Было тихо. Наверное, у Ванов все уже спали. Неожиданно Сянцзы пришла в голову мысль, что воровать — не так уж трудно. Он зашагал увереннее: снег слегка поскрипывал под ногами. Добравшись до комнаты Лао Чэна, Сянцзы кашлянул.

— Кто там? — спросил Лао Чэн; видимо, он только что лег.

— Это я, Сянцзы. Открой! — негромко попросил Сянцзы. Знакомый голос Лао Чэна утешил его и обрадовал.

Лао Чэн зажег огонь и, накинув старенькую куртку на меху, открыл дверь:

— Что случилось, Сянцзы? Ты что так поздно?

Сянцзы вошел, положил постель на пол и тут же опустился на нее. Он молчал.

Лао Чэну было за тридцать, многочисленные чирьи покрывали его лицо и тело. Сянцзы не был с ним особенно дружен, они лишь здоровались при встрече да перебрасывались двумя-тремя словами. Иногда, когда госпожа Цао и госпожа Ван выезжали одновременно, обоим рикшам случалось вместе попить чаю и отдохнуть.

Сянцзы не очень уважал Лао Чэна: тот бегал быстро, но казался каким-то расхлябанным, даже ручки коляски держал кое-как. И хотя Лао Чэн был добрым малым, Сянцзы не мог с ним сдружиться по-настоящему.

Однако сегодня Лао Чэн показался Сянцзы самым родным человеком, и он испытывал к нему чувство горячей признательности.

Сянцзы старался побороть волнение. Только что он бродил по почному городу, не зная, где ему приткнуться, а сейчас сидит в теплой комнате своего приятеля. Как быстро все меняется! На сердце у Сянцзы было по-прежнему тяжело, но он словно начинал оттаивать.

Лао Чэн снова нырнул в постель и, указывая на сброшенную куртку, сказал:

— Кури, Сянцзы, сигареты в кармане.

Сянцзы не курил, но ему было как-то неудобно отказаться; он взял сигарету и сунул в рот.

— Так что же с тобой случилось? — спросил Лао Чэн.— Хозяин выгнал?

— Нет,— пробормотал Сянцзы.— Семья господина Цао уехала, а я боюсь оставаться один в доме.

— Какая-нибудь беда? — Лао Чэн привстал.

— Не знаю, но, кажется, что-то стряслось. Даже Гаома уехала!

— И все осталось открытым, без присмотра?

— Я запер ворота!

— Гм! — Лао Чэн призадумался.— Пожалуй, пойду скажу господину Вану, хорошо? — предложил он, собираясь встать.

— Завтра скажешь. Пока я и сам ничего толком не знаю.

Откуда же Сянцзы было знать, что господин Цао читал лекции в одном из учебных заведений, что начальство было им недовольно и собиралось его проучить за слишком смелые взгляды? Слухи об этом дошли до господина Цао, но показались ему несерьезными: он-то знал, как непоследовательны эти его «смелые взгляды» и как мало они в действительности значат. Единственное, что его по-настоящему интересовало, так это искусство. Смешно, но тем не менее его принимали за революционера. Право, это было несерьезно! Поэтому он не обращал ни на что внимания, хотя студенты и коллеги советовали ему быть поосторожнее. Однако самоуспокоенность не гарантирует безопасности, особенно в такое смутное время.

Зимние каникулы были самым благоприятным моментом для чистки в институте. Начались расследования и аресты. Господину Цао уже давно казалось, что за ним следят, и сейчас, когда подозрения подтвердились, он немедля приехал к своему приятелю Цзоу. Тот давно ему предлагал:

— В случае необходимости перебирайся ко мне! У меня они не посмеют тебя искать.

Господин Цзоу имел большие связи, а связи, как известно, сильнее закона.

— Укроешься у меня на несколько дней,— говорил он.— Они подумают, что запугали нас, а мы тем временем сумеем договориться с кем нужно. Возможно, придется потратиться. Но у меня везде свои люди; они получат деньги, а ты вернешься домой.

Сыщику Суню было хорошо известно, что Цао часто бывает у господина Цзоу и в случае опасности укроется у него. Но полиция боялась вызвать недовольство Цзоу, да ей и нужно-то было лишь припугнуть Цао. Загнав его к Цзоу, полицейские рассчитывали получить взятку и прекратить дело под каким-нибудь благовидным предлогом. Сянцзы совсем не входил в их расчеты, но раз уж он подвернулся под руку, почему не сорвать и с него несколько юаней? Так Сунь и сделал.

Многие люди находят выход из любых положений, а вот Сянцзы этого не умел. И его некому было защитить, потому что он был только рикшей. За каждую горсть риса рикша расплачивается потом и кровью, отдает последние силы за жалкие медяки; он стоит на самой последней ступеньке общества, обреченный на все невзгоды, которые ему несут люди, законы, жизнь.

Сянцзы выкурил сигарету, но так ничего и не придумал. Он чувствовал себя беспомощным, как курица, задыхающаяся в руках повара. Все пошло прахом! Ему хотелось поговорить с Лао Чэном, посоветоваться, но он не находил слов, не умел выразить свои мысли. Все горести жизни обрушились на него, и он словно онемел. Купил коляску — она пропала, скопил деньги — их отобрали. Люди надругались над всеми его мечтами! Неужели ему суждено всех бояться, даже бродячих собак, и до самой смерти безропотно сносить обиды?

Но сейчас было не время думать о прошлом. Главное — что делать завтра? К господину Цао возвращаться нельзя. Куда же идти?

— Можно мне здесь переночевать? — спросил Сянцзы. Он походил на бездомного пса, который нашел защищенный от ветра уголок и теперь боялся, не помешает ли людям.

— Оставайся! Куда ты пойдешь в такую непогоду? На полу ляжешь? А то я могу потесниться ..

Сянцзы не хотел беспокоить Лао Чэна — ему и на полу будет хорошо.

Лао Чэн вскоре захрапел, но Сянцзы, как ни вертелся, уснуть не мог. От холодного пота ватная подстилка задубела, как на морозе. Сянцзы поджимал под себя ноги — их сводило судорогой. Ветер, проникавший сквозь дверные щели, колол, словно иголками.

Сянцзы крепко зажмурился, натянул одеяло на голову. Посапывание Лао Чэна выводило его из себя. Ему хотелось встать и стукнуть его — кажется, тогда бы он успокоился. Становилось все холоднее, болело застуженное горло, но он боялся кашлем разбудить Лао Чэпа.

Сон все не шел. Сянцзы решил тихонько подняться и еще раз взглянуть на дом Цао. Во дворе никого нет, почему ему не поживиться? Все равно все пошло прахом! Деньги, накопленные с таким трудом, у него отобрали. Отобрали из-за господина Цао. Почему же не взять у него что-нибудь? Это из-за хозяина он всего лишился. Хозяин и должен возместить убыток. Так будет справедливо!

Глаза у Сянцзы разгорелись, он забыл даже о холоде. «Пойду! — решил он.— Попытаюсь вернуть свое!»

Он поднялся, но тут же снова лег: ему почудилось, что Лао Чэн с укором смотрит на него! Сердце его стучало. Нет! Он не может стать вором. Не может! Спасая свою шкуру, он ослушался господина Цао и уже этим провинился перед ним. Как же можно еще и обокрасть его? Нет, он этого не сделает! Умирать будет с голоду, а воровать не пойдет!

Но что, если другие обворуют хозяина? Если тот же сыщик Сунь унес что-нибудь? Все равно потом все свалят на него.

Сянцзы снова сел. Вдали залаяла собака. Нет, воровать он все-таки не пойдет. Пусть другие воруют. А его совесть должна быть чиста. Лучше станет нищим, но чести не запятнает.

Он опять лег.

Однако Гаома знает, что Сянцзы пошел к Ванам. Если ночью что-нибудь исчезнет, вина падет на его голову! Тогда ему не смыть позора, даже бросившись в Хуанхэ.

Сянцзы не чувствовал больше холода, ладони его стали влажными от волнения. Что же делать? Перебраться во двор Цао и посмотреть? На это он не решался Он выкупил свою жизнь, отдал все свои деньги и теперь боялся снова попасть в ловушку. Но что, если дом обворуют?

Сянцзы не знал, что делать. Он снова сел. Голова его почти касалась колен, глаза слипались, но теперь он не смел заснуть.

Ночь казалась бесконечной, а Сянцзы все не решался сомкнуть глаза.

Он долго сидел так, пытаясь что-нибудь придумать. Внезапно его осенила мысль. Он принялся будить Лао Чэна:

— Лао Чэн! Лао Чэн! Проснись!

— Что такое? — Лао Чэну так не хотелось вылезать из-под одеяла! — Горшок нужен? Под кроватью!

— Проснись! Зажги свет!

— Что? Воры? — вскочил Лао Чэн, ничего не соображая.
— Ты совсем проснулся?
— Ага!
— Лао Чэн, вот моя постель, одежда, а вот пять юаней, что мне дал хозяин. Видишь, у меня ничего больше нет.
— Ну и что? — Лао Чэн громко зевнул.
— Ты видишь? Это только мои вещи. Я ничего не взял у хозяина. Видишь?
— Вижу, не взял. Мыслимо ли дело, чтобы мы, бедняки, воровали у своего хозяина? Раз нанялся — работай, не подходит работа — уходи! Чужого мы не возьмем! Так, что ли?
— Но ты видел? Тут только мое...
Лао Чэн засмеялся:
— Да полно тебе! Не замерз на полу?
— Ничего, не очень...

Глава тринадцатая

Рассвет наступил как будто раньше, чем обычно, но это лишь казалось из-за ослепительно-белого снега.

Год был на исходе. Многие накупили кур, и их кудахтанье слышалось куда чаще, чем в будние дни. Звонкое пение петухов, разносившееся над городом, довершало картину праздничного благополучия.

Сянцзы не спал всю ночь. Под утро, правда, ненадолго забылся, и ему казалось, что он плывет по реке, то появляясь на поверхности, то погружаясь в воду. На душе у него было неспокойно. К утру он сильно замерз.

Кудахтанье кур доносилось со всех сторон. Сянцзы потерял всякое терпение. Он лежал, свернувшись калачиком, и не шевелился, чтобы не беспокоить Лао Чэна. Даже кашляя, прикрывал рот одеялом. Ему надо было встать, но он терпел.

С трудом дождался Сянцзы рассвета и, когда на улице послышался шум колес и крики возниц, сел на постели. Ему так и не удалось за ночь согреться. Он встал и, приоткрыв дверь, выглянул во двор. Снега было немного, видимо, еще в полночь снегопад прекратился. Небо как будто прояснилось, но во дворе было по-прежнему сумрачно, даже снег казался серым. Он увидел свои следы, оставленные этой ночью; они все еще были ясно различимы, хотя сверху их запорошило. Чтобы заняться чем-то, он отыскал в углу веник — метлы нигде не было — и стал разметать снег. Это оказалось нелегко. Согнувшись почти до земли, он работал старательно, однако смел только верхний слой — нижний примерз к земле.

Пока Сянцзы отгребал снег к двум низеньким ивам, он весь вспотел, и ему стало немного легче. Попрыгал на месте, чтобы размяться, сделал глубокий выдох, и длинная белая струя пара повисла в холодном воздухе. Потом Сянцзы вернулся в комнату, поставил веник на место и начал сворачивать свою постель.

Лао Чэн спросил, зевая:

— Что, уже поздно?

Он вытер слезы, выступившие на глазах, достал из кармана сигарету. Только затянувшись раза два, он проснулся окончательно.

— Погоди, Сянцзы! Сейчас принесу кипятку, выпьем горячего чаю. За ночь ты, наверное, совсем продрог.

— Может, мне лучше уйти? — вежливо спросил Сянцзы.

Но тут он вспомнил все свои страхи, не дававшие ему сомкнуть глаза, и сердце у него сжалось. Куда он пойдет?

— Что ты, останься! Я угощу тебя!

Лао Чэн поспешно оделся, не застегиваясь, подпоясался кушаком и выбежал с сигаретой в зубах.

— О, да ты весь двор подмел? — удивился он.— Вот молодец! Сейчас попьем чайку!

У Сянцзы отлегло от сердца. Вскоре Лао Чэн вернулся с двумя небольшими мисками сладкой каши и множеством пончиков и лепешек, обсыпанных кунжутными семечками.

— Чай еще не готов, поешь пока каши. Ешь, ешь! Мало будет — хозяева еще дадут, не хватит — сами купим, а то и в долг возьму. Наша работа тяжелая, значит, есть надо досыта. Давай, не стесняйся!

Было уже не рано, и комната наполнилась холодным светом. Лао Чэн и Сянцзы, держа чашки в руках, ели шумно, с аппетитом. Они не произнесли ни слова, пока от еды ничего не осталось.

— Ну как? — спросил Лао Чэн, выковыривая из зубов кунжутные семечки.

— Хорошо, но мне надо идти! — ответил Сянцзы, поглядывая на постельный сверток на полу.

— Да ты хоть расскажи, что у вас приключилось! Я так и не понял.

Лао Чэн протянул Сянцзы сигарету, но тот покачал головой.

Подумав немного, Сянцзы решил, что молчать неудобно. Запинаясь, с большим трудом, он поведал Лао Чэну о своей беде.

Лао Чэн долго сидел молча, выпятив губы, словно ему все было ясно.

— По-моему, тебе следует пойти к господину Цао,— наконец сказал он.— Этого нельзя так оставить. Да и деньги жалко. Ты же сам сказал, что господин Цао велел тебе бежать в случае чего. Но сыщик тебя схватил, как только ты вылез из машины. Ты же

не виноват, раз дело так обернулось. А потом тебе пришлось спасать свою жизнь. По-моему, ты тут ни при чем! Пойди к господину Цао, расскажи ему всю правду. Он не станет тебя винить, а если счастье улыбнется, и убытки возместит. Постель оставь здесь и отправляйся. Дни нынче короткие — солнышко еще только выглядывает, а на самом деле уже восемь часов. Иди скорее!

Сянцзы ожил. Он, правда, все еще чувствовал себя виноватым перед господином Цао, но в словах Лао Чэна была своя правда: когда на тебя наставят пистолет, где уж тут думать о чужих делах!

— Иди! — торопил его Лао Чэн.— Ты вчера небось просто растерялся — так часто бывает, когда случается беда. Я даю тебе верный совет. Ведь я все-таки постарше и жизнь знаю лучше. Ступай! Уже поздно.

Ослепительно-белый снег сверкал под солнцем. Голубое чистое небо, искрящийся снег и потоки яркого света — все радовало душу! Но только Сянцзы собрался уходить, как в ворота постучали.

Лао Чэн вышел посмотреть и крикнул:

— Сянцзы, тебя спрашивают!

Стряхивая снег с ног, на пороге появился Ванэр, рикша господина Цзоу. Он замерз, из носа у него капало. Лао Чэн заторопил его:

— Входи скорее в комнату!

Ванэр вошел.

— Вот, значит,— начал он, потирая руки,— я пришел присмотреть за домом. Как туда пройти? Ворота заперты. Снегу, значит, намело. Холодно, ой, как холодно. Значит, господин Цао с госпожой уехали рано утром не то в Тяньцзин, не то в Шанхай, не скажу точно. Господин Цзоу, значит, приказал мне присмотреть за домом. Холодно-то как, ой, холодно!

Сянцзы чуть не расплакался! Только он собрался, по совету Лао Чэна, пойти к господину Цао, а тот взял и уехал! Он долго стоял молча, затем спросил:

— Господин Цао ничего не говорил обо мне?

— Да вроде нет! Еще до рассвета, значит, поднялись, некогда было говорить. Поезд, значит, ушел в семь сорок. Так как мне пройти в дом? — заторопился Ванэр.

— Перелезь через забор,— буркнул Сянцзы. Он взглянул на Лао Чэна, словно перепоручая ему Ванэра, а сам взял свой постельный сверток.

— Куда ты? — спросил Лао Чэн.

— В «Жэньхэчан», куда же еще? — В этих словах прозвучали обида, стыд и отчаяние. Ему оставалось только покориться! Все пути для него были отрезаны, остался один — к Хуню, этой уро-

дине. Как он заботился о своей чести, как хотел выбиться в люди! И все ни к чему... Видно, ему суждена эта горькая участь!

— Ладно, иди,— согласился Лао Чэн.— Я могу подтвердить при Ванэре: ты ничего не тронул в доме господина Цао. Иди! Будешь поблизости, заглядывай. Если мне подвернется что-нибудь, буду иметь тебя в виду. Я провожу Ванэра. Уголь там есть?

— И уголь и дрова — все в сарае на заднем дворе.

Сянцзы взвалил узел с постелью на плечи и вышел.

Снег на улице уже не был таким чистым, как ночью: посреди дороги он был примят колесами и подтаял, а по обочинам его разрыхлили копыта вьючных лошадей. С узлом на плечах, ни о чем не думая, Сянцзы шел и шел, пока не очутился перед «Жэньхэчаном». Он решил войти сразу, так как знал: стоит ему остановиться — и не хватит смелости переступить порог. Лицо его горело. Он заранее придумал, что скажет: «Я пришел, Хуню. Делай как знаешь! Я на все согласен».

Увидев Хуню, он несколько раз повторил про себя эту фразу, но так и не осмелился произнести ее вслух — язык не слушался.

Хуню только что поднялась, волосы ее были растрепаны, глаза припухли, темное лицо покрывали белые жировики, словно у общипанной замороженной гусыни.

— А, Сянцзы! — приветливо сказала она, и глаза ее заулыбались.

— Вот пришел, хочу взять напрокат коляску!

Опустив голову, Сянцзы смотрел на снежинки, еще не растаявшие на его ногах.

— Поговори со стариком,— тихо сказала Хуню, кивнув на комнату отца.

Лю Сые сидел перед большой печью, в которой горел огонь, и пил чай. Увидев Сянцзы, он спросил полушутя:

— Ты жив еще, парень? Совсем забыл меня! Посчитай-ка, сколько дней не показывался! Ну, как дела? Купил коляску?

Сянцзы покачал головой, сердце его сжалось от боли.

— Дашь мне коляску, Сые?

— Снова не повезло? Ладно, выбирай любую! — Лю Сые налил чашку чая.— На, выпей!

Сянцзы принял чашку и стал пить большими глотками, стоя перед печью. От горячего чая и тепла его потянуло ко сну. Он поставил чашку и уже собрался уходить, когда Лю Сые остановил его.

— Погоди! Куда торопишься? Ты пришел кстати. Скоро день моего рождения. Я хочу поставить праздничный навес, пригласить гостей. Так что ты пока не вози коляску, помоги мне. Они,— Лю Сые кивнул на рикш во дворе,— народ ненадежный. Я не хочу их

просить,— сделают кое-как. Ты лучше управишься. Сам знаешь, что делать, тебе говорить не надо. Сначала убери снег, а в полдень приходи на гохо [1].

— Хорошо, Сые.

Сянцзы решил: раз уж он возвратился сюда, нужно во всем подчиняться отцу и дочери. Пусть делают с ним, что хотят. Он покорился судьбе.

— Ну, что я тебе говорила? — обратилась к отцу подоспевшая Хуню.— Второго такого не найдешь.

Лю Сые улыбнулся. Сянцзы опустил голову.

— Идем, Сянцзы,— позвала его Хуню.— Я дам тебе денег, купи хорошую бамбуковую метлу. Нужно побыстрее убрать снег: сегодня придут делать навес.

Когда они вошли к ней в комнату, она, отсчитывая деньги, тихо проговорила:

— Не робей! Постарайся угодить старику! И все будет в порядке!

Сянцзы ничего не ответил. Сердце его окаменело, ни о чем не хотелось думать. Пройдет день, и ладно. Есть еда — поест, будет чай — попьет, найдется работа — поработает. Лишь бы были заняты руки и ноги.

Как осел, который вертит жернова, он ничего не хотел ни знать, ни понимать — не бьют, и то хорошо! Но в то же время он не мог смириться. Как ни старайся все забыть, от тоски никуда не денешься. За работой он забывался на время, но едва выдавалась свободная минута, как его начинало душить нечто расплывчатое, бесформенное, как морская губка. Душа его была переполнена этим чувством, вызывающим тошноту. Пересиливая себя, он работал до изнеможения, чтобы потом забыться тяжким сном. Ночи отдавал сну, дни работе. Он походил на живого мертвеца. Подметал снег, ходил за покупками, заказывал карбидные фонари, чистил коляски, переставлял столы и стулья, спал, ел и пил, стараясь ни во что не вникать, ни о чем не задумываться. Угнетало его лишь это «нечто», похожее на морскую губку.

Снег во дворе был убран, а на крыше дома он сам постепенно растаял. Пришли мастера. Договорились сделать праздничную пристройку во весь двор, с карнизом и перилами. Ее должна была разделять стеклянная перегородка, чтобы на ней можно было развесить картины, шелковые свитки с поздравительными надписями. Все деревянные проемы решили обтянуть красной материей. Перед главным и боковым входами старик Лю решил повесить гир-

---

[1] Гохо — блюдо китайской кухни; мелко нарезанное сырое мясо, рыбу и овощи гости варят сами, погружая в кипящий бульон.

лянды, а кухню устроить на заднем дворе. Он хотел шумно отпраздновать день своего рождения, но для этого нужно было все подготовить заранее, и прежде всего — помещение.

Дни стояли короткие, и до сумерек мастера успели только поставить навес, затянуть его материей и сделать перила; развесить картины и украшения над дверями они обещали на следующее утро. Это очень рассердило Лю Сые, он даже посинел от злости. Но делать было нечего. Лю Сые послал Сянцзы за фонарями и велел поторопить повара, опасаясь, как бы и тот его не подвел. К счастью, с угощением все оказалось в порядке, старик зря волновался.

Не успел Сянцзы выполнить это поручение, как Лю Сые послал его к соседям занять на день мацзян [1], комплекта три-четыре. Кто же справляет день рождения без веселой игры? Сянцзы принес мацзян и снова был послан — на этот раз за патефоном: на празднике должна быть и музыка! Так Сянцзы пробегал без передышки до одиннадцати часов. Он привык возить коляску, но от этой беготни устал гораздо больше. К вечеру он едва передвигал ноги.

— Хороший ты парень! — сказал Лю Сые.— Молодец! Будь у меня такой сын, я бы умер спокойно. Иди отдыхай, завтра найдутся другие дела.

Хуню, стоявшая в стороне, подмигнула Сянцзы.

На следующее утро мастера пришли снова. Повесили картины с эпизодами из «Троецарствия» [2]: «Три сражения с Люй Бу», «Сражение у Чанбаньпо», «Лагерь в огне» и другие; главные герои и второстепенные — все были верхом, с пиками в руках. Лю Сые остался доволен картинами. Вскоре привезли мебель. Под навесом поставили восемь стульев с чехлами, расшитыми красными цветами. Праздничный зал находился в средней комнате — там стояла эмалевая курильница и подставки для свечей. Перед столом положили четыре красных коврика.

Сянцзы послали за яблоками. Хуню незаметно сунула ему два юаня, чтобы он заказал от себя в подарок отцу праздничный пирог в форме персика, с изображением восьми даосских святых. Когда яблоки были уже на столе, принесли пирог и поставили рядом. На нем было восемь даосских святых, и выглядел он весьма эффектно.

— Это от Сянцзы,— шепнула Хуню на ухо отцу.— Видишь, какой он догадливый!

Лю Сые улыбнулся Сянцзы.

---

[1] Мацзян — азартная игра в кости.

[2] Имеется в виду исторический роман известного средневекового писателя Ло Гуаньчжуна. См.: Ло Гуаньчжун. Троецарствие. Гослитиздат, М, 1954.

Не хватало только большого поздравительного иероглифа «долголетие», который клали на середине праздничного зала. Обычно его преподносили друзья. Но до сих пор поздравления никто не прислал, и это волновало Лю Сые. Он опять начал злиться.

— Я о них пекусь, помогаю в трудную минуту, а им до меня и дела нет! Будь они все прокляты!

— Что ты волнуешься? Ведь стол накрывать будем завтра,— утешала его дочь.

— Хочу приготовить все заранее, чтобы не беспокоиться. Послушай, Сянцзы, фонари нужно повесить сегодня. Если не пришлют до четырех часов, я им покажу!

— Пойди поторопи их, Сянцзы! — умышленно обратилась к нему Хуню: при отце она все время старалась найти для него какое-нибудь дело. Сянцзы безмолвно повиновался.— Хороший парень, верно, отец? — ухмыльнулась Хуню.— Тебе бы такого сына. Да вот вместо него родилась я, ничего не поделаешь. Хоть усыновляй этого Сянцзы! Ты погляди — за целый день ни разу не присел, везде поспевает!

Лю Сые ничего не ответил. Затем сказал:

— Где патефон? Заведи-ка!

Звуки старого, неизвестно у кого одолженного патефона терзали слух, как вопли кошки, которой наступили на хвост. Однако Лю Сые это не беспокоило: был бы шум.

К полудню управились со всеми делами. Оставалось лишь накрыть на стол, но это должен был сделать повар. Лю Сые все осмотрел сам. Любуясь украшениями и расставленными повсюду цветами, он удовлетворенно кивал головой.

Вечером для подсчета подарков Лю Сые пригласил из угольной лавки «Тяньшунь» господина Фэня, родом из Шаньси. Господин Фэнь был мастером своего дела. Он послал Сянцзы купить две красные приходо-расходные книги и лист красной бумаги. Разрезав бумагу, написал несколько поздравительных иероглифов и развесил их. Лю Сые заметил, что господин Фэнь — человек толковый. Он предложил ему сыграть в мацзян, но господин Фэнь, зная, что Лю Сые играет слишком хорошо, побоялся. Тогда раздосадованный Лю Сые обратился к рикшам:

— Сыграем в кости на деньги! Ну, кто из вас смелый?

Каждый не прочь был сыграть, но никто не решался. Все знали, что Лю Сые держал когда-то игорный притон.

— Эх вы, трусы! И как вы только на свете живете! — Лю Сые разозлился.— В ваши годы я не думал, сколько у меня в кармане. Проигрывал все и ничего не боялся. Ну, кто хочет?

— На медные деньги? — спросил один из рикш, выступая вперед.

— Оставь себе свои медяки! Лю Сые с сопляками не играет.— Старик залпом выпил стакан чаю и вытер лысину.— Ладно, потом сами просить будете, так я откажусь!.. Послушайте-ка, скажите всем, что у меня завтра праздник: вечером соберутся гости. А потому завтра сдайте коляски до четырех часов, чтоб не греметь на дворе. Всю выручку оставьте себе и за коляски можете не платить! Пусть каждый помянет меня добрым словом, если совесть есть. Послезавтра, в день моего рождения, вывозить коляски не разрешаю. Утром, в половине девятого, накроют для вас стол: шесть мясных блюд, два рыбных, четыре холодных и гохо. Довольны? Приходите все в длинных куртках; кто придет в короткой — выгоню! Поедите — и убирайтесь! Я буду принимать родных и друзей. Им подадут морские закуски, шесть холодных блюд, шесть горячих, четыре мясных и тоже гохо — я все говорю, как есть. Только не завидуйте — ведь это мои друзья! У кого есть совесть, приходите с подарками — буду счастлив. А кто придет с пустыми руками, пусть поклонится трижды — тоже буду доволен. Но все должно быть как положено. Понятно? Вечером можете опять прийти поесть. Все, что останется,— ваше. Но раньше шести не являйтесь...

— Завтра вечером будет много пассажиров,— сказал пожилой рикша.— Не резон нам ставить коляски в четыре часа...

— Тогда возвращайтесь после одиннадцати. Главное, не гремите, пока у меня гости! Помните: вы только рикши, а я ваш хозяин! Ясно?

Все стояли молча. Слова Лю Сые переполнили сердца людей обидой и гневом. Конечно, неплохо, когда тебе оставляют всю дневную выручку, но разве явишься потом без подарка? Придется истратить, по крайней мере, монет сорок. К тому же слова Лю Сые задели их за живое: у него, видите ли, день рождения, а им нужно прятаться, как крысам! Да еще запретил вывозить коляски двадцать седьмого числа, в самый доходный день накануне Нового года! Лю Сые, конечно, может пожертвовать дневной выручкой, но рикшам невыгодно весь день болтаться без дела. Люди угрюмо молчали. Никто не поблагодарил хозяина за его «доброту».

Когда Лю Сые удалился, Хупю окликнула Сянцзы. И тут гнев людей сразу нашел себе выход: он обрушился на Сянцзы.

В эти дни всем казалось, что Сянцзы из кожи лезет, подмазываясь к хозяевам, угождает, хватается за любую работу. Однако Сянцзы ничего не подозревал: он помогал Лю Сые, чтобы избавиться от тоски. По вечерам он ни с кем не разговаривал, да и говорить было не о чем. А рикши, не зная его горя, считали, что он стал прихлебателем Лю Сые, и не желали с ним знаться. Внимание, оказываемое Сянцзы дочерью хозяина, будило в них нечто

вроде ревности. А тут еще последняя обида — Лю Сые не пригласил их под праздничный навес! Сянцзы наверняка будет целый день объедаться всякими вкусными вещами. Почему такая несправедливость? Вот и сейчас Хуню зачем-то позвала Сянцзы!

Рикши провожали его глазами, полными ненависти, и, казалось, готовы были наброситься на него. Хуню и Сянцзы вошли под навес и заговорили о чем-то при свете фонаря... Видали? Все понятно...

Рикши ехидно переглядывались и многозначительно кивали друг другу.

Глава четырнадцатая

Торжества в доме Лю шли полным ходом. Лю Сые был доволен, что пришло так много народу, и особенно гордился тем, что поздравить его явились многие из старых приятелей. Глядя на них, он ощущал свое превосходство, радовался, что праздник у него проходит шумно и весело, не так, как у других. Приятели были в старомодной одежде, а сам он — в халате на меху и новой куртке. Когда-то многие из них были гораздо богаче его, но прошло два-три десятка лет, и все изменилось: одни кое-как зарабатывали на жизнь, другие совсем обеднели. Глядя на парадно украшенный зал с картинами из «Троецарствия», на стол, уставленный яствами, он чувствовал себя на целую голову выше своих гостей. Настроение у него было хорошее, и он собирался играть с ними в мацзян на деньги, что считалось вполне приличным.

Но среди всеобщего оживления Лю Сые вдруг почувствовал себя одиноким. Привыкнув к холостой жизни, он думал, что к нему на праздник соберутся лишь хозяева лавок с приказчиками да знакомые соседи-холостяки. Он и не предполагал, что среди гостей окажутся женщины! Правда, Хуню ухаживала за гостями, но ему было горько, что у него нет жены. Одна лишь дочь, да и та больше смахивает на мужика. Если бы у него был сын, он, конечно, давно бы снова женился, завел еще детей и под старость не чувствовал бы себя таким одиноким... Да, все у него есть, не хватает лишь сына. И чем старше он становится, тем меньше надежды иметь его.

День рождения — радостное событие, а Лю Сые хотелось плакать. Как бы хорошо ни шли его дела, их некому продолжать. Для чего же тогда все это?

В первой половине дня Лю Сые с важным видом принимал поздравления и чувствовал себя героем. Но после полудня настроение у него испортилось. Глядя на детишек, которых принесли с

собой женщины, он испытывал смешанное чувство восхищения и досады; он не решался приласкать детей и от этого еще больше выходил из себя. Ему хотелось дать волю своему гневу, но он сдерживался. Не затевать же скандал перед своими друзьями и родственниками! Скорее бы прошел этот день и кончились его мучения.

И еще одно обстоятельство испортило ему праздник. Утром, когда подали угощение для рикш, Сянцзы чуть не ввязался с ними в драку.

В восемь часов утра рикши сели за стол. В душе они роптали: вчера им оставили дневную выручку, но и сегодня все пришли не с пустыми руками — каждый принес какой-нибудь подарок: кто на десять, кто за сорок медяков. В обычные дни рикши — самые презренные люди, а Лю Сые — их хозяин и бог, но сегодня, думали рикши, они у него в гостях и он должен относиться к ним с уважением. А тут поел и изволь уходить, да еще коляски брать не разрешает! И это накануне Нового года!

Сянцзы хорошо знал, что его-то со двора не выгонят, но сел к столу вместе с рикшами, чтобы ничем от них не отличаться. К тому же после угощения ему надо было сразу приниматься за работу. И тут рикши выместили на нем свою досаду. Как только он подсел к ним, кто-то сказал:

— Эй, ты же у хозяина дорогой гость! С нами за столом тебе не место.

Сянцзы только ухмыльнулся — он отвык от шуточек рикш, и до него не сразу дошел смысл сказанного. Да и сами рикши не решались говорить открыто в присутствии Лю Сые — уж лучше наесться вдоволь! Правда, закусок им много не дали, зато в вине не отказывали — на то и праздник! И все, не сговариваясь, старались утопить свою обиду в вине. Одни напивались угрюмо, другие — смеясь и шутя. Сянцзы, не желая отставать от компании, тоже опрокинул несколько рюмок. Пили много. Глаза у всех налились кровью, языки развязались.

— Эй, Лото, а тебе здорово повезло! — сказал кто-то.— Ешь вдоволь, ухаживаешь за хозяйской дочкой. Скоро тебе не придется возить коляску. Быть помощником хозяина куда лучше!

Сянцзы начинал догадываться, о чем речь, но не принимал эти шутки близко к сердцу. Вернувшись в «Жэньхэчан», он отказался от своей мечты и во всем положился на судьбу. Пусть болтают, что вздумается, он все вытерпит. Но тут кто-то снова заговорил:

— Сянцзы выбрал легкую дорожку. Мы зарабатываем на жизнь своим горбом, а он... угождает хозяйке.

Все расхохотались. Сянцзы понимал, что над ним издеваются, но он привык сносить и не такие обиды. Стоило ли обращать вни-

мание па какую-то болтовню! Однако его молчание еще больше раззадорило соседей, и один из них, подавшись вперед, крикнул:

— Сянцзы, когда станешь хозяином, не забудешь своих собратьев?

Сянцзы молчал.

— Что же ты молчишь, Лото?

— Как же я могу стать хозяином? — покраснев, тихо спросил Сянцзы.

— Очень просто! Стоит только свадебной музыке заиграть...

Сянцзы не сразу понял смысл этих слов, но чутье подсказало ему, что рикши намекают на его отношения с Хуню. Кровь отлила у него от лица. Он разом вспомнил все свои обиды, и ярость заполнила его душу. Он терпел все эти дни, но сейчас его терпению пришел конец. А тут еще кто-то, указывая на Сянцзы, подлил масла в огонь:

— А ты, оказывается, хитрец, Лото! Расчет у тебя тонкий. Ну, что молчишь, жених?

Побледнев от гнева, Сянцзы порывисто поднялся:

— А ну, выходи, поговорим!

Все замерли. Они хотели только подразнить его, позубоскалить, но драться никто не собирался.

Наступила тишина, все сразу смолкли, как певчие птицы, завидевшие орла. Сянцзы стоял и ждал. Он был на голову выше всех, сильнее всех и знал, что им не одолеть его, но чувствовал себя таким одиноким! Горькая злоба душила его.

— Ну, кто решится? Выходите, трусы!

Все вдруг опомнились и заговорили наперебой:

— Полно тебе, Сянцзы! Успокойся! Мы пошутили!

— Садись! — бросил Лю Сые, взглянув на Сянцзы, а затем прикрикнул на остальных: — Нечего обижать человека! Я не стану разбираться, кто прав, кто виноват,— всех вышвырну вон! Ешьте скорее!

Сянцзы вышел из-за стола. Рикши снова принялись за еду и питье, поглядывая на старика. И вскоре все снова загалдели, как птицы, когда опасность миновала.

Сянцзы долго сидел на корточках у ворот, дожидаясь, когда рикши выйдут. Если найдется смельчак, который повторит свои слова, он ему покажет! Ему терять нечего, он ни перед чем не остановится!

Но рикши выходили по трое, по четверо сразу и не задевали его — до драки так и не дошло. Гнев его поостыл. Он вспомнил, что и сам был не прав. Пусть они ему не близкие друзья, но разве можно из-за слова кидаться на людей? Его мучило раскаяние.

Сянцзы казалось, что еда, которую он только что съел, подступает к горлу.

Наконец он поднялся. Стоит ли расстраиваться? Другие дерутся и скандалят семь раз на дню, и ничего. Много ли проку от примерного поведения? Он попробовал представить себе, как будет заводить дружбу с первыми встречными, пить за счет других, курить чужие папиросы, не возвращать долгов, не уступать дорогу машинам, справлять нужду где попало, затевать ссоры с полицейскими и считать пустяком, если посадят на пару дней в участок. Ведь живут же так другие рикши, и живут куда веселее, чем он! Кому нужны его честность и порядочность? Нет, лучше стать таким же, как все!

«Это не так уж плохо,— размышлял он,— никого не бояться ни на этом, ни на том свете, не сносить обид, уметь постоять за себя. Так и надо жить, и пусть говорят обо мне что угодно!»

Теперь он уже сожалел, что не затеял драку. Но утешал себя тем, что впредь ни перед кем не опустит головы.

Ничто не ускользало от острого взора Лю Сые. Сопоставив все виденное и слышанное, он многое понял. Так вот почему эти несколько дней Хуню особенно послушна! Сянцзы вернулся! Ходит такая добрая, не спускает с парня глаз. .

Старика это очень обеспокоило, и он почувствовал себя еще более несчастным и одиноким. Подумать только! У него никогда не было сына, он не стал обзаводиться новой семьей, а его единственная дочь глядит на сторону! Выходит, напрасно он трудился всю жизнь! Правда, Сянцзы — хороший парень, но только мужем его дочери ему не быть! Он всего лишь вонючий рикша! Стоило ли всю жизнь пробивать себе дорогу, рисковать головой, сидеть в тюрьмах, чтобы перед смертью все — и дочь, и имущество — прибрал к рукам этот деревенский увалень? Э, нет — не выйдет! Кого-кого, а Лю Сые не проведешь! Он прошел и огонь, и воду!

Гости приходили и во второй половине дня, но старик уже потерял ко всему интерес. Чем больше восхваляли его успехи, тем бессмысленнее они ему казались.

Смеркалось, когда гости начали расходиться. Осталось лишь человек десять — ближайшие соседи и приятели,— они уселись играть в мацзян. Глядя на опустевшую праздничную постройку во дворе, на столы, ярко освещенные карбидными фонарями, старик еще сильнее ощущал одиночество и тоску. Ему казалось, что и после его смерти все будет выглядеть точно так же, только постройка будет не праздничная, а траурная и никто — ни дети, ни внуки — не станет молиться о его душе, а лишь чужие люди всю ночь напролет будут играть у его гроба в мацзян. Ему хотелось разогнать гостей и, пока еще жив, дать волю гневу! Но как-то неудобно было

срывать зло на приятелях. Его раздражение перенеслось на Хуню: сейчас она казалась ему особенно противной. И Сянцзы, собака, все еще сидит тут! При свете ламп шрам на его лице выделялся особенно отчетливо. Старик смотрел на дочь и на Сянцзы и задыхался от злости.

Хуню, разодетая в пух и прах, обычно грубая и бесцеремонная, сегодня с достоинством принимала гостей, стараясь заслужить их одобрение и показать себя перед Сянцзы. Но после обеда она устала, ей все надоело, и она была не прочь с кем-нибудь поругаться. Хуню сидела как на иголках и все время хмурила брови.

После семи часов Лю Сые начало клонить ко сну, но он крепился. Гости приглашали его поиграть в мацзян; сначала он отказался, потом, не желая показывать свое дурное настроение, заявил, что согласен, но только на деньги. Никому не хотелось прерывать игру посредине, и Лю Сые ничего не оставалось, как сесть в сторонке. Чтобы взбодриться, он выпил еще несколько рюмок и стал ворчать, что не наелся, что повар взял много денег, а стол получился небогатый. В общем, чувство удовлетворения, которое он испытывал днем, бесследно исчезло. Ему казалось, что праздничная постройка, обстановка, повар и все остальное не оправдали затраченных денег. Все словно сговорились сорвать с него побольше и обидеть старика.

К этому времени господин Фэнь как раз закончил подсчет подарков. Всего поступило: двадцать пять полотнищ красного шелка с вышитыми знаками долголетия, три поздравительных пирога в форме персика, кувшин праздничного вина, две пары светильников и юаней двадцать деньгами, главным образом — мелочью.

Выслушав его, Лю Сые еще больше распалился. Если бы он только знал, ни за что не стал бы приглашать гостей! Их угощаешь изысканными блюдами, а они благодарят медяками! Сделали из старика посмешище! Больше он не будет отмечать свой день рождения, тратиться на этих невежд! Видно, друзьям и родственникам просто хотелось набить брюхо за его счет. До семидесяти дожил, всегда слыл умным и вдруг сдуру взял и потратился на эту стаю обезьян!

Старик выходил из себя, вспоминая, как самодовольно радовался днем. Он ворчал и сыпал проклятиями, какие редко услышишь даже в полицейском участке.

Приятели еще не разошлись, и Хуню, заботясь о приличиях, старалась предотвратить скандал. Пока все были заняты игрой и не обращали на старика внимания, она молчала, опасаясь, как бы не испортить дела своим вмешательством. Старик поворчит, гости сделают вид, что ничего не слышали, и все обойдется.

Кто же мог знать, что он доберется и до нее?! Она столько бе-

гала, хлопотала с этим днем рождения, и никакой тебе благодарности. Нет, уж этого она не могла стерпеть. Больше она молчать не будет! Пусть ему семьдесят лет, пусть хоть восемьдесят — надо думать, что говоришь!

— Ты же сам решил все устроить,— огрызнулась Хуню в ответ на нападки старика.— Чего ты на меня напустился?

Лю Сые вскипел:

— Ах, почему на тебя? Потому, что ты во всем виновата! Думаешь, я ничего не вижу?

— Что ты видишь? Я как собака бегала целый день, а ты на мне зло срываешь! Ну, что ты видишь?

Усталость Хуню как рукой сняло, она вошла в раж.

— Ты не думай, что я был занят только гостями, бесстыжие твои глаза! Что вижу? Я все вижу!

— Почему это мои глаза бесстыжие? — Хуню от злости затрясла головой.— Что же ты видишь? Что?

— А вот что! — Лю Сые показал на Сянцзы, который, согнувшись, подметал двор.

У Хуню дрогнуло сердце. Она не думала, что у старика такой зоркий глаз.

— При чем здесь он?

— Не прикидывайся дурочкой! — Лю Сые поднялся.— Или он, или я! Выбирай! Я твой отец, я этого не потерплю!

Хуню не предполагала, что все может расстроиться так быстро. Едва она начала осуществлять свой замысел, как старик уже обо всем догадался. Как же быть? Лицо ее, с остатками пудры, побагровело и теперь при ярком свете ламп напоминало вареную свиную печенку. Она чувствовала себя разбитой, была взволнована ссорой, растеряна и не знала, что делать. Но отступить просто так уже не могла. Когда на душе скверно, надо дать выход гневу. Все, что угодно, только не бездействие. Она еще никому не уступала! И теперь пойдет напролом!

— Ты это о чем? Говори, я хочу знать! Сам затеял ссору, а теперь хочешь все свалить на меня?

Играющие в мацзян, видимо, слышали их разговор, но им не хотелось отвлекаться; чтобы заглушить голоса спорящих, гости стали еще азартнее бросать кости и еще громче выкрикивать: «Красная! Моя! Беру!»

Сянцзы тоже понял, о чем идет речь, но продолжал мести двор. «Если примутся за меня,— решил он,— я за себя постою».

— Не выводи меня из терпения! — орал старик, злобно глядя на дочь.— Уморить меня вздумала? Хочешь взять любовника на содержание? И не рассчитывай, я еще поживу на этом свете!

— Не болтай вздор! Что ты мне сделаешь? — хорохорилась Хуню, но в душе трусила отчаянно.

— Я уже тебе сказал: или я, или он! Не хочу, чтобы все мое добро досталось этому вонючему рикше!

Сянцзы отбросил метлу, выпрямился и, глядя в упор на Лю Сые, спросил:

— Ты это о ком?

— Ха-а-ха! — расхохотался Лю Сые.— Ты, негодяй, еще спрашиваешь? О тебе, конечно! О ком же еще? Убирайся вон сейчас же! Я считал тебя порядочным, а ты вздумал позорить мои седины? Прочь отсюда и никогда больше не попадайся мне на глаза! Поищи других дураков!

Старик кричал все громче. Его услышали рикши и сбежались послушать перепалку. Но гости, считая, что Лю Сые ссорится со своими рикшами, по-прежнему не отрывались от игры.

Сянцзы многое мог бы сказать в ответ, но он не умел говорить. Вид у него был растерянный и глупый, горло сдавили спазмы.

— Выметайся отсюда! Пошел вон! Хотел здесь поживиться? Да тебя еще и на свете не было, когда я с такими, как ты, одной рукой расправлялся!

Старик больше злился на Хуню; он понимал, что Сянцзы — человек честный, но хотел его припугнуть и достиг своей цели. Сянцзы так и не нашелся что ответить. Ему оставалось лишь побыстрее убраться: все равно их не переспоришь.

— Ладно, я уйду! — бросил он

Вспоминая утреннюю ссору, рикши сначала злорадствовали, но когда старик стал выгонять парня, они приняли его сторону. Сянцзы работал, не щадя сил, а теперь хозяин платит ему такой неблагодарностью! Старик совсем обнаглел, не считает рикш за людей! Им было обидно за Сянцзы.

— Что случилось? За что он тебя? — наперебой спрашивали они. Однако Сянцзы лишь качал головой. Он направился к воротам.

— Погоди! — остановила его Хуню.

Мысли молнией проносились у нее в голове. Она уже поняла, что план ее провалился. Теперь главное удержать Сянцзы, а то она останется ни с чем.

— Нас бог связал одной веревочкой,— уговаривала она Сянцзы.— Постой, я все улажу! — Она повернулась к старику и крикнула: — Я жду от Сянцзы ребенка! Куда он, туда и я! Или выдай меня за него, или выгоняй нас обоих. Тебе решать, отец...

Хуню пустила в ход свой последний козырь, который приберегала на крайний случай. Лю Сые ждал чего угодно, только не этого. Однако уступить, да еще на глазах у людей, он не мог.

— Бесстыжая! На старости лет приходится за тебя краснеть! —

запричитал он, прикрывая лицо ладонями.— О, горе! Ладно же, позорься и дальше! Делай что хочешь!..

Кости застыли в руках игроков: все почуяли неладное, но никто не хотел вмешиваться! Одни поднялись со своих мест, другие продолжали сидеть, бессмысленно глядя перед собой.

Теперь, когда все было сказано, Хуню даже обрадовалась.

— Это я бесстыжая? Не заставляй меня говорить о твоих делишках! Каким только мошенничеством ты не занимался! А я оступилась первый раз в жизни, и то по твоей вине: мужчину нужно женить, а женщину выдавать замуж. Ты прожил на свете семьдесят лет, а ума не нажил! Неужели таких простых вещей не понимаешь? Видите,— обратилась она к окружающим,— какой он человек? Давай, отец, доведем дело до конца и под этим праздничным навесом сыграем свадьбу!

— Твою свадьбу! — Лицо Сые побелело, в нем проснулся былой задор.— Да я скорее сожгу этот навес!

— Хорошо же! — Губы Хуню дрогнули, голос зазвучал угрожающе: — Тогда я уйду отсюда! Сколько дашь мне денег?

— Деньги мои, сколько захочу, столько и дам! — огрызнулся старик, стараясь скрыть досаду и огорчение.

— Твои? А кто помогал тебе все эти годы? Не будь меня, ты бы все добро роздал проституткам! Совесть надо иметь!

Она нашла глазами Сяпцзы.

— Скажи ему хоть ты что-нибудь!

Однако Сяпцзы молчал.

Глава пятнадцатая

У Сяпцзы чесались руки, но не драться же со стариком или с женщиной! Сейчас от его силы не было никакого проку, а хитрить он не умел, да и все равно их не перехитришь. Он мог, конечно, бросить Хуню и уйти. Но теперь, после того как она разругалась с отцом и решила последовать за ним, он не мог ударить в грязь лицом перед людьми. Ведь рикшам казалось, что Хуню ради него шла на великую жертву. Он не знал, что сказать, и ждал развязки.

Отец и дочь высказались, говорить больше было не о чем, и теперь они с ненавистью смотрели друг на друга. Рикши не знали, чью сторону принять, и предпочитали не вмешиваться. Молчание становилось тягостным. Гости, игравшие в мацзян, чувствовали, что надо бы как-то помочь делу, но ограничивались общими фразами. Уговаривали хозяев не горячиться, потолковать спокойно, уладить все по-хорошему. Их уговоры, конечно, ни к чему не при-

вели, да и не могли привести, но гостям это было глубоко безразлично. Раз ни одна из сторон не идет на уступки, что тут может поделать посторонний человек? Лучше всего вовремя убраться восвояси!

Не дожидаясь, пока все разойдутся, Хуню ухватилась за господина Фэня.

— Господин Фэнь, может, в вашей лавке найдется место для Сянцзы дня на два? Мы скоро устроимся и не будем вас стеснять .. Сянцзы, иди за господином Фэнем, а завтра мы все обсудим! Знай одно: за ворота этого дома я выеду только на свадебном паланкине! Господин Фэнь, поручаю его вам, с вас завтра и спрошу.

Господин Фэнь вздохнул; ему не хотелось впутываться в это дело, но как откажешь хозяйской дочке?

— Я и сам никуда не денусь,— буркнул Сянцзы, торопясь уйти.

Бросив яростный взгляд на старика, Хуню убежала в свою комнату, заперлась и заревела во весь голос.

Господин Фэнь и другие гости уговаривали Лю Сые пойти к себе, успокоиться, но старик, призвав на помощь все свое достоинство, попросил гостей остаться и выпить еще рюмку-другую.

— Ничего не случилось, друзья, просто каждый из нас теперь будет жить, как хочет,— она сама по себе, а я сам по себе. Она мне больше не дочь. Пусть уходит! Всю жизнь я слыл порядочным человеком, а эта дрянь меня опозорила! Случись такое лет двадцать назад, да я бы зарезал обоих, а сейчас — скатертью дорожка! Но пусть не думает, что получит от меня хоть что-нибудь! И медяка не дам! Ни за что не дам! Пусть попробует прожить без меня! Может быть, тогда поймет, кто лучше — отец или эта скотина. Не расходитесь, прошу вас, выпейте по рюмочке!

Приличия ради, гости задержались еще немного и поспешили разойтись — подальше от неприятностей!

Сянцзы еще раньше ушел в лавку господина Фэня.

Дальнейшие события разворачивались с необычайной быстротой. Хуню сняла на улице Маоцзяван две комнатушки с окнами на север. Сразу же нашла обойщика, велела ему оклеить потолок и стены белыми обоями, а господина Фэня попросила написать свадебные иероглифы, которые развесила у входа в комнаты. Затем она заказала разукрашенный звездами паланкин, наняла шестнадцать музыкантов, но решила обойтись без позолоченных фонарей и без свадебного распорядителя. Так же срочно ей сшили наряд из красного шелка. Хуню хотела управиться с делами еще в старом году, чтобы к пятому дню нового года все было готово. Свадьба была назначена на самый счастливый шестой день. Таким образом, Хуню все устроила сама, а Сянцзы велела только купить

для себя к свадьбе все новое: ведь такое событие бывает раз в жизни!

Но у Сянцзы оставалось всего пять юаней.

— Как же так? Я сама дала тебе тридцать! — удивилась Хуню.

Сянцзы пришлось рассказать, что произошло с ним в доме Цао. Хуню смотрела на него, вытаращив глаза, верила и не верила.

— Ладно, некогда мне с тобой ссориться. Вот держи пятнадцать юаней! Но смотри мне, оденься как полагается жениху!

Шестого числа Хуню села в свадебный паланкин. С отцом она не простилась, ее никто не сопровождал и не поздравлял — ни родственники, ни друзья.

Под звуки праздничных гонгов свадебный паланкин проследовал через ворота Сюаньумынь и дальше через Сисыпайлоу, вызывая зависть даже у состоятельных людей, не говоря уже о лавочниках.

Сянцзы, одетый во все новое, плелся за паланкином. Лицо его было краснее, чем обычно, на голове еле держалась маленькая атласная шапочка с помпоном. Он все видел и слышал, но, казалось, ничего не понимал и не знал, где он и что с ним творится.

Из угольной лавки Сянцзы сразу переселился в комнаты, оклеенные белоснежными обоями, и это было непостижимо! Прошлое представлялось ему грудами угля, и вдруг из этого черного прошлого он неизвестно как попал в ослепительно белую комнату, увешанную кроваво-красными поздравительными иероглифами. Ему казалось, что все это сон, что над ним просто подшутили. Гнетущая тоска и беспокойство не покидали его.

В комнате стояли стол, стулья и кровать, перевезенные от Хуню, печка и кухонный столик, в углу метелочка для пыли из разноцветных куриных перьев. Стол и стулья были ему знакомы, а печку, кухонный стол и метелочку он увидел впервые. Старая мебель напомнила ему прошлое. А что ждет его впереди? С тревогой он думал о том, что все распоряжаются им как хотят. Он остался прежним, и вместе с тем в его жизнь вошло нечто новое. Это было так странно и страшно! Он не узнавал себя. Ему ничего не хотелось, его огромные руки и ноги, казалось, не умещались в этой комнатушке. Словно большой красноглазый кролик, которого посадили в тесную клетку, тоскливо смотрел он из окна на улицу: нет, даже самые быстрые ноги не унесут его отсюда!

Хуню в красной куртке, напудренная и нарумяненная, не сводила с него глаз. Он не решался взглянуть ей в лицо. Она тоже казалась ему каким-то странным существом, знакомым и в то же время незнакомым. Перед ним сидела невеста, но он уже с нею спал. Она походила на женщину и на мужчину, на человека и на какое-то коварное чудовище. Это чудовище в красной куртке гото-

вилось сожрать его целиком. Все распоряжаются им, но это чудовище ужаснее всех: оно следит за ним неотступно, смотрит на него, улыбается ему, может задушить его в своих объятиях, высосать все соки, и нет никакой возможности избавиться от него...

Он снял атласную шапочку, уставился на красный помпон и смотрел на него, пока не зарябило в глазах; обернулся — на стенах тоже кружатся и прыгают красные пятна, среди них самое большое пятно — Хуню с отвратительной улыбкой на лице!

В первую же ночь Сянцзы понял, что Хуню вовсе не беременна. А она с ухмылкой призналась:

— Не обмани я тебя, ты бы нипочем не согласился! Я тогда на живот пристроила подушку! Ха-ха! — Она хохотала до слез.— Глупый же ты! Не сердись! Все равно не чувствую перед тобой вины. Я поссорилась из-за тебя с отцом, ушла к тебе, а ты еще недоволен? Да ты вспомни, кто я и кто ты!

На другой день Сянцзы вышел из дому рано. Многие магазины уже торговали. Над дверьми все еще алели полосы бумаги с новогодними пожеланиями, и ветер гнал по мостовой жертвенные бумажные деньги. Несмотря на холод, на улицах было много колясок с приклеенными сзади красными бумажными лентами. Рикши бегали веселые, почти на всех — новая обувь. Как он завидовал им! У всех такой праздничный вид, а он томится, вспоминая о своей клетке. Все заняты делом, а он без толку слоняется по улицам.

Сянцзы не умел бездельничать, но о работе пришлось бы говорить с Хуню: ведь он кормится за счет жены! Его огромный рост и сила — все оказалось ни к чему! Он должен теперь ухаживать за этой клыкастой тварью в красной куртке. Он больше не человек, он просто кусок мяса в пасти у чудовища, мышь у кошки в зубах... Нет, он не будет советоваться с Хуню. Он уйдет. Расстанется с ней без всяких объяснений.

Сянцзы был обижен и оскорблен, ему хотелось сорвать с себя новую одежду, смыть с себя всю грязь. Ему казалось, что его тело вымазано чем-то нечистым, отвратительным. Он не желал больше видеть Хуню!

Но куда пойти? Когда он возил коляску, ему не приходилось об этом думать: он бежал, куда приказывали. Теперь ноги его обрели свободу, но сердце сковала тревога. Он побрел на юг через Сисыпайлоу, вышел за ворота Сианьмынь, и перед ним легла дорога, прямая как стрела.

За городскими воротами Сянцзы увидел баню и решил вымыться.

Раздевшись догола, он почувствовал жгучий стыд. Сянцзы поспешно влез в бассейн; вода оказалась такой горячей, что дух захватило. Он закрыл глаза, расслабился; ему казалось, что из него

выходит вся накопившаяся за это время грязь. Он боялся прикасаться к себе, сердце громко стучало, пот лил со лба градом.

Сянцзы вылез из бассейна лишь тогда, когда почувствовал, что задыхается. Все тело его сделалось красным, как у новорожденного. Ему снова стало стыдно, и он поскорей завернулся в простыню. Он все еще испытывал к себе отвращение. Словно так и не отмылся дочиста, словно душа его навеки запятнана и осквернена. В глазах Лю Сые, в глазах всех знавших его людей он навсегда останется соблазнителем!

Не дав разгоряченному телу остыть, Сянцзы поспешно оделся и выбежал из бани. Ему казалось, что все на него смотрят. Лишь постепенно холодный ветер освежил его и успокоил.

На улицах стало гораздо оживленнее. Люди радовались солнцу, ясной погоде. Но у Сянцзы на душе по-прежнему было пасмурно. Куда теперь податься? Он свернул налево, затем еще раз налево и очутился на мосту Тяньцяо. В десятом часу утра, после завтрака, сюда пришли приказчики магазинов на новогоднюю ярмарку. Площадь заполнили лотки со всевозможными товарами, балаганы, палатки, в которых шли представления. Народу было тьма, отовсюду раздавались призывные звуки гонгов, но Сянцзы не тянуло к развлечениям.

Обычно выступления рассказчиков-импровизаторов, дрессировщиков с медведями, певцов и танцоров, фокусников и акробатов доставляли ему огромное удовольствие, заставляя хохотать от души. Он не мог покинуть Бэйпин прежде всего из-за Тяньцяо. Всякий раз он вспоминал балаганы и толпы людей, вспоминал, сколько смешного и забавного видел здесь, и мысль о том, что со всем этим придется расстаться, казалась ему невыносимой.

Но сейчас его ничто не веселило, и он не хотел смешиваться с толпой. Выбравшись из толчеи, Сянцзы побрел по тихим улочкам и тут еще острее почувствовал, что не в силах покинуть этот полный жизни, дорогой его сердцу город, не в силах расстаться с Тяньцяо! Видно, придется вернуться к Хуню!

Сянцзы не мог сидеть без дела, но и говорить об этом с Хуню не хотелось до крайности. Ему нужно было оглядеться, подумать, как любому человеку, попавшему в затруднительное положение. За что на него свалилось столько напастей? Но теперь доискиваться до истины было поздно. Прошлого не вернешь!

Сянцзы остановился. Шум голосов, удары гонгов, снующие взад и вперед люди, повозки... В этой суете он чувствовал себя таким одиноким! И вдруг ему вспомнились две маленькие комнатушки, белые, теплые, оклеенные красными поздравительными иероглифами. Хотя он провел там всего одну ночь, они показались ему сейчас такими родными, что даже эту женщину в крас-

ной куртке он не смог бы бросить так просто. Что есть у него здесь, на Тяньцяо? Ничего. А там, в этих двух комнатах, все. Надо вернуться. Все его будущее в этих двух комнатах. Стыд, страх, переживания — никому это не нужно. Хочешь жить, иди туда, где у тебя дом.

Сянцзы заторопился: уже пробило одиннадцать. Когда он пришел домой, Хуню хлопотала над обедом. Паровые пампушки, мясные фрикадельки с тушеной капустой, холодец, репа в соевом соусе — все было готово, тушилась только капуста, распространяя вокруг соблазнительный запах. Хуню сняла свадебный наряд и была, как всегда, в ватной куртке и ватных штанах, но волосы ее украшал букетик цветов из красного шелка с приколотыми золотистыми бумажными деньгами. Сянцзы взглянул на жену: не очень-то она походила на новобрачную! Каждым своим движением, каждым жестом она напоминала женщину, которая уже много лет замужем: деловитую, опытную, самодовольную. Затем в ней появилось что-то уютное, домашнее: она готовила мужу еду! Запах вкусной пищи, тепло комнаты — все было для него внове. Какая ни есть, все-таки семья. А семья всегда привлекает. К тому же лучшего он и не видел.

— Куда ты ходил? — спросила Хуню, накладывая в тарелку капусту.

— В баню,— ответил Сянцзы, снимая халат.

— А, ну ладно. В следующий раз говори, когда уходишь.

Он не отозвался.

— Ты что молчишь? Онемел? Ничего, я тебя научу говорить.

Сянцзы что-то пробормотал в ответ. Он знал, что женился на ведьме, но еще не привык к тому, что эта ведьма умеет готовить и прибирать комнаты, что она способна не только ругаться, но может и помочь. И все же она была ему не по душе. Он принялся за пампушки. Еда была вкуснее той, к которой он привык, но он ел без аппетита, жевал машинально и не ощущал прежнего удовольствия, когда бывал голоден, как волк.

Пообедав, он прилег на кан[1], подложил ладони под голову и уставился в потолок.

— Эй! Помоги вымыть посуду! Я тебе не прислуга! — крикнула жена из другой комнаты.

Он нехотя поднялся, прошел в соседнюю комнату и принялся помогать. Обычно очень старательный, сейчас он все делал спустя рукава. Раньше, в доме ее отца, он часто помогал Хуню. Теперь же, глядя на нее, ему ничего не хотелось делать. Сянцзы испытывал к ней отвращение.

---

[1] Кан — отапливаемая лежанка.

Впервые в жизни он кого-то возненавидел. Почему — он и сам не мог бы сказать. Однако Сянцзы старался сдерживаться, зная, что ссора ни к чему не приведет. Он предчувствовал, что отныне жизнь его будет сплошным адом.

Покончив с уборкой, Хуню огляделась, вздохнула и рассмеялась.

— Ну, как?

— Что «как»? — Сянцзы сидел на корточках у печки, грея руки, хотя они совсем не замерзли,— просто он не знал, чем заняться. В собственном доме не мог найти себе места.

— Давай погуляем! Сходим на базар. Хотя нет, уже поздно. Пройдемся лучше по улице!

Хуню желала вкусить все радости новобрачной. Ей хотелось всегда быть рядом с мужем, весело проводить время — короче, жить и наслаждаться, ни о чем не думая.

В доме отца она не испытывала недостатка в еде, в одежде, в деньгах, но не было у нее любимого человека. И вот сейчас она хотела вознаградить себя за прошлое, гордо пройтись вместе с Сянцзы по улицам, показаться людям.

Однако Сянцзы не хотелось выходить. Он считал, что с женой появляться на людях как-то неудобно, а такую жену, как у него, надо вообще держать взаперти. Гордиться ему нечем, и чем реже его будут видеть с ней, тем лучше. Чего доброго, еще встретишь знакомых! А кто из рикш западной части города не знает Хуню и Сянцзы? Он не хотел, чтобы люди смеялись за его спиной.

— Может, лучше поговорим? — предложил он, все еще сидя на корточках.

— О чем?

Хуню подошла и встала около печки. Опершись локтями на колени, Сянцзы рассеянно смотрел на огонь.

— Я не могу сидеть сложа руки,— проговорил он после долгого раздумья.

— Ах, бедненький! — рассмеялась она.— День не побегал с коляской, и душа запыла, да? Бери пример с моего старика: он никогда не был рикшей, не торговал своей силой, жил смекалкой! И жил припеваючи, а под старость открыл контору. Учись! Коляску возить и дурак сумеет, да какой от этого толк? Ладно, поживем несколько дней в свое удовольствие, а там поговорим. Куда нам спешить? За это время ничего не случится. Я не хочу с тобой спорить, но лучше меня не зли!

— Давай поговорим сейчас!

Сянцзы решил не уступать. Раз он не смог уйти, значит, надо заняться делом.

— Ну что ж, поговорим!

Хуню принесла скамейку и уселась возле печки.

— Сколько у тебя денег? — спросил он.

— Ах, вот ты о чем! Я знала, что ты это спросишь. Ведь ты и женился на мне только из-за денег, верно?

У Сянцзы перехватило дыхание. Старик Лю и рикши из «Жэньхэчана» считали, что он позарился на богатство и поэтому соблазнил Хуню. А теперь она сама так говорит! Пусть у него все пропало — коляска, деньги,— так неужели отныне он должен кланяться и благодарить ее за каждую горсть риса? С каким удовольствием он вцепился бы ей в горло и душил, душил, чтобы глаза повылезали из орбит! Он передушил бы их всех, а потом перерезал бы горло себе. Таким ничтожествам, как он, незачем жить на свете!

Прав он был, когда собрался уйти! Да, не следовало ему возвращаться...

Видя, что с Сянцзы творится что-то неладное, Хуню уступила.

— Ладно! Скажу тебе. У меня было юаней пятьсот. За квартиру, паланкин, оклейку комнат, а потом на одежду и вещи ушло юаней сто, осталось около четырехсот. Но ты не волнуйся, отдохни хоть несколько дней как следует. Сколько лет ты бегал с коляской, обливаясь потом! Да и я засиделась в девицах. Мне тоже хочется поразвлечься. Кончатся деньги, попросим у старика. Не поругайся я с ним в тот день, ни за что бы не ушла из собственного дома. Сейчас у меня злость прошла. Отец остается отцом, а я у него — единственная дочь. Да и ты ему нравишься! Мы придем к нему, повинимся. У него есть деньги. Они по наследству перейдут к нам, так уж повелось. Поверь, лучши помириться с ним, чем работать всю жизнь на чужих людей. А может, ты дня через два сам сходишь? Если поначалу он не захочет тебя видеть — не беда! Раз не примет, другой не примет, а на третий наверняка сменит гнев на милость. Я уж как-нибудь его умаслю. Кто знаст, может, потом переберемся обратно. Вот тогда мы поднимем голову, тогда никто не посмеет на нас коситься! Здесь нельзя застревать, иначе мы так и останемся на всю жизнь бедняками. Правильно я говорю?

Однако Сянцзы думал по-другому. Когда Хуню отыскала его в доме Цао, он решил жениться на ней, чтобы на ее деньги купить коляску. Что и говорить, пользоваться деньгами жены не очень-то порядочно, но раз уж все так сложилось, делать нечего. Однако то, о чем говорила Хуню, ему и в голову не могло прийти! Конечно, это выход. Только не для Сянцзы.

Человек, в сущности, ничто: он как птица, которая в поисках

корма сама летит в силки. Ее кормят, она смиренно сидит в клетке и поет, хотя знает, что в любой момент ее могут продать.

Сянцзы не желал идти с поклоном к Лю Сые. С Хуню у него определенные отношения, с Лю Сые — никаких. Он достаточно настрадался из-за Хуню, чтобы еще унижаться перед ее отцом.

— Не могу я сидеть сложа руки! — снова буркнул Сянцзы и замолчал. Не хотелось ни говорить, ни спорить.

— Ах, бедняга! — с иронией сказала Хуню.— В таком случае займись торговлей!

— Нет! Я ничего не заработаю. Я умею только возить коляску, и мне это нравится!

От злости у Сянцзы стучало в висках.

— Слушай, ты! Я не позволю тебе бегать с коляской! Не желаю, чтобы потный, вонючий рикша ложился в мою постель! У тебя свои планы, у меня свои. Посмотрим, чья возьмет! Свадьбу справляли на мои деньги, ты не дал и медяка. Вот и подумай, кто кого должен слушаться!

Сянцзы промолчал.

Глава шестнадцатая

Просидев без дела до праздника юаньсяо[1], Сянцзы потерял всякое терпение.

Зато Хуню была очень довольна. Она хлопотала, готовила юаньсяо и пельмени, утром ходила на базар, вечером гуляла по городу. Она совсем не считалась с Сянцзы, не давала ему и слова сказать, но вместе с тем старалась его всячески задобрить, купить какой-нибудь подарок, приготовить для него что-нибудь необычное.

Во дворе жило несколько семей, большинство по семь-восемь человек в одной комнатушке. Здесь ютился разный люд — рикши, мелкие торговцы, полицейские, слуги. У каждого было свое занятие. Никто не бездельничал, даже ребятишки и те по утрам бегали с крохотными мисками за даровой кашей, а после обеда собирали недогоревший уголь. Только самые маленькие с покрасневшими от холода попками возились и дрались на дворе. Зола из печей, мусор, помои — все выбрасывали во двор, и никто не заботился об уборке. На середине двора была огромная лужа, которая зимой замерзала. Возвратившись с углем домой, ребята постарше с шумом и криком катались по льду, как на катке.

[1] Юаньсяо — народный праздник в честь первого в году полнолуния. Приходится на 15 января по старому (лунному) китайскому календарю. К празднику обычно готовили юаньсяо — блюдо из рисовой муки с сахаром.

Тяжелее всего приходилось старикам и женщинам. Старики, в худой одежонке, весь день лежали голодные на остывшем кане в ожидании скудной похлебки, которую заработают молодые. А молодые иногда возвращались с пустыми руками, усталые и злые, и ко всем придирались. Старикам оставалось только молча глотать слезы.

А женщинам надо было ухаживать и за старыми, и за малыми, да еще ублажать молодых — мужчин, добывающих деньги. Даже беременные по-прежнему выполняли самую тяжелую черную работу, а ели только кашицу из бататов с маисовыми лепешками. Если же и этого не было, к прежним заботам прибавлялись новые — им самим приходилось зарабатывать на жизнь. Вечерами, когда наконец удавалось накормить стариков и детей и уложить их спать, женщины при свете коптилок шили, стирали, штопали. Стены в домах были ветхие, и ветер свободно разгуливал по комнатам, унося последнее тепло.

Женщины не знали ни часа отдыха, ни минуты покоя. В жалких лохмотьях, полуголодные, а некоторые — на сносях, они должны были работать не меньше мужчин и еще думать о том, как накормить семью. К тридцати годам, обессиленные нуждой и болезнями, они превращались в изможденных, наполовину лысых старух.

А юные девушки, уже совсем взрослые, завернувшись в тряпье, сидели полуголые в своих комнатушках, как в добровольном заточении, потому что им не в чем было выйти. Когда приходилось выбегать на двор по нужде, они с опаской выглядывали из дверей и, лишь убедившись, что поблизости никого нет, выскакивали на минутку, словно воришки. Зимой и летом они не видели ни солнца, ни неба. Дурнушки шли по стопам своих матерей, красивые знали, что рано или поздно будут проданы родителями «ради их же собственного счастья».

В таком окружении Хуню чувствовала себя наверху блаженства. Только у нее была и еда и одежда, только она могла жить, ни о чем не заботясь. Хуню ходила с высоко поднятой головой, кичась своим превосходством, и боялась только одного — как бы у нее чего-нибудь не попросили. Ей не было дела до этих бедняков. Прежде сюда приносили лишь самые дешевые товары — кости, мороженую капусту, сок сырых бобов, ослятину или конину,— только это находило тут сбыт. Но с тех пор как здесь поселилась Хуню, перед воротами можно было услышать выкрики торговцев, предлагающих баранину, копченую рыбу, пампушки, соленый или жареный доуфу. Наполнив тарелку какой-нибудь снедью, Хуню важно шествовала домой. Ребятишки, засунув в рот озябшие ручонки, с завистью провожали ее глазами. Она каза-

лась им сказочной принцессой! Хуню хотела наслаждаться жизнью и не желала замечать окружающей ее нищеты.

Сянцзы ненавидел ее за это; он сам вырос в бедности и хорошо понимал, что́ такое лишения. Ему вовсе не нужны были все эти роскошные блюда — жалко было денег. Но еще больше удручало и мучило его то, что она запрещала ему возить коляску. Держит дома и откармливает, словно корову, чтобы побольше выдоить молока! Он превратился в ее забаву. Эта жизнь не только тяготила его, но и начинала тревожить. Он понимал, что для рикши вдоровье — все, и он должен его беречь. Но если и дальше так пойдет, он потеряет и силу и сноровку. Сянцзы с болью думал об этом. Нет, если ему дорога жизнь, нужно немедленно браться за коляску. Бегать, бегать целыми днями, а дома засыпать мертвым сном, едва коснувшись подушки. Ему не нужны эти вкусные блюда, он не хочет потакать ее прихотям! Он решил больше не уступать. Согласится Хуню купить коляску — хорошо, не согласится — он возьмет напрокат.

С семнадцатого числа Сянцзы начал возить коляску, арендовав ее на целый день. Отвез двух пассажиров на дальнее расстояние и почувствовал боль в ногах и ломоту в пояснице. Раньше этого с ним не случалось. Он понимал, что за двадцать дней безделья ноги отвыкли от работы, но старался себя успокоить: ничего, побегает немного, разомнется, и все пройдет.

Вновь подвернулся пассажир; на этот раз Сянцзы поехал еще с тремя рикшами. Взявшись за ручки, они пропустили вперед высокого пожилого рикшу. Тот улыбнулся. Он отлично знал, что его товарищи бегают лучше, но старался изо всех сил, несмотря на возраст. Так пробежали больше ли. Задние рикши похвалили его:

— А ты молодец! Сила еще есть!

Тяжело дыша, он ответил:

— Разве с вами, братцы, можно бежать медленно?

Он и в самом деле бежал быстро, и даже Сянцзы с трудом поспевал за ним. Но высокий рикша держался как-то неуклюже: он совсем не сгибался, его длинное тело плохо слушалось его. Сам он подавался вперед, а руки торчали сзади. Казалось, он протискивается сквозь толпу, не думая о коляске. Оттого что он не сгибался, ему приходилось слишком часто перебирать ногами, и он все время запинался. Было ясно, что быстрый бег стоит ему огромных усилий. Когда надо было свернуть, он поворачивался резко, всем телом, так что рикшам становилось за него страшно.

Наконец добрались до места. Высокий рикша был весь в поту. Поставив коляску, он выпрямился и улыбнулся, но когда получал деньги, руки у него так дрожали, что он их едва не выронил.

Рикши, которым доводится бежать вместе, быстро становятся друзьями. Все четверо поставили свои коляски рядом, вытерли пот и, улыбаясь друг другу, заговорили. Высокий стоял поодаль и долго откашливался. Отдышавшись, он с трудом сказал:

— Да, уже нет былой удали! Поясница, ноги — все ослабло! И устаю быстро, и спотыкаюсь все время.

— Нет, ты бежал неплохо! — возразил низкорослый парень лет двадцати.— Мы за тобой еле поспевали.

Высокий смущенно вздохнул: он был рад похвале.

— Да, ты здорово бегаешь, чуть нас всех не уморил,— подхватил другой рикша.— Верно говорю! А ведь ты уже не молодой.

Высокий рикша улыбнулся.

— Что возраст, братцы! Скажу вам другое: рикше нельзя обзаводиться семьей! — Видя, что все заинтересовались, он продолжал: — Как женишься, ни днем, ни ночью тебе нет покоя, пропадешь совсем. Гляньте, у меня поясница совсем не гнется! И бежал я не так уж быстро, а задыхаюсь от кашля, и сердце того гляди выскочит! Что тут говорить — людям вроде нас надо оставаться холостяками! Эх, судьба! Даже малые пичужки и те живут парами, а нам это заказано. И еще скажу: едва женишься — пойдут детишки, каждый год один за другим. У меня их пятеро! И все, как галчата, сидят с открытыми ртами и ждут еды! Плата за коляску большая, продукты дорогие, работа тяжелая. Нет уж, лучше быть холостяком! Взыграет кровь, сходи в белый дом. Подхватишь сифилис, ну и плевать! Умрешь — никто не заплачет, ты ведь один. А женатый? У кого большая семья, тот даже умереть спокойно не может. Правильно я говорю? — обратился он к Сяцзы.

Тот молча кивнул.

В этот момент подошел пассажир. Низенький парень первым выкрикнул цену, но отошел в сторону и сказал высокому:

— Вези ты! У тебя дома пятеро...

Высокий улыбнулся.

— Ладно! По правде говоря, не следовало бы мне соглашаться... Ну ничего, зато принесу домой побольше лепешек. Еще встретимся, братья!

Когда высокий рикша был уже далеко, низенький проговорил как бы про себя:

— Будь проклята такая жизнь! У меня вот ни одной жены, а богач пятерых обнимает!

— Да что там говорить! — подхватил второй.— Высокий прав. Ну скажи, к чему нам, рикшам, семья? Жена — не кукла, на нее не станешь только смотреть! В этом-то вся штука. Жрать нечего,

а силы уходят и на работе, и дома. Как бы ни был силен, все равно не выдержишь!

Тут Сянцзы взялся за коляску.

— Поеду в южную сторону, здесь нет пассажиров,— проговорил он.

— В добрый час! — ответили рикши в один голос. Однако Сянцзы уже не слышал. Ноги все еще ныли от боли: он хотел было сдать коляску и сегодня больше не возить, но вернуться домой не хватало смелости. Там поджидало чудовище, сосущее его кровь.

День прибавился, и до пяти часов Сянцзы успел обернуться еще несколько раз. Сдав коляску, он ненадолго задержался в чайной. Выпил две чашки чаю, почувствовал голод и решил как следует закусить, а потом уж возвращаться к себе. Съел несколько пирожков с мясом, чашку вареных красных бобов и медленно побрел домой. Он не сомневался, что его встретит буря, однако был спокоен. Сянцзы знал теперь, что делать: ни ругаться, ни спорить с женой он не станет, сразу уснет, а завтра снова возьмется за коляску. Пусть говорит, что хочет!

Он толкнул дверь. Хуню сидела в первой комнате. Увидев мужа, она чуть не расплакалась. Сянцзы хотел было поздороваться с достоинством, но не сумел; виновато опустив голову, молча прошел в другую комнату. Хуню не проронила ни слова. В комнатке было тихо, как в глубокой пещере в горах. Правда, со двора доносились разговоры соседей, кашель, плач детей, но все это казалось далеким и смутным.

Никто не хотел заговаривать первым. Они молча легли в постель, как чужие.

— Что ты делал весь день? Где пропадал? — не выдержала Хуню. Голос ее звучал гневно и в то же время насмешливо.

— Возил коляску! — ответил он сквозь сон, и в горле у него запершило.

— Ну, конечно же! Ты ведь не можешь, чтобы от тебя не воняло пóтом! Сердце тебе не дает покоя! Эх ты, дрянь паршивая! Я старалась, готовила, а ты даже поесть не пришел, таскался неизвестно где. Лучше не выводи меня из себя! Мой отец отчаянный, и я такая же. Попробуй приди завтра поздно, увидишь меня в петле! Мое слово твердое.

— Да пойми, не могу я сидеть дома и ничего не делать!

— Почему бы тебе не сходить к старику? Он что-нибудь придумает.

— Не пойду!

— Упрямый ты осел!

Этого Сянцзы не мог стерпеть.

— Я хочу возить коляску, свою собственную! Помешаешь — уйду и никогда не вернусь!

— Да-а?! — презрительно протянула Хуню, но тут же призадумалась.

Она знала, что такие, как Сянцзы, не бросают слов на ветер. Ей стоило большого труда подцепить мужа, и она не собиралась так просто выпускать его из рук. Человек он подходящий: честный, трудолюбивый, здоровый. В ее годы да с ее лицом лучшего ей, пожалуй, не найти. Нужно только твердость сочетать с мягкостью — когда прикрикнуть, а когда и приласкать.

— Я знаю, ты настойчивый, но пойми, ведь я за тебя душою болею. Ну, не хочешь идти к старику, я сама пойду. Как-никак он родной отец, мне ему и поклониться не стыдно.

— Даже если старик нас примет, все равно буду возить коляску.

Хуню долго молчала. Она не думала, что Сянцзы окажется таким несговорчивым, и только теперь поняла, что он может вырваться из ее ловушки. Простак простаком, но вовсе не дурак. Видно, много еще нужно приложить усилий, чтобы удержать этого верзилу, который в гневе может и бросить ее, и даже побить. Нет, нельзя доводить до разрыва! Сейчас надо ослабить узду, а потом придержать, чтобы не вырвался.

— Ладно! Нравится бегать с коляской — бегай! Но поклянись, что не станешь наниматься на постоянную работу и к вечеру будешь возвращаться домой. Я же тревожусь, если не вижу тебя целый день.

Сянцзы вспомнил, что говорил сегодня тот, высокий. Широко открытыми глазами смотрел он в темноту, и ему мерещились толпы рикш, мелких торговцев, рабочих, которые не могут согнуться и едва волочат ноги. Его ждала такая же участь. Но он не станет больше спорить с ней, лишь бы она не мешала ему возить коляску. Он и это считал победой.

— Хорошо, я не наймусь на постоянную работу,— согласился он.

Хуню хоть и обещала пойти к отцу, но не очень-то с этим спешила. Они и раньше часто ссорились со стариком, и тот всегда умел настоять на своем. А сейчас и подавно его не смягчить — даже слезами. Она уже не принадлежала к семье Лю. Девушка, вышедшая замуж, как говорится, отрезанный ломоть. И Хуню не решалась идти к отцу. Что, если старик не примет ее? Или не захочет уступить? Тут она совершенно бессильна. Если даже кто-нибудь вмешается, это ничего не даст. Ей могут лишь посоветовать вернуться домой, раз у нее есть свой дом.

Сянцзы теперь каждый день возил коляску, а Хуню, оставшись

одна, ходила взад и вперед по комнатам. Несколько раз собиралась она принарядиться и пойти к отцу, но никак не могла отважиться. Это было не так-то просто. Ради собственного благополучия, конечно, следовало бы сходить, но она боялась потерять лицо.

Хорошо, если отец смилостивится и она сумеет перетащить Сянцзы в «Жэньхэчан». Работа для него найдется, и не надо будет снова браться за коляску, а со временем он сможет продолжить дело отца. От этих мыслей на сердце делалось веселее.

Но что, если отец упрется и не примет ее? Тогда она только оскандалится! Мало этого. Ей придется смириться с тем, что она — жена рикши. Жена рикши, которая ничем не отличается от женщин с ее двора!.. Хуню становилось страшно и тоскливо.

Она почти раскаивалась, что вышла замуж за Сянцзы. Конечно, он работящий, упорный, но, если отец не уступит, ему всю жизнь придется возить коляску. Когда она представляла себе такое будущее, ей хотелось тотчас порвать с Сянцзы и вернуться в родительский дом.

Но чаще Хуню в полузабытьи сидела одна на кане и вспоминала первые дни замужества, когда она расцвела, словно цветок под лучами солнца. Нет, она не в силах расстаться с Сянцзы! Пусть возит коляску, пусть побирается, все равно она всегда будет с ним. Ведь терпят эти женщины со двора, и она стерпит. И не будет больше думать об отце.

С тех пор как Сянцзы ушел от Лю Сые, ему не хотелось показываться на улицах в западной части города, чтобы не встречаться с рикшами из «Жэньхэчана». Поэтому он возил коляску в восточной части. Однако сегодня, сдав коляску, он решил побывать в знакомом квартале. Слова Хуню запали ему в душу. Сянцзы хотел испытать себя, посмотреть, сможет ли он вернуться к Лю Сые. Предположим, Хуню помирится с отцом и они вернутся в «Жэньхэчан». Но как он будет себя там чувствовать?

Еще издалека завидев прокатную контору, Сянцзы поглубже натянул шапку, чтобы его не узнал кто-нибудь из знакомых. Лампочка над воротами живо напомнила ему, как он пришел сюда, как Хуню затащила его к себе, и на сердце у него стало невыносимо тяжело. Скандал в день рождения Лю Сые и все, что произошло потом, с необычайной ясностью промелькнуло перед глазами. Вспомнилось и другое: Сишань, верблюды, семья Цао, сыщик — все ужасы, которые ему довелось пережить. Однако эти воспоминания оставили его безучастным, словно больше его не касались. Но тут он подумал: ведь эти события — частицы его жизни! И душу Сянцзы охватило смятение. Все закружилось, замелькало, поплыло... За что, почему на его долю выпало столько

обид и страданий? С тех пор прошло много времени, а ему казалось, что все это было только вчера. Сколько же ему лет? Сянцзы знал лишь одно: с того дня, когда он впервые попал в «Жэньхэчан», он сильно постарел. В ту пору в сердце его жили надежды, а сейчас они уступили место отчаянию. Прошлое неумолимо давило его.

Сянцзы долго стоял перед «Жэньхэчаном» и не отрываясь смотрел на яркую электрическую лампочку. Вдруг сердце его дрогнуло. Три позолоченных иероглифа: «Жэнь хэ чан»,— висевшие под лампочкой, показались ему другими. Он не обучался грамоте, но хорошо помнил, как выглядел первый иероглиф. Он очень простой! Теперь этот иероглиф изменился, стал каким-то странным. Сянцзы не мог понять, в чем дело. Взглянул на дом — везде было темно. Он хорошо знал эти две комнаты — отца и дочери!

Наконец ему надоело стоять, и он, понурившись, побрел домой. Сянцзы шел и размышлял: уж не разорился ли хозяин «Жэньхэчана»? Надо бы все толком разузнать, а потом сказать Хуню.

Когда он вернулся домой, жена со скуки грызла семечки. Лицо ее не предвещало ничего хорошего.

— Опять поздно! — разразилась она.— Слушай, я не стану больше терпеть! Тебя весь день нет дома, а я боюсь нос высунуть, того и гляди что-нибудь сопрут. Во дворе всякий сброд, не с кем словом перемолвиться. А я ведь живой человек! Ты сам подумай, как нам жить дальше?

Сянцзы не проронил ни слова.

— Ну что ты молчишь? Нарочно злишь меня? У тебя что, язык отсох?

Сама-то она трещала как пулемет!

Сянцзы продолжал молчать.

— Давай сделаем так.— Хуню старалась говорить строго, но вид у нее был растерянный: она чувствовала свое бессилие.— Давай купим две коляски и будем сдавать их в аренду. А ты будешь дома, ладно?

— Две коляски — значит три мао в день, этим не прокормишься! Надо одну сдавать, а другую буду возить я. Тогда обойдемся!

Сянцзы говорил не спеша, обдумывая каждое слово. Когда речь зашла о колясках, он забыл все на свете.

— Так что же переменится? Тебя все равно не будет дома.

— Можно и по-другому.— Все мысли Сянцзы сосредоточились сейчас на коляске.— Одну будем сдавать в аренду на весь день, другую — на полдня. Я буду работать либо с утра до трех, либо с трех и допоздна. Что ты скажешь?

— Ладно, посмотрим,— согласилась Хуню.— Не придумаю ничего другого, так и сделаем.

Сянцзы ликовал. Он будет возить собственную коляску! Пусть даже купленную женой. Ничего, постепенно он подкопит деньжат и купит еще одну коляску, и она будет принадлежать только ему.

Сянцзы вдруг почувствовал, что и в Хуню есть что-то хорошее. Он неожиданно улыбнулся ей, улыбнулся искренне, от всего сердца, как бы разом вычеркнув из своей жизни все горести. На душе у него стало так легко и светло, словно он родился заново!

Глава семнадцатая

Вскоре Сянцзы кое-что разузнал. Оказывается, Лю Сые часть колясок продал, а часть передал на паях владельцу другой прокатной конторы в западной части города. Сянцзы понял: старику одному справляться было не под силу, он ликвидировал дело и, наверное, ушел на покой. Но куда он перебрался? Этого Сянцзы так и не выяснил.

Сянцзы не знал, радоваться ему или печалиться. С одной стороны, такой оборот как будто был ему на руку — планы Хуню рухнули, и теперь он будет честно зарабатывать на жизнь, не завися от других и не поступаясь своей гордостью. Но вместе с тем жалко было, что пропало столько добра! Кто же мог подумать, что старик заграбастает все и ему с Хуню ничего не достанется!

Но раз уж так случилось, Сянцзы решил об этом не думать и тем более не горевать. Пока у него есть сила, он не пропадет. Поэтому Сянцзы рассказал обо всем Хуню совершенно спокойно.

Однако Хуню пришла в отчаянье. Выслушав Сянцзы, она живо представила себе свое будущее. Все кончено! Теперь она на всю жизнь останется женою рикши! Ей никогда не уйти с этого двора! Она допускала, что отец женится вторично, но ей в голову не приходило, что он может бросить «Жэньхэчан». Если бы отец женился, Хуню еще поборолась бы за свою долю имущества, а может быть, договорилась бы с мачехой. Пока старик держал коляски, еще оставалась какая-то надежда. Но что отец проявит такую жестокую решимость, превратит все имущество в наличные и тайком улизнет — этого она не могла себе представить. Даже размолвку с отцом она надеялась использовать в своих интересах, зная, что в делах ему без нее не обойтись. Кто же мог подумать, что старик возьмет и распростится с «Жэньхэчаном»?!

Весна давала о себе знать, почки на деревьях порозовели, набухли, но во дворе, где жили Сянцзы и Хуню, приближения весны почти не чувствовалось: тут не было ни цветка, ни деревца.

Лишь теплый ветер гулял по двору, превращал лед в лужи, разносил зловоние оттаявших отбросов, поднимал с грязной земли и кружил куриные перья, шелуху чеснока и обрывки бумаги. Людям на этом дворе каждое время года приносило свои заботы. Правда, весной старики могли выйти погреться на солнышке, а девушки смыть слой копоти с лиц, да и женщины уже не боялись выпускать детей поиграть: теперь ребятишки могли запускать змеев из старой бумаги, бегать по двору, и смуглые ручонки их больше не мерзли и не трескались от холода. Но зато закрылась благотворительная столовая, перестали отпускать в долг рис, благодетели не раздавали больше денег. Бедняки, казалось, были отданы на милость весеннему ветру и солнцу.

Когда молодые всходы только зеленеют, а прошлогодний рис уже на исходе, цены на продукты резко повышаются. Дни становятся длиннее, старикам не хочется спать, и они еще больше страдают от голода. Даже вши весной становятся злее и так и кишат в рваной ватной одежде. Весна беднякам лишь прибавляет горя.

Сердце Хуню замирало, когда она смотрела на грязный двор и отрепья соседей, когда вдыхала талый зловонный воздух, слышала стоны стариков и плач детей. Зимой люди прятались, мерзлая грязь скрывалась под снегом, а сейчас и люди выползли из своих нор, и все отбросы выступили на поверхность. Даже стены оттаяли и обмякли, будто готовые завалиться в ближайший из дождливых дней. Во дворе разрастался отвратительный бурьян нищеты, все выглядело гораздо ужаснее, чем зимой.

Лишь теперь Хуню осознала, что ей, может быть, придется здесь жить всю жизнь. Деньги ее скоро кончатся, Сянцзы по-прежнему будет бегать с коляской, и никуда им с этого двора не уйти.

Наказав Сянцзы присмотреть за домом, она отправилась в Наньюань к тетке, разузнать об отце. Тетка рассказала, что Лю Сые заходил к ней в январе, числа двенадцатого по лунному календарю. Он собирался поселиться в Тяньцзине или в Шанхае. Мол, за всю свою жизнь он не выезжал за ворота столицы: жить осталось немного, надо повидать свет! К тому же ему стыдно оставаться в городе, где собственная дочь его так опозорила. От себя тетка добавила, что, может быть, старик только напустил туману, а устроился где-нибудь здесь, в укромном местечке. Кто его знает!

Вернувшись домой, Хуню упала на кан и заплакала навзрыд. Плакала искренне, долго, пока глаза не опухли. А наплакавшись, сказала Сянцзы, утирая слезы:

— Вот что, упрямец! Будь по-твоему, раз я просчиталась.

Выйдешь за петуха — ходи курицей. Что теперь говорить! Вот тебе сто юаней, иди покупай коляску.

Сначала она собиралась купить две коляски, чтобы одну сдавать в аренду. Но потом решила купить только одну, для Сянцзы, а деньги попридержать: у кого деньги — у того и власть. Мало ли что взбредет Сянцзы в голову, когда у него будет коляска! Нужно быть готовой ко всему.

Поступок отца доказал ей, что ни на кого нельзя полагаться. Никто не знает, что будет завтра, и лучше жить сегодняшним днем. Она решила тратить на хозяйство то, что заработает Сянцзы,— он ведь первоклассный рикша! — а свои денежки приберечь на собственные удовольствия: Хуню любила поесть. Конечно, деньги когда-нибудь кончатся, но ведь и человек не вечен. Она и так промахнулась, выйдя замуж за рикшу. Пусть он неплохой человек, но не трястись же ей над каждым заработанным им медяком! Мысль об утаенных деньгах несколько утешила Хуню, хотя она отлично понимала, что будущее не сулит ей ничего хорошего! И все же Хуню еще не могла смириться. Она словно пыталась догнать заходящее солнце, когда вокруг уже темнеет, но перед глазами еще брезжит полоска зари и так хочется насладиться теплом последних лучей.

Сянцзы не спорил: пусть будет одна коляска, лишь бы своя. В день он сможет заработать шесть-семь мао, на еду хватит. Он даже радовался. Сколько невзгод перенес он из-за коляски, и вот сейчас наконец может ее купить. Чего же еще желать? Конечно, одной коляской можно только прокормиться, на черный день ничего не отложишь. И когда эта коляска износится, не на что будет купить новую. Снова нависнет угроза нищеты! Но что думать о будущем? Нужно радоваться тому, что есть.

У одного из их соседей, Эр Цянцзы, как раз была подходящая коляска.

Прошлым летом этот Эр Цянцзы продал какому-то военному за двести юаней свою девятнадцатилетнюю дочь Сяо Фуцзы. Он сразу разбогател, выкупил вещи из ломбарда, приодел семью. Жена Эр Цянцзы была самой низенькой и самой некрасивой женщиной во дворе: веснушчатая, скуластая, узколобая, с жиденькими волосами и вечно полуоткрытым ртом, в котором торчали редкие зубы. Теперь она щеголяла в новом голубом халате, но глаза ее были красными от слез — она оплакивала дочь.

Эр Цянцзы вообще отличался прескверным характером, а расставшись с дочерью, он начал пить: пропускал рюмку-другую и либо плакал пьяными слезами, либо ко всем придирался. Жена его получила новый халат и на время забыла о голоде, но радости не знала: муж колотил ее теперь куда чаще, чем прежде.

Эр Цянцзы было уже за сорок, поэтому он решил не возить больше коляску, а купил пару корзин и занялся торговлей вразнос. Торговал он всякой всячиной: тыквами, грушами, персиками, земляными орехами, папиросами. Через два месяца оказалось, что он ничего не выручил, наоборот, почти прогорел. Он не умел торговать. Коляска — дело другое, тут все ясно: есть пассажир — хорошо, нет — ничего не поделаешь. В торговле же нужны хитрость и сноровка. Кто был рикшей, тот знает, как трудно получить хоть что-нибудь в долг. Поэтому Эр Цянцзы не отказывал беднякам, особенно знакомым, но попробуй потом получи с них! Постоянных клиентов у него не было, долги ему не возвращали, и, естественно, он терпел убыток за убытком. Эр Цянцзы горевал и с горя пил еще больше. Напившись, часто затевал ссоры с полицейскими, а дома смертным боем бил жену и детей. Когда хмель проходил, его мучило раскаяние. Он хорошо понимал, что опускается: попусту растрачивает деньги, полученные за дочь, пьет водку, дерется. От огорчения он заваливался спать на целый день — лишь бы ни о чем не думать!

Но деньги утекали как вода. Эр Цянцзы решил бросить торговлю и взяться за прежнее ремесло. Он снова купил коляску. Напившись по этому поводу, он долго похвалялся перед соседями-беднякими, что, мол, теперь у него дела пойдут лучше некуда. С новой коляской, прилично одетый, он чувствовал себя первоклассным рикшей: ему-де пристало пить только самый лучший чай, возить только почтенных людей.

В белоснежной куртке и синих штанах, он мог со своей сверкающей новой коляской целый день проторчать на стоянке, не предлагая услуг пассажирам. То почистит сиденье новой голубой метелочкой, то потопает в новых туфлях на белой подошве, то походит, улыбаясь, вокруг коляски. А уж если кто-нибудь ее похвалит, он начинает хвастаться без удержу. Так он мог проболтать впустую и день и другой. Когда же попадался богатый пассажир, ноги, не в пример коляске и одежде, подводили его.

Это еще больше удручало Эр Цянцзы. Он опять вспоминал дочь и шел куда-нибудь заливать горе вином. Так он промотал все деньги, осталась только коляска.

Как-то в начале зимы Эр Цянцзы снова напился. Его сыновья — младшему было одиннадцать лет, старшему тринадцать,— увидев отца, попытались улизнуть из комнаты. Это обозлило Эр Цянцзы, и он каждого наградил затрещиной. Вмешалась жена, он набросился на нее, пнул ногой в живот, и она без чувств упала на пол. Сыновья, вооружившись один совком для угля, другой — скалкой, вступились за мать. В суматохе кто-то наступил на жен-

щину. Наконец вмешались соседи, кое-как утихомирили Эр Цянцзы и уложили его спать.

Дети плакали, обнимая мать. Жена Эр Цянцзы пришла в себя, но подняться так и не смогла. Третьего декабря по старому стилю, облаченная в длинный голубой халат, купленный на деньги, полученные за дочь, она испустила последний вздох. Ее родные не соглашались замять дело, грозили подать в суд. Лишь настойчивые уговоры приятелей Эр Цянцзы заставили их уступить, да и то, наверное, потому, что Эр Цянцзы обещал с почетом похоронить жену и раздать ее родным пятнадцать юаней. Он занял шестьдесят юаней под залог коляски, но после Нового года решил ее сбыть: отдать долг не было никакой надежды.

Когда Эр Цянцзы бывал пьян, он даже подумывал продать кому-нибудь одного из своих сыновей, только вот охотников не находилось. Пробовал сунуться за деньгами к военному, «мужу» дочери, но тот не пожелал признать в нем тестя, а о деньгах и говорить не стал.

Сянцзы знал историю этой коляски, и ему очень не хотелось ее брать. Колясок много, к чему покупать именно эту? Она несчастливая. Ее выменяли за дочь и продают потому, что умерла жена!

Однако Хуню смотрела на это по-другому. Она считала, что купить такую коляску всего за восемьдесят юаней — дело выгодное. Коляской пользовались лишь полгода, даже лак не потускнел, да и изготовлена она известной фирмой «Дэчэн», что в западной части города. Коляски куда хуже стоили почти столько же. Как можно упускать такой случай? Кроме того, Хуню знала, что после Нового года с деньгами у всех туго и Эр Цянцзы никому не сможет продать коляску по более высокой цене, а деньги ему нужны до зарезу. Хуню сама ходила смотреть коляску, сама сговаривалась с Эр Цянцзы о цене, сама платила. Сянцзы оставалось только молчать, деньги-то не его!

Когда коляска была куплена, он ее внимательно осмотрел. Она действительно оказалась добротной, но Сянцзы не понравился черный кузов с латунными украшениями. Когда Эр Цянцзы покупал коляску, его как раз и привлекло это сочетание черного с белым. А на Сянцзы вид коляски наводил уныние: она была словно в трауре! Ему очень хотелось сменить верх, чтобы он был желтоватым, как земля, или серебряным, как луна. Хотелось, чтобы коляска имела более скромный вид. Но он не стал об этом говорить с Хуню во избежание ссоры.

Коляска привлекала всеобщее внимание, и некоторые называли ее «маленькой вдовой». У Сянцзы было скверно на душе. Он пытался не думать о своей траурной коляске, но целыми днями

был с нею неразлучен. Все время ему казалось, что из-за нее вот-вот случится какое-нибудь несчастье. Иногда он вспоминал Эр Цянцзы и все, что с ним произошло, и ему мерещилось, что он возит не коляску, а катафалк, над которым витает душа умершей. Сердце его чуяло недоброе, однако пока никакой беды не предвиделось. Становилось все теплее. Люди сменили зимнюю одежду на легкие куртки и штаны. Весна в Бэйпине короткая, но весенние дни до утомительности длинны.

Сянцзы уходил с рассветом и, пробегав до четырех-пяти часов, чувствовал себя совершенно разбитым. Солнце стояло еще высоко, но ему не хотелось больше возить пассажиров. А бросать работу было жаль. В нерешительности сидел он где-нибудь в тени и лениво зевал.

Дни тянулись до бесконечности. Сянцзы уставал и всегда был мрачен. Хуню томилась дома от скуки. Зимой она грелась у печки, слушала завывание ветра и утешалась тем, что на улицу лучше не выходить. А сейчас печку вынесли и поставили снаружи у стены под карнизом крыши. Дома совершенно не чем было заняться, на дворе — грязь, вонь, ни единой травинки. Погулять тоже не пойдешь — не на кого оставить квартиру. Даже отправляясь за покупками, Хуню старалась нигде не задерживаться. Как пчела, случайно залетевшая в комнату, она стремилась вырваться на волю из опостылевшего дома.

С женщинами со двора Хуню не разговаривала. Они готовы были без конца жаловаться, рассказывать о своих заботах, она же не любила об этом ни говорить, ни слушать. Единственной их темой была беспросветная жизнь; они горевали и плакали по любому поводу. А Хуню просто злилась на свою судьбу и вовсе не собиралась плакать: с гораздо большим удовольствием она поругалась бы с кем-нибудь от скуки! Нет, им не понять друг друга, так лучше каждому заниматься своими делами и не вступать в разговоры.

Но в середине апреля Хуню нашла себе подругу. Вернулась Сяо Фуцзы, дочь Эр Цянцзы. Ее «муж», военный, на каждом новом месте обзаводился «семьей»: за сотню-другую брал себе молодую девушку, покупал дешевенькую койку, пару стульев и жил в свое удовольствие. А когда его часть переводили в другой город, он уходил холостым, оставляя и женщину, и койку. За сто — двести юаней наслаждаться целый год, а то и полтора с новой подружкой — это совсем недорого! На прислугу — чтоб стирать, штопать, готовить — и то уйдет юаней восемь — десять в месяц. А так получаешь прислугу, с которой можно и переспать без всяких опасений, что подхватишь дурную болезнь. Останешься доволен — сошьешь ей длинный халат из ситца за несколько юаней.

Не угодит — заставишь голой сидеть дома, она и пикнуть не посмеет. Отправляясь в другую часть, вояка нисколько не жалел о койке и стульях, так как «жене» еще предстояло самой платить за комнату. Денег, вырученных за мебель и утварь, порою не хватало даже на это.

Сяо Фуцзы продала койку, рассчиталась с хозяйкой и вернулась домой в одном халате из пестрого ситца да с серебряными сережками в ушах.

После продажи коляски у Эр Цянцзы осталось юаней двадцать — остальное ушло на уплату долга. Он все сильнее чувствовал, как тяжело в его годы остаться вдовцом. Некому было его пожалеть, некому утешить, и он пил, а напившись, сам жалел и утешал себя, как мог. В такие дни он словно проникался ненавистью к деньгам и транжирил их вовсю. Порой у него мелькала мысль, что надо бы снова взяться за коляску, поставить сыновей на ноги, чтобы были ему опорой в старости. Он накупал для них всякой всячины, смотрел, как жадно они набрасываются на еду, и глаза его наполнялись слезами.

— Сиротки вы мои! — стонал он.— Несчастные детки! Я буду из последних сил работать для вас! Обо мне не заботьтесь — главное, чтобы вы были сыты! Ешьте на здоровье. Когда вырастете, скажу спасибо, если не забудете меня!

Но постепенно ушли и последние двадцать юаней.

Эр Цянцзы вновь пил с горя, затевал со всеми скандалы и не думал больше, сыты ли его дети. Ребята изворачивались, как могли. Иногда им удавалось раздобыть медяк-другой и купить что-нибудь поесть. Они пристраивались к свадьбам и к похоронным процессиям, собирали медный лом, обрывки бумаги и выменивали их на несколько лепешек или на фунт белых бататов, которые проглатывали вместе с кожурой. Порою на двоих перепадал всего один медяк; тогда они покупали земляные орехи или сухие бобы; они, конечно, не утоляли голода, зато их можно было дольше жевать.

Когда вернулась Сяо Фуцзы, дети встретили ее, обливаясь слезами от радости. Они потеряли мать, но сестра заменит ее!

Эр Цянцзы отнесся к возвращению дочери без особого восторга. Одним едоком стало больше. Но, видя, как довольны сыновья, он тоже подумал, что женщина в доме пригодится. Она будет стирать, готовить. Ему неудобно было прогнать дочь: раз уж так случилось, ничего не поделаешь!

Сяо Фуцзы и раньше была хороша собой, только очень худа и мала ростом. Сейчас она пополнела и подросла. Круглолицая, с ровными бровями ниточкой, она стала очень миловидной. Верхняя губка у нее была чуть вздернута; когда Сяо Фуцзы сердилась

или смеялась, ее рот приоткрывался и показывались ровные белые зубы, что придавало ей наивный вид и делало еще более привлекательной. Военного в свое время больше всего пленили эти ее зубки.

Сяо Фуцзы, как и многих бедных девушек, можно было сравнить с прекрасным хрупким цветком; не успеет он распуститься, как его срывают и несут на базар.

Хуню презирала своих соседок по двору, но Сяо Фуцзы ей сразу понравилась. Она была хороша собой, носила длинный халат из пестрого ситца, а главное — прожила целый год с военным и, наверное, как думала Хуню, кое-чему научилась.

Женщинам нелегко подружиться, но уж если они пришлись друг другу по душе, то сходятся очень быстро. Не прошло и нескольких дней, как Хуню и Сяо Фуцзы стали неразлучны. Хуню любила полакомиться и всякий раз, накупив семечек или орехов, звала Сяо Фуцзы к себе; они болтали и угощались. Сяо Фуцзы не нашла своего счастья, но когда ее вояка бывал в хорошем настроении, он водил ее по ресторанам, по театрам, и ей было о чем вспомнить. Хуню завидовала подруге. О некоторых унизительных для нее вещах Сяо Фуцзы не любила говорить, но Хуню слушала с такой жадностью и так упрашивала Сяо Фуцзы рассказывать, ничего не стесняясь, что та не могла ей отказать.

Хуню восхищалась подругой. Слушая рассказы Сяо Фуцзы, она думала о себе, о том, что уже немолода, что у нее незадачливый муж,— и ей становилось обидно. Хуню видела мало хорошего в прошлом и ничего не ждала от будущего. А настоящее? Сяцзы — это же просто пень! И чем больше она злилась на мужа, тем сильнее привязывалась к Сяо Фуцзы. Пусть эта девчонка бедна, жалка, но все же она испытала какие-то радости, повидала жизнь и теперь могла умереть без сожалений. Хуню казалось, что Сяо Фуцзы познала все, что доступно в этом мире женщине.

Хуню просто не понимала, как глубоко несчастна Сяо Фуцзы, которая вернулась домой ни с чем и теперь должна была заботиться о пьянице-отце и о младших братьях. А где взять деньги, чтобы всех накормить?

Однажды, напившись, Эр Цянцзы раскричался:

— Если тебе в самом деле жалко братьев, ты знаешь, как заработать! На меня рассчитываете? Я и так целыми днями мыкаюсь, работаю на вас, мне самому надо есть досыта. Думаешь, я могу бегать с пустым брюхом? Если сковырнусь, тебе что, лучше будет? Чего ты ждешь? Для кого бережешь себя?

Глядя на пьяного отца, на голодных, как крысята, братьев, Сяо Фуцзы горько плакала. Но слезами братьев не накормишь, а отцу на нее наплевать. Значит, осталось одно — торговать собой.

Сяо Фуцзы привлекла к себе братишку, и ее слезы закапали ему на голову.

— Сестра, есть хочу! — жаловался он.— Я голодный!

Сестра! Сестра — это дойная корова. Она должна их накормить.

Хуню не отговаривала Сяо Фуцзы, напротив! Она даже предложила подруге немного денег, чтобы та приоделась,— отдаст, когда заработает,— и предоставила ей свою комнату, так как у Сяо Фуцзы было слишком грязно, а у нее просторно и вполне прилично.

Сянцзы днем домой не заглядывал, и Хуню с радостью помогала Сяо Фуцзы, тем более что надеялась увидеть кое-что новое, о чем сама тайком мечтала. Сяо Фуцзы платила Хуню два мао — такое условие поставила Хупю. Дружба дружбой, а дело делом: ведь она прибирала для Сяо Фуцзы комнаты, тратилась. Разве новый веник и совок для мусора не стоят денег? Два мао, право, не так уж много. С другой бы она взяла больше, но ведь они подруги!

Слушая ее, Сяо Фуцзы улыбалась сквозь слезы. Сянцзы ничего не подозревал. Знал только, что по ночам Хуню не дает ему спать. А она пыталась вернуть ушедшую весну.

Глава восемнадцатая

Наступил июнь.

На дворе было тихо: пользуясь утренней прохладой, ребятишки со старыми корзинками уходили на поиски всякого хлама, который мог бы для чего-нибудь пригодиться. К девяти часам под палящим солнцем, обжигавшим их костлявые спины, они спешили домой поесть, что найдется. Позднее, если ребятам постарше удавалось раздобыть хоть несколько медяков, они покупали какую-нибудь вещь и тут же перепродавали, чтобы хоть что-нибудь заработать. А когда им ничего не перепадало, они гурьбой отправлялись за город купаться в Хучэнхэ. По дороге на железнодорожных путях они крали уголь или ловили стрекоз и продавали их детям из богатых семей. Только самые маленькие боялись убегать далеко от дома: за воротами они собирали под деревьями гусениц или выкапывали куколок.

Мужчины и дети уходили, а женщины, сбросив с себя одежду, сидели в комнатах. Им не хотелось выходить во двор, где было жарко, как в пекле, а раскаленная земля обжигала ноги.

Мужчины и ребята возвращались домой перед заходом солнца. В это время у стен уже лежали тени и веяло прохладой. Никто не входил в комнаты, накаленные за день, словно печи: все уса-

живались во дворе, дожидаясь, пока женщины приготовят поесть. В такие минуты там было оживленно, как на базаре. Изнуренные жарой, с воспаленными глазами, мужчины были раздражительны и злы. Их томил голод. Они еле сдерживались, чтобы не поколотить жену или детей. Но все же рукам воли не давали, только ругались всласть. Шум не прекращался до тех пор, пока не появлялась еда. Поев, некоторые ребята засыпали тут же во дворе, другие убегали играть на улицу. Взрослые, утолив голод, становились добрее, любители поговорить собирались кучками и делились горестями дня. Те, кому нечего было есть, несмотря на духоту, лежали в своих комнатах молча или громко ругались. Если бы даже у них нашлось, что продать или заложить, в это позднее время идти все равно было некуда. Женщины со слезами на глазах старались занять хоть несколько медяков, и иногда им это с большим трудом удавалось. Крепко зажав в руке монеты, они спешили купить немного кукурузной муки и бобов, чтобы сварить жидкую кашицу.

Только Хуню и Сяо Фуцзы жили иначе. Сянцзы уходил с рассветом, а Хуню залеживалась часов до девяти-десяти. Она ждала ребенка — на этот раз без обмана — и по распространенному заблуждению считала, что в ее положении не следует много двигаться. Кроме того, ей хотелось почваниться перед соседями. Все вставали очень рано и принимались за дела, только она могла беззаботно валяться сколько вздумает. Вечером, захватив маленькую скамеечку, она выходила за ворота посидеть на ветерке и возвращалась, когда во дворе почти все уже спали. Вступать в разговоры с соседями она по-прежнему считала для себя унизительным.

Сяо Фуцзы тоже вставала поздно, но по другой причине. Она боялась, что мужчины во дворе будут на нее коситься, поэтому выходила из комнаты только тогда, когда все расходились. Днем она либо шла к Хуню, либо отправлялась на промысел — искать клиентов. А вечером, чтобы избежать презрительных взглядов соседок, снова уходила и, лишь когда все укладывались спать, тайком пробиралась к себе.

Сянцзы и Эр Цянцзы не походили на других.

Сянцзы боялся этого большого двора и еще больше — своих комнат. Беспрерывные разговоры во дворе о тяжелой жизни нагоняли на него тоску. А в комнатах он задыхался от жары, от скуки и от Хуню. Она все больше становилась похожей на ненасытную тигрицу. Прежде, чтобы избежать ссор, ему приходилось возвращаться засветло, но в последнее время, подружившись с Сяо Фуцзы, Хуню стала покладистой, и он мог приходить позднее.

Что же касается Эр Цянцзы, то он почти не появлялся во дво-

ре. Он знал, чем занимается его дочь, стыдился этого, но был бессилен что-либо изменить. Он понимал, что не в состоянии прокормить семью, и считал за лучшее не мозолить людям глаза: не увидят — не осудят. Временами в нем пробуждалась ненависть к дочери. Будь у него взрослый сын, ему не пришлось бы терпеть такого позора. Надо же было родиться девчонке! Но иногда ему было жаль Сяо Фуцзы: ведь она продает себя, чтобы накормить братьев! Он ненавидел дочь и страдал за нее, но сделать ничего не мог. А когда напивался, ему все становилось безразличным. Он шел к дочери и просил денег. В эти минуты он смотрел на нее как на скотину, которая приносит доход,— почему бы и ему не получить свою долю? Он даже упрекал ее в непорядочности! Все презирали Сяо Фуцзы, даже родной отец. Он требовал денег и вопил на весь двор, словно нарочно, чтобы все слышали: он, Эр Цянцзы, ни в чем не виноват! Это его дочь от рожденья такая бесстыжая!

Он кричал, а Сяо Фуцзы не смела и слова сказать. Лишь Хуню могла уговорами и бранью утихомирить пьяницу. Приходилось, конечно, иной раз сунуть ему в руку монету-другую. Эр Цянцзы тут же пропивал эти деньги, потому что трезвому ему осталось бы только броситься в реку или повеситься.

Пятнадцатого июня жара стояла с самого утра. И ни малейшего ветерка! Какая-то серая дымка — не то марево, не то туман — повисла в воздухе, вызывая неприятное ощущение зыбкости всего окружающего.

Сянцзы, взглянув на серовато-красное небо, решил выехать с коляской после четырех часов. Если выручит мало, можно будет поработать вечером: что ни говори, а после заката все-таки легче дышится.

Однако Хуню торопила его, она боялась, как бы Сяо Фуцзы не привела «гостя».

— Чего ты хорошего нашел дома в такую жару? — говорила она Сянцзы.— К полудню здесь не утерпишь!

Сянцзы молча выпил воды и вышел.

Ивы стояли как больные: листья, покрытые пылью, свернулись, ветви безжизненно поникли. Над мостовой дрожало знойное марево. По обочинам клубилась пыль, обжигая лица людей. Было нестерпимо душно. Город походил на раскаленную печь.

Люди задыхались. Собаки, высунув языки, валялись на земле. Лошади, тяжело дыша, раздували ноздри. Не слышно было выкриков торговцев. Асфальт размягчился, медные вывески над дверями лавок, казалось, вот-вот расплавятся.

На улицах царила необычайная тишина, лишь из кузниц доносилось раздражающе монотонное постукивание. Рикши, зная,

что не побегаешь — не поешь, лениво предлагали пассажирам свои услуги. Некоторые ставили коляски в прохладное место и, подняв верх, дремали. Другие пытались утолить жажду в чайных. А кое-кто вовсе не выезжал и только время от времени выходил на улицу поглядеть, не спала ли жара. Самые здоровые, первоклассные рикши, позабыв о своей репутации, едва тащились, понурив голову. Любой колодец казался им спасительным оазисом, и, если даже колодцы попадались через каждые несколько шагов, они спешили к ним и пили жадно, большими глотками, прямо из колод для скота, не удосуживаясь достать свежей воды. Некоторые падали на ходу и больше не поднимались.

Сянцзы и тот струсил. Пробежав несколько шагов с пустой коляской, он почувствовал, что все тело его словно охватило огнем, а руки стали влажными от пота. Подвернулся пассажир. Сянцзы не стал упускать его, надеясь, что на бегу от встречного ветерка будет прохладнее. Однако, взявшись за ручки, понял, что в такую жару бежать невозможно. У него сразу захватило дух, во рту пересохло. Пить не хотелось, но, увидев воду, он устремился к ней. И в то же время надо было двигаться быстро, чтобы палящие лучи не сожгли руки и спину.

Кое-как дотащил он пассажира до места. Штаны и куртка прилипли к телу. Помахал банановым веером — не помогло: ветер обжигал. Сянцзы выпил уже огромное количество воды, но снова побежал в чайную. Влил в себя два чайника горячего чаю, стало немного легче. Он пил и обливался потом, словно тело его уже не удерживало влагу. Страшно было двинуться с места.

Сидел он долго, даже самому надоело, но не решался выйти, хотя в чайной делать было нечего. Жара, казалось, назло ему, становилась все нестерпимее. Неужели он покорится? Ведь не первый день возит коляску, не впервые встречает лето — с какой стати зря терять целый день?

Сянцзы решил выйти, но ноги его не слушались, все тело было каким-то ватным. Пот лил с него градом, сердце сжимало. Но что толку сидеть: все равно жарко, лучше уж на улице.

Однако, покинув чайную, он сразу понял, что совершил оплошность. Серая пелена на небе рассеялась, было уже не так душно, но солнце жгло пуще прежнего. Страшно было взглянуть на разъяренное светило. Его огненные лучи проникали всюду. Небо, крыши домов, стены, мостовая были залиты белым светом. Казалось, воздух превратился в огромную призму, сквозь которую солнечные лучи сжигали землю, раздражали зрение, обоняние, слух. Улицы словно вымерли и казались шире. Вокруг царили зной и пустота. Воздух застыл. Ослепительно-белый свет резал глаза.

Еле передвигая ноги, Сянцзы тащился в полузабытьи со своей

коляской, ни о чем не думая. Одежда была липкой от пота, даже стельки слиплись, и ему казалось, что он ступает по грязи. Он не испытывал жажды, но, завидев колодец, невольно поспешил к нему и пил долго, не отрываясь, словно надеялся впитать в себя немного прохлады. Вода освежила Сянцзы, он даже вздрогнул, как от озноба. Стало чуть легче. Он несколько раз икнул.

Пройдя еще немного, Сянцзы присел отдохнуть: очень не хотелось возить пассажиров!

С утра он не чувствовал голода, но в полдень, как обычно, захотел есть. Однако при виде пищи его стошнило. Желудок был переполнен водой, в животе урчало, как у опившейся лошади.

Сянцзы всегда боялся только зимы, он и не предполагал, что лето может быть таким тяжелым, хотя жил в городе не первый год. Может быть, его здоровье пошатнулось? Эта мысль испугала его. Да-да, он ослаб. Но что делать? От Хуню ему не уйти. Неужели он станет таким же, как Эр Цянцзы или тот высокий рикша, с которым он встретился однажды, неужели его ждет участь того старика, который зашел тогда в чайную со своим внуком? Неужели все кончено?

В час пополудни он снова повез пассажира. Это было самое жаркое время, пожалуй, самого жаркого дня лета. Но он решил бежать, не обращая внимания на знойное солнце. Если он довезет пассажира и с ним, с Сянцзы, ничего не случится, значит, здоровье его не так уж плохо. А если не довезет — тогда не о чем и говорить. Упадет замертво на пышущую огнем землю, и дело с концом!

Пробежав несколько шагов, Сянцзы почувствовал ветерок, словно в душную комнату ворвалась струя прохлады. Он не поверил себе, взглянул на ветви ив на обочине — они действительно покачивались! Улицы внезапно заполнились людьми, которые торопливо выбегали из лавок, прикрыв головы веерами, и кричали:

— Ветер! Ветерок! Подул ветер!

Все готовы были прыгать от радости. Ивы у дороги словно ожили и зашумели, как посланцы неба, возвещающие о возвращении прохлады.

— Ветви колышутся! О Небо! Пошли нам свежий ветер!

Жара еще держалась, но на душе у людей полегчало. Ветерок вселял надежду. От его легких порывов зной как будто уменьшился. Внезапно свет померк, в воздухе закружился песок. Ветер резко усилился. Ивы, словно получив какое-то радостное известие, закачались и зашумели. Затем ветер стих, но небо еще больше потемнело. Пыль столбом стояла в воздухе. И тут в северной части неба показалась черная, зловещая туча.

Сянцзы уже немного остыл. Взглянув на север, он остановил-

ся, чтобы поднять верх коляски: летние дожди обрушиваются внезапно.

Тучи, клубясь, закрыли половину неба. Горячая пыль носилась в воздухе, от земли шел неприятный, резкий запах. Стало прохладно и вместе с тем душно. Южная часть неба сияла голубизной, но с севера надвигалась черная туча, как вестник бедствия. Началась паника. Рикши поспешно поднимали тенты колясок, лавочники торопились убрать вывески, торговцы складывали лотки, прохожие прятались. Снова налетел порыв ветра и словно вымел город, улицы опустели. Все затаилось, одни лишь ивы размахивали ветвями, как в бешеном танце.

Местами на небе еще оставались просветы, но землю окутала тьма. Яркий полдень вдруг сменился темной ночью. Пылевые вихри, отягощенные первыми каплями дождя, метались из стороны в сторону, словно отыскивая себе жертву. Далеко на севере, прорвав тучи, вспыхнула кроваво-красная молния.

Ветер не утихал, и его завывание нагоняло страх. Каждый новый порыв грозил бедой, и даже ивы трепетали, будто в ожидании чего-то ужасного. Снова сверкнула молния, теперь над самой головой. Тяжелые светлые капли зачастили, прибивая пыль.

Несколько крупных капель упало на спину Сянцзы, и он вздрогнул. Дождь словно медлил, но тучи не рассеивались. Вот снова налетел вихрь, еще более сильный, чем прежде. Взметнулись ветви ив, понеслась во все стороны пыль, и ливень хлынул на землю потоками. Ветер, пыль, дождь — все смешалось, зашумело, закружилось. Земля и тучи слились воедино. Повсюду гул, смятение, мрак. Потом вдруг ветер стих, и дождь обрушился мириадами жидких холодных стрел: целые водопады низвергались на город! Реки небесные хлынули, реки земные вышли из берегов, и все слилось в одну черно-желтую стену, которую временами прорезали сверкающие молнии.

Сянцзы промок насквозь, с его соломенной шляпы струями текла вода. Дождь хлестал по лицу, трепал штаны. Сянцзы не мог поднять головы, открыть глаз; он задыхался и едва передвигал ноги, бредя наугад по щиколотку в воде. Сянцзы чувствовал, как холод пробирает его до мозга костей. Сердце сжималось, в ушах шумело. Он хотел поставить коляску, но не мог найти подходящего места. Хотел бежать, но мешала вода. Еле живой, медленно тащился он вперед. Пассажир скорчился в коляске, предоставив рикше одному бороться со стихией.

Наконец дождь начал стихать. Распрямив спину, Сянцзы проговорил:

— Укроемся на время, господин, переждем!

Но пассажир затопал ногами и заорал:

— Вези скорее! Ты что, задумал меня тут бросить?!

Сянцзы хотел только переждать грозу, но сейчас понял: если он остановится, сразу замерзнет. Стиснув зубы, побежал дальше. Небо опять потемнело, сверкнула молния, и дождь снова начал хлестать в лицо.

Когда они приехали на место, пассажир, рассчитываясь, не прибавил ни медяка, однако Сянцзы смолчал: ему было все равно!

Дождь то стихал, то усиливался, но уже не был так немилосерден, как прежде. Сянцзы, не переводя дыхания, добежал до дому. Он грелся у огня и дрожал, как лист во время бури. Хуню приготовила ему горячей сладкой воды с имбирем. Он жадно схватил чашку обеими руками, залпом выпил воду и забрался под ватное одеяло. В ушах его шумел дождь. Сянцзы впал в забытье...

К четырем часам вспышки молнии стали реже, и гроза, казалось, начала выдыхаться. Вскоре на западе тучи разошлись, и края их заблестели золотом. Но в воздухе все еще висела водяная пелена. Лишь постепенно раскаты грома удалялись на юг. Вскоре сквозь тучи прорвались лучи солнца, и листья, покрытые каплями дождя, засверкали, как малахит.

На востоке повисла радуга; концы ее прятались в низких тучах, но середина играла в ясном небе. Вскоре радуга исчезла, и над городом раскинулось голубое небо.

Все вокруг было омыто дождем. Казалось, из грозового хаоса возник новый, прекрасный мир. Даже над сточными канавами кружились разноцветные стрекозы.

Но никто из жителей двора, кроме босоногих ребятишек, гонявшихся за стрекозами, не радовался ясному небу и солнцу.

В комнате Сяо Фуцзы обрушилась часть стены; пришлось сорвать циновку с кана и заткнуть дыру. Во многих местах обвалился забор, но на это никто не обращал внимания — у всех хватало других забот. Там, где были низкие пороги, вода залила комнаты, и люди торопились вычерпать ее кто совком, а кто миской. У некоторых обвалилась боковая стена, и там спешно заделывали дыры. Почти у всех протекли потолки, люди вытаскивали вещи и старались просушить их у огня или на солнце.

Во время ливня бедняки почему-то прячутся в своих каморках, готовых в любую минуту обрушиться и заживо похоронить всех обитателей. Люди словно вверяют себя милости Неба. А после дождя подсчитывают убытки. Возможно, теперь, когда засуха миновала, рис и подешевеет на полмедяка, но это не возместит потерь. Хозяева чинят дома лишь тогда, когда комнаты становятся совершенно непригодными для жилья. Один, в лучшем случае два штукатура наскоро заделывают дыры глиной и мелким щебнем — до следующего ливня! Но если кто-нибудь из жильцов хоть

немного задержит плату, его сразу выгонят и вещи заберут. Такой дом может в любую минуту обрушиться и придавить людей, но до этого никому нет дела, а на лучшее жилье у бедняков денег не хватает.

Однако больше всего обитатели таких нищих домов страдают после дождей от простуды. Обычно и ребята, и взрослые весь день проводят на улице, тяжелым трудом зарабатывая на жизнь. Когда, потные и разгоряченные, они попадают под струи дождя — а на севере дожди бывают очень холодные, иногда даже с градом величиной с грецкий орех,— дети и взрослые заболевают и долго валяются в жару на сыром кане. Купить лекарство им не на что.

Для урожая дождь благотворен — поднимаются кукуруза и гаолян, но в городе он уносит в могилу сотни детей бедняков. Когда сваливаются взрослые, приходится еще тяжелее. Поэты воспевают жемчуг брызг на лотосе и двойную радугу после дождя, но беднякам не до этих красот. Если заболевает кормилец, в дом входит голод. Недаром после дождей возрастает число проституток, воришек и прочих преступников: когда болен отец, сыновья идут воровать, а дочери — продавать себя. Все лучше, чем умирать с голоду! Дождь идет для всех: для богатых и бедных, для праведников и злодеев, но одним он приносит богатство и радость, а другим — смерть и горе, ибо изливается на землю, лишенную справедливости.

Сянцзы заболел. Во дворе болел не он один.

Глава девятнадцатая

Двое суток Сянцзы проспал мертвым сном, и Хуню забеспокоилась. Она отправилась за помощью в Храм Императрицы, раздобыла какие-то чудодейственные травы, растертые с пеплом от благовоний. Когда в Сянцзы влили это снадобье, он открыл глаза, огляделся, но вскоре снова впал в забытье и начал бредить. Только тогда Хуню догадалась пойти за врачом. Два укола, настоящее лекарство, и Сянцзы пришел в себя.

— Дождь все еще идет? — первым делом спросил он.

Больше принимать лекарства Сянцзы не стал: жаль было денег. Он и так досадовал, что заболел. Незачем ему пить всякое зелье из-за какой-то простуды! Чтобы доказать, что ему лучше, Сянцзы хотел сразу встать, но, едва приподнялся, перед глазами поплыли огненные круги, и он снова упал. Делать было нечего, пришлось глотать лекарства.

Сянцзы пролежал десять дней. И с каждым днем расстраивался все больше. Иногда, уткнувшись в подушку, он беззвучно рыдал. Пока он не работает, за все платит Хуню. Но что будет дальше, когда она истратит свои деньги? Все целиком ляжет на его

плечи, а он не может обеспечить семью. Хуню слишком расточительна, слишком любит полакомиться. А тут еще скоро появится ребенок!..

Сянцзы поправлялся медленно. Его грызло беспокойство, и горькие мысли усугубляли болезнь.

Как только Сянцзы стало лучше, он спросил Хуню:

— Что с коляской?

— Не волнуйся, отдала Динсы напрокат!

— Ай-я!

Сянцзы боялся, как бы ему не сломали коляску, однако Хуню поступила правильно: не стоять же коляске без дела! Он подсчитал, что зарабатывал пять-шесть мао в день. Этого хватало на уплату за комнаты, на рис, топливо, масло для лампы, и ему еще оставалось на чашку чая. На жизнь достаточно, если, конечно, тратить расчетливо, а не так, как Хуню. А сейчас они получали всего мао в день, да еще покупали лекарства. Что, если болезнь свалила его надолго? Не удивительно, что Эр Цянцзы пьет, да и остальные рикши живут только сегодняшним днем. Рикшу на каждом шагу подстерегает смерть! Как бы усердно он ни работал, каким бы упорным ни был, он не имеет права обзаводиться семьей, не имеет права болеть — словом, ни на что не имеет права!

Сянцзы вспомнил свою первую собственную коляску, вспомнил пропавшие деньги, добытые с таким трудом... Кого винить в этих несчастьях? Не из-за болезни и не из-за семьи он потерял тогда все. Видно, как ни бейся, ничего не получится. Да, рикшу ждет только гибель, и никому не ведомо, когда и откуда она придет.

От подобных мыслей тоскливое настроение Сянцзы сменилось полным безразличием. Пропади все пропадом! Будет валяться, пока не поправится!

Несколько дней он пролежал спокойно, ни о чем не думая, но вскоре им вновь овладело желание поскорее приняться за дело: бегать, трудиться в поте лица. Пусть его ждет гибель, но каждый человек, пока жив, до последнего вздоха надеется на лучшее. Вот только поправиться Сянцзы никак не мог.

— Я же тебе говорил, что эта коляска несчастливая! — жаловался он Хуню.

— Ты лучше выздоравливай скорей! Только и твердишь о коляске, совсем помешался...

Он замолкал. Да, это правда, он помешан на коляске! С тех пор как он стал рикшей, Сянцзы верил, что коляска может дать ему все! Да, видно, зря верил...

Как только ему полегчало, Сянцзы поднялся, взглянул в зеркало и не узнал себя: щеки впали и обросли щетиной, глаза провалились, возле шрама появилось много новых морщин.

В комнате было нестерпимо душно, но выйти во двор он не решался. Его все знали как первоклассного рикшу, и он не хотел, чтобы люди видели, как он еле волочит ослабевшие ноги, худой и бледный, словно привидение. Как он досадовал, что нет сил выйти и взяться за коляску! Увы! Болезнь приходит и уходит, когда ей вздумается.

Сянцзы провалялся с месяц. Потом снова впрягся в работу, хоть и не совсем еще окреп. На улице он надвигал шапку поглубже, чтобы его не узнали. Имя Сянцзы было неразрывно связано с быстротой, но бегать, как прежде, он теперь не мог, и боялся вызвать всеобщее презрение.

Сянцзы старался каждый день отвозить побольше пассажиров, чтобы наверстать упущенное время. Но через несколько дней снова заболел. На этот раз дизентерией. От досады он хлестал себя по щекам — но что тут поделаешь! Болезнь окончательно измотала Сянцзы. Он так обессилел, что не мог даже сидеть на корточках. А о том, чтобы работать, не могло быть и речи. Снова прошел впустую целый месяц. Сянцзы понимал, что деньги Хуню на исходе.

Пятнадцатого августа он решил наконец выехать с коляской: если и на этот раз болезнь его свалит, Сянцзы поклялся броситься в реку.

Когда он заболел впервые, Сяо Фуцзы заходила к ним. С женой Сянцзы не любил разговаривать, а с Сяо Фуцзы всегда перебрасывался словом-другим. Это злило Хуню. Когда Сянцзы работал, Сяо Фуцзы была для нее хорошей и выгодной подругой. А теперь ей казалось, что бесстыжая соседка заигрывает с ее мужем, и Хуню выходила из себя. Она потребовала, чтобы Сяо Фуцзы уплатила ей все, что задолжала, и не смела больше переступать их порог.

Теперь Сяо Фуцзы негде было принимать «гостей». Своя комната была такой убогой — даже циновку с кана сняли, чтобы законопатить стену. Куда ей было деваться? Разве только зарегистрироваться на бирже живого товара. Но там предпочитали девушек «образованных» или «из богатых семей» — товар посолиднее, за который платили больше. Кому нужны такие, как она? А жить както нужно. Можно, конечно, пойти в публичный дом, но разве это выход? Так она навсегда потеряет свободу, а кто будет заботиться о братишках? Проще умереть, если жизнь — сплошная неволя.

Сяо Фуцзы не боялась смерти, но ей хотелось сначала совершить нечто большое, достойное. Вот поставит братьев на ноги, тогда можно и умереть. Рано или поздно смерть все равно придет, но, пока жива, она должна спасать братьев!

Сяо Фуцзы долго думала и наконец решила принимать самых простых клиентов. Разумеется, тот, кто согласится войти в ее

комнатушку, заплатит немного! Что ж, сколько дадут — столько и ладно. Зато она сэкономит на одежде, на креме, на пудре: в такой каморке можно не думать о моде, а бедным посетителям хватит и того, что она молода. По деньгам и удовольствие.

Между тем Хуню становилось все труднее двигаться: она боялась даже выходить за покупками. Сянцзы пропадал целыми днями, Сяо Фуцзы теперь не показывалась, и Хуню чуть не скулила от тоски, словно собака в конуре. С каждым днем она становилась все раздражительнее. Хуню считала, что Сяо Фуцзы нарочно стала принимать самых простых гостей, чтобы позлить ее. Этого она не могла снести. Хуню садилась на пороге, открыв дверь, и ждала. Как только во дворе появлялся посетитель, Хуню начинала выкрикивать всякий вздор, чтобы досадить своей бывшей подруге. «Гостей» у Сяо Фуцзы становилось все меньше и меньше, а Хуню злорадствовала.

Сяо Фуцзы понимала, что вскоре все соседи начнут подражать Хуню и в конце концов выживут ее. Однако сердиться не смела. Люди в ее положении понимают, что гневом беде не поможешь. И вот Сяо Фуцзы пришла вместе с младшим братом к Хуню на поклон. Она ничего не сказала, но молчание ее было красноречивее всяких слов.

Хуню поняла, что несчастной уже и смерть не страшна. Но страшнее смерти — позор. А сколько можно терпеть позор? Даже самого робкого человека нельзя доводить до отчаяния!

Хуню растерялась: ни скандалить, ни браниться в ее положении она не могла. Лучше, пожалуй, уступить. Кто же мог подумать, что дело примет такой оборот? Глупышка Сяо Фуцзы не поняла: она ведь только шутила!

Подруги помирились, и Хуню, как прежде, принялась во всем помогать Сяо Фуцзы.

Когда Сянцзы после болезни снова взялся за коляску, он стал более осторожен, так как понял, что и он не железный. Конечно, желание заработать побольше не исчезало, но теперь он знал, что должен беречь себя. Даже самый крепкий человек не всегда может выдержать удары судьбы.

После дизентерии у Сянцзы часто болел живот. Бывало, ноги разойдутся, хочется подналечь, побежать быстрее, но вдруг ни с того ни с сего так скрутит, что приходится замедлять шаг, останавливаться и переводить дух. Хорошо еще, когда везешь пассажира в одиночку! Но если несколько рикш бежали вместе, неожиданные остановки Сянцзы удивляли папарников, и это ранило его самолюбие. Ему только двадцать с небольшим, а жизнь так над ним подшутила! Что же будет с ним в тридцать — сорок лет? От этих мыслей его прошибал холодный пот.

Чтобы сберечь здоровье, он охотно взялся бы возить коляску помесячно у одного хозяина. На такой работе бегать, правда, нужно быстро, зато чаще отдыхаешь. Это куда легче, чем возить случайных пассажиров. Но он хорошо знал, что Хуню не согласится. С тех пор как Сянцзы женился, он потерял свободу. И за что ему досталась такая жена? Злосчастная судьба!

Прошло полгода. На смену осени пришла зима. Сянцзы почти смирился со своей долей и по-прежнему работал из последних сил. Он больше ни о чем не мечтал, ни к чему не стремился, но и бездельничать тоже не мог. Работал понуро, по привычке опустив голову. Это был уже не прежний беспечный рикша, которому все нипочем! Он зарабатывал больше других, потому что никогда не стоял без дела, за исключением тех случаев, когда его мучили колики. Возил всяких пассажиров, а не только выгодных, и не хитрил, как другие рикши, не набивал цену, не перехватывал клиентов. Сянцзы сильно уставал, но не было дня, чтобы он не принес домой хоть немного денег.

Однако заработка его не хватало. Он приносил деньги в дом, а Хуню тут же их выносила, и за день уходило все до последнего медяка. Он умел экономить, зато Хуню еще лучше умела тратить. О покупке второй коляски нечего было и думать.

Последний срок беременности Хуню приходился на начало февраля. Уже к Новому году живот ее стал заметен. К тому же она любила выпячивать его, словно желала подчеркнуть всю значительность своего положения. Теперь она даже с кана поднималась неохотно. О еде заботилась Сяо Фуцзы. Хуню отдавала ей для братьев остатки пищи. И это еще больше увеличило расходы.

Хуню казалось, что она должна есть побольше вкусных вещей. Она постоянно что-то жевала. Сама накупала всякой всячины да еще каждый день заказывала Сянцзы то одно, то другое. Она тратила все, что зарабатывал муж. Если же он приносил больше, прихоти ее только множились. Сянцзы не смел сказать ей ни слова. Когда он болел, она тратила свои деньги, теперь пришло время расплачиваться. Стоило Сянцзы попридержать хоть медяк, Хуню тут же прикидывалась больной.

— Беременность — это болезнь, которая длится девять месяцев,— кричала она.— Что ты в этом понимаешь?

Она говорила сущую правду: в этом Сянцзы ничего не понимал.

В последнее время Хуню стала еще капризнее, не вставала с кана и по нескольку раз на дню посылала Сяо Фуцзы за покупками. Хуню досадовала, что не может выйти сама. Она любила показать себя, да вылезать из дому не хотелось. А сидеть просто так было скучно, вот она и забавлялась тем, что накупала всякой

всячины. Какое ни на есть — все развлечение! При этом она уверяла Сянцзы, что заботится только о нем.

— Ты крутишься весь год без отдыха, не окреп еще после болезни, почему же тебе не полакомиться?! На праздник да не поесть вволю? Эдак ты скоро высохнешь, как замоpенный клоп!

Сянцзы не возражал — он не умел спорить. А Хуню съедала почти все сама. Наевшись, она сразу ложилась спать, от этого у нее пучило живот, но Хуню твердила, что это из-за беременности!

После Нового года Хуню запретила Сянцзы выходить по вечерам: она не знала точно, когда начнутся роды, и очень боялась. Теперь она вспомнила о своем возрасте. Правда, она так и не призналась, сколько ей лет, но уже больше не уверяла Сянцзы, что лишь ненамного старше его. Она все время говорила о близких родах, и от ее болтовни у Сянцзы кружилась голова. Но дети — это продолжение рода. И Сянцзы испытывал невольную гордость. Конечно, им не следовало заводить ребёнка. Но какое сердце не смягчится при мысли, что у тебя будет сын или дочь, что кто-то ласково назовет тебя отцом! Великое это слово!

Теперь Сянцзы только об этом и думал. Огромная ответственность ложилась на его плечи, существование его приобретало смысл. Ему хотелось дать Хуню все, что та пожелает, окружить ее любовью и заботой — ведь в ней зарождалась новая жизнь! Пусть Хуню противна, несносна — в этом деле ей принадлежит главная роль. И все же порой терпеть ее выходки становилось невмоготу.

Каждую минуту Хуню приходила в голову какая-нибудь блажь, и она поднимала такой шум, словно в нее вселялась нечистая сила. А ведь Сянцзы нуждался в отдыхе. Он примирился с тем, что она транжирит деньги, но ему нужен был хотя бы почью покой, чтобы на следующий день снова взяться за коляску. Она не позволяла ему отлучаться из дому вечерами и не давала как следует отдохнуть по ночам. Сянцзы ни о чем не мог уже думать, кружился целыми сутками, словно в тумане. Радость сменилась тревогой, тревога — печалью. Он ничего больше не ждал, ни на что не надеялся.

Порой это смятение чувств заставляло его стыдиться самого себя. Однажды он так расстроился, что доставил пассажира совсем не туда, куда следует, и потом не знал, как взглянуть ему в глаза.

Перед праздником фонарей[1] Хуню решила послать Сянцзы за повивальной бабкой — как будто начиналось! Но бабка сказала, что еще рано, и рассказала о предродовых признаках.

---

[1] Праздник фонарей — другое название праздника юаньсяо.

Хуню потерпела еще два дня и опять подняла панику. Снова пригласили повивальную бабку — и снова без толку. Хуню плакала, кричала, призывала смерть: она не могла больше терпеть мучений. Сянцзы ничем не мог ей помочь, но, чтобы показать свое сочувствие, согласился на время прекратить работу.

Так Хуню промучилась еще с неделю, и наконец даже Сянцзы понял, что время подошло: Хуню так изменилась, что ее трудно было узнать. Повивальная бабка осмотрела ее и по секрету сообщила Сянцзы, что опасается трудных родов. Хуню уже не молода, роды первые, а плод очень большой, так как во время беременности она мало двигалась и ела много жирной пищи. Надежды на то, что роды пройдут нормально, почти никакой. Хуню не показывалась врачу, но положение плода, видимо, было не совсем правильное. Повивальная бабка опасалась худшего.

Во дворе часто рассказывали о таких случаях, когда женщины во время родов умирали, оставляя ребенка сиротой. С Хуню могло случиться то же самое.

Обычно жены бедняков до самых родов занимались тяжелой работой и жили впроголодь, поэтому плод у них бывал небольшой, и рожали они легко. Главная опасность угрожала им после родов. Но у Хуню получилось наоборот. Ее преимущества обернулись для нее несчастьем.

Сянцзы, Сяо Фуцзы и повивальная бабка три дня и три ночи ухаживали за роженицей. Хуню призывала всех святых, давала любые обеты. Под конец она совсем охрипла и лишь тихо звала:

— Мама! Мама!

Повивальная бабка и все остальные были бессильны помочь ей. И тут самой Хуню пришла в голову мысль — попросить Сянцзы сходить за ворота Дэшэньмынь к тетушке Чэньэр, одержимой духом святой лягушки.

Тетушка Чэньэр согласилась прийти не иначе как за пять юаней. Хуню выложила последние деньги.

— Хороший мой! — умоляла она Сянцзы.— Беги скорее! Деньги — пустяк! Поправлюсь, заживем на славу!

Тетушка Чэньэр пришла только перед сумерками. Ее сопровождал «помощник» — высокий желтолицый мужчина лет сорока. На тетушке Чэньэр, несмотря на преклонный возраст, был голубой шелковый халат, в волосах цветок граната и позолоченные гребни. Она вошла в комнату, огляделась, вымыла руки и поставила курительную свечу. Отвесив поклон, села за столик и уставилась на тлеющий огонек свечи. Внезапно тетушка Чэньэр забилась в судорогах. А когда судороги кончились, уронила голову на грудь и долго сидела с закрытыми глазами без движения. Было так тихо, что казалось, иголка упади, и то будет слышно. Даже

Хуню перестала кричать и лежала тихо, стиснув зубы. Наконец тетушка Чэньэр медленно подняла голову и обвела всех взглядом. «Помощник» дернул Сянцзы за рукав.

— Поклонись, поклонись добрым духам! — прошептал он.

Сянцзы сам не знал, верит он в духов или нет, но решил, что от поклонов вреда не будет. Словно одурманенный, он кланялся и кланялся. Наконец поднявшись, увидел огонек курительной свечи. Сянцзы вдохнул ее сладковатый аромат, и в душе его затеплилась смутная надежда. Может быть, все это спасет Хуню? Он стоял неподвижно, обливаясь холодным потом.

Не открывая глаз, «святая» заговорила внушительно, немного заикаясь:

— Ни... ни... ничего! На... на... нарисуем...

«Помощник» поспешно протянул ей желтую бумагу. «Святая» помяла ее над огоньком, затем послюнявила. Она забормотала что-то о том, что Хуню, мол, обидела ребенка, потому он и причиняет ей боль.

— Нынче тетушка Чэньэр добрая, ишь как разговорилась! — шепнул «помощник».

Сянцзы стоял как завороженный; он ничего не понял, но ему стало страшно.

Тетушка Чэньэр протяжно зевнула, посидела еще немного и открыла глаза, словно пробуждаясь после долгого сна. Затем объяснила, как заставить Хуню проглотить заклинание вместе с пилюлей. Она сказала, что хочет посмотреть, как будет действовать заклинание. Пришлось устроить для нее угощение. Сянцзы поручил это Сяо Фуцзы. Та купила горячих лепешек в купжутном соусе и мясо в сое. Но тетушка Чэньэр обиделась, что ей не подали вина.

Хуню проглотила пилюлю с заклинанием, однако это не помогло.

«Святая» и «помощник» закусывали, а роженица продолжала громко стонать и метаться. Так прошло больше часа. У Хуню начали закатываться глаза, но тетушку Чэньэр это не очень обеспокоило. Она велела Сянцзы опуститься на колени перед столиком со свечой и снова отбивать поклоны. Сянцзы ей больше не верил, однако пять юаней были уплачены, и он решил повиноваться до конца. А вдруг произойдет чудо! И Сянцзы опустился на колени. Он не знал, каким святым молиться, но мольбы его шли из глубины души. Глядя на мигающий огонек, он воображал, что видит добрых духов, и взывал к ним от всего сердца. Огонек становился все меньше. Перед глазами замелькали какие-то черные точки. Сянцзы все ниже опускал голову и незаметно задремал: он не спал уже трое суток.

Неожиданно его качнуло, он вздрогнул и в испуге взглянул

на столик — свеча почти догорела. Сянцзы медленно поднялся, упираясь руками в пол. В комнате было пусто. Тетушка Чэньэр со своим «помощником» незаметно улизнули.

Сянцзы было не до того, чтобы злиться на «святую». Он бросился к Хуню. Широко открытым ртом она ловила воздух и не могла произнести ни слова. Повивальная бабка сказала, что роженицу нужно отправить в больницу — сама она бессильна помочь. Сердце у Сянцзы разрывалось, слезы текли по лицу. Сяо Фуцзы тоже плакала, но она не потеряла голову и лучше соображала, что нужно делать.

— Брат Сянцзы, не плачь! Я сбегаю в больницу, узнаю!

И, не дожидаясь ответа, Сяо Фуцзы убежала.

Возвратилась она через час. Запыхавшись от быстрого бега, долго не могла вымолвить ни слова. Наконец перевела дух и сказала, что за осмотр врач берет десять юаней, за прием родов — двадцать, а если роды трудные и придется везти Хуню в больницу, за это еще несколько десятков юаней.

— Брат Сянцзы, что же делать? — спросила она.

Выхода не было, оставалось только ждать. Смерть так смерть!

Как все глупо и жестоко на свете! Но, наверное, на все есть свои причины.

В полночь Хуню покинула этот мир и унесла с собой нерожденного ребенка.

Глава двадцатая

Коляска продана!

Деньги, как вода, уплывали из рук Сянцзы. Покойницу нужно было похоронить, нужно было потратиться и на изгнание души умершей.

Сянцзы совсем отупел. Покрасневшими глазами смотрел он, как вокруг суетятся люди, и только выкидывал деньги: платил и платил, не отдавая себе отчета в том, что происходит.

Лишь когда телега с гробом выехала за город, Сянцзы начал приходить в себя. Никто не провожал покойницу, только Сянцзы и братья Сяо Фуцзы. Один из мальчиков нес в руках пачку бумажных денег и разбрасывал их по дороге, отгоняя злых духов.

Отсутствующим взглядом следил Сянцзы за тем, как могильщики засыпали гроб. Он хотел бы заплакать, да не мог: горе высушило все слезы. Тупо глядел он на свежую кучу земли. И лишь когда старший из могильщиков простился с ним, Сянцзы вспомнил, что надо возвращаться домой.

Сяо Фуцзы успела прибрать комнату. Сянцзы сразу бросился

на кан, зажег сигарету, но курить не хотелось. Он лишь следил за голубым дымком, ни о чем не думая.

Слезы полились внезапно. Он оплакивал не только Хуню — всю свою горькую жизнь. Чего он добился? Столько трудов, столько страданий, а он по-прежнему нищий, несчастный, одинокий. Сянцзы плакал беззвучно. Коляска, коляска! Его судьба! Купил — отняли, снова купил — снова потерял, она появлялась и исчезала, как призрак, который невозможно удержать. Он лишился всего, даже жены! Жизнь с Хуню была не сладкой, но без нее не осталось и намека на семью. Все в этих комнатушках принадлежит ей, а она — в могиле!

Гнев охватил Сянцзы. Он жадно затянулся и продолжал курить, несмотря на отвращение. Выкурив сигарету, обхватил голову руками. Сердце сжималось, во рту пересохло. На душе было горько, хоть кричи!

Вошла Сяо Фуцзы, остановилась в первой комнате у кухонного стола и молча взглянула на него.

Сянцзы поднял голову, увидел ее — и снова расплакался. Сейчас он расплакался бы даже при виде собаки: переполненное горем сердце готово было раскрыться перед любым живым существом. Ему хотелось поговорить с Сяо Фуцзы — сегодня он так нуждался в сочувствии! Слова теснились в голове, но Сянцзы молчал.

— Брат Сян, видишь, я прибрала комнаты!

Он кивнул, даже не поблагодарив,— ему было не до церемоний.

— Что же ты собираешься делать? — продолжала Сяо Фуцзы.

— А? — Он словно не расслышал, но затем только покачал головой: о будущем он еще не задумывался.

Сяо Фуцзы подошла к нему, хотела что-то сказать, но внезапно покраснела. Жизнь часто вынуждала ее забывать о стыде, однако по натуре она была честной и, встретив порядочного человека, испытывала смущение.

— Может быть...— начала она и осеклась: слов не хватало, и она не могла собраться с мыслями.

Женщины редко бывают откровенны, но порою краска стыда на лице красноречивее всяких слов. Даже Сянцзы понял затаенные мысли Сяо Фуцзы. Для него она была доброй, прекрасной женщиной с чистой душой. Такой он ее видел и не изменил бы о ней своего мнения, даже если бы все тело ее покрылось язвами.

Сяо Фуцзы была хороша собой, молода, здорова, трудолюбива и бережлива. Если бы Сянцзы хотел снова обзавестись семьей, иной жены он не стал бы искать.

Но он не собирался жениться, не желал об этом и думать! Однако просто промолчать не мог: она так усердно помогала ему! И он кивнул головой. Ему очень хотелось обнять ее, выплакать

на ее плече все свои обиды и остаться с ней навсегда. Ради нее он готов был на все. Эта женщина могла бы принести ему настоящее счастье, то, которое могут и должны приносить женщины. Сянцзы был молчалив от природы, но с ней, наверное, мог бы говорить о чем угодно: лишь бы она его слушала! Ее улыбка, один наклон головы были бы для него лучше всякого ответа. С нею он наконец обрел бы семью...

Но тут в комнату вбежал брат Сяо Фуцзы.

— Сестра! Отец идет!

Она нахмурилась и вышла.

Эр Цянцзы еле держался на ногах.

— Ты зачем ходила к Сянцзы? — Глаза его пьяно вытаращились.— Мало, что продаешь себя, так еще с Сянцзы забавляешься? Ах ты, тварь бесстыжая!

Сянцзы, услышав свое имя, поспешно вышел во двор и встал возле Сяо Фуцзы.

— Эх, Сянцзы, Сянцзы! — Эр Цянцзы старался держаться бодро, но его качало из стороны в сторону.— Разве ты человек? Нашел из кого выгоду извлекать, чтоб тебе было пусто!

Сянцзы не стал бы связываться с пьяницей, но сегодня накопившаяся на сердце горечь искала выхода. Он быстро шагнул вперед, две пары налитых кровью глаз встретились; казалось, сейчас посыплются искры! Сянцзы схватил Эр Цянцзы, как ребенка, и отшвырнул в сторону.

Человек с нечистой совестью во хмелю начинает обычно буянить. Однако Эр Цянцзы не был так уж пьян, а грохнувшись на землю, совсем отрезвел. Он понял, что этот орешек ему не по зубам, однако уйти подобру-поздорову тоже не мог и продолжал валяться на земле, приятного в этом было мало. В мыслях у него творилось что-то невообразимое, а язык болтал всякий вздор:

— Я забочусь о своих детях! А ты чего суешься в чужие дела? Бить меня? Ну погоди, ты за это поплатишься!

Сянцзы не хотел отвечать и молча ждал нападения.

У Сяо Фуцзы в глазах стояли слезы: она не знала, что делать. Уговаривать отца бесполезно, спокойно смотреть, как Сянцзы будет бить его, тоже не дело. Она отыскала у себя несколько медяков и сунула брату. Тот обычно не решался подходить к пьяному отцу, но сейчас, когда Эр Цянцзы лежал на земле, осмелел:

— Вот тебе — бери и уходи!

Эр Цянцзы покосился на деньги, взял их и, ворча, стал подниматься.

— Обижаете старика! Прирезать бы вас всех до одного! А с тобой, Сянцзы, мы еще посчитаемся! На улице встретимся! — крикнул он, выходя из ворот.

Когда он ушел, Сянцзы и Сяо Фуцзы вернулись в комнату.

— Я ничего не могу с ним поделать! — проговорила она словно про себя.— Мне одной не справиться...

Сколько горя и вместе с тем безграничной надежды было в этих словах! Если Сянцзы останется с ней, она спасена!

Но после этой безобразной сцены на дворе Сянцзы сразу вспомнил о семейке Сяо Фуцзы. Она, конечно, ему нравилась, однако не станет же он кормить ее братьев и пьяницу-отца! Сянцзы не боялся, что Сяо Фуцзы объест его, но то, что в ее семье никто не зарабатывал себе на жизнь, его страшило. Только богачи могут поступать, как им подсказывает сердце, а бедняк должен прежде всего думать о хлебе насущном. К тому же Сянцзы вспомнил о Хуню, и ему стало стыдно, что он обрадовался ее смерти, как освобождению. Ведь у покойницы были не только недостатки! Он принялся собирать вещи.

— Уезжаешь? — побелевшими губами спросила Сяо Фуцзы.

— Да!

Сянцзы держался нарочито грубо. В этом мире, мире несправедливости, бедняки грубостью оберегают свою свободу, вернее, жалкие крохи этой свободы.

Он молча взглянул на молодую женщину. Понурив голову, Сяо Фуцзы вышла. Она не досадовала, не сердилась — ее душило отчаяние.

Хуню положили в гроб в самой лучшей одежде, со всеми украшениями. Осталось несколько поношенных платьев, жалкая мебель да несколько чашек и кастрюль. Сянцзы отобрал кое-что из платьев получше, а остальное — одежду и утварь — решил продать. Он позвал старьевщика и, не торгуясь, отдал все за десять юаней с мелочью. Сянцзы хотел поскорее избавиться от вещей и уехать, поэтому он не стал искать других покупателей.

Когда старьевщик, собрав вещи, ушел, в комнате осталась лишь постель Сянцзы да несколько платьев. Они лежали на кане, не покрытом циновкой. Комната опустела, но Сянцзы почувствовал облегчение, словно сбросил с себя тяжкие путы. Теперь он был вольной птицей. Однако вскоре вещи снова напомнили о себе. От ножек стола около стены остались следы. Он взглянул на них — и, как наяву, увидел перед собой Хуню. От памяти о человеке или о вещах избавиться нелегко.

Сянцзы присел на кан, вытащил сигарету, а с ней — потертую бумажонку в один мао. В последние дни ему было не до денег. Сейчас он сгреб их в кучу: серебряные, медные, бумажные. Кучка получилась солидная, но в ней не набралось и двадцати юаней. Вместе с десятью юанями, вырученными за вещи, все его состояние едва составило тридцать юаней.

Он положил деньги на кан и долго смотрел на них, не испытывая ни радости, ни печали. Опять он остался один да кучка старых, грязных денег.

Сянцзы тяжело вздохнул, засунул деньги за пазуху и, свернув постель и отобранные платья, отправился к Сяо Фуцзы.

— Платья оставь себе! Постель пусть тоже полежит у тебя. Найду работу, приду за ней.

Он выпалил все это одним духом, не решаясь поднять голову и взглянуть на Сяо Фуцзы.

В ответ он услышал только одно слово:

— Хорошо.

Позднее, когда Сянцзы пришел за постелью, Сяо Фуцзы встретила его с опухшими от слез глазами. Он не знал, как утешить ее, и пообещал:

— Когда все уладится, я приду, непременно приду! Жди!

Она молча кивнула.

Сянцзы отдохнул день и снова взялся за коляску. Он не уклонялся от работы, но прежнего рвения не было. Сянцзы стал ко всему безразличен и уныло влачил свои дни.

Прошел месяц, и сердце его успокоилось. Лицо немного округлилось, но приобрело желтоватый оттенок: прежний румянец так и не вернулся. Сянцзы уже не казался эдаким здоровяком, хотя и оправился от болезней и горя.

В глубине его честных глаз притаилась печаль, и он смотрел на мир невидящим тусклым взором. Сянцзы и раньше был неразговорчив, а теперь стал еще молчаливее. Он походил на дерево после бури: израненное, но все еще могучее, недвижно стоит оно под лучами солнца, и ни один листок на нем не шелохнется.

Дни стояли на редкость теплые, деревья уже зеленели. Сянцзы часто останавливал коляску, чтобы погреться на солнце, а иногда, разморенный теплом, чуть не засыпал на ходу. С людьми Сянцзы заговаривал лишь в самых крайних случаях, но все время что-то бормотал про себя.

Сянцзы пристрастился к курению. Как только он садился отдохнуть, рука его сама тянулась за сигаретой. Он не спеша затягивался, раздумчиво следил за поднимающимися кверху кольцами дыма и кивал головой, словно соглашаясь с какими-то своими мыслями. Бегал он все еще быстрее, чем многие рикши, хотя особенно и не старался. На поворотах, спусках и подъемах был особенно осторожен, даже слишком. Когда другие рикши пытались вызвать его на состязание, он, как его ни подзадоривали, бежал по-прежнему спокойно, не торопясь. Сянцзы только теперь до конца понял, что значит возить коляску, и не думал больше ни о славе, ни о похвалах.

У него завелись друзья: дикие гуси и те стремятся летать стаей. Без друзей ему, пожалуй, пришлось бы совсем худо. Открыв портсигар, он сразу пускал его по кругу. Иногда оставалась всего одна сигарета, и людям неудобно было ее брать, но Сянцзы беззаботно говорил:

— Берите! Куплю еще!

Когда рикши играли на деньги, он не сторонился, как прежде, а подходил посмотреть, иногда даже сам делал ставку. Ему было все равно, выиграет он или проиграет; казалось, он играл лишь для того, чтобы быть вместе со всеми. Теперь он понимал, что после целого дня тяжкого труда надо хоть немного развлечься. Если рикши выпивали, он тоже не отставал, правда, сам пил немного, больше угощал других. Он перестал презирать нехитрые радости жизни, в которых раньше не видел смысла. Раз ему не удалось добиться своего, значит, он был неправ, а другие поступали правильно. Теперь, если кто-то устраивал свадьбу или кого-то хоронили, он охотно помогал деньгами, вносил свою долю на «подарок от всех» и даже сам ходил поздравлять или выражать соболезнование, так как понял, что деньги — не самое главное, что человеку дорого участие. У бедняков общее горе и общие радости.

Сянцзы не решался прикасаться к оставшимся у него тридцати юаням. Вооружившись большой иглой, он неумело зашил деньги в белый пояс и всегда носил при себе. О своей коляске он больше не думал: пусть деньги лежат; кто знает, какие еще болезни или несчастья обрушатся на его голову! Надо всегда иметь запас на черный день. Человек не железный, в этом он убедился.

Перед самой осенью Сянцзы вновь нанялся на постоянную работу. На сей раз дел у него было меньше, чем обычно,— это его и привлекло. Сянцзы уже научился выбирать хозяев и поступал на место лишь в том случае, если условия были подходящие,— иначе лучше возить случайных пассажиров. Он понял, что главное — беречь себя. Если рикша надорвется, погубит свое здоровье — ему конец. А жизнь дается только однажды!

На сей раз Сянцзы поселился в доме поблизости от храма Юнхэгун. Его хозяин по фамилии Ся, мужчина лет за пятьдесят, вроде бы образованный и воспитанный, имел большую семью: жену и двенадцать детей. Но, кроме того, Ся завел наложницу, для которой тайком от жены снял домик в уединенном месте близ храма Юнхэгун. Эта вторая маленькая семья состояла только из двух человек — самого господина Ся и его наложницы, если не считать служанки и Сянцзы.

Сянцзы здесь очень нравилось. Дом был из шести комнат, три занимали господа, в одной помещалась кухня, в двух остальных — прислуга. Дворик был маленький, Сянцзы подметал его двумя-

тремя взмахами метлы. У южной стены росла невысокая финиковая пальма с десятком недозрелых фиников на макушке. Цветов не было, поливать ничего не приходилось. Сянцзы хотел было от скуки привести пальму в порядок, но он вспомнил, как капризны эти деревья, и решил ничего не трогать.

Другой работы было тоже немного. Утром господин Ся уезжал на службу и возвращался только к пяти часам. Сянцзы отвозил его и привозил домой.

Господин Ся больше никуда не выезжал, словно прячась от беды. Младшая госпожа, наоборот, выходила из дому довольно часто, но к четырем часам всегда возвращалась, чтобы послать Сянцзы за господином. Когда Сянцзы приезжал с ним домой, его рабочий день можно было считать оконченным. Младшая госпожа выезжала только на рынок или в парк имени Сунь Ятсена, и, когда Сянцзы довозил ее до места, у него оставалось много времени для отдыха. С такой работой Сянцзы справлялся шутя.

Господин Ся был скуп и дрожал над каждым медяком. Когда он ехал в коляске, то даже не смотрел по сторонам, словно боялся ненароком что-нибудь купить. Младшая госпожа, в отличие от мужа, была куда щедрее и часто выезжала за покупками. Если еда приходилась ей не по вкусу, она все отдавала прислуге, если не нравилась вещь, тоже дарила, чтобы легче было уговорить мужа купить новую. Казалось, весь смысл жизни господина Ся состоял в том, чтобы расходовать силы и деньги на наложницу. Все деньги проходили через ее руки, на себя он ничего не тратил, не говоря уже о том, чтобы раскошелиться для кого-нибудь еще. Рассказывали, что его законная жена и дети, которые жили в Баодине, по пять месяцев не получали от него ни медяка.

Сянцзы не любил господина Ся: тот ходил ссутулившись, втянув голову в плечи, как вор, глаза его постоянно были устремлены вниз, на носки ботинок; он не произносил лишнего слова, не тратил лишнего мао, никогда не смеялся и вообще походил на высохшую обезьяну. А если случайно и ронял два-три слова, то так пренебрежительно, будто все вокруг него — негодяи и лишь он один — порядочный человек.

Сянцзы не терпел таких людей. Но работа есть работа. Платят — чего же еще желать? Ничего не поделаешь, видно, придется возить эту мерзкую обезьяну! Тем более что госпожа держится просто, не задается.

Сянцзы видел в ней лишь хозяйку, которая иногда угощает его, дарит всякие мелочи, изредка дает немного на чай. Как женщина она ему не очень нравилась, хотя была красива, душилась, пудрилась, наряжалась в шелка. И Сяо Фуцзы, конечно, не могла с ней сравниться! Однако Сянцзы, глядя на госпожу, почему-то вспоми-

нал Хуню. Чем-то она на нее походила — не одеждой, не внешностью, а манерами и всем своим складом. Сянцзы чувствовал, что покойная Хуню и госпожа Ся — люди одного сорта. Ей было не больше двадцати двух лет, а держалась она как старая продувная бестия и ничем не походила на девушку, только что вышедшую замуж.

Как и Хуню, она не отличалась девичьей скромностью, завивала волосы, носила плотно облегающие платья и туфли на высоком каблуке. Однако, несмотря на модную одежду, она не выглядела настоящей госпожой — даже Сянцзы это видел. Но и на продажную женщину не походила. Сянцзы не понимал, что она за человек. Он только чувствовал, что госпожа Ся опасна, как Хуню, или еще опаснее, потому что она молода и красива. И Сянцзы сторонился госпожи, словно в ней таилось все зло, весь яд женского племени. Он просто боялся смотреть ей в глаза. И с каждым днем это чувство страха все усиливалось.

Сянцзы никогда не видел, чтобы хозяин сам тратил деньги, разве что когда тот покупал себе лекарства. Что это за лекарства, Сянцзы не знал, но каждый раз, когда господин привозил их, его подружка казалась особенно оживленной. Да и у господина Ся как будто поднималось настроение. Но проходило три дня, хозяин вновь мрачнел и горбился еще больше. Он вел себя как рыба, купленная на базаре: пустишь ее в воду — она оживет, вытащишь — опять затихнет. Замечая, что господин Ся снова выглядит как покойник, Сянцзы догадывался, что подходит время ехать в аптеку. И всякий раз, сворачивая к аптеке, он невольно проникался жалостью к этой высохшей обезьяне. Когда господин Ся возвращался домой со своим лекарством, Сянцзы вспоминал Хуню, и на сердце у него становилось невыносимо тяжело. О покойниках плохо не говорят, но ведь это из-за нее он потерял свою силу и здоровье!

Сянцзы не нравились ни хозяин, ни хозяйка, однако бросать из-за этого работу не стоило. «Какое мне до них дело?» — говорил он себе, попыхивая сигаретой.

Глава двадцать первая

Как-то раз госпожа поругалась со служанкой, тетушкой Ян — та разбила один из четырех только что купленных горшочков с хризантемами. Тетушка Ян, женщина деревенская, не считала цветы какой-то драгоценностью, но поскольку она разбила чужую вещь, то чувствовала себя виноватой. Однако, когда госпожа принялась обзывать ее по-всякому, тетушка Ян не выдержала. Деревенские в гневе себя не помнят, и служанка ответила госпоже самой отборной бранью. Топая ногами, госпожа велела ей немедленно собрать свои пожитки и убираться вон.

Сянцзы никогда не приходилось мирить людей, тем более женщин, поэтому он и не вмешивался. Когда тетушка Ян обозвала госпожу проституткой, он понял, что ее песенка спета, и решил, что теперь его черед: госпожа вряд ли оставит рикшу, который знает о ней больше, чем положено. Он стал ждать, когда ему откажут от места. «Скорее всего,— думал он,— это случится, когда возьмут новую прислугу». Однако Сянцзы не особенно печалился. Жизнь научила его спокойно предлагать свои услуги и не огорчаться, выслушивая отказы. Из-за этого не стоило переживать.

Но как ни странно, после ухода тетушки Ян госпожа стала с ним особенно приветлива. Теперь ей приходилось стряпать самой, а за продуктами посылать Сянцзы. Когда он возвращался, она просила его что-нибудь почистить или помыть, а тем временем резала мясо и готовила еду. В такие минуты она не упускала случая заговорить с Сянцзы.

Госпожа обычно ходила в трикотажной кофточке розового цвета, голубых штанах и расшитых домашних туфлях из белого шелка. Сянцзы не решался на нее взглянуть. Его влекло к этой женщине; крепкий запах ее духов дурманил голову: так цветы своим ароматом привлекают бабочек и пчел. Порой Сянцзы не выдерживал и бросал на госпожу жадные взгляды.

Он не презирал эту женщину, это падшее создание, эту красавицу. И готов был сойтись с ней хотя бы для того, чтобы досадить господину Ся, этой полудохлой обезьяне. При таком муже госпожа была вправе делать, что хотела, да и он, имея такого хозяина, тоже мог не стесняться. Сянцзы постепенно смелел, однако женщина не обращала на него внимания.

Как-то раз, приготовив обед, она села на кухне поесть и вскоре позвала Сянцзы.

— Ешь! А потом вымоешь посуду. Когда будешь встречать господина, заодно купи чего-нибудь на ужин, чтобы еще раз не ездить. Завтра воскресенье, господин будет дома, и я пойду искать служанку. Ты не знаешь кого-нибудь? Теперь так трудно найти прислугу! Ну ладно, ешь, а то остынет!

Она была так великодушна, говорила с ним просто! Даже ее трикотажная кофточка показалась Сянцзы много скромнее. Он почувствовал стыд. Где же его порядочность? Он совсем испортился!

От расстройства он съел целых две чашки риса. Затем вымыл посуду, ушел к себе в комнату и принялся курить сигарету за сигаретой.

Встречая в этот раз хозяина, Сянцзы испытывал к нему особую ненависть. Его так и подмывало бросить на ходу коляску, чтобы угробить эту тварь. Он нарочно дергал ручки, встряхивая старую обезьяну. Но обезьяна молчала, и Сянцзы вдруг стало стыдно. Он

не мог простить себе, что хотел сделать гадость просто так, без всякой причины. Раньше с ним такого не бывало.

Но вскоре он успокоился и, вспоминая об этом случае, только посмеивался. Надо же, как он тогда разозлился!

На другой день госпожа пошла искать прислугу. Она вернулась с женщиной, которую взяла на испытательный срок, и Сянцзы перестал надеяться на благосклонность хозяйки. Теперь все в этом доме его раздражало.

Но в понедельник после обеда госпожа отказала служанке: та, мол, недостаточно чистоплотна. Затем она послала Сянцзы купить жареных каштанов. А когда он вернулся, позвала из своей комнаты:

— *Неси сюда!*

Сянцзы вошел. Госпожа пудрилась перед зеркалом. На ней была все та же розовая кофточка, но голубые штаны она сменила на светло-зеленые. Увидев Сянцзы в зеркале, она быстро повернулась и встретила его улыбкой.

Неожиданно Сянцзы увидел перед собой Хуню, но молодую, прекрасную! Он остановился как вкопанный. Страх, осторожность — все исчезло, осталось лишь горячее, непреодолимое желание. Сянцзы потерял голову...

Дня через три Сянцзы со своей постелью вернулся в прокатную контору. Случилось то, чего он боялся больше всего. Прежде Сянцзы постыдился бы об этом говорить, но теперь со смехом рассказывал всем, как подцепил дурную болезнь.

Рикши наперебой советовали ему, какое лекарство купить, к какому врачу пойти. Никто не считал это позором, напротив, все сочувствовали Сянцзы и, немного смущаясь, делились с ним своим опытом. Молодые рикши заражались этой болезнью в публичных домах — за деньги. Пожилые подхватывали ее у старых потаскух считай что даром. А те, кому не пришлось переболеть, знали истории, приключившиеся с их хозяевами. У каждого было о чем рассказать.

Болезнь сблизила Сянцзы с товарищами. Гордиться ему было нечем, но и стыдиться тоже нечего: он принял свою болезнь так же спокойно, как легкую простуду или расстройство желудка.

Лекарства и всевозможные снадобья унесли десять с лишним юаней, но вылечиться окончательно Сянцзы так и не удалось. Он относился к леченью небрежно, считал, что, раз полегчало, можно не принимать больше лекарств. Поэтому в пасмурную погоду и при смене сезонов у него начинали болеть суставы. Тогда он снова глотал лекарства или старался сам как-нибудь побороть болезнь. Раз жизнь так горька, к чему ее беречь?

После болезни Сянцзы изменился: начал сутулиться, нижняя

губа у него отвисла, в зубах неизменно торчала сигарета. Иногда лихости ради он закладывал окурок за ухо. Он по-прежнему не очень любил говорить, но теперь мог отпустить даже некстати крепкое словцо. Ему на все было наплевать!

Сянцзы все еще считался неплохим рикшей. Иногда он вспоминал прошлое, и ему хотелось снова стать порядочным, чистым и трудолюбивым; он очень страдал от того, что так опустился. Правда, жизнь обошлась с ним жестоко, все его надежды рухнули, но зачем же себя губить?

В такие минуты Сянцзы снова начинал мечтать о собственной коляске. Из своих неприкосновенных юаней он истратил во время болезни более десяти. Ах, как он о них жалел! Но у него сохранилось еще двадцать с лишним юаней, а это все же лучше, чем ничего. Когда он думал о коляске, ему хотелось выбросить все недокуренные сигареты, никогда больше не притрагиваться к вину и, стиснув зубы, копить деньги. От коляски мысль его переходила к Сяо Фуцзы. Он чувствовал себя виноватым перед ней. С тех пор как он съехал со двора, Сянцзы ни разу не навестил ее. Ей не помог, свою жизнь не наладил, да еще подхватил дурную болезнь.

Однако с друзьями он по-прежнему курил, выпивал и забывал о Сяо Фуцзы. Он не был заводилой, просто не хотел отставать от приятелей. Лишь в беседе за чашкой водки можно было на время забыть о тяжелом труде и обидах. Хмель прогонял сомнения. Хотелось поразвлечься немного, а затем забыться тяжелым сном. Кому это помешает? Жизнь такая серая, беспросветная! Гнойные язвы ее лучше всего прижигать ядом водки, никотина и разврата. Клин вышибают клином. Да и кто может предложить что-либо лучшее взамен.

Чем меньше Сянцзы работал, тем больше заботился о себе, искал заработка полегче. В ветреные и дождливые дни он вовсе не выезжал. Если ломило кости, отдыхал два-три дня. Жалея себя, он становился все более эгоистичным. Перестал давать людям взаймы, все тратил только на себя. Табаком и водкой угостить еще можно, а вот одолжить деньги — это другое дело. Самому понадобятся — у кого возьмешь?

Сянцзы становился все ленивее, но от безделья страшно тосковал. Он искал развлечений и за последнее время пристрастился к вкусной еде. Иногда какой-то внутренний голос говорил ему, что нельзя так попусту тратить время и деньги, но Сянцзы тут же находил себе оправдание: «Я стремился выбиться в люди, был порядочным человеком, а чего добился?» Нет, никто не разубедит Сянцзы, никто не помешает ему жить в свое удовольствие.

Лень портит человека, и Сянцзы стал по-другому относиться к людям. Довольно быть покорным, вежливым, довольно уступать пассажирам и полицейским! Когда он работал не покладая рук,

когда был честен и уступчив, все были к нему несправедливы. Теперь он знал цену своему поту и ни с кем не желал считаться. Если его одолевала лень, Сянцзы останавливал коляску, где придется. Полицейский гнал его, Сянцзы огрызался, но не трогался с места, лишь бы выгадать минуту-другую. На ругань отвечал руганью и не боялся, что полицейский его ударит. Пусть только попробует! Сянцзы достаточно силен и сумеет дать сдачи. А после и в каталажке посидеть не обидно.

В драках Сянцзы отводил душу; он вновь чувствовал себя сильным и ловким, солнце вновь ему улыбалось. Прежде ему и в голову не приходило тратить свои силы на потасовки, но теперь это вошло в привычку. Драки доставляли ему даже какую-то радость. Так смешно было вспоминать потом!..

Сянцзы перестал обращать внимание не только на полицейских, но и на машины на улицах. Когда автомобиль, поднимая клубы пыли, мчался на него, громко сигналя, Сянцзы не сторонился, как бы ни волновался пассажир в коляске. Шофер ничего не мог поделать и сбавлял скорость. Лишь тогда Сянцзы уступал дорогу, зато на его долю перепадало меньше пыли. Если машина появлялась сзади, он действовал так же. Расчет был точный: шофер все равно не решится задавить человека! Значит, можно не торопиться и не глотать зря пыль. Полицейские стараются пропустить машины побыстрее, но Сянцзы в полиции не служит, ему на машины плевать. Так Сянцзы стал для полицейских вроде бельма на глазу, но они не решались его приструнить.

Бедняк становится ленив, когда его усердие не вознаграждается, начинает бесчинствовать, когда всюду видит несправедливость. И за это его трудно винить.

Теперь Сянцзы не церемонился и с пассажирами. Куда велят, туда и везет, но ни шагу дальше. Если скажут — к началу переулка, а потом просят проехать дальше, ни за что не согласится! Пассажир кричит, а Сянцзы еще громче. Он знал, как боятся эти господа, одетые в дорогие костюмы европейского покроя, испачкать свое платье, знал также, как они нахальны и скупы. Ладно же! Заранее готовый ко всяким неожиданностям, он хватал за руку такого господина, оставляя на рукаве отпечаток своей пятерни. Он пачкал их одежду и заставлял платить, сколько положено. И господа платили. Они чувствовали силу этого парня, который мог согнуть их одним движением своей могучей руки.

Бегал Сянцзы все еще довольно быстро, но не желал усердствовать зря. Если пассажир торопил, он замедлял шаг.

— Быстрее? — спрашивал он.— А сколько прибавишь?

Он продавал свою кровь, свой пот и мог не стесняться. Он больше не надеялся, что пассажир по доброте душевной прибавит

несколько монет. Хочешь ехать быстро — плати! А так чего зря тратить силы!

С тех пор как Сянцзы распростился с собственной коляской, чужие коляски перестали его интересовать. Коляска — это всего лишь средство зарабатывать на жизнь. Возишь ее — сыт. Не возишь — голоден. Есть деньги — можно вообще не работать. Рикша только так и должен смотреть на коляску. Конечно, Сянцзы не портил чужих колясок, но и не особенно берег их. Когда он сталкивался с кем-нибудь и его коляска оказывалась поврежденной, он нисколько не волновался, не скандалил, а спокойно возвращался в прокатную контору. Если хозяин требовал за порчу коляски пять мао, он вынимал два, и дело с концом. Попробуй возразить — ничего не получишь. А полезешь с кулаками — получишь вдвойне!

Жизнь учит! А какова жизнь — таков и человек! Всем известно: в пустыне не растут пионы. Сянцзы теперь жил, как все рикши, не лучше других и не хуже, и был таким же, как все. Так он чувствовал себя много спокойнее. И люди тоже стали к нему приветливее. Он больше не был белой вороной, а черных, своих, в стае не клюют.

Снова пришла зима. Стоял лютый холод, по ночам замерзало много бедняков. Ветер дул из пустыни, и, прислушиваясь к его тоскливому вою, Сянцзы зарывался с головой под одеяло. Он вставал, лишь когда немного стихало, но долго еще не решался выезжать. Не хотелось браться за ледяные ручки коляски, бежать навстречу ветру, забивающему рот и нос. Этот бешеный ветер наводил на него страх. Но к четырем часам ветер обычно утихал. Предвечернее небо окрашивали лучи заходящего солнца. И тогда наконец Сянцзы скрепя сердце вывозил коляску.

В один из таких дней он уныло плелся, навалившись грудью на перекладину ручек, с неизменной сигаретой в зубах. Быстро темнело, как всегда бывает после сильного ветра. Сянцзы решил отвезти еще одного-двух пассажиров и вернуться пораньше. Ему лень было зажигать фонарик, и он сделал это лишь после неоднократных предупреждений постовых.

На слабо освещенном перекрестке ему подвернулся пассажир, и Сянцзы повез его в восточную часть города. Он даже не снял ватный халат и трусил нехотя, еле передвигая ноги. Он знал, что поступает непорядочно, но это его не трогало. Вскоре он вспотел, однако не стал снимать халат: как-нибудь довезет! Когда въехали в узкий переулок, собака, которой, видимо, не понравился рикша в длинной одежде, с лаем кинулась на него. Сянцзы остановил коляску, схватил метелку и замахнулся. Собака бросилась наутек. Сянцзы подождал немного — может, еще вернется,— да куда там, и след простыл. Сянцзы радостно ухмыльнулся:

— У, проклятая! Ну, попадись мне!

— Эй, разве так возят? — заворчал недовольный пассажир.— Слышишь? Я тебе говорю!

Сердце Сянцзы дрогнуло: голос показался ему знакомым. Но в переулке было темно, а фонарь на коляске светил вниз. Сянцзы не мог разглядеть пассажира, к тому же тот нахлобучил шапку и так закутался шарфом, что виднелись одни глаза. Сянцзы напряг память.

— Это ты, Сянцзы? — послышалось из коляски.

Лю Сые! Сянцзы вздрогнул.

— Где моя дочь?

— На том свете!

Сянцзы не узнал собственного голоса — таким он был жестким.

— Что? Померла?

— Померла,— зло повторил Сянцзы.

— Будь ты проклят! Да разве с тобой можно жить? Любая бы околела!

Сердце Сянцзы зашлось.

— А ну, слезай! — закричал он.— Ты слишком стар и подохнешь от одного моего удара! Неохота руки марать! Слезай!

Лю Сые, весь дрожа, вылез из коляски.

— Где хоть она похоронена?

— Не твое собачье дело!

Сянцзы побежал прочь. На углу обернулся: черная тень все еще маячила посреди переулка.

Глава двадцать вторая

Сянцзы не знал, куда идет. Крепко держа ручки коляски, он шел большими шагами вперед — лишь бы не останавливаться.

Глаза его сверкали, сердце радостно билось, он чувствовал необычайную легкость, словно весь груз невзгод, пережитых им после женитьбы на Хуню, сейчас переложил на Лю Сые. Сянцзы позабыл о холоде, о работе, только шел и шел, прибавляя шаг. Ему казалось, что теперь к нему вернутся прежняя целеустремленность, трудолюбие и чистота. Черной тенью остался старик в переулке. Он его победил, а значит, победил всех! Он не ударил эту тварь, даже не пнул. Старик потерял единственную дочь, а Сянцзы стал свободным, как птица. Если старик и не умер от злости, все равно конец его не за горами! Разве это не возмездие?!

Лю Сые имел все, а Сянцзы — ничего, но сегодня Сянцзы с легкой душой везет свою коляску, а старик не знает, где могила его родной дочери! Пусть у него куча денег и крутой нрав, он ничего не может сделать с ним, простым рикшей.

Сянцзы хотелось громко запеть, чтобы люди слышали его победный гимн: он вернулся к жизни, он победил! Вечерний холод щипал лицо, но Сянцзы его не чувствовал. Он ликовал! Свет уличных фонарей словно согревал его, казалось, он озаряет его будущее.

Сянцзы не курил целых полдня, и его не тянуло. Он больше не притронется ни к табаку, ни к вину. Сянцзы хотел начать все заново, упорно трудиться, выбиться в люди. Сегодня он победил старика Лю, победил навсегда! Проклятья Лю Сые сулили ему успех. Отныне Сянцзы всегда будет дышать свежим воздухом. Взгляни на себя, Сянцзы! Ты встанешь на ноги. Ты еще молод! Ты всегда будешь молсдым, успеешь проводить Лю Сые в могилу, а сам будешь жить и радоваться. Злые люди получат по заслугам. Солдаты, отнявшие твою коляску, госпожа Ян, морившая тебя голодом, Лю Сые, обиравший тебя, сыщик Сунь, отнявший твои деньги, обманщица Чэньэр, госпожа Ся, наградившая тебя дурной болезнью,— все умрут, и только честный Сянцзы будет жить! Жить вечно!

«Я должен теперь работать как следует! — говорил он себе.— Отчего же не поработать, когда есть желание, сила, молодость и на сердце легко? И кто помешает мне обзавестись семьей? Если бы на другого обрушились все мои беды, вряд ли он смог бы радоваться жизни. Я и сам было отчаялся, но теперь с прошлым покончено! Завтра все увидят нового Сянцзы, гораздо лучшего, чем прежде!»

Он бормотал это про себя, а ноги бежали все быстрее, как бы подтверждая его слова: «Так будет, так будет, так будет! Не беда, что я перенес дурную болезнь. Силы вновь возвратятся, как только возьмусь за дело!»

Сянцзы весь вспотел, ему захотелось пить.

Только теперь он увидел, что незаметно добежал до северных ворот. Сянцзы решил не заходить в чайную, поставил коляску на стоянку и подозвал мальчика, торгующего чаем вразнос. Тот подбежал с большим чайником и глиняными чашками в руках. Сянцзы выпил две чашки безвкусного, похожего на помои чая. Теперь он всегда будет пить такой — нечего тратить деньги на хороший чай и вкусную еду! И, решив как бы положить начало новой суровой жизни, он купил десяток почти не прожаренных пирожков с начинкой из полугнилой капусты. С трудом их сжевал, вытер ладонью рот и задумался: куда же теперь идти?

Людей, которым он мог довериться, было всего двое. Сянцзы решил отыскать Сяо Фуцзы и господина Цао. Господин Цао — мудрый человек, он простит его и даст хороший совет. Сянцзы во всем будет его слушаться. А Сяо Фуцзы поможет ему, вместе с ней он добьется своего! Непременно добьется!

Но кто знает, вернулся ли господин Цао? Завтра же он пойдет на улицу Бэйчанцзе и все разузнает, а если в доме никого нет, сходит к господину Цзоу. Только бы найти господина Цао, тогда все уладится. Сегодня он будет работать весь вечер, завтра разыщет господина Цао, а потом навестит Сяо Фуцзы, принесет ей добрую весть: «Я хочу наладить свою жизнь, трудиться за двоих. Давай жить вместе!»

Глаза его светились радостью. Завидев пассажира, он словно на крыльях подлетел к нему и, не договариваясь о цене, сразу сбросил ватный халат.

Бежал он, правда, не так, как раньше, но душевный подъем придавал ему силы. Это был почти прежний Сянцзы, не знавший равных. Он мчался, не сбавляя хода, весь в поту. Доставив пассажира на место, Сянцзы почувствовал, что тело его стало намного легче, в ногах появилась упругость. Ему хотелось снова бежать, хоть на край света. Его можно было сравнить с хорошим скакуном, который нетерпеливо бьет копытами, прося повод. В контору Сянцзы вернулся лишь к часу ночи, уплатил за аренду коляски, и у него еще осталось девять мао.

Сянцзы проснулся поздно, повернулся на другой бок и открыл глаза: солнце уже высоко. После вчерашней ночи отдых казался особенно приятным. Сянцзы встал, лениво потянулся, суставы легонько хрустнули. Хотелось есть, в желудке урчало. Наскоро поев, он с улыбкой сказал хозяину конторы:

— Отдохну денек. Дело есть.

А сам подумал: «Сегодня все устрою и завтра начну новую жизнь».

Сянцзы сразу же устремился на улицу Бэйчанцзе. Шел и про себя молился: «О, если бы господин Цао вернулся! Если бы сбылись мои надежды! Не повезет с самого начала — не жди удачи! Но ведь я стал другим, неужели Небо не будет ко мне милостиво?»

Подойдя к дому Цао, он позвонил дрожащей рукой. Сердце его готово было выпрыгнуть из груди. Стоя перед этой знакомой дверью, Сянцзы хотел только одного: чтобы она открылась и показалось знакомое лицо. Но дверь не открывали. Неужели никого нет дома? Почему так тихо? Тишина пугала его.

Вдруг за дверью послышались шаги. Сянцзы отпрянул назад, но тут же услышал самый родной, самый желанный в этот миг голос:

— О! Сянцзы! Давненько не видались. Что с тобой? Ты так похудел!

Это была Гаома: она-то за это время поправилась!

— Господин дома? — с трудом проговорил Сянцзы.

— Дома. Но ты-то хорош, нечего сказать! Сразу — дома ли господин? Словно мы с тобой вовсе незнакомы! Даже не поздоро-

вался! Такой же увалень, как и прежде. Входи! Как живешь-то?— спрашивала Гаома, вводя его в дом.

— Да так себе! — пробормотал Сянцзы, улыбаясь.

— Господин! — крикнула Гаома.— Сянцзы пришел!

Господин Цао у себя в кабинете переставлял на солнечную сторону горшки с нарциссами.

— Пусть войдет! — отозвался он.

— Иди, иди! — тараторила Гаома.— Мы с тобой еще потолкуем, а я пойду скажу госпоже. Мы тебя частенько вспоминали! Нескладно тогда все получилось. Да что поделаешь? Бывает и хуже.

Сянцзы вошел в кабинет:

— Господин, это я!

Он хотел осведомиться о здоровье господина Цао, но почему-то не посмел.

— Присаживайся,— пригласил его Цао. Он стоял в домашней короткой куртке и улыбался.— А ведь мы уже давно вернулись... Лао Чэн сказал, что ты ушел в «Жэньхэчан». Гаома ходила туда, но не нашла тебя. Да садись же! Как живешь? Как твои дела?

Сянцзы готов был заплакать. Как рассказать о своих страданиях, если каждое воспоминание — открытая рана в сердце? Хотелось излить душу, но трудно было начать. Он ничего не забыл, ни одну обиду, хотя и не понимал как следует всего, что с ним произошло. Придется, видно, рассказать всю историю своей жизни.

Господин Цао, видя, что Сянцзы никак не может собраться с мыслями, сел и стал ждать, когда он заговорит. Сянцзы молчал долго. Наконец поднял голову и посмотрел на господина Цао. Если бы перед ним был другой человек, он бы никогда ничего не сказал, но господин Цао ласково кивнул и приободрил его:

— Говори, не стесняйся!

И Сянцзы заговорил. Сначала он не собирался вспоминать всякие подробности, но затем решил, что это принесет ему облегчение и поможет самому во всем разобраться. Каждый шаг доставался ему дорогой ценой, поэтому рассказывать нужно было по порядку, не перескакивая с одного на другое. Каждая капля пота, каждая капля крови были частицами его жизни, и не следовало ничего упускать.

Он рассказал о том, как, приехав в город, брался за любую работу, как стал рикшей, накопил денег и приобрел коляску — и как потерял ее; рассказал все, вплоть до последних событий. Он сам удивился тому, как долго и с какой охотой он говорит.

Речь Сянцзы лилась свободно, словно сами события помогали находить нужные слова, полные искренности и печали, и каждое из них было ему необычайно дорого. В памяти Сянцзы вставало все его прошлое, и он не мог остановиться. Ему хотелось сразу

раскрыть свое сердце. И чем дальше он рассказывал, тем легче ему становилось! Он говорил о своей мечте выбиться в люди и о своих злоключениях, о том, как он жил последнее время, обиженный, несчастный, опустившийся. Когда он наконец умолк, голова его покрылась потом, сердце опустело, но это было приятно: он чувствовал себя как человек, очнувшийся после долгой болезни.

— Ты хочешь знать мой совет? — спросил господин Цао.

Сянцзы кивнул. Говорить он больше не мог.

— Опять думаешь возить коляску?

Сянцзы снова кивнул. Он не умел делать ничего другого.

— Выход у тебя один — скопить денег и снова купить коляску, а пока брать напрокат. Это, пожалуй, разумнее, чем сразу занимать деньги на покупку под проценты. Но еще лучше жить у одного хозяина: еда и жилье будут обеспечены. Думаю, тебе стоит вернуться ко мне. Правда, свою коляску я продал господину Цзоу, но можно взять коляску в аренду. Согласен?

— Конечно! — Сянцзы встал.— А вы помните о том, что тогда случилось?

— О чем ты?

— Ну, вот когда вы уехали к господину Цзоу...

— А! — Цао улыбнулся.— Кто же об этом не помнит! Зря я тогда всполошился. Уехал с госпожой на несколько месяцев в Шанхай, а можно было и тут оставаться; господин Цзоу все уладил. Впрочем, все это в прошлом. Давай поговорим о другом: как быть с Сяо Фуцзы, о которой ты говорил?

— Еще не знаю...

— Я так думаю: если ты женишься на ней, снимать комнату на стороне вам нет расчета; освещение, отопление — на все денег не хватит. Лучше всего вместе устроиться на работу: ты — рикшей, она — прислугой! Но такое место трудно найти. Не обижайся, но скажи сам, можно на нее положиться?

Сянцзы покраснел, затем смущенно проговорил:

— Ей тогда некуда было деться. Вот и пришлось заняться этим делом. Но клянусь вам, она хорошая! Она не такая...

Его терзали самые противоречивые чувства, но он не мог их выразить. Так много хотелось сказать, и не хватало слов.

— В таком случае,— нерешительно проговорил господин Цао,— наверное, придется устроить вас у себя. Все равно ты занимаешь целую комнату, так что с жильем вопрос решен. Не знаю только, умеет ли она стирать и готовить. Если умеет, будет помогать Гаома. У нас скоро появится еще ребенок, Гаома одной не справиться. Сяо Фуцзы я платить не буду, зато она сможет столоваться здесь. Как ты на это смотришь?

— Что же может быть лучше! — Сянцзы радостно улыбнулся.

— Но я еще должен посоветоваться с госпожой...

— Будьте спокойны! Если госпожа станет сомневаться, я приведу Сяо Фуцзы, пусть госпожа на нее посмотрит!

— Вот и хорошо! — Господин Цао тоже улыбнулся; ему было приятно, что, несмотря на все злоключения, Сянцзы сумел сохранить благородство души.— Я переговорю с госпожой, а через несколько дней ты приведешь Сяо Фуцзы. Если госпожа согласится, считай дело улаженным.

— Так я пойду, господин?

Сянцзы торопился сообщить Сяо Фуцзы радостную весть: на такую удачу он не смел и рассчитывать.

Сянцзы вышел от господина Цао часов в одиннадцать. Зимой это самое хорошее время дня. Погода была солнечная, на небе ни облачка. В сухом холодном воздухе далеко разносились выкрики торговцев, пение петухов, лай собак и еще какие-то высокие, тонкие звуки, похожие на крик журавля. И лучи солнца грели, несмотря на мороз. Навстречу Сянцзы торопились пешеходы, пробегали рикши, подняв верх колясок, медные части которых отливали золотом, медленно и важно шествовали верблюды, неслись машины, трамваи, а в небе кружили белые голуби; лишь деревья замерли в неподвижности. Вокруг царило оживление, и в то же время всюду было разлито какое-то радостное спокойствие. Древний город шумел, жил своей жизнью, а над ним простиралось голубое небо, умиротворенное и приветливое.

Сердце Сянцзы от радости готово было выпрыгнуть из груди и взмыть, словно голубь, ввысь. Теперь у него будет все: работа, жилье, Сяо Фуцзы. Сбудется его самая заветная мечта.

День был веселым и ясным — только житель севера способен оценить такой денек. А когда человек счастлив, все окружающее кажется ему прекрасным. Сянцзы никогда прежде не видел такого ласкового зимнего солнца. Для полноты ощущений он купил затвердевшую на морозе хурму. Откусил — и зубы заломило! Холод проник в грудь, успокоил. Когда Сянцзы доел хурму, язык его одеревенел, зато мысли словно освободились от пут. Ему казалось, что он уже видит свой прежний двор и бедную комнатушку, озаренную милой улыбкой Сяо Фуцзы. Будь у него крылья, он так бы и полетел туда! Только бы свидеться с нею — все прошлое будет разом зачеркнуто, и перед ним откроется новый мир!

Сейчас он спешил еще больше, чем когда шел к господину Цао. Между ними — только дружеские отношения. А Сяо Фуцзы не просто друг: она вручила ему себя. Словно узники, освободившиеся из неволи, они смахнут слезы и, смеясь, пойдут по жизни рука об руку. Господин Цао взволновал Сянцзы добрыми словами, но

Сяо Фуцзы для этого не нужно никаких слов. Он рассказал господину Цао всю правду, но Сяо Фуцзы он скажет то, чего не говорил никому. Она — его жизнь, без нее не может быть счастья! Стоит ли трудиться, чтобы есть и пить одному? Он должен вытащить Сяо Фуцзы из тесной каморки, они будут жить вместе весело и дружно, в теплой, сухой комнате. Ради Сянцзы она оставит отца, оставит братьев. В конце концов Эр Цянцзы сам может зарабатывать, братья тоже как-нибудь обойдутся: будут возить вдвоем коляску или найдут себе другое дело. А Сянцзы не может без Сяо Фуцзы. Он сам, его душа, его работа нуждаются в ней. И ей тоже нужен такой парень, как он...

Эти мысли подгоняли Сянцзы, он шел все быстрее.

На свете много женщин, но нет второй такой, как Сяо Фуцзы. Правда, он мечтал о непорочной девушке, но Сяо Фуцзы хлебнула горя и сможет лучше его понять. Деревенские девицы чисты и целомудренны, да только им не хватает ума и души. А сам он? На его совести тоже немало грехов! Они оба одинаковы и подходят друг к другу, как пара треснувших кувшинов, которые еще можно наполнить водой.

Что ни говори, лучше и не придумаешь! Сянцзы размечтался: он попросит у господина Цао плату за месяц вперед, купит Сяо Фуцзы длинный ватный халат, приличную обувь, а затем поведет ее к госпоже Цао. Сяо Фуцзы молода, хороша собой, умеет держаться, ее не стыдно показать людям. Госпоже Цао она непременно понравится!

Когда Сянцзы добрался наконец до знакомого двора, пот лил с него градом. Он взглянул на старые, покосившиеся ворота, и ему показалось, что он вернулся в родной дом, где не бывал много лет; ветхая стена ограды, сухой прошлогодний бурьян перед ней — все было дорого его сердцу. Он вошел во двор и сразу устремился к комнатушке Сяо Фуцзы. Без стука распахнул дверь и тут же отпрянул: на нетопленном кане, уткнувшись в рваное одеяло, сидела незнакомая женщина средних лет. Сянцзы застыл в дверях.

— Что еще стряслось? Умер кто? — спросила женщина.— Ты чего врываешься в чужую комнату, не спросясь? Тебе кого?

Сянцзы не мог говорить. Он пошатнулся, ухватился рукой за дверь — трудно, ох как трудно так вот сразу отказаться от всех своих надежд!

— Я к Сяо Фуцзы...

— Не знаю такую! В другой раз спрашивай, а потом ломись в дверь! А зачем тебе Сяо Фуцзы? Может, лучше Да Фуцзы? [1]

---

[1] Игра слов: Сяо Фуцзы в переводе — маленькое счастье, Да Фуцзы — большое счастье.

Сянцзы еле добрался до ворот. Сердце его опустело. Он не знал, что делать. Но постепенно пришел в себя. Перед ним снова всплыл образ Сяо Фуцзы. Она заполнила все его мысли, завладела всеми чувствами. Она стояла перед его глазами как живая, смеялась, звала... Но вот это видение исчезло, и Сянцзы вернулся к действительности.

Пока ничего определенного не известно, можно надеяться на лучшее. Может быть, Сяо Фуцзы переехала, и ничего с ней не случилось... Он тоже хорош, ни разу не побывал у нее! Однако нечего предаваться угрызениям совести, надо исправлять свои ошибки. Прежде всего — разузнать все, что можно.

Сянцзы снова вошел во двор и принялся расспрашивать соседей, которые жили подальше, однако ничего толком не выяснил. Тогда, невзирая на голод, он отправился искать Эр Цянцзы и его сыновей. Эти трое всегда болтаются где-нибудь на улице, их нетрудно будет найти.

Он спрашивал у всех, целый день ходил по стоянкам рикш, чайным и трущобам, устал до изнеможения, но так ничего и не узнал.

Вечером, совершенно разбитый, он вернулся в прокатную контору, но мысль о Сяо Фуцзы не покидала его. После целого дня неудач он не смел больше надеяться. Бедняк умрет — никто и не заметит его смерти. Вероятно, Сяо Фуцзы уже нет в живых! А может быть, отец снова продал ее, на этот раз куда-нибудь далеко? Это, пожалуй, еще хуже смерти.

Табак и вино снова стали друзьями Сянцзы. Когда куришь, легче думается, а напившись, можно на время забыться.

Глава двадцать третья

Однажды Сянцзы брел по улице и вдруг наткнулся на деда Сяо Маэра. Старик был без коляски: он нес коромысло, на котором висели большой чайник и корзинка с лепешками. Одежда его совсем износилась.

Старик не забыл Сянцзы. Они разговорились. Сянцзы узнал, что маленький Сяо Маэр умер полгода назад. Старик продал коляску и теперь каждый день на стоянках рикш торгует чаем, лепешками и жареным хворостом. Он был по-прежнему добрым и приветливым, только сильно сгорбился, да глаза его покраснели, словно он постоянно плакал.

Сянцзы выпил у него чашку чаю и коротко поведал о своих невзгодах.

— Разве ты один мечтал устроить свою жизнь? Все мечтали! — посетовал старик.— Но кому это удалось? Когда-то и я был крепким, здоровым малым, промыкался весь век и вот до чего

дошел! Здоровье? Даже если ты из железа — и то не выдержишь. А честность? Кому она нужна? Говорят, только за зло платят злом, а за добро — добром. Как бы не так! Когда я был молод, у меня было горячее сердце. Чужие беды принимал, как свои. А что проку? Мне приходилось спасать людей — и тех, кто тонул, и тех, кто вешался. А какая награда? Никакой! Придет час — подохну под забором, как собака. Я понял только одно: бедняку в одиночку устроить свою жизнь труднее, чем взобраться на небо. Что ждет одинокого человека? Ты видел саранчу? Когда она летит стаей — может пожрать весь посев, и никому с ней не справиться! А одного саранчука поймает и ребенок, привяжет на нитку, и конец. Так ведь? Я всегда был добр к людям, а кто мне помог? Вот внука сберечь не сумел. А все потому, что один. Заболел он, денег на лекарства не было, так и помер у меня на руках. Да что вспоминать об этом! Кому чаю? Горячего, чашечку!

Сянцзы понял: Лю Сые, госпожа Ян, сыщик Сунь и все его обидчики останутся безнаказанными, какие бы проклятья он ни посылал на их головы. И все его старания выбиться в люди тоже ни к чему не приведут. Потому что он всегда надеялся только на собственные силы. Верно говорил старик: одинокой саранче не помогут и крылья.

Ему уже не хотелось идти в дом Цао. Там ему придется сдерживать себя, работать не за страх, а за совесть, а ради чего? Лучше так: нет еды — вози коляску, есть еда — бездельничай и ни о чем не заботься. Только так! Зачем копить деньги, покупать коляску? Ее все равно отнимут. Ради чего же страдать?

Вот если бы он нашел Сяо Фуцзы, он снова стал бы стараться, если не для себя, то хоть бы ради нее. А раз он потерял ее, как старик — внука, для кого ему жить? Он рассказал старику о Сяо Фуцзы, как настоящему другу.

— Кому чашечку горячего чая? — снова выкрикнул старик, затем, подумав, сказал: — Дело ясное: Эр Цянцзы отдал ее в наложницы либо продал в публичный дом. Хм! Скорее всего, она в публичном доме! Сяо Фуцзы была уже замужем,— ты сам сказал. Кто теперь ее возьмет? Каждый норовит получить свежий товар. Нет, она наверняка в публичном доме. Мне скоро шестьдесят, я много повидал на своем веку. Если молодой рикша не появляется на улице дня два, значит, он нашел постоянную работу или заболел. Если пропадает бывшая наложница из бедных или жена рикши, искать ее надо в публичном доме. Мы продаем свой пот и кровь, наши женщины торгуют своим телом. Я это давно понял! Загляни-ка в дом у Сичжимыня. Может, ее там и нет, а может... Кому чаю, горячего чаю?

Сянцзы поблагодарил старика и побежал к Сичжимыню.

Выйдя за заставу, он сразу приуныл. Здесь, по обеим сторонам дороги, стояли такие чахлые, ободранные деревья, что на них даже птицы не садились. Серые деревья, серая земля, серые дома — все замерло под серо-желтым небом, на фоне которого высились пустынные холодные горы Сишань. К северу от железнодорожных путей около леса притаилось несколько низеньких строений.

«Наверное, это и есть публичный дом»,— подумал Сянцзы. Справа виднелся лес, слева — кочковатое болото, на котором кое-где рос чахлый камыш, и нигде никаких признаков жизни. Около домишек тоже ни души. Все вокруг будто вымерло. Неужели это тот самый публичный дом? Осмелев, Сянцзы направился к строениям. На дверях висели новые, еще не потускневшие соломенные занавески. Он слышал от бывалых людей, что летом женщины, обнаженные по пояс, сидят у дома и зазывают прохожих. Постоянные посетители еще издалека запевают песенку, давая о себе знать. Почему же сейчас так тихо? А что, если зимой это заведение закрыто?

В этот миг занавеска на дверях крайней комнаты шевельнулась, и показалась женская голова. Сянцзы в испуге отпрянул: женщина уж очень напоминала Хуню!

— Пришел искать Сяо Фуцзы, а нашел Хуню,— буркнул он про себя.— Вот уж действительно встретился с дьяволом!

— Входи, простофиля! — позвала женщина. Слава богу, хоть голос был другой: он походил на сиплый голос старого торговца снадобьями, которого Сянцзы часто видел на мосту Тяньцяо.

В комнате не было ничего, кроме маленького кана без циновки, под которым горел огонь. Воздух был спертый. На кане лежало старое одеяло, такое же засаленное, как кирпичи кана.

Женщине перевалило за сорок. Она сидела неумытая, с растрепанными волосами. На ней были узкие брюки и синяя куртка на подкладке. Сянцзы, пригнувшись, шагнул в комнату. Женщина потянулась к нему, из расстегнутой куртки вывалились большие отвислые груди.

Сянцзы присел на кан: рост мешал ему говорить стоя.

Он был рад этой встрече. Сянцзы слышал, что в этом публичном доме есть женщина по прозвищу Грудастая. Наверняка это она. Сянцзы тут же, без обиняков спросил о Сяо Фуцзы. Вначале женщина не поняла, о ком идет речь, но, когда он описал внешность Сяо Фуцзы, вспомнила:

— Да, да, знаю. Молоденькая такая. У нее еще всегда зубки блестели. Ну да, это Лакомый Кусочек.

Глаза Сянцзы загорелись гневом.

— Где ее комната?

— Ее? Так она давно умерла! Повесилась вон в том лесу!

— Что?!

— Когда Лакомый Кусочек пришла сюда, мы все ее полюбили. Но, видимо, эта жизнь оказалась ей не под силу, слишком уж она была хрупкой. Однажды, помню, сидели мы вечерком с другими женщинами у входа. Заявился какой-то гуляка и прошел прямо к ней в комнату. Она не любила сидеть вместе с нами. Раньше, когда она только появилась здесь, ее даже били за это. Но потом она стала известной, и ей разрешили оставаться у себя. Мужчины, которые к ней ходили, не хотели иметь дела с другими. Так вот, тот гуляка скоро вышел и отправился прямо в лес. А нам и невдомек! В комнату к ней никто не пошел. Скоро хозяйка начала собирать деньги. Зашла к ней и видит: у нее на кане лежит голый мужчина и дрыхнет. Он, оказывается, был пьян в дым. Лакомый Кусочек надела на себя его одежду и убежала. Вот хитрая! Если бы не темнота, ей бы нипочем не уйти. Но она вырядилась мужчиной и всех провела. Побежали за ней в лес, а она там висит на дереве. Сняли, да уже поздно. Язык чуть-чуть высунулся, но лицо совсем не страшное. Даже смерть ее не изуродовала. На нее и на мертвую приятно было смотреть. С тех пор прошло уже сколько месяцев, а в лесу все тихо — душа ее не пугает людей. Вот какая была добрая! Значит, я и говорю...

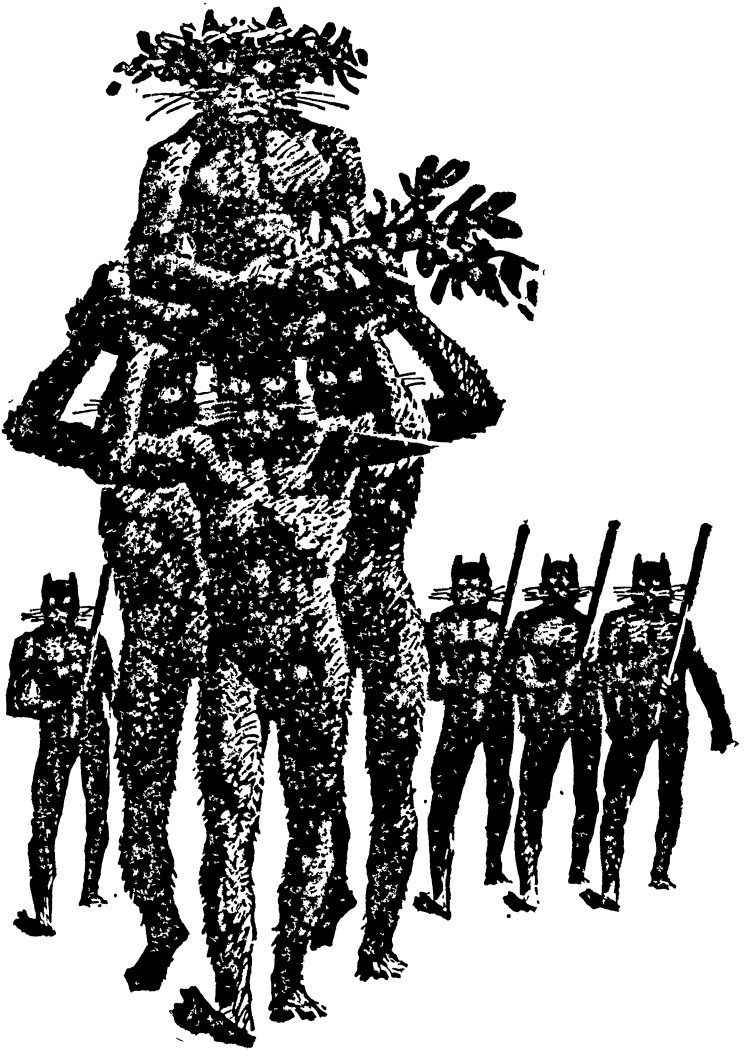
Сянцзы не дослушал. Пошатываясь, побрел он на кладбище. Здесь среди сосняка виднелось несколько могильных холмиков. Солнечные лучи, и без того тусклые, среди сосен совсем угасали. Сянцзы сел на землю. Трава была сухая, вокруг лежали сосновые шишки. Стояла тишина, и лишь на деревьях печально кричали сороки. Сянцзы знал, что Сяо Фуцзы похоронена не здесь, но слезы потоками лились из его глаз. Все кончено, земля украла у него даже Сяо Фуцзы! Он так стремился к счастью, и Сяо Фуцзы тоже. Но она наложила на себя руки, а ему остается лишь безутешно плакать. Ее тело в рогожке зарыли где-то на свалке. Вот и все, чего она достигла!

Вернувшись в контору, Сянцзы проспал два дня. Он не пойдет в дом Цао, даже не напомнит о себе! Господину Цао его не спасти!

Через два дня он вывез коляску. На сердце у него была тоска. Он больше ни во что не верил, ни на что не надеялся и готов был терпеть любые оскорбления. Лишь бы нажраться до отвала, а потом спать. Чего еще ему ждать? На что надеяться? Глядя, как тощая, с торчащими ребрами собака сидит около продавца бататов и дожидается, когда ей что-нибудь кинут, Сянцзы думал, что и сам он, как эта собака, мечтает только о том, как бы набить себе брюхо. Нет, лучше не думать! Жить кое-как, и все! И ни о чем не думать...

ЗАПИСКИ О КОШАЧЬЕМ ГОРОДЕ

РОМАН



Перевод В. Семанова

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Лао Шэ был вынужден не раз отрекаться от многих своих произведений, особенно от романа «Записки о Кошачьем городе» (1932—1933), созданного в традициях «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина или «Острова пингвинов» Франса. Отдельные страницы романа напоминают о западной просветительской литературе, например о Свифте. Сам же автор сближал свою книгу главным образом с «Первыми людьми на Луне» Уэллса. В этом сближении немало справедливого, поскольку действие «Записок» происходит на Марсе, куда прилетел герой романа — образованный и гуманный китаец, однако по социальной остроте «Записки о Кошачьем городе», пожалуй, превосходят произведение Уэллса. Стоит отметить также, что роман написан без восточных имен, которые часто затрудняют для русского или западного читателя восприятие литературы Востока.

В «Записках о Кошачьем городе» автора привлек специфический материал, касающийся главным образом отрицательных сторон китайской жизни. Например, эпизод с библиотекой является одновременно и сатирой на «культурную» политику чанкайшистов, и зорким предвидением, выросшим из наблюдений писателя над левацкими тенденциями:

«Войдя в ворота, я увидел на стенах множество свежих надписей: «Библиотечная революция». Интересно, против кого она направлена? Размышляя об этом, я вдруг споткнулся о лежащего человека, который тотчас заорал: «Спасите!»

Рядом с ним валялось еще более десяти жертв, связанных по рукам и

ногам. Едва я развязал их, как они улизнули — все, кроме одного, в котором я узнал молодого ученого. Это он звал на помощь.

— Что здесь происходит? — изумился я.

— Снова революция! На этот раз библиотечная,

— Против кого же она?

— Против библиотек.. »

Когда рассказчик спрашивает ученого (заведующего библиотекой) о судьбе книг, тот отвечает, что «последняя книга была продана пятнадцать лет тому назад. Сейчас мы занимаемся перерегистрацией.

— Что же вы регистрируете, если книг нет?

— Дом, стены .. Готовимся к новой революции, хотим превратить библиотеку в гостиницу и получать хотя бы небольшую арендную плату. Фактически здесь уже несколько раз квартировали солдаты...»

Именно за такие эпизоды, естественные для настоящего сатирика, разного рода демагоги впоследствии и стали травить писателя. На деле же Лао Шэ стремился помочь родине устранить деспотические порядки, а заодно и возможность их повторения. Он, конечно, не хотел, чтобы его прогнозы оправдались, но это все-таки произошло — в виде гонений на невинных, забвения интересов трудящихся и других подобных явлений в годы так называемой «культурной революции», жертвой которой пал и он сам.

В. Семанов

1

Межпланетный корабль разбился.

От моего старого школьного товарища, который больше полумесяца правил этим кораблем, не осталось даже целой косточки!

А я, видимо, жив. Как же случилось, что я не погиб? Может быть, волшебники и знают, а мне этого не понять.

Мы летели к Марсу. По расчетам покойного друга, наш корабль уже вошел в сферу притяжения Марса. Выходит, цель достигнута? Если это так, то душа моего друга может чувствовать себя спокойно: ради чести быть первым китайцем на Марсе стоит и умереть! Но на Марс ли я попал? Остается лишь верить, что на Марс, потому что никаких доказательств пока нет. Конечно, астроном мог бы определить, что это за планета, но я, к сожалению, понимаю в астрономии ничуть не больше, чем в древнеегипетских письменах. Друг, без сомнения, просветил бы меня... Увы! Мой добрый друг, мой старый школьный товарищ!

Корабль разбился. Как же я теперь вернусь на Землю? В моем распоряжении одни лохмотья, похожие на сушеный шпинат, да остатки еды в желудке. Дай бог уцелеть здесь, а не то что вернуться. Место незнакомое, языка не знаю, и вообще неизвестно, есть ли на Марсе какие-нибудь разумные существа. Все настолько неопределенно, что не стоит и думать. Лучше утешаться мыслью, что ты — первый посетитель Марса!

Конечно, все это я лишь теперь могу выразить. Тогда у меня очень кружилась голова, возникали какие-то неясные мысли, но отчетливо я помню только две: как вернуться на Землю и как выжить здесь? Эти мысли держались в моем мозгу и потом — словно две доски от затонувшего корабля, прибитые волной к берегу.

Итак, пока что я жив. Первым делом надо было похоронить кучку мяса и костей, оставшуюся от моего бедного друга. На обломки корабля я даже не решался смотреть. Он тоже был моим добрым другом — верный корабль, принесший нас сюда. Оба они погибли, и я чувствовал себя так, будто сам виноват в их смерти. Два нужных, полезных существа умерли, оставив жить меня, никчемного. Дуракам всегда счастье — какое это печальное утешение!

Нужно было копать могилу, но я не делал этого, а лишь сидел и сквозь слезы тупо глядел по сторонам. Почему же я не стал сразу копать? Наверное, потому, что, когда пробуждаешься от беспамятства, не отдаешь себе отчета в своих поступках. Сейчас, вспоминая об этом, я думаю, что мое поведение было вполне объяснимо, и извиняю себя.

Да, я сидел и тупо глядел по сторонам. Удивительно, но все, что мне тогда представилось, я помню до мельчайших подробностей, и, когда бы я ни закрыл глаза, передо мной снова встает знакомый пейзаж со всеми красками и оттенками. Только одну картину я помню так же ясно: могилу отца, на которую я впервые пошел еще в детстве, вместе с матерью.

Теперь я смотрел на все окружающее с каким-то рассеянным вниманием и дрожал, словно маленькое деревце, каждый листочек которого трепещет под ударами дождевых капель.

Я видел серое небо. Не пасмурное, а именно серое. Солнце грело весьма сильно, но света излучало меньше, чем тепла, и мне даже не приходилось зажмуривать глаза. Плотный, горячий и хмурый воздух, казалось, можно было пощупать руками. Он был серым, но не от пыли, так как я видел все далеко вокруг. Солнечные лучи словно растворялись в этой мгле, делая ее чуть светлее и придавая ей серебристо-пепельный оттенок. На севере Китая во время летней жары, когда по небу плывут сухие серые облака, можно наблюдать похожую картину, но здесь воздух был еще мрачнее, тяжелее, унылее и словно прилипал к моему лицу. Миниатюрным подобием этого мира могла бы служить жаркая сыроварня, в которой мерцает только огонек масляной лампы. Вдалеке тянулись невысокие горы, тоже серые, но более темные, чем небо. На них виднелись розовые полоски, точно на шее дикого голубя.

«Какая серая страна!» — подумал я, хотя еще не знал тогда, есть ли здесь вообще какая-нибудь страна.

На серой равнине вокруг не было ни деревьев, ни домов, ни

полей — одна гладкая, тоскливо-ровная поверхность с широколистной, стелющейся по земле травой. Судя по виду, почва была плодородной. Почему же на ней ничего не сеют?

Невдалеке от меня летали серые птицы с белыми хвостами, напоминающие коршунов. Белые пятна хвостов вносили некоторое разнообразие в этот пепельно-серый мир, но не делали его веселее. Казалось, будто в пасмурное небо бросили пачку ассигнаций.

Коршуны подлетели совсем близко и стали кружиться надо мной. Внезапно я сообразил, что они почуяли мертвого — моего друга... Вспомнив, что его нужно закопать, я заволновался и начал искать на земле хоть что-нибудь твердое, но не нашел даже палки. «Надо пошарить среди обломков корабля: железным осколком тоже можно вырыть яму!» — подумал я. Птицы кружили над самой моей головой, опускаясь все ниже и издавая протяжные, хищные крики. Я понял, что искать подходящий предмет некогда, подскочил к груде обломков и, словно безумный, начал отрывать какой-то кусок — не помню даже от чего. Одна из птиц села. В ответ на мой вопль ее жесткие крылья задрожали, белый хвост взметнулся вверх, а когти оторвались от земли. Однако на смену вспугнутой птице прилетели две или три другие — с радостным стрекотом сорок, нашедших вкусную еду. Их собратья закричали еще протяжнее, словно умоляя подождать, и вдруг разом сели. Я тщетно пытался отломить кусок от исковерканного корпуса; ладони стали липкими, по ним наверняка текла кровь, но я не чувствовал боли. Ринувшись на коршунов, я стал пинать их ногами, кричать, и все же один из них успел сесть на кучку мяса. С этого момента они перестали обращать внимание на мои пинки: только норовили клюнуть меня в ногу.

Я вспомнил, что в кармане у меня лежит пистолет, судорожно нащупал его... и вдруг — что за наваждение? Передо мной, в каких-нибудь семи-восьми шагах, стояли люди с кошачьими мордами!

2

«Выхватить пистолет или подождать?» — к такой альтернативе свелись многочисленные мысли, мелькавшие в моей голове. Чем больше я старался рассуждать хладнокровно, тем больше волновался, но в конце концов оставил пистолет в покое и молча усмехнулся: «Я прилетел на Марс по собственному желанию. Еще неизвестно, убьют ли меня эти кошки — может, они самые милосердные существа на свете. С какой стати мне хвататься за оружие!» Добрые мысли всегда прибавляют храбрости, и я совсем пе-

рестал волноваться. Время покажет, что из этого выйдет; во всяком случае, не надо нападать первому.

Увидев, что я не двигаюсь, пришельцы сделали два шага вперед: медленно, но решительно, как кошки, выследившие мышь.

Птицы тем временем разлетелись, каждая с куском в клюве!.. Я закрыл глаза. И в ту же секунду меня схватили за руки. Кто бы мог подумать, что эти люди с кошачьими мордами действуют так быстро и ловко! Я даже шагов не услышал.

Может, я совершил ошибку, не вынув пистолета? Нет, вряд ли; нужно поглядеть, что будет дальше. Но хотя я не сопротивлялся, странные существа сжимали мои руки все больнее и больнее. «Сомнительна их доброта!» — подумал я. Чувство морального превосходства говорило мне, что меряться с ними силами унизительно. К тому же на каждой руке было по четыре-пять лап: мягких, но крепких, охвативших мои руки, как эластичные кожаные ремни. Бороться бесполезно. Если я попытаюсь вырваться, они выпустят когти. Наверное, эти люди-кошки всегда хватают исподтишка, а затем причиняют жестокую боль — независимо от того, как ведет себя жертва. Теперь я в самом деле немного раскаивался, что не применил «политику силы» первым. Один только выстрел — и, ручаюсь, они бы все убежали. Но раскаянием делу не поможешь. Светлый мир, созданный моим воображением, обернулся глубоким, темным колодцем, в котором таилась смерть.

Я открыл глаза. Все они стояли за моей спиной, не желая, чтобы я их увидел, и чего-то выжидая. Такое коварство вызвало во мне еще большее отвращение. «Раз уж я попался к вам в лапы, убейте меня. К чему прятаться!»

— Ну зачем так?..— невольно начал я, но тут же остановился: ведь они, должно быть, не понимают нашего языка. Единственным следствием моих слов было то, что лапы мучителей сжались еще крепче. «Если б они и поняли меня, то вряд ли подобрели!» — подумал я и даже не повернул головы, предоставив им действовать как заблагорассудится. Я мечтал только о том, чтобы они связали меня веревками, потому что ни душа моя, ни тело не могли выдерживать этих мягких, крепких, жарких, отвратительных объятий.

В воздухе летало все больше коршунов, которые, распластав крылья и наклонив головы, выжидали удобный момент, чтобы ринуться вниз и снова полакомиться.

«Интересно, что задумали эти кошки, торчащие за моей спиной?» Самое противное, когда тебя медленно пилят тупым ножом. Я по-прежнему стоял и глядел на жестоких птиц, которые за несколько минут расправились с моим лучшим другом. За несколько минут? Но тогда их нельзя считать жестокими. Я почти зави-

довал покойному: «Ты легко умер, быстро похоронен. Ты во много раз счастливее меня, обреченного на медленную пытку!»

«Поскорей же!» — чуть было вновь не сорвались с моих губ ненужные слова. Я не знал характера и привычек этих людей с кошачьими мордами, но за прошедшие минуты на собственном опыте убедился, что они самые кровожадные существа во вселенной. А палачи не знают удержу: медленно мучить жертву для них особое наслаждение. Какой же толк говорить с ними? Я уже приготовился к тому, что мне будут загонять иголки под ногти или вливать в нос керосин — если на Марсе вообще существуют иголки и керосин.

Я заплакал — не из страха, а потому, что вспомнил о родине. Светлый, великий Китай, где нет ни жестокостей, ни пыток, ни коршунов, поедающих мертвых,— наверное, я уже никогда не вернусь на твою райскую землю и не смогу вкусить справедливой человеческой жизни! Даже если я выживу на Марсе, самое большое наслаждение здесь будет для меня страданием.

Тем временем существа с кошачьими мордами ухватили меня за ноги. Они по-прежнему не издавали ни звука, но я ощущал на своей спине их горячее дыхание. Мне было так противно, будто меня обвила змея.

Внезапно раздался отчетливый звон, который показался мне первым звуком после многих лет безмолвия. Я и сейчас иногда еще слышу его. Это защелкнулись кандалы на моих ногах, причем такие тесные, что я перестал чувствовать свои лодыжки.

Какое преступление я совершил? Что они собираются сделать со мной? Думать об этом было бесполезно. В кошачьем обществе человеческий разум вряд ли нужен, не говоря уже о чувствах.

Затем они надели на меня наручники, но вопреки моим ожиданиям лап не разжали. Чрезмерная осторожность (из нее всегда рождается жестокость), видимо, необходимое условие жизни во мраке, и надеяться на то, что кандалы избавят меня от горячих лап, было по меньшей мере наивно. Напротив, две потные лапы вцепились мне в шею. Это означало, что я не должен поворачивать голову — как будто мне хотелось смотреть на них!

Человек — как бы он ни был плох — всегда переоценивает себя и недооценивает других. До сих пор я все-таки недопонимал этих кошек. Кто знает, может быть, из той же чрезмерной осторожности над моей шеей уже занесены сверкающие ножи? «Пора бы уж, кажется, идти!» — подумал я. И в этот самый момент люди с кошачьими мордами, словно желая показать, что они тоже умеют торопиться, дали мне пинок под зад. Я чуть было не упал, но их лапы, словно мягкие крючки, удержали меня. За спиной послышалось фырканье, какое обычно издают встретившиеся коты,—

очевидно, это был смех моих мучителей. Конечно, они очень довольны тем, что могут издеваться надо мной!

Я надеялся, что быстроты ради люди-кошки понесут меня, но снова жестоко ошибся. Они чувствовали, что я не в состоянии двигаться, и именно по этой причине заставили меня идти самого.

Пот заливал мне глаза, но я не мог смахнуть его ни руками, скованными за спиной, ни даже простым движением головы, так как меня цепко держали за шею. С усилием выпрямившись, я шел — нет, не шел, не могу подобрать слово, способное выразить, что я делал: прыгал, полз, извивался, ковылял...

Пройдя несколько шагов, я услышал — к счастью, они еще не заткнули мне уши — яростное хлопанье крыльев: это коршуны разом, как на поле боя, ринулись в атаку, получив наконец возможность для полного наслаждения... Я не мог простить себе, что не начал копать могилу немного раньше — может быть, тогда удалось бы похоронить товарища. Почему я столько времени как истукан сидел на месте?! Бедный друг! Если я уцелею и когда-нибудь вернусь сюда, то, наверное, и костей твоих не найду. Никогда и ничто не заглушит моего стыда, и каждый раз, вспоминая эти печальные минуты, я буду чувствовать себя самым никчемным человеком на свете.

Все тело ныло, а мысли, точно в кошмарном сне, возвращались к погибшему другу. Закрыв глаза, я представлял себе коршунов, клюющих его останки, и мне чудилось, будто они клюют мое собственное сердце. Куда меня ведут? Открыть глаза имело бы смысл только в том случае, если бы я надеялся на побег и хотел запомнить дорогу, а просто глядеть по сторонам ни к чему. И вообще: иду я, прыгаю или качусь? Об этом знают только мои мучители. Я не ощущал своего тела, словно человек после тяжелого ранения, а чувствовал лишь, что истекаю потом. Моя жизнь уже не принадлежала мне, она была в чужих руках, вернее, лапах, но это вовсе не печалило меня.

Так я и двигался в сплошной темноте. Затем тьма рассеялась — это я открыл глаза. Голова трещала точно с похмелья. Через силу нагнувшись, я пощупал свои закованные ноги и только в этот момент осознал нечто новое: оказывается, я сижу в лодке. Как я попал в нее, когда? Наверное, я нахожусь тут давно, потому что мои затекшие ноги успели отойти и болели. Я попробовал повернуть голову: горячих лап на шее не было. Вокруг вообще никого нет. Надо мной серебристо-пепельное небо, внизу — маслянистая, темно-серая поверхность реки, которая беззвучно, но быстро мчится вперед, увлекая мою лодку.

3

Я не думал ни о каких опасностях, никакого страха в моей душе не было. Жара, голод, жажда и боль — ничто не могло побороть усталости: ведь я больше полумесяца летел в межпланетном корабле. Лечь на спину мне мешали наручники, поэтому, собрав последние силы, я улегся на бок и вверил свою жизнь стремительному маслянистому потоку. Может быть, мне по крайней мере приснится хороший сон?

Вновь я очнулся в углу не то колодца, не то маленькой хижины без окон и дверей. Пол ей заменял кусок травянистой лужайки, а крышу — клочок серебристо-пепельного неба. Мои руки были уже свободны, но на пояснице прибавилась толстая веревка, хотя я вовсе не нуждался в таком поясе. Другого конца веревки я не видел — наверное, он был привязан где-то за стеной. Не иначе как меня спустили сюда с неба. Пистолет по-прежнему лежал в кармане. Странно! Что они хотят со мной сделать? Требовать выкупа? Слишком хлопотно, потому что им придется тогда слетать на Землю. А может, они решили, что поймали чудовище, выдрессируют и выставят в зоопарке или отправят в ветеринарную клинику, чтобы меня там препарировали? Во всяком случае, это было бы не лишено целесообразности. Я усмехнулся: кажется, я начинаю сходить с ума.

Во рту пересохло. Почему они не отобрали у меня пистолет? Этот странный и успокаивающий факт не утолил, однако, моей жажды. Я стал озираться и вдруг обнаружил в углу каменный кувшин. Что там внутри? Ноги все еще скованы, придется прыгать. Превозмогая боль, я попробовал подняться, но ноги по-прежнему не слушались.

«Колодец» был неширок, и стоило лечь на землю, как до кувшина осталось бы несколько сантиметров. Но веревка на поясе удерживала от бесполезных стараний. Если бы я попытался лечь на живот, вытянул руки и дернулся, она поставила бы меня на ноги.

Пересохшее горло подсказало мне новый гениальный план. Надо лечь навзничь и двигаться ногами вперед, словно жук, который упал на спину и не может перевернуться. Несмотря на то что веревка была завязана очень туго, я все-таки подтянул ее выше, на грудь, чтобы как-нибудь достать ногами до кувшина. Лучше боль, чем жажда! Веревка глубоко, до крови, врéзалась в тело, но я полз, не обращая на это внимания, и наконец коснулся своей драгоценности.

К несчастью, кандалы не позволяли раздвинуть ноги, чтобы обхватить ими кувшин. Безнадежно!

Оставалось только лежать и смотреть в небо. Я машинально нащупал пистолет, вынул его и залюбовался изящной вещицей. Потом приставил его блестящее дуло к виску: стоит шевельнуть пальцем — и я уже никогда не буду страдать от жажды. Но тут меня осенила новая мысль. Я быстро сел, повернулся и, прицелившись в веревку, дважды выстрелил. Веревка обуглилась. Лихорадочно работая руками и зубами, я наконец оборвал ее, в безумной радости, забыв про кандалы, вскочил на ноги, но тут же упал. Подполз к кувшину, приподнялся, заглянул внутрь. Там что-то блеснуло! Может быть, вода, а может быть... Сомневаться некогда. Кувшин был очень тяжелым, я еле наклонил его, но первый же прохладный глоток показался мне вкуснее волшебного нектара. Усилия всегда вознаграждаются: я наконец понял эту простейшую истину.

Воды было совсем немного, и я не оставил ни капли.

Мне стало легче. Обняв своего спасителя — кувшин, я размечтался о том, что обязательно захвачу его с собой, когда полечу обратно на Землю. Но тут же помрачнел: увы, надежды мало... Не знаю, сколько времени я сидел не шевелясь, глядя в горлышко кувшина.

Надо мной с отрывистыми криками пролетела стая птиц. Я очнулся, поднял голову и увидел розовую полоску зари. Серое небо сделалось как будто выше и яснее, стены тоже украсились розовой каймой. «Скоро стемнеет,— подумал я.— Что же делать?»

Все планы, которые сгодились бы на Земле, здесь не подходили, так как я совершенно не знал своего противника. Перед Робинзоном и то не стояли подобные трудности, он был свободен действовать и решать по своему усмотрению, а мне предстояло вырваться из лап людей с кошачьими мордами, о которых земляне не имели ни малейшего понятия.

Что же все-таки делать?

Прежде всего хорошо бы снять кандалы. До этого я не рассматривал их, думал, что они железные, но теперь обнаружил, что, судя по цвету, они, скорее всего, свинцовые. Вот почему мучители не отобрали у меня пистолета: на Марсе, наверное, нет железа, и из чрезмерной осторожности эти кошки не решились дотронуться до незнакомого вещества. Я пощупал кандалы рукой — твердые. Попробовал сломать — не поддаются. Из чего же они сделаны? К острому желанию спастись добавилось любопытство. Я постучал по кандалам дулом пистолета, они зазвенели, но не как железо. Может, это серебро или свинец? Все, что мягче железа, я перепилю — стоит только разбить кувшин и выбрать поострее осколок (я уже забыл о своем намерении привезти каменный кувшин на Землю). Но грохнуть кувшин о стену я не решался, боясь при-

влечь людей-кошек. Нет, они не придут: ведь я только что стрелял из пистолета, и никто на это не отреагировал. Осмелев, я отбил от кувшина кусок и принялся за работу.

Конечно, даже железную балку можно упорным трудом сточить в иглу для вышивания, но надеяться, что камень быстро распилит металлические кандалы, было уж слишком оптимистично. Опыт по большей части — дитя ошибки, и мне оставалось только радостно заблуждаться, потому что опыт, привезенный с Земли, не имел здесь почти никакой ценности. Я пилил очень долго, но на кандалах не появилось даже царапины, как будто я пытался камнем разрезать алмаз.

Я потрогал свои лохмотья, туфли, даже волосы, надеясь обнаружить хоть что-нибудь способное мне помочь — кажется, я уже теряю рассудок! И тут я вдруг нащупал в кармане брюк спичечный коробок в металлическом футляре. Я не курю и обычно не ношу с собой спичек, как же они попали ко мне? А, вспомнил! Этот коробок мне сунул в карман, за неимением другого подарка, один знакомый перед отлетом. «Надеюсь, что спички не перегрузят межпланетный корабль!» — пошутил он тогда. Теперь мне казалось, будто все это было много лет назад: двухнедельный полет, конечно, не способствовал улучшению памяти.

Я вертел в руках коробок и думал. Когда нет никаких надежд, остаются приятные воспоминания. В жизни богатый выбор возможностей.

Стемнело. Изрядно проголодавшись, я чиркнул спичкой, чтобы посмотреть, не найдется ли тут чего-нибудь съестного. Спичка погасла, я зажег вторую. Машинально, дурачества ради, поднес ее к своим кандалам... и вдруг — пшш! — от них осталась лишь горстка белого пепла, а все вокруг наполнилось таким зловонием, что меня чуть не стошнило.

Оказывается, эти кошки знакомы с химией. Вот уж не ожидал!

4

Когда ты бессилен перед судьбой, в исчезновении кандалов мало проку. Но теперь я хоть не должен стеречь этот кошачий колодец. Спрятав пистолет и спички, я ухватился за висящий конец веревки и полез наверх. Кругом царила серая мгла, какая бывает скорее в парильне, чем на открытом воздухе. Перевалившись через стену, я спрыгнул на землю. Куда же идти? Ни домов, ни огонька, ни звука. Вдалеке (а может быть, невдалеке — я не мог определить расстояние) темнело что-то вроде леса. Не пойти ли туда? Но кто знает, какие звери меня там ожидают?!

Я посмотрел на звезды: сквозь серое, чуть розоватое небо виднелось лишь несколько самых крупных звезд.

Меня снова начали мучить жажда и голод. К ночной охоте я мало приспособлен, даже если решиться пойти навстречу неведомым зверям и птицам. Хорошо еще, что не холодно; наверное, здесь можно и днем и ночью обходиться без одежды. Я сел, прислонившись к стене своей бывшей тюрьмы, и опять воззрился на звезды, стараясь ни о чем не думать, потому что самые безобидные мысли могли вызвать у меня слезы—одиночество еще невыносимее боли.

Постепенно глаза стали слипаться, но заснуть было слишком опасно. Поклевав некоторое время носом, я вдруг вздрогнул и широко открыл глаза: мне показалось, будто впереди мелькнула тень. «Наверное, это галлюцинация!» — подумал было я и закрыл глаза. Но едва я снова открыл их, как впереди опять мелькнула тень. У меня волосы встали дыбом: ловить на Марсе призраков не входило в мои намерения. Я твердо решил бодрствовать.

Долгое время ничто не появлялось. Тогда я нарочно сощурился, оставив между ресницами крохотную щелку. Тень тотчас появилась!

Теперь я уже не боялся ее. Совершенно ясно, что это не приврак, а существо с кошачьей мордой. Оказывается, у него такое острое зрение, что он даже издалека видит, закрыты ли у меня глаза. Я радостно сдержал дыхание и стал ждать. Если он подойдет ко мне, то я с ним расправлюсь! Неизвестно почему, но я считал себя сильнее человека-кошки. Может быть, потому, что у меня пистолет? Смешно!

Время здесь не имело никакой цены. Мне показалось, что прошло несколько веков, прежде чем незнакомец приблизился. На каждый шаг он тратил по четверти часа, а может быть, по целому часу; в каждом шаге сказывалась осторожность, накопленная поколениями. Ступит сначала правой, затем левой ногой, согнется, тихо выпрямится, повернет голову, подастся назад, неслышно, как снежинка, ляжет на землю, поползет, снова выгнет спину... Наверное, так котенок ночью учится ловить мышей. Очень интересно!

Если бы я шевельнулся или открыл глаза, он, без сомнения, тотчас отпрыгнул бы в сторону. Но я не двигался, внимательно следя за ним сквозь щелку, оставленную между ресницами.

Я чувствовал, что он вовсе не желает мне зла, а, наоборот, боится меня. В лапах у него ничего не было, к тому же он пришел один. Как мне намекнуть ему, что я совсем не собираюсь нападать? Пожалуй, лучший способ — не двигаться, тогда он по крайней мере не убежит.

Человек-кошка приблизился ко мне вплотную, я уже чувствовал его горячее дыхание. Отклонившись в сторону, словно спринтер, готовый принять эстафетную палочку, он дважды махнул лапой перед моим лицом. Я еле заметно кивнул головой. Он быстро убрал лапу, но остался на месте. Я снова кивнул, затем медленно поднял руки и показал ему пустые ладони. Он как будто понял этот язык жестов, тоже кивнул головой и выпрямился. Я поманил его пальцем. Он снова кивнул, давая понять, что бежать не собирается. Так продолжалось примерно с полчаса, после чего я наконец привстал.

Если трату времени можно считать работой, то люди-кошки — самые трудолюбивые существа на свете. Битый час мы обменивались жестами, кивали головами, причмокивали губами, шевелили носами — словом, действовали буквально каждым мускулом тела, подтверждая, что не хотим причинить друг другу вреда.

Разумеется, мы могли провести за этим занятием еще час, а то и неделю, если бы вдалеке не появилась новая тень. Мой приятель первым заметил ее, отпрыгнул в сторону и призывно махнул мне лапой. Я побежал за ним. От голода и жажды у меня рябило в глазах, но я чуял, что если нас настигнут, то мне и моему спутнику несдобровать. Я ни за что не хотел терять нового знакомца: он будет прекрасным помощником в моих скитаниях на Марсе.

Люди-кошки наверняка гнались за нами, потому что мой проводник прибавил шагу. Пробежав еще немного, я почувствовал, что больше не могу, сердце мое готово выпрыгнуть. Вдруг сзади раздался пронзительный вой. Видимо, люди-кошки рассвирепели, если решились обнаружить свое присутствие! Но я испытывал только одно желание: лечь на землю. Еще шаг — и у меня горлом пойдет кровь.

Собрав последние силы, я выхватил пистолет и наугад выстрелил. Я даже не слышал звука выстрела, потому что тотчас упал без сознания.

Очнулся я в какой-то комнате. Серое небо, красный свет... Земля... Межпланетный корабль... Лужа крови, веревка... Я снова закрыл глаза.

Только через много дней я узнал, что мой новый приятель сам втащил меня к себе домой. Если бы он не рассказал мне об этом, я бы не смог представить себе, как я туда попал. Почва на Марсе такая мягкая и нежная, что при падении я даже не наставил себе синяков. А наши преследователи, напуганные моим выстрелом, наверное, бежали три дня без оглядки. Маленький пистолет с какими-нибудь двенадцатью патронами прославил меня на весь Марс.

5

Я спал без просыпу и, наверное, заснул бы навек, если бы не мухи. Впрочем, прошу прощения: я не знаю, что это за насекомые. Они больше похожи на маленьких зеленых бабочек, этакие прелестные мотыльки, но еще несноснее, чем наши мухи. Их на Марсе ужасно много: тряхнешь рукой — и с нее сразу слетает целая стайка живых зеленых лепестков.

Тело затекло, потому что я всю ночь проспал на земле: люди-кошки, наверное, не знают кроватей. Одной рукой отгоняя мух, а другой почесываясь, я оглядел свое убежище. Собственно, смотреть было не на что. Кроватью служил пол — значит, важнейший элемент спальни уже отпадал. Я надеялся найти таз для умывания, так как за полдня и ночь успел насквозь пропитаться потом. Безуспешно. Раз не оказалось никаких вещей, пришлось смотреть на стены. Они были сделаны из глины, без каких бы то ни было украшений. Хижина представляла собой клочок вонючего воздуха, окруженный стенами. В одной из них было отверстие приблизительно в метр высотой, которое служило дверью, а при большой необходимости и окном.

Счастье еще, что мой пистолет никуда не делся. Хорошенько спрятав его, я вылез через отверстие и тут понял, что окна были бы бесполезны. Хижина находилась в лесу — наверное, том самом, который я видел вчера вечером. Листья на деревьях росли так густо, что через них не пробился бы даже самый яркий свет, а здесь солнечные лучи к тому же рассеивались в сером, неподвижном воздухе.

Я оглянулся по сторонам, разыскивая какой-нибудь ручей или канаву, но вокруг были только листья, сырость и вонь.

Впрочем, нет! Под одним из деревьев сидел человек-кошка. Он, конечно, давно видел меня, но, поймав мой взгляд, бросился на дерево и исчез в листве. Это меня обозлило. Разве так принимают гостей: ни еды, ни питья, только одна вонючая комната?! Я мог считать себя его гостем, потому что он сам меня сюда привел. Решив не церемониться, я полез за хозяином на дерево и, ухватившись за большую ветку, на которой он спрятался, стал ее раскачивать. Человек-кошка издал какой-то звук, я его не понял, но перестал трясти ветку. Бежать ему было некуда, и он с прижатыми, как у побитого кота, ушами начал медленно спускаться.

Я ткнул пальцем себе в рот, вытянул шею и несколько раз шевельнул губами, объясняя, что хочу есть и пить. В ответ он показал на дерево. «Может, он советует мне поесть плодов?» — подумал я, мудро предположив, что люди-кошки не едят риса. Но плодов на ветках не было. Между тем человек-кошка снова полез на де-

рево, осторожно сорвал несколько листьев, взял их в зубы и так же осторожно спустился на землю, показывая то на меня, то на листья.

Когда он увидел, что эта скотская пища меня ничуть не привлекает, его лицо исказилось — вероятно, от ярости. Почему он злился, я, конечно, понять не мог, а он, наверное, не мог понять, чем недоволен я. Думаю, что, если бы эта молчаливая полемика продолжалась, ничего хорошего бы не вышло.

Я решил подчиниться, но поманил его пальцем, чтобы он сам дал мне листья. Он снова, казалось, ничего не понял. Мой гнев сменился сомнением: может быть, передо мной женщина, а на Марсе мужчины и женщины тоже стараются общаться, не приближаясь друг к другу [1]? Или, страшно вымолвить, это правило здесь распространяется на общение между всеми людьми? (Через несколько дней выяснилось, что моя догадка была верна.) Ладно, не стоит ссориться с тем, кого не понимаешь. Я подобрал листья и обтер их рукой — невольно, по привычке, потому что руки у меня были грязные и кровоточили. Потом откусил кусочек листа и поразился его приятному запаху и сочности. Изо рта у меня закапал сок, и человек-кошка дернулся, словно желая подхватить капли. «Видно, эти листья очень дороги! — подумал я.— Но почему он так трясется над одним листом, когда вокруг целый лес? Впрочем, здесь все странно!»

Съев один за другим два листа, я ощутил головокружение. Душистый сок словно растекся по всему телу, наполняя его приятной истомой. Захотелось спать, и все-таки я не заснул, потому что в этом озере дурмана таилась капля возбуждающего, как при легком опьянении. У меня в руке был еще один лист, но я не мог поднять руку. Смеясь над своей беспомощностью (не знаю, отразился ли этот смех на моем лице), я прислонился к дереву, закрыл глаза и покачал головой. Вмиг опьянение прошло, теперь все мое тело, каждая его клеточка смеялись. Голода и жажды как не бывало, мыться больше не хотелось: грязь, пот и кровь уже ничуть меня не тяготили.

Лес вроде бы посветлел, серый воздух стал не холодным и не душным, а как раз подходящим; зеленые деревья приобрели какую-то мягкую поэтическую прелесть. Промозглая вонь сменилась крепким сладковатым ароматом, будто от спелой дыни. Нет, это все-таки была не нега, а восхитительное опьянение. Два листа на-

---

[1] Иронический намек на строгие правила традиционной китайской морали, в частности на фразу древнего философа Мэнцзы (III в. до н. э.): «Если мужчины и женщины общаются, не приближаясь друг к другу, это соответствует церемониям».

поили меня таинственной силой, и в сером воздухе Марса я почувствовал себя точно рыба в воде.

Я присел на корточки. Раньше я никогда не любил так сидеть, но теперь мне казалось, что это самая вольготная поза на свете. Потом стал внимательно разглядывать своего кормильца. Моя неприязнь к нему ослабела, он стал мне почти симпатичен.

Человек-кошка оказался не просто большой кошкой, которая ходит на задних лапах и одевается. Нет, одежды у него как раз не было. Я засмеялся и тоже снял с себя рубаху и туфли: если не холодно, зачем таскать на себе всякую рвань? Но брюки я оставил — не из стыдливости и не ради пистолета (его я мог носить прямо на ремне), а потому, что без карманов мог потерять спички. Ведь не исключена возможность, что люди-кошки снова наденут на меня кандалы.

Итак, он был голым, и я ясно видел длинное, тонкое туловище и короткие конечности с короткими пальцами (неудивительно, что люди-кошки быстро бегают, но медлённо работают; я вспомнил, как долго они связывали меня). Шея нормальная, но очень подвижная, голова может поворачиваться чуть ли не на сто восемьдесят градусов. Лицо большое, глаза абсолютно круглые, очень низко посаженные, над ними широкий лоб, поросший такой же короткой шерстью, что и макушка. Нос и рот слиты вместе, но не так красиво, как у кошки, а грубо, как у свиньи. Уши маленькие и торчат очень высоко. Туловище округлое (на таком, наверное, удобно сидеть верхом), покрыто тонкой и блестящей шерстью серого цвета, который издали отливает зеленым, словно птичье оперение. На животе восемь черных точек — сосков. Каково внутреннее строение людей-кошек, я не знаю до сих пор.

Движения моего нового знакомого казались замедленными, но на самом деле были очень проворны, так что я ни разу не смог заранее угадать его намерения. Единственное, что я наверняка определил в нем,— крайняя подозрительность. Его руки и ноги не бездействовали ни минуты, причем ногами он двигал так же проворно, как и руками. Осязанием он, наверное, пользовался чаще, чем всеми остальными чувствами: здесь пощупает, там потрет или просто прикоснется. Словом, он был похож на суетящегося муравья.

Зачем он привел меня сюда, да еще накормил листьями? Мне очень хотелось расспросить его — но каким образом? Ведь языка-то я не знаю.

6

Месяца через три я уже говорил по-кошачьи. Малайский язык можно изучить за полгода, а кошачий еще быстрее. В нем всего четыреста-пятьсот слов, и, переворачивая их так или этак, можно сказать что угодно. Конечно, многие понятия и мысли выразить им невозможно, но люди-кошки придумали на этот случай прекрасный способ — вовсе не говорить. Прилагательных и наречий очень мало, с существительными тоже небогато. Все, что связано с растительным миром, называется так: большое дурманное дерево, маленькое дурманное дерево, круглое дурманное дерево, острое дурманное дерево, заморское дурманное дерево, большое заморское дурманное дерево... хотя в действительности это совершенно различные растения. Местоимения не слишком распространены, ибо существительные предпочитают ничем не заменять. Словом, язык очень детский. Запомнишь несколько существительных и разговаривай, а глаголы можешь выражать жестами. Есть у них и письменность — великое множество значков, похожих на маленькие башенки или пагоды, но их очень трудно изучить. Рядовые люди-кошки знают от силы два десятка таких значков.

Большой Скорпион (так звали моего нового друга) помнил очень много башенок и даже умел слагать стихи. Поставишь в ряд несколько красивых слов, без всякой мысли,— и получается кошачье стихотворение: драгоценный лист, драгоценный цветок, драгоценная гора, драгоценная кошка, драгоценный живот... Так звучало стихотворение Большого Скорпиона «Чувства, возникшие при чтении истории». У людей-кошек была не только своя история, но и цивилизация, которая насчитывала больше двадцати тысячелетий.

Научившись разговаривать, я понял все. Большой Скорпион был важной персоной в Кошачьем государстве: крупным помещиком, а по совместительству политическим деятелем, поэтом и военным руководителем. Крупным помещиком он считался потому, что владел целой рощей дурманных деревьев. Дурманные листья являются самой изысканной пищей людей-кошек, а это в свою очередь тесно связано с историей дурманных листьев. Вытащив для доказательства несколько исторических скрижалей (книгами у людей-кошек служат каменные плиты длиной больше полуметра и толщиной сантиметра в два, на каждой из которых вырезано десятка полтора очень сложных знаков), он сказал, что пятьсот лет назад в Кошачьем государстве кормились земледелием. Дурманные листья завез сюда какой-то иностранец. Сначала их могли есть только высокопоставленные лица, а потом листьев стали ввозить больше, и к ним пристрастились все. Не прошло и пятидеся-

ти лет, как граждане, не употреблявшие дурманных листьев, стали исключением. Это очень приятная и выгодная пища, после нее разыгрывается воображение. Но руки и ноги перестают двигаться, поэтому землепашцы вскоре забросили свою землю, а ремесленники — свои ремесла. Видя, что все предаются безделью, правительство издало указ, запрещающий есть дурманные листья. Однако в тот же день императрица с тоски дала императору три пощечины (Большой Скорпион продемонстрировал мне очередную историческую скрижаль), и император заплакал горючими слезами. Посему к вечеру этого дня вышел новый указ: считать дурманные листья «государственной пищей». Большой Скорпион сказал, что во всей кошачьей истории не было более славного и милосердного деяния.

После возведения дурманных листьев в ранг государственной пищи кошачья цивилизация стала развиваться во много раз быстрее, чем прежде; дурманные листья отбили охоту к физическому труду, что позволило сконцентрировать энергию на духовной деятельности. Особенно прогрессировали поэзия и искусство: за последние четыреста лет кошачьи поэты ввели в литературный язык новые словосочетания, которые не употреблялись за всю предшествующую двадцатитысячелетнюю историю,— например, «драгоценный живот».

Но это не значит, разумеется, что в обществе не возникало известных разногласий. Триста лет назад дурманные листья выращивались повсюду, но, чем больше люди ели их, тем ленивее становились. В конце концов некому даже стало сажать дурманные деревья. И тут вдруг случилось грандиозное наводнение (Большой Скорпион немного побледнел, когда говорил мне об этом,— оказывается, люди-кошки больше всего на свете боятся воды), которое унесло множество дурманных деревьев. Без чего-нибудь другого жители еще могли обойтись, но без дурманных листьев они не могли предаваться лени, поэтому всюду начался разбой. Судебных дел стало так много, что правительство издало еще один в высшей степени гуманный указ: не считать кражу дурманных листьев преступлением. Последние триста лет были периодом разбоя, но это совсем не плохо, так как разбой свидетельствует о свободе личности, а свобода всегда была высшим идеалом людей-кошек. (Примечание: слово «свобода» в кошачьем языке не совпадает по значению с аналогичным китайским словом. Люди-кошки называют свободой эгоизм, насилие, произвол... Поэтому разобщенными оказываются не только мужчины и женщины, но и все люди. Свободный человек не позволяет окружающим прикасаться к нему. Встретившись, люди-кошки выражают почтение друг другу не рукопожатием или поцелуем, а презрительным фырканьем.)

— Тогда почему же вы продолжаете сажать деревья? — спросил я. На правильном кошачьем языке эту фразу следовало произнести так: повернуть голову налево (означает «тогда»), ткнуть пальцем в собеседника («вы»), дважды сверкнуть белками глаз («почему») и дважды повторить слово «дерево» (в первом случае оно выступает в роли глагола). Слово «продолжаете» опускается за ненадобностью.

Большой Скорпион закрыл рот. Рот у людей-кошек постоянно открыт, и, когда его на время закрывают, это означает удовлетворение или глубокое раздумье. Он ответил, что сейчас дурманные деревья сажает лишь несколько десятков человек, исключительно сильные мира сего: политические деятели, военные чины и поэты, которые одновременно являются помещиками. Они не могут не сажать дурманных деревьев, так как иначе потеряют всю свою власть. Для политических деятелей дурманные листья — единственный способ увидеть императора, военные используют их как армейский провиант, а поэтам они дают возможность грезить среди бела дня. В общем, дурманные листья всемогущи, благодаря им можно всю жизнь бесчинствовать. Слово «бесчинствовать» в устах высокопоставленных людей-кошек самое изысканное выражение.

Охрана дурманных рощ — основная функция Большого Скорпиона и других помещиков. На свою армию они не могут положиться, потому что кошачьи солдаты, как приверженцы истинной свободы, могут только поедать дурманные листья и не понимают, что значит повиноваться приказу. Солдаты часто грабят собственных хозяев — с точки зрения людей-кошек, это вполне логично, во всяком случае, Большой Скорпион думал именно так. Кто же охраняет дурманные рощи? Иностранцы. Каждый помещик вынужден содержать несколько иностранных наемников. Страх перед иностранцами — одна из исконных особенностей кошачьей натуры. Любовь к свободе не позволяет кошачьим солдатам прожить хотя бы три дня без убийства, но война с иностранцами для них вещь совершенно невозможная. Большой Скорпион прибавил с удовлетворением, что «способность к взаимной резне день ото дня возрастает и методы убийства стали почти такими же утонченными, как законы стихосложения».

— Убийство стало своего рода искусством! — поддакнул я. В кошачьем языке не было слова «искусство», из моих долгих объяснений он ничего не понял, однако все-таки запомнил китайское слово.

В древности люди-кошки воевали с иностранцами, а иногда даже побеждали, но за последние пятьсот лет в результате взаимной резни совершенно забыли об этом, обратили все усилия на

внутренние раздоры и потому стали очень бояться иностранцев. Без иностранной поддержки их император не получил бы к своему столу ни одного дурманного листа.

* * *

Три года назад в Кошачье государство уже прилетал один воздушный корабль. Откуда — жители не знали, но запомнили, что на свете существуют большие птицы без перьев.

Когда прилетел наш корабль, люди-кошки поняли, что прибыли иностранцы, но были уверены, что я тоже марсианин: они не могли представить себе, что их планета не единственная под солнцем.

Большой Скорпион с другими помещиками тотчас побежал к месту, где опустился корабль, чтобы добыть иностранцев для охраны дурманных рощ. Многие иностранные охранники почему-то вернулись к себе на родину, и нужно было срочно вербовать новых.

Помещики условились передавать меня друг другу по очереди, так как в последнее время нанять иностранца было очень нелегко. Увидев, что физиономия у меня отнюдь не кошачья, они страшно перепугались, но затем распознали мою наивность и решили не приглашать меня на службу, а просто схватить. Как истые граждане Кошачьего государства, они были очень хитры и при необходимости способны на риск. Сейчас я понимаю, что, если бы я первым применил силу, они бы тотчас разбежались, но ни в коем случае не оставили своих попыток. К тому же я не сумел бы найти никакой пищи. В общем я доволен, что тогда не выстрелил. Но с другой стороны, схватив меня, они утратили ко мне уважение, хотя продолжали трусить. Большой Скорпион и другие помещики сразу поняли, какую выгоду можно извлечь из моей наивности: не нужно договариваться со мной ни о каких условиях, достаточно давать немного еды. Вслед за этим изменилось и соотношение сил союзников: из общественной собственности я превратился в частную. Большой Скорпион был необычайно горд своим успехом, так как предательство входит в их понимание свободы.

Они посадили меня закованным в лодку, а сами, боясь воды, побежали к хижине по тропинке. Если бы на полпути лодка перевернулась, виною было бы, разумеется, лишь мое собственное невезение. Лодка должна была сама уткнуться в отмель, недалеко от которой стояла хижина.

Водворив меня в хижину, они разошлись по домам есть дурманные листья. Носить подобную драгоценность с собой чрезвы-

чайно опасно, поэтому люди-кошки предпочитают есть их дома. Предпринятое путешествие и так уже было величайшей жертвой со стороны помещиков.

Роща Большого Скорпиона находилась ближе других от моей импровизированной тюрьмы, но он вернулся ко мне не сразу. После дурманных листьев необходимо немного поспать. Большой Скорпион думал, что его соперники придут не скоро, их появление было для него полной неожиданностью. «Хорошо, что это искусство помогло!» — произнес он, восхищенно указывая на мой пистолет. Теперь он всякий непонятный предмет называл «искусством».

Я спросил, из чего были сделаны кандалы. Он пожал плечами и сказал, что их привезли из-за границы.

— За границей есть много полезных вещей, но подражание нам не к лицу: ведь наше государство самое древнее! — Большой Скорпион на секунду удовлетворенно закрыл рот.— Впрочем, когда отправляешься в путь, наручниками и кандалами запастись не мешает!

Я не понял, подсмеивается он надо мной или говорит серьезно. Сейчас меня интересовало, где он провел эту ночь, потому что в лесу не было заметно других хижин. Видимо, не желая отвечать на вопрос, он попросил у меня какое-нибудь «искусство», чтобы показать императору. Я дал ему спичку, подумав, что в свободном обществе каждый должен иметь какую-нибудь тайну, и спросил только, есть ли у него семья. Он кивнул головой.

— Вот соберем дурманные листья и поедем ко мне домой.

— А где твой дом?

— В столице. Там живет император и много иностранцев. Ты сможешь увидеть своих друзей.

— Я прилетел с Земли и никого на Марсе не знаю!

— Все равно ты иностранец, а они всегда между собой дружат.

Продолжать объяснения было бесполезно. Лучше дождаться, когда будет закончен сбор дурманных листьев, и поскорее отправиться в путь, чтобы собственными глазами взглянуть на Кошачий город.

7

Я считал, что никогда не смогу подружиться с Большим Скорпионом. Так считал я, а он, вероятно, искренне желал дружбы, но его искренность, как у всех людей-кошек, была весьма ограниченна. Он дружил только с теми, кого собирался использовать в своих интересах. В течение трех или четырех месяцев меня ни

на минуту не оставляло желание разыскать хоть какие-то останки моего погибшего друга, но Большой Скорпион всячески мне препятствовал. С присущим ему эгоизмом он воображал, будто охрана его дурманных деревьев — единственная цель, ради которой я прилетел на Марс. О дружеском долге люди-кошки вообще, наверное, не имели понятия. Большой Скорпион все время твердил мне: «Ведь твой приятель умер, зачем же смотреть на него?» Он скрывал от меня, в какой стороне упал корабль, и все время следил за мной. Я потихоньку искал дорогу, думая, что стоит пойти по берегу реки, как я найду обломки корабля, но каждый раз, когда я выходил из дурманной рощи, невесть откуда появлялся Большой Скорпион. Он никогда не пробовал принудить меня вернуться, а умел растрогать своими жалобами и причитаниями, будто слезливая вдова. Я понимал, что в душе он смеется надо мной, считает меня дураком, но ничего не мог с собой поделать. Я был почти готов уважать его. Конечно, я не полностью верил его жалобам и хотел убедиться во всем сам, однако он предусмотрел и это. В дурманной роще, кроме меня, жили еще какие-то существа, но едва я замечал их вдали и направлялся к ним, как они тут же исчезали — наверняка по приказу Большого Скорпиона.

Дурманные листья я решил больше не есть. Большой Скорпион отговаривал меня с исключительной мягкостью и искренностью!

— Их нельзя не есть. Без них горло пересохнет, а вода далеко. Нужно мыться, купаться — сколько хлопот! Мы уж на себе испытали: их невозможно не есть. Другая пища очень дорога, но дело не в цене. Главное, что она невкусная, а иногда даже ядовитая. Если не есть дурманных листьев, можно умереть!..

Тут он начал размазывать по лицу слезы, но я знал, что это его обычный трюк, и решил не поддаваться ни за что. Если я буду есть дурманные листья, то стану таким же, как люди-кошки, а этого Большой Скорпион и хочет! Хватит, я и без того слишком покладист. Я должен снова вернуться к нормальной жизни: есть, пить и мыться, как люди,— а не превращаться в недочеловека. Лучше уж прожить две недели, но разумно и полноценно, чем двадцать тысяч лет прозябать в дурмане. Все это я высказал Большому Скорпиону, он, конечно, ничего не понял и наверняка счел меня безмозглым идиотом. Но что бы там ни было, а я принял решение.

После трехдневных препирательств мне пришлось взяться за пистолет. Правда, я еще не забыл о чести и справедливости, положил пистолет на землю и сказал Большому Скорпиону:

— Если ты намерен заставлять меня есть дурманные листья, я тебя убью. Решай!

Большой Скорпион отскочил в сторону, даже не попытавшись

схватить лежащий пистолет. Огнестрельное оружие в его лапах было бы не опаснее соломинки. Ему был нужен не пистолет, а я.

Наконец он предложил компромисс: каждое утро я должен съедать по одному дурманному листу.

— Один листочек, всего одну крохотную драгоценность, чтобы не отравиться воздухом!

Я убрал пистолет, и мы сели друг против друга. Он обещал давать мне еду, но считал, что с питьем будет трудно. Придется носить воду кувшином с реки. «Зачем каждый день так далеко бегать да еще таскать кувшин? Это неумно. Не лучше ли без всяких забот есть дурманные листья? Что за чудак, не понимает своего счастья!» — наверняка думал Большой Скорпион, однако вслух этого сказать не посмел, а лишь заявил, что должен ходить вместе со мной. Конечно, он боялся, как бы я не убежал. Но ведь я могу убежать и при нем, если захочу. Услышав это, он закрыл рот на целых десять минут, так что я даже испугался, как бы он не умер от страха.

— Тебе незачем ходить со мной, клянусь, что я не убегу! — утешил я его.

Он тихо покачал головой:

— Клятвы — это детская забава!

Рассерженный такой беспардонностью, я схватил Большого Скорпиона за шкирку, в первый раз применив силу. Он не ожидал этого: ведь он просто сказал, что думал. Пожертвовав несколькими волосками, а может быть, и клочком шкуры, он вырвался, отбежал на почтительное расстояние и объяснил мне, что прежде среди людей-кошек были распространены клятвы, однако за последние пятьсот лет их давали так часто, что теперь произносят только в шутку. Эта реформа является очевидным прогрессом. Доверие вещь неплохая, но с практической точки зрения не очень удобная. Дети любят давать клятвы именно потому, что их совсем не обязательно выполнять. Все это Большой Скорпион говорил печально, потирая общипанное место.

— Веришь ты мне или нет, а в мои дела не вмешивайся! — твердо сказал я.— Я обещаю не убегать и выполню свое обещание. Когда мне захочется уйти, я сам скажу тебе.

— Так ты не хочешь, чтобы мы ходили вместе? — с сомнением спросил Большой Скорпион.

Я не выдержал и махнул рукой:

— Ладно, ходи!

Ужин оказался довольно вкусным. Люди-кошки готовят отлично, жаль только, что в их кушанья попадает слишком много мух. Я сплел из травы крышку и велел повару накрывать ею еду. Ко-

шачий повар нашел это странным, даже смешным, но, получив приказ Большого Скорпиона, не посмел со мной спорить.

Нечистоплотность люди-кошки возвели в одну из самых славных своих традиций, и я чувствовал некоторую неловкость из-за того, что каждый раз, когда крышки не было, приходилось жаловаться Большому Скорпиону, то есть оказывать давление. Но вскоре выяснилось, что я недостаточно его оказывал. В один прекрасный день мне вовсе не принесли еды, а на следующий день подали тарелку, покрытую вместо крышки толстым слоем мух. Я сообразил, что Большой Скорпион и его слуга стали презирать меня за слабость: они ждали рукоприкладства, которое является привилегией высокопоставленных людей-кошек. Что же делать? Пускать в ход руки мне не хотелось: я считал себя гуманистом. Но без этого нельзя было рассчитывать не только на еду, но и на безопасность. Ничего не поделаешь, пришлось и у повара выдрать клочок (говорю честно — самый маленький клочок) его шкуры. С тех пор крышка уже не лежала без дела. Я готов был плакать от досады: что творили веками с этими людьми, если они настолько потеряли представление о человеческом достоинстве?

Моим главным удовольствием на Марсе было утреннее купание. Я вставал до рассвета и выходил на речную отмель неподалеку от дурманной рощи. Короткая прогулка освежала меня; я становился по щиколотку в воде и ждал восхода. Утренний пейзаж был удивительно спокоен и красив. На небе, еще не подернутом туманом, виднелись крупные звезды, кругом ни звука — только тихое журчание воды по песку. Солнце поднималось, и я входил в реку. Здесь было мелко, нужно было сделать по отмели шагов двести, чтобы вода дошла до груди. Я с наслаждением плавал — до тех пор, пока не начинал чувствовать голод. Тогда я выходил из воды и сушился на солнце. Рваные штаны, пистолет, спичечный коробок — все лежало на большом камне. Я стоял голый в этом огромном сером мире, без забот, без печалей, и чувствовал себя самым свободным человеком на свете. Но вот солнце начинало пригревать, над рекой поднимался туман, и мне становилось немного душно. Все-таки Большой Скорпион не лгал, говоря, что здесь можно отравиться воздухом. Пора было возвращаться и есть свой дурманный лист.

К сожалению, мои купания продолжались недолго — по вине того же Большого Скорпиона. Примерно через неделю, едва ступив на отмель, я увидел вдалеке снующие тени. Я не обратил на них внимания и продолжал любоваться восходом. Восток медленно розовел, рассеянные облака превращались в багровые цветы, звезды исчезали. Затем облака вытянулись цепочкой, став темно-

оранжевыми, с серебристо-белыми краями — там, где они смыкались с серым небом и зеленоватой водой.

На оранжевом фоне выступили темные пятна, словно окаймленные золотыми нитями. Из них, неуверенно дрожа, выпрыгнул кроваво-красный, не очень круглый комок, превративший облака в сверкающую чешую. Река посветлела и залилась золотым блеском. Чешуя становилась все тоньше, а вскоре совсем исчезла, сменившись легкой розоватой пеленой. Солнце поднялось. Теперь уже все небо приобрело серебристо-серый оттенок, в некоторых местах даже голубой.

Я смотрел на это как зачарованный, а когда наконец повернулся, увидел на берегу, саженях в десяти, большую толпу людей-кошек. Сначала я удивился, но потом решил, что они занимаются каким-нибудь своим делом и не требуют моего внимания. Однако едва я зашел поглубже в воду, как толпа передвинулась к отмели. Когда я нырнул, на берегу поднялся пронзительный вой. Я несколько раз окунулся и вышел на отмель — вопящая толпа попятилась. Я понял, что людей-кошек привлекло сюда мое купание.

«Пусть себе смотрят,— подумал я.— Ведь они не на голого человека пришли поглазеть — они сами ходят нагишом,— их, видно, интересует, как я плаваю. Может, поплескаться еще немного, чтобы расширить их кругозор?» Но тут я увидел Большого Скорпиона, который стоял впереди всех, почти у самой реки. Видимо, желая показать, что мы с ним запанибрата, он скакнул еще ближе и сделал лапой знак, чтобы я прыгал в воду. Четырехмесячный опыт подсказал мне, что, если его послушаться, он совсем заважничает. Этого я уже не мог стерпеть: всю жизнь не любил, чтобы мной помыкали. Я вышел на отмель, взял с камня пистолет и прицелился.

8

Я еще никогда не видел, чтобы Большой Скорпион так смеялся. Чем больше я свирепел, тем сильнее он корчился от хохота, как будто смех у людей-кошек был главным средством избежать расправы. Я спросил, зачем он собрал толпу. Он не отвечал и попрежнему заливался. Мне было противно связываться с ним, поэтому я ограничился предупреждением, что ему несдобровать, если он еще раз устроит что-либо подобное.

На следующее утро, еще не дойдя до отмели, я вновь увидел снующие тени; их было больше, чем вчера. Надо выкупаться, чтобы понять, в чем же все-таки дело, а с Большим Скорпионом рассчитаюсь потом! Я вошел в воду и, делая вид, будто моюсь, начал

следить за толпой. Позади Большого Скорпиона стоял человек-кошка с большой охапкой листьев, которая доходила ему до самого подбородка. Это явно был слуга. По знаку хозяина он пошел вдоль толпы, и охапка листьев в его лапах стала постепенно уменьшаться. Ясно, что Большой Скорпион пользуется мною как приманкой, чтобы торговать дурманными листьями, причем наверняка по повышенной цене!

Я люблю посмеяться, но тут мне было не до смеха. Люди-кошки очень боялись меня, иностранца,— значит, всю эту комедию затеял Большой Скорпион. Необходимо как следует проучить его, иначе я уже никогда не смогу наслаждаться утренним купанием. Конечно, если бы люди-кошки захотели поплавать вместе со мной, я не имел бы ничего против: река принадлежит не мне одному. Но когда один купается, а сотни глазеют да еще занимаются куплей-продажей — это омерзительно!

Я решил схватить одного из зевак, чтобы расспросить, как Большой Скорпион устроил свое надувательство. Поэтому я стал тихонько пятиться назад, собираясь незаметно выйти на берег и дать стометровку.

Но едва я побежал, как раздался дикий визг, будто резали тысячу свиней. Землетрясение не произвело бы большей паники, чем моя стометровка. Люди-кошки мчались сломя голову, толкая друг друга, падая, снова вскакивая. Берег в одно мгновение опустел, лишь кое-где валялись раненые, которые уже не могли бежать. Я поднял одного из них: глаза закрыты, дыхания нет! Во мне шевельнулось раскаяние, но главным по-прежнему оставалось желание разоблачить Большого Скорпиона. Не долго думая, схватил другого человека-кошку — живого, но со сломанной ногой. Впоследствии я не раз корил себя за то, что допрашивал раненого: ясно видел эту сломанную ногу, а все-таки схватил. Если прощать себе все, что делаешь «не думая», то люди никогда не будут людьми.

Заставить полумертвого от страха человека-кошку говорить, да еще говорить с иностранцем,— самое трудное дело на свете. Я понял наконец, что этак совсем его доконаю, и оставил свои попытки. Двое пострадавших по-прежнему лежали на земле, а остальные быстро ползли в сторону. Я не стал догонять их.

Вот и нарвался на крупную неприятность! Неизвестно еще, каковы кошачьи законы! Правда, я убил этих несчастных не собственными руками, но, откровенно говоря, тут не оправдаешься. Впрочем, пусть эту кашу расхлебывает Большой Скорпион, а я воспользуюсь случаем, чтобы поискать останки моего друга. Когда начнутся неприятности, Большой Скорпион сразу побежит за мной, тут-то я его и прижму. Если он не согласится помочь, я к

нему не вернусь. Шантаж? Но с таким лживым и низким существом нельзя обращаться иначе!

Спрятав пистолет, я с поникшей головой побрел вдоль реки. Солнце палило немилосердно, и я чувствовал, будто мне чего-то не хватает. Проклятые дурманные листья! Без них действительно невозможно выдерживать это палящее солнце и ядовитый туман, поднимающийся над водой.

Кошачьих святых я не знал; чтобы скрыть собственную беспомощность, мне оставалось проклинать только людей-кошек. Я подумал, что дурманные листья легче всего подобрать на поле «боя». Конечно, я мог бы сходить в рощу и отломить целую ветку, но мне было лень тащиться в такую даль. Поэтому я вернулся на берег, собрал брошенные там остатки листьев, пожевал немного и снова отправился вдоль реки.

Вскоре передо мной показались серые холмы. Я помнил, что корабль упал недалеко от них, хотя и не знал, в какой стороне. Жара стояла невыносимая. Два новых листа не принесли мне облегчения. Кругом ни деревца, отдохнуть негде — я решил идти до тех пор, пока не найду корабль.

Вдруг сзади послышались крики. Я различил голос Большого Скорпиона, но продолжал идти не оборачиваясь. Вскоре он догнал меня — бегал он очень быстро. Я хотел схватить его за шкирку и вытряхнуть из него душу, да слишком уж у него был жалкий вид: морда вспухла, на голове и туловище ссадины, шерсть слиплась, точно у водяной крысы. Я вспомнил, что люди-кошки, панически боясь иностранцев, очень любят подраться между собой. Кто его избил, мне было все равно, но испуганный и израненный Большой Скорпион невольно вызывал сочувствие. Он похватал разинутым ртом воздух и наконец выдавил:

— Скорее, дурманную рощу грабят!

Я рассмеялся, моего сочувствия как не бывало. Если бы Большой Скорпион просил защитить его жизнь, я, как настоящий китаец, тотчас откликнулся бы. Но кто станет защищать добро собственника? Грабят так грабят, я тут ни при чем.

— Скорее, дурманную рощу грабят! — повторил Большой Скорпион, отчаянно тараща глаза, как будто дурманная роща ценнее всего на свете.

— Расскажи мне сначала, зачем ты устроил утреннюю комедию, тогда я, пожалуй, вернусь! — сказал я.

Большой Скорпион задергал шеей от ярости и с трудом выдохнул:

— Дурманную рощу грабят!

Он задушил бы меня, если б мог. Но я тоже стоял на своем и решил не трогаться с места до тех пор, пока он не скажет правды.

В конце концов мы пошли на сделку: я сейчас же отправляюсь за ним, а он объяснит все по дороге.

На этот раз Большой Скорпион не солгал. Оказалось, что глазевшие на меня люди-кошки были представителями высшего общества, которых он пригласил из города. Богачи никогда не встают так рано, но мое купание было слишком редким событием; кроме того, Большой Скорпион обязался поставить им лучшие дурманные листья. Каждый посетитель платил ему за зрелище десять «национальных престижей» (основная денежная единица в Кошачьем государстве), а дурманные листья — два прекрасных, сочных листа — давались каждому бесплатно.

«Ну и тип! Выставляет меня напоказ как свою собственность!» — подумал я, но Большой Скорпион, не дожидаясь, пока я выскажу свое возмущение, уже принялся мягко оправдываться:

— Видишь ли, национальный престиж есть национальный престиж. Когда чужой национальный престиж забираешь в свои руки, это считается очень благородным поступком! Хоть я и не посоветовался с тобой,— Большой Скорпион шел очень быстро, но это не мешало ему изъясняться все мягче и изысканнее,— я знал, что ты не будешь против такого высоконравственного шага. Ты, как всегда, купаешься, я получаю горсточку национальных престижей, они расширяют свой кругозор — и никто не остается в убытке. Это очень выгодное дело!

— А кто будет отвечать за умерших?

— Это пустяки,— пыхтя, отвечал Большой Скорпион.— Когда я кого-нибудь убиваю, мне достаточно выложить несколько дурманных листьев. Законы — только знаки, вырезанные на камне, а листья — это все. Никто не станет интересоваться, убили кого-нибудь или нет. С тебя так вообще ни одного дурманного листа не возьмут, потому что наши законы на иностранцев не распространяются. Жаль, что я сам не иностранец. Если ты убьешь кого-нибудь здесь, в деревне, брось его где попало, чтобы белохвостые коршуны могли полакомиться, а если в городе, то зайди в суд и сообщи. Судья тебя очень вежливо поблагодарит.

Большой Скорпион завидовал мне до слез. Я тоже чуть не плакал, но совсем от другого: «Бедные люди-кошки! Что это за жизнь? Где справедливость?»

— Ведь те двое убитых были богатыми людьми. Разве их родственники не захотят отомстить?

— Конечно, захотят. Это они напали на мою рощу. Они давно уже послали шпионов, чтобы следить за каждым твоим шагом. Как только ты отошел от рощи, они сразу и налетели. Идем скорей!

— Неужели человек ценится меньше дурманного листа?

— Мертвые есть мертвые, а живым нужно есть дурманные листья. Идем!

То ли я заразился эгоизмом от людей-кошек, то ли меня надоумила последняя фраза, брошенная Большим Скорпионом, но я вдруг сообразил, что должен потребовать у него национальных престижей. Если в один прекрасный день я покину его — а мы с Большим Скорпионом, наверное, никогда не станем друзьями,— то чем мне кормиться? Я имею право получить долю из денег, заработанных с моей помощью. В других условиях я никогда бы до этого не додумался, но здесь необходимо предусматривать все. Мертвые есть мертвые, а живым нужно есть дурманные листья. Разумно.

Невдалеке от рощи я остановился и спросил:

— А сколько ты заработал за эти дни?

Большой Скорпион оторопел и вытаращил глаза:

— Всего пятьдесят национальных престижей, да и то два из них оказались фальшивыми. Идем скорее!

Я решительно повернулся и пошел назад. Он догнал меня:

— Сто! Сто!

Поскольку я продолжал идти, он довел цифру до тысячи. Я знал, что самих зевак была почти тысяча, но не хотел торговаться с ним:

— Ладно, дашь мне пятьсот, а иначе прощай.

Большой Скорпион понимал, что каждая минута промедления стоит ему дурманных листьев, и со слезами согласился.

— А если ты еще когда-нибудь тайком будешь зарабатывать на мне, я сожгу твою рощу! — добавил я, похлопав по спичечному коробку.

Он снова поддакнул.

В роще уже никого не оказалось: наверное, грабители выставили дозорного, который сообщил о моем приближении. Два или три десятка деревьев на опушке стояли почти голыми. Большой Скорпион вскрикнул и упал без чувств.

9

Дурманная роща выглядела очень красиво. Листья были уже больше ладони: толстые, темно-зеленые, с золотисто-красными прожилками. На самых сочных листах появились разноцветные пятнышки, из-за чего роща стала напоминать огромный пестрый цветник. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь серый воздух, падали на листья, и они вырисовывались еще более ярко и рель-

ефно. Это зрелище не ослепляло, а радовало глаз, точно старинная картина, на которой краски почти не поблекли, но с годами утратили излишнюю резкость.

Возле рощи с утра до вечера стояло множество зрителей. Впрочем, зрителями их нельзя назвать, потому что глаза у них были блаженно закрыты. Носы втягивали волшебный аромат, а из разинутых ртов чуть ли не на метр свисала слюна. Когда начинал дуть ветер, все продолжали стоять неподвижно — вытягивались и поворачивались только их шеи, напоминающие рожки улиток. Какой-нибудь созревший лист падал. «Нюхатели» не видели и не слышали его мягкого падения, но, казалось, чуяли звук носом: мгновенно открывали глаза, шевелили губами, однако Большой Скорпион всегда опережал жаждущих. Он подкатывался, точно клубок шерсти, и подбирал свою драгоценность. Вокруг раздавались тяжелые вздохи отчаяния.

Для охраны рощи Большой Скорпион нанял пятьсот солдат, но эти солдаты квартировали больше чем в километре отсюда, потому что, будь они поближе, они первыми бы начали грабить рощу. Не приглашать их нельзя, так как охрана дурманных листьев была самым важным делом в Кошачьем государстве. Все понимали, что солдаты ничего не могут защитить, но отказаться от них значило оскорбить генералов, а Большой Скорпион уважал благонамеренность и не хотел, чтобы его в чем-нибудь обвинили. Просто во избежание соблазна он ставил свое войско подальше. Когда ветер дул слишком сильно и притом в сторону солдат, хозяин приказывал им отойти еще на полкилометра. Они бы ни за что не послушались его приказов и восстали, если бы рядом не было меня. Недаром в Кошачьем государстве существует поговорка: «Иностранец чихнет — сто солдат упадет».

Войском Большого Скорпиона командовали двадцать генералов. Эти генералы были мудрыми, справедливыми, верными и надежными, но, поддавшись настроению, вполне могли связать хозяина и тоже кинуться грабить рощу. Только благодаря моему присутствию они не поддавались настроению, а оставались верными и надежными.

Забот у Большого Скорпиона было хоть отбавляй: шпионить за генералами, следить за направлением ветра, отгонять солдат, присматривать за зеваками. Когда он пришел в себя после налета на его рощу, ему пришлось одним духом съесть тридцать валявшихся листьев, иначе бы они пропали. Говорят, что после сорока листьев можно три дня не спать, но зато на четвертый день отправишься к праотцам. Такая уж это штука, дурманные листья: если ешь в меру, чувствуешь себя приятно, но ничего не хочется делать; если много съешь — своротишь горы, а потом помрешь. Большой

Скорпион был очень труслив, знал, что объедаться листьями нельзя, однако сдержать себя не мог. Бедный Большой Скорпион!

Он урезал мне ужин, потому что при маленьких порциях можно всю ночь бодрствовать. Ведь я фактически один охраняю его рощу — значит, меня нужно морить голодом. Чем выше заслуги человека, тем больше он должен страдать — такова кошачья логика. Но я не стерпел и разбил свою миску. На следующий день меня снова ждал нормальный ужин. Теперь я знал, как поступать с людьми-кошками, хотя и испытывал угрызения совести.

Целые дни дул ветер. До этого я не видел на Марсе такой погоды — слабый ветерок поднимался, но никак не на целый день. Дурманные листья едва начинали розоветь, а сейчас они дрожали на ветру и переливались всеми цветами радуги. Ночью Большой Скорпион с генералами воздвигали в середине рощи какой-то деревянный каркас: это оказалась сторожевая вышка для меня. Они объяснили, что ветер называется дурманным и сулит перемену погоды. В Кошачьем государстве всего два сезона. Первая половина года — спокойный сезон, а вторая — бурный, с ветром и дождем.

Утром до меня сквозь сон донеслись странные звуки. Я вылез из своей хижины и увидел Большого Скорпиона, стоящего перед генеральским строем. За ухом у него красовалось перо из хвоста коршуна, в лапах — длинная палка. Генералы держали нечто вроде музыкальных инструментов. Завидев меня, Большой Скорпион ткнул палкой в землю, и генералы разом вскинули свои инструменты. Когда он ткнул палкой в небо, грянула музыка. Один генерал дул, другой бил — словом, все двадцать инструментов стали издавать разные звуки: высокие, низкие, но в равной степени дисгармоничные и противные. Глаза у музыкантов вылезли на лоб, тела раскачивались, рты хватали воздух, однако отставать никто не желал. Двое, почти задохнувшись, упали на землю и все-таки продолжали дуть, потому что в Кошачьем государстве ценится только долгая и шумная музыка.

Те, кто держал ударные инструменты, колотили своими дубинками без всякого ритма и, конечно, без передышки. Чем сильнее стучали ударные, тем отчаяннее визжали духовые инструменты, как будто умереть под такую музыку — самое приятное на свете. Три часа продолжался этот концерт. Наконец Большой Скорпион взмахнул свой палкой, музыка смолкла, и запыхавшиеся генералы присели на корточки.

Вытащив из-за уха перо, Большой Скорпион почтительно подошел ко мне:

— Пора! Прошу тебя подняться на священный алтарь и от лица богов наблюдать за сбором дурманного листа.

Сначала я ничего не понял, так как совершенно ошалел и ог-

лох от их музыки. Потом меня начал разбирать смех, но я все же последовал за Большим Скорпионом. Он воткнул в мои волосы перо, забрался на сторожевую вышку и стал молиться. Снова грянула музыка. Наконец он слез и пригласил меня наверх. Вспомнив детство, я ловко вскарабкался по деревянным перекладинам. Большой Скорпион взмахнул палкой, генералы разбежались и встали в почтительном отдалении. По приказу Большого Скорпиона к ним подбежало множество солдат, тоже с палками. Большой Скорпион показал им на вышку, и солдаты подняли палки, как бы отдавая мне честь. Теперь я окончательно убедился, что играю роль посланца богов, которые, без сомнения, просто обожают Большого Скорпиона. А он тем временем объяснял солдатам, что, если во время сбора урожая они спрячут или съедят хоть один лист, представитель богов поразит их ручным громом. Ручной гром вылетит вон из того «искусства». Генералы назначаются надсмотрщиками; заметив кражу, они заиграют на своих инструментах, и Большой Скорпион попросит меня извергнуть ручной гром.

Солдатам было приказано разбиться по двое: один забирался на дерево и срывал листья, другой их складывал. У ближайших ко мне деревьев никого не оказалось, так как Большой Скорпион предупредил солдат, что они могут окаменеть от одного дыхания посланца богов. Словно загипнотизированные, солдаты принялись за работу, а Большой Скорпион бегал между ними, как уток в ткацком станке,— наверное, опять съел штук тридцать отменных листьев. Его палка была все время нацелена на головы солдат. Говорят, что во время сбора дурманного листа помещик должен убить по крайней мере одного солдата и закопать его под деревом — чтобы обеспечить себе на следующий год богатый урожай. Но если в роли стража у помещика не настоящий иностранец, солдаты могут сами убить хозяина, ободрать все листья, а из сучьев наделать оружия, то есть палок. Войско, оснащенное палками из дурманного дерева, считается в Кошачьем государстве самым грозным.

Я сидел на сторожевой вышке, как попугай на жердочке, и потешался сам над собой. Но мне все же не хотелось нарушать кошачьих обычаев. Я должен хорошенько узнать местных жителей, а для этого надо участвовать во всех их делах, как бы они ни были смешны. К счастью, дул ветерок, и жара казалась не такой мучительной. Чтобы не получить солнечного удара, я велел Большому Скорпиону принести мне травяную крышку, которой я закрывал еду, и водрузил ее на голову вместо шляпы.

От других людей-кошек солдаты отличались только перьями за ухом да палками. Эти предметы, конечно, давали им преимущество, но сейчас, загипнотизированные Большим Скорпионом, они, пожалуй, страдали сильнее своих соплеменников. Они вгрызались

в рощу, точно шелкопряды после спячки, и вскоре я уже видел стволы, которые раньше были плотно закрыты листвой. Еще через некоторое время солдаты добрались до макушек и даже принялись за сравнительно близкие ко мне деревья. Но на этих деревьях они рвали листья только одной лапой, а другой заслоняли глаза, боясь, что я могу их ослепить.

«Оказывается, люди-кошки совсем не бестолковы,— подумал я.— Если бы у них был хороший руководитель, способный покончить с дурманом, они сумели бы сделать многое. Может быть, мне заняться этим? Прогнать Большого Скорпиона, стать для них и помещиком, и генералом... Нет, пустые мечты! Я ничего не решусь предпринять, потому что не знаю их как следует».

В этот момент я вдруг увидел (деревья вокруг меня оголились, и я отчетливо мог видеть все, что происходило внизу), как Большой Скорпион занес свою палку над головой одного солдата. Я знал, что не успею задержать эту палку, даже если спрыгну с высоты двух саженей и не сломаю ногу при прыжке, но мне очень хотелось наказать Большого Скорпиона. Я прыгнул, тотчас поднялся, подбежал, однако солдат уже лежал на земле, а Большой Скорпион приказывал закопать его.

Человек, не понимающий психологии ближних, часто вредит им — при самых благих намерениях. Когда я спрыгнул, солдаты решили, что сейчас грянет ручной гром, и почти все попадали с деревьев. Многие, наверное, разбились, потому что вокруг стоял сплошной стон. Но я тогда не обратил на них внимания, а схватил Большого Скорпиона. Он воспринял мой прыжок иначе, решив, что я хочу помочь ему, что я вообще стал его верным клевретом — ведь все это утро я был так послушен. Когда я его схватил, он очень удивился: он не чувствовал за собой никакой вины.

— Почему ты убил солдата? — крикнул я.

— Он отгрыз стебель от листа...

— И за это ты мог?..

Тут я вспомнил, что нахожусь среди людей-кошек, которых бесполезно урезонивать. Я сделал знак солдатам:

— Связать его!

Они смотрели на меня и, казалось, ничего не понимали.

— Связать Большого Скорпиона! — пояснил я, но никто не двинулся с места. Сердце мое похолодело. Если я действительно встану во главе этих солдат, мне, наверное, никогда не найти с ними общего языка. Они не смеют помочь мне не потому, что любят Большого Скорпиона, а потому, что не понимают моей правоты. Им даже в голову не приходит, что можно мстить за товарища. Это поставило меня в тупик: если я отпущу Большого Скорпиона, он наверняка станет презирать меня. Но и убивать его не стои-

ло — он еще может пригодиться мне на Марсе, по крайней мере здесь, в Кошачьей стране. При всех своих дурных качествах он для меня полезнее, чем эти жалкие вояки.

Я притворился, будто немного остыл, и спросил Большого Скорпиона:

— Признаешь свою вину? Или хочешь, чтобы я отдал твою рощу на разграбление?

Услышав о разграблении, солдаты оживились, протянули лапы к листьям, но я дал Большому Скорпиону два пинка, и все сноза замерли.

Глаза Большого Скорпиона превратились в крохотные щелки. Я чувствовал, что он ненавидит меня: ведь его наказал перед солдатами сам посланец богов, да еще за какой-то пустяк. Однако ссориться со мной он не посмел.

Я спросил его, сколько он платит сборщикам дурманных листьев. Когда он ответил, что по два листа, солдаты снова навострили уши, видимо ожидая прибавки жалованья. Я потребовал, чтобы Большой Скорпион хорошенько накормил их после работы, и уши разочарованно опустились.

Мне не было дела до их печальных вздохов: меня больше интересовала семья убитого солдата, которой я велел выплатить сто национальных престижей. Большой Скорпион согласился, но, когда я начал спрашивать, где живет семья погибшего, никто не издал ни звука. У людей-кошек не было привычки утруждать свой язык ради других. Я понял это лишь спустя несколько месяцев, а Большой Скорпион благодаря моему неведению сэкономил национальные престижи.

10

После окончания сбора листьев ветер усилился, в воздухе заметно похолодало, по небу поплыли черные тучи, но без дождя. Это было самое начало «бурного сезона», когда помещики обычно везли дурманные листья в город. Хотя Большой Скорпион был очень недоволен мной, ему пришлось напустить на себя добрейший вид, потому что отправиться в путь без меня было равносильно самоубийству.

Высушенные листья сложили в тюки. Каждый тюк тащили по очереди двое солдат, причем на головах. Впереди несли Большого Скорпиона: четверо солдат подпирали головами его тело, двое солдат повыше — ноги, а один солдат — шею. Этот способ передвижения был самым почетным в Кошачьем государстве, хотя и не очень удобным. По обеим сторонам от носильщиков шли двадцать гене-

ралов с музыкальными инструментами. Если солдаты не соблюдали дисциплину — например, запускали когти в тюки, чтобы нюхнуть дурману,— то генералы изысканнейшими звуками докладывали об этом Большому Скорпиону. Все вещи в Кошачьем государстве должны были приносить прямую пользу, искусство тоже: музыканты обычно служили шпиками.

Мое место, как наиболее ответственное, находилось в середине колонны. Большой Скорпион приготовил для меня семерых носильщиков, но я отказался от этого благодеяния и решил идти пешком. Он никак не хотел соглашаться: приводил цитаты из классиков, говорил, что императора носит двадцать один человек, князя — пятнадцать, аристократа — семь, что это древний обычай, который нельзя, непозволительно нарушать. «Аристократ, ходящий по земле, позорит своих предков!» — восклицал он.

Я уверил его, что мои предки не будут опозорены, если меня не понесут на головах. Тогда он чуть не заплакал и продекламировал двустишие:

Тот, кто ест дурманные листья,
Всегда будет аристократом.

— Пошел ты со своими аристократами! — оборвал я его, не вспомнив подходящей стихотворной цитаты.

Большой Скорпион вздохнул, должно быть, выругался про себя, но открыто бранить меня не посмел.

Построение колонны заняло больше двух часов. Большой Скорпион то укладывался на головы носильщиков, то опять вскакивал, и так до семи раз, потому что кошачьи солдаты никак не могли стоять спокойно. Теперь они знали, что я не всегда помогаю Большому Скорпиону; он не решался пустить в ход дубинку, а ругань без побоев на них не действовала. Отчаявшись построить их в прямую линию, Большой Скорпион сдался и велел выступать.

Но едва мы пошли, как в небе показалось несколько белохвостых коршунов. Большой Скорпион испугался дурного предзнаменования, снова соскочил на землю и отложил выступление до завтра. Вконец обозленный, я вытащил пистолет:

— Или пойдешь сейчас, или не пойдешь вовсе!

Физиономия Большого Скорпиона позеленела. Он пошамкал ртом, однако не смог выдавить ни слова. Он понимал, что спорить со мной бесполезно, и в то же время знал, как опасно не верить приметам. Понадобилось минут пятнадцать, прежде чем он, весь дрожа, вскарабкался на кошачьи головы. Мы наконец двинулись. То ли от испуга, то ли из-за шкодливых носильщиков он частенько падал на землю, но мигом взбирался обратно — Большой Скорпион свято хранил славу предков.

Всюду, где только можно было что-либо написать — на древесной коре, на камнях, на ветхих стенах,— всюду огромными белыми знаками были написаны приветствия и лозунги: «Приветствуем Большого Скорпиона!», «Большой Скорпион отдает все силы производству государственной пищи», «Солдаты Большого Скорпиона высоко несут дубинки справедливости», «Только благодаря Большому Скорпиону выдался богатый урожай»... Эти надписи были начертаны специальным гонцом для услаждения Большого Скорпиона в пути; он же сам и послал гонца.

Проходя небольшие селения, мы видели деревенских людей-кошек, которые сидели, прислонившись спиной к своим лачугам и зажмурив глаза. Меня очень удивило, что они даже не смотрят на нас. Если они боятся солдат, то почему не спрячутся, а если не боятся, то почему сидят с закрытыми глазами? И тут я разглядел, что на головах сидящих тоже видны мазки белой краски, из которых складываются лозунги вроде «Приветствуем Большого Скорпиона!». Хотя деревенские по-прежнему не открывали глаз, Большой Скорпион милостиво кивал им, благодаря за радушие.

Эти деревни находились под его покровительством, и ободранный, грязный, изможденный вид жителей без слов говорил о том, как нежно пекся о них покровитель. Я еще сильнее возненавидел Большого Скорпиона.

Один я мог бы дойти до Кошачьего города самое большее за полдня, но поход с кошачьими солдатами требовал серьезного навыка и терпения. Вообще-то люди-кошки умеют двигаться быстро, однако, став солдатами, они теряют эту способность, потому что на фронте быстрое передвижение слишком опасно. Вернее сказать, они теряют эту способность, когда нужно идти вперед, а когда необходимо отступать, снова обретают ее. Такая необходимость появляется при каждой встрече с врагом.

Было уже больше часа дня. И хотя по небу плыли тучки, солнце припекало весьма основательно. Солдаты тащились с широко раскрытыми ртами, их шерсть слиплась от пота — я еще не видывал такой внушительной армии. Вдалеке показалась чья-то дурманная роща, и Большой Скорпион приказал идти прямо через нее. Я решил, что он жалеет солдат, хочет, чтобы они отдохнули в тени. Но когда мы добрались до этой рощи, он спросил меня, нельзя ли ее разграбить. «Листья — пустяки. Главное — обогатить армию боевым опытом!» — пояснил он.

Ничего не ответив, я взглянул на своих спутников. Они уже закрыли рты и выглядели почти бодрыми. «В конце концов, грабеж — это основное занятие кошачьих солдат,— подумал я.— Они ненавидят меня так же, как Большой Скорпион, и, если все время грозить им пистолетом, они рано или поздно убьют меня. Кто оце-

нит мое благородство?» Я чувствовал, что уже начинаю заражаться кошачьей психологией: моя храбрость все чаще уступала место приспособленчеству. Но когда я согласился, Большой Скорпион не замедлил попросить меня возглавить операцию. На этот раз мой ответ был твердым: грабьте сами, а меня не впутывайте.

Солдаты уже давно почуяли запах добычи. Не дожидаясь приказа, они бросили тюки на землю и с палками в лапах ринулись вперед. Большого Скорпиона я тоже еще не видел таким смелым — глаза его бесстрашно округлились, шерсть встала торчком, палка взметнулась в воздух. Правда, в саму рощу воители не побежали, а как безумные стали носиться вокруг. Я понял, что они выманивают из рощи охранников. Увидев, что там нет никакого движения, Большой Скорпион засмеялся, солдаты тоже, и вся армия бросилась на дурманные деревья.

Внезапно из рощи донесся крик. Большой Скорпион заморгал своими уже не круглыми глазами, солдаты бросили палки, попятились и, обхватив голову лапами, завыли:

— Там иностранец! Иностранец!

Хозяин, казалось, не поверил, но его возражение прозвучало без особой убежденности:

— Иностранец? Я точно знаю, что там нет иностранца...

Пока он бормотал, из лесу вышло множество кошачьих солдат и два высоких беловолосых существа, вооруженных блестящими палками. «Это наверняка иностранцы,— подумал я.— Ведь они химическим путем делают что-то вроде железа... Как мне быть, если Большой Скорпион попросит меня драться с ними?! Я даже не знаю, что это за блестящие палки». Хотя я и не затевал грабежа, я все-таки чувствовал себя сторонником Большого Скорпиона: его поражение уронило бы и мой авторитет.

— Скорее задержи их! — шепнул мне Большой Скорпион.

Отбросив размышления, я вынул пистолет и двинулся вперед. К моему удивлению, беловолосые существа (они тоже были похожи на кошек) остановились. Большой Скорпион подбежал ко мне, из чего я понял, что особой опасности нет.

— Начинай переговоры! — зашептал он, прячась за мою спину.

Я слегка оторопел. Почему он больше не толкает меня в драку? О чем разговаривать с этими белыми существами? Человек всегда теряется, когда от него требуют меньше, чем он собирался дать. А один из моих соперников промолвил, обращаясь к Большому Скорпиону:

— Штрафуем тебя на шесть тюков дурманного листа, каждому по два.

Я оглянулся. Белых людей-кошек было только двое. Почему же он насчитал шесть тюков?

— Говори с ними! — торопливо шептал Большой Скорпион.

По-прежнему не зная, что говорить, я машинально повторил:

— Штрафуем тебя на шесть тюков...

Белые существа улыбнулись и с довольным видом кивнули головами. Большой Скорпион облегченно вздохнул, а я по-прежнему не мог ничего понять. Только когда тюки принесли и белые людикошки предложили мне выбирать первому, я сообразил, что они включили в свою компанию меня. Оставалось лишь ответить такой же вежливостью и отдать им лучшие тюки. Иностранцы поклонились:

— Мы тоже скоро закончим сбор листьев, еще увидимся с вами в городе.

— Еще увидимся...— повторил я, чувствуя, что вновь столкнулся с каким-то странным обычаем. Белые существа приказали своим солдатам забрать тюки и скрылись в роще.

Прибыв в Кошачий город и поговорив с другими иностранцами, я наконец разобрался в этом приключении. Поскольку людикошки не могут победить иностранцев, у них остается только одна надежда: что чужеземцы сами перебьют друг друга. Для укрепления своей мощи нужна энергия, а кошки не любят ее расходовать. Они предпочитают молить богов о том, чтобы иностранцы ввязались в междоусобицу, которая тотчас позволит им, кошкам, стать сильными, вернее, увидеть другие страны такими же слабыми, как Кошачье государство. Иностранцы раскусили этот замысел. Они часто конфликтовали с Кошачьим государством, но никогда не доводили дело до конфликтов между остальными государствами. Они прекрасно понимали, что даже победа может обернуться для них поражением, если они будут разобщены. И наоборот: объединившись, они смогут получить от людей-кошек немалую выгоду. Так строилась не только международная политика, но и жизнь всех иностранцев в Кошачьем государстве. Их основной профессией здесь была охрана дурманных рощ. Однако охранять они условились лишь от местных жителей, а не друг от друга. Преступивший это правило наказывался, благодаря чему люди-кошки ценили иностранцев все больше.

Для приезжих такая система была совсем недурна. А для туземцев? Я невольно обиделся за жителей Кошачьего города, но затем подумал: «Они сами виноваты, что терпят это, не стараются стать сильными и давят своих соплеменников с помощью иностранцев. Уважать можно только достойных людей, а люди-кошки утратили и честь и совесть — неудивительно, что иностранцы с ними не церемонятся».

После разговоров на эту тему я долго пребывал в дурном настроении.

Но вернусь к Большому Скорпиону: уплата контрибуции ничуть не огорчила его, он даже чувствовал себя победителем, с важным видом взгромоздился на кошачьи головы и сказал, что если я не нуждаюсь в таком количестве дурманных листьев (они ведь мне не очень нравятся), то он готов выкупить их за тридцать национальных престижей. Я знал, что два тюка стоят по меньшей мере триста престижей, но не стал торговаться с ним и вообще не ответил на его предложение.

Солнце уже клонилось к западу, когда впереди показался Кошачий город.

11

Едва я увидел его, как почему-то решил, что эта цивилизация скоро должна погибнуть. Я еще не был знатоком кошачьей цивилизации; та ее часть, с которой я столкнулся в деревне, лишь пробудила мое любопытство, желание выяснить подлинную суть. Не верилось, что здешняя культура сводится к одним ужасам. Конечно, цивилизации иногда погибают, наша земная история тоже писана не розовой водичкой, но если мы способны плакать даже над описаниями истории, то еще горше наблюдать гибнущую цивилизацию собственными глазами.

У человека перед смертью может быть цветущий вид; обреченный на гибель город порой бывает шумным, оживленным — и все-таки он умирает, медленно и неотвратимо. Можно еще спасти отдельного человека, но не город. Кажется, будто разящий перст судьбы занесен и над дурными, и над хорошими его обитателями. Хороших обитателей немного, они торопят свою гибель или пишут завещания, но их крики, и печальные и веселые, так же бессмысленны, как треск цикад, пытающихся заглушить вой осеннего ветра.

Этот разящий перст я увидел над жителями Кошачьего города — по моему необъяснимому предчувствию, от них скоро останется лишь прах и пепел.

Кошачий город выглядел очень оживленным. Его планировка показалась мне наипростейшей, как у военного лагеря. Никаких улиц и переулков, только дома и пустыри — точнее, один большой пустырь, на котором стоит множество бесцветных домов. Все пространство между домами заполнено народом, неизвестно чем занимающимся. Никто не ходит по прямой, каждый обязательно мешает другому. К счастью, пустыри весьма обширны, поэтому прохожие все-таки сливаются в потоки, которые ударяются в дома, словно в дамбы. Я еще не знал, есть ли у этих домов номера. Если

есть, то из пятого дома в десятый нужно пробираться километра два. Сначала тебя швырнут налево, потом направо, затем понесут вперед, отбросят назад и так далее. За время этого путешествия можешь случайно попасть к цели, а можешь даже домой не вернуться.

Когда-то здесь наверняка были улицы, но узкие и, главное, опасные, потому что люди-кошки считают позорным уступать кому-либо дорогу. Ходьба по определенной стороне тем более претила их свободному духу. Единственным выходом было ликвидировать улицы. Правда, от толкотни это не спасало, но по крайней мере сберегало немало жизней (как видите, иногда люди-кошки поступают весьма гуманно). Пронестись без отдыха километров шесть, а потом вернуться — не так уж опасно, хотя и утомительно. Впрочем, не всегда утомительно: многие едут на согражданах, как на бесплатном поезде. Я решил обязательно проверить свои догадки и найти следы бывших улиц.

В самой давке не было ничего особенного. Интереснее другое: что людской поток то поднимался, то опускался. Увидев на дороге камешек, прохожие присаживались на корточки, а затем и вовсе садились, чтобы насладиться невиданным зрелищем. Новые прохожие тоже присаживались на корточки, задние напирали — и получался настоящий водоворот. Самым последним приходилось карабкаться на чужие головы. Сидящие, забыв про камешек, начинали рассматривать зевак, которые торчали наверху, но тут где-нибудь в стороне узнавали друг друга двое знакомых. Водоворот тотчас перемещался. Каждый считал своим долгом помочь знакомым разговаривать, что неизбежно приводило к драке. Возникало два новых водоворота, а знакомые сидели на земле и играли в шахматы. Наконец оба водоворота опять сливались в один, на этот раз вокруг шахмат.

Между людскими потоками, очевидно, бывают своеобразные отмели — толпа расступается, подобно Красному морю, когда его переходили израильтяне. Иначе я не мог себе представить, как Большой Скорпион с отрядом доберется до своего дома, находившегося в центре Кошачьего города. Завидев людское море, я думал, что мы обойдем его, но Большой Скорпион вторгся в самую гущу голов. Грянула музыка, которую я сначала принял за приказ расступиться, и понял свою ошибку, когда зеваки с интересом бросились к музыкантам. Расчет Большого Скорпиона был иной: под звуки инструментов его солдаты стали бить дубинками по головам прохожих, как по барабанам. Тут-то людской поток и раздвинулся. Самое любопытное, что интерес к нам ничуть не ослаб, хотя дубинки работали не переставая.

Городские люди-кошки несколько отличались от деревенских.

На их головах блестели плешины, которые, наверное, появились благодаря длительной исторической эволюции и солдатским дубинкам. Оказалось, что солдаты бьют прохожих не просто для того, чтобы расчистить дорогу, но и из высших соображений. Стремясь пролезть вперед, зеваки толкались, пинались и даже кусались. Передние отчаянно обороняли свои позиции, а солдаты колотили всех без разбору, стараясь перевоспитать своих вздорных соплеменников.

Я смотрел на жителей и с любопытством, и с жалостью. Окружающие дома меня не интересовали; они сразу показались мне некрасивыми — во всяком случае, грязными — это ощущал даже мой нос. Если красота и грязь совместимы, то мое суждение о кошачьей архитектуре неверно, хотя я по-прежнему не могу восхищаться дворцом, от которого несет нечистотами.

Итак, я смотрел только на прохожих, но вскоре и это стало мне в тягость, потому что они истошно орали, встретившись со мной взглядом. Городские жители боялись иностранцев меньше, чем деревенские; они вопили преимущественно от изумления, что не мешало им толкать нас или указывать на меня пальцами. Люди-кошки — существа прямодушные: что видят, на то и показывают. Но я все-таки не мог отрешиться от земных понятий и очень страдал от этого. Тысячи пальцев были направлены на меня, словно пистолеты, а за каждым пальцем торчал любопытный нос и блестели круглые глаза. Вот они устремляются к моему лицу, потом скользят к груди, к ногам... Я не поэт, но не лишен воображения; мне казалось, будто эти пальцы, носы и взгляды растворяют меня в толпе, лишают всякой индивидуальности.

Теперь я не смел поднять головы. Это давало мне и некоторые преимущества, так как дорога была вся в колдобинах и зловонных лужах; я бы вывалялся, как свинья, если бы глазел по сторонам. Люди-кошки, наверное, не чинили дорог в течение всей своей многовековой истории, которой они так бахвалились. Я уже начинал ненавидеть историю, особенно многовековую.

К счастью, мы вскоре добрались до жилища Большого Скорпиона. Здесь я окончательно понял, что городские дома людей-кошек мало чем отличаются от жалкой хижины, которая была отведена мне в дурманной роще.

12

Дом Большого Скорпиона, стоявший, как уже говорилось, в центре города, представлял собой четыре высокие стены без окон и дверей. Такими же были и соседние дома, которые я увидел только потому, что к вечеру похолодало и зевак стало поменьше.

Над стеной показалось несколько кошачьих морд. Большой Скорпион что-то крикнул, и морды пропали. Потом снова появились, спустив к нам толстые веревки для тюков. Уже стемнело, на «улице» не осталось ни одного прохожего. Тюки были втащены еще не все, но солдаты забеспокоились, явно не желая продолжать работу, хотя ночью они видели почти так же хорошо, как днем.

Большой Скорпион с величайшим подобострастием спросил меня, не соглашусь ли я ночевать здесь, на оставшихся тюках. Тут я впервые пожалел об электрических фонариках, разбившихся вместе с кораблем. Будь у меня фонарик, я мог бы спокойно, без назойливых провожатых, осмотреть Кошачий город. Все равно, судя по моему деревенскому опыту, ночевать на открытом воздухе не хуже, чем в кошачьем доме, а обозреть это жилище я еще успею. Большой Скорпион очень обрадовался, распустил солдат и, ухватившись за веревку, исчез за стеной.

Я остался один. Дул ветерок, звезды казались ярче обычного — словом, все говорило об осени. Только вонючая канава неподалеку мешала наслаждаться тишиной и ночной прохладой. Чтобы перебить этот запах, а заодно поужинать, я съел несколько дурманных листьев и стал бродить взад-вперед, размышляя над увиденным за день.

Меня одолевало множество вопросов. «Почему люди-кошки, днем такие активные, ночью все прячутся? Может, это вызвано общественным неблагополучием? Как они живут в домах, где нет ни света, ни воздуха, а только вонь, грязь и мухи? А-а, понимаю, они боятся грабежей! Но ведь самый страшный грабеж лучше, чем болезни, которые отнимают тысячи жизней...— Мне снова почудился разящий перст, и я вздрогнул.— Если на такой город обрушится чума или холера, он опустеет буквально за неделю!» Этот город становился мне все противнее: огромной черной тенью лежал он под звездным небом и не издавал ни звука, одну только вонь.

Оттащив несколько тюков подальше от канавы, я лег на них и стал смотреть на звезды. Ложе получилось совсем недурное, но мне по-прежнему было грустно. Я даже начал завидовать людям-кошкам. Они живут хоть и в грязи, но со своими родными, а у меня на Марсе нет никого, кроме звезд да Большого Скорпиона. Я горько усмехнулся, на глаза навернулись слезы.

Уснуть мешала и мысль о том, что мне нужно стеречь дурманные листья. Когда я уже был готов пренебречь своими обязанностями, кто-то похлопал меня по плечу. Я вскочил, протер глаза и увидел двух людей-кошек. Уж не духи ли это — ведь минуту назад здесь никого не было! По-видимому, и цивилизованные люди бывают подвержены суевериям.

Еще не рассмотрев пришельцев, я уже понял, что это не обычные кошки, раз они посмели дотронуться до меня. О пистолете я забыл, как и о том, что я на другой планете. «Садитесь!» — сказал я; это было единственное вежливое кошачье слово, которое мне тогда вспомнилось.

Они спокойно сели. Это еще больше изумило меня: за долгие дни, проведенные мной на Марсе, люди-кошки впервые так свободно принимали мои знаки внимания.

— Мы иностранцы,— сказал тот, что был полнее.— Догадываешься, почему мы об этом говорим?

Я утвердительно кивнул.

— Ты ведь тоже иностранец,— на всякий случай добавил худой.

Они говорили непринужденно и с уважением к собеседнику — не так, как Большой Скорпион, который признавал только собственные лицемерные разглагольствования, не давая другим и слова молвить.

— Я прилетел с Земли.

— О! — удивленно протянули они.— Мы давно мечтали установить связь с другими планетами, но нам это никак не удавалось. Мы чрезвычайно счастливы видеть землянина!

Оба встали, как бы выражая почтение. Я вновь почувствовал себя в человеческом обществе, и мне стало так грустно от воспоминаний, что я забыл ответить на любезность. Они начали расспрашивать меня о Земле. Речь их была простой, ясной, лишенной церемонных красивостей и вместе с тем вежливой — словом, нормальная человеческая речь. Они, конечно, были во сто крат умнее Большого Скорпиона, не говоря уже о прочих людях-кошках, и определенно нравились мне.

Их страна, рассказали они, называется Блестящим государством и лежит в семи днях пути от Кошачьего государства. А тут они занимаются тем же, чем и я,— охраняют рощи местных помещиков.

После того как я расспросил об их родине, толстяк сказал:

— Земной господин! — (Вероятно, это самое лестное обращение, которое он мог для меня придумать.) — Мы хотим сделать вам предложение: забирайте эти тюки и переходите жить к нам.

Я чуть не подскочил от испуга.

— Объясни, пожалуйста,— попросил толстяк худого.— Земной господин, кажется, не понял наших намерений.

— Мы вас напугали? — улыбнулся худой.— Успокойтесь, мы ведь только предложили. Большой Скорпион все равно не оценит вашей преданности и не удивится, если вы измените. Разве вам неизвестны нравы Кошачьего государства?

«Но ведь они тоже кошки!» — мелькнуло у меня в голове.

Он угадал мои мысли:

— Да, наши предки были кошками, как ваши...

— Обезьянами,— подсказал я.

— Совершенно верно. Все мы произошли от достаточно испорченных животных.— Он испытующе взглянул на меня, как бы проверяя, действительно ли я похож на обезьяну.— Но вернемся к дурманным листьям. Большой Скорпион не будет опечален их пропажей. Напротив, он повсюду растрезвонит, что его обворовали, и повысит цену на оставшийся товар. Когда богатого грабят, страдают только бедные.

— Вот именно. Кроме того, я обещал стеречь листья и не хочу поступаться своей совестью.

— Правильно, земной господин. На своей родине мы тоже так рассуждаем, но здесь, в Кошачьем государстве, честность почти бессмысленна. Говоря откровенно, это просто позор, что на Марсе существует такая страна. Мы не считаем ее жителей за людей.

— Тогда мы тем более должны быть честными. Пусть они не люди, но мы-то люди! — твердо сказал я.

— Земной господин,— вмешался толстяк.— Мы совсем не хотим, чтобы вас терзали угрызения совести. Мы пришли предостеречь вас, научить, как не остаться в дураках. Ведь иностранцы должны помогать друг другу.

— Может быть, Кошачье государство потому так и ослабло, что иностранцы объединились против него? — возразил я.

— Отчасти да. Но у нас — я имею в виду на нашей планете — недостаток военной силы никогда не был причиной ослабления международного авторитета. Главной причиной обычно становится нарушение прав человека. С таким государством никто не желает сотрудничать. Мы знаем, что во многом виноваты перед Кошачьей страной, однако вряд ли захотим ссориться из-за нее с другими странами. Хотя на Марсе еще немало слабых государств, они не утратили уважения соседей. Ведь слабость порождается разными причинами: географическое положение, стихийные бедствия — все играет роль. Но соблюдение человеческих норм зависит от самих жителей. Вот вы, например, гость, прилетевший с Земли, вы не раб Большого Скорпиона, а разве он пригласил вас к себе в дом? Угостил? Нет, он интересовался только тем, чтобы вы стерегли его дурманные листья! Я вовсе не подстрекаю вас, а пытаюсь объяснить, почему мы, иностранцы, презираем Кошачье государство.

Толстяк остановился, чтобы перевести дух, и в разговор вступил худой:

— Даже если вы завтра сами попроситесь домой к Большому

Скорпиону, он снова вас не пустит. Почему? Еще узнаете. Сейчас я хочу сообщить вам только одно: здешние иностранцы живут вместе, в западной части города, без всяких национальных различий, как большая семья. На нас двоих возложен прием гостей. Бывалые гости прямо идут к нам, а для встречи новичков мы каждый день посылаем в город дозорных. Почему мы создали отдельную колонию? Потому что отучить местных жителей от грязи совершенно невозможно. Их пища — настоящая отрава, их врачи... А, у них вообще нет врачей! Есть и другие причины, о которых сейчас не время распространяться. Словом, мы пришли позаботиться о вас. Можете нам поверить!

Я верил и даже немного догадывался о причинах, обойденных молчанием. Но я попал в Кошачий город и должен заняться прежде всего им. Вполне возможно, что другие страны еще интереснее — скажем, Блестящее государство наверняка культурнее Кошачьего. И все-таки важнее изучить гибнущую цивилизацию. Я не собирался смотреть на историю глазами пессимиста, а надеялся хоть немного помочь местным жителям. Да, я верил в искренность собеседников, но не мог допустить, чтобы все жители здесь были такими же, как Большой Скорпион.

Гости снова угадали мои мысли.

— Давайте сейчас ничего не решать.— промолвил толстяк.— Когда бы вы ни пришли к нам, мы будем рады. Идти лучше ночью (это не так утомительно!), прямо на запад. До свидания, земной господин!

Они ничуть не рассердились, а по-прежнему вели себя открыто и приветливо. Я был очень благодарен им за понимание.

— Спасибо. Я обязательно приду к вам, но сначала хочу все увидеть собственными глазами.

— Будьте осторожны со здешней едой. До свидания! — повторили они, и я почему-то вновь почувствовал, что поступил правильно, не последовав за ними. Местных жителей можно воспитать, они такие безобидные: солдаты бьют их, а они смеются! Чуть стемнеет, ложатся спать — и ни гу-гу. Да разве такой народ нельзя возродить?! Если у них появится хороший руководитель, они наверняка станут самыми мирными и достойными гражданами.

Я не мог уснуть. В моем воображении рисовались бесчисленные радужные картины: Кошачий город перестроен, превращен в огромный цветник; кругом чистота, порядок, стоят красивые скульптуры, щебечут птицы, играет музыка...

13

Большой Скорпион даже не сказал спасибо за то, что я сберег ему тюки, и не поинтересовался, где я буду спать следующую ночь. Во всяком случае, не в его доме:

— Нет, нет! Если ты будешь жить с нами, тебя перестанут уважать. Ведь ты иностранец. Почему бы тебе не пойти в иностранный квартал?

Какая бесстыдная наглость! Предсказания жителей Блестящего государства сбывались.

Сдержав гнев, я попробовал объяснить, почему мне хочется остаться здесь. Потом намекнул, что готов не жить в его доме, а только посмотреть и уйти. Он вновь не согласился. Этого следовало ожидать: за несколько месяцев, проведенных в роще, я даже не узнал, где он ночует. Сейчас он, наверное, боится, что я проникну в его склад дурманных листьев. Но если бы мне хотелось их украсть, я сделал бы это еще вчера вечером.

Большой Скорпион отрицательно покачал головой: он не может принять меня потому, что у него в доме женщины. Логичный довод, хотя от моего взгляда женщины не пострадают. Впрочем, я уже зарапортовался — Большой Скорпион имел в виду другое.

В эту минуту над стеной выросла голова старого кота — вся седая, похожая на высушенную тыкву с усами. Это появился отец Большого Скорпиона.

— Нам не надо иностранцев! Не надо! Не надо! — замяукал он.

Я чуть не рассмеялся и в то же время почувствовал уважение к старому коту с тыквенной головой: он по крайней мере не боялся сильных, даже презирал их. Презрение, наверное, проистекало от невежества, и все-таки в этом старике было больше человеческого, нежели в Большом Скорпионе.

Тут меня отозвало в сторону какое-то молодое существо, а Большой Скорпион, воспользовавшись случаем, улизнул за стену.

Молодой человек-кошка был сыном Большого Скорпиона. Я очень обрадовался этой встрече: теперь я знаком сразу с тремя поколениями. Хотя старшие поколения еще живы и, по-видимому, сохраняют значительное влияние, они все-таки принадлежат прошлому. Чтобы установить болезнь Кошачьего государства, надо определять его пульс по молодежи.

— Ты издалека? — спросил меня Маленький Скорпион. На самом деле у него было свое имя, но я для простоты буду называть его так.

— Издалека, очень издалека! — воскликнул я.— Скажи, этот старик твой дедушка?

— Да. Он считает, что все беды происходят от иностранцев, и очень боится их.

— Он тоже ест дурманные листья?

— Представь себе, ест, хотя они и завезены из-за границы. Он думает, будто позорит этим иностранцев.

Вокруг уже толпилось немало прохожих, которые смотрели на меня, разинув рты и округлив глаза, словно на чудище.

— Нельзя ли нам найти для беседы местечко поспокойнее?

— Куда мы ни пойдем, они двинутся за нами, так что давай говорить здесь. Они совсем не слушают, только глазеют на тебя.

Прямота Маленького Скорпиона мне очень нравилась.

— Ладно, останемся здесь. Расскажи о своем отце.

— Он прогрессивная личность, по крайней мере был ею до двадцати лет. Тогда он выступал против дурманных листьев, но потом унаследовал дедовскую рощу. Еще он ратовал за свободу для женщин, а сейчас не пускает тебя к нам, потому что у него в доме женщины... Дед часто говорит, что и я таким стану: в зрелые годы все вспоминают заветы предков. Дед, кроме заветов, ничего не знает. Отец — тот немного другой. В молодости он даже подражал иностранцам, а сейчас использует эти знания, чтобы на всем наживаться. Когда надо применить какую-нибудь новинку, он применит ради выгоды, но в главном они с дедом одинаковы.

Рассказ собеседника ошеломил меня, и я зажмурил глаза. Мне показалось, будто он нарисовал картину некоего общественного круговорота: вне круга что-то мерцает, но внутри царит кромешная, все сгущающаяся тьма. Развеется ли когда-нибудь эта тьма, целиком зависит от таких, как Маленький Скорпион, хотя я еще не знал ни его подлинных взглядов, ни его возможностей.

— А ты ешь дурманные листья? — вдруг спросил я, точно в этих листьях крылись истоки всех бед.

— Ем,— ответил Маленький Скорпион.

Намечавшийся было просвет в общественном круговороте померк.

— Почему? Извини за бесцеремонность.

— Потому что без них нельзя бороться.

— Бороться? Может быть, приспосабливаться?

Маленький Скорпион долго молчал.

— Да, пожалуй, приспосабливаться...— ответил он наконец.— Я был за границей, повидал мир, но среди народа, который ничего не желает делать, можно только приспосабливаться, иначе не проживешь.

— А сам ты разве не способен действовать?

— Бесполезно! Что значу я один против этой глупой, наивной, жалкой и переменчивой в своих настроениях толпы; против сол-

дат, которые умеют только махать дубинками, грабить дурманные рощи да насиловать женщин; против многомудрых, корыстолюбивых, близоруких и бесстыдных политиканов?! В конце концов, своя голова дороже...

— И так думает вся молодежь?

— Что? Молодежь? У нас такой нет. Вернее, она только возрастом отличается от старых...— Он, наверное, выругался, но я не понял этого слова.— Наши молодые иногда бывают древнее стариков, похуже моего папаши.

— Надо помнить о влиянии дурной среды,— попытался уточнить я.— Не будем чересчур строги.

— Дурная среда, конечно, мешает, но ведь она способна и пробуждать! Молодежь должна быть живой, а мои сверстники с самого рождения какие-то полумертвые. Они всем недовольны, однако стоит им почуять хоть малейшую выгоду для себя, буквально крохотную, как их добрые побуждения исчезают...

Теперь я уже встревожился:

— Ты, наверное, преувеличиваешь. Не обижайся на мои слова, но стоит ли превращаться в рассудочного пессимиста, которому просто не хватает смелости? Свое неумение действовать ты оправдываешь чужими грехами, поэтому и видишь все в мрачном свете. Оглянись вокруг, и мир не покажется тебе таким безнадежным.

— Возможно,— усмехнулся Маленький Скорпион.— Но эту исследовательскую работу я предоставляю тебе. Ты прибыл издалека и, наверное, увидишь все яснее меня.

Окружавшие нас зеваки в свою очередь уже изучили, как я моргаю и как открываю рот. Теперь их любопытство сосредоточилось на моих штанах. У меня еще была масса вопросов к Маленькому Скорпиону, но вокруг не осталось ни глотка свежего воздуха. Я попросил собеседника найти мне какое-нибудь пристанище. Он сначала тоже посоветовал идти в иностранный квартал, причем его доводы были гораздо философичнее, чем у кошачьих иностранцев.

Наконец он сказал:

— Я не думаю, чтобы ты всерьез занялся изучением нашей жизни — твоя горячность скоро иссякнет. Но если ты в самом деле решил поселиться здесь, я могу подыскать тебе место. Правда, оно хорошо лишь тем, что в том доме не едят дурманных листьев.

— Главное, чтоб было место, а остальное пустяки! — воскликнул я, стараясь отогнать от себя мысль об иностранном квартале.

14

Я поселился в доме посланника. Сам хозяин давно умер, а его вдова имела одну особенность (помимо того, что съездила за границу): не ела дурманных листьев и твердила об этом раз сто на дню. Как бы там ни было, я наконец обрел пристанище и с гордостью молодого котенка полез на стену, чтобы увидеть внутренность городского дома.

Когда я прикоснулся к этой стене, мое сердце слегка екнуло: мне показалось, что стена шатается. Может, я и вру, но глина, которая посыпалась от моего прикосновения, была вполне подлинной.

Вообще стена походила на сыроватую глиняную лепешку, в чем я окончательно убедился, добравшись до верха.

Крыши, как обычно, не было. Что же делается в этом доме во время дождя? Любопытство еще больше вдохновило меня пожить здесь. Внутри дома, в полутора метрах от стены, начинался деревянный помост с дырой, из которой выглядывала вдова посланника.

Ее широкое лицо и пронзительный взгляд меня не удивили, но из-под толстого слоя пудры торчали серые волоски — точь-в-точь тыква, подернутая инеем, да еще глазастая. Это немного смущало.

— Вещи можешь класть на помост, весь верх твой, а вниз не спускайся. Кормлю два раза — на рассвете и в сумерках, не опаздывай. Дурманных листьев мы не едим, плату вперед! — Посланница знала толк в дипломатических отношениях.

Я отсчитал деньги — из тех пятисот национальных престижей, которые еще в деревне получил с Большого Скорпиона. Все мое имущество находилось на мне, это было к лучшему, потому что как-то глупо везти мебель в дом, состоящий из помоста и четырех стен. Достаточно не провалиться в дыру на этом помосте, и все будет в порядке. Правда, опасаться следовало не только дыры: на помосте еще лежал слой глины, запах которой совсем не вязался с моим представлением о посольской резиденции. Сверху будет припекать, снизу вонять. В общем, я понял, почему люди-кошки весь день толкутся на улице.

Не успел я последовать их примеру, как из дыры снова показалась мадам, а вслед за ней — восемь кошек помоложе. Нерешительно озираясь на меня, они попрыгали через стену. Посланница тоже оглянулась, уже со стены, и заговорила:

— Мы уходим, до свидания! Ничего не поделаешь, после смерти мужа все эти дуры свалились на мои плечи. Ни денег, ни мужа, а только восемь молоденьких тварей, за которыми я должна присматривать. Дурманных листьев мы не едим. Муж был посланни-

ком, я — его женой, и вот теперь я должна с утра до вечера следить за этими распутницами!

Теперь ей оставалось только убраться, иначе у нее просто не хватило бы бранных слов. К счастью, она оказалась сообразительной и тотчас исчезла.

Я снова терялся в догадках. Кто эти молодые женщины? Дочери посланника, сестры или наложницы? Скорее, наложницы. Они, наверное, есть и у Большого Скорпиона, поэтому он и не пустил меня к себе. Представляю, какая грязь, неразбериха и вонь царят там, под помостом, где старая кошка стережет восьмерых «распутниц», как она выражается. Напрасно я поселился в таком доме, но деньги уже уплачены, и теперь надо хотя бы взглянуть, что делается внизу. Может быть, воспользоваться отсутствием хозяев? Нет, пожалуй, неловко. Пока я колебался, над стеной опять показалась голова посланницы:

— Скорей выходи из дому, а то знаю вас: подсматривать полезешь!

Смущенно повинуясь, я перелез через стену. Куда же идти? Поговорить можно только с Маленьким Скорпионом, хотя он и скептик. Но где его сейчас найдешь! Дома его, конечно, нет, а искать на улице так же безнадежно, как иголку в море. Я протискивался сквозь толпу и видел вдали дома, которые, наверное, принадлежали аристократии или правительственным учреждениям, потому что они были гораздо выше остальных. Чем дальше от центра, тем меньше и хуже строения — по-видимому, лавки да обиталища бедноты. Уяснив это, в Кошачьем городе очень легко ориентироваться.

Из толпы выбросило стайку женщин-кошек (они обычно светлолицы), которые направились прямо ко мне. Я снова смутился: Большой Скорпион и посланница дали мне понять, что местные женщины очень забиты, а эти бродят, где хотят,— должно быть, легкого поведения. Новичку лучше вести себя осторожнее. Но не успел я ретироваться, как услышал голос Маленького Скорпиона:

— Уже приступил к изучению?

Оказалось, что это он ведет женщин ко мне. В одно мгновение я был окружен.

— Ну как, подарить одну? — смеялся Маленький Скорпион, поглядывая на своих спутниц.— Это Цветок, это Дурман — почище дурманных листьев,— это Звездочка...

Он назвал всех, но я запомнил только часть имен. Дурман подмигнула мне, и я растерялся. Если это проститутки, то мне не мешает подумать о своей репутации, а если порядочные, то как бы их не обидеть. Говоря откровенно, я не очень люблю женщин. Их привычка мазаться, по-моему, свидетельствует о фальши и неис-

крепности. Конечно, некоторые женщины не мажутся, но они тоже притворщицы. В общем, я стараюсь держаться от женщин подальше и уважать их на расстоянии.

Маленький Скорпион, видимо, понял меня и стал шутя отталкивать девушек:

— Идите, идите! Дайте нам пофилософствовать!

Девушки засмеялись, втиснулись в толпу, а я по-прежнему стоял растерянный.

— Старые деятели предпочитают брать наложниц, новые деятели — жениться, а мы, пресыщенные старым и ненавидящие новое, не любим ни наложниц, ни жен,— задумчиво сказал Маленький Скорпион.— Лучше уж просто веселиться. Да, это приспособленчество, но кто устоит от приспособленчества к женщинам?

— Твои спутницы похожи на...— Я не знал, как лучше выразиться.

— Они похожи на всех женщин. Их можно и притеснять, и любить, и уважать, и кормить — кто как хочет. Сами женщины никогда не меняются. Еще моя прабабка пудрилась, то же делают и бабка, и мать, и сестры, и эти девицы, да и внучки этих девиц будут пудриться. Запри их в комнату, они станут пудриться, выпусти на улицу — то же самое.

— Снова за свое! — воскликнул я.

— Что значит — за свое? Признавая женские слабости, мы как раз и проявляем уважение к женщинам. Именно ради них мужчины врут без передышки, превращаются то в святых, то в зверей. А женщины всегда чисты, всегда борются, пудрят лицо, когда оно у них не очень красиво от природы. Если бы мужчины чувствовали, что их собственные лица недостаточно красивы, они бы тоже пудрились, прежде чем без всякого стыда превращаться то в святых, то в зверей.

Я задумался, не понимая, верит ли он сам в свою шутливую теорию. А Маленький Скорпион продолжал:

— Сейчас ты видел так называемых новых женщин, смертельных врагов посланницы и моего отца. Это совсем не значит, что отец готов подраться с ними; он просто ненавидит их за то, что не может продать их как собственных дочерей, либо запереть в доме как наложниц. И нельзя сказать, чтобы они были умнее или сильнее посланницы или моей матери. Они еще больше женщины, еще ленивее, еще меньше склонны к размышлениям, но пудрятся лучше. Они очень милы: даже такой мизантроп, как я, не может не увлечься ими.

— Их что, воспитали в новом духе?

— Воспитали?! — вскричал Маленький Скорпион в каком-то странном возбуждении.— У нас всюду воспитывают, кроме школ.

Дед бранится — воспитание, отец торгует дурманными листьями — воспитание, посланница заживо хоронит восьмерых наложниц мужа — воспитание, вонючая канава на улице — воспитание. Этому служат и солдаты, бьющие людей по головам, и те женщины, которые умеют пудриться лучше других. Когда мне говорят о воспитании, я съедаю лишний десяток дурманных листьев, иначе меня тошнит.

— А здесь много школ?

— Много. Ты разве не видел?

— Нет.

— Надо посмотреть! У нас тут всюду культурные учреждения. Имеют ли они отношение к культуре — это еще вопрос, а учреждения есть,— усмехнулся Маленький Скорпион и вдруг вскинул голову: — Плохо дело, дождь собирается!

Туч на небе было еще мало, но ветер дул все сильнее.

— Пора домой! — сказал Маленький Скорпион, явно побаиваясь дождя.— Когда прояснится, встретимся здесь.

Людской поток понесся, словно подхваченный ураганом. Я тоже бежал, хотя понимал, что в доме без крыши все равно промокну. Мне просто хотелось бежать вместе с остальными и смотреть, как весь город, словно безумный, карабкается на стены.

Ударил новый порыв ветра, небо сразу потемнело, огромная красная молния долетела до самой земли и скрестилась с линией домов. Грянул гром, а за ним посыпались крупные, как куриные яйца, капли дождя. Вдалеке что-то зашелестело, дождь на мгновение утих, небо немного прояснилось — и вдруг опять ветер, новый удар молнии, капли слились в мощные струи. Небо исчезло. Затем струи дождя внезапно изогнулись, задрожали и тоже пропали. Исчезло все, кроме вспышек молнии.

Но я был уже мокрым насквозь и, главное, не мог понять, где мой дом. Отступив от какой-то стены, я ждал новых молний. Мне казалось, что в небе поблескивает глазами гигантский черный дьявол — неудивительно, что этот блеск не помог мне найти дорогу. А, все равно чей дом, полезу, там видно будет! Уже на стене, по знакомому шатанию, я почувствовал, что случайно наткнулся на дом посланницы. Но в этот миг вспыхнула особенно яркая молния, гром обрушился прямо на меня, стена пошатнулась, накренилась, и я, зажмурив глаза, полетел неведомо куда.

15

Громовые раскаты стали отдаляться. Во сне я слышу это или наяву? Я пытаюсь открыть глаза, но не могу, потому что, кажется, вся глина посольского дома облепила мне лицо. Да, это

наяву, я действительно очнулся. Ни руками, ни ногами не могу пошевелить — они завалены камнями, глиной, как будто кто-то воткнул меня в землю вместо семени.

Наконец высвобождаю руки и протираю глаза: дом посланника превратился в бесформенную груду глины. Я приподнимаюсь и зову на помощь, беспокоясь не о себе, а о хозяевах, которые наверняка погребены заживо. Дождь еще капает, на мой крик никто не отзывается. Ведь люди-кошки боятся воды и ни за что не придут, пока небо не прояснится.

Окончательно выбравшись из глины, я начал как сумасшедший разгребать ее, даже не посмотрев, не ранен ли я. Тем временем дождь кончился, и все жители высыпали на улицу. Я снова позвал на помощь, люди-кошки прибежали, но встали в стороне. Пришлось долго объяснять им, что нужно спасать женщин, погребенных в земле. Люди-кошки пододвинулись ближе и снова застыли. Тут я вспомнил, что умолять их бесполезно, и стал искать деньги, которые, к счастью, оказались в кармане:

— Каждый, кто поможет откапывать, получит по одному национальному престижу!

Они оживились, хотя и не очень поверили мне. Я повертел монетой. Зеваки бросились вперед, как осиный рой, но каждый брал лишь по одному камню или кирпичу, явно стараясь на мне нажиться. Ладно, черт с ними, лишь бы помогли откопать. К тому же работа у них, как ни странно, спорилась, точно у муравьев, которые растаскивают кучку риса. Буквально через минуту из-под земли раздался голос. Я было успокоился, но тут же сообразил, что слышно одну хозяйку. Когда разобрали весь завал, я увидел, что она сидит прямо в дыре, а остальные женщины придавлены помостом и не двигаются. Я хотел помочь ей подняться, но она с возмущением оттолкнула мои руки:

— Не трогай меня, я вдова посланника! Сейчас же верните мне все кирпичи, а то я пойду жаловаться Его Величеству!

Глаза у нее были залеплены глиной, но она догадалась, что ее дом растаскивают, зная привычки своих добрых соплеменников.

Впрочем, искать кирпичи было уже бесполезно: некоторые помощники уносили горстями и землю. «Вот до чего доводит людей нищета,— подумал я.— Они считают, что лучше вернуться домой с горстью земли, чем с пустыми руками!»

Посланница соскребла со своей головы глину, обнажив поцарапанные щеки, большую шишку на темени и горящие яростью глаза. Внезапно она бросилась, прихрамывая, за одним из грабителей и с проворством настоящей кошки вцепилась ему зубами в ухо. Тот заорал и начал отбиваться, колотя лапами по ее животу. Долго они крутились на одном месте. Наконец мадам заметила

одну из своих погибших девиц, отпустила обидчика, и он стрелой пустился наутек. Остальные помощники с испуганными вздохами расступились. Обняв труп девушки, старуха горько заплакала.

«Оказывается, она не лишена чувствительности!» — подумал я, но утешать ее не стал, так как вид у нее был бешеный и я опасался за собственные уши.

Вволю наплакавшись, она взглянула на меня:

— Это ты во всем виноват! Ты обрушил мой дом, а они разграбили его. Но вы от меня не убежите! Я пожалуюсь Его Величеству, и он всех вас казнит!

— Я не собираюсь убегать,— тихо сказал я.— Наоборот, я хочу помочь вам.

— Верю тебе, потому что ты иностранец. А на этих мерзавцев придется жаловаться Его Величеству. Пусть он устроит у них обыск и казнит каждого, у кого окажется хоть один кирпич! Я вдова посланника!

Изо рта у нее от ярости брызгала слюна, иногда даже с кровью. Я не знал, действительно ли мадам имеет доступ к императору, но стал успокаивать ее, боясь, что она сошла с ума.

— Давайте сначала похороним их...

— А ты знаешь, как их хоронить? Мне хватало возни с живыми распутницами! Можешь сам ими заниматься!

Я умолк, потому что не имел ни малейшего представления о кошачьих похоронах. Взгляд посланницы стал еще страшнее: слезы в глазах, казалось, высохли от безумного огня, белки излучали какой-то фосфорический блеск.

— Дай хоть тебе пожалуюсь! — закричала она.— Я вдова посланника, дурманных листьев не ем, не имею ни денег, ни мужа, дай хоть тебе пожалуюсь!

Я понял, что старуха действительно сошла с ума: она уже забыла, что считает меня виновником несчастья, и собиралась излить мне душу.

— Вот эту чертовку,— она ткнула пальцем в один из трупов,— мой муж взял, когда ей было всего десять лет. Тельце еще не окрепло, а муж уже лакомился им. Помню, в первый месяц, едва стемнеет, как эта чертовка плачет, зовет папу, маму, меня хватает за руки, умоляет, чтобы я от нее не отходила. Но я добродетельная жена и не могла ссориться с посланником из-за какой-то десятилетней паршивки. Если муж наслаждается, я не мешаю, я жена. А эта чертовка орала благим матом при одном приближении хозяина. Даже когда он наслаждался, она кричала: «Госпожа посланница, госпожа посланница! Милая, спасите меня!» Но разве я похожа на нее, разве я способна мешать господину наслаждаться? Потом она лежала как мертвая — может, притворялась, а мо-

жет, и в самом деле теряла сознание. Мне не было до этого дела. Я пичкала ее лекарствами, едой, а эта тварь даже ни разу не поблагодарила меня! Потом она выросла и так развилась, что сама была готова проглотить посланника. Когда он брал новую девчонку, эта чертовка с утра до вечера рыдала, опять уговаривала меня вмешаться, но ведь я жена посланника! Если он не будет покупать девочек, кто его станет уважать? Она еще винила меня в том, что я не берегу мужа, позволяю ему изнашиваться!

Старуха оттолкнула от себя мертвую кошачью голову и схватила за волосы другую:

— Эта тварь была из проституток. Целыми днями ела дурманные листья и моего мужа пыталась приучить. А разве посланника, который ест дурманные листья, пустят за границу? Я не запрещала мужу якшаться с проститутками, но не могла позволить ему потерять место. Ты даже не представляешь себе, как трудно быть женой посланника! Днем я наблюдала, чтобы эта распутница не воровала дурманных листьев, вечером следила, чтобы она не кормила ими мужа... Проклятая тварь! Она еще удрать хотела все время. Если бы у посланника сбежала наложница, мы были бы навек опозорены!

Глаза посланницы снова вспыхнули, она схватила следующую голову:

— А эта стерва была самой зловредной! Из современных! Не успела еще в дом войти, как потребовала, чтобы посланник всех нас выгнал, одну ее своей женой сделал. Ха-ха-ха! Но где там! Мой муж понравился ей только своим званием. Других наложниц он покупал, а эта сама отдалась ему, даром. Она весь женский род опозорила! Когда она здесь появилась, муж не смел с нами даже слова молвить. И все время таскалась за ним на улицу, в гости, будто законная жена. А я тогда зачем? Я не мешала посланнику покупать девок, это необходимо, но женой была я, и потому следовало ее проучить. Связала раза три, оставила под дождем, вот она и скисла. Стала просить господина, чтобы он отпустил ее домой, говорила, будто он обманул ее... Но разве я могла освободить эту стерву, да еще позволить ей выйти за другого? Нет, такого не бывало!

Трудно, очень трудно быть женой посланника. Ни днем ни ночью я с нее глаз не спускала. К счастью, муж вскоре купил вот эту девку,— Старуха повернулась и ткнула пальцем в следующий труп.— Она ко мне сравнительно неплохо относилась, даже заключила со мной союз против той стервы. Но женщины все одинаковы, без мужчин жить не могут. Когда посланник спал с новой наложницей, та стерва всю ночь ревела, а я тут как тут: «Ты хотела быть законной женой? — спрашиваю.— Жить с господином нераз-

лучно? Посмотри на меня! Настоящая жена не пытается захватить мужа целиком, тем более посланника: это тебе не мелкий лавочник, который всю жизнь довольствуется одной женщиной!»

Мадам снова схватила голову своей соперницы, несколько раз брякнула ею о землю и взглянула на меня. Я в страхе попятился.

— Когда муж был жив, мне даже передохнуть было некогда: одну девку надо бить, другую ругать, третьей остерегаться. Они растранжирили все деньги посланника, высосали из него все силы, а сына ни одного не оставили. Рожать-то рожали, но никто из детей не выжил. Как родится у одной мальчишка, так семеро остальных днем и ночью мечтают его извести, чтобы товарка не завоевала особую любовь хозяина, не стала его главной наложницей. Я-то им не завидовала и не мешала: пусть губят собственных детей, это их дело. Я законная жена, у меня свое положение.

После смерти посланника эти восемь мерзавок достались мне — вместо денег и сыновей! Но позволить им убежать или выйти замуж я не могла. Я с утра до вечера до хрипоты урезонивала их, учила величайшим премудростям жизни. Ты думаешь, они что-нибудь поняли? Вряд ли! Однако я не унывала и продолжала свой благородный труд. На что я надеялась? А ни на что, разве только на то, что мои высокие душевные качества, моя добродетель станут известны Его Величеству и он пожалует мне пенсию, а также большую доску с надписью «Верная и стойкая жена». Но... ты слышал, как я сейчас плакала, слышал?

Я кивнул головой.

— А почему я плакала? Ты думаешь, из-за этих дохлых оборотней? Еще чего! Я оплакивала свою судьбу, судьбу вдовы посланника, которая не ест дурманных листьев и у которой только что обвалился дом. Все, что я создавала, рухнуло! Если Его Величество примет меня и, сидя на своем драгоценном троне, спросит: «Госпожа посланница, в чем твои заслуги?» — что я смогу ответить ему? Я пролепечу, что стерегла восьмерых наложниц умершего мужа, не дала им пасть или убежать. «А где они?» — спросит Его Величество, и тут мне придется сказать, что они умерли. «Где же доказательства твоего подвига?» — снова спросит Его Величество.

Посланница уронила голову на грудь. Я хотел подойти, но боялся, что она примется за меня. Внезапно старуха вскинула голову:

— Вдова посланника, ездившая за границу, не едящая дурманных листьев!.. Пенсия!.. Большая доска!..

Глаза ее остекленели, голова поникла, и она медленно опустилась между двумя мертвыми кошками.

16

Я был подавлен жалобой посланницы, потому что в ее рассказе мне открылась женская доля в Кошачьем государстве за многие столетия. Моя рука перелистала самые мрачные страницы истории, и я не мог больше читать.

Напрасно я не пошел в иностранный квартал, теперь я снова бездомен. Куда же идти? Люди-кошки, помогавшие мне откапывать засыпанных, стояли вокруг, ожидая денег. Правда, они растащили посольскую резиденцию, но ведь это не должно лишить их обещанного вознаграждения. Запустив руку в карман, я достал пятнадцать национальных престижей и швырнул на землю: пусть сами делят. Страшно болела голова — наверное, я заболеваю. Хозяев моих не воскресить, старуха лежала в крови, а глаза ее были широко раскрыты, как будто она и после смерти следила за наложницами мужа. У меня не хватало сил похоронить их, соседям было все равно — в общем, я задыхался от омерзения и отчаяния.

Но не сидеть же здесь, пока трупы не сгниют! Я с трудом поднялся и заковылял, изрядно подорвав веру жителей в силу иностранцев. Улица опять была полна народа. Несколько молодых людей-кошек писали мелом на стенах. Стены уже почти просохли, и едва подул ветерок, как надписи стали ярче: «Движение за чистоту», «Все помыто»... Несмотря на головную боль, я не мог удержаться от хохота. Ловко они работают: после того как дождь вымыл город, наведение чистоты не потребует ни малейших усилий! Даже в вонючей канаве вода стала прозрачной. Движение за чистоту! Ха-ха-ха! Может, я свихнулся? Мне очень хотелось вытащить пистолет и пристрелить тех, кто писал лозунги.

Тут я вспомнил шутку Маленького Скорпиона насчет культурных учреждений и свернул в сторону — не для того, чтобы посмотреть на них, а просто чтобы найти укромный уголок. Мне всегда казалось, что дома на улице должны стоять лицом друг к другу, но тут они стояли спинами. Этот странный порядок градостроительства давно удивлял меня, а сейчас даже заставил забыть про головную боль, хотя я понимал, что он вполне естествен для людей-кошек, которые не очень любят свежий воздух и солнечный свет. Между домами никакого зазора — в общем, это не улица, а фабрика эпидемий. Голова опять разболелась, и я снова затосковал, потому что болезнь на чужбине могла лишить меня всякой возможности вернуться в Китай.

Найдя первое попавшееся место в тени, я лег и тотчас потерял сознание.

Очнулся я уже в комнате, причем очень чистой. Это показалось мне настолько невероятным, что я потрогал свой лоб, вообра-

зив, будто от высокой температуры у меня начались галлюцинации. Но лоб был не очень горячим. Я еще больше удивился и решил опять заснуть, потому что чувствовал себя слабым. Послышались мягкие шаги, я приоткрыл глаза — а, это Дурман, которая почище дурманных листьев! Она подошла и тоже потрогала мой лоб, потом тихо сказала:

— Ему уже лучше.

Совсем открыть глаза я не решался, так как не мог понять, зачем я нужен этой девушке. Но тут вошел Маленький Скорпион, и я успокоился.

— Ну, как он? — спросил мой приятель.

Не дожидаясь, пока Дурман ответит, я открыл глаза.

— А-а, тебе лучше? — обрадовался Маленький Скорпион.

Я сел и постарался тотчас удовлетворить свое любопытство:

— Это твоя комната?

— Наша с ней,— Маленький Скорпион показал на Дурман.— Я с самого начала хотел поселить тебя здесь, но боялся, что отец разозлится. Он ведь считает тебя своей собственностью и не позволяет мне с тобой дружить. Говорит, что у меня и так много иностранных замашек.

— Спасибо вам,— промолвил я, оглядывая комнату.

— Ты, наверное, удивляешься, почему здесь чисто? Это и есть иностранные замашки, о которых говорит мой отец.

Маленький Скорпион и Дурман рассмеялись, а я подумал, что юноша действительно похож на иностранца. Даже его словарь раза в два богаче, чем у отца; по-видимому, многие слова Маленький Скорпион заимствовал из других кошачьих языков.

— Это ваш собственный дом? — спросил я.

— Нет, одно из культурных учреждений; мы просто заняли его. Высокопоставленные люди могут захватывать учреждения. Не уверен, что этот обычай хорош, но мы по крайней мере содержим комнату в чистоте, иначе от культуры и следа бы не осталось. В общем, приспосабливаемся, как ты однажды сказал. Дурман, дай ему еще листьев!

— Я уже ел их?!

— Если б мы не напоили тебя соком дурманных листьев, ты бы никогда не очнулся! Здесь это универсальное средство. Если уж и оно не помогает — значит, пропал человек. У дурманных листьев есть только один изъян: больных лечат, а страну калечат! — сказал Маленький Скорпион со своей скептической усмешкой.

Я выпил еще немного сока и действительно приободрился. Но делать ничего не хотелось. Жители Блестящего государства

и другие иностранцы проявляют большую мудрость, поселяясь отдельно. С кошачьей цивилизацией шутки плохи: стоит приблизиться к ней, как она обволакивает тебя, словно масло, или затягивает, будто водоворот, из которого никогда не выбраться. Лучше не приезжать в Кошачье государство, но, если приехал, неминуемо превратишься в кошку. Вот я не хотел есть дурманных листьев, а каков результат? Все равно ем! Альтернатива абсолютно жесткая: либо ты не здесь и не ешь, либо здесь и ешь. Если бы эта цивилизация охватила весь Марс — а многие жители Кошачьего государства наверняка лелеют такую мечту,— то марсиане вскоре бы вымерли: от грязи, болезней, беспорядка, глупости, темноты. Конечно, в кошачьей цивилизации есть и светлые стороны, но они не способны преодолеть мрак. Мне хотелось думать, что в один прекрасный день этот мрак сгинет под лучами истинного света или будет вытравлен каким-нибудь ядом вроде тех, которыми истребляют микробов. Однако сами люди-кошки об этом не задумываются. Маленький Скорпион, может быть, и задумался, но теперь считает, что шахматная партия проиграна, беспечно смешивает фигуры и смеется над собственным поражением. А остальные люди-кошки просто спят.

Я хотел расспросить Маленького Скорпиона и о политике, и об образовании, и об армии, и о финансах, и о хозяйстве, и о семье...

— В политике я мало понимаю,— сказал он.— Об этом нужно спросить отца, он специалист. Остальное мне более или менее известно, но лучше тебе все-таки самому понаблюдать, а потом уж меня спрашивать. По-настоящему я разбираюсь только в культуре, потому что отец не может за всем уследить и выделил эту область мне. Если ты хочешь осмотреть школы, музеи, библиотеки, тебе достаточно только сказать...

Я почувствовал себя еще лучше, чем после дурманного сока. Благодаря двум Скорпионам я познакомлюсь едва ли не с самыми главными областями жизни в Кошачьем государстве — политикой и культурой! Но могу ли я остаться жить в этой чистенькой комнате? Честно говоря, у меня не было ни малейшего желания покидать ее и в то же время не хотелось оказаться в роли просителя. Ладно, подожду, пока хозяева сами решат.

Маленький Скорпион осведомился, что я намерен осмотреть прежде всего. К моему стыду, мне по-прежнему было лень двигаться, поэтому я попросил его рассказать о своей жизни. Он усмехнулся. Эта усмешка всякий раз казалась мне и милой, и неприятной: он явно чувствовал свое превосходство над другими людьми-кошками, но не желал ничего делать, боясь испачкать лапы! Он, наверное, страдал из-за того, что родился в Кошачьем

государстве, воображал себя единственной розой среди чертополоха, а я не люблю зазнайства.

— О детстве моем рассказывать неинтересно,— начал Маленький Скорпион, сидя рядом с Дурман, которая глядела на него во все глаза.— Родители меня любили, но это не моя заслуга. Дед тоже любил — и в этом нет ничего удивительного, потому что все дедушки обожают своих внуков.— Он задумался, поднял голову, и Дурман последовала за ним взглядом.— Впрочем, есть одна деталь, о которой тебе стоит знать, хотя мне не очень приятно о ней говорить: моей кормилицей была проститутка. Это считалось в нашей семье вполне естественным, как и то, что мне нельзя было играть с другими детьми. Ты спросишь, почему проститутка согласилась возиться с ребенком? Из-за денег. У нас говорят, что «деньги даже чертей привлекают». Наняли ее потому, что проститутки считаются лучшими воспитателями для мальчиков, а солдаты — для девочек. Просветившись в вопросах пола, дети рано женятся, сами рожают детей и тем ублажают своих предков.

Всей науке Кошачьего государства меня обучали, кроме проститутки, пятеро учителей, похожих на чурбаны. Потом один из этих учителей перестал походить на чурбан и сбежал с моей кормилицей, а остальные постепенно уволились. Когда я вырос, отец послал меня за границу. Он считал, что человек, умеющий сказать несколько фраз на иностранном языке, постиг все премудрости, а ему нужен был эрудированный сын. За границей я прожил четыре года, все посмотрел, но вопреки надеждам отца не все постиг, а только набрался иностранных замашек. К счастью, он не перестал из-за этого любить меня, по-прежнему дает мне деньги, и я имею возможность веселиться со Звездочкой, Цветком и Дурман. Внешне я наследник отца, его полномочный представитель в вопросах культуры, а фактически — всего лишь паразит. На дурные дела я не размениваюсь, но и на хорошие не способен. Приспосабливаюсь — мне все больше нравится это слово! — улыбнулся Маленький Скорпион, и Дурман засмеялась вместе с ним.

— Дурман — моя подруга,— продолжал Маленький Скорпион, предвосхитив мой вопрос,— подруга, с которой я живу помимо жены. Это тоже иностранная привычка. Кормилица меня уже к шести годам всему научила, так что в двенадцать лет, когда я женился, меня отнюдь нельзя было назвать профаном. Моя жена все умеет, особенно рожать; отличная женщина, как говорит мой отец. Но мне больше нравится Дурман. У отца двенадцать наложниц, поэтому он и меня убеждает взять Дурман в наложницы, хотя ненавидит ее. Ко мне он относится лучше, потому что объясняет все иностранными замашками, но иногда злится и на

меня. Дело в том, что мое сожительство с Дурман производит сильное впечатление на нашу молодежь. Ты ведь знаешь, что отношения мужчин и женщин у нас сводятся только к блуду. Ради этого женятся, берут наложниц, ходят к проституткам, заключают свободные союзы. На первом месте — дурманные листья, на втором — блуд. Поскольку для молодежи я образец, теперь все, помимо жен, имеют любовниц. Но старики ненавидят меня до мозга костей, потому что от жен и наложниц родятся дети, а для любовниц по иностранному обычаю нужно снимать специальное жилье, тратить деньги, ссориться с родителями, если денег не хватает. В общем, мы с Дурман большие преступники.

— А совсем порвать с семьей ты не можешь? — спросил я.

— Что ты! Денег нет. Свободный союз — иностранный обычай, но он отнюдь не устраняет национальную привычку требовать деньги у стариков. Если эти обычаи не примирить, и приспособленчества не получится.

— Почему же старики не разлучат вас?

— А что они могут сделать? Раз они сами признают, что женщины существуют только для постели, и держат наложниц, то им трудно бороться со свободным браком. Ни они, ни мы — никто ничего не может поделать. Старики домогаются наложниц, молодые — свободы; внешне идет борьба за принципы, а на самом деле за сожительство с кем захочешь. Во всех случаях рождается множество котят, которых некому ни кормить, ни воспитывать. Так делали и деды, и отцы, и мы так делаем. На свете нет ничего противнее ответственности.

— Но как сами женщины мирятся с таким положением?

— Скажи, Дурман! Ты ведь женщина! — попросил Маленький Скорпион.

— Я? Я люблю тебя, и мне нечего больше сказать. Если ты хочешь вернуться к жене, которая умеет рожать, иди. Когда я узнаю, что ты разлюбил меня, я просто съем сорок дурманных листьев — и все будет кончено!..

17

Комната осталась за мной, хотя ни я, ни Маленький Скорпион не говорили об этом. На следующий же день я начал свою исследовательскую работу. Никакого определенного плана у меня не было: просто ходил и смотрел.

В конце улицы дети почти не показывались — все они сосредоточились здесь, около культурных учреждений, и я обрадовал-

ся: по-видимому, люди-кошки не забывают своих детей, воспитывают их, построили для них школы.

Кошачьи дети — самые жизнерадостные существа в мире. Грязные (невероятно грязные, невозможно описать, до чего грязные!), худые, вонючие, уродливые, безносые, прыщавые, но очень жизнерадостные. Я увидел одного мальчишку, у которого физиономия вспухла, как глиняный горшок, рот даже закрыться не мог, щеки в кровь исцарапаны, а он прыгал, бегал и смеялся вместе со всеми. Мое радужное настроение моментально улетучилось. Я не мог представить себе такого мальчишку в нормальной семье или школе. Да, он очень живой, но только общество идиотов могло породить грязных, худых, вонючих, уродливых, безносых и все-таки жизнерадостных детей. Это отражение взрослых и наказание им. Когда эти дети вырастут, страна станет еще грязнее, вонючее и уродливее. Я снова увидел перст судьбы, занесенный над Кошачьим государством. Многоженство, свободные союзы, блуд — и ни единой мысли о будущем. Беспечные черти!

Но я все-таки не хотел спешить с заключениями и вслед за детьми направился к школе. Это была пустая площадка, окруженная стеной. Дети вошли в ворота, а я стал наблюдать с улицы. Одни школьники катались по земле, другие лезли на стену, третьи что-то рисовали на ней, четвертые заглядывали друг другу промеж ног. Учителей не было. Наконец вдали появились трое взрослых, худых как скелеты. Казалось, они с самого рождения ни разу не ели досыта. Учителя — их профессию было теперь легко определить — шли медленно, держась за стену, при каждом дуновении ветерка останавливались и долго дрожали. Когда они вползли в ворота, школьники продолжали кататься, шуметь, безобразничать. Чтобы отдышаться, учителя сели на землю, закрыли глаза и заткнули уши, так как дети шумели все громче. Потом учителя поднялись и стали уговаривать детей сесть, но те, видимо, решили ни за что не соглашаться. Промучившись примерно с час, учителя догадались воскликнуть: «За воротами иностранец!» Тут дети плюхнулись на землю и уже больше не смели повернуть головы.

Один из учителей заговорил:

— Первым делом споем государственный гимн.

Никто не пел; все оторопело смотрели на учителя.

— Тогда восславим императора!

Все по-прежнему молчали.

— Помолимся богам!

Тут дети, не выдержав, начали толкать друг друга, кричать и ругаться.

— За воротами иностранец!

Школьники снова притихли.

— С вами хочет говорить директор.

Директор вышел вперед и воззрился на склоненные головы.

— Сегодня для вас торжественный день, вы кончаете институт...

Я чуть не упал в обморок. Как?! Это институт, и эти сопляки кончают его? Но не надо давать волю чувствам, лучше внимательно послушать.

— Вы кончаете высшее учебное заведение,— продолжал директор,— и должны осознать, какая это торжественная минута. Теперь вы овладели всеми науками, и важнейшие дела государства легли на ваши плечи. Это огромная честь! — Директор протяжно и громко зевнул.— Все!

Преподаватели яростно зааплодировали, а «студенты» снова начали шуметь.

— Иностранец!

Все стихли.

— Слово преподавателям.

Преподаватели долго пререкались, уступая друг другу очередь. Наконец один из них, особенно худой, сделал шаг вперед. Я сразу понял, что этот господин — пессимист, потому что в уголках его глаз висели две огромные слезы.

— Господа,— сказал он с невыразимой печалью.— Сегодня вы кончаете высшее учебное заведение и должны осознать, какая это торжественная минута.— Одна из его слезищ капнула.— В нашей стране все учебные заведения высшие, это особенно приятно! — Упала вторая слезища.— Не забудьте добро, которое делали вам директор и преподаватели. Для нас большая честь быть вашими учителями, но вчера вечером умерла от голода моя жена, это...— Он долго боролся с собой и наконец взял себя в руки.— Не забудьте своих учителей, помогайте им чем можете: деньгами или дурманными листьями. Вы, наверное, знаете, что мы уже двадцать пять лет не получаем жалованья. Господа!..— Он не мог больше продолжать и, пошатнувшись, сел на землю.

— Сейчас будут выдаваться дипломы.

Директор вытащил из-под стены кучу каменных пластинок, на которых было что-то изображено (что именно, я не разглядел), положил их перед собой и произнес:

— Вы все заняли первое место, можете гордиться! Теперь подходите и берите любой диплом. Они абсолютно одинаковые, потому что все вы заняли первое место. Торжественное собрание объявляю закрытым.

Преподаватели медленно поднялись и вслед за директором побрели к воротам. Но студенты даже не думали о дипломах — они

предпочли снова лезть на стены, орать или кубарем кататься по земле.

«Что за чертовщина?!» — подумал я и пошел за разъяснениями к Маленькому Скорпиону. Его не оказалось дома; пришлось вернуться и продолжить наблюдения.

Наискосок от «института», который я только что осмотрел, было другое учебное заведение, наполненное юнцами лет по пятнадцати-шестнадцати. Несколько юнцов прижали кого-то к земле и явно пытались его оперировать. Рядом группа учащихся связывала сразу двоих. Это, наверное, был семинар по биологии. Хотя подобные опыты показались мне слишком жестокими, я решил досмотреть до конца. Между тем связанных бросили к стене, а у оперируемого действительно отрезали руку и подкинули ее в воздух!

— Посмотрим, как он теперь будет руководить нами, дохлая тварь! — кричали юнцы.— Ты хотел, чтобы мы учились? Не разрешал трогать девушек? Общество разложилось, а ты заставлял нас учиться и еще не позволял спариваться в школе? Вырвать у негодяя сердце!

В воздух взлетело что-то кроваво-красное.

— Тех двоих связали? Тащите сюда одного!

— Директора или историка?

— Директора!

Я застыл от ужаса. Оказывается, они резали учителей! Вполне возможно, что эти учителя ничего хорошего не заслуживали, но я никогда не видел, чтобы школьники сами чинили расправу, да еще такую жестокую. Взбешенный этим фантастическим произволом, я выхватил пистолет и нажал курок, забыв, что для людей-кошек достаточно одного моего окрика. Отсыревшие после дождя стены не выдержали натиска убегавших и рухнули, завалив и учителей, и их убийц. Я растерялся. Конечно, директор заслуживал смерти: засыпал в стену какую-то труху, а деньги, отпущенные на строительство школы, небось присвоил. Однако надо помочь придавленным. Я лихорадочно бросился разгребать мусор и вытащил многих, но каждый убегал от меня как сумасшедший, даже не стряхнув с себя грязи. Тяжелораненых не было. Я облегченно вздохнул и даже нашел это приключение забавным. В конце концов удалось извлечь директора и уцелевшего преподавателя, которые не убежали, потому что были связаны. Оттащив их в сторону, я стал ворошить ногами мусор, стараясь определить, нет ли там еще кого-нибудь. Но больше никого не осталось, и я вернулся к связанным, чтобы снять с них путы.

К счастью, они очнулись без всякого лекарства, которого у меня не было, и медленно сели, со страхом озираясь по сторо-

нам. Я усмехнулся и задал первый из множества интересовавших меня вопросов:

— Кто из вас директор?

Они испуганно переглянулись и показали друг на друга.

«Совсем ошалели»,— подумал я.

Они так же медленно поднялись, закивали головами и вдруг побежали, точно две стрекозы, гоняющиеся друг за другом. Я решил, что они хотят размяться, но их уже и след простыл. Состязаться с людьми-кошками в беге было бесполезно. Я вздохнул и сел на землю.

Вот оно в чем дело! Едва очнувшись, они уже дрожали за свою шкуру, поэтому и показывали друг на друга, считая, что я тоже хочу убить директора! Я горько засмеялся — не над ними, а над обществом, в котором они живут. Всюду у них царит подозрительность, эгоизм, подлость, жестокость. Ни капли доверия, широты, благородства! Раз ученики режут директора, значит, он не смеет назваться директором даже перед другими. Мрак, мрак, беспросветный мрак! Неужели они не видели, что я их спас? А-а, им, наверное, никогда и никто не помогал! Я вспомнил посланницу с ее молодыми кошками. Должно быть, они до сих пор там гниют. Директора, преподаватели, учителя, посланницы, молодые распутницы... Где же люди? И вообще: что вокруг происходит?!

Чуть не заплакав, я снова отправился за объяснениями к Маленькому Скорпиону.

18

Вот что рассказал Маленький Скорпион:

— Кошачье государство очень древнее и имело свою систему образования еще тогда, когда многие страны Марса были населены дикарями. Но современные учебные заведения, которые ты сегодня видел, мы заимствовали из-за границы. Это отнюдь не значит, что подражание вредно; напротив, оно необходимо и является одной из движущих сил прогресса. Кроме того, оно показывает, кто вырвался вперед, а кто отстал. Недаром нашу систему образования никто не заимствовал, а мы были вынуждены заняться подражанием еще двести с лишним лет тому назад. Если бы мы подражали правильно, то давно стали бы вровень с другими государствами, но мы даже подражать не умеем как следует, и получилась у нас одна глупость. Собственное не развили, чужому не научились... Да, я пессимист и считаю свою родину

слабой. Переделывать ее смешно, так же как и надеяться на теперешнее образование.

Ты спрашиваешь, почему детишки у нас учатся в институтах? Ты слишком наивен, вернее, недогадлив. Эти дети совсем не учились, они пришли сегодня впервые. Если уж разыгрывать комедию, так до конца — этим только мы и славимся. История нашего образования за последние двести лет — это история анекдотов; сейчас мы добрались до заключительной страницы, и ни один умник уже не способен выдумать анекдот смешнее предыдущего.

Когда новое образование еще только вводилось, в школах существовали разные классы, учеников оценивали по качеству знаний, но постепенно экзамены были упразднены (как символ отсталости), и ученик кончал школу, даже не посещая ее.

К сожалению, выпускники начальных школ и университетов пользовались неравными привилегиями, и это вызвало недовольство учащихся начальной школы: «Ведь мы ходим на уроки не меньше, чем студенты». Тогда была проведена кардинальная реформа, согласно которой день поступления в школу считался одновременно днем окончания университета. А потом... Прости, «потом» не было Какое тут может быть «потом»?

Реформа оказалась прекрасной — для Кошачьего государства. По статистическим подсчетам, наша страна сразу заняла первое место на Марсе по числу людей с высшим образованием. Мы очень обрадовались, хотя и не возгордились: люди-кошки любят только факты. Это же факт, что у нас больше всего людей с высшим образованием, поэтому все удовлетворенно улыбались. Император был доволен реформой, потому что она свидетельствовала о его любви к народу, к просвещению. Учителя были довольны тем, что все они стали преподавателями университетов, все учебные заведения превратились в высшие, а все ученики стали первыми. Отцы семейств с удовлетворением взирали на своих семилетних сопляков, которые кончали университеты, так как умные дети — гордость родителей. Об учениках я уже не говорю: они были просто счастливы, что родились в Кошачьем государстве. Достаточно им было не умереть к семилетнему возрасту, как высшее образование обеспечено.

Еще больший эффект принесла эта реформа с экономической точки зрения. Раньше императору приходилось ежегодно выделять средства на образование, а образованные люди часто выступали против двора. За свои же деньги такие неприятности! Теперь стало совсем иначе: император не тратил ни монеты, число людей с высшим образованием все увеличивалось и ни один из них даже не думал затронуть Его Величество. Правда,

многие учителя померли с голоду, но это было гораздо бескровнее, чем прежде, когда преподаватели ради заработка подсиживали друг друга, ежедневно губили нескольких сотоварищей и подбивали студентов на волнения. Сейчас император просто не давал им жалованья, из-за которого можно было бы соперничать. На протесты Его Величество не обращал внимания или посылал в качестве арбитров солдат. Прежде студенты защищали учителей, но теперь учащиеся непрерывно менялись и помогать никому не желали. Преподавателям оставалось только ждать голодной смерти, а это смерть благородная, против нее император не возражал.

Разрешилась и проблема платы за обучение. Теперь отцам семейств достаточно было послать ребенка в школу и дать ему немного еды, если она была. Если же еды не было, то не все ли равно, где голодать: дома или в школе? По крайней мере отпрыск получит высшее образование. На книги и письменные принадлежности тратиться не приходилось, потому что в школу ходили не учиться, а получать диплом. Ну скажи, разве не прекрасная реформа?

Ты спрашиваешь, почему люди еще соглашаются быть директорами или преподавателями? Это связано с двухвековой исторической эволюцией.

Сначала предметы в школах были разные и специалисты из этих школ выходили разные. Одни изучали промышленность, другие — торговлю, третьи — сельское хозяйство... Но что они могли делать после окончания? Для тех, кто изучал машины, мы не создали современной промышленности; изучавшие торговлю были вынуждены становиться лоточниками, а стоило им начать дело покрупнее, как их грабили военные; специалистам по сельскому хозяйству приходилось выращивать только дурманные листья. Словом, школы никак не были связаны с жизнью, и у выпускников оставалось два основных пути: в чиновники или в преподаватели. Для того чтобы стать чиновником, нужно иметь деньги и связи, лучше всего при дворе, тогда ты одним скачком мог оказаться на небе. Но у многих ли бывают сразу и деньги, и связи? Большинству приходилось идти в учителя, потому что люди с образованием не хотели быть ремесленниками или лоточниками.

Постепенно общество разделилось на два класса: дипломированных и недипломированных. Первые рвались в чиновники или в преподаватели, а вторые довольствовались ролью простолюдинов. Сейчас я не буду говорить, как это повлияло на политику, но система образования превратилась в заколдованный круг. Скажем, я закончил школу и начал учить твоих детей, твои дети закончили школу и начали учить моих внуков... Учили все время одному и тому же, учителя деградировали, окончивших школу становилось

все больше; некоторые получали чиновничьи должности, но остальные выпускники снова начинали преподавать. А откуда наберешь столько школ? Опять анекдот! Это циклическое образование основывалось лишь на нескольких канонизированных учебниках и совершенно не требовало нравственного воспитания. О благородстве и добродетели давно забыли. Неудивительно, что борьба за преподавательские места иногда выливалась в настоящую войну с кровопролитиями и убийствами,— войну, которую объясняли тягой к просвещению.

Тем временем император, политики и военные начали присваивать учительское жалованье, и учителя, вынужденные клянчить себе на пропитание, по существу, перестали заниматься чем-либо другим. Учащиеся раскусили их, прекратили ходить на уроки и подняли движение, о котором я только что говорил,— за то, чтобы кончать школу, не учась. Император, политики и военные поддержали эту кампанию и совсем перестали выделять средства на просвещение — им давно уже казалось, что учителя вовсе не нужны. Но школы они не могли закрыть, боясь насмешек иностранцев, поэтому объявили о праве кончать университет в один день. Так циклическая система обучения превратилась во всеобщее обучение — точнее, в отсутствие всякого обучения. Школы по-прежнему были открыты, а расходов — ни гроша.

В разгар этого движения наставники молодежи отнюдь не утратили интереса к науке: днем и ночью они сражались за школьное имущество, например за столы и стулья. Когда ассигнования на школы были прекращены, директора и преподаватели стали тайком распродавать это имущество, стремясь перейти в те школы, где столов и стульев осталось больше. Снова грянули кровопролитные бои. Но император был гуманен и не мог запретить преподавателям, которых он сам разорил, торговать столами и стульями. Постепенно школы превратились в рынки, а затем — в пустыри, окруженные стенами.

Теперь ты сам можешь понять, откуда берутся директора и учителя. Ведь все равно деваться некуда, почему бы не послужить? К тому же преподавательское звание почетно: студент превращается в учителя, учитель в директора школы — так создается иллюзия продвижения по служебной лестнице. Жалованья преподавателям не платят, но иногда они могут стать чиновниками, а это уже не шутка.

Если в школе ничему не учат, то как научиться читать? Для этого надо тряхнуть стариной и пригласить частного учителя. Конечно, это доступно только богатым — большинство детей вынуждено ходить в школы.

Раньше в школах чему-то учили. Но ведь наука непрестанно

движется вперед, ищет истину, а когда эта наука попадала к нам, она седела и плесневела. Мы как будто отреза́ли кусок чужого мяса, налепляли его на себя и ничуть не заботились о том, чтобы оно приросло. Зазубрив кучу сведений, мы не умели самостоятельно мыслить, что и привело к циклической системе обучения. Это было профанацией науки, но тогда люди по крайней мере верили, что налепленный кусок чужого мяса сделает нас бессмертными, поставит Кошачье государство вровень с другими странами. Такое самодовольство еще более или менее простительно. А сейчас все думают, что школы предназначены лишь для борьбы за директорские места, для избиения преподавателей и всевозможных шумих. Все это смешивают с новыми иностранными знаниями, которые тут же оказываются «вредными» для страны. Так от профанации наук мы перешли к их ниспровержению.

В домашних условиях новые знания тоже нельзя получить: с частным учителем штудируют только древние каменные книги, которые за последнее время подорожали раз в десять. Мой дед страшно доволен этим, считает, что национальный дух, национальные традиции одолели всю эту иностранщину, заморскую науку. Отец также доволен, но по другой причине: он послал меня за границу специально для того, чтобы я выучился разным новациям и помог ему обманывать владельцев каменных книг. Как человек хитрый, он понимает, что расцвет государства могут обеспечить только люди, приобщенные к иностранной учености. Однако большинство наших граждан солидарны с дедом, воображая, будто новые науки — это дьявольские фокусы, которыми морочат людям голову, натравливают молодежь на родителей, на учителей и так далее. От подобного ниспровержения наук очень близко до гибели государства.

Ты спрашиваешь, чем вызван крах нашей системы образования? Я не знаю точно, думаю, что утратой нравственного начала. Едва новые науки появились у нас, как их стали использовать только для наживы, для создания всяких ценных безделушек, а не для познания истин, которые можно передать потомкам. Это подорвало главнейшую основу воспитания — обязанность наставников формировать личность, развивать способность к самостоятельному мышлению. В новых школах не оказалось таких людей: директора и преподаватели ссорились из-за денег, ученики готовились к тому же — словом, в школах занимались чем угодно, кроме воспитания.

Принципиальности не было ни у императора, ни у политиков, ни у народа — естественно, что страна обеднела, а в стране, где даже едят не досыта, люди еще больше теряют человеческий облик. Но это не оправдывает воспитателей. Они должны были понимать, что страну можно спасти только знаниями и высокой

нравственностью, должны были пожертвовать своей мелкой выгодой, раз уж согласились стать директорами школ или учителями. Возможно, я предъявляю к ним чрезмерные требования. Все люди боятся голодной смерти — от проститутки до преподавателя; я, пожалуй, не имею права упрекать их. Однако есть ведь женщины, которые готовы умереть, но не торговать собой. Так почему же мои соотечественники, занимающиеся воспитанием, не могли стиснуть зубы и сохранить в себе хоть каплю человеческого достоинства?

Конечно, правительство всегда обижает честных людей, и обижает тем больше, чем они честнее. Но даже самое дурное правительство не может вовсе не считаться с народом. Если бы наши воспитатели были настоящими людьми и пытались вырастить таких же настоящих людей, общество рано или поздно оценило бы их усилия. А когда эти люди принесли бы пользу стране, задумалось бы и правительство, которое сейчас презирает образование и не дает на него средств.

У нас часто говорят, что страна погружена во мрак. Но кто должен нести нам свет, как не интеллигенты? Если они не будут помнить о своей ответственности, не будут чувствовать себя звездами в темной ночи, у нас не останется никакой надежды. Мой взгляд односторонен, идеалистичен, и все же без идеала существовать нельзя. Я знаю, что ни правительство, ни общество не любят помогать интеллигенции, но ведь темному народу вообще никто не будет помогать!

Ты видел, как режут преподавателей? Удивляться нечему — это результат воспитания. Когда жестоки учителя, жестоки и ученики: они деградируют, впадают в первобытное состояние. Прогресс человечества идет очень медленно, а регресс — мгновенно. Стоит утратить гуманность, и ты снова дикарь. К тому же наши «новые» школы существуют больше двухсот лет, а все это время ежедневно шли драки между директорами, преподавателями, учащимися. Битье особенно способствует одичанию, поэтому убийство нескольких директоров или преподавателей сейчас самое заурядное явление. И не сокрушайся о них: благодаря циклической системе учащиеся в свою очередь станут директорами или преподавателями, и их тоже начнут резать.

В этом мрачном обществе люди звереют, едва родившись на свет. Они рыщут повсюду за лакомым куском, за любой ничтожной выгодой и всегда готовы пустить в ход и зубы, и когти. Ради какого-нибудь дурманного листа они способны усеять землю трупами. Всевозможные волнения естественны для молодежи, но у нас они приобретают особый характер. Ухватившись за какой-нибудь громкий лозунг, учащиеся рушат дома, ломают вещи, а затем раз-

воровывают кирпичи и всякие обломки. Отцы семейств очень довольны этим, потому что после каждого студенческого волнения в доме оказывается несколько лишних палок или кирпичей. Уцелевшие директора школ и преподаватели получают новый повод для воровства — в общем, все они негодяи, мечтающие проглотить друг друга. Таково наше воспитание. Оно превращает человека в зверя — значит, его нельзя назвать бездейственным!

19

Слушая Маленького Скорпиона, я не мог не учитывать его склонности к скепсису, но ведь убийство преподавателей совершилось на моих глазах. Как бы я ни сомневался в пессимистических выводах собеседника, возразить было нечего, поэтому я спросил:

— А есть ли у вас ученые?

— Есть, и очень много! — не без иронии ответил Маленький Скорпион.— Обилие ученых свидетельствует либо о расцвете культуры, либо о ее упадке. Смотря по тому, что понимать под учеными. Я не собираюсь давать собственное определение, но, если ты хочешь посмотреть на наших ученых, могу кликнуть.

— То есть пригласить?

— Кликнуть! На приглашение они как раз не откликнутся — ты еще их не знаешь. Дурман, тащи сюда нескольких мудрецов, скажи, что я дам им листьев! Пусть Звездочка и Цветок помогут тебе.

Девушка со смехом вышла. Мне так хотелось видеть ученых, что я забыл о других вопросах, которые берег для Маленького Скорпиона. Мы молча сидели и жевали дурманные листья; наконец появилась Дурман с подругами, пока что без ученых. Они сели вокруг меня.

— Осторожнее, назревает допрос! — шутливо предупредил Маленький Скорпион.

Девушки захихикали.

— Мы в самом деле хотим кое о чем спросить. Можно? — начала Дурман.

— Пожалуйста, только я не мастер любезничать,— ответил я, невольно подражая тону Маленького Скорпиона.

— Скажи, как выглядят ваши женщины? — выпалили все единым духом.

Я почувствовал, что могу потрясти их воображение:

— Наши женщины тоже пудрятся,— (все ахнули),— но выделывают разные красивые штуки и со своими волосами: то отращивают их, то подрезают, то расчесывают на пробор, то укладывают

в пучок, то мажут ароматным маслом или обрызгивают духами.— (Мои слушательницы взглянули на свои куцые волосы и разочарованно закрыли широко разинутые рты.) — В уши они вдевают серьги с жемчугом или драгоценными камнями, которые колышутся и поблескивают, когда женщина ходит.— (Девушки схватились за свои крохотные ушки, а одна — кажется, Цветок — попыталась немного вытянуть их.) — Руки, ноги и шею они часто оставляют открытыми, но остальное закрывают: это еще соблазнительнее, чем ходить совсем голыми.— Я нарочно подсмеивался над девушками.— Голый человек может пленить только красотой тела, но оно у всех почти одинаково, а разноцветные одежды придают ему особую прелесть. Поэтому-то наши женщины и одеваются, даже летом, хотя они не прочь покрасоваться в чем мать родила. Еще они носят туфли — кожаные, матерчатые, с высокими каблуками, с острыми носами, иногда вышитые или разукрашенные. Ну как, нравится? — (Никто не ответил, рты девушек походили на букву «о».) — В той стране, где я родился, женщины раньше бинтовали ноги, и они у них были совсем маленькие. Сейчас уже перестали бинтовать...

— Почему?! — закричали все, не дожидаясь продолжения.— Глупые! Ведь маленькие ножки — это так красиво!

Видя, что девушки совсем потрясены, я пошел на попятный:

— Не волнуйтесь! Дайте договорить! Они перестали бинтовать ноги, но зато начали носить туфли на высоком каблуке и стали выше, стройнее. Правда, при этом у них искривились кости, и им иногда приходится ходить, держась за стены. Они часто ковыляют, падают, особенно если каблук сломается...

Все притихли, проникшись уважением к земным женщинам, и спрятали собственные ноги. Я уже хотел переменить тему разговора, но туфли на высоком каблуке оказались слишком притягательными.

— А какой высоты эти каблуки? — спросила одна.

— На туфлях рисуют цветы, да? — подхватила другая.

— Когда идешь, каблучки стучат?

— Как же искривились кости? Сами собой — или нужно сначала искривить кости, а потом туфли надевать?

— Ты говорил про кожаные туфли. Человеческая кожа для них годится?

— А какие вышивки, какого цвета?

Я мог бы крупно разбогатеть, если бы умел выделывать кожу или шить туфли. Но едва я успел сообщить, что наши женщины умеют не только наряжаться, как пришли ученые.

— Дурман,— сказал Маленький Скорпион,— приготовь сок из листьев. А вы,— обратился он к остальным девушкам,— идите об-

суждать туфли на высоком каблуке куда-нибудь в другое место.

Ученых явилось сразу восемь. Поклонившись Маленькому Скорпиону, они сели на пол и возвели очи горе. Меня они не удостоили даже взглядом.

Дурман дала им по чашке сока, они выпили и закрыли глаза, давая понять, что решительно не желают смотреть на меня. Это было очень кстати, потому что так я мог подробно рассмотреть их.

Все ученые оказались страшно худыми и грязными; даже их маленькие уши были набиты грязью. Их движения казались еще более медленными и вкрадчивыми, чем у Большого Скорпиона.

Сок дурманных листьев, видимо, произвел свое действие: они открыли глаза и снова устремили их ввысь. Наконец один из мудрецов заговорил:

— Я первый ученый во всем Кошачьем государстве!

Он бросил взгляд вокруг и даже задел им меня. Остальные ученые беспокойно зашевелились, стали чесаться, скрипеть зубами, грызть когти и хором воскликнули:

— Ты первый? Ты такой же мерзавец, как твой отец и дед!

Я подумал, что они кинутся друг на друга, но первый ученый, видимо привыкший к ругани, засмеялся:

— Наш род уже три поколения изучает астрономию. Астрономию! А вы кто такие? Заморские астрономы используют множество всяких приборов, подзорных труб, а мы уже три поколения наблюдаем звезды простым глазом — вот где настоящие способности! Мы изучаем влияние звезд на человеческую судьбу, на счастье и несчастье — разве иностранцы понимают что-нибудь в этом? Вчера ночью, когда я наблюдал звезды, Венера стояла прямо над моей головой. Кого же следует назвать первым ученым нашей страны?

— Меня,— пошутил Маленький Скорпион,— потому что мне Венера улыбалась.

— Вы совершенно правы, господин! — ответил астроном и умолк. Остальные ученые тоже подтвердили, что Маленький Скорпион совершенно прав, после чего все погрузились в глубокомысленное молчание.

— Ну, говорите же! — приказал Маленький Скорпион.

— Я первый ученый во всем Кошачьем государстве,— изрек другой и оглядел всех победоносным взглядом.— Что такое астрономия? Все знают, что это чепуха. Ученость начинается с письмен, и это единственная наука. Я тридцать лет изучал письмена. Кто после этого осмелится не признать меня первым ученым, кто?!

— Пошел к собачьей матери! — откликнулись ученые мужи. Но специалист по письменам был не так робок, как астроном. Вцепившись в одного из коллег, он заорал:

— Так ты не признаешь?! Отдай сперва свой долг — дурманный лист, который ты у меня занял! Иначе я сверну тебе башку, не будь я первым ученым!

— Я, всемирно известный ученый, буду занимать у тебя дурманный лист?! Оставь меня в покое, не пачкай мою руку!

— Съел чужой дурманный лист и еще отнекиваешься?! Хорошо, погоди, когда я опубликую исследование письмен и стану первым не только в нашей стране, но и во всем мире, я докажу, что среди древних слов не было твоей фамилии! Погоди!

Ученый, не признавший долга, испугался и стал умолять Маленького Скорпиона:

— Господин, одолжи мне скорее один лист, я рассчитаюсь с ним! Ты ведь знаешь, что я первый ученый в нашей стране, а ученые всегда без денег. Может, я и брал у него этот проклятый лист, не помню точно. И еще молю тебя, господин: попроси своего отца, чтобы он давал ученым больше дурманных листьев. Другие без них в состоянии обойтись, но мы (особенно я, первый ученый) просто не можем иначе заниматься наукой. Недавно я выяснил, что среди древних казней действительно существовало сдирание кожи с живого человека. Скоро я напишу об этом статью и буду умолять твоего отца передать ее императору. Тогда Его Величеству будет удобнее восстановить этот интересный и имеющий глубокие исторические корни род казни. Разве такое открытие не делает меня первым ученым? Подумаешь, изучение письмен! Только история — подлинная наука!

— А разве история не пишется? Отдавай мой дурманный лист! — Позиция лингвиста была неколебимой.

Маленький Скорпион велел Дурман принести историку лист, но тот отломил половину, прежде чем передать его лингвисту:

— Возвращаю тебе, хотя и не следовало бы.

— Ах, ты отдаешь только половину?! — завопил лингвист.— Будь я проклят, если не украду твою жену!

Тут все ученые необычайно заволновались и стали жаловаться Маленькому Скорпиону:

— Господин, почему у нас, ученых, бывает только по одной жене? Неудивительно, что мы вынуждены думать о похищении чужих женщин! Мы трудимся во славу всего государства, наши потомки пронесут через века научный опыт многих поколений, почему же каждому из нас нельзя иметь хотя бы по три жены?

Маленький Скорпион молчал.

— Возьмем, к примеру, разные созвездия. Там вокруг большой звезды всегда много маленьких. Если небо так создано, то и у людей должно быть так же, во всяком случае, у меня, первого ученого. К тому же моя жена состарилась, ни на что не годится.

— А вспомним форму письменных знаков, которые издревле содержали изображение частей женского тела! В одной своей работе я совершенно неопровержимо доказал, что у ученого должно быть много жен...

Далее пошли туманные и не совсем приличные доказательства, из которых, впрочем, было ясно, для чего ученым нужны жены. Маленький Скорпион по-прежнему молчал.

— Может быть, вы устали, господин? Мы...

— Дурман, дай им немного листьев, и пусть убираются! — проговорил наконец Маленький Скорпион.

— Благодарим вас, господин, извините! — зашумели ученые мужи. Потом они схватили дурманные листья, поклонились Маленькому Скорпиону и, не прекращая ругани, выкатились за дверь. На смену им тут же влетела стая молодых ученых. Они давно ждали за дверью и не входили только потому, что боялись своих старших коллег. Когда встречались представители старых и новых наук, происходило по крайней мере два убийства.

У молодых ученых вид был гораздо лучше, чем у старых: не грязные, вполне упитанные и жизнерадостные. Прежде чем сесть, они поздоровались не только с Маленьким Скорпионом, но и с Дурман, даже со мной. Я приободрился: видимо, у Кошачьего государства еще есть надежда.

— Это те ребята, которые учились по нескольку лет за границей и все знают,— шепнул Маленький Скорпион. Его замечание меня несколько охладило, особенно когда гости вцепились в предложенные им дурманные листья.

Поев, молодые ученые начали разговаривать, но я ничего не понял, хотя от Маленького Скорпиона уже знал немало новых слов. В ушах стояли какие-то «варэ», «вский» и прочее. Я встревожился, потому что гости явно обращались ко мне. Наконец до меня дошел смысл одного из вопросов:

— Что это на вас надето, господин иностранец?

— Штаны,— ответил я, чувствуя себя круглым дураком.

— А зачем они?

— О какой ученой степени они свидетельствуют?

— Наверное, ваше общество делится на классы штанных и бесштанных?

Я выдавил из себя лишь глупую усмешку. Они досадливо поморщились, начали щупать мои рваные штаны, потом снова затараторили. Мне стало скучно. Наконец молодые ученые ушли, и я спросил Маленького Скорпиона, о чем они говорили.

— Ты меня спрашиваешь? — улыбнулся Маленький Скорпион.— А я кого спрошу? Ничего они не сказали.

— Ну как же! Они говорили «варэ», «вский»...

— Это популярные иностранные слова, означающие «химия» и «роль», только эти субъекты употребляют их как попало, даже сами ничего не понимают. Умеющие произносить такие выражения и называются учеными нового типа. Слова «варэ», «вский» да еще «изм» стали в последнее время особенно модными. Первые два слова, сливаясь, означают все, что угодно: «родители бьют ребенка», «император ест дурманные листья», «ученый покончил с собой»... Произноси их, и тебя тоже сочтут ученым. Главное — существительные. Глаголы не нужны, а прилагательные образуются от существительных.

— Почему они спрашивали меня про штаны?

— А почему девушки расспрашивали о туфлях на высоком каблуке? Молодые ученые похожи на женщин: они тоже стараются быть чистыми, красивыми и модными. Старые ученые напрямик требуют от женщин того, что им нужно, а молодые предпочитают пленять. Вот погоди, через несколько дней они все наденут штаны...

Мне показалось, что в комнате стало слишком душно; я извинился перед Маленьким Скорпионом и вышел на улицу. Цветок и ее подруги, привязав к пяткам куски кирпича и держась за стену, учились ходить на высоких каблуках.

20

Да, у этого пессимиста было что позаимствовать. Он по крайней мере сначала думал, а уж потом предавался пессимизму. Возможно, он был недальновиден или труслив, но думать он умел. Мне все больше нравился Маленький Скорпион, да и на молодых ученых я еще не поставил крест. Даже если они не умнее старых, они хоть живые и веселые. Маленькому Скорпиону стоило бы набраться их оптимизма, и тогда бы он мог совершить немало полезного. Мне захотелось еще раз повидать молодых ученых, и я разузнал у Дурман, где они живут.

По дороге я прошел мимо многих школ, или институтов, то есть пустырей, окруженных стенами. Мне не хотелось во всем соглашаться с Маленьким Скорпионом, но, когда я видел учеников, разгуливающих по улице, мои глаза наполнялись слезами. Эти юнцы (особенно те, что были постарше) выглядели невероятно самодовольными: точь-в-точь как Большой Скорпион, возлежавший на головах семи кошек. Они, наверное, воображали себя божественными избранниками и не понимали, что их государство — самое ничтожное во вселенной. Только очень глупые воспитатели могли вырастить таких невежественных людей. Я жалел юнцов

и все же думал, что к двадцати годам человек должен что-то соображать, а не чувствовать себя в аду, как в раю. Я чуть было не начал спрашивать у них, чем они так довольны, но вовремя удержался.

Один из молодых ученых, к которым я шел, заведовал музеем, что было весьма кстати. Музей оказался довольно большим зданием из двадцати или тридцати комнат. У входа, прислонившись к стене, сидел привратник и сладко спал. Кроме него, здание никто не охранял, а все двери были открыты. Удивительно — ведь люди-кошки воруют что попало! Не осмелившись потревожить привратника, я вошел в музей, прошел через две пустые комнаты и здесь наткнулся на своего нового знакомого. Он очаровал меня своей веселостью, опрятностью, вежливостью. Фамилия его была Кошкарский, я чувствовал, что она иностранного происхождения, и боялся, как бы во время экскурсии он не замучил меня незнакомыми словами. Лишь бы он не называл экспонаты «варэ» или «вский», и тогда все будет в порядке.

— Пожалуйста, проходите сюда! — радушно пригласил Кошкарский.— Это зал каменной утвари восьмого тысячелетия до нашей эры. Утварь разложена по новейшей системе. Посмотрите!

Я оглянулся — ничего нет. Что за наваждение? Но Кошкарский уже показывал на стены:

— Перед вами древний каменный сосуд, на котором вырезана какая-то иностранная надпись, стоит три миллиона национальных престижей.

Теперь я действительно заметил надпись, но не на сосуде, а на стене — там, где когда-то, видимо, стоял драгоценный сосуд.

— Перед вами каменный топор, которому исполнился десять тысяч один год, цена двести тысяч национальных престижей. Этой каменной чаше ровно на год больше, цена полтора миллиона национальных престижей, это... триста тысяч престижей, это... четыреста тысяч.

Мне нравилось только одно: что он так бегло называет цену экспонатов. Мы вошли в следующий пустой зал. Кошкарский продолжал все тем же бодрым, почтительным тоном:

— А тут хранятся древнейшие книги мира, которым перевалило за пятнадцать тысяч лет. Разложены по новейшей системе.

Он начал перечислять названия книг и их цену, но я не видел ничего, кроме нескольких тараканов на стене.

Когда мы выходили из десятого пустого зала, мое терпение иссякло. Я уже хотел распроститься с Кошкарским и уйти, как вдруг перед последним залом обнаружил больше двадцати солдат с дубинками. Видимо, они что-то охраняют? В зале действительно были экспонаты, и я возблагодарил небо и землю. Если хоть в од-

ном из одиннадцати залов что-то есть, значит, я пришел не напрасно.

— Вы пришли очень удачно,— подтвердил Кошкарский.— Через каких-нибудь два дня вы бы этого не увидели. Перед вами глиняная утварь десятого тысячелетия до нашей эры, разложенная по новейшей системе. Двенадцать тысяч лет назад эти сосуды были самыми прекрасными в мире, но потом, начиная с шестого тысячелетия до нашей эры, мы утратили секрет гончарного искусства и до сих пор не можем вновь обрести его.

— Как же так? — спросил я.

— О, вский! — воскликнул мой гид, приведя меня в полнейшее недоумение.— Это самые драгоценные предметы на Марсе, но они уже проданы иностранцам за три биллиона национальных престижей. Если бы правительство не поторопилось, оно могло бы выручить за них по крайней мере пять биллионов, потому что два биллиона мы получили даже за каменные сосуды, которым нет еще десяти тысячелетий. Главное, конечно, не то, что правительство просчиталось, а то, что мы, посредники, получим меньше комиссионных. Чем мы будем кормиться?! Жалованья нам не выдают уже несколько лет! Правда, на комиссионных можно неплохо заработать, но ведь мы ученые нового типа, и нам нужно во много раз больше денег, чем старым ученым. Мы пользуемся только импортными вещами, а купить одну такую вещь — все равно что прокормить дюжину старых ученых!

Безмятежная физиономия Кошкарского вдруг помрачнела.

Как случилось, что утрачен секрет гончарного искусства? О, вский! Почему продаются древности? Чтобы заработать на них. У меня уже не осталось никаких иллюзий в отношении новых ученых. Мне хотелось только обнять оставшиеся сосуды и разрыдаться. Итак, торговля музейными редкостями служит одним из источников правительственного дохода, а ученые лишь получают комиссионные да называют посетителям цены. Но я все-таки задал еще один вопрос:

— Что же будет, когда вы продадите последние экспонаты и не сможете больше получать комиссионных?

— О, вский!

Я понял, что это слово в его устах означает приспособленчество, в тысячу раз более подлое, чем у Маленького Скорпиона. Кошкарский с его восклицаниями стал мне омерзителен, но дурманные листья не располагают к действию, и я не надавал своему гиду пощечин. С какой стати мне, китайцу, вмешиваться в дела людей-кошек?

Не попрощавшись с Кошкарским, я выбежал на улицу — мне чудилось, будто из пустых залов, точно из преисподней, несутся

стенания похищенных реликвий. Если загробный мир действительно существует, как бы мне хотелось, чтобы эти новые ученые оказались на том свете вместо реликвий!

На улице я немного успокоился и подумал, что для кошачьих древностей, пожалуй, счастье попасть за границу. Раз люди-кошки все разворовывают и уничтожают, пусть уж лучше их музейные редкости хранят иностранцы. Разумеется, это ничуть не оправдывает Кошкарского. Хотя торговля затеяна не им, он бесстыдно поддерживает ее и вообще потерял стыд и совесть. Мне всегда казалось, что человечество чтит свою историю, но люди-кошки безжалостно порывают даже с отечественной историей. Ведь Кошкарский образован. Если так поступают ученые, то что же творит невежественная масса?

У меня пропало желание идти к другим новым ученым и смотреть другие культурные учреждения. Показавшаяся впереди библиотека вновь сулила «хитрость с пустой крепостью»[1]. Само здание было неплохое, однако не ремонтировалось, наверное, уже много лет. Но когда из библиотеки вышла группа школьников, которые, должно быть, читали там книги, во мне снова пробудился интерес к экскурсиям.

Войдя в ворота, я увидел на стенах множество свежих надписей: «Библиотечная революция». Интересно, против кого она направлена? Размышляя об этом, я вдруг споткнулся о лежащего человека, который тотчас заорал: «Спасите!»

Рядом с ним валялось еще более десяти жертв, связанных по рукам и ногам. Едва я развязал их, как они улизнули — все, кроме одного, в котором я узнал молодого ученого. Это он звал на помощь.

— Что здесь происходит? — изумился я.

— Снова революция! На этот раз библиотечная.

— Против кого же она?

— Против библиотек. Посмотри, господин! — Ученый показал на свои ляжки.

Я увидел короткие штаны, на которые прежде не обратил внимания. Но как они связаны с библиотечной революцией?

Ученый объяснил:

— Ведь ты носишь штаны, и мы, ученые, призванные знакомить народ с передовой наукой, передовой моралью и обычаями, тоже надели штаны. Это революционный акт...

«Вот так революция!» — подумал я.

---

[1] Намек на легенду об известном китайском полководце Чжугэ Ляне (III в.), который, оставшись без войска, раскрыл перед противником городские ворота. Испугавшись засады, враг отступил от стен крепости.

— К сожалению, студенты соседнего института узнали о нашем революционном акте, явились сюда и потребовали каждый по паре штанов. Я — заведующий библиотекой и прежде, когда торговал книгами, постоянно отдавал часть своей выручки студентам. Дело в том, что они преданы всеизму, а всеисты — народ опасный. К сожалению, они ревностно проводят свои принципы и потребовали у меня штаны, я не мог на них напастись, и студенты восстали. Мой революционный акт состоял в том, что я надел штаны; их — в том, чтобы сшить такие штаны, каких нет ни у кого. В общем, они связали нас и похитили все мои крохотные сбережения!

— Надеюсь, книги они не растащили? — воскликнул я, беспокоясь о библиотеке, а не о его сбережениях.

— Нет, и не могли растащить, потому что последняя книга продана пятнадцать лет тому назад. Сейчас мы занимаемся перерегистрацией.

— Что же вы регистрируете, если книг нет?

— Дом, стены... Готовимся к новой революции, хотим превратить библиотеку в гостиницу и получать хотя бы небольшую арендную плату. Фактически здесь уже несколько раз квартировали солдаты, но с гражданской публикой было бы как-то спокойнее...

Я очень уважал людей-кошек и именно из уважения к ним не стал больше слушать, иначе мои вопросы могли превратиться в площадную брань.

21

Ночью снова полил дождь, который в Кошачьем городе был лишен всякой поэтичности. Трудно предаваться лирическим настроениям, когда слышишь треск и грохот стен, падающих одна за другой. Город походил на морской корабль в бурю: каждую минуту он сотрясался, ожидая своей гибели, которая, в сущности, не была бы такой уж трагедией. Я вовсе не жаждал крови, а лишь желал людям-кошкам легкой смерти, от обычного дождя. Ради чего они живут? Я не мог этого понять, но чувствовал, что в их истории произошла какая-то нелепая ошибка, за которую они теперь вынуждены расплачиваться. Впрочем, собственные мысли тоже казались мне пустыми и эфемерными.

Ладно, поразмышляю — все равно не уснуть. Что означает, например, «всеизм» или другие иностранные слова, которыми умудрились немало навредить себе люди-кошки? Я вспомнил о студентах, «преданных всеизму». На Земле студенчество всегда

было носителем передовой мысли, обладало острым политическим чутьем, и в то же время его горячность иной раз оказывалась поверхностной, а политическое чутье вело лишь к жонглированию несколькими новыми словами. Если здешние студенты именно таковы, то не стоит и думать о будущем Кошачьего государства. Винить во всем студенчество несправедливо, но я не должен идеализировать его только потому, что возлагаю на него надежды.

Мне так захотелось познакомиться с кошачьей политикой, что я не спал почти всю ночь. Хотя Маленький Скорпион и сказал мне, что он не занимается политикой, я могу узнать у него исторические факты, без которых невозможно понять современную ситуацию.

Чтобы не упустить Маленького Скорпиона, я встал очень рано и сразу кинулся к нему с вопросом:

— Скажи мне, что такое «всеизм»?

— Политическое учение, согласно которому люди живут друг для друга,— ответил он, жуя дурманный лист.— При всеистском строе общество представляет собой большой слаженный механизм, каждый человек в нем играет роль винтика или шестеренки, но все работают и живут спокойно, радостно и счастливо. Совсем неплохое учение.

— Какие-нибудь государства на Марсе осуществляют его на практике?

— Да, уже больше двухсот лет.

— А ваша страна?

Маленький Скорпион задумался. Мое сердце прыгало от нетерпения. Наконец он сказал:

— Мы тоже пытались, шумели. Я вообще не помню учения, которое бы мы не пытались осуществить.

— Что значит «шумели»?

— Предположим, у тебя непослушный ребенок. Ты его ударил. Я узнал об этом и ударил своего ребенка — не потому, что он непослушный, а просто в подражание тебе. Поднимается шум, шумиха. То же самое и в политике.

— Расскажи, пожалуйста, подробнее,— попросил я.— Может, шумиха — это не так уж плохо: после нее по крайней мере происходят изменения. Верно?

— Но ведь не всякие изменения — прогресс...

Я улыбнулся. Ну и ядовит же этот Маленький Скорпион! А он продолжал после недолгого молчания:

— На Марсе больше двадцати стран, у каждой свои политические привязанности, своя история. А мы случайно узнаем о какой-нибудь стране и поднимаем у себя шумиху. Потом услышим, что в другой стране произошла реформа,— снова не обходится без шу-

михи. В результате другие страны действительно проводят реформы, развивают свои особенности, а мы развиваем свои. Особенность же наша в том, что, чем больше мы шумим, тем хуже у нас становится.

— Говори конкретнее, пусть даже не по порядку! — попросил я.

— Хорошо, начну со свар.

— Свар?!

— Это не наша штука, так же как и штаны. Не знаю, есть ли что-либо подобное у вас на Земле. Собственно, это даже не штука, а организация, в которую объединяются люди с определенными политическими принципами и программой.

— Есть, мы называем эти организации партиями!

— Ладно, пусть будут партии или как-нибудь еще, но у нас они называются сварами. С древности мы беспрекословно подчинялись императору, не смели даже пискнуть и считали высшей добродетелью так называемую моральную чистоту. И вдруг из-за границы прилетела весть о том, что народ тоже может участвовать в правлении, создавать союзы или партии. Как ни листали мы древние книги, но подходящего слова на кошачьем языке найти не могли; более или менее подходило слово «свара» Для чего люди собираются вместе? Для шума, свары. Вот мы и начали галдеть. С тех пор в нашей политике произошло немало изменений, однако я уже говорил тебе, что политикой не занимаюсь и опишу только некоторые факты.

— Да-да, факты,— подхватил я, боясь, как бы он не умолк.

— Первая политическая реформа состояла в том, что императора попросили сделать правление более гуманным. Он, конечно, не согласился, тогда реформаторы приняли в свою свару множество военных. Видя, что дело плохо, император даровал важнейшим реформаторам высокие чины, они увлеклись службой и забыли про свои идеи. Тем временем прошел слух, что император вовсе не нужен. Образовалась свара народного правления, поставившая себе целью изгнать императора. А он, проведав об этом, создал собственную свару, каждый член которой получал в месяц тысячу национальных престижей. У сторонников народного правления загорелись глаза, потекли слюнки. Они стали ластиться к императору, но он предложил им только по сто национальных престижей. Дело бы совсем расклеилось, если бы жалованье не было повышено до ста трех престижей. Однако на всех жалованья не хватило, и стали образовываться оппозиционные свары из десяти, двух и даже одного человека.

— Извини, я перебью: были в этих организациях люди из народа?

— Я как раз хотел сказать об этом. Конечно, нет, потому что народ оставался необразованным, темным и излишне доверчивым. Каждая свара твердила о народе, а потом принимала деньги, которые император с него содрал. Она и сама была не прочь получить от народа деньги; если же народ не поддавался обману, то привлекала на помощь военных. В общем, чем больше становилось свар, тем больше беднела страна.

— Неужели в этих сварах не было ни одного хорошего человека, действительно болевшего за страну и народ?

— Разумеется, были. Но ведь ты знаешь, что хорошим людям тоже хочется есть и любить, а для этого нужны деньги. Получив деньги, хорошие люди добывали еду и жен, становились рабами семьи и уже больше не могли подняться. Революцию, политику, государство, народ они старались поскорее забыть.

— Выходит, люди, имеющие работу и еду, совсем не участвуют в политическом движении? — усомнился я.

— Да, не участвуют, потому что боятся. Стоит им шевельнуть пальцем, как император, военные или очередная свара ограбят их до нитки. Им остается либо терпеть, либо купить небольшой чиновничий пост. Заниматься политикой у нас могут только учившиеся за границей, хулиганы или полуграмотные военные, которым нечего терять: в сваре они получат еду, а без свары вообще останутся голодными. Революция в нашей стране стала своего рода профессией, однако хороших результатов это не принесло. Политика изменяется, но не улучшается. О демократии кричим, а народ по-прежнему беднеет. И молодежь становится все более поверхностной. Даже те, кто в самом деле хочет спасти страну, только попусту таращат глаза, когда захватывают власть, потому что для правильного ее использования у них нет ни способностей, ни знаний. Приходится звать стариков, которые тоже невежественны, но гораздо хитрее. По видимости правят революционеры, а по существу — старые лисы. Неудивительно, что все смотрят на политику как на взаимный обман: удачно обманул — значит, выиграл, неудачно — провалился. Поэтому и учащиеся перестали читать: только зубрят новые словечки да перенимают разные хитрости, воображая себя талантливыми политиками.

Я дал Маленькому Скорпиону отдохнуть, а потом напомнил:

— Ты еще не рассказал о всеизме.

— Сейчас скажу. Итак, народ становился беднее, потому что во время гвалта и драк никто не обращал внимания на экономику. И тут появился всеизм; он вышел из народа, вырос именно из экономических проблем. Раньше революции не приводили к свержению императора: монарх объявлял, что целиком верит какой-нибудь из свар, иногда даже становился ее вождем, поэтому один

поэт торжественно назвал нашего императора «руководителем всех свар». Только всеисты убили первого императора. Но после того, как власть перешла к ним, было истреблено немало народа, потому что они требовали уничтожить всех, кроме чистокровных крестьян и рабочих. Убийства, конечно, никого не удивили — в Кошачьем государстве всегда легко убивали. Если бы вместо паразитов действительно стали править крестьяне и рабочие, это было бы совсем не плохо. Но кошки остаются кошками и во время переворота: например, они не убивали тех, кто платил выкуп. В результате многие паразиты уцелели, а невинные погибли. Спасшиеся проходимцы влезли в свару, начали там интриговать, и с тех пор расправы потеряли уже всякое оправдание.

Кроме того, согласно всеизму, каждый человек получает подходящую работу и равное вознаграждение. Чтобы осуществить этот принцип, нужно было первым делом изменить экономическую систему, а во-вторых, воспитать в людях желание жить друг для друга. Но наши всеисты, погрязшие в склоках, не имели никакого понятия об экономике и тем более о новом воспитании. Кончив убивать, они вытаращили глаза, захотели помочь крестьянам и рабочим, но обнаружили, что ничего не смыслят ни в сельском хозяйстве, ни в промышленности. Поделили между крестьянами землю, долго думали, сажать ли дурманные деревья, и, пока они не выросли, все голодали. Для рабочих дела вообще не нашлось. Снова начали убивать, полагая, что им мешают разные вредители. Так иногда сдирают шкуру, вместо того чтобы почесаться.

Всеизм разделил судьбу многих заимствованных нами учений. В других государствах они становятся прекрасным средством исцеления общества, а у нас превращаются в сплошное самобичевание. Мы никогда как следует не думаем, не смотрим правде в глаза, поэтому и получаем от революции одни разрушения. Люди извлекают из нее новые мысли, новые планы, а мы устраиваем революцию только ради шумихи, потому что ничего не знаем, ничего не делаем, забываем о гуманности, о том, что революционное дело требует от человека высоких духовных качеств, только нападаем друг на друга, прибегая к самым подлым приемам. Пока мы занимались убийствами да таращили глаза, вождь всеистского движения сам стал императором. Всеизм и император — это же совершенно несовместимо, похоже на дурной сон! Но у нас такие вещи не удивительны, потому что мы абсолютно ни в чем не разбираемся. Всеизм тоже привел к воцарению Его Величества — и все успокоились. Император благоденствует по сей день, по-прежнему называется «руководителем всех свар», а всеизм прозябает между этими сварами!

Я впервые увидел на глазах Маленького Скорпиона слезы.

22

Хотя Маленький Скорпион всегда говорил мне правду, его критика вновь показалась мне бесплодной, слишком мрачной. Конечно, я приехал из спокойного, счастливого Китая, поэтому и считал, что не может все быть так безнадежно. Здоровому человеку нелегко понять пессимизм больного. Но надежда обязательно должна сохраняться — это мать усилий, своего рода долг человечества. Я не верил, что люди-кошки не способны ничего добиться. Они все-таки люди, а люди могут преодолеть все.

Я решил пойти к Большому Скорпиону и познакомиться через него с политическими деятелями. Если я встречу среди них хоть нескольких здравомыслящих людей, то наверняка узнаю что-нибудь обнадеживающее. Конечно, еще полезнее было бы поговорить с народом, но простые кошки слишком боятся иностранцев и вряд ли разбираются в политике. Таким народом очень легко управлять. И хотя мне всегда было чуждо преклонение перед героями, я решил поискать свой идеал среди политиков, способных что-то сделать для народа.

Как раз в это время Большой Скорпион пригласил меня на званый обед. Он был видной фигурой, среди его гостей должны оказаться политики. Кроме того, я давно уже никуда не ходил, надо размяться.

Улица по-прежнему кишела прохожими, как муравейник; впрочем, здешние жители напоминали муравьев только подвижностью, а не трудолюбием. Я не мог понять, какой притягательной силой обладает этот жалкий город, почему люди-кошки так стремятся сюда. Видимо, в деревнях уж совсем скверно. Единственное изменение к лучшему, которое я заметил, состояло в том, что меньше воняли улицы: в последние дни лил дождь и провел вместо жителей «Движение за чистоту».

Большого Скорпиона не оказалось дома, хотя я пришел вовремя. Встретил меня человек-кошка, который в дурманной роще носил мне еду; мы были знакомы, поэтому он и решился заговорить со мной:

— Если тебе назначают встречу в полдень, приходи вечером или на следующее утро. Можно и через два дня — это наш обычай.

От души поблагодарив его за науку, я спросил, кто еще приглашен. У меня было сильное желание уйти, если гости окажутся неподходящими, но он ответил:

— Все важные персоны. Иначе не пригласили бы тебя, иностранца.

Ладно, останусь. Но что делать до пира, который неизвестно когда начнется? Тут я вспомнил, что в кармане у меня есть не-

сколько национальных престижей, и дал их старому слуге. Все остальное свершилось само собой. Вскоре я уже сидел на помосте и слушал небезынтересные вещи. Деньги — лучший ключ, отмыкающий людям-кошкам рты.

— Чем зарабатывают на жизнь горожане? — первым делом осведомился я.

— Эти? — переспросил слуга, указывая в сторону людского моря за стеной.— Ничем.

— Как так?! Что же они едят?

— Известно что — дурманные листья.

— Но ведь их нужно откуда-то брать...

— Достаточно одному служить чиновником, чтобы многие были обеспечены. Чиновник выращивает дурманные листья, торгует ими, а часть дает родственникам и друзьям. Мелкий чиновник, наоборот, покупает листья, но все равно помогает родственникам и друзьям. Остальные ждут, пока у них появится свой чиновник.

— Видимо, чиновников очень много?

— Да, все, кроме безработных, считаются чиновниками. Я тоже чиновник,— улыбнулся слуга. Этой не веселой, а высокомерной улыбкой он отплатил за клок шерсти, который я когда-то у него вырвал.

— А чиновники получают жалованье?

— Конечно, от Его Величества.

— Откуда же у императора деньги, если столько народу бездельничает и ничего не производит?

— От продажи драгоценностей, земель... Ведь вы, иностранцы, любите покупать их! Пока они есть, о деньгах нечего беспокоиться.

— Музеи и библиотеки вам неплохо помогают... Но неужели ты сам не чувствуешь, что лишаться книг и древностей нехорошо?

— Какое это имеет значение! Были бы деньги!

— Выходит, у вас нет никаких экономических затруднений?

Этот вопрос был слишком сложен, и на него слуга ответил не сразу:

— Раньше были, а теперь уже нет.

— Что значит раньше? Когда все работали?

— Точно. Сейчас деревни почти опустели, в городах торгуют иностранцы, нам незачем работать, поэтому люди и отдыхают.

— Откуда же тогда чиновники? Ведь не могут они все время бездельничать! Зачем становиться чиновником, если дурманные листья и так дают?

— Чиновник получает столько, что, кроме дурманных листьев, может покупать иностранные вещи, заводить себе новых жен, а нечиновному едва на листья хватает. Кроме того, быть чиновником

совсем нетрудно: больше привилегий, чем работы. И хотел бы делать что-нибудь, да нечего.

— Скажи, пожалуйста, чем питалась покойная вдова посланника? Ведь она не ела дурманных листьев.

— Можно и другое есть, только дорого очень. Мясо, овощи — все ввозится из-за границы. Когда ты в деревне не хотел есть дурманные листья, мы на тебя немало денег потратили. Посланница тоже была странной женщиной, но ее капризам никто не потакал. Вот и приходилось ей вместе с девками собирать дикие плоды или коренья.

— А мясо они ели?

— Мясо не соберешь, его даже купить трудно. Мы давным-давно перебили всю живность — еще когда ели не только дурманные листья. Ты видел у нас хоть одного зверя или птицу?

Я задумался:

— Зверя действительно нет, а птиц видел — коршунов с белыми хвостами.

— Да, только они и остались, потому что у них мясо ядовитое, иначе и им бы несдобровать.

«Быстро вы действуете! — подумал я.— Муравьи и пчелы тоже не размышляют о будущем, но их спасает инстинкт, а у вас и этого нет. Интересно, какой император или бог лишил вас природных инстинктов, не дав взамен разума? Ловко он посмеялся над вами! Школы без образования, политики без головы, люди без человечности, души без стыда! Не слишком ли жестокая шутка?»

И все-таки я решил повидать политиков: может быть, они уже придумали что-либо вразумительное. Наверное, есть какой-нибудь простой способ: предположим, разделить поровну дурманные листья, устроить своего рода дурманный всеизм. Конечно, это уж последнее дело. Чтобы не погибнуть, им надо вернуться к лучшим временам, запретить дурман, восстановить сельское хозяйство и промышленность. Но кто все это сделает? Слишком много нужно сил, твердости и решительности, чтобы из животных или насекомых превратиться в людей! Я стал почти таким же пессимистом, как Маленький Скорпион.

Пришел Большой Скорпион. Он сильно похудел с тех пор, как приехал в город, но выглядел еще хитрее и подлее. Перед ним я не собирался расточать вежливых слов:

— Зачем позвал?

— Да так просто, поговорить хотелось.

Наверняка что-то задумал! Я снова почувствовал к нему такое отвращение, что даже готов был пожертвовать вопросами, которые намеревался задать.

Гости постепенно прибывали — все незнакомые мне и мало по-

ходившие на обычных людей-кошек. Каждый называл меня старым другом. Я достаточно бесцеремонно заявил, что прилетел с Земли и не имел чести дружить с ними, но они спокойно проглотили пилюлю и продолжали называть меня старым другом.

Гостей пришло больше десятка. Мне везло — все они оказались политиками.

По моему беглому впечатлению, их можно было разделить на три группы. К первой, самой старшей, принадлежал Большой Скорпион. Они называли меня другом очень непринужденно, но с оттенком неудовольствия. Это были старые лисы, по определению Маленького Скорпиона. Члены второй группы, помоложе, отнеслись ко мне с горячностью, в которой сквозило зазнайство, и все время бессмысленно смеялись. Видно было, что они научились кое-каким приемам старых лисов, но еще не до конца. Третья, самая младшая, группа произносила слова «старый друг» совсем неестественно, даже смущенно. Именно их особенно рекламировал Большой Скорпион:

— Эти друзья только что о т т у д а.

Я не очень понял его, но вскоре сообразил, что о т т у д а — значит из специальной школы, института. Это были новички в политике, и я решил посмотреть, как они будут обращаться со старыми лисами.

Начался пир — мой первый пир на Марсе. Все гости уселись за стол и стали есть дурманные листья. Этого я ожидал, но дальнейшее было для меня новинкой.

— Сегодня мы приветствуем друзей, только что пришедших о т т у д а,— изрек Большой Скорпион,— поэтому им предоставляется право самим выбрать проституток.

Молодые политики гордо улыбнулись, зажмурили глаза, опять смутились и начали бормотать о всеизме. Мне стало больно, как будто я потерял любимого человека. И это их всеизм! Только что научились в школах новым принципам, а здесь смешивают всеизм с проституцией! Ладно, не буду возмущаться, надо наблюдать.

Когда женщины пришли, все снова принялись за дурманные листья. Молодые политики с раскрасневшимися под серой шерстью физиономиями украдкой поглядывали на Большого Скорпиона. Он засмеялся:

— Выбирайте, господа, выбирайте! Не стесняйтесь!

Юнцы ухватили по проститутке и отправились на нижний этаж, где Большой Скорпион, бесспорно, приготовил им все необходимое для наслаждения.

Едва они удалились, как хозяин подмигнул оставшимся политикам:

— Ну вот, теперь их нет, и мы можем поговорить о делах.

Выходит, я догадался, он действительно что-то замышляет.

— Вы уже слышали? — спросил Большой Скорпион.

Старейшие никак не отреагировали на его вопрос; казалось, они углубились в самосозерцание. Один из тех, что помоложе, кивнул, но, поглядев на остальных, тотчас вскинул голову и устремил глаза ввысь.

Я расхохотался. Все стали еще серьезнее, однако хихикнули вслед за мной — ведь я был иностранцем. Наконец заговорил другой представитель среднего поколения:

— Кое-что слышали, но не знаем, достоверно ли это...

— Разумеется, достоверно! Мои солдаты уже потерпели поражение! — воскликнул Большой Скорпион с озабоченностью, вызванной, по-видимому, тем, что это были именно его солдаты.

Все молчали, на этот раз очень долго и дружно, даже почти не дышали, словно опасаясь потревожить волоски в поздрях.

— Господа, может быть, пригласим еще нескольких проституток? — предложил Большой Скорпион.

Политики оживились:

— Конечно, конечно! Без женщин ничего не придумаешь! Зовите!

Снова пришли проститутки, мужчины оживились еще больше, солнце клонилось к западу, а о политике так никто и не заикнулся.

— Спасибо за угощение! До завтра! — говорили гости, уводя с собой проституток. Навстречу им двигались юнцы — уже не с красными, а с серо-зелеными физиономиями. Они даже спасибо не говорили, а только бормотали о всеизме.

«У них, наверное, возникла какая-нибудь междоусобица,— подумал я.— Большой Скорпион потерпел поражение, попросил помощи, а ему отказывают. Если я правильно догадался, ничего трагического не произошло». Но лицо Большого Скорпиона выглядело озабоченным, и перед уходом я все же спросил, почему его солдаты потерпели поражение.

— Иностранцы вторглись

23

Солнце еще не зашло, а все жители уже попрятались по домам, лишь на стенах белело множество лозунгов: «Сопротивление до конца!», «Спасение государства — это спасение самого себя!», «Долой проглотизм!»...

От этих громких слов у меня закружилась голова — как у быка, которого водят по кругу. Мне не хватало воздуха, хотя на улице

я был один. «Иностранцы вторглись!» — звучало у меня в ушах, словно звон погребального колокола. Почему вторглись? Большой Скорпион был явно напуган, иначе рассказал бы мне подробнее. Однако испуг не помешал ему устроить пир, звать проституток, а этим политикам — веселиться с проститутками. Я просто не понимал, существует ли у них сердце.

Пришлось снова идти к Маленькому Скорпиону — он был здесь единственным здравомыслящим человеком, хотя и слишком желчным. Но мог ли я упрекать его за желчность после того, как увидел кошачьих политиков?

Солнце уже село, загорелась розовая заря, легкий туман еще больше оттенял красоту неба и жалкую опустошенность земли. Стояла полная тишина, лишь ветерок ударял мне то в спину, то в мокрое от слез лицо. Доисторическая пустыня была, наверное, не такой мертвой, как этот огромный город!

Войдя к Маленькому Скорпиону, я увидел в темноте какого-то сидящего человека. Он был гораздо выше ростом, чем мой приятель.

— Кто это? — громко спросил незнакомец. Уже по его решительному, прямому вопросу я понял, что имею дело не с обычным человеком-кошкой.

— Иностранец, с Земли.

— А-а, земной господин! Садись! — Его приглашение походило на приказ, но опять-таки подкупало своей прямотой.

— А ты кто? — спросил я в свою очередь, садясь рядом с ним, чтобы разглядеть его как следует. Он оказался не только высок, но и широк в плечах; уши, нос и рот утопали в густых волосах, оставались видны лишь большие горящие глаза.

— Я — Большой Ястреб,— сказал он.— Это мое прозвище, а не настоящее имя. Почему меня так называют? Да потому, что боятся. Честных людей в нашей стране считают страшными, отвратительными!..

Небо совсем потемнело, осталось одно красное облако, которое, словно огромный цветок, стояло над самой головой Большого Ястреба. Я смотрел на это облако как зачарованный и вспоминал розовую зарю, которую только что видел.

— Днем я не решаюсь выходить, но вечерами иногда навещаю Маленького Скорпиона,— нарушил молчание мой собеседник.

— А почему не решаешься днем?..

— Кроме Маленького Скорпиона, все мои враги. С какой стати нарываться на неприятности? Я живу в горах; всю прошлую ночь я шел, потом скрывался весь день. Дай мне что-нибудь пожевать. Ничего не ел целые сутки.

— Вот дурманные листья.

— Нет, уж лучше с голоду помереть, чем это!

Такого решительного человека я видел в Кошачьем государстве впервые. Я позвал Дурман, чтобы достать еды; девушка была дома, но выйти к нам не захотела.

— Оставь ее. Женщины тоже боятся меня. Все равно смерть близка — можно и поголодать.

— Иностранцы вторглись? — вспомнил я.

— Да, поэтому я и пришел к Маленькому Скорпиону.

— Он слишком пессимистичен и в то же время чересчур легкомыслен.— Мне не следовало так говорить о своем друге, но откровенность несколько смягчала мою вину.

— Он умен, потому и пессимистичен. А что ты сказал дальше? Я не совсем уловил. Если мне нужно сделать что-нибудь серьезное, я всегда иду к нему. Пессимисты боятся жизни, но не смерти. А наши соотечественники чересчур веселы, даже когда от них остается одна кожа. Они с самого рождения не умеют горевать — вернее, думать. Только Маленький Скорпион умеет, его можно считать вторым честным человеком после меня.

— Ты тоже пессимист? — спросил я, не сомневаясь в его хороших качествах, но затрудняясь причислить к достоинствам самоуверенность.

— Я? Нет. Поэтому все и боятся меня. Если бы я горевал, как Маленький Скорпион, меня бы не прогнали в горы. В этом наше различие. Он ненавидит этих безголовых и жестоких людей, однако не осмеливается тронуть их. А у меня нет к ним ненависти. Я хочу прочистить им мозги, показать, что они не очень-то похожи на людей, это и задевает их. Но когда надвигается опасность, мы с Маленьким Скорпионом заодно — мы не боимся.

— Ты, наверное, занимался политикой?

— Да. В свое время я выступал против дурманных листьев, проституции, многоженства, убеждал и других протестовать. А в результате и старые и новые деятели объявили меня закоренелым преступником. Ты должен знать, что человек, в чем-то отказывающий себе или стремящийся к истине, считается у нас лицемером. Если ты вздумаешь ходить пешком, окружающие не поймут, что ты не хочешь ездить на чужих головах, не станут подражать тебе, а назовут лицемером. Наши государственные деятели, студенты все время твердят об экономике, политике, разных «измах» и «циях», но стоит тебе спросить, что это такое, или попытаться самому вникнуть в дело, как они возмущенно закатят глаза. А простолюдины! Предложи им помощь — они поднимут тебя на смех, посоветуй меньше есть дурманных листьев — скажут, что ты ханжа. От императора до простого люда — все считают дурные поступки

естественными, а хорошие — лицемерными. Поэтому они и занимаются убийствами, искореняя «лицемерие».

По-моему, каких бы политических взглядов ты ни придерживался, всякое преобразование нужно начинать с экономики и проводить его честно. А среди наших деятелей нет ни одного честного человека, и в экономике они ничего не смыслят. Власть для них только средство угнетать да притеснять. Между тем сельское хозяйство и промышленность в полном развале. Когда находится человек вроде меня, который хочет построить политику на научных и гуманных основах, его объявляют шарлатаном, потому что иначе деятелям пришлось бы признать собственную неправоту. Кстати, даже если бы они решились ее признать, их все равно бы не поняли.

Политические провалы возникли еще много лет назад как результат экономического неблагополучия. Сейчас об экономике вообще нет речи; для восстановления нашего престижа нужно вернуться к человеческим нормам, но это не легче, чем воскресить мертвеца. Мы пережили слишком много политических потрясений, во время которых все человеческое искоренялось, а злодеи торжествовали. Теперь они ждут последней победы, и тогда выяснится, кто из них самый злой. Стоит мне заговорить о человечности, как меня оплевывают с головы до ног. Любая теория, которая успешно применяется за границей, попадая к нам, становится отвратительной; лучшие дары природы превращаются у нас в дурманные листья. Однако я не отчаиваюсь: человеческая совесть сильнее меня, ярче солнца, превыше всего! Я не боюсь протестовать и делаю это при каждом удобном случае. Знаю, что не увижу плоды своих трудов, но ведь совесть долговечнее жизни!

Большой Ястреб замолчал, слышалось только его шумное дыхание. Я невольно восхитился этим человеком, хотя и не принадлежу к почитателям героев: ведь он не баловень толпы, не предмет бездумного поклонения, а тысячекратно оплеванная и обруганная жертва, мессия, которому предстоит смыть позор с людей-кошек.

Вернулся Маленький Скорпион. Он никогда не приходил так поздно. На этот раз его явно задержало что-то особое.

— Как ты кстати! — воскликнул он, обнимая Большого Ястреба, который кинулся ему навстречу. У обоих потекли слезы.

Я не решался спросить, чем они так взволнованы, а Маленький Скорпион продолжал:

— И все же твой приход мало поможет.

— Я знаю. Не только не поможет, а помешает тебе. Но я не мог не прийти. Пробил мой час!

— Что ты задумал?!

— Смерть в бою я предоставляю тебе. Сам я умру бесславно и все-таки не совсем бесполезно. Сколько у тебя людей?

— Немного. Отцовские солдаты уже отступили, а другие собираются это сделать. Только люди Большой Мухи могут послушаться моего приказа, но, если они узнают, что ты здесь, отпадут даже они.

— Понимаю,— хмуро ответил Большой Ястреб.— А ты не можешь вернуть отцовских солдат?

— Боюсь, ничего не выйдет.

— Казни для острастки парочку офицеров!

— Ими командует отец...

— Ну возьми меня для примера, скажи, что у меня много солдат, что ты послал меня на фронт, но я ослушался приказа...

— Предположим. Хотя у тебя нет ни одного солдата, я могу сказать, будто их сто тысяч. А что потом?

— Потом убей меня и выставь мою голову на улице. Тогда солдаты подчинятся тебе — ведь они знают, как я выгляжу!

— Боюсь, что это в самом деле единственный выход... Но я еще должен соврать им, будто отец передал мне командование...

— Да, и поскорее, потому что враг уже подходит. Чем больше ты успеешь набрать солдат, тем лучше. А я, друг, покончу с собой, чтобы тебе не пришлось стать моим палачом.

— Погодите! — воскликнул я дрожащим голосом.— Погодите! Что это даст вам?

— Ничего,— все так же хмуро ответил Большой Ястреб.— У врага гораздо лучше и солдаты и оружие, мы вряд ли одолеем его даже всей страной. Но если наша гибель будет замечена, она сможет повернуть ход истории Кошачьего государства. Другие страны по крайней мере не будут нас так презирать. Наша гибель не жертва и не путь к славе, а насущная необходимость. Мы не желаем быть рабами! Человеческая совесть долговечнее жизни. Вот и все. Прощай, земной господин!

— Постой! — окликнул его Маленький Скорпион.— Лучше съесть сорок дурманных листьев, так легче умереть.

— Можно,— усмехнулся Большой Ястреб.— Странно складывается жизнь! До сих пор я не ел дурманных листьев и меня считали ханжой. Пусть теперь у них хоть доказательство будет. Дурман, неси листья! Я никуда не пойду, в минуту смерти я хочу быть с друзьями...

Девушка принесла охапку листьев и тотчас вышла. Большой Ястреб решительно принялся за них.

— А как же твой сын? — произнес Маленький Скорпион с раскаянием в голосе.— О, я не должен был об этом говорить!

— Ничего, выживет, если вся страна не погибнет...— тихо ответил Большой Ястреб.

Он продолжал жевать листья, но очень медленно — наверное, уже захмелел от дурмана.

— Я хочу спать,— еще медленнее сказал он, опускаясь на пол.

Я взял его за руку, он поблагодарил, и это были последние слова Большого Ястреба, хотя рука долго оставалась теплой, а дыхание прервалось лишь в полночь.

24

Да, я не мог назвать его смерть жертвой, потому что он сам так не считал. Сбудутся ли его надежды? Этого я пока не знал, но видел, что его отрубленная голова торчит на шесте посреди площади. Я, конечно, пришел посмотреть не на голову, а на жителей Кошачьего города, для которых подобное зрелище было особым удовольствием. Маленький Скорпион давно исчез и не появлялся даже у Дурман, поэтому я решил пойти на улицу.

Город по-прежнему выглядел оживленным — пожалуй, даже более оживленным, чем раньше. Ведь можно было любоваться отрубленной головой, а она гораздо увлекательнее, чем камешек на дороге. Говорили, что в толкотне у шеста уже задавлены три старика и две женщины, но отнюдь не горевали, потому что смерть во имя удовольствия считалась почетной. Все только еще больше тискали и бранили друг друга. Никто не спрашивал, чья это голова, за что отрублена. В толпе слышались примерно такие восклицания:

— У, какая волосатая!

— А глаза-то закрыты!

— Жаль, что только голову выставили! Надо бы и тело...

Пожалуй, Большой Ястреб принял правильное решение. Стоит ли жить рядом с подобными людьми?

Выбравшись из толпы, я пошел к императорскому дворцу. Идти было трудно, потому что во всех направлениях шествовали отряды музыкантов, которые нещадно дули и били в свои инструменты. Слушатели бросались за ними то в одну, то в другую сторону, но все равно не успевали и наверняка досадовали, что у них так мало ног, ушей и глаз. По воплям зевак я понял, что это свадебные оркестры, однако из-за обилия людей не видел паланкинов с невестами и не мог определить, сколько людей-кошек должны их нести. Впрочем, гораздо больше меня интересовал другой вопрос: почему в минуту опасности нужно так торопиться со свадьбами?

Спросить было не у кого, потому что люди-кошки страшились

разговаривать с иностранцами. Я вернулся к Дурман. Она сидела в комнате и плакала, а увидев меня, зарыдала еще сильнее, как будто я ее обидел. Пришлось долго утешать ее, прежде чем она сказала:

— Маленький Скорпион ушел на фронт! Это ужасно!..

— Ничего, он еще вернется! — бодро произнес я, искренне желая, чтобы мое пророчество сбылось.— Он обязательно вернется.

— Правда? — улыбнулась она сквозь слезы.

— Конечно! А сейчас пойдем прогуляемся. Хватит тебе здесь плакать одной.

— Я вовсе не плачу,— сказала Дурман, вытирая слезы и пудрясь.

— Почему сейчас так много свадеб? — спросил я по дороге. Это был праздный вопрос, но я утешал себя тем, что отвлекаю женщину от мрачных мыслей. Сказать по правде, я отвлекал и себя, потому что гибель Маленького Скорпиона казалась мне почти неизбежной.

— Когда начинается смутное время, все спешат со свадьбами, чтобы солдаты не испортили девушек,— объяснила Дурман.

— Зачем же праздновать их так пышно?

Мои мысли были сосредоточены на войне, но кошачье отношение к жизни на этот раз оказалось разумнее человеческого:

— Для свадеб пышность необходима. Война скоро кончится, а брак — на всю жизнь!

Поверив моим словам о возвращении Маленького Скорпиона, Дурман успокоилась и даже предложила мне посмотреть пьесу:

— Сегодня министр иностранных дел устраивает представление на улице по случаю женитьбы сына. Пойдем?

Мне казалось, что убить министра, который во время войны занимается подобной чепухой, намного достойнее, чем смотреть спектакль, но в убийцы я не годился, а кошачьего театра еще не видел. Я решил пойти: за последнее время мое мышление заметно кошкоизировалось.

Перед домом министра иностранных дел стояло множество солдат. Представление уже началось, однако простой народ к сцене не подпускали: тот, кто рвался вперед, получал дубинкой по голове. Кошачьи солдаты умели воевать — с собственным мирным людом. Меня они вряд ли посмели бы ударить, но я сам не очень рвался вперед, потому что театральная музыка еще издали показалась мне удивительно противной. Долго я прислушивался к пронзительным звукам, прерываемым воплями актеров, однако полюбить кошачий театр так и не сумел.

— Нет ли у вас пьес получше этой? — спросил я у Дурман.

— Есть, иностранные. Их я смотрела в детстве, они гораздо

тоньше. Потом их перестали играть, так как никто в них ничего не понимал. Министр иностранных дел сам выступал за новые пьесы — до тех пор, пока один иностранец не сказал, что наш театр тоже очень интересен. Тогда министр начал выступать за старые пьесы.

— А если другой человек скажет, что иностранный театр лучше?

— Это уже будет бесполезно. Иностранные пьесы действительно хороши, но слишком глубоки. Когда министр ратовал за них, он вряд ли их как следует понимал, поэтому и уцепился за лестное мнение о наших пьесах. Сам он вообще не разбирается в театре, хотя и норовит прослыть его пропагандистом А старый театр легче рекламировать, у него больше поклонников. У нас часто так бывает: новое едва возникнет и тут же вытесняется старым. Для того чтобы внедрять новое, нужно слишком много сил и энергии.

Я чувствовал, что это не ее мысли, а Маленького Скорпиона, потому что сама она продолжала потихоньку протискиваться вперед. Мне было неудобно ловить ее на слове, но больше я выдержать не мог:

— Уйдем отсюда?

После всего сказанного о театре Дурман было неловко не согласиться. Не протестовала она и тогда, когда я предложил сходить к императорскому дворцу. Он был самым большим, но не самым красивым зданием Кошачьего города. Сегодня дворец выглядел особенно неприятно: перед стенами солдаты, на стенах солдаты... Кроме того, стены были вымазаны свежей грязью, а вода во рву воняла сильнее обычного.

— Иностранцы любят чистоту,— пояснила Дурман.— Грязь — это лучшее заграждение от них!

У меня не хватило сил даже рассмеяться.

На стену вылезло несколько фигурок, которые долго усаживались верхом, по-видимому, боясь свалиться. Дурман возбужденно закричала:

— Высочайший указ!

— Где? — спросил я.

— Смотри!

Люди на стене двигались так медленно, что у меня заныли ноги. Наконец гонцы спустили на веревке камень с белыми знаками. Дурман обладавшая острым зрением, охнула.

— Что случилось? — заторопил я.

— Перенос столицы! Император уезжает! Беда! Как же мне без него?! — запричитала Дурман, наверняка имея в виду не императора, а Маленького Скорпиона. Тем временем со стены спустили еще один камень.

«Солдатам и народу,— начала читать девушка,— повелеваем оставаться на местах. Переезжаем только Мы и чиновники».

Я поразился мудрости Его Величества и пожелал ему на полпути свернуть себе шею. Но Дурман неожиданно обрадовалась:

— Это еще ничего. Раз многие остаются, мне не страшно!

«Интересно, откуда они будут получать дурманные листья после отъезда чиновников?» — подумал я, но в этот момент появился новый камень:

— «С сего дня запрещаем называть Нас «руководителем всех свар». В минуту грозной опасности народ должен быть сплочен, поэтому Мы становимся «руководителем одной свары». Все на борьбу с врагом!» — прочитала Дурман и добавила: — Лучше бы совсем без свар...

Мы подождали еще немного, но поняли, что указов больше не будет, так как глашатаи скрылись за стеной. Дурман очень хотелось вернуться и посмотреть, не пришел ли домой Маленький Скорпион, а я отправился к государственным учреждениям, где могли вывесить еще какие-нибудь указы. В восточной стороне, куда пошла Дурман, по-прежнему гремела свадебная музыка, но здесь не было никого, как будто свадьбы в тысячу раз важнее всех государственных проблем.

Особенно интересовало меня министерство иностранных дел, перед которым опять-таки не оказалось ни одного человека. Ах да, министр ведь празднует свадьбу сына и, должно быть, отпустил своих подчиненных. Еще неизвестно, есть ли у людей-кошек иностранные дела, хотя министерство существует.

Я решил выяснить для себя этот вопрос, воспользовавшись отсутствием чиновников. Бесцеремонно вошел — внутри никого. Комнаты не заперты, в них тоже никого и ничего, кроме кучи каменных пластинок с надписью «Протест». Их, наверное, рассылают во всех подходящих и неподходящих случаях: ведь дипломаты — специалисты по протестам. Я хотел найти какие-нибудь документы, присланные из-за границы, но не нашел. Видимо, иностранцы, стремясь облегчить себе дипломатические отношения, никогда не отвечают на кошачьи «Протесты».

Незачем смотреть другие учреждения. Если министерство иностранных дел так гениально просто, то в остальных организациях, поди, нет даже каменных пластинок.

А учреждений мне встретилось много: министерство проституции, институт дурманных листьев, управление кошачьими эмигрантами, министерство борьбы с иностранными товарами, палата мяса и овощей, комитет общественной торговли сиротами... Это только самые понятные названия — многих я просто не понял. Чтобы обеспечить всех чиновников службой, или бездельем, тре-

бовалось как можно больше учреждений. Мне показалось, что их многовато, но людям-кошкам, по-видимому, было недостаточно.

Я шел прямо на запад, намереваясь заглянуть в иностранный квартал. Нет, пойду лучше домой, посмотрю, не вернулся ли Маленький Скорпион. Я пошел обратно по другой улице и вдруг увидел группу студентов, которые не наслаждались спектаклем или отрубленной головой, как их земляки, а стояли на коленях перед большим камнем с надписью «Памятник великому святому Мацу». Зная, что они тотчас разбегутся, если увидят меня, я тихонько подошел сзади, тоже опустился на колени и стал слушать, о чем они говорят.

Один из студентов впереди выпрямился во весь рост и крикнул:

— Да здравствует мацизм! Да здравствует всеизм! Да здравствует пулопулап [1]!

Все подхватили его вопль. Вдоволь накричавшись, первый студент приказал остальным сесть на землю и произнес речь.

— Мы должны свергнуть всех богов и поставить на их место великого святого Маца! — провозгласил он.— Мы должны низвергнуть родителей, преподавателей и восстановить нашу свободу! Мы должны низложить императора и осуществить всеизм! Мы приветствуем иностранцев, напавших на нашу родину, потому что они пулопулапы! Сейчас мы схватим императора и подарим его нашим иностранным товарищам, поэтому будем действовать немедленно. Затем мы уничтожим старших родственников, учителей, и тогда все дурманные листья, женщины, народ и сам всеизм будут нашими. Великий святой Мац говорил: «Пулопулап — это высше-низший варэ-варэ среди яящихся всего планетозема!» Вперед, на дворец!

Никто не двинулся с места. Студент крикнул снова — опять никто не шевельнулся.

— Может быть, сначала лучше разойтись по домам и убить отцов? — предложил один.— Во дворце слишком много солдат, как бы не нарваться!

Все повскакали с земли.

— Погодите! Сядьте! Значит, начинаем с отцов?

Студенты заспорили, засомневались:

— Если мы убьем отцов, кто будет давать нам дурманные листья?

— Правильно! Сначала нужно захватить все дурманные деревья, а потом уже убить их владельцев!

— Раз у нас нет единого мнения, можно разделиться,— предложил другой.— Антиимператорская фракция пойдет во дворец, а антиотцовская — по домам.

[1] Пародия на неуклюжую транскрипцию слова «пролетариат» («пулолэталиятэ»).

— Но великий святой Мац говорил только об убийстве императора, а не отцов...

— Контрреволюция!!!

— Если мы убьем их, мы нарушим завет великого святого!

Я решил, что юнцы передерутся, но они ограничились воплями. Постепенно крикуны разделились на несколько групп, каждая из которых обращалась к памятнику святого Маца. Затем студенты разбились по одному, но по-прежнему осаждали памятник. Наконец все устали, из последних сил выкрикнули: «Да здравствует мацизм!» — и разошлись. Что за дьявольщина?!

25

Мне уже больше не хотелось критиковать людей-кошек, потому что никакая критика не сделает из камня прекрасной скульптуры. Все, что можно было извинить, я извинял, а оставшееся приписывал неблагоприятным природным условиям их государства.

Я ждал Маленького Скорпиона, чтобы вместе с ним отправиться на фронт — посмотреть, как они воюют. О других марсианских странах я почти ничего не знал, а Дурман сообщила мне только одно: что у иностранцев пудра тоньше и белее. В ответ на остальные вопросы она качала головой и восклицала:

— Почему он до сих пор не возвращается?!

Я не мог ответить на это, а лишь молился за всех женщин, чтобы в мире никогда больше не было войн.

Дурман буквально не находила себе места. Все кошачьи чиновники удрали, на улицах стало менее людно, но многие еще любовались отрубленной головой Большого Ястреба. Получить вести с фронта было невозможно; никто понятия не имел о государственных делах, хотя слово «государственный» употреблялось здесь особенно часто: дурманные листья — это государственная пища, Большой Ястреб — государственный преступник, грязь в канаве — государственная защита... Пойти за новостями в иностранный квартал значило упустить Маленького Скорпиона, если он вернется. А Дурман приставала ко мне: «Все убежали, даже Цветок! Может, и нам убежать?» Я молча качал головой.

Наконец он вернулся. Дурман так обрадовалась, что не смогла выговорить ни слова, а только уткнулась своей заплаканной мордочкой ему в грудь. Но сам Маленький Скорпион выглядел печальным, с его лица исчезла обычная усмешка.

— Ну, как дела? — спросил я, дав ему немного прийти в себя.

— Безнадежны,— вздохнул он.

Дурман бросила взгляд на меня, потом на Маленького Скор-

пиона и нерешительно выдавила вопрос, который давно ее мучил:

— Ты снова уйдешь?

Не глядя на девушку, он отрицательно покачал головой. Я не решился продолжить расспросы, чтобы случайно не расстроить Дурман. Впрочем, она и сама, наверное, чувствовала, правду ли говорит ей Маленький Скорпион.

Он отдохнул еще немного и сказал, что хочет повидать отца. Дурман промолчала, но явно прониклась решимостью следовать за ним. Поняв, что его уловка разгадана, Маленький Скорпион беспокойно заходил по комнате; я не мог поддержать его — меня сковывал взгляд девушки. Наконец Дурман не выдержала и расплакалась.

— Куда ты пойдешь, туда и я.

Он опустил голову, подумал:

— Хорошо!

Я тоже заявил, что пойду вместе с ними, хотя вовсе не жаждал видеть Большого Скорпиона.

Мы двинулись на запад, но весь народ, даже солдаты, шли нам навстречу.

— Почему они идут на восток, если враг на западе? — невольно спросил я.

— Потому что на востоке безопаснее! — скрипнул зубами Маленький Скорпион.

Нам встретилось множество старых и новых ученых, которые шествовали по разным сторонам улицы, необычайно радостные.

— Мы идем к императору! — крикнули они Маленькому Скорпиону.— Его Величество приказал созвать научную конференцию, поскольку оборона страны — общее дело и пальма первенства здесь принадлежит ученым! Перед нами стоит множество вопросов, например: сколько солдат на фронте, захватят ли враги Кошачий город? Если они действительно намерены захватить, то мы посоветуем Его Величеству передвинуться еще дальше на восток. Мудрый император, он не забывает ученых! Мудрые ученые, они до конца верны императору!

Окрыленные надеждой увидеть Его Величество, ученые даже не обратили внимания на то, что Маленький Скорпион ничего не ответил. Но едва эта ликующая группа прошла, как появилась другая, с понурыми, убитыми лицами:

— Помогите нам, господин! Почему Его Величество не пригласил нас на научную конференцию? Ведь наши знания, наши добродетели ничуть не меньше, чем у этих мерзавцев! Если мы не попадем на конференцию, то нас вообще перестанут считать учеными! У вас такие связи, господин, походатайствуйте, чтобы нас не обошли!

Маленький Скорпион по-прежнему молчал, однако на этот раз его молчание было воспринято иначе:

— Если вы не поможете нам, мы начнем критиковать правительство, и тогда всем достанется!

Схватив Дурман за руку, Маленький Скорпион пошел быстрее Ученые в голос зарыдали.

Показался строй каких-то особых солдат, у которых на шее висели красные шнуры. Я еще не видел ничего подобного, но не решился тревожить вопросом Маленького Скорпиона, уже достаточно взбешенного учеными. Однако он заметил мое недоумение и горько рассмеялся:

— Это так называемая красноверевочная, или государистская, гвардия. Красные шнуры — ее отличительный знак, как и в других странах. Но там государизм означает крайний, даже фанатический патриотизм, а наша красноверевочная гвардия из того же патриотизма стремится в местечко поспокойнее, где ей ничто не угрожает. Ведь если иностранцы перебьют ее, она больше не сможет проявлять свою любовь к родине!..

Один из гвардейцев ехал на головах целого десятка людей-кошек, и шнур на его шее был особенно толстым.

— Это командующий красноверевочной гвардией,— тихо добавил Маленький Скорпион.— Он намерен сосредоточить в своих руках всю государственную власть, потому что другие страны таким способом стали сильнее. Сам-то он и теперь сильнее остальных, то есть хитрее. Я убежден, что сейчас он едет за императором специально для того, чтобы осуществить свой план. Убежден!

— Может быть, тогда ваша страна действительно станет сильнее? — заколебался я.

— Нет. Хитростью можно только захватить власть, а не укрепить страну. Он поглощен собственным честолюбием, но никак не заботами о государстве. Настоящий патриотизм — это борьба с врагом.

Я понял, что междоусобицы людей-кошек лишь облегчали возможности для вторжения иностранцев. От шнуров красноверевочной гвардии у меня зарябило в глазах: передо мной расстилалось зловещее кровавое море, по которому плыли гвардейцы.

Мы уже вышли из Кошачьего города, и я почему-то подумал, что могу больше не увидеть его. Вскоре нам встретилась еще одна странная процессия: высокие люди-кошки с благостными мордами и травинками в лапах. Дурман, давно не подававшая голоса, воскликнула:

— А-а, святые идут!

— Что? — гневно спросил Маленький Скорпион, который раньше никогда не сердился на девушку. Она робко уточнила:

— Нет, нет, я в них не верю.

— О каких святых речь? — осведомился я, надеясь, что мое неведение отвлечет от Дурман хотя бы часть гнева.

Маленький Скорпион долго молчал и вдруг сам задал мне вопрос:

— Скажи, каков основной недостаток людей-кошек?

Ответить на это было совсем не легко. Когда мой приятель сказал: «Глупость»,— я втайне понадеялся, что он имеет в виду не меня.

— Да,— продолжал Маленький Скорпион,— глупость — это наша главная беда, потому что мы обычно подражаем другим, делаем вид, будто все знаем и понимаем, а на самом деле не знаем и не понимаем ничего. В минуту настоящей опасности мы отбрасываем свою крикливую терминологию, зовем маму, как дети,— и тогда обнажается подноготная наших пустых душ: обыкновенная глупость. Многие всеисты в подобных случаях взывают к святому Мацу, хотя в действительности он был не святым, а великим человеком и отвергал суеверия. Ссылаются наши революционеры и на таких «святых», которые умеют лишь держать травинку в лапах. В мире нет никого противнее и глупее их!

Никто у нас ничего не понимает, а когда возникают проблемы, требующие немедленного решения, все только и делают, что призывают на помощь святых. Нет, наша гибель неизбежна. Если дурно организованные экономика, политика, образование, армия могут погубить государство, то массовая глупость способна погубить целую нацию, потому что глупцов не считают людьми. Захватив нашу страну, враги полностью уничтожат нас, и никто из соседей не вступится. Скот пошел под нож — что в этом особенного? Люди всегда жестоки к тем, кого презирают.

Я очень хотел познакомиться с кошачьими святыми поближе, но боялся потерять Маленького Скорпиона и Дурман. На отдых мы расположились в деревушке, которая представляла собой несколько полуразвалившихся домиков, без единого жителя.

— Во времена моего детства эта деревня выглядела иначе. Как быстро все приходит в запустение! — задумчиво сказал Маленький Скорпион, точно самому себе. Я не знал, отчего погибла деревня, но не стал донимать его расспросами, потому что уже слышал о нескольких странных революциях, а за ними — войнах, в которых и победа не приносила счастья. Все то же невежество и ханжество, каждый переворот сопряжен с увеличением армии, с ростом числа алчных чиновников. Крестьяне голодают, даже если трудятся в поте лица, и бегут в город или за несколько дурманных листьев пополняют собой армию. Да, опасное это дело — революция в ру-

ках невежд! Никто не спасет людей-кошек, если они не поймут, что их душит собственная глупость.

Пока я так размышлял, Дурман вдруг вскочила и закричала:

— Глядите, глядите!

На западе клубилась огромная туча серого песка, словно поднятая налетевшим вихрем.

Губы Маленького Скорпиона задрожали:

— Это бегут отступающие солдаты!

26

— Спрячьтесь! — спокойно и в то же время озабоченно приказал Маленький Скорпион.— Наши солдаты несмелы в наступлении, но отступают, как безумные. Прячьтесь быстрее! Друг, поручаю Дурман тебе!

Горящими глазами он смотрел на запад, а руки его тянулись к девушке, точно хотели приласкать ее. Дурман взяла его за руку и, дрожа всем телом, прошептала:

— Мы умрем вместе.

Я не знал, что делать: прятать Дурман или остаться с ним? Смерть меня не страшила, но я мечтал принести хоть какую-нибудь пользу. Если на нас обрушится несколько сотен обезумевших солдат, то не поможет даже мой пистолет. Схватив друзей за руки, я хотел броситься с ними в первую попавшуюся хижину, чтобы потом, когда отряд промчится мимо, поймать одного из отставших солдат и узнать, что происходит на фронте.

Маленький Скорпион не желал прятаться. Дурман тоже не слушалась меня. Между тем туча пыли надвигалась с молниеносной быстротой.

— Глупо так умирать, я не допущу этого!

— Все кончено, не беспокойся обо мне,— твердо сказал Маленький Скорпион.— И о Дурман тоже: пусть делает что хочет.

Но физически он не мог со мной соперничать — я обхватил его и поволок силой. Дурман последовала за нами. Мы спрятались в разрушенном домишке, я положил на стену несколько кирпичей и сквозь щели между ними стал наблюдать за бегущим войском.

Оно налетело, как смерч, захлестнуло нас серым песком и испуганными воплями. Я невольно зажмурился, но тут же открыл глаза. Передо мной предстало все воинство. Солдаты бежали с пустыми руками, глядя только себе под ноги. Это зрелище придало мне смелости. До сих пор я не мог представить себе войско без знамени, без оружия, без лошадей, без формы — одни голые люди-кошки, близкие к сумасшествию, отчаянно вопящие и мчащиеся по горячему

песку. Теперь я не испугался бы даже целой армии, целого мира этих дикарей.

Несколько минут — и главная масса бегущих схлынула. Я подумал, что это, наверное, солдаты Большого Скорпиона. Если так, то Маленький Скорпион шел на верную смерть, когда отказывался прятаться от них. Мне снова захотелось поймать кого-нибудь из отставших солдат, но они бежали даже быстрее передних — должно быть, пытались нагнать их. Ловить было безнадежно, оставалось подстрелить.

Я знал, что передние даже не оглянутся на выстрел, но не был уверен, что сумею попасть в бегущего и притом нанести ему лишь легкую рану. Нет, это не для меня: я все же не военный, чтобы прибегать к таким жестоким приемам.

Солдат становилось все меньше. Я выскочил из укрытия, решив стрелять только в самом крайнем случае. Жизнь иногда бывает сложнее, чем ее себе представляешь, но иногда проще. Если бы солдаты продолжали бежать, я бы за ними не угнался. К счастью, один из них поступил иначе и, завидев меня, оцепенел, словно лягушонок перед водяной змеей. Остальное было совсем просто. Я взвалил его, полумертвого от усталости и страха, к себе на спину, и он даже не пискнул.

В нашем убежище он долго не открывал глаз, а едва открыл их и увидел Маленького Скорпиона, так дернулся, будто ему всадили штык в живот. Глаза солдата загорелись, он хотел броситься на молодого хозяина, но моя рука легла ему на плечо.

Маленький Скорпион, неподвижно сидевший рядом с Дурман, не проявил к пленнику никакого интереса, и я понял, что мне придется расспрашивать самому. Не добившись ничего добром, я припугнул солдата и спросил, почему они убегают.

Солдат снова оцепенел, стал что-то вспоминать и вдруг показал на Маленького Скорпиона:

— Все из-за него!

Маленький Скорпион усмехнулся.

— Все из-за него! — яростно повторил солдат. Я знал, что людикошки очень вспыльчивы, и выжидал, когда его гнев уляжется.

— Мы не хотели воевать, а он обманул нас и послал на фронт. И еще не разрешил взять национальные престижи, которые нам давали враги! Красноверевочную гвардию и другие армии он тоже послал, но они преспокойненько взяли национальные престижи и отступили; одну нашу армию разгромили в пух и прах! Мы солдаты его отца, а он не заботился о нас, бросил на поле боя, не захотел отпустить, как собирался сделать его отец. Если хоть один из нас останется в живых, не видать тебе хорошей смерти! Другие пре-

спокойненько отступили, даже пограбили немного, не то что мы! Как нам теперь жить?!

Маленький Скорпион слушал внимательно, но с подавленным видом. Для меня же было интересно каждое слово солдата, который, на мое счастье, продолжал:

— Вы отняли у нас и землю, и дома, и семьи! Сегодня вам нужно одно, завтра — другое! Чиновников все больше, а народ нищает! Вы грабите нас, обманываете, заставляете идти в солдаты, чтоб мы для вас грабили. Сами получаете лучшую долю, а нам даете крохи, и то потому, что боитесь, как бы мы вас не бросили. Когда иностранцы нападают на вас, желая завладеть вашим добром, вы посылаете нас на смерть! Мы просто отбываем повинность, потому что не умеем работать, потому что вы еще наших отцов превратили в солдат. Мы с детства не знаем другой доли и иначе жить не можем!

Он остановился перевести дух, а я воспользовался случаем и спросил:

— Если вы знаете, что чиновники так плохи, почему вы не уничтожите их и не станете сами управлять всем?

Солдат выпучил глаза. Я решил, что он не понимает меня, но на самом деле он задумался:

— Ты хочешь сказать, почему мы не устраиваем революции?

Я никак не ожидал, что он знает это слово,— забыл, сколько переворотов было в Кошачьем государстве.

— А-а, никто уже не верит! От революции мы только теряем, а они приобретают. Когда разделили землю, все радовались, но каждый получил так мало, что не смог посадить и десятка дурманных деревьев. И сажали — голодали, и не сажали — голодали. Наши вожди ничего не могли сделать. Они старались, особенно молодые, но мы все равно голодали — значит, они были дураками. Мы перестали им верить, хотя и сами ничего не знали. Нам оставалось только служить тем, кто давал дурманные листья, а сейчас и в солдаты не годимся. Нет, мы должны убить хотя бы одного чиновника. Ведь это они послали нас драться с иностранцами — на верную смерть! Если нас убьют, как мы будем служить и есть дурманные листья? У чиновников горы листьев, целые толпы женщин, а нам даже обглоданного листа не дадут, посылают драться с иностранцами. Нет, уж лучше мы с чиновниками станем драться!

— Может, ты его имеешь в виду? — показал я на Маленького Скорпиона.

— Конечно! Он послал нас на фронт, не разрешил взять у иностранцев национальные престижи!

— Ну и что бы вы стали делать, если б убили его? — спросил я.

Солдат промолчал.

У меня не было ни времени, ни охоты объяснять пленнику, что Маленький Скорпион едва ли не единственный думающий человек-кошка, что ненавидеть его глупо. Солдат, видимо, считал Маленького Скорпиона чиновником; он не мог уничтожить все чиновничество, поэтому и хотел выместить злобу хоть на одном. Я вновь убедился в том, что даже умный человек, старающийся разрешить политические и экономические проблемы, тонет среди этих проблем, если не обладает необходимыми знаниями; что многократные перевороты обостряют классовое сознание, но вряд ли делают народ умнее: он лишь чувствует себя обманутым, а что делать — не знает. Сверху донизу сплошная глупость! Она зияет на теле Кошачьего государства, словно кровавая рана, и все-таки недостаточно болезненна, чтобы заставить его воспрянуть.

Куда же девать пленника? Если отпустить, он может позвать других солдат и убить Маленького Скорпиона; если взять с собой, он нам только помешает. Время было позднее, пора действовать, но Маленький Скорпион всем своим видом показывал, что не хочет ничего, кроме смерти, он даже разговаривать не желал. Дурман как советчица в счет не шла. Возвращаться домой было опасно, идти на запад — еще опаснее, все равно что самим лезть в сети. Единственный выход, пожалуй,— отправиться в иностранный квартал. Однако Маленький Скорпион покачал головой:

— Лучше смерть, чем позор! И отпусти ты этого несчастного.

Я сделал, как он хотел.

Постепенно стемнело. Кругом царила необычайная, страшная тишина. Вдали наверняка бегут отступающие солдаты, за ними идет иностранная армия, а здесь — напряженная тишина, как на пустынном острове перед бурей. Конечно, сам я мог перебраться в другую страну, но меня мучила судьба Маленького Скорпиона, который успел стать мне близким другом. Да и Дурман не хотелось бросать. Как это печально — в обвалившемся доме ждать гибели государства! Именно тогда особенно остро ощущаешь связь между понятиями «человек» и «гражданин». Я думал, разумеется, не о себе, а о своих друзьях: только так я мог проникнуть в их души, взять на себя хоть часть их скорби, потому что утешать их было бесполезно. Государство гибнет от собственной глупости. Эта гибель не трагическое разрешение противоречий, не поэтическое олицетворение справедливости, а исторический факт, который не смягчишь никакими чувствительными словами. Я не книгу читал, а слышал поступь смерти! Мои друзья слышали ее, конечно, еще отчетливее, чем я. Они проклинали ее или предавались воспоминаниям. У них не было будущего, а их настоящее воплотило в себе весь позор человечества.

На небе, все таком же темном, сверкали звезды. Кругом по-

прежнему стояла тишина, однако глаза моих друзей были открыты. Они знали, что я тоже не сплю, но никому не хотелось говорить: разящий перст судьбы придавил наши языки. В мире онемела еще одна культура, которая никогда больше не возродится. Ее последним воплем стала запоздалая песнь свободе. Душа этой культуры может попасть только в ад, потому что само ее существование было черным пятном на странице истории.

27

Уже к рассвету я задремал. Внезапно грянули два выстрела. Я вскочил, но было поздно: мои друзья лежали на земле окровавленные — рядом с Маленьким Скорпионом валялся пистолет.

Что я чувствовал тогда — невозможно описать. Я все забыл, остались только боль в сердце и страх от пристального взгляда их мертвых глаз. Да, они смотрели на меня, хотя и без всякого выражения, словно предоставляя мне догадаться, о чем они думают. Передо мной была извечная тайна, а я еще надеялся вернуть их к жизни и в то же время чувствовал, как хрупка и беспомощна жизнь. Я не плакал, я был так же мертв, как они,— с той только разницей, что стоял, а они лежали. Присев, я дотронулся до них, они были еще теплыми, но не откликнулись. От них сохранилось лишь то немногое, что знал я, остальное исчезло. Наверное, смерть по-своему приятна.

Мне было нестерпимо жаль их, особенно Дурман, которая была совсем не готова к героической гибели. Преступления людей-кошек обрушивались даже на их жен, матерей, сестер. Будь я богом, я бы раскаялся в том, что дал женщин такому никчемному государству!

Я понимал Маленького Скорпиона и из-за этого еще больше жалел Дурман. У него были причины умереть вместе со своей страной — причины, вполне объяснимые. Человек не может жить вне своей нации и государства; если он теряет их, он гибнет, а если выживает, то гибнет его душа.

Дурман и Маленький Скорпион становились для меня все более дорогими. Я мечтал разбудить их, сказать им, что они чисты, что их души не погибли. Мечтал, чтобы они улетели со мной на Землю, испытали радости жизни. Но бесплодные грезы только усиливали тоску. Друзья оставались недвижными — казалось, они погибли уже несколько дней назад. И жизнь и смерть были Всем, а между ними лежало безгранично большое Непознаваемое. Да, мои

чание смерти оказалось абсолютной истиной. Мои друзья больше не заговорят, и я сам потерял интерес к жизни.

Я просидел возле них до самого восхода. Их черты вырисовывались все отчетливее, солнечный луч упал на безмолвное, но необычно красивое лицо Дурман, на Маленького Скорпиона, прислонившего голову к стене. Его лицо все еще хранило печальное выражение, как будто он даже после смерти не избавился от своего пессимизма.

Если бы я продолжал сидеть здесь, я бы сошел с ума. Но одна мысль о том, что я должен их оставить, исторгла у меня слезы, которые я до сих пор сдерживал. Бросить друзей и вновь скитаться по чужому миру было еще труднее, чем оказаться оторванным от Земли. К тому же их образы будут постоянно преследовать меня. Я плакал, обхватив руками их тела, и почти кричал: «Прощай, Маленький Скорпион, прощай, Дурман!»

Хоронить их я был не в состоянии. Еще минута, и я останусь здесь навеки. Стиснув зубы, я подобрал свой пистолет, перелез через стену и, отойдя на несколько шагов, оглянулся. Нет, я не вернусь, пусть даже их тела сгниют. Такой я злосчастный человек: сначала потерял товарища, с которым вместе летел, а теперь и этих друзей... Наверное, мне вообще нельзя дружить!

Куда же идти? Конечно, в Кошачий город. Ведь там сейчас мой дом.

Навстречу мне никто не попадался, всюду витала смерть. На серо-желтой дороге, под серым небом, валялись мертвые солдаты, над которыми с радостным клекотом плясали белохвостые коршуны. Я шел со всей скоростью, на какую был способен, однако в ушах стоял смех Дурман, раздавался голос Маленького Скорпиона. Они действительно преследовали меня.

Завидев вдали Кошачий город, я почувствовал, что мое сердце забилось сильнее — то ли от страха, то ли от новой надежды. На пустынных улицах не было никого, только валялись трупы изнасилованных женщин. Я догадался, что здесь проходили солдаты, и вспомнил фразу Дурман: «Цветок тоже убежала!» Да, если бы Цветок не скрылась, она бы оказалась среди этих мертвецов... Голова Большого Ястреба, вся исклеванная коршунами, по-прежнему торчала на шесте; теперь ее не стерегли, она сама как будто сторожила пустой город...

Дом Маленького Скорпиона оказался разрушенным. Солдаты не оставили ничего, что я мог бы взять на память, да мне, наверное, и не следовало брать, потому что каждый кирпич, каждая частица этого дома вызывали у меня слезы.

Зная, что все жители на востоке, я пошел туда, по пути оглянулся на мертвый город, тонувший в сером воздухе, повернул к

роще Большого Скорпиона, миновал безлюдные деревушки, где тоже побывали солдаты.

В роще опять-таки никого не оказалось. Я присел под деревом, но гнетущая тишина вскоре согнала меня с места... От нечего делать я пошел к отмели, где прежде купался, сел на песок и стал глядеть вдаль. Тут сквозь туман я вдруг заметил людей, идущих на запад. Было такое впечатление, что обстановка изменилась и жители возвращаются в город. Путников становилось все больше, некоторые шли с солдатами и нетерпеливо прокладывали себе дорогу обычным для именитых людей-кошек способом. То в одном, то в другом месте вспыхивали стычки, но понять, кто побеждает, было трудно, потому что солдаты не столько били, сколько увертывались, прятались друг от друга. Один из отрядов увертывался особенно умело и, заполняя образовавшиеся пустоты, потихоньку двигался вперед. Когда он подошел ближе к отмели, я понял причину этой ловкости: во главе отряда стоял Большой Скорпион.

Я не мог упустить такого случая и догнал отряд, который уже совсем вырвался на свободу и начинал наращивать темп. Большой Скорпион, казалось, обрадовался, увидев меня, но ему было не до разговоров. Когда я спросил, что он думает делать, он озабоченно бросил:

— Идем с нами в столицу! Враги скоро придут туда, если уже не пришли!

«Наконец-то люди-кошки поняли, что нельзя не обороняться, и решили защищать город! — подумал я.— Но почему они тогда дерутся по дороге?!» Чувствуя, что мои догадки не совсем оправданны, я потребовал от Большого Скорпиона объяснений.

Он, видимо, нуждался во мне и, зная мою настойчивость, не утаил правду:

— Мы идем сдаваться! Кто первый подарит столицу врагу, тот получит в награду прибыльное местечко!

— Нет уж, уволь! Сдаться ты и без меня сумеешь! — отрезал я и круто повернул назад.

Военачальники, шедшие за Большим Скорпионом, тоже торопились капитулировать. Особенно усердствовал командующий красноверевочной гвардией, по-прежнему с толстым шнуром на шее.

Вдруг все остановились. Я оглянулся, увидел, что враг уже подходит, и решил все же пойти посмотреть, как Большой Скорпион будет сдаваться. Внезапно и меня, и Большого Скорпиона обогнал командующий красноверевочной гвардией. Он птицей ринулся к врагам и встал перед ними на колени. Остальные военачальники последовали его примеру, словно почтительные сыновья на похоронах родителей в старом Китае.

Тут я впервые увидел врагов Кошачьего государства. Большинство из них были еще ниже ростом, чем обычные люди-кошки, не очень умные на вид, но явно подлые и жестокие; я не знал ни их истории, ни их национального характера и руководствовался только первым впечатлением. В руках они держали короткие палки, похожие на железные.

Когда люди-кошки встали на колени, один из лилипутов — видимо, начальник — хлопнул в ладоши. Стоявшие за ним солдаты мгновенно подались вперед и с удивительной точностью стали бить сдающихся по головам. Их жертвы без единого звука валились на землю, как будто из палок вылетали электрические разряды. Остальные люди-кошки закричали, словно петухи под ножами, и рванулись назад, давя упавших. Лилипуты не преследовали их, а продвигались медленно, отбрасывая ногами трупы.

Недаром Маленький Скорпион говорил, что враг уничтожит всех людей-кошек до единого! Но я еще надеялся, что они окажут сопротивление. Капитуляция не спасла их от гибели, а борьба может спасти. Я не люблю войн, однако история показывает, что иногда они неизбежны, что человек порой просто обязан вступить в битву и даже погибнуть в ней. Постоять за свой народ — святая обязанность, она не чета ложному патриотизму, который мне отвратителен. После этой расправы жители Кошачьего государства, наверное, еще дадут бой, и вполне возможно, что победа будет за ними.

Я держался поодаль от лилипутских солдат, которые приканчивали своими палками раненых. Естественно, что эти солдаты не показались мне культурными, но они имели по крайней мере одно преимущество перед людьми-кошками: уважение к собственной стране. Это уважение оборачивалось чудовищным эгоизмом, и все же лилипуты выигрывали в сравнении с жителями Кошачьего государства, каждый из которых думал лишь о собственной персоне.

Хорошо, что, отправляясь на фронт, я захватил немного дурманных листьев — иначе умереть бы мне с голоду. Я не решался не только попросить еды у лилипутов, но даже приблизиться к ним, потому что они, чего доброго, могли принять меня за шпиона. Мы дошли до того места, где упал мой корабль, и тут лилипуты остановились. Издалека я увидел, что обломки корабля привлекли их внимание. Любознательностью пришельцы тоже превосходили жителей Кошачьего государства, однако в тот момент я думал не об этом, а об останках моего друга, которые они топтали.

Отдохнув, солдаты принялись рыть землю — несколько неуклюже, но быстро, без всякой лени и сомнения. Вскоре они выкопали огромную яму, подогнали к ней толпу пленных людей-кошек, окружили их и начали сталкивать вниз. От криков несчастных ра-

зорвалось бы даже железное сердце, но у лилипутов сердце оказалось крепче железа, к тому же они помогали себе металлическими палками. Среди жертв было много женщин, некоторые с детьми на руках. Не в силах спасти их, я зажмурил глаза, но крики и плач раздаются у меня в ушах до сих пор.

Постепенно шум стих, я открыл глаза и увидел, что низкорослые звери уже утаптывают землю. Всех закопали, живьем! Страшное наказание за неспособность сопротивляться! Я не знал, кого больше следует ненавидеть, но чувствовал, что люди, не уважающие самих себя, не могут рассчитывать на человеческое обращение. Подлость одного человека и то способна погубить очень и очень многих!

Если бы я до конца осознал все, что видел, я бы ослеп от слез. Лилипуты казались мне самыми жестокими тварями, они действительно уничтожили Кошачье государство, даже его мухи были обречены на гибель.

Потом я наблюдал, как некоторые люди-кошки пытались бороться, но небольшими группами — по четыре-пять человек. Они до самого конца не научились действовать сообща. Я видел холм, на котором собралось десятка полтора кошачьих беженцев,— единственное место, еще не захваченное врагом. Не прошло и трех дней, как они переругались и передрались между собой. Когда на холм поднялись лилипуты, там осталось всего два сцепившихся человека-кошки — наверное, последние жители Кошачьего государства. Солдаты не стали убивать их, а посадили в большую деревянную клетку, где пленники продолжали яростный бой, пока не загрызли друг друга до смерти. Люди-кошки сами завершили свое уничтожение.

* * *

Я прожил на Марсе еще полгода. Наконец туда прилетел французский изыскательский корабль, который живым и невредимым доставил меня в мой великий, светлый и свободный Китай.

ПОД ПУРПУРНЫМИ СТЯГАМИ

РОМАН

Перевод Д. Воскресенского

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

«Под пурпурными стягами» — последнее крупное произведение выдающегося китайского писателя, которому он посвятил годы своей жизни, предшествующие трагической гибели в 1966 году. О романе ничего не было известно вплоть до 1979 года, когда одиннадцать первых глав появились в трех номерах журнала «Жэньминь вэньсюэ» («Народная литература»). Спустя год роман вышел отдельным изданием.

О чем же рассказывает этот последний роман Лао Шэ, оставшийся, к сожалению, незавершенным? Он повествует о прошлом — о событиях, происходивших в Китае на рубеже XIX—XX веков, когда родился писатель. В ту пору в стране еще правила маньчжурская династия Цин. Об эпохе, изображенной в романе, говорит его название, где под «пурпурными стягами» (по-китайски — «истинно красные») имеется в виду одно из «восьми знамен» — своеобразный символ маньчжурской власти. Однако его нельзя назвать историческим романом. Скорее он походит на художественную автобиографию, рассказывающую о раннем детстве писателя, а еще точнее — на семейную хронику. Лао Шэ был маньчжуром, поэтому описанное им — прежде всего круг жизни маньчжурской семьи. С этой точки зрения произведение Лао Шэ уникально, так как в китайской литературе нет другого, которое столь точно и проникновенно изображало бы жизнь этого, по-своему удивительного народа, завоевавшего Китай в XVII веке и почти полностью растворившегося в китайской среде два столетия спустя. Читая ро-

ман, видя образы маньчжурских «знаменных людей», живо представляешь их своеобычные нравы, привычки и психологию.

Лао Шэ — один из немногих китайских писателей, кто умел запечатлеть жизнь, как личную, так и общественную, в достоверных и сочных бытовых деталях и этнографических подробностях. В последнем романе эта особенность писательского дарования проявляется с блеском. Незабываемы сцены семейного и общественного бытия, изображенные в произведении Например, описания старого Пекина, города, где родился и вырос писатель, который он знал как никто другой. Читатель видит шумную пекинскую улицу и дворы, работу людей и их развлечения. Вместе с героями читатель любуется пронзительной синевой пекинского неба в пору поздней осени и страшится пыльной бури, обрушившейся на город, наслаждается полетом голубей и веселится на храмовом празднике.

В романе Лао Шэ проявились многие черты художественного дарования писателя-реалиста. Например, его умение создать убедительный и правдивый образ человека, используя при этом одну-две небольшие, но емкие по смыслу детали. Таковы психологические портреты норовистой тетушки, спесивой свекрови, наглого хитреца Глазастого. Характерен для повествования юмор, иногда мягкий и незлобивый, а порой переходящий в злую издевку. Эта особенность писательского таланта, проявлявшаяся и в прежних произведениях, в новом романе раскрылась с новой удивительной силой. Автор в совершенстве владеет искусством повествования, используя все нюансы литературного языка, раскрывая его богатство, равно в авторской речи и в диалогах.

Последнее произведение Лао Шэ свидетельствует о высокой зрелости его художественного таланта. Горько сознавать, что роман не закончен, и перо писателя остановилось на полуслове, показав нам лишь общие очертания большого произведения. Однако и то, что успел сделать Лао Шэ, несомненно, займет достойное место в ряду лучших произведений китайской литературы последних десятилетий.

Д. Воскресенский

1

Я почти уверен, что, если бы сейчас здравствовали моя тетя и свекровь сестры, они, как и прежде, продолжали бы свои давние споры о том, что же все-таки случилось с моей матушкой в тот день, когда я появился на свет: обморок от родов или отравление угарным газом. Но к нынешнему дню обе старухи, как это предписано законом природы, благополучно скончались, и, когда наступил сей печальный час, близкие и друзья проводили их останки на кладбище. Иначе даже сейчас, когда мне уже за шестьдесят, а может быть, и позже, когда я буду в более преклонном возрасте, меня постоянно снедало бы беспокойство: ведь если верить сестриной свекрови, я тогда вовсе не должен был появиться на свет!

Впрочем, наступила пора кое-что объяснить. Дело в том, что я несколько промедлил со своим рождением. Моя сестра к этому времени уже «покинула горницу» [1], то есть, когда я появился на этот свет, она уже приобрела себе свекровь — женщину с предубеждениями, твердости которых мог бы позавидовать любой алмаз. Да, да! Кстати, именно из-за них я всегда остерегался потом приглашать ее в гости, потому что знал: стоит ей переступить порог, как она сразу же начнет распахивать настежь окна и двери, чтобы проветрить комнаты от угара.

---

[1] Вышла замуж

Говорю я все это вовсе не ради далеко идущих сопоставлений или желания унизить старуху и возвысить мою родную тетю. Никакой необходимости в этом нет. Если говорить начистоту, моей тете было решительно наплевать, появлюсь я в этом мире или нет. Иначе с какой стати она впоследствии стала бы выколачивать о мою голову свою курительную трубку, словно на плечах у меня покоилась не голова, а обломок кирпича? Все это было именно так, как я говорю, и все же в рассуждениях и действиях тетки было немало здравого смысла. Не потому ли и вспыхивали яростные споры между ней и свекровью? По мнению тети, с моей матушкой случился обморок из-за потери крови при родах. Потом я точно выяснил, что вывод старой женщины полностью соответствовал истине. Да и как же иначе? С тех пор как тетя овдовела и переехала жить в наш дом, все новости стали поступать к нам от нее, как говорится, из первых рук и самые точные. В данном случае мой первый вопль помешал тете спать, из чего следует, что к угарному газу я не имел никакого отношения!

И вот что я еще потом понял. С приездом к нам тети, хотя каждый в доме по-прежнему жил своей жизнью, бразды правления перешли к ней как к старшей. Моя матушка стала заваривать ей чай, убирать стол, подметать пол в ее комнате. Словом, мать старалась во всем угодить старухе, дабы привести ее в доброе расположение духа. Как мне помнится, в те годы старшая тетка потеряла бы весь свой авторитет, если бы не помыкала женой своего младшего брата. Но, говоря так, я вовсе не хочу ее как-то ославить!

В день моего рождения матушка, само собой, не могла ухаживать за тетей. Теперь-то вам понятно, почему старуха точила на меня зуб, причем еще до того, как я появился на свет. Конечно, это можно считать самодурством, и все же я немного ей благодарен. Если бы не она и не эта перепалка — почти потасовка — со свекровью сестры, точное время моего рождения никто не сумел бы установить.

А мне как-то жаль терять в своей жизни такой хороший праздник, который следует расценивать как событие благостное и счастливое. Ведь даже на мою тетю, которая выколачивала о мою голову трубку, порой находило сомнение: нужно ли ей в этот момент прилагать слишком большое усилие? Тете было точно известно, что я родился двадцать третьего числа последнего месяца в час «ю» [1], в день, когда решительно все пекинцы, включая военных

[1] Час «ю» — с 5 до 7 часов вечера. В старом Китае сутки делились на 12 отрезков по два часа. Каждый обозначался особым иероглифом, так называемым циклическим знаком.

и штатских и даже самого императора, провожали на небо бога домашнего очага — Цзаована.

В те далекие годы Пекин, особенно в пору безлунных ночей, представлял собой страшное царство тьмы. На улицах и в переулках — ни единого луча света. Если ты вышел за ворота без фонаря, тебя тут же охватывал ужас при мысли, что ты не найдешь обратной дороги. И действительно, нередко случалось, что какой-нибудь неосторожный прохожий, заблудившись в пути, кружил полную ночь до рассвета на одном месте. По научным представлениям того времени, такие кружения назывались «бесовской проказой». Говорят, однако, что в тот вечер, когда я родился, все пекинцы вели себя вполне пристойно, поэтому ни один из них не испытал на себе дьявольских шуток. Правда, в ту пору на улицах повсюду валялись тела погибших от голода и холода людей или трупы убитых, но они, как известно, к нечистой силе не имели ни малейшего отношения. В тот вечер все бесы, даже самые настырные, наверняка попрятались по домам и не показывали носа, а потому никак не могли они ради вящего своего удовольствия ставить на улицах всякие заслоны, дабы заставить путников петлять и кружить по городу.

А сколько тогда продавалось на улицах гуаньдунских сладостей[1] и засахаренных тыквенных семечек! С приходом сумерек торговцы зажигали фонари, яркий свет которых заливал лотки и тележки с товаром. Со всех сторон неслись крики лавочников, которые с наступлением темноты становились еще громче. И правда, кому будут нужны твои сладости, когда пройдет срок подношений Цзаовану? Зычный крик торговцев наводил страх даже на самого смелого черта, не говоря уже о трусливых (толкуют, что существуют в природе даже такие).

Но слушайте дальше. Часов с пяти-шести вчера раздались первые взрывы хлопушек. В час «ю» (в то знаменательное мгновение, когда я появился на свет) оглушительная канонада слышалась уже со всех сторон, и от адского грохота не то что бесы, но даже дворняги всех пород и расцветок (черные и рыжие, крупные псы и мелкие собачонки — сколько их было в ту пору в Пекине!) дрожали от страха, попрятавшись кто куда. Вспышки хлопушек распарывали мрак ночи, и в их ослепительном свете вдруг возникали кроны дальних деревьев. Во дворе каждого дома, залитого огнями, стояло изображение Цзаована, вокруг которого тлели благовонные свечи и дымились веточки кипариса. Цзаован, торопливо полако-

---

[1] Гуаньдун (*букв*: «К востоку от заставы») — район к востоку от заставы Шаньхайгуань. Сладости, которыми славился этот район, делались из пшеничной муки, риса и сахара.

мившись гуаньдунскими сладостями, отправлялся в небесные чертоги, оставив после себя кучку пепла.

Бог улетел на небо, а я явился на этой земле. Именно сей факт заставил мою тетю сильно задуматься: «У нашего молокососа судьба, как видно, совсем не простая!.. Кто знает, может быть, он один из тех отроков, которые прислуживают богу очага, а застрял он здесь, потому что хотел полакомиться сладостями — вот и не успел взлететь на небо. Кто знает?» Так думала тетя, но к чувству острого недовольства, которое она испытывала ко мне, присоединилось уважение.

До сих пор я толком не разобрался, как Цзаован относился к моей тете, но ее отношение к божеству мне известно вполне. Тетка относилась к Цзаовану крайне непочтительно, о чем говорило отсутствие в ее комнате алтаря. Помнится, тетя появлялась на нашей половине дома лишь после того, как матушка трижды успевала сменить благовонные свечи перед Цзаованом и богом богатства — Цайшэнем. Отвесив богам полупоклон, тетка сразу же удалялась к себе, однако, если в комнате по случаю оказывался я, она останавливалась и начинала странно таращить на меня глаза. Ей казалось, что это вовсе не я, а тот отрок, что прислуживает богу очага. Появился же он здесь для того, чтобы следить за ней!

Коль скоро я об этом заговорил, придется рассказать и о свекрови сестры. В отличие от тети старуха очень уважала всех богов, причем в ее поклонении чувствовался своеобразный размах. В ее доме в самом центре гостиного зала возвышался буддийский алтарь, над которым висел желтый полог. Украшенный затейливой резьбой, алтарь поднимался чуть ли не до потолка, а внутри него восседала фигура красномордого и бородатого Гуаньгуна [1]. В Праздник весны перед богом ставились пять чашечек со сладостями, сложенными в виде маленьких пагод, пять тарелочек с «лунными пряниками» и разнообразные фрукты, как свежие, так и сушеные. С обеих сторон от Гуаньгуна восседали бог богатства Цайшэнь, Цзаован и прогнавший небесного пса Чжан Сянь, который дарует людям сынов и внучат. Словом, хозяином дома здесь был вовсе не бог очага Цзаован, а бородатый Гуаньгун, в чем можно также заметить своеобразие свекрови сестры. Но особенно заметно ее характер проявлялся тогда, когда она хотела показать свою власть над мужем или сыном. В эти моменты доставалось даже богам! «Ах вы такие-сякие! — бранилась старуха.— Вам бы только есть мои сладости и фрукты! А заботы обо мне никакой! Дармоеды!»

Моя тетя нисколько не боялась спорить с грозной старухой, ко-

---

[1] Гуаньгун — средневековый полководец Гуань Юй, возведенный в ранг божества. Обычно понимался как бог войны.

торая честила даже богов, за что мы тетю очень уважали, хотя вслух не хвалили. Во всех ее баталиях со свекровью я, к примеру, всегда стоял на ее стороне, хотя в душе ее недолюбливал. Честно говоря, ничего привлекательного я в ней не видел. Что до свекрови сестры, то при одном упоминании о пей в моем сознании невольно возникает образ существа спесивого и на редкость бестолкового. Первым делом мне вспоминаются ее глаза, какие-то пустые, даже бессмысленные, всегда вытаращенные, особенно во время разговора — независимо от того, приятен ей собеседник или так ненавистен, что она готова его уничтожить. Вполне вероятно, что, тараща глаза, она хотела выразить какие-то свои чувства, однако пустота ее взора вызывала у собеседника лишь недоумение. У старухи были мясистые щеки, похожие на два обвисших мешка, надутых ядовитым газом. Они придавали лицу мрачное выражение. Когда старуха разговаривала, в особенности когда кашляла, она производила звуки, схожие с рычанием плохого микрофона. Ей казалось, что сила ее убеждения находится в прямой зависимости от громогласия, напоминавшего гул колокола. Старуха ни в чем толком не разбиралась, даже в делах житейских, но грозно тараща глаза и исторгая звуки, похожие на орудийные залпы, считала, что она знает решительно все.

Моя тетя была во всех отношениях интереснее свекрови (правда, до сих пор я не могу забыть ее курительной трубки, особенно когда в ней оставался перегоревший табак с листочками орхидеи). Начиная с ее внешности, я бы сказал весьма благообразной, хотя бы уже потому, что ее щеки не висели, будто мешочки с отравляющим газом. У нее были черные глаза, необыкновенно выразительные, когда пожилая женщина находилась в состоянии спокойствия. Но увы, по причине нам неизвестной порой налетал ураган и в глазах ее появлялся леденящий душу демонический блеск. Впрочем, к чему все это вспоминать? Тетка очень любила азартные игры, и, когда ей удавалось выиграть два-три чоха [1] монет, она вдруг низким голосом затягивала несколько куплетов на мотив эрхуан [2]. Как видно, неспроста: поговаривали, что ее муж, мой родной дядя, был актером. В ту эпоху реформ... Ах да! Я совсем забыл рассказать об этом важном событии! Заболтавшись о своем рождении, я упустил из виду, что речь идет о знаменательном времени, когда в стране произошли реформы,— о годе Усюй [3].

---

[1] Чох — связка монет.

[2] Эрхуан — одна из основных мелодий в китайской музыкальной драме.

[3] Год Усюй — то есть 1898 г., известен как период реформ, предпринятых либеральными реформаторами Кан Ювэем, Лян Цичао и другими.

Да, в ту пору только и говорили о разных нововведениях и реформах. Но странно, однако, что моя тетя почему-то о них помалкивала, как уходила всякий раз и от разговора о театре, театральном реквизите или «театральных взносах». Лишь в новогодний праздник, выпив пару чарок «розового», она неожиданно изрекала: «Нет, актеров называть низким сбродом никак нельзя!» Никто не слышал от нее прозвания мужа и не знал его театрального амплуа. До сих пор мне, например, неизвестно, кого же мой дядя играл: молодых героев или старух. Многие даже сомневались в принадлежности дяди к «знаменным людям» [1]. И вот почему. Ведь если он относился к числу знаменных маньчжуров, значит, он должен был входить в круг тех театралов, которые транжирят деньги, дабы прославиться. Но коли увлечение театром приносило человеку почет, почему же тетя всячески уклонялась от разговора о театре? Может быть, и в самом деле дядя был актером-профессионалом? Однако даже в те годы, переполненные всякими нововведениями и реформами, ни один порядочный знаменный маньчжур не мог стать актером. Отважившись на подобный шаг, он сейчас же покинул бы списки маньчжурских служивых. А если дядя был китайцем? Вряд ли! В этом случае после его смерти тетя не получала бы за него каждый месяц денежное пособие и рис. Словом, в истории моего дяди концы не сходились с концами, и я не разобрался в этом путаном деле вплоть до нынешнего дня.

Впрочем, был мой дядя актером или нет — это, в общем, неважно. Но вот чего я действительно никогда не мог понять, так это почему моей тете (той, которая выколачивала о мою голову трубку) выдавали пособие, как чьей-то вдове, а мой отец, стопроцентный знаменный солдат, несший охрану императорского дворца, приносил каждый месяц всего только три ляна серебра, из которых несколько серебряных брусочков оказывались всякий раз фальшивыми. Как получилось, что моему дяде, игравшему роли героев-юношей или благородных старух (напомню, что он вполне мог оказаться китайцем), удалось добиться военных заслуг, за которые после его смерти тетке платили деньги? По всей видимости, где-то вкралась нелепая ошибка! Да! И из-за этого просчета, допущенного каким-то чиновником, а быть может, самим императором, жизнь тетки оказалась на редкость удачной. В самом деле, доход сравнительно большой, а расходов почти никаких: Она даром жила в нашем доме, а в качестве прислуги имела под боком жену младшего брата.

---

[1] Знаменные — военные маньчжуры. В старом Китае войска были разделены на восемь знамен.

В общем, в нашем узком проулке тетя слыла за богачку. Кажется мне, именно это и было главной причиной того, почему тетя осмелилась препираться со свекровью сестры, которая по любому поводу повторяла, что ее отец имел титул цзюэ [1], а муж — чин цзолина [2]. Даже сын, мол, дослужился до кавалерийского офицера — сяоцисяо [3]. Свекровь говорила правду, однако на дне ее сундуков от этого ценностей не прибавлялось. Денег не хватало, а старуха любила вкусно поесть, о чем свидетельствовала ее сытая физиономия. Но что из того, что нет денег? Можно всегда брать что нужно в долг, используя титул своего отца и воинский чин мужа. Широко пользуясь кредитом, старуха презирала тех знакомых, кто отказывался это делать, считая кредит чем-то зазорным. Она полагала — правда, открыто своих мыслей не высказывала,— что настоящий маньчжур-знаменный непременно должен брать в долг. Без этого причислить его к кругу маньчжурских военных никак нельзя.

Не скрывая своего пристрастия к еде, старуха, однако, утверждала, что не слишком разбирается в кушаньях. Любила она простые блюда из кур и уток, ела рыбу и мясо, а вот к изысканным кушаньям оставалась равнодушной. Впрочем, она допускала некоторые исключения. В декабре каждого года она позволяла себе купить пару изумрудно-зеленых парниковых огурцов из Фэнтая с желтыми цветочками на макушке, которые она клала перед богом Гуаньгуном. В конце весны и в начале лета старуха покупала крупные вишни из Шисаньлина [4], которые обычно продавались в небольших кульках, сделанных из пальмового листа. Вишни — ягоды первого урожая,— как и огурцы, клались на домашний алтарь перед изображением бога. Эти покупки старуха производила с определенной целью — показать широту своей натуры. Если бы она действительно хотела полакомиться, она вполне могла бы купить вместо них «горных бобов» — диких вишен. Знай набивай только рот Дешево и сердито!

Старуха часто оказывалась на мели, но от долгов нисколько не страдала, будто их вовсе у нее не было. Когда появлялись кредиторы, ее глаза вылезали из орбит. В эти моменты воодушевление и убежденность ее возрастали, а голос звучал особенно зычно.

— Вы послушайте...— грохотала она,— ведь я дочь вельможи и супруга цзолина. Моя родня по линии матушки — настоящие знаменные, а потому мы получаем постоянное пособие от двора: не

[1] Цзюэ — один из титулов в старом Китае, наряду с титулами ван, хоу и др.

[2] Цзолин — воинский чин в знаменных войсках.

[3] Сяоцисяо — мелкий чин в кавалерии.

[4] Шисаньлин («Тринадцать могил») — место в окрестностях Пекина.

только деньги, но и рис. Чего же вы беспокоитесь? Ну задолжали вам немного — отдадим!

Исполненная гордой уверенности речь старухи заставляла кредиторов сразу же вспомнить спесь маньчжурских военных, когда они двести лет назад появились в пределах Великой стены. В те годы кредиторы бежали от знаменных без оглядки прочь на многие десятки ли. Сейчас подобные речи достигали желаемого результата далеко не всегда. Перед вытаращенными глазами старухи и странным смехом кредитор терялся лишь на мгновение. Говоря по правде, поза «давления и уступок», к которой она нередко прибегала, вызывала грустную улыбку. Все выглядело бы куда приличнее, если бы старуха пустила слезу.

Старая женщина имела очень странную манеру одеваться, которая всех нас сильно огорчала. Понятно, что прилично одеваться ей было положено, поскольку внешний вид, как известно, имеет прямое отношение к положению в обществе. Она, к примеру, должна была носить легкое платье лишь из шелка определенного качества, волосы закалывать шпилькой, но не золотой, а нефритовой. Ей полагалось иметь несколько десятков всевозможных нарядов: из тонкого шелка и хлопчатобумажных, теплых — на вате или подбитых мехом. Украшения она носила сообразно сезону: летние и зимние. Само собой, для этого ей надо было часто наведываться в ломбард, что она и делала: одну вещь возьмет, другую заложит. Менялам, понятно, радость. По словам бывалых людей, кому доводилось видеть супругу владыки ада Яньвана, наша родственница — во всяком случае, внешним своим видом — от владычицы преисподней почти не отличалась.

До сего дня я никак не пойму, какую радость находил, живя с этой женщиной, ее муж, к слову сказать, весьма приятный человек, каким я его помню в дни моего детства. А он действительно был как будто всем доволен и всегда счастлив! Мне казалось тогда, что у него не было никаких недостатков, впрочем, кроме одного — как и жена, он любил сорить деньгами. Первое, что вспоминается, так это его громкое и какое-то размеренное покашливание, которое словно намекало, что человек, способный издавать такие звуки, имеет по крайней мере чин четвертой степени. Его одежда содержалась в большом порядке, и от нее всегда исходил легкий запах камфары. Некоторые уверяли, что хозяин только что взял одеяние из ломбарда, на чем я, впрочем, настаивать не могу.

В любое время года его можно было встретить с птичьими клетками, причем не с одной, а сразу с четырьмя. В двух сидели птицы с красной грудкой, а в остальных — с ярко-синей. Других птиц, даже редкостной расцветки, он не держал, а этих, самых простых,

очень любил. Ему наверняка казалось, что цвет перьев прекрасно сочетается с его званием цзолина. Правда, однажды в его птичьей коллекции появился воробей-альбинос, за которого он выложил полугодовое жалованье. Молва об удивительной птице пошла странствовать по всем пекинским чайным. Но увы, воробей скоро заболел и сдох. С тех пор любителя птиц не растрогала бы даже белая ворона.

Я любил, когда он приходил к нам, особенно зимними днями. За пазухой у него всегда хранилось что-то редкостное, например маленькие тыквочки-горлянки, каждая из которых могла бы украсить любую антикварную лавку. Сами тыквочки меня не интересовали, но зато острое любопытство вызывало то, что находилось внутри. А там сидели изумрудные цикады, звонкое стрекотание которых будто напоминало, что в Пекин невесть откуда пришло лето.

В моем детском наивном сознании прочно держалась мысль, что гость пришел к нам вовсе не для того, чтобы навестить родных, а специально ко мне, чтобы со мной поиграть. Когда он заводил разговор о птицах или сверчках, он забывал о времени, и моей матушке, как бы она ни была удручена нашими домашними бедами, приходилось его кормить. Стоило ей намекнуть о еде, сразу же раздавалось размеренное, исполненное достоинства покашливание, а на его лице появлялась улыбка.

— Я и вправду немного проголодался! — говорил он напрямик.— Только ты уж особенно не хлопочи, родственница! Закажика просто в лавке «Величие неба» порцию жареных мясных колобков, мусюйжоу [1] и миску перченого супа да скажи, чтобы побольше положили укропа и горца. Вот, пожалуй, и все!

От этих слов глаза матушки становились почему-то влажными. Если не уважить свата, глядишь, навлечешь беду на дочку. А где взять деньги на такие угощения? Да, принимать родственников в те годы было не так-то просто!

Свекор сестры имел воинский чин цзолина и шляпу чиновника четвертого ранга, но разговаривать о военных делах не любил. Когда я приставал к нему с вопросом, умеет ли он ездить верхом или стрелять из лука, он вместо ответа начинал покашливать и тут же переводил разговор на птиц. А о птицах мне было слушать тоже очень интересно. Мне казалось, что о них он мог написать целую книгу. Он рассказывал мне, как надо правильно держать красногрудок и синегрудок, как их «прогуливать» и «выпускать»,

---

[1] Мусюйжоу — тонко нарезанное жареное мясо с грибами, яйцом и травой хуанцао.

что надобно делать, когда приходит пора их линьки, как мастерить клетку. Обо всем этом он мог рассказывать чуть ли не целый день. И только ли об этом! Он знал решительно все о фарфоровых кормушках и о птичьих поилках, бамбуковых совочках, которыми вычищают из клетки помет. Обо всем этом он говорил с большим знанием дела, не как о каких-то пустяках, а как о подлинных произведениях искусства. В эти минуты он, конечно, забывал, что служит в армии. Весь смысл жизни он видел сейчас в этих мисочках и метелочках, в своем размеренном покашливании и счастливом смехе, которыми он, надо сказать, владел мастерски. В этом он находил подлинный интерес и удовольствие, упиваясь своими маленькими радостями жизни.

Он умел еще и петь. Вообще говоря, в ту пору многие сановитые вельможи, даже ваны и байлэ[1], позволяли себе выступить иногда в роли благородного героя или спеть арию из какой-нибудь пьески вроде «Барс — Золотая Деньга». Кое-кто из маньчжурских чиновников, любителей-театралов, со временем даже стал настоящим актером пекинской оперы. Опера и всевозможные виды цюйи[2] были почти неотъемлемой частью жизни маньчжуров. Они с упоением слушали оперу, а порой сами, облекшись в театральные костюмы, поднимались на подмостки театра. Мало того, некоторые даже занимались творчеством: сочиняли арии, речитативы и тексты сказов под барабан. Свекор моей сестры не хотел оказаться у них в хвосте, но, увы, для своей собственной любительской труппы у него средств не имелось, и он мог позволить себе лишь участие в чужих труппах, где и отводил душу. Подобные труппы обычно выступали в домах родственников или знакомых по случаю рождения ребенка или юбилея почтенной хозяйки дома, причем актеры трудились не только днем, но и ночью. Но зато их окружали вниманием, посылали за ними экипажи и угощали первоклассным чаем. На расходы не скупились, потому что всем хотелось прославиться и приобрести известность во всем Пекине.

Свекор сестры знал несколько речитативов, длинных, как нить с нанизанными жемчужинами, но исполнял их, прямо скажем, неважно. Однако, поскольку человек он был во всех отношениях приятный, его друзья и родственники относились к его пению одобрительно. Но как говорится, в бочке меда непременно бывает ложка дегтя — в театре он иногда неожиданно встречал свою наряженную супругу. Перед глазами тут же вставал образ владычицы ада, отчего он начисто забывал слова арии. Расстроенный

---

[1] Байлэ — почетный титул у маньчжуров.

[2] Цюйи — общее наименование разных песенно-повествовательных жанров: сказов, речитативов и др.

провалом, он по возвращении домой обычно не устраивал сцен жене, видимо считая, что от крика может сесть его голос; зато супруга, желая упредить его в возможном нападении, закатывала ему скандал. Не жизнь, мол, а сплошная мука! Долгов все больше и больше! А кто в них виноват? Конечно же, муж с его пустым и дурацким увлечением театром. Она бранила его долго, а он ни слова в ответ. И лишь когда она на миг переводила дыхание, он вдруг издавал звук, похожий на дребезжанье трехструнки, когда ее настраивают: дзинь!.. Его музыкальное воспитание помогало ему найти утешение в минуты скорби. Он был очень доволен, а жена приходила в бешенство: «Бесстыдник и срамник! Нет в тебе ни стыда ни совести!»

Поскольку я и сам не могу толком разобраться, кто из них был прав, я лучше вернусь к основной теме своего повествования — к тому дню, когда я увидел свет. В этот день мой отец нес свою службу в одном из уголков императорского дворца. Испокон веков считалось, что мужчине не положено «кланяться луне», а женщине не должно подносить дары богу очага [1]. В семье у нас, однако, все произошло как раз наоборот. В день моего рождения в доме оказались одни женщины: моя тетя и матушка с сестренкой. А из мужчин — лишь я один, но вряд ли я годился для такого ответственного деяния. Словом, руководить церемонией подношения Цзаовану было некому, из-за чего тетка неоднократно выражала свое недовольство. За три дня до праздника в лавке «Инланьчжай» — «Сияющая орхидея»,— где маньчжуры и китайцы обычно покупали лепешки-бобо, тетя приобрела несколько кусочков настоящего гуаньдунского сахара — не того низкопробного, которым нередко торгуют лоточники, рыхлого и пористого, быстро тающего в тепле, а такого, который по своей крепости не уступит хорошему булыжнику. Попробуйте откусить маленький кусочек — мигом обломаете зубы. Кроме сахара, тетя купила один цзинь [2] «южных сладостей». Свои покупки она прикрыла тарелкой и спрятала в самый дальний уголок своей комнаты, чтобы их никто не обнаружил, даже бог домашнего очага. Она надеялась, что после всех церемоний ей удастся незаметно от всех взять часть сладостей, сунуть их под одеяло и втихомолку полакомиться. Конечно, была опасность сломать зубы, но вряд ли кто догадается, отчего они сломались. Сложность операции заключалась в том, что ее следовало провести за спиной бога, чтобы и он ни о чем не догадался, пото-

[1] «Кланяться луне» — церемония по случаю праздника Середины осени, 15 числа восьмой луны. Этот день символизировал расцвет «женского начала». Подношения богу очага совершались 23 числа двенадцатой луны, это полагалось делать мужчинам.

[2] Цзинь — китайская мера веса, равная 596 г.

му что иначе последует божественное порицание. Подумать только! Во всем доме ни одного мужчины! Тетя кипела от злости, которую непременно надо на кого-то излить, хотя бы на племянницу — мою сестренку, девушку добрую, несколько наивную и совершенно неспособную противостоять разбушевавшейся стихии. Когда тетя начинала браниться, сестренка сразу терялась и глаза ее наполнялись слезами. «Тетушка! Тетушка!..» — только и могла проговорить она в ответ.

К счастью, в тот день к нам пришла старшая сестра, вышедшая к тому времени замуж. Моя сестра была на редкость красива: овальное личико с тонким изящным подбородком наподобие цветка лотоса; ясные глаза и красиво очерченные брови. Одевалась она со вкусом и даже с изяществом. Ее вид радовал глаз не только когда она носила теплую накидку из пурпурного атласа, но и когда надевала голубое холщовое платье. Ее волосы порой были уложены в нарядную прическу — «двуголовку», а иногда заколоты в простой пучок. У сестры была тонкая талия, придававшая ее фигуре стройность, а всем ее движениям легкость, которая была особенно заметна, когда сестра садилась на стул, вставала или склонялась в поклоне. Держалась она всегда очень прямо, и, лишь когда смеялась, стан ее немного сгибался, будто у нее перехватывало дыхание, отчего мне становилось ее немного жалко. Ее смех был удивительно искренний и чистый. Родные и друзья — решительно все, даже наша тетя,— любили ее, и лишь одна свекровь твердила, что в невестке нет ни красоты, ни благородства.

— А все отчего? — В голосе свекрови звучала издевка.— Оттого, что твой отец — простой солдат и получает всего-навсего три ляна серебра в месяц!

Свекровь была женщина с норовом и на редкость привередливая. С особой строгостью она относилась к прислуге, считая, что та непременно должна выкладываться на работе и гнуть спину до полного изнеможения. Когда в доме появилась невестка, надобность в служанке отпала, так как с ролью прислуги прекрасно справлялась сестра. После прихода в дом мужа сестра в течение нескольких дней носила модную прическу, похожую на небольшую башню, и спала, не распуская волосы даже на ночь. Чтобы сделать подобную прическу, надо иметь много времени. А где его взять, если, едва забрезжит рассвет и послышится надсадный кашель свекрови, нужно немедленно бежать к ней и пожелать ей здоровья. Появляться же перед старухой простоволосой ни в коем случае нельзя — это почти преступление! Небо еще не просветлело, а надо уже идти на улицу к лоточнику, чтобы купить для свекрови мучного хвороста и лепешек «лошадиное копытце». Молодая женщина, любившая когда-то сладко поспать, выйдя замуж, при-

учила себя вставать ни свет ни заря. Проснется до рассвета, тихонько приоткроет дверь и выйдет наружу. Если в небе мерцали три звезды [1], значит, час слишком ранний. Возвратившись в дом, она одевалась и, сев на кан, погружалась в дремоту. Ложиться в постель она не решалась, потому что боялась уснуть ненароком, а тогда беда!

В доме мужа сестра делала решительно все: убирала комнаты, стряпала обед, заваривала чай, занималась рукодельем. Но чем старательнее она работала, тем больше дел ей подсовывала свекровь и тем настырней она становилась со своими поучениями. Сама старуха не делала ничего — палец о палец не ударит. Разве что только без посторонней помощи подносила пищу ко рту. Но глаза и язык у нее находились в непрестанном движении. Стоило сестре попасться ей на глаза, немедленно следовал срочный приказ. Дел у сестры было всегда невпроворот. Надо все хорошенько продумать и рассчитать, чтобы в домашней суете чего-нибудь не перепутать. Через несколько месяцев после замужества у сестры появились две тонкие, но глубокие морщинки на лбу, как раз над самыми бровями. Рассказывать мужу о своих обидах она не решалась, боясь, что ее жалобы принесут ей лишь неприятности. Не делилась она своими заботами и в родительском доме — не хотела огорчать матушку. Когда матушка спрашивала ее, как она живет, сестра с улыбкой отвечала:

— Ничего! Правда ничего! Не волнуйтесь, матушка!

Больше всего сестра боялась сказать что-то лишнее тете, зная ее вспыльчивый нрав — чуть что, мигом взорвется, будто настоящая бомба! Однако от небольших услуг тетки сестра не отказывалась, и вот почему. Свекровь заставляла сестру нарядно одеваться и пышно себя украшать, но денег — даже мелочь на румяна, пудру и масло для волос — не давала. Когда тетка спрашивала, нужны ли ей деньги, сестра низко опускала голову и всем видом своим показывала, что у нее нет ни гроша. Если говорить начистоту, тетя проявляла свое милосердие без особой охоты, а оказывала помощь сестре лишь потому, что среди маньчжуров сан тетушки весьма почитался. Поэтому, проявляя сочувствие к племяннице, тетя могла поднять свою собственную репутацию. К тому же просьба сестры была совсем ничтожная — какие-то несколько чохов! Почему бы раз-другой не проявить великодушие и человечность? Свекровь, по всей видимости, знала об этом, но молчала, считая, что материнская семья обязана помогать замужней дочери, потому что дочь вроде как бы товар с наценкой. Но думаю, что тетина помощь та-

[1] По китайским поверьям, три магические звезды: счастья, долголетия, служебного благополучия.

ила в себе еще одну причину: тетка делала это в пику свекрови.

В тот день сестра пришла к нам вовсе не потому, что увидела во сне священного дракона иль тигра, снизошедших на материнское лоно, дабы та произвела на свет маленького братца, который в будущем может стать генералом или министром. Приближался Новый год, а у сестры до сих пор не было ни новых шелковых цветов, ни румян, ни пудры. А еще ей надо было купить новогодние сладости для своего мужа. Ее супруг, достойный отпрыск своего родителя, во многих отношениях ничем не отличался от ребенка, хотя и имел воинский чин в кавалерии, впрочем, ездить верхом он так и не научился. Отец и сын, получив, как положено, свое пособие, решили, что, поскольку до конца года можно обойтись старым рисом, значит, не стоит ни о чем беспокоиться. По их представлениям, смысл жизни состоит в каждодневных развлечениях, причем развлекаться надо уметь, делая это с упоением и утонченно. Моего зятя, мужа сестры, не интересовали, как его отца, синегрудые птахи, но зато он держал в доме кречета и сорокопута, с которыми отправлялся ловить воробьев, напустив на себя вид отважного героя-воина. Но в конце концов охота с ловчими птицами ему наскучила, и он занялся разведением голубей. Каждый голубь стоил лян, а то и два ляна, поэтому зять нередко с гордостью говорил:

— Взгляните! Ведь это летающее серебро!

Зять занимался не одними только голубями. Он коллекционировал еще голубиные свистульки [1], которые скупал в антикварных лавках, утверждая, что свистульки сделаны знаменитыми мастерами.

Сладости мой зять просто обожал. Для них из разноцветной заморской бумаги он мастерил небольшие тарелочки с высокой подставкой, на которых с необыкновенной осторожностью раскладывал засахаренные бобы и ядрышки абрикоса — словно делал подношения самому себе. Немного поклеит, потом закусит, а затем снова принимается мастерить. Иногда сладости исчезали задолго до того, как он сделает бумажные тарелочки, что его, впрочем, нисколько не огорчало, и он тут же начинал клеить бумажные фонарики, которые собирался развесить во время праздника Фонарей. Но вот фонарики тоже оказывались в стороне, и он начинал мастерить воздушный змей. На эти мелкие заботы у него уходил не день и не два, а несколько дней, причем все это время он трудился с необыкновенным усердием. Когда зять встречал какого-то знакомого, он тотчас принимался рассказывать ему о своих делах. нимало не заботясь о том, хочет слушать собеседник или нет.

[1] Своеобразные свистки, которые прикреплялись к перьям голубей.

В бесконечных разговорах и спорах он черпал вдохновение. У него рождались разнообразные планы и диковинные проекты. Случалось, однако, что его никто слушать не хотел, и тогда в свои планы и замыслы он посвящал жену. Он так ей дурил голову новогодними фонарями и воздушными змеями, что та забывала о делах, из-за чего часто вызывала на себя целый залп брани свекрови.

Все обитатели этого дома развлекались, транжирили деньги, а моей сестре доставались лишь обиды. Для развлечений нужны средства, а их не было. Поэтому, когда денежные дела семьи приходили в особенно плачевное состояние, начинались ссоры. В большинстве случаев виноватой оказывалась сестра, против которой устраивались настоящие карательные экспедиции. Мой зять, ее муж, относился к жене в общем неплохо, но, когда возникали баталии из-за денег, он принимался тоже поругивать ее. Сестре приходилось терпеть и это. Она не хотела, чтобы родители мужа бранили его за то, что он будто бы находится под каблуком у жены. Со временем у сестры выработалось любопытное свойство: когда раздавался грохот артиллерийских орудий — а такая канонада могла длиться несколько дней,— она слышала лишь далекие ее раскаты, а может быть, и вообще ничего не слышала, словно ее уши заткнули ватой. Бедная моя сестра!

Едва только сестра появилась на пороге родительского дома, она сразу же поняла, что́ здесь происходит, и тотчас послала сестренку за «мамкой» — повитухой. Заодно она наказала, чтобы сестренка по дороге забежала к ней домой и сказала, что нынче она может задержаться. Мужнин дом находился совсем рядом с с нашим — немногим больше ли,— поэтому сестренка вернулась быстро.

Тетя, расплывшись в улыбке, протянула старшей сестре несколько новеньких красных билетов из меняльной лавки Лао Юйчэна. Такие билеты с изображением отрока Лю Хая и золотой жабы [1] обычно дарили на счастье в праздник Нового года. При желании их можно было обменять на деньги, причем каждый билет стоил два чоха. Вместе со счастливыми билетами тетка передала своей племяннице все заботы, связанные с рождением ее маленького братца. Тетя всем дала понять: что бы ни случилось, она не будет в ответе!

Когда сестренка прибежала в дом свекрови, она увидела обоих мужчин во дворе — они зажигали петарды. Понятно, что в празд-

[1] Лю Хай — персонаж китайских мифов и сказаний, изображался в виде отрока, играющего с трехпалой золотой жабой. Воспринимался как символ благополучия.

ник Малого нового года — двадцать третьего числа последней луны — им следовало бы, немного ужавшись в расходах, подумать о возвращении долгов, побивших в этом году все рекорды, чтобы в канун Нового года не слышать стука кольца, которым колотит в дверь рука кредитора. Но эта мысль даже не приходила им в голову. Правда, свекрови все-таки удалось добыть немного денег, но она потратила их на засахаренные тыквенные семечки с кунжутом — самые что ни на есть дорогие. Разложив сладости перед богом очага, она, как водится, вытаращила глаза и промолвила:

— Ешь свои сладости и отправляйся на небо! Замолви там доброе слово, да не болтай лишнего!

Мужчины, также раздобыв где-то денег, накупили хлопушек и петард. Они скинули с себя длинные халаты и переоделись. Отец набросил на себя старый лисий тулупчик, стянул его облезлым матерчатым поясом, однако тулуп все равно свободно болтался на старике — на одежде не оказалось ни одной застежки. Сын, поскольку был молод годами и крепок силами, накинул на себя лишь легкую ватную куртку. Он то и дело чихал, но делал вид, что ему вовсе не холодно. Приготовления закончились, и раздались резкие взрывы петард, слившиеся в сплошной треск. Во все стороны летели искры. Сын поджигал «одноголосую» хлопушку под названием «громовик», а отец в то же самое время запускал «двухголосую» — «двойной пинок». Взрывы и треск раздавались через равные промежутки времени, словно стук кастаньет. «Трах-тах! Бам! Бам! Трах-тах!.. Довольные мужчины переглядывались и радостно улыбались, уверенные, что их огнеметное искусство, несомненно самое совершенное во всем Пекине, должно снискать высокую похвалу живущих окрест людей.

Слова сестренки потонули в треске «громовиков» и «двойных пинков». Наконец до свекрови дошло, что в доме невестки кто-то угорел.

— Как это так? — рявкнула она так, что ее голос заглушил взрывы петард и хлопушек.— Ох уж эти бедняки! Не могут даже поберечься!.. А может-де, она нарочно угорела?

Старуха очень любила это странное «может-де»: ей казалось, что это слово придает речи литературное изящество. Решив спасти родственницу и тем самым проявить свое безмерное благородство, она пошла одеваться. Мужчины, поглощенные своим занятием, видимо, не слышали, что сказала сестренка, или оставили ее сообщение без внимания. Впрочем, если бы даже они что-то и услышали, они все равно не приняли бы ее слова всерьез, потому что в тот момент, кроме как о петардах, ни о чем больше не думали.

Итак, когда я появился на свет, а моя матушка лежала без сознания, свекровь сидела в комнате моей тети. Вытаращив глаза и

раздувая отвисшие мешки на щеках, она объясняла самый действенный способ лечения от угара. Тетя, всунув в угол рта старую трубку с нефритовым мундштуком, хорошо отработанным движением зажгла табак с цветочками орхидеи. Она была готова броситься в бой, о чем говорили ее взметнувшиеся вверх брови.

— Этот рецепт помогает излечить любой, даже самый тяжкий, недуг! — сказала свекровь, приведя в доказательство классические книги.

— При родах никаких рецептов не требуется! — перешла в наступление тетя.

— Смотря кто рожает! — В словах свекрови слышалось плохо скрытое злорадство.

Длинная черная трубка вылезла из уголка тетиного рта.

— Кто бы ни рожал, никаких рецептов от угара не требуется! —Чубук трубки оказался прямо перед носом собеседницы.

— Ах-ах! Уважаемая тетушка! — Свекровь умышленно прибегла к этому почтительному обращению. Недаром говорят: «Сначала церемонии, а потом нападение!» — Если женщина угорит, она родить не сможет! — Ее атака была просто уничтожающей.

Обе старухи схватились в словесной перепалке, а моя сестра в это время гадала: горевать ли ей оттого, что мать все еще лежит без сознания, или радоваться братцу, которого она держала сейчас у своей груди. Хорошо, что она согрела меня, иначе моя жизнь в тот холодный день подверглась бы серьезному испытанию, какими бы силами я ни обладал! Вторая сестренка тихо плакала в соседней комнате.

2

Когда тетя находилась в добром настроении, она даже позволяла себе со мной шутить, тем самым оказывая мне знак особого своего расположения. «Щенячий хвостик!» — называла она меня, на что была своя причина. Ведь я родился в конце года Усюй — «года собаки», как бы на самом его хвосте. Однако тетин юмор, даже когда она находилась в хорошем расположении духа, почти никому не доставлял удовольствия. Мне, например, очень не хотелось быть щенячьим хвостом! Так ранить достоинство ребенка могла только тетя! Понятно, ничего особенно дурного в этой кличке не было, но все же тетка поступала нехорошо. Даже сейчас, когда я иногда прохожу по переулку Собачий Хвост, мои щеки заливает краска стыда.

Впрочем, довольно о хвостах! Лучше я расскажу о чем-то более важном, например о том, что мне удалось увидеть в последние

годы Маньчжурской империи — в пору «догорающих свечей». «Пейзаж уныл, когда солнце садится за дальние горы»,— так писали когда-то в стихах. Увы! В те дни, пожалуй, только одна свекровь сестры продолжала кичиться тем, что она дочь маньчжурского сановника и жена цзолина. Все, кто ее слышал, прекрасно понимали, что ее напыщенная поза ничего не стоит, а весь ее апломб насквозь показной и, как говорится, держится лишь на кончике языка. Даже продавцы лепешек, приходившие к старухе за долгом, нисколько ее не боялись и, тыкая в ее сторону пальцем, кричали:

— Лепешки ела? Ела! Значит, и плати за них! Шабаш!

Надо сказать, что бедняки вроде нас всегда ощущали на своей шее веревку, которая затягивалась с каждым годом все туже и туже. А ведь мы причислялись к разряду маньчжурских военных и получали от властей пособие, пусть даже небольшое: всего три ляна, которые ежемесячно приносил отец. К жалованью добавлялся рис, что выдавали нам дважды в году: весной и осенью. Денег всегда не хватало, и нам, несомненно, пришлось бы давно побираться, если бы не мать, умевшая очень экономно вести хозяйство.

За последние двести лет в нашей истории скопилось столько мусора и грязи, что знаменные люди перестали что-либо замечать. Они, к примеру, совершенно не видели своих пороков, достойных всякого осуждения, забыли они и о том, что иногда надо поощрять хорошее. С годами среди знаменных сложился особый образ жизни, при котором богатые изощрялись в богатстве, а бедняки — в бедности. Так все и жили, погрузившись с головой в мертвую заводь под названием «изощренный образ жизни». Вот, скажем, свекор моей сестры. Для него было совершенно безразлично, какой воинский чин он имеет и способен ли он сражаться в бою. Но как все его приятели, он твердо знал, что ему предписано получать казенное жалованье, исполнять песенки-речитативы и держать в доме четырех сипегрудых птах. Его сын, мой зять, был весь в отца, только он упивался не певчими птичками, а голубями — «летающим серебром», за которое готов был отдать жизнь. Я нисколько не преувеличиваю! Чем бы он ни занимался, какое бы дело ни делал, личное или казенное, важное и даже самое срочное, его взгляд был всегда устремлен в небо, и он никогда не задумывался над тем, что он может наткнуться на какую-нибудь почтенную даму или на его голову неожиданно свалится камень. Ему просто необходимо было смотреть в небеса, потому что в любой момент мог появиться голубь, отставший от стаи... «А-а, вот и он, летит низко-низко, вертя головой, наверное, устал бедняга и ищет, где сесть». Заметив птицу, зять опрометью бежал домой, словно его гнал туда очень срочный военный приказ. Еще бы! Надо немедленно выпустить всю свою стаю и заполучить «драгоценного» чужака, зале-

тевшего к нему с небес. Умыкнуть чужого голубя для зятя было едва ли не самым большим удовольствием. Правда, из-за голубя мог возникнуть конфликт. В этом случае зять был готов сражаться на ножах. Пусть хоть режут на части, голубя он ни за что не отдаст! В эти минуты моя сестра дрожала от страха.

Отец и сын были вовсе не глупые люди, а по-своему даже способные и в меру усердные. Вот только все их достоинства и высокая культура проявлялись обычно в делах пустяковых и мелких: разведении сверчков, коллекционировании голубиных свистулек, жареных мясных тефтельках, которыми они любили лакомиться, и многом другом. Их, к примеру, нисколько не интересовало, что происходит в стране. Потому что жили они в каком-то ином мире: утонченно-красивом и полуреальном.

Женский быт в доме определялся извечно заведенным порядком. Вот, скажем, моя старшая сестра. С улыбкой на устах она могла часами, казалось нисколько не уставая, выстоять перед старшими родственниками. К тому же надо было все вовремя подметить и увидеть: опустевшую чашку наполнить свежим и горячим чаем; если у кого-то потух кальян или погасла трубка, поднести бумажный фитиль или набить трубку табаком. Когда она протягивала трубку, ее руки двигались с удивительным изяществом. А как прелестна она была, когда с легкой гримасой раздувала фитиль. Все старухи родственницы, разве кроме ее свекрови, в один голос хвалили сестру, но никто не догадывался о том, как затекли и распухли ее ноги от долгого стояния. Сестра боялась об этом даже заикнуться, потому что знала, что жаловаться ей не положено, как и нельзя стоять перед старшими деревянным истуканом, проявляя к ним неуважение. В разговоре она очень умело выбирала самые нужные и доходчивые слова и, улучив подходящий момент, высказывала их всегда к месту и кстати — подобно тому, как в театре раздаются звуки гонга или барабана. Бросит коротенькую фразу, а старухи довольны, и беседа становится оживленней и бойчей.

Сложное искусство жизни, разработанное до мелочей, вошло в повседневный быт маньчжурских семей, определяя все повороты жизни. В честь появившегося на свет ребенка через три дня после рождения устраивали торжество, а через месяц — праздник Полного месяца. Взрослые праздновали сорока- и пятидесятилетие, которые отмечались как настоящие театральные смотры или некие состязания. Особенно пышно устраивались свадьбы и похороны, напоминавшие своеобразные представления, в которых все должно быть тонко рассчитано, во всем должна быть соблюдена мера, где каждый знал, в какое время и как ему следует смеяться: громко или тихо; кому и как покло-

ниться: низко или нет. Если в такие дни встречались тетя со свекровью, каждая из них изощрялась в своих искусствах, дабы редкими способностями и умениями одержать победу над соперницей — разгромить ее с помощью разных средств, прямых и окольных. Об этих состязаниях рассказывали целые истории.

В дни подобных торжеств хозяйке дома полагалось быть особенно зоркой и держать ухо востро, чтобы вовремя обратить в шутку неосторожное слово или едкое замечание, могущее вызвать самые неожиданные последствия. Кроме того, хозяйка должна попросить кое-кого из знакомых женщин, пользующихся особым доверием, помочь накрыть стол и усадить гостей как положено. Если допустить в этом деле промах, произойдет настоящая катастрофа. К примеру, хозяйка обязана знать, что двоюродная сестра названого сына младшей сестры дяди второй тетушки хорошо подходит за столом к вдовствующей жене двоюродного брата свекра младшей сестры матери. Только после самого тщательного анализа всех их особенностей можно посадить женщин вместе, причем они будут сидеть рядом с большим удовольствием и непременно останутся рады своему соседству. Но как добиться, чтобы оба гостя походили один на другого или хотя бы сильно друг от друга не отличались? Очень серьезный вопрос! Для этого надобно доподлинно знать не только год и день их рождения, но даже час, когда каждый из них появился на свет — как говорят, «упал в траву». Потому что гости характером схожие — это лишь те, которые родились не просто в один и тот же год или месяц, а и в один день и час. Хорошо еще, если вторая невестка родилась на час раньше шестой невестки. В этом случае никакой сложности за столом не возникнет. А вот как быть, если у той, что родилась позже на целых шестьдесят минут, супруг имеет на шляпе знак чиновника третьего ранга, а значит, по своему положению на два ранга выше мужа второй невестки? Ясно, что в этом случае надо предпринять что-то другое — словом, пошевелить мозгами.

— Моя сестра не знала грамоты, но она прошла хорошую школу жизни и помнила «восемь знаков» [1] всех наших родственников. Хотя свекровь сестры внесла путаницу в дату моего рождения, я твердо знаю, что родился 23 числа последнего месяца года «усюй» в час «ю», и я нисколько в этом не сомневаюсь, так как прежде всего верю словам моей старшей сестры.

Свадьба и похороны считались самыми важными событиями нашей жизни, а потому, если кто-то из нас отступал от ритуала,

---

[1] Знаки рождения, то есть год, месяц, день и час рождения, обозначавшиеся каждый двумя циклическими знаками.

подобный шаг расценивался как величайший проступок. Но разве предусмотришь в семейном бюджете расходы на разные подношения и подарки? В самом деле, откуда, скажем, нашей матушке знать, кто когда умрет или кто родится? Понятно, что, если в каком-то месяце происходило сразу несколько торжественных событий, в графе расходов у моей матушки возникал крупный дефицит, уйти от которого было никак невозможно, потому что это означало бы не пойти с поздравлениями к такой-то тетушке и старшей невестке по случаю дня их рождения или не отправиться с соболезнованиями к дальним родственникам в связи с трауром. Не соблюсти какого-то правила в общении с родственниками или друзьями значило разорвать с ними всякие отношения. А это позор, который можно смыть разве что только смертью! Как после этого жить?!

Но это еще не все! Правила касались не только торжественных церемоний, но и всей жизни людей, их поведения и внешнего вида. Например, обувь и носки — их надобно содержать в особом порядке; головную ленту или искусственные цветы в волосах следует постоянно менять; одежду полагается носить лишь определенного образца и покроя. Само собой, все это требовало немалых денег. Или еще, к примеру, визиты, когда полагается кому-то выразить свое соболезнование, а другого, наоборот, поздравить с радостным событием. Хорошо, если путь в нужный дом не слишком долгий и можно дойти туда пешком. А если идти далеко? Изволь нанимать экипаж, запряженный мулом!

В пору той прекрасной цивилизации, о которой сейчас идет речь, пекинские улицы напоминали громадный горшок с золой от курений — чуть ли не на метр их покрывал слой пыли и песка. Представьте теперь, что вы, расфранченный и одетый во все новое, шествуете несколько ли по этому вместилищу грязи! Добравшись до дома родственника или знакомого, вы напоминаете сущего черта. Грустно и смешно! С экипажем свои заботы. Скажем, собрались вы к кому-то с поздравлениями, вам в этом случае непременно надо иметь при себе кошель с деньгами, даже если вы везете с собой подарки, потому что в гостях наверняка кому-то взбредет в голову сыграть в картишки, а отказываться вам будто бы и неудобно. А то, глядишь, полезут к вам чьи-то дети или внучата, которым обязательно надо подарить сотню-другую монет на сладости. Да, свадьба и похороны в те времена могли разорить любую семью! Разве благородный человек не пожертвует всем, чтобы оказать помощь близкому?

Наша матушка особенно боялась свадеб еще и потому, что ее часто просили участвовать во встречах и проводах невесты. Эта почетная обязанность доверялась далеко не каждому. Например,

не полагалось поручать это дело вдовам или женщинам, родившимся под знаком тигра, а тем паче дамам сомнительной репутации, о которых шла не слишком лестная молва. Этой чести могла удостоиться лишь женщина добропорядочная и приличная, с безупречным поведением. У такой, как говорится, ступня оставляет лишь один след. Понятно, что, если кто-то приходил с подобной просьбой к моей матушке, она не могла ему отказать. Да и кто откажется от столь почетного поручения? Вот только одна загвоздка! Чтобы соблюсти все приличия, надо нанять экипаж, запряженный мулом, и иметь при себе если не служанку, то какую-нибудь знакомую женщину с большим жизненным опытом, да такую, чтобы она была непременно толковой и опрятной. Она должна помочь влезть в экипаж и выйти из него, проводить до дома и вывести из ворот. Только тогда церемония встречи и проводов невесты может пройти как положено.

Об одежде говорить не приходится! Она должна быть в безупречном порядке, чтобы не ударить лицом в грязь. Но разве своими средствами соорудишь расшитое атласное платье, стоившее в те времена несколько десятков лянов? Разве купишь золотую шпильку или сережки? Наша мать очень не любила залезать в долги, поэтому приходилось обращаться за помощью к тете, у которой хранилось парадное платье с драконами и головные украшения. Свои сокровища она отдавала с большой неохотой, хотя ей, как вдове, участвовать в свадебных церемониях не полагалось. К слову сказать, тетя не слишком часто удостаивалась этой чести и при жизни мужа, возможно, оттого, что не всем было понятно его положение: актер он или нет. Наверное, поэтому тетю воздерживались открыто приглашать на торжественные церемонии, за что она, как бы в отместку, отказывалась выдавать свои богатства.

В этом случае на помощь обычно приходил отец, который отправлялся на переговоры с сестрой. По-видимому, между ними в конце концов устанавливалось полное согласие. Отец уверял ее, что профессия актера — занятие вполне приличное, а тетка в обмен на эти приятные ей слова вытаскивала из сундуков платье, пропахшее камфарой, и украшения, к тому времени сильно устаревшие и очень тяжелые.

Выходы в свет, которые приходилось делать моей матушке, поднимали ее авторитет в глазах родственников и знакомых. Все хвалили ее за то, что она не скупится на деньги, когда дело касается важных событий. Вот именно из-за таких «экстренных дел» матери нередко приходилось задумываться о деньгах и продуктах и горевать, когда в доме не оказывалось ни того ни другого. В годы моего детства (как, впрочем, это существовало и до

моего рождения) мы, подобно другим знаменным людям, получали пособие и паек. Пособие с каждым годом урезалось, а паек всегда был небольшой и очень плохой. Многое приходилось брать в долг, что постепенно стало если не обычаем, то некой привычкой. Вот почему на воротах нашего дома и других домов можно было часто заметить знак в виде пяти белых линий, расходившихся в стороны наподобие куриной лапки. Его чертили наши кредиторы: продавцы лепешек, угля и воды, у которых мы брали в долг. Когда у нас появлялись деньги, мы с ними расплачивались, сколько куриных лап — столько монет. Матушка хорошо знала цену жизни, поэтому на воротах нашего дома возникали белые знаки, начерченные лишь продавцом лепешек, угольщиком и водоносом. А вот «куриных лап», оставленных торговцами вареного сахара и засахаренных фруктов, матушка решительно не признавала. Что до тетки, то она пользовалась нашим углем и водой бесплатно, а печеных лепешек не употребляла. К чему они, если в ее красной лаковой коробке всегда хранились самые лучшие лакомства — «восемь сладостей»! Наверное, поэтому, заметив на воротах очередной куриный знак, тетя подмигивала богу ворот, будто говорила: я, мол, к этим каракулям не имею никакого отношения.

Ворота дома свекрови обычно были расписаны куриными знаками сверху донизу, так как в этом доме в долг залезали решительно все, кроме, пожалуй, сестры, которой это было не дозволено положением. Мой зять, ее муж, как-то удачно сказал: «Поскольку с долгом рано или поздно приходится расплачиваться, значит, брать в долг не зазорно»!

Из мелких лавок, что находились за воротами нашего дома, мать обычно имела счета лишь в двух: в зерновой и продуктовой, где торговали маслом и солью. С крупными лавками вроде старой и знаменитой аптеки «Тунжэньтан» или теми, в которых продавали шелк и украшения, мы в коммерческие связи не вступали. Правда, каждый месяц покупали несколько связок курительных палочек и чайную крошку, для чего надо было идти в специальные лавки. Там приходилось платить наличными, так как в них в долг обычно не давали. Что до ресторанов, то мы никогда в них не ходили и не имели понятия, что значит там пообедать.

Наши долги были не слишком большие, и все же в семье постепенно сложилась традиция жить тем днем, когда отцу выдавали жалованье, чтобы, получив его, идти расплачиваться с теми, кому мы задолжали. После расчетов денег оставалось так мало, что приходилось снова занимать. Если же случалось какое-то непредвиденное событие — скажем, мать удостаивалась чести быть свахой или у кого-то появился на свет отпрыск,— оно сразу же

влекло дополнительные расходы. В этом случае возможность расплатиться с долгами сокращалась, а наш семейный дефицит резко возрастал. Вот почему отцовским деньгам матушка особенно не радовалась, а ее тревоги, когда их получали, не проходили.

Наша тетя, старуха довольно активная, часто выходила в свет: то шла в храм Хугосы [1], то к родственникам или знакомым перекинуться с ними в картишки. Иногда тетка отправлялась на представление оперы или постановку цюйи, которые ставились специально для женщин. Если тетя шла играть в кости или карты, матушке приходилось ее долго ждать, иногда до полуночи. А тут нежданно-негаданно начинался дождь или снегопад. Тогда мать и сестренка, вооружившись зонтом, шли тетке навстречу. Мать считала, что тетю надо непременно ублажать. Занятие, понятно, малоприятное, но зато спокойнее становится в доме, потому что, если тете чем-то не потрафить, с ней не оберешься хлопот. Норовистая старуха, распалившись, могла выкинуть любой номер, последствия которого предсказать было просто невозможно. Все у нее могло перевернуться в любое мгновение. Скажем, тетка неожиданно рассвирепела оттого, что ей подали холодный чай. Кричит, бушует, и вдруг — чай оказался слишком горячим и обжег ей язык. Ну конечно, это сделали нарочно, чтобы она не могла есть и умерла с голоду. В эти минуты все у нее оказывались виноватыми, даже наша рыжая дворняга. Дело о злонамеренной попытке убиения тети могло затянуться на три-четыре дня!

В отличие от тети наша матушка выходила из дому редко, разве что только в те дни, когда происходила чья-то свадьба или похороны. Обычно мать с удовольствием хлопотала по дому, так как любила во всем порядок. Она стирала, шила, стригла детям волосы и даже, когда надо, «очищала лик» у своей старшей дочери (теперь молодой жены) — тонкой ниточкой выдергивала волоски на лице, чтобы после этих косметических операций оно было бы гладким и блестящим. Иногда матери приходилось идти в ямынь [2] за отцовским жалованьем, если отец в тот день был занят на службе. Ямынь находился недалеко от нас, но мать очень волновалась, как будто ей предстояло далекое путешествие — чуть ли не на остров Хайнань. Взяв серебро, которого почему-то с каждой получкой становилось все меньше, мать шла его менять на обычные деньги. В те времена таким обменом занимались не только ломбарды, но и обычные лавки, например табачные, что

---

[1] Храм Хугосы («Защиты отечества») — одно из известных культовых сооружений старого Пекина. Во время праздников это было место развлечений.

[2] Ямынь — административное учреждение в старом Китае.

держали шаньсийцы, или свечные, где торговлю вели мусульмане. Мать не любила копеечную расчетливость, но отцовское жалованье — дело особое. От серебра, что она получала в ямыне, зависел «месячный бюджет» всей семьи. Поэтому, превозмогая смущение и вооружившись решимостью, она обходила несколько менял, стараясь выторговать у них лишнюю сотню монет. Случалось, что, пока она ходила от менялы к меняле, серебро падало в цене. Тут бегай не бегай, а все равно при обмене дадут на несколько сотен монет меньше.

Возвратившись домой с отцовской получкой, мать впадала в грустные размышления. Моя сестренка из небольшого глиняного чайника, обычно стоявшего у очага для сохранения тепла, наливала ей напиток из крепко заваренной чайной крошки, который порой имел аромат чая. Девочка делала это молча, боясь нарушить печальные думы матери. Потом, тихо покинув комнату, она шла к воротам, чтобы подсчитать, сколько на них изображено «куриных лап», запомнив число, она говорила его матери, что было важно при составлении бюджета семьи. Выпив чай, мать снимала верхний халат, в котором она обычно выходила из дому, садилась на кан и, поджав под себя ноги, принималась за расчеты, используя вместо счетов медные монеты: большой медяк — один чох, маленький — сто вэней. Прежде всего надо было подсчитать долги. Бормоча себе под нос, мать передвигала медяки в левую сторону, при этом в правой кучке, обозначавшей деньги на прожитье, почти ничего не оставалось, поэтому мать очень осторожно отправляла несколько монет из левой кучки в правую. Она рассуждала, что ей, быть может, удастся отдать поменьше денег в лавку, где мы покупали масло и соль, если, конечно, она сумеет задобрить лавочника. От тревожных дум ее ладони становились потными. Через какое-то время монеты снова возвращались в левую кучку. Нет, она не станет упрашивать кредиторов и унижаться перед ними. Надо рассчитываться сполна! Сколько бы денег ни осталось после расчетов! Пусть ни медяка — все равно это лучше, чем слышать попреки и укоры лавочников и приказчиков!

После восстания тайпинов[1], военных кампании англичан и французов и морской войны 1894 года[2] свою заносчивость и презрение к маньчжурам, даже к особе императора, теперь демонстрировали не только длинноносые иностранцы. Все большую непочтительность к знаменным стали проявлять даже обычные ла-

---

[1] Восстание тайпинов — народное движение середины XIX в., направленное против маньчжурских властей и иностранных захватчиков.

[2] Имеется в виду война с Японией.

вочники — все эти шаньдунские бакалейщики и шаньсийские менялы. Вытаращат глаза — каждое око по плошке — и ну честить знаменных людей, ну над ними издеваться! Поесть, мол, любите, а как возвращать долг, так шалишь! В долг больше не дадим! С этого самого дня извольте-ка платить наличными даже за кусочек холодного доуфу — бобового сыра! Мать на себе чувствовала эти перемены жизни, хотя и не слишком хорошо разбиралась в делах Поднебесной. Иногда она советовалась с отцом — ведь он как-никак знаменный солдат и пост у него важный: охраняет императорский дворец. Отец лишь горько улыбнется и скажет еле слышно:

— Делать нечего! Придется с долгами расплачиваться!

Левая кучка в конце концов оказывалась в несколько раз выше правой, отчего у матери на висках выступали капельки пота. Она застывала, будто в оцепенении. Что делать?

— Матушка, давай все же с ними со всеми рассчитаемся! — робко предлагала сестренка.— Сразу полегчает на сердце! В этом месяце мы постараемся не покупать ни лент, ни пудры... и масла для волос тоже не надо... Матушка! А что, если мы низко-низко поклонимся Цзаовану и скажем: «Боженька! Теперь перед тобой будет зажигаться только одна благовонная палочка, потому что нам сейчас приходится очень экономить!»

— Ах, дочка! Уж больно не хочется, чтобы наш бог терпел такие унижения! — вздыхала мать.

— Но ведь нам тоже не сладко! Неужели он на нас осерчает? — За этими словами следовало деловое предложение: — Зато мы перед ним положим побольше доуфу и нальем много-много бобового настоя. А жареного мяса или чего-то там еще пускай ест поменьше! Вот мы немножко и сэкономим!..

— Какая ты у меня смышленая, дочка! — Печаль матушки мало-помалу прошла, и она как будто пришла в себя.— Так вот! Потуже затянем пояса!.. Кто из нас пойдет, ты или я?

— Я сбегаю, а вы отдохните!

Тщательно пересчитав бумажные деньги и медяки, мать отдала их сестренке и наказала:

— Как только расплатишься, сразу же домой. Если встретишь старого Вана из лавки «Торговая удача», не позволяй ему «тянуть верблюда». Ты хотя и с косичками, но уже не ребенок! Скажи ему, что ты взрослая.

«Тянуть верблюда» — это когда кто-то из взрослых в шутку средним и указательным пальцами легонько тянул тебя за нос.

— Ну и пусть себе тянет! — засмеялась сестренка.— Ведь он же старый, ему скоро семьдесят! — Крепко зажав деньги в кулаке, сестра убежала.

Мать задумчиво посмотрела на жалкую кучку монет, лежащую

на кане. Как их растянуть на целый месяц? Привычная к тяжелому труду, мать частенько думала: а не поговорить ли ей с нашим давним другом лавочником Ваном? Что, если попросить у него какую-то работу? Ведь она хорошо стирает, и стирка может стать неплохим приработком. Может, тогда семье не придется все время сидеть на бобовом отваре.

Так думала и сестренка, которая умела хорошо вышивать, простегивать матерчатые подошвы и обметывать петли. Почему бы и ей не заняться делом? Сестренка рассуждала так: хотя старый лавочник Ван — тот, что «тянет верблюда»,— китаец, а продавец баранины дядюшка Цзинь — мусульманин, оба они очень добрые люди. Почему бы им не помочь — постирать или сделать что-то еще? Нисколько это нас не унизит! К тому же наша старшая сестра как-то по секрету сказала, что дядюшка Цзинь подарил ее свекру двух ягнят, чтобы тот смог занять вакантную должность с четырьмя лянами в месяц!

— Но ведь дядя Цзинь — мусульманин! — удивилась сестренка.

— Вот именно! Только ты об этом ни гу-гу! Если узнает начальство, свекра тут же уволят!

Сестренка держала язык за зубами, и свекор остался на службе. Однако эта история натолкнула девочку на мысль, которая, чем дальше, тем больше крепла в ее сознании. Все люди, будь то знаменные маньчжуры, китайцы или мусульмане, живут вроде как бы одной семьей, и все помогают один другому. В голове крутилась и другая мысль: коли за ягненка, посланного кому-то в подарок, дают пост и жалованье, значит, если подарить верблюда... можно сделаться знатным вельможей? Спустя много лет, когда я стал что-то соображать, я понял, что в рассуждениях сестренки была своя логика.

Тетя решительно возражала против намерений матушки и сестренки, хотя и не имела ничего против лавочника Вана или дядюшки Цзиня, с которыми она, кстати сказать, поддерживала связи, более тесные, чем мы. Когда она принимала у себя гостей, из лавки «Торговая удача» ей всегда присылали коробку со сладостями, а в лавке Цзиня она частенько (особенно в пасмурные дни, когда ей приходилось сидеть дома) заказывала первоклассный бараний сычуг или жареную баранью грудинку. Что до нас, то мы, увы, не имели тетиного размаха, да и средств у нас не хватало, чтобы покупать такие кушанья. Так вот, наша тетя твердо верила как в самую великую истину: если женщина на кого-то работает, значит, она совершает нечто постыдное.

— Кто этим занимается, ничем не отличается от тех самых, из уезда Саньхэ! — говорила она.

Мать знала, что женщины из Саньхэ приехали в город, гонимые нуждой и голодом, в поисках работы. Они такие вовсе не от природы, как, скажем, императорская дочь, которая с самого рождения уже принцесса. Но сказать об этом тете мать не решалась. Только улыбнется и промолчит.

В дни получек и новых забот мать вдруг узнавала, что кто-то из соседей выдает дочку замуж или принимает в дом молодую жену. Улыбка сразу же исчезала с ее лица и появлялась лишь на мгновение в разговоре с тетей. Почему-то мать сразу же начинала пить много горячего чаю, несколько чайников подряд, словно ее иссушала изнутри жестокая жажда. Бедная матушка!

Я не знаю, как выглядела моя мать в свои молодые годы,— я родился последним, когда ей было под сорок,— однако, вспоминая ее образ вплоть до последних лет ее жизни, я уверен, что в двадцать-тридцать лет она была писаной красавицей, как моя старшая сестра. Ростом невысокая, она не казалась маленькой, наверное, потому, что все ее движения были необыкновенно легкие и свободные. На ее чистом, с небольшой желтизной лице лежала печать спокойствия и даже безмятежности, будто в своей жизни за десятки лет она никогда не знала ни бед, ни лишений. Нос у нее небольшой и правильной формы. Черные блестящие глаза смотрели внимательно, а не бегали, как у многих, по сторонам. Все в ее облике говорило о том, что люди, подобные ей, исполнены порядочности и лишены дурных наклонностей. На первый взгляд она казалась хрупкой, даже какой-то бесплотной, но, заметив высокую груду белья, выстиранного ею, вы сразу же понимали, что она привыкла к трудностям и не избегала их, как бы ей ни приходилось тяжело.

Уже на второй день после моего рождения матушка стала проявлять признаки беспокойства, хотя была еще очень слабой, о чем красноречиво свидетельствовали ее бескровные губы. Несмотря на жизненные невзгоды, она никогда не отказывала нашим знакомым в помощи по случаю разных семейных торжеств: значит, гости придут и к нам, чтобы поздравить ее с малышом. А как их принять? Отец на службе. Январское жалованье еще не выдали. Просить у тети? Как-то неловко. Может быть, посоветоваться с младшей дочкой? Только чем поможет юная девушка! Взгляд матушки остановился на мне, последнем чаде, которое лежало подле нее. Каким беззащитным и слабеньким казался ей сейчас малыш, чуть было не лишивший ее жизни. На глаза матери навернулись слезы.

3

Действительно, на второй день утром к нам торжественно пожаловали жена дяди, брата матушки,— ее старшая невестка с сыном Фухаем. До сих пор мне не вполне понятно, откуда они узнали о моем рождении. Впрочем, старуха пришла бы в любом случае, так как по заведенным в те времена правилам за роженицей должен кто-то обязательно ухаживать из материнской родни. Не случайно говорилось, что дочь, выданная замуж,— товар с наценкой. Когда она покидает семью, родители готовят ей приданое: четыре вида одежды на каждый сезон года; серебряные и золотые украшения; сундуки да баулы с вещами; столы и стулья, даже метелку из куриных перьев, чтобы обметать пыль. А если у нее родился ребенок, из родительского дома приходил кто-то из женщин в помощь.

Старшая невестка — наша дацзюма — ростом явно не удалась, зато превосходила всех оглушительным кашлем. Особенно громко, почти не переставая, она кашляла зимой, наверное, потому, что ей не хватало воздуха. Правда, иногда кашель вдруг пропадал — значит, она схватила свою трубку. Затянется раз-другой и сызнова зайдется кашлем. Жила она недалеко — всего в половине ли от нас.

— Дацзюма! Дацзюма пришла! — радостно сообщила матери сестренка.

Мать слабо улыбнулась. Она-то хорошо знала, что, кроме хриплого кашля, старшая невестка другими достоинствами не обладала. И все же именно она первая пришла поздравить ее, несмотря на непогоду. Значит, мать все-таки помнят в старом родительском доме! Значит, она не отрезанный ломоть! Губы матушки дрогнули.

Сестренка, не дожидаясь ответа матери, стремглав побежала встречать гостей. Путь от ворот до дома у старой женщины, которую осторожно поддерживали с двух сторон Фухай и сестренка, занял больше двадцати минут. Сестренке, непрестанно похлопывавшей гостью по спине, так и не удалось взять у Фухая старухин кальян и завладеть коробкой с крашеным сахаром и яйцами и кульком из пальмовых листьев, в котором находилось печенье и засахаренные фрукты.

С трудом отдышавшись, старуха что-то невнятно бросила сыну, а тот, отдав подарки сестренке, повел мать к тете засвидетельствовать ей почтение. Старшая невестка, несмотря на приступы удушья, никогда не забывала, кому следует поклониться в первую очередь, однако всегда соблюдала осторожность, поэтому отдала гостинцы сестренке, зная, что тетя может их конфисковать

в свою пользу. Надо сказать, что в особенной завистливости тетю обвинить было нельзя, но, увидев дары, она могла решить, что они принадлежат ей по праву.

Визит старшей невестки обычно протекал в полном соответствии с дипломатическим протоколом, то есть можно было ограничиться пожеланием здоровья, а потом, хорошенько прокашлявшись, поведать о своей жизни, в ответ на что тетя бросит какую-нибудь шутку. Однако сегодня рядом находился Фухай, и хозяйке следовало полностью соблюсти церемонию встречи.

Все очень любили Фухая. Да и как было не любить этого симпатичного, небольшого роста крепыша, на редкость открытого и честного! На круглом, очень светлом лице юноши выделяются крупные черные глаза. Голова выбрита до синевы, отчего походит на голову тех толстячков, которых обычно рисуют на новогодних картинках. Сзади свисает тяжелая коса, туго свитая в жгут и раскачивающаяся из стороны в сторону при каждом движении. Во время разговора глаза его блестят, а лицо озаряется внутренним огнем. Едва он разомкнет уста, все уже знают, что юноша непременно расскажет что-то забавное и в то же время весьма дельное. И действительно, от Фухая частенько можно услышать что-нибудь остроумное и смешное, однако в его шутках нет для людей ничего обидного, а в словах — даже намека на поучения. А до чего же приятно на него смотреть, когда он с кем-нибудь здоровается! Сначала будто внимательно приглядывается к человеку, потом наклонит голову, быстро сделает шага два вперед и опустит руки вниз, при этом одна нога его выставлена немного вперед и он опирается на нее, а другая стоит свободно. Юноша делает поклон, раз и другой, все его движения размеренны и точны.

— Нижайший поклон вам, тетушка! — поклонившись, говорит он, а голос такой проникновенный, задушевный.

Потом с удивительной легкостью он делает едва заметное движение ногами. Стан его выпрямляется, грудь выпячивается, обе руки все еще опущены книзу, но он быстро отводит их назад, а обе ноги оказываются вместе. Поклон Фухая вызывал вздох восхищения у пожилых женщин, каждая из которых с удовольствием отвечала на него, при этом думая: «Ах, если бы и мой сын знал толк во всех церемониях! Как бы это было хорошо!»

В общем, у Фухая все выходило необыкновенно складно: кланялся как положено, а сидел или ходил — ну просто загляденье! А как он ездил верхом! Какие приемы показывал нам, мальчишкам. Никогда не забуду позу «одноногого петуха» или посадку на коне. Красота! Фухай с головы до пят был знаменитым воякой, еще

не успевшим забыть наше двухвековое искусство верховой езды и стрельбы из лука. Однако он был сведущ не только в ратных делах, но и в других науках, так как впитал в себя многое из культуры китайцев, монголов и мусульман. Как в этих случаях говорили тогда: «Искусства боевые и светские он знает в совершенстве, культуру маньчжуров и китайцев он постиг во всей полноте». Фухай не только ездил верхом и стрелял из лука. Он мог также спеть несколько куплетов (к сожалению, всего несколько) из арий, которые исполнялись под аккомпанемент музыкального инструмента. Он знал несколько строк — увы, лишь несколько — из оперы «Застава Вэньчжаогуань», которую ставили в театральной труппе знаменитого Вана. Он мог вам немного погадать и предсказать судьбу по «восьми знакам». Фухай умел гонять голубей, знал, как ухаживать за певчими птицами, как ходить за мулом или разводить золотых рыбок. Правда, всем этим он всерьез не занимался, потому что у него всегда было много других, более серьезных обязанностей, например кому-то из родственников он обещал выбрать хороший гроб, а другому — найти подходящего повара. Поэтому на разные мелочи времени у него почти не оставалось. Муж моей сестры, считавший себя крупным знатоком по части разведения голубей или обучения ловчих птиц, в разговоре с Фухаем немножко тушевался, уступая ему первенство. В эти минуты мой зять мог продать свое «летающее серебро» по дешевке!

Фухай прекрасно разбирался в разных играх, в том числе азартных, вроде «девятки», «заклада», «тащить бирку», «сраженья с десятью иноземцами», «старый и малый». Знал он, как правильно кинуть кость и как нужно стукнуть по мячу. Однако сам он почти никогда не играл, разве что иногда, если в компании почтенных старух не хватало партнера. Фухай обычно много не проигрывал, но и не слишком выигрывал — всего какие-нибудь несколько сотен медяков, на которые тут же покупал засахаренных бобов и кислых фиников для ребятишек.

Хотя Фухай был настоящим знаменным солдатом, все же маньчжуром он был лишь наполовину или даже на треть, правда, к происхождению это не имело никакого отношения. Так, маньчжурский язык он знал чуть-чуть, а говорил всегда по-китайски. Когда же надо было составить бумагу, писал только иероглифами. Стихов он не знал и сочинять их не умел. Никогда не обучался он искусству «восьмичленных сочинений» [1] и не умел писать экзаменационных эссе на политическую или философскую тему. Одна-

[1] Один из основных видов сочинений на государственных экзаменах в старом Китае. Оно было строго регламентировано по форме и состояло из восьми частей.

ко, если дело доходило до «литературы», он мог легко придумать парную надпись — дуйлянь [1] — или сочинить куплет к арии, который, как мы сказали, он всегда писал по-китайски, даже не задумываясь, что его можно изобразить по-маньчжурски. Если он вдруг оказывался перед какой-нибудь стелой, покрытой письменами или изреченьями, его восхищенный взор привлекали лишь иероглифы, написанные энергичной кистью, с большим изяществом. На маньчжурскую вязь он смотрел одним глазом и тут же «почтительно удалялся». Пекинским диалектом Фухай владел превосходно, будто сам участвовал в создании этого самого совершенного на свете языка. И уж конечно, он был вполне достоин нести бремя чести — пусть даже ее частичку — основателя «столичного речения», хотя, может быть, такое утверждение не слишком согласуется с историей. Надо сказать, что люди старшего поколения, говоря на китайском языке и широко используя маньчжурские слова, создали особый язык, обладающий своеобразной напевностью, на слух не всегда понятный и похожий немного на скороговорку. Со временем эти особенности настолько усилились, что люди из других мест понимали его с большим трудом.

Самым удивительным в жизни Фухая можно считать, пожалуй, то, что он занимался ремеслом, хотя его отец, мой дядя, имел военное звание цаньлина — чиновника третьего ранга,— отмечавшееся голубым шариком на шапке. И вот сын маньчжурского военного стал малевать картины и мастерить по лаку. Стоит ли после этого спорить, что он маньчжур всего лишь наполовину?

Теперь о моем дяде, брате матушки. ...Ведь именно он устроил свадьбу моей сестры, причем решающую роль в этом событии сыграла дядина шляпа, увенчанная голубым шариком чиновника третьего ранга. Если говорить начистоту, свекровь сестры — дочь сановника и жена цзолина — вполне могла бы отказаться от такой партии для своего сына, какими бы достоинствами ни обладала моя сестра и как бы она ни была красива, потому что свекор сестры имел чин четвертой степени. Словом, шарик на шляпе дяди сыграл главную роль! В день брачной церемонии мой дядя пригласил на торжество одного чиновника с голубым знаком и двух с красным. Процессия из четырех чиновников с почетными регалиями в виде многоцветных шариков и перьев выглядела необыкновенно внушительно. Свекровь, конечно, могла выслать для встречи гостей сразу четырех чиновников с красными шариками на макушке, но она почему-то решила, что нашей семье не по плечу создать представительный отряд сватов, а если так, то можно

[2] Дуйлянь состояла из равного числа знаков и выражала добрые пожелания.

вполне ограничиться четырьмя чиновниками пятого ранга, дабы не напугать гостей. Словом, в тот день наша семья имела абсолютное и решающее превосходство, что, разумеется, всем доставило огромное удовольствие. А для свекрови это был настоящий удар, потому что после этого ей пришлось называть мою матушку «почтенной сватьей»! Тетя, воспользовавшись этой победой, незамедлительно перешла в наступление, торжественно заявив, что ее супруг — напомним, что он, возможно, был китайцем,— имел чин второй степени!

Когда я вырос, старшая сестра предупредила меня, чтобы я не рассказывал свекрови о тайне Фухая — его занятии ремеслом. Если бы семейный секрет дошел до ушей старухи раньше свадьбы сына, успех дядиного предприятия оказался бы под вопросом. Впрочем, говоря откровенно, еще неизвестно, пострадала бы от этого сама сестра.

Фухай стал учиться ремеслу потому, что умел смотреть вперед. В маньчжурских войсках существовал порядок, который лишал знаменного человека почти всяких свобод. К примеру, он не мог выйти из-под своего «знамени» или даже покинуть, когда ему хочется, столицу. Если кто-то из маньчжурских военных захотел обучиться ремеслу, все стали бы смотреть на него не только косо, но даже с презрением. Основная жизненная обязанность знаменного мужа заключалась в том, чтобы нести военную службу, то есть ездить верхом, стрелять из лука, защищать своей грудью великую Цинскую империю. Число знаменных было ограниченным, между тем как семьи военных непрерывно росли. Вполне понятно, что вакантную должность на службе могли получить не все, а лишь старший и второй сын в семье. Два сына ели «казенный харч», в то время как младшие братья предавались вынужденному безделью. Если же в семье росли несколько парней, оказавшихся не у дел, жизнь в ней становилась год от года все тяжелее. Такие правила, распространившиеся по всей стране с севера на юг, постепенно привели к тому, что знаменные люди лишились не только свобод, но и потеряли уверенность в своих силах, не говоря уже о том, что многие ходили всю жизнь безработными. Они ждали вакансий, но никаких надежд на них не питали, так как повсюду на должностях и вне их пригрелось множество людей, с большой охотой поедавших дармовой хлеб. Скажем, наша тетя, одна из многочисленных вдов, разве она не получала казенное пособие неизвестно за что?

А вот у моего третьего дяди, который имел пять сыновей, ни один из парней так и не попал на службу, хотя все они обладали внешностью самой что ни на есть воинственной — прямо тигры! Как говорится: «Государь далеко, высокие горы близко!» Все пять

молодцов жили на окраине города, возле гор, занимаясь в свое удовольствие каждый своим делом: один — землепашеством, другой — ремеслом... Словом, Фухай стал обучаться ремеслу не случайно. Его старший брат, с большим трудом получивший должность, сейчас получал каждый месяц четыре ляна серебра, а вот удастся ли попасть на службу Фухаю — это еще большой вопрос! Оставаться же всю жизнь не у дел, обладая недюжинным умом и способностями, юноша не хотел. Ведь тогда и жену взять в дом невозможно. Разве это жизнь? А ведь Фухай действительно был на редкость толковый парень, и особенно преуспел он в военном мастерстве: в верховой езде и стрельбе из лука. Вот только кому нужно его искусство? Со всеми своими уменьями он в лучшем случае мог рассчитывать на службу у какого-нибудь колченогого богача или горбуна — стать его личным стрелком. Посылай себе стрелу в красное яблочко и зарабатывай на пропитание! Вот и все! Обладая талантами, Фухай устроиться на службу не мог, а в то же самое время убогий горбун или колченогий барин, швыряя серебро на развлечение, брал его к себе в услужение и платил жалованье лучника. Так, вместе с парой сапог из синего атласа и несколькими лянами серебра Фухай приобрел и еще кое-что. Например, он хорошо понял, почему армия англичан и французов смогла беспрепятственно войти в Пекин и сжечь дотла дворец Юаньминъюань [1]. Случайность? Вряд ли! Разве кто-то в силах был их остановить? Может быть, эти маньчжурские вдовицы или вон те горбуны и хромоножки, получавшие даровой харч? Или вон такие, как свекор сестры — военный с чином цзолина — и его сын — знаменный кавалерист? Теперь понятно, почему Фухай решил обучаться ремеслу. История Китая подошла к той самой черте, когда многие люди вроде моего двоюродного брата Фухая в жизненной игре стали видеть на ход или два вперед.

Случилось так, что старший брат Фухая заболел, и юноша заменил его на службе. Молодой человек стоял на посту, а в свободное от дежурства время занимался ремеслом и, к слову сказать, успевал делать и то и другое. К нему нередко приходили с какой-нибудь просьбой. Одному надо было покрыть лаком гроб, другому — украсить комнату для молодой жены. Фухай работал старательно, умел экономить материал, поэтому родственники и друзья обращались к нему за помощью часто и охотно.

Во время работы юноша забывал, что он сын цаньлина и сам знаменный солдат. Искренний и человечный в обращении с товарищами по ремеслу, даже с юными подмастерьями, Фухай в своей

---

[1] Название императорского дворца на окраине Пекина, сожженного иностранными войсками в 60-х годах XIX в.

рабочей одежде становился как бы совсем другим человеком — не знаменным военным, а простым мастеровым китайцем. Такого маньчжура в годы Шуньчжи или Канси[1] представить себе было просто невозможно.

Фухай относился с большим уважением к учению Белого Лотоса[2]. Нет-нет! Он вовсе не замышлял бунт и не хотел низвергать императорский трон! Такие мысли ему даже не приходили в голову. К Вратам Истины[3] он подошел потому, что дал обет не курить и не пить вина. В гостях у своих друзей, когда все вокруг дымили трубками и выпивали, он позволял себе лишь понюшку табаку, цветом напоминавшего чайную крошку, который он доставал из табакерки. Поднесет к носу раз-другой, и хватит. Зная, что он дал обет, приятели не принуждали его отказываться от своих правил и привычек. Однако сам Фухай никогда не говорил, что он «служит Истине», но непременно, однако, настаивал, что он следует учению Белого Лотоса. Конечно, Врата Истины имели прямое отношение к учению Белого Лотоса, но в представлении простых людей эти секты различались. Например, Белого Лотоса все как-то немного побаивались, а к Вратам Истины относились вполне терпимо. Моя мать иногда говорила Фухаю:

— Фухай! Тот, кто следует твоему учению, кажется, не курит и не пьет — это очень хорошо! Скажи, к чему же тогда ты болтаешь о Белом Лотосе? Зачем пугаешь людей?

— Ах, тетушка! Мой Лотос никакого мятежа не поднимет! — И юноша заливался громким смехом.

— Ну тогда ничего! — успокаивалась мать, кивая головой.

Мой зять имел на этот счет иное мнение, хотя, как мы уже сказали, он высоко ценил достоинства Фухая. Он считал, что ремесло, которым занимался Фухай, а того хуже учение, которому он поклонялся,— дела непутевые.

Муж моей сестры был лишь на цунь[4] выше Фухая, но если Фухай производил впечатление человека вполне нормального роста, то мой зять, хотя и не слишком высокий, казался каким-то особенно долговязым и худым. Когда он сидел спокойно, не двигаясь, его можно было принять за вполне солидного человека, о чем говорили и его красивый крупный нос, и большие глаза на продолговатом лице. Но все дело в том, что сидеть спокойно на

---

[1] Годы правления первых маньчжурских монархов (1644—1661 и 1662—1722).

[2] Известное тайное общество, члены которого в старом Китае преследовались властями за бунтарские настроения.

[3] Одно из учений (и ответвление секты Белого Лотоса), последователи которого проповедовали идею самовоспитания, укрепления духа.

[4] Цунь — китайский вершок (0,32 м).

месте мой зять не мог. Его руки и ноги находились в непрестанном движении, как у ребенка. Он то и дело ерзал и мельтешил, все время куда-то спешил. Вот ему пришла в голову мысль почитать, и он бежал за книжкой «Пять Тигров усмиряют Запад»[1] (кроме нее, в его библиотеке хранилось еще несколько книг: роман «Троецарствие», четыре-пять тощих песенников и учебник грамоты «Шестисложные изречения», по которому он учился еще в детстве). Схватит книжку и тут вспомнит про голубей. «Пять Тигров» летят на подоконник, а он принимается гонять птиц. Кончит заниматься голубями и снова вспомнит про книгу, а ее нигде не видно. Кричит, волнуется, ногами сучит. Заметив ее на окне, мигом успокаивается и сразу же о ней забывает. И вдруг с криками бросается к воротам, услышав, что на улице происходят похороны. Зрелище!

Зять дорожил своей свободой, дававшей ему возможность делать все, что ему заблагорассудится. Он был уверен, что такая жизнь пришла к нему от предков и преподнесена ему как вечный дар, которым потомки, сыны и внуки, должны непременно пользоваться. Если Фухай стал ремесленником, значит, он начисто потерял чувство самоуважения, которым должен обладать каждый знаменный маньчжур, а поклоняясь учению Белого Лотоса, он тем самым вроде бы показывает свое сочувствие бунтарям. Правда, зять точно не помнил, когда последователи этой секты учиняли бунт!

За несколько месяцев до моего рождения случилось событие, которое привело моего дядю, свекра и мужа моей сестры в состояние необычайного волнения,— реформы, которые мои родственники в один голос решительно осудили. Доводы дяди были просты, но убедительны. Он считал, что законы и правила, установленные предками, изменять нельзя. Свекор, не в состоянии выдвинуть более убедительных аргументов, добавлял: «Может быть, что подправить и надо, да только не стоит!» В действительности ни тот ни другой решительно не понимал, о каких изменениях в стране идет речь, однако оба слышали, что после реформ двор перестанет платить маньчжурским служащим жалованье. Опирайтесь-де на собственные силы!

Моему дяде перевалило за пятьдесят. Как и его жена, наша дацзюма, он не мог похвастаться особым здоровьем, о чем говорили его далеко не мужественный вид и коса, в которую он вплетал искусственную прядь, чтобы она выглядела более солидно. Коса у него постоянно свисала с плеча, потому что правое плечо было

[1] Волшебная повесть, сюжет которой был популярен в средневековье.

выше левого и выступало вперед, причем с каждым годом эта особенность становилась все заметнее. Когда пошли разговоры о реформах, плечо стало выпирать еще больше, особенно во время движения, при этом тело дяди сгибалось в одну сторону, отчего он напоминал бумажного змея, у которого оборвалась веревка.

В отличие от дяди свекор был человеком крепким и бодрым, о чем говорил его прямой стан и румянец на лице. Его здоровый вид, несомненно, объяснялся тем, что каждый день, едва забрезжит рассвет, он шел «прогуливать» своих птиц, проходя несколько ли за раз. Без таких ежедневных прогулок его члены давно бы потеряли свою гибкость, а птицы перестали бы петь. Несмотря на свою жизнерадостность и бодрость, порой и он приходил в уныние, особенно когда слышал о волнениях среди знаменных людей. В эти мгновения его покашливание теряло свою музыкальность, и свекор отправлялся к моему дяде, чтобы поговорить с ним по душам.

Придет в гости и прежде всего спросит, нет ли поблизости кошки. Реформы реформами, но более важно, чтобы кошка не цапнула его синегрудую птицу. Убедившись, что кошки нет, он ставил клетку на пол.

— Почтенный Юньтин! — В его голосе звучала тревога. Юньтин — прозвание моего дяди. Надо сказать, что в те времена маньчжуры во всем очень старательно подражали китайцам, очевидно надеясь, что и они, и их дети, и даже внуки будут всегда занимать место знаменных. Вот почему у досточтимых маньчжурских интеллигентов, кроме обычного имени, появились звучные и красивые прозвания. Постепенно эта привычка (а она считалась проявлением вкуса изысканного и высокого) распространилась на мелких военных вроде цаньлинов и цзолинов. В старые годы не только знаменные люди, но даже те, кто нигде не служил, уже не называли себя «вторым братом» или «четвертым господином», а стали добавлять к имени благозвучные слова вроде «тин» — «беседка», «чэнь» — «чиновник», «фу» — «заслуженное имя». Мой дядя, к примеру, стал Юньтином [1], свекор Чжэнчэнем, а муж сестры придумал себе прозвание Дофу, которое сам же в шутку превращал в «доуфу», что означало «бобовый сыр». Лучше уж стать «бобовым сыром», чем лишиться звучного имени! Представьте, что собеседник, согнувшись в почтительном поклоне, спрашивает у вас: «Как ваше уважаемое прозвание?» — а ему в ответ молчание. Разве подобная маловежливая немота приличнее «бобового сыра»?

Дядя уловил в голосе гостя волнение, но с расспросами не спе-

[1] Юньтин — «Облачная беседка», Чжэнчэнь — «Истинный чиновник».

шил. Его положение обязывало соблюдать невозмутимость. По званию он выше гостя на целый ранг, дольше его служил на чиновничьем поприще, а потому он несравненно опытнее. С видом знатока дядя некоторое время внимательно разглядывал птиц, даже сделал ряд одобрительных замечаний и только после неоднократных обращений гостя позволил приступить к серьезному разговору.

— Почтенный Чжэнчэнь! К вашему сведению, у меня тоже неспокойно на душе. Посудите сами, мне уже за пятьдесят, и силы у меня уже не те, что раньше. Вон взгляните: голова почти облысела, плечи ссутулились. Ну скажите, на что я теперь гожусь?.. А эти реформы загонят меня в гроб — вот и все!

— Кхе-кхе!..— Свекор легонько кашлянул, но как-то глухо и без обычной музыкальности.— Это вы верно сказали! Четвертовать их мало, этих самых реформаторов!.. Юньтин! Вот, скажем, я... С малых лет я привык жить по своему распорядку и хотя не гнался за звездами, не рвался за луною в небе, однако одеться, к примеру, всегда любил опрятно и чисто. Я привык, чтобы у меня на столе каждый день было нежное мясо барашка, мусюйжоу или жареные почки... А разве моих синегрудых пташек не нужно кормить? Непременно нужно!

— К тому же мы ничего особенного и не просим!..

— Вот именно! Что нам делать, если перестанут платить пособие? Выходи на улицу и торгуй!..— Чжэнчэнь прикрыл ухо рукой и, подражая голосу уличного торговца, завопил:— Покупай редечку! Слаще груши! Горькую поменяем! Подлетай!..— Глаза его наполнились слезами, голос дрогнул.

— Эх, Чжэнчэнь! Вы все же немного покрепче меня, а я ведь даже пустышкой-арахисом торговать не смогу. Не выйдет у меня!

— Послушайте меня, Юньтин! Вот, скажем, дадут каждому из нас по сто му земли и скажут: «Обрабатывай сам!» А сможем ли мы работать?

— Понятное дело, не сможем! Это уж точно! К примеру, я не умею даже ковырять мотыгой. Взмахну, глядишь, еще обрублю все пальцы на ноге!

Беседа приятелей длилась долго. Так и не разрешив своих сомнений, они отправились в питейное заведение «Величие неба», где заказали полтора цзиня желтого домашнего вина и несколько тарелок с закусками: отварное седлышко и жареный олений копчик. К ним сразу же пришло спокойствие и удовлетворение. Когда дело дошло до расчета, оказалось, что ни тот ни другой не захватил денег. Между ними начался спор о том, кому платить. Каждый хотел расплатиться непременно сам. Подобные перепалки продолжались у них полчаса и больше.

К тому времени, когда я увидел свет, споры о реформах как будто поутихли, так как нескольким реформаторам отрубили голову. Оба приятеля сразу успокоились, а их встречи в «Величии неба» обрели постоянство. Однако всякий раз, когда раздавался крик уличного торговца — продавца редьки или арахиса («Орехи — половиночки, даю больше обычного!» — орал торговец), им становилось как-то не по себе. Столько лет находиться на службе и проявить подобное малодушие! Такую невыдержанность!

Зять Дофу в критические дни реформации, запершись у себя дома, принялся штудировать учебник грамоты «Шестисложные изречения». Его уважение к моему двоюродному брату Фухаю в ту пору сильно возросло.

— Очень дальновидный парень этот Фухай! — сказал он однажды жене.— Мне кажется, нам тоже надо что-то придумать!

— Как-нибудь перебьемся! Безвыходных положений не бывает! — Сестра произносила эту примечательную фразу всякий раз, когда сталкивалась с трудностями.

— Боюсь, что на сей раз нам не перебиться!

— Если у тебя что-то на уме, выкладывай! Ну, Дофу! — Сестре казалось, что имя мужа звучит очень красиво, а в устах жены — даже современно.

— Какой я Дофу? Я просто доуфу — бобовый сыр! — Он невесело усмехнулся.— Подумай, кого только нет сейчас среди нашего брата, знаменных: гончары, столяры, повара, паклейщики картин...

— А сам ты кем собираешься стать? — Сестра усмехнулась, а про себя подумала: «Чем бы ты ни занимался, я мешать тебе не стану. За кого вышла, того и бери какой он есть!»

— Идти в ученики мне, пожалуй, уже поздновато. Да и кому я нужен, переросток?.. Вот что я думаю: пожалуй, я стану продавать голубей. Самое подходящее для меня занятие! Голубиное дело — что любимый цветок: он нужен лишь тому, кто его любит! Так и голуби. Кто их любит, тот готов выложить хоть десять лянов серебра... Конечно, дело не слишком прибыльное, но все же один лян в месяц, может, и набежит, а этого нам хватит с тобой на несколько недель!

— Хорошо бы, если так!..— В голосе сестры слышалась неуверенность.

Птиц для продажи Дофу отбирал не меньше двух дней, но наконец выбрал пару сизарей. Продавать голубей ему было жалко, а что делать? Если императорский двор проведет реформы, значит, и ему, Дофу, надо вовремя предпринять какие-то решительные шаги! Едва он появился на птичьем рынке, со всех сторон послышались крики знакомых:

— Господин Дофу! Господин Дофу!

Один сунул ему две голубиные свистульки, другой — пару черноголовых крапчатых фениксов, у которых, как потом оказалось, хохолки были приклеены канцелярским клеем. Рассказывать о своем промахе он дома не рискнул, но его решение продавать голубей незаметно пропало.

Волна реформ пронеслась и спала. Коса у Дофу из толстой и пышной превратилась в тонкий и плотный жгут, как у арсенальских солдат. Сурово сдвинув брови и грозно тараща глаза, он расхаживал по улицам, показывая своим видом, что с реформаторами расправился именно он, своими собственными руками. Его уважение к Фухаю сейчас заметно поубавилось. Он теперь считал, что молодой человек хочет кататься на двух лодках сразу. Если ему дают жалованье, он служит солдатом, если не дают — занимается работой по лаку. Нет, порядочный знаменный так поступать не должен! К тому же эта его связь с бандитами из секты Белого Лотоса! Дофу грызли сомнения...

Но как говорится, пора нам вернуться к основному повествованию. Дядина жена — дацзюма — после визита к тете зашла навестить матушку и спросила, как идут наши дела. Мать ей ответила. На глаза у старухи навернулись слезы, которые она отерла ладонью, после чего повернулась ко мне.

— Какой симпатичный! — В голосе старой женщины слышалось восхищение.— Какой носик, а какой глазастенький!.. А ушки — вон какие мясистые!

— Что вы, почтенная, какой же он симпатичный? Точно такой же, как и я в младенческом возрасте! — рассмеялся Фухай.— Он ведь только-только родился. Разве сейчас что-нибудь разглядишь?! А уж вы...— Не став далее продолжать, он громко рассмеялся.

— Фухай! — раздался голос матушки.

— Ну ладно-ладно! — забеспокоился юноша, догадываясь, что хотела сказать мать.— Не волнуйтесь и во всем положитесь на меня! Помню, что завтра, в третий день от рождения, надо сделать ему омовение, для чего пригласить теток и бабок! Вторая сестренка будет разливать чай, набивать трубки, а я с нашим Шестым братцем (честно говоря, до сего времени я так и не знаю, кого он имел в виду) займусь делами по кухне. Значит так: по две чарки жидкого винца, миску жареных бобов, потом баранина с овощами и лапша в горячем бульоне. Главное, чтобы все, как говорится, было с пылу с жару, а вкус — дело второе! Так или нет? А?

Мать кивнула.

— А кто захочет перебросить в картишки, пусть себе на здоровье играет: четыре чоха кон... Все сделаю, тетушка, успокойтесь. И представлю вам полный отчет. Все будет в порядке. Вот увидите! — Фухай повернулся к своей матери: — У меня в городе есть дела, матушка. Я зайду за вами попозже, когда сядет солнце!

Старуха сказала, что никуда от роженицы она сегодня не уйдет. Ей, мол, положено оставаться здесь.

— Это вы зря, матушка! — Фухай засмеялся.— Кто же выдержит ваш кашель? Он ведь у вас, как говорится, продолжается весь спектакль без перерыва.

Слова Фухая попали в самую точку. Он будто знал, о чем сейчас думала моя мать, которой очень хотелось уснуть, а кашель старухи мешал.

Фухай ушел.

— Вот чертенок! Вот чертенок! — ворчала старуха.

Однако благодаря талантам «чертенка» церемония моего омовения прошла не только успешно, но и весьма экономно, причем все правила приема родни были соблюдены почти полностью.

4

Моей старшей сестре очень хотелось присутствовать при омовении своего братца и побыть возле матери. В глазах родственников она стала уже «молодой госпожой», а следовательно, уважение к ней должно возрасти. Нет, для семьи она не отрезанный ломоть. Она весьма порядочная дочь, которая со временем — если родит своих детей — станет настоящей госпожой и заменит в доме свекровь, когда ту положат в гроб. Сестра всегда с удовольствием навещала отчий дом, потому что, придя сюда, даже на полдня, обретала душевное спокойствие. Она часто думала, что, конечно, ей сейчас не слишком сладко, но в ее жизни непременно наступит просветление, как это бывает у небожителей, и она, подобно нашей тете, с удобством устроившись на кане, станет раскуривать трубку, набитую душистым табаком. Сейчас она курить пока не решалась, но жевать бетель уже научилась, а ведь от бетеля до табака совсем недалеко...

Встревоженная думами, она плохо спала в эту ночь и поднялась ни свет ни заря. Толком не разглядев, где мигают три звезды, она побежала на улицу за жареным хворостом и лепешками для свекрови. В те годы харчевни, где продавался жидкий рисовый настой, открывались рано — часа в три ночи. В этих же лавках жарили мучной хворост и пекли лепешки, которые, по слухам,

заказывали себе на завтрак даже знатные вельможи, отправлявшиеся на утреннюю аудиенцию к императору. Ходил ли на прием во дворец отец свекрови (как вы помните, видный чиновник), я с уверенностью сказать не могу, но то, что его чадо имело привычку есть по утрам лепешки и жареный хворост,— это я знаю точно. Свекровь же вставала, едва забрезжит рассвет. Умывшись и причесавшись, она принималась за еду. После завтрака, почувствовав некоторую усталость, она ложилась снова — подремать. Мне казалось, что эту привычку старуха воспитала в себе специально для того, чтобы мучить мою сестру.

Северо-западный ветер не сказать чтобы очень сильный, но какой-то колючий. Кончик носа и мочки ушей у сестры сразу покраснели.

— Ух какой холодюга! — В ее голосе слышалась радость, хотя на сердце по-прежнему было неспокойно.

Да, пекинский мороз особенный, он радует души людей. Сестра ускорила шаги, и ей скоро стало жарко. Но вдруг она вздрогнула, словно внезапно проглотила льдышку,— это давал о себе знать мороз. И все же приятно! Она взглянула на небо, где слабо дрожали ясные звездочки, которые ей напомнили сейчас глазки младенца — такие же светлые, непорочные.

— Если не поднимется ветер, день будет погожий! — проговорила сестра и тихо засмеялась.— В день омовения и такая добрая погода! Моему братцу повезло!

Ей захотелось сейчас же бежать в родительский дом и прижать к груди маленького братца. Но как ни было сильно ее желание, она не решалась отпроситься у свекрови, хорошо зная, что, стоит ей об этом сказать, старуха сейчас же недовольно кивнет головой и буркнет: «Изволь! Изволь!» Дочь вельможи не может без всякого на то основания отказать невестке сходить в отчий дом. Однако молодая женщина знала, что, если старуха пробурчала «изволь», значит, надо ждать какого-то распоряжения. Вот! Мешочки с ядовитым газом опустились чуть ли не до самой груди. Придется подождать!

Специального приказа, однако, не последовало, на что у свекрови имелись свои причины. Прежде всего старуха была твердо уверена, что мать отравилась угарным газом, а если ей эта мысль втемяшилась в голову, разговор окончен, пусть даже мать произвела на свет не одного ребенка, а целую двойню. Но главное — у ворот дома могли оказаться кредиторы, которые способны испортить репутацию дочери знатного вельможи и жены цзолина. Свекровь очень боялась потерять достоинство, хотя смело придерживалась принципа «Не стесняясь, бери в долг и не думай, когда возвратишь!». Словом, свекровь чувствовала себя как-то не по

себе, а потому, похлебав рисового отвара с лепешками и хворостом, решила поговорить по душам с мужем. Однако супруга на месте не оказалось: он раньше обычного пошел прогуливать птичек. Непредвиденная осечка разозлила старуху. Повернув, как говорят, коня вспять, она решила заарканить кавалериста-сына — взять его живьем, но того тоже след простыл. Стащив у жены две новенькие красные ассигнации, мой зять-кавалерист с утра пораньше исчез со двора, чтобы в какой-нибудь уличной харчевне полакомиться бобами и выпить чашку настоянного на абрикосовых ядрышках чая со сладким финиковым печеньем. Неудача с мужем и сыном заставила свекровь броситься в бой против невестки.

— И что это за жизнь! — проворчала она, усаживаясь на край кана.— Почему должна обо всем беспокоиться только я одна? Неужели другие не видят, что творится у них под носом? Или глаз у них нет, или глаза без зрачков, или зрачки незрячие?.. За мной можете не ухаживать — ни в чьей помощи я не нуждаюсь! Но Будда! Разве о нем не следует позаботиться! Извольте взглянуть! Новый год на носу, а утварь на алтаре еще не вычищена!

Сестра бросилась к очагу и принялась просеивать печную золу, чтобы получился мелкий порошок, которым обычно чистят алтарную утварь. Собрав порошок в блюдо, сестра направилась к алтарю, но ее остановил голос свекрови. На сей раз старуху волновал уже не Будда, а люди.

— Рукой боятся пошевелить! Посмотрите, пожалуйста: вещи лежат в сундуках и в шкафу, медная посуда — в столе, и никто их даже пальцем не тронул!.. Вот когда я была молодая, я не ждала указаний свекрови — делала все сама!

Сестра слушала молча. К чему отвечать? Даже самые покорные слова свекровь восприняла бы сейчас как неповиновение и бунт! Но с другой стороны, если все время молчать и гнуть спину?.. Невесть во что превратишься!.. Сестра со злостью сжала подсвечник. В ее сердце клокотал гнев: «Проклятая карга! Бесстыжая старуха! Чтоб тебя громом прибило!»

В глазах у сестры стояли слезы. Она молча терла медную плошку, а сама думала, что в подходящую минуту она все же постарается узнать у старухи, что и как надобно делать. О том, что ей хотелось навестить мать, она уже не вспоминала. Сестра смахнула слезу.

— Матушка, взгляните! — Сделав над собой усилие, она улыбнулась.— Хорошо я почистила?

Свекровь что-то пробурчала, однако новых распоряжений не последовало. Причина была проста: старуха сама никогда не чистила медную посуду.

Погода нынче выдалась на славу. К девяти часам утра стало как будто теплее. Небо высокое и необыкновенно синее, пронизанное насквозь звонкими солнечными лучами. Шустрые сороки шмыгают туда и сюда и оглушительно галдят, словно хотят восславить зимнюю ясность пекинского дня. Все вокруг просится на картину, даже старое воронье гнездо, прилепившееся к суку большого дерева.

Свекровь, недовольно ворча, вышла во двор, будто собиралась спросить у солнца и неба, по какому праву они сегодня такие красивые. Поглядела вверх, а там кружатся голуби сына.

— Ну какой от вас только прок, проклятые! На обед и то не годитесь! — в сердцах бросила старуха, с осуждением глядя на сизарей и монахов.— Радуйтесь! Радуйтесь! Скоро всех вас прирежу! Подождите у меня!

Ворчание старухи вызывало у сестры возмущение, но она молчала, так как не имела права высказывать свои чувства, даже вздохнуть по-человечески и то не могла.

А в это время матушка с надеждой ждала, когда придет старшая дочка. Третьего дня вечером матушка чуть было не отошла в лучший мир, но Небесный владыка, как видно, ее пощадил, и сейчас она мечтала о том, что, может быть, нынче вся семья окажется вместе. Глядишь, и старшая дочка придет навестить! Однако скоро мать поняла, что дочь уже не придет. Понятно! Ее свекор — цзолин, а мы вроде как бы низшего сорта! Мать этого не сказала, но на ее лице появилось выражение боли.

Тем временем тетя, у которой светлые мысли в голове появлялись обычно по ночам, выработала новую стратегию действий. Она решила, что, поскольку в доме праздник, а она не показала своего характера, значит, событие это совсем не радостное, а самое что ни на есть заурядное, так как нет в нем никакого волнения. Уже девять утра, а племянница все не появлялась. Тетка взглянула на солнце, посылавшее на землю яркие лучи. У нее возникло неистребимое желание поболтать со светилом, иначе перед ним вроде как-то неудобно.

— Вот я и говорю, ты уже высоко, а племянницы все нет и нет. Значит, ее не пустила старая перечница, пучеглазая карга! И впрямь буркалы у нее точно финики!.. Как видно, придется мне самой сходить туда и поговорить по душам! А если понесет околесицу, вырву ее финики напрочь!

Мать, услышав о намерениях тети, страшно перепугалась и велела сестренке сказать Фухаю, чтобы он утихомирил старуху.

— Только сама ни гу-гу! Пусть племянник с ней говорит!

В это самое время Фухай вместе с Шестым братцем разбавлял водой вино. По причинам экономии вина было куплено мало, по-

этому Фухаю пришлось сильно поломать голову, чтобы напитка хватило всем гостям. Сестренка потянула его за рукав и показала рукой в сторону тетиной комнаты. Фухай, взяв чайник с вином, направился туда.

— Понюхайте, почтенная! — Его голос звучал сейчас особенно проникновенно.— Пахнет эта штука вином или нет?

— Чем же еще пахнуть, коли это вино?.. Ты что же, снова нашкодил?

— Понимаете, если запах слишком спльный, придется вино немного разбавить!

— Ах ты, чертенок! Недаром твоя мать так тебя называет! — Тетя рассмеялась.

— Как говорится: голь на выдумки хитра!.. Все останутся довольны! Как, правильно я сделал, почтенная родственница?

Видя, что старуху ему сломить не удалось, юноша добавил:

— Может быть, сыграем после завтрака? Хочется мне выиграть чоха три-четыре. Куплю на выигрыш разных сладостей — полакомлюсь вдосталь! Так как же, приходить?

— Вот бесенок! Так и быть, приходи — приму!

В предчувствии игры старуха забыла и о свекрови, и о ее буркалах величиной с финик.

Мать облегченно вздохнула. Она была очень благодарна Фухаю.

После девяти в доме появились какие-то тетушки и бабушки, которых Фухай пригласил по случаю моего торжественного дня. Озабоченная сестренка встречала каждую гостью церемонным поклоном и потчевала чаем. Ее лицо раскраснелось, на кончике носа выступили капельки пота. Она не говорила ни слова и лишь, когда надо, улыбалась. За ее усердие Фухай прозвал ее «маленькой прислужницей».

Тетя поторопила Фухая. Ей не терпелось сесть за карты.

— Все в порядке! — наконец крикнул юноша.

Это означало, что бобы с маринованной травкой уже готовы, мясо, приправленное острой соей, поджарилось, а вино до такой степени разбавлено водой, что, выпив даже тысячу чарок, гость нисколько от него не опьянеет. Стол, конечно, изысканностью не отличался, но это никак не должно отразиться на ритуале застолья, который следует провести без сучка без задоринки.

— Прошу вас, займите почетное место!

— Что вы, что вы! Я не смею!

— Пожалуйста, сядьте здесь, иначе не хватит места другим!

— Прошу рассаживаться поживее, а то все остынет!

По приказу Фухая гости быстро заняли свои места. Что-что, а приказ надо исполнять, порой даже в ущерб церемониям! Трижды

наполнили чарки — никто ни в одном глазу! Дважды сменили блюда — бобы и мясо под соусом. Пир вступил в самую ответственную фазу: появился горячий бульон. Гости сразу же забыли и о церемониях, и о том, что положено говорить в этих случаях. В комнате слышалось жадное чавканье — звук поглощаемого бульона с лапшой. Как писалось в старых романах: «Шум стоял такой, будто передвигались горы или выходило из берегов море; будто кругом рычали тигры и стонали драконы!» Лоб Фухая покрылся испариной.

— Братец, взгляни-ка, до чего же быстро они пожирают! — сказал он напарнику.— Кажется, не хватит!

В эту критическую минуту братцу пришла в голову светлая мысль:

— Разбавим водой!

— Эх ты! — Фухай тихо застонал.— Суп не вино! Если его разбавить водой, он превратится в клейстер! А ну беги! — И он вытащил деньги, которые припрятал от матери.— Живей беги к дядюшке Цзиню, скажи, чтобы он напек кунжутных лепешек — пять цзипей! Если гости к тому времени не разойдутся, полакомятся лепешками. Лети!

Как известно, в те времена в мясных лавках торговали не одним только мясом, там можно было купить лепешки — шаобины, пирожки и большущие блины — дабины.

Сообразительный братец быстро сбегал в лавку и притащил оттуда груду горячих лепешек и два блюда пирожков с начинкой из баранины и капусты. Над столом пронесся ураган, который в одно мгновение смел все кушанья со стола. В конце пиршества Фухай с напарником захотели закусить, но ничего из съестного они уже не нашли. Фухай расхохотался.

— Ну, парень, придется нам с тобой закусывать дома!

Так я и не узнал, кем мне доводится Шестой братец, но, когда я думаю о дне своего омовения, я всегда испытываю перед ним чувство некоторого стыда. Что до Фухая, то за него беспокоиться нечего. Поел он или нет, право же, какое это имело значение? Такой парень никогда не пропадет!

Время приблизилось к полудню. В ясной синеве неба, которое сейчас казалось еще прекрасней, виднелись ослепительно белые барашки облаков. Когда набегал северо-западный ветер, их легкие лучезарные скопления растягивались, превращаясь в длинную ленточку, которая, удлиняясь, делалась все тоньше и тоньше, пока не рассеивалась легким дымком в пространстве. Ветер приносил крики торговцев, продававших праздничные товары: цветы для подношения богам, веточки сосны или туи, новогодние картинки. Резкие и зычные их голоса то приближались, то вдруг

удалялись или совсем пропадали, заглушаемые разрывами хлопушек и завыванием уличных брадобреев: «А ну, кому стричься!»

Пекин готовился к Новому году, поэтому город находился в непрестанном движении: одни покупали, другие продавали, третьи находились во власти иных волнений и забот. А еще одни затихали,— затихали навек, найдя в этот день свою кончину. Повсюду раздавалось уханье барабанов и гудение сона[1]. На улице шла свадебная процессия: кто-то приурочил свадьбу к Новому году.

А в это самое время я тихонько лежал посредине кана, со всех сторон обложенный мягкой ватой, не ведая о том, что делается вокруг меня.

По слухам, зимой наш дом насквозь продувался ветром. Кан почти все время был холодный, и чай, оставленный на ночь в чашке, к утру превращался в льдинку. Но сегодня в доме большие перемены. В комнатах необыкновенно тепло. Оно исходит от небольшой печурки из белой жести, которая стоит под каном. Солнечные лучи, падая на кан, где в блаженном неведении лежу я, освещают мои красные маленькие ножки. От непривычной жары все, кто находится сейчас в комнате, испытывают во всем теле странный зуд. Особенно чешутся руки, уши, губы. В солнечных лучах, которые льются из окна, дрожат и мечутся мириады блестящих точек — пылинок. Словно крошечные, бесплотные звездочки, они порхают надо мной, а потом куда-то исчезают.

В эти дни на окнах богатых домов, принадлежавших крупным чиновникам и вельможам, можно увидеть фуцзяньские нарциссы. От больших бронзовых печей, как и от канов, разливается по всей комнате тепло, от которого распускаются стоящие в вазах алые цветы мэйхуа[2]. На столиках из красного дерева и на специальных утепленных подставках — редкостных антикварных безделушках — расправили изумрудные крылышки цикады, мерно стрекочущие в лучах солнца. На террасе развешены клетки с птицами, которые выводят звонкие рулады, обратясь к сияющему небу. В кухне повара вместе с домашней прислугой разделывают барашка, откормленного где-то во Внутренней Монголии, и дунбэйскую[3] «парчевую курочку» — фазана. Солнечные лучи, освещая перья птицы, разлетаются во все стороны многоцветным сиянием...

В нашем доме очень любили растения, но из-за постоянного отсутствия денег мы не могли купить не только куст мэйхуа, но даже нарциссы. У нас во дворе росло лишь два скрюченных фи-

---

[1] Сона — музыкальный инструмент, вид трубы.
[2] Мэйхуа — разновидность дикой сливы.
[3] Дунбэй — северо-восточные провинции Китая (Маньчжурия).

никовых дерева: одно возле каменного экрана, второе около южной стены. Все мы очень любили разных зверушек и птиц, но синегрудые птахи и дрозды нам были не по карману. Да и где взять время, чтобы зимой разводить изумрудных цикад? У нас во дворе жили одни воробьи, которые скакали с ветки на ветку, иногда садились на подоконник и с любопытством заглядывали в комнату. Они, конечно, давно уже смекнули, что я вовсе не ожидаю того мгновения, когда расцветут мэйхуа и нарциссы или когда зальется синегрудая птичка и застрекочет цикада. Пригревшись в солнечном кружке, я ожидаю гостей — моих бедолаг-родственников, которые придут поздравить меня по случаю моего омовения.

В смежной комнате на небольшом железном таганке специально для этой церемонии греется вода — особый настой из листиков полыни и веточек акации. Его аромат смешался с терпким запахом цветочного табака, который курили старухи-гостьи. Сильные запахи, разливающиеся вокруг, предвещают счастье, поэтому все с нетерпением ждут знаменитую «тетушку», которая должна пожелать мне это счастье, напомнив, что меня минуют лишения и голод, потому что я когда-нибудь стану великим человеком.

Моя тетя, обойдя по кругу комнату и бросив короткий взгляд на кан, где я лежал, остановилась у двери, ожидая Фухая, чтобы вместе с ним уйти в другую комнату и схватиться в карточной битве. О чем она думала? Желала ли мне радости в жизни или поминала недобрым словом?

Ровно в двенадцать вместе с яркими солнечными лучами и крепким морозным ветерком в доме появилась тетушка Бай, белая низенькая толстушка лет за пятьдесят, вся с головы до пят начиненная благими пожеланиями. С первого взгляда на эту шуструю женщину сразу скажешь, что она способна на многое: за день может принять не меньше десяти младенцев и все роды у нее пройдут самым лучшим образом. Тетушка Бай со всеми необычайно приветлива, но держится степенно и с достоинством, так что молодые люди с ней особенно шутить не решаются, будто знают, что она на их шутку тут же ответит, как отрежет: «Милок! Не забудь, кто тебя обмывал на третий день после твоего рождения!» Тетушка Бай одета просто, но чисто. В ее скромной и удобной одежде выделяется, пожалуй, лишь цветок граната из пурпурного шелка, который она приколола к красивой атласной ленте на шляпе.

Третьего дня меня принимала не она, а ее невестка — младшая тетушка Бай, как ее называли,— такая же, как и ее свекровь, бойкая и опрятная женщина, разве что не столь сведущая в житейских делах. Спустя некоторое время после этого дня она всем

рассказывала, что совершенно непричастна к истории, которая случилась с моей матушкой третьего дня вечером, потому нисколько не чувствует себя виноватой. Все, мол, произошло оттого, что матушка последнее время плохо питалась, а потому сильно ослабла. Правда, сама она сказать об этом моей матери не решалась. Думаю, что все же неспроста пожаловала сегодня ее свекровь — тетушка Бай, личность в те времена весьма знаменитая. Когда тетушка Бай выходила из дверей чьего-то дома, все сразу догадывались, что за этими воротами появился на свет еще один драгоценный отпрыск высокого рангом чиновника или вельможи. Ясно, что, если такая известная повитуха появилась в нашем доме, значит, она хотела загладить какую-то вину. Это было сразу же видно без всяких объяснений, по одному ее поведению. Моя матушка что-то хотела сказать гостье, но, подумав, от этой мысли отказалась. Еще не ровен час обидится и наговорит вместо благопожеланий что-нибудь неприятное, и тогда не будет у меньшого сыночка счастья в жизни. Мать промолчала.

Из тетиной комнаты получено известие, что старой женщине пришли на руки хорошие карты. Это значило, что омовение можно начинать без нее. Мать, не решаясь пойти на столь ответственный шаг, послала к старухе сестренку, которая, вернувшись, сообщила:

— Она сказала: не ждите!

Церемония омовения началась. Тетушка Бай села на кан, поджав под себя ноги. Перед ней поставили большой медный таз, наполненный горячей водой, настоянной на акации и полыни. От посуды поднималось густое облако пара. Старухи родственницы, а также все те, кто был помоложе — невестки и снохи,— приступили к «наполнению таза», то есть принялись бросать в сосуд медные монеты, сопровождая каждое свое движение словами: «Долгие лета знатному сыну! Долгие лета!..» За медяками в воду последовали орешки арахиса и несколько яиц: обычных и крашеных красной краской. Как я узнал позже, подношения и деньги (их, понятно, было не слишком много, хотя никто не считал) забрала себе тетушка Бай, к которой вся моя родня испытывала чувство большой благодарности за то, что та, пренебрегая своей славой, снизошла до нас и провела как надо мое омовение, из чего, кстати говоря, все заключили, что ее невестка все же была виновата, и виновата крупно.

Во время омовения тетушка Бай наговорила мне целую кучу добрых слов, не пропустив из своего набора ни одной фразы: «Головку обмоем, будет сиятельным князем. Животик помоем, знатными станут потомки. Яички ему прополощем, уездного должность получит. Побрызгаем грудку — начальником округа ста-

нет!» Все прониклись к тетушке еще большим почтением. Еще бы! Из таза она извлекла лишь жалкие медяки, а, несмотря на это, высказала полный словарь благих пожеланий, ничего из него не выбросив и не утаив. Редкого достоинства женщина! Правда, я так и не стал ни уездным, ни окружным начальником, и все же я испытываю к тетке Бай большую благодарность хотя бы уже за то, что она меня очень хорошо помыла, возможно, даже лучше любого уездного начальника.

После омовения тетушка Бай прогрела мне самые важные суставы и темечко лекарственной палочкой, спрессованной из имбирной и полынной крошки. Может быть, именно поэтому, дожив до преклонного возраста, я ни разу не заболел ревматизмом. Потом повитуха смочила в настое зеленого чая кусок новой синей ткани и с силой протерла мои десны — места, где должны появиться зубы. Я заревел, но мой плач (по словарю всезнающих тетушек он назывался «криком у таза») все восприняли как счастливое предзнаменование, хотя мне не очень понятно, существуют ли в природе младенцы, которые не плачут в такие минуты — кстати сказать, лишаясь тем самым своего счастья. В конце церемонии тетушка Бай трижды стукнула меня луковицей, приговаривая: «Будь умненьким! Будь шустреньким!» Ее завет впоследствии, кажется, свершился: моя голова своим умом порой действительно мало отличалась от луковицы.

После всех этих заклинаний луковицу полагалось забросить на крышу дома, а сделать это должен был отец. К счастью, отец появился вовремя. Оживление, которое вызвал его приход, трудно передать обычными словами. Все сразу бросились к нему с поздравлениями, и отцу поминутно приходилось кого-то благодарить, кому-то низко кланяться. И все же он успел бросить взгляд на кан, где лежал я, чистенький, с прилизанными волосиками на красной головке, овеянной ароматом акации и полыни. По всей видимости, я оправдал надежды отца; он остался доволен моим могучим ревом. Свое удовлетворение отец выразил тем, что протянул тетушке Бай больше двух чохов монет, которые он выпул из своего кошеля.

Радость отца понять нетрудно. Моя мать до меня родила двух мальчиков, но оба они так и не выжили. Первого назвали девичьим именем Хэйню — Чернушка — и даже прокололи ему мочки ушей иголкой. По народным поверьям девочка обычно дольше живет, видимо, оттого, что она низкой породы. Однако мой братец прожил недолго. Потом родился второй мальчик. Говорят, что как-то в канун Нового года мать, съев пельмени, вышла за дверь и крикнула: «Черненький! Беленький! Садитесь на кан, съешьте пельменьчик!» Появился на свет Беленький. Малыш

с таким странным происхождением за свою жизнь успел съесть самую маленькую порцию пельменей и навсегда нас покинул. По какой причине он ушел от нас, я не знаю, но все, что я здесь рассказал,— истинная правда. Помнится, когда в детстве я не мог угомониться перед сном, мать рассказывала мне историю о том, как она звала Черненького и Беленького, и тогда я сразу же накрывался с головой и прикидывался спящим, потому что очень боялся, что меня увидят мои братцы.

Внешность отца я описать не могу, так как он умер до того, как я стал разбираться во внешнем облике людей. Значит, об этом можно особенно и не распространяться. Скажу лишь, что он был знаменным солдатом «без бороды и с желтым лицом» — такую надпись, выжженную на деревянной дощечке, прикрепленной к поясу отца, я видел, когда он отправлялся на дежурство в Императорский город. Мне тогда было лет восемь-девять.

Даже в самом прекрасном явлении, как известно, можно всегда найти недостаток. Так случилось и в церемонии моего омовения: старшая сестра к нам не пришла; Шестому братцу не сподобилось сытно поесть; тетка не «бросила деньги в таз», а вместо этого занялась картежной игрой и выиграла несколько чохов. И все же я могу сказать, что омовение в целом прошло вполне успешно. Кажется, никто не обиделся, и дело обошлось без пьяных ссор, за что я очень благодарен Фухаю, который разбавил вино водицей. Но вот если бы меня спросили, кто, на мой взгляд, больше всего заслуживает упоминания в тогдашней истории, я ответил бы — старый Ван, хозяин лавки «Торговая удача», который не просто пришел ко мне, но и принес в подарок свиные ножки!

Лавочник Ван, уроженец Цзяодуна[1], ко дню моего омовения прожил в Пекине не меньше шестидесяти лет. Он приехал в столицу восьмилетним мальчуганом, долго ходил в учениках, обучаясь искусству приготовления свиных ножек и фаршированной утки. Постепенно он дослужился до старшего приказчика, потом стал хозяином заведения, в котором продавал товар на вынос. Свою собственную мясную лавку он собирался открыть еще тогда, когда ему исполнилось тридцать, потому что в этом возрасте, как известно, наступает становление[2]. Мечтал он развернуть свое торговое дело широко и как надо, но, хорошенько прикинув, скоро понял, что торговля в небольшой мясной лавчонке — занятие ненадежное. Эти лавки постоянно открывались, но и быстро разо-

[1] Цзяодун — район в провинции Шаньдун.
[2] Слова Конфуция: «Мне было тридцать, когда я установился».

рялись Наступили такие времена, что даже его хозяева, владельцы ряда «Торговая удача», вынуждены были прикрыть дорогое ресторанное заведение, где продавали вино и утку по-пекински. Ван заметил, что старых покупателей мяса, особенно из числа знаменных людей, становится все меньше и меньше. И тут пришла в его голову мысль: а что, если разделывать мясо как-то по-иному, не так, как прежде? Скажем, резать его на тонкие, как полоски бумаги, ломтики, но так, чтобы куски казались бы крупными. Теперешний покупатель хочет видеть товар покрупнее, а весом поменьше, потому что сейчас он покупает мяса всего на сто, от силы — двести медяков, то есть на одну-две большие деньги (в те времена в Пекине сто медяков равнялись большой деньге, а десять денег составляли одну связку монет, или чох).

Старый Ван на своем цзяодунском наречии, которым он разбавлял наш пекинский говор, часто с возмущением говорил:

— И куда только уходят деньги? Куда они деваются?

В те времена такие люди, как лавочник Ван, не могли себе позволить одеваться, как им заблагорассудится, поэтому Ван купил себе первый атласный халат на бараньем меху, кстати сказать, видавший виды, лишь ко дню своего шестидесятилетия. Всякий раз, одевая обновку, он сверху накидывал синий домотканый балахон, который после каждой стирки превращался в железную броню. Лавочник очень любил свой балахон, однако, к его огорчению, ткань, из которой он был сшит, скоро исчезла из продажи, и, как старик ее ни искал, найти так и не смог, поэтому в конце концов ему пришлось купить «бамбуковку», которая при каждом движении издавала странный хруст. «Бамбуковый» балахон, отличавшийся весьма необычным звуком и цветом, пришелся не по вкусу местным псам, равно уличным дворнягам и домашним собакам, которые выражали свой протест истошным лаем. Спустя некоторое время, когда все пекинцы, от мала до велика, стали носить одежду из заморской ткани, собаки постепенно смирились с новшеством и лаять перестали, наверное, одежда из «бамбуковки» им тоже стала казаться обычной.

В жизни старого Вана бывали дни, когда он, вооружившись кошелем, обходил своих должников. Он шел по улице, внимательно смотря по сторонам. Эх! Почти все новые лавки на своих вывесках имели слово «заморский»: «Заморские товары», «Заморский табак». В мелких лавчонках предлагали «заморскую» бумагу и «заморское» масло. В тех торговых заведениях, где обычно продавались женские украшения, мыло («Лебединое» и «Дворцовое»), благовония и свечи,— даже в этих лавках, от которых веяло стариной и сам образ которых заставлял вспоминать древность, лежали теперь «заморские» пудра, сода и крем. Пекинские

старьевщики, собирая в хутунах[1] рваную обувь и обрывки бумаги, в свое время кричали:

— Меняем старье на «головастые» чиркалки!

Теперь они предлагали:

— Меняем старье на заморские спички!

Когда Ван слышал их голоса, он сразу же вытаскивал свое старое огниво и принимался высекать искру, чтобы зажечь табак в гуаньдунской трубке, немало повидавшей на своем веку. Только какой в этом прок? Разве старое огниво остановит поток иностранных товаров: все эти заграничные шелка и холсты, спички и пудру, ручные и настенные часы, «заморское» оружие? Однако Ван на то и торговец, чтобы знать цену деньгам. Он всегда умел держать нос по ветру. Он, правда, не мог открыть свою собственную лавку, в которой продавалась бы заморская свинина, однако, торгуя жареными курами и мясом под соей, он попутно приторговывал «заморским» маслом и какими-то иностранными снадобьями. Понятно, если бы он торговал один, весь барыш доставался бы только ему. Но он должен был зарабатывать деньги и для хозяина торгового ряда. Ясно, что часть барыша в этом случае уплывала «за море», потому что на товарах красовалось слово «заморский». Старый Ван ничего не мог с этим поделать!

— Куда только уходят деньги? — задавал вопрос старый Ван. В конце концов он, кажется, получил на него ответ, так как отказался вести собственную торговлю, потеряв всякую надежду разбогатеть. Наверное, поэтому он все больше и больше ненавидел «заморское», хотя, увы, его собственная одежда шилась из заграничной ткани и к тому же заграничной иглой и ниткой. И все же старик не хотел с этим мириться и порой с воодушевлением заявлял, что все эти чужеземные штучки стоят у него поперек горла. Особенно остро он невзлюбил все иностранное, узнав, что на его родине, в Цзяодуне, начались беспорядки и религиозные суды[2], после чего иностранцы и их местные холуи крепко уселись на шею землякам.

Когда он впервые приехал в Пекин, все, что он видел и слышал вокруг, казалось ему непривычным и вызывало противодействие: одежда знаменных людей, их поведение и церемонии, даже манера говорить. Лавочник Ван никак не мог, например, уразуметь их привычку привередливо выбирать в его лавке товар (будто у них каждый день праздник) и постоянно устраивать изысканные пиршества, даже если им приходилось залезать

---

[1] Хутун — переулок.

[2] Имеются в виду суды над теми, кто выступал против западных миссионеров и «заморской» веры.

в долги. Еще более страшным казался ему обычай держать певчих птиц и повсюду расхаживать с клеткой. И походка какая-то чудная — вразвалочку, словно человек плывет по воздуху, как небожитель. Но когда Вану исполнилось тридцать, он сам полюбил птиц и даже стал делиться со знаменными людьми своим опытом их разведения. О певчих птицах он мог сейчас говорить не только с воодушевлением, но и с большим знанием дела!

Когда к нему приходил кто-то из наших знаменных, лавочник приветствовал его особым поклоном, который он изобрел сам. Если у него покупали мясо, даже полцзиня, он с доброжелательной предупредительностью говорил покупателю: «Возьми вот эту курочку, она пожирнее!» А заметив колебание гостя, услужливо добавлял: «Берите, берите! Я запишу на ваш счет!»

Иногда на лавочника находила хворь: головная боль и жар. В дни болезни его непременно навещали друзья птицеловы, приносившие ему таблетки, очищающие тело от болезни. Иногда прибегали местные мальчишки, которых послала его мать, чтобы передать через них слова участия. Теперь его уже никто не звал «Маленьким шаньдунцем», а величали Старшим братом Ваном, Дядюшкой Ваном или даже Хозяином Ваном. Со временем все эти люди стали его друзьями, и он забыл, что они маньчжуры. Когда приходила пора собирать долги, лавочник Ван испытывал некоторое смущение. Зато, прослышав, что у кого-то свадьба или где-то исполнился месяц младенцу, он спешил туда с поздравлениями и непременно приносил гостинец.

— Общее дело пускай остается общим, а личное — личным! — объяснял он. По всей видимости, он думал, что отношение маньчжурских властей к китайцам — это их дело, а дружба между людьми — это совсем другое, и первое не должно мешать второму, потому что люди не могут обойтись друг без друга. Вот почему он с удовольствием ходил к нам в гости, вел задушевные разговоры и даже позволял себе играть с ребятишками «в верблюда». Иногда во время беседы кто-то из знаменных жаловался, что маньчжурское начальство то и дело урезает пособие, а жалованье, мол, стало совсем никудышным, повсюду царят взяточничество и вымогательство, направо и налево торгуют должностями. Лавочник поддакивал и рассказывал о тех обидах, которые испытывают от властей китайцы, не забывая при этом помянуть недобрым словом иностранцев, а вместе с ними все их «заморские» товары. Собеседники хорошо понимали друг друга и после каждого такого разговора проникались еще большей симпатией.

Дядюшка Ван пришел поздравить нас по случаю моего омовения и принес в подарок пару свиных ножек. Фухай предложил старику пройти в дом, но тот заупрямился.

— Много всяких дел, ведь Новый год на носу.

— Сейчас у всех как-то туго с деньгами ..— проговорил Фухай, поняв это замечание по-своему.— Вы бы...

— Ясно, что туго, а платить все-таки надо, ничего не поделаешь! Общее — общим, а личное — личным! — вздохнул лавочник и поспешил к выходу.

Наш рыжий пес побежал следом за ним, сопровождая старика до самых дверей его лавки, наверное потому, что от одежды лавочника исходил запах мяса под соей. Иначе чего ему еще бежать?

5

Старого Вана я не смогу забыть вовсе не потому, что лавочник подарил нам свиные ножки, а потому, что был он не маньчжуром, а китайцем — ханьцем Сейчас я все объясню.

В те годы некоторые домовладельцы-китайцы ни за что не хотели сдавать дома маньчжурам или мусульманам — пусть, мол, помещения лучше пустуют. Однако, кроме этих китайцев, рядом с нами жили и другие, например те, кто в свое время приехал в Пекин из провинций Шаньдун или Шаньси и зарабатывал сейчас себе на чашку риса тяжелым трудом. У нас, бедняков-знаменных, установились с ними прекрасные отношения, как с самыми близкими друзьями. Понятно, что были также маньчжуры — люди, как правило, богатые, с положением,— которые презирали китайцев и мусульман и с большим неодобрением смотрели на наши близкие отношения с ними. Словом, каждый думал по-своему, но только разве кто-то вправе мешать дружбе между людьми?

Через несколько дней после церемонии моего омовения должен был наступить Новый год, в связи с чем тетя заранее выразила свое недовольство. К празднику ей нужно купить много подарков, что раньше обычно делала наша мать, а та до сих пор не встает после родов. Брови тетки грозно насуплены, а на шее бьется нервная жилка. К счастью, сейчас дома отец, и тетке неудобно проявлять свое недовольство. Сестренка давно уже поняла, что вулкан вот-вот может взорваться, и побежала к отцу за советом. Родитель принял решение: дочка поможет тете купить новогодние подарки. Сестренке хорошо известно, что это дело весьма канительное, но отказаться от поручения нельзя.

— Так вот, полцзиня крепкого уксуса! Купишь его в лавке у шаньсийца, а в мясную можешь не заходить... знаю, что туфли свои бережешь... Слышала? — Тетины наставления длились долго, но вот наступил момент, когда она с большой неохотой отдала

деньги племяннице. У сестренки к должности «прислужницы» прибавилась еще одна обязанность — закупщицы товаров.

Уксус куплен, но отдохнуть не пришлось.

— Отправляйся за кунжутным маслом, да смотри в оба, чтобы оно было обязательно из тонко протертых семечек. Уразумела? — последовало новое распоряжение.

Тетя обычно покупала товары по частям, так как очень не любила отдавать большую сумму денег сразу. Выдавала она их небольшими порциями на каждую покупку, наверняка считая, что так будет экономнее. Сестренка проявила большое терпение и сделала все, что приказала ей тетка. Нет, она совсем не боялась трудностей, только ей немножко было жалко свои туфельки.

Иной раз надо было купить кое-что из дорогих товаров, и тогда тетя выступала в поход сама, не желая выдавать своей племяннице много денег на руки. Но больше всего старая женщина боялась, что девочка узнает, какие дорогие вещи она себе позволяет покупать. Убедившись, что во дворике никого нет, тетка, крадучись, выскользнула за ворота, словно рыба из сети. На улице у нее возникло острое желание купить все, что она увидела в лавках, но она воздержалась от покупок, так как товары показались ей слишком дорогими. Она протискивалась сквозь толпу, поминутно приценяясь, чтобы не попасть впросак. Побродив часа два или три, она решила вернуться домой, так ничего и не купив. И все же приобрести что-то надо, ведь скоро Новый год! Тетя снова отправилась за покупками, но уже в сопровождении племянницы, которая несла корзину с какими-то склянками. В этот раз трезвый расчет покинул старуху. На одном лотке она присмотрела себе товар и тут же его купила, хотя он оказался совсем не дешевым. Тетя очень не любила, если кто-то говорил ей, что она переплатила за покупку, поэтому сестренка промолчала и сообщила об этом нашей матушке лишь под большим секретом. Приложив губы к уху матери, она рассказала ей, что произошло, прикрывая то и дело рот рукой, чтобы не расхохотаться.

Новый год мы встретили скромно. Мать все еще не вставала, поэтому все заботы по дому легли на плечи отца и сестренки, которая, как известно, исполняла обязанности закупщицы товаров. Надо сказать, что, хотя мой отец и принадлежал к кругу маньчжурских знаменных, он был начисто лишен надменности и гонора, присущих касте военных. Судя по всему, эти качества в нашей семье совершенно исчезли. Наверное, поэтому отцу так и не довелось водрузить себе на голову чиновничью шляпу с шариком или украсить одежду парадными перьями. Мне кажется, если бы отцу дали волю, он, подобно Чжэнчэню, стал бы разводить птиц, сидеть в чайных, покупать (разумеется, в долг) жареную курицу

и с удовольствием распевать две-три арии из опер. Наши предки давным-давно продали те двадцать-тридцать му земли, что мы имели за городом и где поднимались несколько холмиков — могилы наших предков. В свое время власти дали нашей семье дом, но дед его заложил, а потом и вовсе умудрился продать. Деньги от продажи дома пошли на жареных уток.

Рассказывают, что моя прабабушка когда-то давно выезжала с крупным маньчжурским вельможей в провинцию Юньнань. В ее обязанность входило подсаживать супругу сановника в паланкин, набивать кальян табаком и подливать в чашечку чай — о чем, кстати говоря, в нашей семье старались не упоминать, но зато охотно рассказывали, что сановник в дальних краях добыл много-много серебра, правда, сколько точно, никто с уверенностью сказать не мог. А еще рассказывали, что дом, в котором мы жили, куплен именно прабабушкой. Таким образом, платить аренду за жилье нам было не нужно (единственное, над чем отцу не приходилось ломать голову), но хлопот по дому хватало, особенно в июне — июле, когда в Пекине начинались ливни. После каждого сильного дождя часть стены на дворе, сложенной из дробленого кирпича, непременно обрушивалась, иногда даже сразу в нескольких местах.

Мой отец не имел в своей жизни особых пристрастий. Он не курил, не играл в азартные игры. Лишь одно себе позволял: выпить чарку-другую по случаю праздника. Но стоило ему пригубить немного вина — даже чарку не успевал поставить на стол,— как лицо его багровело и приобретало цвет перезревшего финика. Впрочем, у него, кажется, все-таки была одна страсть — увлечение цветами. С наступлением лета он покупал по самой дешевой цене пятицветные мэйхуа, на которые наши родственники обычно даже не смотрели. А еще он любил цветы под названием травяной жасмин и заморская конопля, которые не требовали никакой поливки. Они росли как бы сами собой и в один прекрасный момент вдруг расцветали.

В назначенный час отец шел на службу, а когда кончались дела, сразу же возвращался домой. Помнится, отец почти ничего не читал, поскольку в грамоте был несилен, поэтому книги в доме отсутствовали. Зато у нас была картина под названием «Ван Сичжи и гуси» [1], которой отец любовался лишь в Новый год, когда она вывешивалась на стене. Но уже на девятнадцатый день первой луны картина снова убиралась в сундук. Словом, отец ходил на службу, возвращался домой, иногда колол дрова или чистил чан для воды, а порой любовался пятицветными мэйхуа. Во время

[1] Ван Сичжи (321—379) — знаменитый каллиграф.

разговора он всегда проявлял доброжелательную внимательность к людям и охотно отвечал на все вопросы, когда к нему обращались, или, наоборот, молчал улыбаясь, если его ни о чем не спрашивали, и мог промолчать чуть не полный день. Отец знал цену вежливости, поэтому на улице держался с достоинством, не стрелял глазами по сторонам, не торопился поклониться кому-то, но ждал, когда его окликнут. Когда мать просила его навестить родственников, он выполнял поручение с удовольствием, но возвращался домой очень быстро.

— Почему так скоро? — удивлялась мать, а отец, улыбнувшись, принимался метелочкой, сделанной из тряпок, сметать пыль с сапог.

Мне кажется, что за всю свою жизнь он не только ни с кем не подрался, но даже не поссорился. Он отличался редким прямодушием, правда, никто этим не пользовался, чтобы отца не обидеть. Как-никак он ведь знаменный солдат, и у него на поясе висит служебная бирка.

Когда мне было лет десять, а может, побольше, я часто допытывался у матери:

— Матушка, а какой все же наш отец?

Если мать находилась в хорошем настроении, она перечисляла все достоинства отца, после чего мне казалось, что отец, хотя и военный, но все же какой-то чудной...

Итак, отец зашвырнул на крышу луковицу, которой меня трижды стукнули по голове, и, по всей видимости, получил от этого большое удовольствие, так как сразу же заулыбался и не переставал улыбаться, когда вешал на стену картину и когда разговаривал с гостями. Едва ли не у каждого родственника он спрашивал:

— Как же нам все-таки назвать нашего мальчика?

Он снова и снова возвращался к этому вопросу, пока в канун новогоднего торжества, когда перед таблицами предков вспыхнули ритуальные деньги [1], окончательно не определилось мое официальное имя Чаншунь — Постоянная Удача. Почетного прозвания мне тогда не определили, а вот детское имя дали: Туцзы — Лысок.

Новогодних подарков отец покупать не стал, потому что в доме не оказалось денег, однако о богах он все же позаботился: низко поклонился бумажным изображениям Цзаована и бога бо-

[1] Особые бумажные деньги, предназначавшиеся для жертвоприношений во время различных обрядов.

гатства Цайшэня, воскурил благовония и поставил красные свечи, после чего разложил перед ними пять тарелочек с плохо пропеченными «лунными пряниками». Еще он сварил новогодний рис, который положил в небольшую миску, украсив кушанье спелыми финиками и плоскими ломтиками хурмы, чтобы оно выглядело по-праздничному. Потом он сверху воткнул сосновую веточку с развешанными на ней крохотными изображениями серебряных слитков, склеенных из бумаги. Радость, которая переполняла его, он выразил в простых словах:

— Поедим мы сами или нет — это неважно. Главное, не обидеть богов! Ведь они принесли нам мальчонку — последыша!

В канун Нового года мы с матушкой уснули рано, будто ни ее, ни меня праздник нисколько не интересовал. Сестренка помогала тете стряпать новогодние блюда, а старая женщина, недовольная мной, то и дело ворчала:

— Лысый разбойник! Появился на свет ни раньше, ни позже — аккурат в самый праздник! Сколько хлопот всем доставил!

Когда ее ворчание перешло все границы приличия, появился отец.

— Сестрица! Давай я тебе помогу! — улыбнулся он.

— Это ты? Тоже помощник нашелся! — Тетя оглядела его со всех сторон, будто раньше никогда не видела.— На что ты способен? Пошевели-ка мозгами!

Отец улыбался, думая о чем-то своем, а потом, сделав низкий поклон, словно перед начальником, удалился.

Треск петард и разрывы хлопушек участились и стали громче. Из переулков донесся стук ножей, которыми рубили фарш для пельменей. Все эти звуки, слившиеся вместе, создавали невообразимый шум, будто где-то неподалеку скакал табун лошадей или бушевал грозный поток. Время от времени раздавалось громкое тарахтенье: «Трах! Трах!..» Возникая сразу в разных местах, оно заглушало все остальные звуки. Это кредиторы колотили железными кольцами в двери должников. Они били с ожесточением, словно намереваясь разбить двери вдребезги. Жуткие звуки приводили всех в трепет, и даже самые отважные псы дрожали от страха, боясь лишний раз тявкнуть. Вслед за грохотом дверных колец следовали злобная ругань, униженные просьбы, а чаще всего женский и детский плач. Случалось и так, что в такой праздничный вечер, когда боги спускаются в мир людей, а землю окутывают благовещие облака, какой-нибудь совестливый хозяин дома, не выдержав страшных звуков у ворот, тихонько уходил к городской стене или еще подальше — за город — и там кончал все свои счеты с жизнью.

В этот вечер отцу пришлось лепить пельмени одному, поэтому

он был очень взволнован — ведь надо угодить богам! В нашем доме пельмени из-за экономии обычно делались без свинины, лишь с овощной начинкой, что стало со временем вроде традиции. И все же ради богов надобно проявить старание. Пельмени должны быть небольшие и иметь по краям замысловатый узор. Надо их сделать красивыми и прочными, чтобы они раньше времени не развалились, потому что, если они в воде расползутся, все посчитают это за дурной знак. Вот отчего и волновался отец. Но пельмени, как на грех, у него не получались. Один похож на лодочку, второй — на мышь. Как отец ни старался, пельмени все же расползлись — «разинули рот»! По всей видимости, сказалось не только отсутствие мастерства, но и беспокойство, которым сейчас была охвачена его душа. Отец думал о старшей дочери. Как она там? Понятно, мы и сами едва сводили концы с концами, считая каждый медяк, чтобы в канун трех праздников [1] не слышать стук дверного кольца. А в ее доме? Ведь свекор со свекровью, как и сам ее муж, Дофу, знают только одно: брать в долг, не думая, что рано или поздно придется отдавать. Что только за люди! Пообещай им Белую пагоду в Бэйхае [2], они, не задумываясь, возьмут и ее, не соображая, что делать с ней дальше. «Как они все же отпразднуют Новый год? Как выкрутятся?» Отец терялся в догадках. Тревожные мысли не выходили у него из головы.

Резкий стук кольца в соседскую дверь разбудил мою мать. Но может быть, она вовсе и не спала, а тоже думала о старшей дочке, только сейчас у нее не хватало сил, чтобы поделиться своими тревогами с отцом.

— Поспал бы! — только и сказала она отцу.

Отец удивился: кто же спит в новогоднюю ночь? По давно заведенному порядку, который, наверное, существовал уже много поколений в нашей семье, спать в канун Нового года не полагалось. Поэтому отец лишь хмыкнул, продолжая лепить пельмени. В один пельмень он положил маленькую, до блеска начищенную монетку, которая должна достаться тому, у кого счастливая судьба. Если счастливчик проглотит ее, целый год ему будет сопутствовать удача! Отец твердо решил, что в эту ночь он будет непременно бодрствовать, как солдат на часах, чтобы все время горел огонь в лампах, тлели благовония перед Буддой и чтобы не остывала печурка. Ведь у него теперь есть сын — его надежда

[1] Имеются в виду праздники Начала лета (Дуаньу), Середины осени (Чжунцю) и праздник Весны, или Новый год (Чуньцзе).

[2] Бэйхай («Северное море») — известный пекинский парк, примыкавший к императорскому дворцу. Центральным сооружением его является огромная белая пагода — Байтасы, которая стоит на вершине холма.

в жизни! Поэтому огни в светильниках должны гореть как можно ярче, выражая дух торжества и радости.

Отец принес в комнату большой глиняный таз, чтобы сливать в него грязную воду. После «пятидневного срока» [1] таз обязательно полагалось опростать за воротами дома. Потом он достал «государев численник», по которому следовало проверить правильное местоположение богов счастья и богатства, дабы завтра, выходя из дома, все могли видеть их изображения перед собой. Отец испытывал большую радость. Ему казалось, что при разумной трате денег и некоторой экономии, имея к тому же поддержку богов, можно обрести полное довольство в жизни. Круглый год у семьи будет благополучие!

В полночь треск петард участился — наступил час жертвоприношений богам. Лицо отца озарилось улыбкой. Отец слабо представлял, где, скажем, находится Англия или провинция Юньнань: на западе или на востоке? Граничит ли Англия с Америкой или она находится где-то рядом с Юньнанью? Надо сказать, это его нисколько не беспокоило. Но зато он всегда радовался, когда в Пекине трещали хлопушки и петарды. В этом случае он знал, что в Поднебесной царит спокойствие.

В комнате появилась сестренка с двумя пряниками, выпеченными еще к празднику двух девяток [2]. Ее губы дрожали, а в глазах стояли слезы. Сколько дней она помогала тете, а взамен не получила от нее ни монетки, только эти черствые пряники, пролежавшие в теткиной комнате с осени до Нового года. Оскорбленная до глубины души, сестренка решила выбросить подарок, но отец ее остановил:

— Выбрасывать не годится, дочка! — и положил пряники на стол.

Всем своим видом и запахом тетин дар намекал на стародавние времена.

— Не плачь, дочка! Не плачь! Не к добру это! — Он достал из кармана несколько медных монет.— На, возьми! Если придет Сяо Ли, купи у него засахаренных бобов! Вот и полакомишься!

Отец знал, что нынешней ночью Сяо Ли будет торговать до самого рассвета и все окрестные ребятишки, которым не по карману дорогие сладости, станут его непременно ждать.

Сяо Ли появился на улице скоро. Сестренка собралась уже бежать, как вдруг дверь в комнату отворилась и в ней показалась тетя.

---

[1] В пятый день января заканчивалось празднование Нового года (праздник Весны).

[2] Осенний праздник, отмечающийся в девятый день девятой луны, обычно связывался с окончанием сельскохозяйственных работ.

— Племянница! Я тебе дала их... чтобы ты накормила собаку. Поди-ка сюда! Ну иди же, иди! — Тетя сунула в руку девочки новенькую красную ассигнацию и с шумом захлопнула дверь. Сестренка убежала и скоро вернулась, неся пакетик сладких бобов с финиками и две палочки с засахаренными фруктами — танхулу.

— Тетя! — крикнула она.— Возьми одну палочку! Смотри, какие белые яблочки!

— Я сплю! — послышалось из тетиной комнаты.— Увидимся в будущем году!

«Если у сестры так закончится старый год, будущий с самого начала может оказаться для нас несчастливым!» — подумал отец. Он подошел к тетиной двери.

— Сестрица! — В его голосе слышалась растерянность.— Может, сыграешь с нами?.. Я и дочка...

— А деньги у вас есть? — послышался вопрос.

— Сыграем на «железные» бобы!

За дверью раздался смешок, а потом «пфу!» — это тетя погасила лампу. Отец вернулся на место.

— Главное, я ее рассмешил! — тихо сказал он.— Может быть, завтра ничего дурного и не случится!

Отец и дочь уселись рядышком и принялись за сладости.

— Хорошо, если бы шестого к нам пришла сестрица! — сказала девочка.

— Верно, хорошо!

— А что мы для нее приготовим?.. Свекор со свекровью вон как едят, а ей ничего не достается!

Отец промолчал. Ему тоже хотелось вкусно накормить свою дочь, да вот только...

— А когда братцу исполнится месяц, надо...— Сестренка вдруг замолчала.

Отец в свое время мечтал, что семья отпразднует Новый год хоть и скромно, но весело, однако уже сейчас видно, что веселья не получится.

Отец не смел сомневаться в вечности и несокрушимости Дайцинской империи. Но одно дело императорский трон, который, возможно, простоит еще тысячи и тысячи лет, а другое — служба в знаменных частях. Сумеет ли его сын получить должность в войсках? Рождение наследника — самая большая радость, но порой случается, что оно приносит и большое горе!

— А мой братец вроде как подрос! — проговорила сестренка, обсасывая боб. Ей хотелось сказать что-то приятное, чтобы хоть немного развеселить отца.— Наверное, он станет офицером в ка-

валерии, как муж сестрицы, и у него будет шляпа с шариком пятого ранга!

— Ну а потом? — Голос отца звучал безрадостно.

— А если из него не получится офицера... тогда он, прочитав много-много книг, сдаст экзамен и получит степень цзиньши [1]!

— А кто будет платить за учебу? — Лицо отца оставалось хмурым.

— Коли так, пускай учится какому-нибудь ремеслу! Как наш Фухай! — Сестренка задумалась: «Интересно, почему у меня в голове нынче так много мыслей? Не иначе от засахаренных бобов!»

— У нас, у знаменных, это не принято! Если можно ничему не учиться, значит, не учись!

Они проговорили часов до трех ночи, однако к единому выводу о моем будущем так и не пришли. После того как сестренка, съев обе палочки танхулу, уснула, отец вытащил комплект игральных костей, «тигроголовок»,— правда, в комплекте не хватало одной костяшки — и принялся гадать. Какова будет судьба у его сына?

Первым гостем в новом году оказался, конечно, Фухай. Не успел он совершить положенные поклоны, отец тут же стал ему объяснять, что семье будет очень трудно отметить месяц со дня моего рождения.

— А вы так и скажите, что никакого праздника, мол, не предвидится! — предложил Фухай.— Во время новогодних визитов так всем и сообщите.

Отец сидел на краю кана с чашкой чая в руке. Слова юноши заставили его задуматься и надолго замолчать. Отец понимал, что совет племянника дельный, но выполнить его нелегко — неудобно перед родившимся сынишкой! Ведь сын — это счастливое продолжение рода. Как же не отметить этот торжественный праздник?

— Объясните одному родственнику, потом второму... и все будет в порядке! Только, думаю, все равно кто-нибудь заявится. Разве их остановишь? — Фухай засмеялся.— У нас, у знаменных, это принято... Ну и пускай приходят! Если вы заранее уведомите всех, что никакого торжества не будет, любителям ходить в гости нечем будет крыть! На худой конец отделаемся чаем. И никто не придерется!

— Пустым чаем встречать вроде как-то неудобно! — Отец нахмурился.

— В крайнем случае что-нибудь купим, чтобы не придирались! ...Главное, отметить праздник малыша!

— Правильно! — Отец кивнул, и лицо его озарилось улыбкой.— Ты неплохо придумал! — Он обрадовался так, будто за

[1] Одна из трех ученых степеней в старом Китае, присваивалась после успешной сдачи экзаменов в столице.

предстоящие угощения, даже самые ничтожные, ему не придется платить.

— А ну, дочка, доставай мой парадный костюм!.. Фухай! Так я пошел с новогодними визитами!

— К чему такая спешка?

— Чем раньше всех предупрежу, тем спокойнее станет на душе!

Сестренка нашла отцовское парадное платье: атласную куртку и штаны цвета красного финика. Отцовский наряд был на два года старше моей сестры, однако он не производил впечатления слишком ветхого, наверное потому, что его доставали только по случаю Нового года или какого-то другого торжественного праздника.

Старшая сестра пришла к нам шестого, однако к ее приходу нам так и не удалось купить в лавке «Торговая удача» ни сладостей, ни других угощений. Может быть, поэтому во взгляде матери, безотрывно смотревшей на дочь, застыло выражение вины.

— Матушка! Прошу вас, не смотрите на меня так! Мне в самом деле ничего не хочется! — В голосе сестры слышалась мольба.— Мне только бы выспаться да чтобы ногам немного полегчало! Вот о чем я хочу просить Будду! — Ее губы дрогнули, но она не заплакала, потому что не хотела огорчать мать, рассказывая о своих бедах. К чему омрачать радость новогоднего праздника? Девятого числа сестра ушла. В момент расставания дунул порыв ветра и из глаз сестры выкатились две слезы. Но вполне вероятно, ей в глаза попала пылинка.

После шестого числа наша тетя с головой окунулась в азартные игры. Ей сильно везло, и она уже несколько раз выиграла по-крупному. Вот почему в новогодние дни настроение в нашем доме царило довольно приподнятое, хотя денег по-прежнему не хватало. Вечером в Праздник Фонарей тетя неожиданно повела сестренку любоваться огнями, а потом потащила ее в храм Хранителя города — Чэнхуана,— что находился возле Дальних ворот Пекина, посмотреть на страшных служителей бога огня, извергающих пламя из своего чрева. Все эти дни тетя проявляла к сестренке знаки большого внимания, очевидно потому, что племянница не отвергла ее подарка — двух залежавшихся пряников. Впрочем, может быть, тете хотелось просто испытать девочку: убедиться в ее послушании и скромности. Если бы сестренка отказалась от пряников, значит, устои тетиного деспотизма в нашем доме оказались бы сильно поколебленными. За этим должно было последовать наказание.

В праздники мы так и не купили ни одного рисового колобка — танъюаня. Кто знает, ведь, может быть, кто-нибудь из настырных родственников или знакомых все же придет к нам в гости по случаю моего праздника. Поэтому надо было экономить.

Как мы и предполагали, с поздравлениями пришли сразу несколько человек, и первым из них явился Дофу, мой зять и муж сестры. Он заметно осунулся. Еще бы! С первого до девятнадцатого числа у него не было ни минуты покоя: надо было побывать во всех храмах и посмотреть торжества, которые там происходят! Второго числа, раздобыв у кого-то (конечно, в долг) брусочек серебра, он отправился в храм бога богатства Цайшэня. Дофу твердо знал, что его душевная чистота принесет ему счастье и он непременно разбогатеет. В храме Белых облаков — Байюньгуань [1] — он, как полагается, стукнул медной деньгой дряхлого даоса, который сидел в нише под мостом. Потом хворостиной прошелся по хребту старой свиньи, «ожидающей освобождения» [2]. Когда ударил, подумал: «Завизжит или нет?» На торжище возле какого-то храма он купил бумажного змея и засахаренные райские яблочки, нанизанные на длинную палочку. В храме Большого колокола он хлебнул бобового настоя, после чего принял участие в гадательной лотерее и выиграл кусочек кунжутного сахара величиной с ноготь.

Возле каждого храма выступали борцы, фокусники, рассказчики сяншэна[3], актеры, исполнявшие арии под стук бамбуковых дощечек. Всем им надо было платить, хотя бы уже потому, что они называли тебя «господином богом богатства». Дофу отказался лишь от участия в лошадиных скачках, которые обычно устраивались позади храма Белых облаков, но только потому, что не имел собственной лошади. Впрочем, если бы даже он где-то ее и достал, он все равно не смог бы на нее взобраться: ведь ездить верхом кавалерист не умел. На обратном пути домой возле городских ворот Дофу нанял крупного черного осла с медным бубенчиком на шее. Животное двигалось довольно шустро, вызывая одобрение у прохожих, что, понятно, доставляло Дофу большое удовольствие. Однако в какой-то момент он недосмотрел, и осел понесся вперед, а Дофу оказался в канаве.

Три вечера подряд, с четырнадцатого по шестнадцатое, Дофу бродил по районам Дундань и Сисы [4]. Возле Барабанной башни —

---

[1] Байюньгуань — известный даосский храм в западной части Пекина.

[2] При храмах (обычно буддийских) жили птицы и животные, которых в определенные праздники отпускали на волю.

[3] Сяншэн — вид комического конферанса, в котором обычно участвуют два человека.

[4] Дундань и Сисы — районы в восточной и западной частях Пекина.

Гулоу — он созерцал фонари, сделанные в виде бычьего рога или сосульки, хлебного колоса или дракона. Потом он отправился к воротам внутреннего города, где жили вельможи — чиновники дворцовых служб, чтобы полюбоваться здесь фейерверком, после чего на его куртке из заморского шелка появилась крупная дыра.

В гости к нам он пришел главным образом для того, чтобы рассказать о том, что видел во время своих блужданий по городу,— словом, поделиться своими впечатлениями. Он стал было что-то объяснять матери и сестренке, но они разговора не поддержали, и ему пришлось обратиться ко мне.

— Расти скорей, малыш, и я свожу тебя туда, где можно будет неплохо повеселиться! Знаменные люди, как известно, ничего особенного делать не умеют, но зато по части развлечений или застолья мы большие мастера. Первые в Поднебесной! Соображаешь?

Несколько раз отец порывался спросить, как они провели Новый год, но слова застревали в горле. Неожиданно гость заговорил об этом сам. Новый год, мол, они провели отменно, так как удалось заложить договорные бумаги на дом. Отец нахмурился. Как всякий мало-мальски порядочный знаменный муж, он полагал, что каждый должен жить в своем собственном доме. Только тогда можно пустить глубокие корни в Пекине и остаться здесь навсегда. Кроме того, он знал, что даже крупные чиновники, люди с достатком, самым надежным делом считали сдавать свое жилище в аренду — «питаться черепицей», как это тогда называлось. Свекор Чжэнчэнь и Дофу имели вполне приличное жалованье. При достаточной экономии и небольшом умении вести хозяйство они давно могли бы сдать несколько комнат в доме и получать с них доход. И вдруг на тебе! Заложили все бумаги!

Заметив, что отец расстроился, Дофу принялся объяснять:

— Все будет в порядке!.. Мы же дом не продали! А бумаги мы со временем вернем обратно. Вот только получим жалованье, сразу же и выкупим! Ты не волнуйся!

— Ну ладно, ладно! — Отец вроде как бы согласился, но в душе сильно сомневался, что они когда-нибудь снова увидят бумаги.

Разговор не клеился. Не дождавшись угощений, Дофу, которому не подносили даже чарки вина, удалился.

Наконец пришел сам дядя. Его жена — дацзюма — в это время страдала от астмы, а Фухай находился на службе. Дяде предложили посидеть и закусить, от чего он отказался. И все же его короткий визит пошел нам на пользу, потому что дяде удалось успокоить нашу тетушку, которая возмущалась, что печка в доме остыла, а котел пустой. Наш дядя, обладавший, как известно, чином

цапьлина, поздравил тетку с праздником, и на ее лице сразу же появилась довольная улыбка. После ухода гостя тетя набросилась на отца с укорами:

— Почему раньше ничего не сказал! Я бы дала тебе несколько лянов!.. Ах, как неудобно получилось! В доме хоть шаром покати! Пустота и холод!

Отец виновато улыбнулся, а сам про себя подумал: «Эх ты, чудачка! Если бы я взял твои деньги, сколько попреков мне потом пришлось бы от тебя пережить!»

В том году весна в Пекин пришла рано, о чем поведали пекинские ураганы, которые за несколько дней до моего праздника дважды пронеслись над городом. Казалось, однако, что они не столько принесли весну, сколько унесли ее прочь. Надо сказать, что в те годы люди обычно не сажали деревьев, а только рубили их под корень, поэтому окрестные горы совершенно облысели и стояли обнаженные. Когда-то на нашем семейном кладбище — крохотном клочке земли — росли пять кипарисов, но уже при жизни отца о них рассказывали как о старом предании. Голые горы, поднимавшиеся к северу от Пекина, не могли преградить путь вихрям, которые прорывались со стороны далеких застав, и даже могучие городские стены, казалось, не останавливали их бешеного напора. Холодный ветер, завывая, как тысячи демонов, поднимал тучи бурого песка. Недавно чистое, небо становилось ржавым, солнечные лучи исчезали, и на землю спускался мрак. Сверху сыпался песок, а снизу вверх летели куриные перья, чесночная шелуха, комья черной земли, пропахшей лошадиной мочой и навозом. Рыжие и черные цвета, перемешавшись вместе, создавали темную пелену, которая задерживала солнечные лучи, а на том месте, где полагалось быть светилу, сквозь рыжую мглу проглядывало багровое пятно, напоминавшее сгусток крови.

Каждый новый напор ветра приносил жалобный скрип деревянных арок, сооруженных возле торговых лавок, и треск разрываемой парусины на балаганах. Откуда-то издали доносилось жалобное ржанье коней и мычанье коров. Деревья раскачивались так, что их верхушки порой касались земли. Сверху сыпались ветки, сучья, сухие стручки акации и остатки развалившихся вороньих гнезд. В воздухе кружились тучи пыли, поднявшейся сразу со всех пекинских дорог и тропинок. Прохожие, кому довелось в этот момент выйти из дому, ничего не видели вокруг в этом черном тумане. Люди напоминали рыб, боровшихся с яростным морским потоком. Одних, кто шел по ветру, бешеный вихрь подхватывал вверх, и человек устремлялся вперед, будто летел по воздуху;

других, кто двигался ветру навстречу, порывы ветра то и дело отбрасывали назад, и путник беспомощно топтался на одном месте. С головы до пят его покрывал слой пыли и песка, словно человека только что извлекли из грязной ямы. Воспаленные глаза слезились, отчего по обеим сторонам носа образовывались две влажные ленточки.

Стены лачуг, в которых жили бедняки, ходили ходуном, с крыш сыпалась черепица. Их обитателям казалось, что в любое мгновение вихрь может подхватить жилище вместе с людьми и унести прочь. Холодный ветер проникал в каждую щель, вытесняя комнатное тепло. Вода в бадьях замерзла. Стол и кан покрывались слоем дурно пахнущей пыли. Вокруг котла образовывался черный круг из пыли, а на поверхности бобового отвара, варившегося в чугуне, пузырилась серая пена.

Ветер воет где-то вверху или с яростным свистом мчится по поверхности земли. Он бьет в стены, врывается во двор и, взметнув вверх клочья бумаги, солому и листья, уносит их невесть куда. Ветер умчался, и человек облегченно вздохнул, а его охваченная страхом встревоженная душа, успокоившись, возвратилась на прежнее место. Но вот налетел новый вихрь, и снова голова пошла кругом. Все задрожало вокруг: красные стены императорского города и дворцы, покрытые позолотой. Солнце снова померкло, и Пекин превратился в страшное вместилище взбаламученной пыли и катящихся по земле камней. Но пекинский ветер боится сумерек, поэтому люди с надеждой всматриваются в небо, ожидая, когда светило, сейчас ни на что не похожее, наконец-то уйдет на покой. Под вечер непогоде действительно наступил конец, и деревья распрямились. Правда, они еще раскачиваются, но уже не сильно и будто даже с удовольствием. Дворы домов чистые, словно после самой хорошей уборки. Мусор неизвестно куда исчез, лишь обрывок бумаги случайно застрял в уголке стены. В углублениях на переплетах окна возвышаются небольшие горки мелкой сухой пыли, а на подоконнике лежит неровная дорожка рыжеватой земли, напоминающей слой песка на речной отмели, с которой только что ушла вода. Люди постепенно пришли в себя и сейчас молят небо, чтобы завтра не было ветра. Но никто точно не знает, какая погода будет завтра, потому что в те времена не существовало метеосводок с предсказаниями погоды.

Что ни говори, а судьба у меня счастливая! В тот день, когда мне исполнился месяц, ветер вдруг стих. В синем небе неизвестно откуда появилась стрелка летящих с севера диких гусей, которые нынче раньше обычного возвращались в родные края. Птиц немного, но их зычный крик заставил всех бежать во двор и радостно задрать голову кверху.

— Гляди-ка! — сказал кто-то, тыкая в небо пальцем.— Правду говорят: «Седьмого — девятого реки вскрываются, восьмого — девятого гусь возвращается!»

И тут еще кто-то заметил меж каменных ступеней в щели нежные зеленые листики душистой полыни. Сестренка сразу же заявила, что она скидывает с себя тяжелый зимний халат.

— Не снимай! — остановила ее мать.— Весна держит холод!

Вдруг раздался скрип остановившегося экипажа, и до обитателей дома донесся мужской смех, такой громкий, что, казалось, он заглушил крики летящих гусей. Все замерли в недоумении.

6

Вслед за смехом во дворе возникло многоцветное сияние, которое, разливаясь во все стороны, устремилось к нашим дверям. К нам пришел гость. Испускала лучи его шляпа из блестящего синего атласа, с ярким пурпурным узлом на макушке. Светились крупные жемчужины, прикрепленные к полям головного убора. Блестел белый с синей оторочкой пояс, завязанный сзади на спине. Сияли высокие парадные сапоги на белой подошве. Многоцветный блеск словно пригвоздил людей к месту, а потом заставил низко кланяться и говорить слова приветствия. А когда он приблизился, все увидели полное белое лицо, живые глаза под темными бровями и угольно-черные зрачки. Круглое лицо будто тоже источало свет. Хотя голос гостя звучал громко, смысла слов никто не понимал, потому что речь то и дело прерывалась смехом и восклицаниями. Его зубы сверкали белизной.

Сияние проникло в комнату и, приблизившись к кану, осветило мое лицо.

— Ха-ха-ха! Прекрасно! Прекрасно! — Гость не стал садиться на предложенный ему стул и отказался от чая. Его полная мягкая рука вытащила из-за пазухи ассигнацию достоинством в два ляна и положила возле меня. От зеленоватого кольца, украшавшего палец белой руки, тоже исходило мягкое приятное свечение.

— Прекрасно! Ха-ха-ха! — Сияние, сопровождающееся хохотком, поплыло к выходу.—Нет, нет! Не провожайте меня! Ха-ха-ха!

Заливаясь смехом, гость подошел к воротам и, продолжая смеяться, поставил ногу на ступеньку экипажа. Легонько щелкнул хлыст, и колеса пришли в движение. Хохоток постепенно слабел и совсем затих, когда экипаж выкатился из переулка. В воздухе висело облачко дорожной пыли.

Тетя выбежала из своей комнаты и опрометью бросилась к кану. Она обалдело смотрела на ассигнацию, не веря своим глазам.

— Господин Дин! Господин Дин! — воскликнула она, когда к ней подошел кто-то из родственников.— Невероятно! Откуда он узнал?

Каждому хотелось что-то сказать, но ничего путного в голову не приходило. В нашем хутуне, кажется, никогда раньше не появлялся такой нарядный экипаж. А какой подарок! Целых два ляна. «На радость и в знак уважения!» Никто из родственников никогда не держал в руках таких больших денег! Ведь на них можно устроить первоклассный обед в ресторане!

Отца грызло раскаяние.

— Подумать только! В этом году я его даже не поздравил! А он...

— Откуда он все-таки узнал, если ты к нему не ходил с новогодним визитом? — снова последовал вопрос тети.

— Не волнуйся, прошу тебя! — Мать попыталась успокоить отца.— Если он к нам пришел, значит, не гнушается. Господин Дин — человек широкой натуры!

— И все же кто ему сказал? — не успокаивалась тетя.

Не получив ответа на свой вопрос, она молча направилась в свою комнату, испытывая ко мне некоторое уважение и даже зависть, но, когда пришла к себе и разожгла трубку, принялась снова честить лысого разбойника.

Я уже рассказывал, что моя прабабушка в свое время сопровождала крупного маньчжурского сановника в Юньнань. Когда сановник вернулся назад, он привез с собой несметные богатства, которые сейчас весьма успешно разбазаривал его потомок — господин Дин Лу.

Да, его звали Дин Лу, но у него было еще несколько имен: Цзыфэн, Юйчжай, Фучэнь, Шаофу[1]. Иногда он называл себя Старцем чистого инея, хотя ему едва перевалило за двадцать. Когда Дин Лу исполнилось всего шесть годков, для него пригласили учителей — знаменитых конфуцианцев. Один обучал его маньчжурской грамоте, второй — китайскому языку и правилам стихосложения, третий разъяснял смысл канонов и истории. О том, сколь велика была его усадьба, распространяться, пожалуй, не стоит, достаточно сказать, что одна библиотека занимала помещение из шести комнат. Возле этого здания, окруженного террасой, возвышался хоть и невысокий, но видом весьма утонченный, если можно так сказать, искусственный холм, возле которого были вы-

[1] Все имена или прозвания имеют обычно добрый смысл. В данном случае: Сыны-в-изобилии, Кабинет Благополучия, Богатый Чиновник и т. д.

рыты два водоема под названием Пруд пионов и Пруд гортензий. Каждой весной по берегам пышно разрасталась благовонная полынь и заячья трава. Что до пионов и гортензий, то по распоряжению Старца их давно вырвали, потому что хозяину очень хотелось узнать, станут ли они цвести без земли.

У белой стены с восточной стороны библиотеки растет изумрудный бамбук. С другой стороны — лиловый терновник. Бамбук и терновник покамест продолжают свое существование, и возле них нередко можно видеть отпрысков из знатных маньчжурских и китайских фамилий, которые часто приходили к Дин Лу совершенствовать свои знания. Кто-то из них получил степень сюцая[1] и даже занял чиновный пост, а вот у Старца чистого инея этого не получилось, хотя он своими блистательными талаптами выделялся среди всех своих знакомых, ибо в совершенстве овладел науками, равно гражданскими и военными. Дин Лу, к примеру, мог пропеть оперу «Продажа коня» — всю от начала до конца. Любил он также каллиграфическое искусство. В минуты душевного просветления он заставлял маленького слугу растирать в громадной тушечнице тушь, дабы он смог начертать огромные иероглифы величиной по меньшей мере в три чи каждый — надписи «Счастье» и «Долголетие», которые он потом дарил своим коллегам по учению. Однако на Дин Лу порой находила хандра, и тогда он не прикасался к кисти, иногда даже не брал ее в руки несколько месяцев кряду. Не поэтому ли в написанных им знаках чувствовалась поразительная мощь? Правда, иногда в отдельных иероглифах не хватало нескольких черточек или, наоборот, появлялась лишняя точка. Но это уже другой разговор.

А еще господин Дин Лу любил слагать стихи. В минуты творческого подъема он придумывал фразу, а кто-то из друзей — его ученых коллег — должен был придумать продолжение. Дин Лу толком не научился ни маньчжурскому, ни китайскому языку, но считал (и даже твердо верил) что, стоит ему хоть чуть-чуть постараться, он преодолеет все препятствия. Но вот надо ли стараться? Он помнил — по чистой случайности — одну или две броские фразы из классических текстов и старался по любому поводу их прочитать наизусть. Вот, скажем, такая строка:

Одинокая утка
вместе с вечерней зарею парит.
Осенние воды
слились с красками неба.

«Разомкнул уста — появилось на свет целое сочинение!» — так

[1] Сюцай — первое из ученых званий, обычно присваивалось после экзаменов в уезде.

говорили в подобных случаях. Находясь в добром расположении духа, Дин Лу проявлял интерес к разным наукам и учениям. С воодушевлением он бросался знакомиться с самыми различными людьми, среди которых могли оказаться и даосы, и поклонники буддизма, и последователи других школ. Дин Лу считал себя знаменным мужем нового типа, обладающим большой культурой и широтой мышления. Он даже немного симпатизировал взглядам реформаторов Кан Ювэя и Лян Цичао [1].

Человек по своей природе довольно добрый, он дарил свое серебро только за то, что кто-то назвал его «почтенным господином». Он никогда не задумывался над тем, кто из его предков был богат больше, а кто меньше, и не интересовался, сколько оставили ему денег дед и отец. Его управляющий докладывал ему о месячном бюджете всего в одной фразе. Дин Лу никогда не опускался до того, чтобы узнать цену какой-то вещи. Если она ему приглянулась, он ее тут же покупал, сколько бы она ни стоила, потому что готов был заплатить любую сумму. С детства он привык играть золотыми и серебряными брусочками или ценными безделушками из агата и нефрита, поэтому никогда не задумывался о действительной стоимости вещей. Наверное, поэтому некоторые даосы и буддийские монахи утверждали, что у молодого барина задатки настоящего небожителя. Его натура, мол, объемлет всю природу, а душа широкая и свободная. И действительно, видя кого-то в печали или тревоге, господин Дин Лу полагал, что все несчастия этого человека идут от узости его мышления и оттого, что бедняга не может вырваться из круга своих забот.

Вряд ли Дин Лу когда-нибудь серьезно думал о том, как пришли к нему богатства. По всей видимости, не вспоминал он и своих предков со всеми их достоинствами и недостатками. С детства он одевался в шелка и привык, что за него все делают слуги. Ему казалось это вполне естественным. Он был уверен, что его блага объясняются счастливой судьбой и особым его предназначением. Понятно, он не скрывал, что он маньчжур, но своим происхождением особенно не кичился. Иногда он даже позволял легонько съязвить и высмеять некоторые недостатки знаменных. Дин Лу смутно ощущал: он принадлежит к какой-то очень редкой в истории, особой породе людей. Немного зная грамоту и умея сочинить две-три строки стихов, он считал, что в любой момент (надо только сделать над собой небольшое усилие) он может приобщиться к сонму небожителей и святых бодисатв. Ученое звание ему добыть

---

[1] Кан Ювэй (1858—1927) и Лян Цичао (1873—1929) — руководители реформистского движения в конце XIX — начале XX в., вынужденные эмигрировать из Китая после разгрома движения властями.

так и не удалось, так как платить деньги за чиновную должность он считал недостойным и глупым. Он хотел оставаться свободным, жить без забот и хлопот, вольной жизнью, как облака в небе или бегущая волна.

С нашей семьей у Дин Лу сложились довольно интересные отношения. Мы вовсе не входили в круг его челяди, хотя наша прабабушка в свое время и прислуживала в его доме. Между его дедом, отцом и нашей родней давно существовали какие-то связи, но сказать, чтобы они были тесные, нельзя, так как связи то возникали, то внезапно прерывались. Такие отношения продолжались и при Дин Лу, после того как он сделался главою семьи. Иногда мы ходили к нему с визитом, он мог принять нас, а мог не принять — все зависело от его настроения. Случалось, что в минуты душевного подъема он неожиданно возникал в нашем доме, как это случилось в тот день, когда он вдруг пришел с поздравлениями. Потом мы узнали, что его визит объяснялся тем, что у него только что родилась дочь. Как и я, она появилась на свет в последнем месяце года, только на день раньше. Вот почему Дин Лу находился в состоянии радостного возбуждения. Ему казалось, что на такой подвиг — рождение дочери — во всем мире способен лишь один человек — он сам. Наверное, как раз в это время в его имении оказался старый лавочник Ван, принесший долговые счета. Он-то и проговорился о том, что в день подношений богу очага в таком-то часу над бедным домом одного знаменного солдата засияла звезда или промчалась комета.

Лавочник Ван дружил с управляющим дома. Всякий раз, когда хозяин хотел полакомиться жареной курочкой или копченой утятиной, управляющий обращался за помощью к Вану, и тот притаскивал сразу две-три птицы, однако в счете появлялась цифра пять или шесть. Когда в конце года приходила пора оплачивать счет, Ван получал деньги за три-четыре птицы. Таким образом, оба приятеля, лавочник и управляющий, в накладе не оставались. Правда, Вана из-за такого мошенничества немного грызла совесть, но управляющий его успокаивал:

— Представь, что я за какой-то срок недодал тебе лян серебра. Как я буду отчитываться перед своим хозяином? Он сразу мне скажет: «Как ты смел при моем положении недодать ему деньги? Не бывать такому никогда!» Соображаешь? Поэтому оставь деньги при себе!.. Если бы дело касалось десяти лянов, тогда другой разговор!

После такого нравоучения угрызения совести мигом исчезали, и лавочник выписывал счет.

Как оказалось, в тот день господин Дин Лу не только оглядел меня, но и, представьте, запомнил. Да, да! Когда мне исполнилось

семь лет, а в доме еще и не думали о моем учении, к нам снова пожаловал господин Дин Лу, которого, разумеется, как и в первый раз, увлек радостный порыв. Похохотав и поохав, он повел меня в частную школу, где мне пришлось совершить поклон перед ликом Конфуция и будущим учителем. Дин Лу сделал первый взнос за мое обучение, а на следующий день в нашем доме появился его слуга, принесший три небольшие книжки, «лучшие сочинения», свернутые в трубку, брошюру под названием «Нрав благородного мужа» и кусок синей ткани в один чжан[1] длиной, назначение которой так и осталось для всех тайной: то ли в нее следовало завернуть книги, то ли сшить мне штаны и куртку.

Наша тетя и все родственники оценивали визит вельможи необычайно высоко. Что до меня, то я больше любил, когда к нам приходил дядюшка Цзинь.

В Пекине, как, впрочем, и в других местах, от маньчжурских властей больше всего, кажется, доставалось мусульманам, к которым принадлежал дядюшка Цзинь. Если судить по его наружности, то, по моему разумению, он мог вполне стать военным чжуанъюанем[2], хотя бы уже потому, что он прекрасно владел военным искусством: умел бороться в ближней дистанции, в средней применял правила бокса, а в дальней прекрасно дрался ногами. Мне казалось тогда, что его не смогли бы одолеть даже десяток самых дюжих молодцов. Вид он имел весьма представительный, одевался опрятно. В движениях был ловок и все делал легко и споро. У него было худощавое лицо с небольшой желтизной, но очень чистое и будто светящееся изнутри. Поэтому мне очень нравилось смотреть на него, особенно в пасмурную погоду. Дядюшка Цзинь содержал в порядке не только свою одежду, но и рабочее место, где резал мясо. Его стол был всегда вымыт так чисто, что на нем отчетливо проступал рисунок древесины. В лавке у него все ослепительно сияло. Когда я вырос и меня стали посылать за покупками, я с большим удовольствием шел к дядюшке Цзиню, чтобы купить у него баранину или печеных лепешек. Мне казалось тогда, что, если ему поручить управление Пекином, на улицах города сразу бы исчезла вся пыль, которая сейчас лежала слоем толщиной в три чи. При встрече с ним я его всегда упрашивал:

— Дядя Цзинь, подними меня вверх!

— Под-ни-майсь! — Дядюшка Цзинь обхватывал меня под

[1] Чжан — мера длины, равная 3,2 м.

[2] Чжуанъюань — почетный титул, присваивавшийся лучшим из цзиньши.

мышками, и я оказывался где-то вверху, чуть ли не у самого неба. После таких упражнений, которые приводили меня в состояние радостного исступления, другие удовольствия мне были уже не нужны, и, предложи мне кто-то еще взлететь вверх, я бы решительно отказался, даже если бы мне подарили за это несколько «железных» бобов.

Я не очень хорошо понимал, почему императорский двор так плохо относится к мусульманам. Например, в Пекине они могли торговать лишь бараниной, лепешками и разной ерундой. Самое большее, что допускали власти,— разрешали им открывать небольшие мечети.

— Дядюшка Цзинь! А почему ты не стал генералом? — иногда я задавал ему вопрос.

Дядя Цзинь посмотрит на меня своими блестящими черными глазами, хлопнет по голове и скажет:

— Может быть, когда-нибудь я им стану, Лысок!.. Только сейчас я пока живу, как говорится, на гроши!

Я недоумевал и пытался узнать у матери, но и она не находила подходящего ответа — даже после длительных размышлений.

— Правда, почему все-таки так получается?.. Вроде все мы одинаковые люди: мы ходим к нему, он к нам... Почему же...— думала она вслух.

Этот же вопрос я задавал и Фухаю, который испытывал к лавочнику большое почтение.

— Наверное, все получается оттого, что он другой веры,— объяснял мне Фухай.— Впрочем, магометанство такая же древняя вера, как конфуцианство, буддизм или даосизм. Все они совершенно одинаковые.

В то время эти объяснения Фухая мне были непонятны: ведь я ничего не смыслил ни в конфуцианстве, ни в буддизме. Но зато я понимал другое: Фухай, кажется, совсем не прочь водить знакомство с дядюшкой Цзинем.

В тот день, когда мне исполнился месяц, лавочник Цзинь пришел к нам около пяти часов вечера. К этому времени родственники уже кончили вспоминать родословную господина Дин Лу и обсуждать его высокие качества. Говорить было больше не о чем. Визит лавочника не вызвал такого большого волнения, как появление вельможи, который спустился к нам с самих небес. К нему отнеслись как к событию, хотя и приятному, но вполне заурядному. И верно, дядюшка Цзинь даже в разговоре мало чем отличался от нас, разве что иногда с его уст слетали немного непривычные для слуха слова. Цзинь не только хорошо понимал нашу речь, но весьма кстати и правильно употреблял разные хитрые словечки вроде «пюлу», «цзяла» или «гэгэ». К примеру, воинское звание

«цзолин» мы обычно произносили и по-китайски, и по-маньчжурски — «нюлу», а он называл этот чин только на маньчжурский лад. Может быть, именно поэтому никто не удивлялся, что лавочник живет «на гроши». Понятно, что открыто ему об этом не говорили — стеснялись. Только он над этим подсмеивался сам.

Дядюшка Цзинь пожелал мне сто лет жизни и подарил две связки монет. Ему предложили посидеть и выпить чаю, но он отказался, поскольку строго придерживался своей веры, за что мы, кстати, его очень уважали. Мусульманин и живет на гроши, а человек вполне порядочный! Когда толком не знаешь какого-то человека, его обычаи и правила поведения порой вызывают недоверие и даже неприязнь, а стоит с ним подружиться, даже к самым суровым заповедям начинаешь относиться с пониманием и одобрением.

— Дядюшка Цзинь! — сказала ему моя мать.— Я специально для тебя приготовила ту чашку с ручкой и велела, чтобы ее никто не трогал. Может, все-таки выпьешь чайку?

— Нет! — решительно отказался лавочник.— А что до чашки, то завтра я принесу свою, пусть останется у вас!

А какой у дядюшки Цзиня был голос! Особенно хорошо у него получались куплеты из музыкальной пьески под названием «Саньнян учит сына», правда, если говорить начистоту, он порой не ладил с хуцинем [1].

— Какой голос! — восхищенно говорили слушатели.— Ему бы немного подучиться у известного мастера! Наверняка стал бы знаменитым певцом!

Но дядюшка не стал учиться пению, зато, когда у него было особенно радостно на душе, он отправлялся к городской стене и там заливался во весь голос.

Сегодня день торжественный и поэтому вся родня попросила его спеть.

— Эхма! — засмеялся он.— Так ведь я знаю всего-навсего несколько куплетов!..— Однако долго упрашивать его не пришлось и он запел: — «Маленький хозяин!..»

В то время я ничего не смыслил в театре и, понятно, не мог по достоинству оценить вокальное искусство дядюшки Цзиня. Но до нынешнего дня я с удовольствием вспоминаю, что в тот торжественный день, когда мне исполнился месяц, меня пришел поздравить наш друг мусульманин Цзинь.

---

[1] Хуцинь — смычковый музыкальный инструмент.

7

В маньчжурские лепешки — бобо — часто кладется сливочное масло. Это делается, наверное, оттого, что наши предки в свое время пили молоко и кумыс и ели молочные продукты — масло и сыр. Однако эта привычка со временем исчезла, особенно в тех пекинских семьях, которые жили в столице уже несколько поколений. Помнится, что по утрам мы пили только чай с абрикосовыми ядрышками да мучной напиток. Что до молока, то даже мой дядя и свекор сестры относились к нему равнодушно и в лавку за ним не ходили. Пожалуй, только тетя позволяла себе иногда выпить чашку-другую, да и то больше для вида. Младенцев коровьим молоком никто не поил — этого я никогда не слышал,— между тем для меня в ту пору это было сущим бедствием. Надо сказать, что в младенческом возрасте я не слишком отличался от наследника престола: как и он, всласть поел — и спать. Разница была лишь в одном: досыта я никогда не ел, отчего спал плохо. Молока у матери не хватало, а коровьего молока или тем более молочного порошка в те годы, как известно, у нас не было. Вот почему все мои таланты, если они у меня и были, проявлялись в истошном крике, который я издавал всякий раз, когда чувствовал голод. По рассказам очевидцев, плакал я как-то странно: без слез.

— У него сухой крик! — говорила тетя, которой мой плач очень не нравился, потому что, по ее мнению, он предрекал горе.

Чтобы как-то успокоить тетку, матушке приходилось покупать для меня печенье, дабы «залепить рот» — словом, утихомирить. Моя старшая сестра потом часто подсмеивалась надо мной:

— Военным чжуанъюанем ты никогда не станешь, потому что тебя вырастили на клею!

А тетка, тыча в мою сторону трубкой, приговаривала, что череп у меня-де недостаточно твердый.

По своим умственным способностям тетя ничем не отличалась от других, а ее предсказания на мой счет объяснялись очень просто: она терпеть не могла моего крика. Однако каждому, кто хоть немного задумывался над смыслом жизни, было ясно, что надсадный плач младенца — предвестник больших потрясений в стране. В самом деле, представьте, сколько в ту пору было таких вот, как я, младенцев, только живших где-то в других местах, которые недоедали, страдали от холода и болезней, закатывались «в сухом плаче», рыдали навзрыд, когда их продавали в чужие семьи!

На Хуанхэ то и дело случались наводнения. Воды реки с яростным ревом, напоминавшим обвал в горах или морской шквал, обрушивались на землю будто с самого неба. Они мчались к устью, смывая угодья и разрушая постройки. Бешеный поток уносил в

море тысячи людей всех возрастов. А там, где наводнений не случалось, из года в год свирепствовала засуха. Жалкие хозяйства крестьян приходили в упадок, их дети погибали, умирая в чревах матерей, так и не успев появиться на свет. Наверное, мой надсадный крик вторил стону страдающих от бед людей и реву Хуанхэ.

В Пекине, Тяньцзине и других городах слышались и другие звуки: грубые окрики знати, подобострастный смешок блюдолизов, завывания мошенников, торговавших чиновничьими должностями, истошный вопль игроков, способных за раз вышвырнуть тысячи лянов серебра, постукивание кухонных ножей, разделывающих медвежью лапу или горб верблюда, сладострастный хохоток любителей плотских утех. Эти звуки сливались со звоном цепей в тюрьмах и стуком батогов в судебных управах. Между раем и адом стояла лишь одна-единственная стена, но небольшое расстояние разделяло два разных мира, в которых царили блаженство и скорбь, фантастическое распутство и невообразимое горе, жившие бок о бок.

В те годы мои современники слышали также орудийные залпы пушек интервентов, а по стране ползли слухи о намерениях расчленить Китай. По городам и весям катились волны гнева против деспотической власти, национальных предателей и чужеземных захватчиков. Крестьянам терпеть стало больше невмоготу, хотя нравом своим они были миролюбивые и незлобивые. Стиснув кулаки, вооружившись булыжниками, вилами и граблями, они поднялись на борьбу, чтобы проложить путь к жизни.

В то время когда наш дом огласился моим плачем, мы впервые услышали слово «Ихэтуань» — «Кулак в защиту справедливости» [1].

Лавочник Ван старел.

— Надо бы съездить домой, посмотреть, что там творится! — все чаще говорил он.

Однако за последние три года он на родину так и не съездил, а вместо себя послал приказчиков-земляков, более молодых, нежели он, людей. Подниматься с места ему было сейчас тяжело, наверное, поэтому он часто и вспоминал о родных краях, но странно: чем больше он об этом думал, тем меньше ему хотелось покидать Пекин. Правда, порой в разговоре он напоминал, чтобы в случае кончины его прах захоронили на родине.

— А если в Пекине похоронить? Разве хуже? — спрашивал кто-то Старый Ван особенно не возражал.

Больше всего на свете он любил своего меньшого сына Шичэ-

---

[1] Так назывались отряды деревенской и городской бедноты, которая в начале XX в поднялась против маньчжурских властей и иностранных интервентов (так называемое Боксерское восстание).

на, который в его устах превращался в недосягаемый образец, теряя облик простого деревенского парня. О чем бы ни заходила речь, Ван постоянно вспоминал его и говорил:

— А! Это в тот самый год, когда родился Шичэн!..— Или: — Ах! Да-да, это случилось на третий год после рождения моего Шичэна!..

Когда речь заходила о каком-то человеке, лавочник замечал:

— Точно! Этот будто бы немного повыше Шичэна! — Или: — Он ведь ниже Шичэна на целый чи!..

Нередко свои замечания он сопровождал такими разъяснениями:

— Вообще-то мой Шичэн третий по счету, но если назвать его Саньчэном, вроде как-то перед ним неудобно, поэтому я его назвал Шичэном [1] — Во-всем-совершенным!

Никто из нас никогда не видел юношу, но, наслышавшись о нем от старого Вана, мы, казалось бы, давно были с ним знакомы. Если надо было узнать у старика, получил ли он из дому письмо, его обычно спрашивали:

— Ну как, есть весточка от Шичэна?

И вот однажды летом в самый разгар полевых работ Шичэн наконец появился в Пекине. Однако визит сына больше встревожил старого Вана, чем обрадовал. Радость старика понять нетрудно. Наконец-то сын приехал, к тому же здоровый и ладный. Ему всего-навсего двадцать лет, а он уже на голову выше отца. Вот только странно, что парень пришел без вещей, в порванной одежде, весь заляпанный грязью. Вид сына сильно обеспокоил старика. Он сразу же потащил Шичэна в одежную лавку, где купил синюю куртку со штанами и пару туфель из темной холстины. Потом он повел сына к друзьям: маньчжурам и китайцам. Вот поглядите, мол, на моего меньшого! Однако дня через два эти визиты неожиданно оборвались. По всей видимости, парень что-то сказал отцу. Соседи, прослышав о приезде Шичэна, то и дело спрашивали у старика:

— Что же ты не приходишь к нам в гости вместе с Шичэном? Или гнушаешься?

От подобного внимания старик чувствовал себя не в своей тарелке. Визиты к знакомым возобновились, правда, уже не так часто, как прежде.

Как-то после полудня моя матушка стирала белье в тени финикового дерева, стоявшего у западной стены двора. Я лежал в комнате, посасывая палец. Трудно сказать, спал я или бодрствовал, но знаю точно, что сытости в желудке я не ощущал. Наш ры-

[1] Шичэн — Десять раз совершенный; Саньчэн — Совершенный на треть.

жий пес вертелся под деревом, стараясь схватить муху. В этот момент и пришли старый лавочник Ван с сыном.

— Вот мой Шичэн! — представил старик юношу как-то очень просто, без всяких церемоний.

Мать предложила гостям посидеть в комнате, но они остались во дворе. Летом здесь куда более приятно, чем в доме. Во дворе растут два финиковых дерева, почти всегда зеленых, хотя порой без плодов. Возле стены виднеется несколько кустиков травяного жасмина, который вырос сам по себе, а в этом году разросся особенно буйно. А пятицветная слива — мэйхуа — нынче только одна. Отец не смог достать больше деревьев, так как надо было для меня покупать печенье. Зато мэйхуа в нынешнем году расцвела с какой-то особенной силой. В небе носятся ласточки. Во двор то и дело залетают разноцветные стрекозы. Их крылышки иногда красноватые, а иногда с желтым отливом. На крыше дома торчат несколько пучков заячьей травы. Конечно, для крыши это плохо, но зелень травки радует глаз. Словом, во дворе у нас очень интересно.

Хотя сегодня довольно тепло, старый Ван, любящий во всем порядок, одет в длинный серый халат. На Шичэне красуется обновка: штаны и куртка. Штаны немного ему велики, куртка короче, чем надо. При каждом движении одежда странно шуршит. Мать подвинула Вану маленькую табуретку. Старик сел и устремил взор на сына, который садиться не захотел.

— У меня есть дела! — сказал он.

Матушка не любила пустых разговоров, но, пройдя хорошую школу под руководством бабушки и свекрови, она всегда знала, что́ надо сказать гостю в подходящий момент и как принять его, чтобы все выглядело не только естественно, но и прилично. А нынче к тому же к нам пришли друзья! В обычные дни она могла сколько угодно разговаривать с Ваном о погоде. Но как быть сегодня? Она не знала, не находила слов для разговора. Мать смотрела на Вана, а тот безотрывно глядел на сына, словно чего-то ждал с беспокойством.

Юноша походил на молодую стройную сосну, пустившую в землю крепкие корни. Он стоял будто вкопанный, и двигались у него лишь руки, которым он не находил места. Ладный парень, и все в нем складно. Однако глаза его странно блестят, а рот плотно сжат: коль решил молчать, не вымолвлю ни слова, говорит весь его вид. Наверное, поэтому мать не знала, как ей быть, с чего начать разговор. Она даже забыла излюбленную тему о погоде. Молча постояв некоторое время, Шичэн вдруг опустился на корточки и, подперев голову руками, застыл, будто задумался о чем-то для него очень важном.

Неожиданно во дворе появился Фухай. Наш рыжий пес пришел в радостное возбуждение, принялся скакать и носиться по двору взад и вперед.

— Рыжий, успокойся! — крикнула мать. Собака побежала на прежнее место и снова занялась ловлей мух.

Фухай сел, а Шичэн тут же встал. Его плотно сжатые губы наконец разомкнулись.

— А-а, Фухай!..— Улыбнулся он или нет, понять было трудно. Фухай достал черный пальмовый веер с бамбуковыми распорками и принялся себя обмахивать.

— Шичэн! — проговорил он после длительного молчания.— Я все думал о том самом... Будет тебе!..

— Как это «будет»? — Шичэн посмотрел на Фухая, потом перевел взгляд на отца.— Как «будет»? — Сделав над собой усилие, он проглотил слюну.— Ну давай, говори!

Мать терялась в догадках: «Когда же они познакомились? И разговор какой-то чудной!» Она пошла заваривать чай.

— Шичэн! — Старый Ван заговорил неторопливо, тщательно обдумывая каждое слово.— Ты ведь знаешь, что я не переношу ничего иностранного, даже вот эту заморскую материю. А о самих иностранцах и их вере и говорить не приходится! Только...

— Отец! — Шичэн вытер вспотевшие ладони о новые штаны.— Тебя не было в наших краях много лет, и ты не знаешь, что с нами творят... Двухволосые[1] подзуживают иностранцев, а те отдают приказы властям!.. Крестьянам стало жить горше, чем вот этому самому псу! — Юноша показал на Рыжего.— Ненавижу двухволосых! Ублюдки!

Наступило молчание.

— Это верно, есть среди них и ублюдки! — проговорил через какое-то время Фухай и вдруг засмеялся, но его смех прозвучал фальшиво.

— А вот эти самые ублюдки самые близкие люди Волосатым! — Шичэн в упор посмотрел на Фухая. Тот сделал вид, что рассматривает какого-то жука на листе финика.

— Ты, Шичэн... вот только ты...— что-то хотел сказать старик, но фразу так и не кончил.

— Хватит тебе, парнишка! — вмешался Фухай, продолжая мысль, которую не успел выразить старый Ван.

— Не называй меня так! Я тебе не мальчишка! — Юноша уставился на Фухая.— Я дерусь на ножах, научился кулачному бою, умею уйти от любого удара. Сейчас я никого не боюсь! Никого!

---

[1] Презрительная кличка прихвостней иностранцев, которых в свою очередь называли Волосатыми или Рыжеволосыми.

— Однако ж ты никого и не победил! — усмехнулся Фухай.— Может, ты смелый, бесстрашный, а вот власти вместе с иностранцами тебя побили! Нос-то тебе утерли!

— Точно! — вмешался старый Ван.— Вон как, значит, получилось!..

— А я не смирюсь! Побили раз, два... Все равно буду драться! — воскликнул молодой человек. Он замолчал, стиснув зубы и плотно сжав губы. На его скулах двигались желваки.

— Послушай, сынок! — стал уговаривать его отец.— Послушай меня, старика! Оставайся здесь, оглядись, присмотрись! А когда разберешься во всех делах, поступай как знаешь! Разве я тебе предлагаю что-то плохое? Я уже старый, поживи пока со мной...

— Отец верно говорит! Послушай его, Шичэн!

Фухай испытывал к юноше уважение, однако открыто высказывать крамольные мысли не решался. Как-никак он знаменный солдат!

Шичэн, ничего не ответив, снова присел на корточки. Фухай раскрыл веер, потом сложил его и снова раскрыл. Веер тихонько поскрипывал, выражая смятение в душе молодого человека.

— Шичэн! — внезапно сказал он.— А сколько у вас людей? — Вопрос случайный или намеренный, понять было трудно.

— Много! Очень много! И все смельчаки!..— Юноша с какой-то яростью взглянул на собеседника.— Если в Шаньдуне делать нечего, мы двинемся в Чжили [1] — прямо на Пекин!

— Не смей, не смей это говорить! — закричал старый Ван и резко поднялся.

В это время мать принесла чай, но Шичэн, не сказав ни слова, вдруг направился к воротам. Мать в недоумении застыла с чайником в руках.

— Я сам разолью чай! — Фухай взял из рук матери чайник.— У вас, наверное, есть дела, идите! — И он легонько подтолкнул ее, а старику Вану предложил сесть. В присутствии парня он не находил подходящих слов: поведение юноши выбивало его из колеи. Сейчас, когда Шичэн ушел и они остались вдвоем, беседа мало-помалу наладилась.

— Дядюшка, выпей-ка чайку! — предложил Фухай.— Ты не волнуйся, я постараюсь тебе помочь — уговорю его остаться!

— Здесь? А получится?

— Он же не разбойник и никого не убивал... Я давно уже слышал о шаньдунских ихэтуанях и уверен, что власти не позволят им баламутить народ. Поэтому возвращаться ему домой никак

[1] Чжили — старое название провинции Хэбэй, где находилась столица — Пекин.

нельзя! А здесь, в Пекине, вряд ли кто станет копаться в его прошлом! К тому же мы его всегда сможем как-то направить, образумить! Парень-то он неплохой, прямой...— Как видно, к Фухаю вернулись качества стратега Чжугэ Ляна [1].

— Ты говоришь, прямой...— Ван невесело усмехнулся.— Это верно! Наверное, поэтому мы его и не переубедили! А вот все, что он сказал,— правда!

Фухай опустил голову. Он и сам знал, что парень прав.

— Эх, дядюшка! Если бы я был простым мастеровым, а я ведь еще и знаменный солдат! Мне...

Старый Ван вздохнул и пошел к выходу.

— Фухай! — Матушка подошла к племяннику.— Что у вас произошло? Шичэн что-то натворил?

— Да нет, с чего вы взяли? — На лице молодого человека появился легкий румянец. Он не умел лгать, хотя пошутить был всегда не прочь.— Ничего не случилось! Успокойтесь!

— Я же вижу, что-то стряслось!.. Прошу тебя, помоги лавочнику!

— Конечно, помогу!

В это время во дворе появилась тетя в сопровождении «маленькой прислужницы». Они вернулись из Западного храма — Симяо,— где тетя, как ей было ни жаль денег, купила кулек заморского порошка для чистки зубов, решив, что возвращаться домой с пустыми руками как-то неудобно.

— Фухай! Ну как? — оживилась тетя.

По заведенным правилам юноша должен был ответить:

— Как скажете, почтенная госпожа!

Однако сегодня настроения играть в карты у него не было. Перед ним все еще стоял образ Шичэна и слышались его слова. Фухай чувствовал внутреннее беспокойство и будто какой-то стыд.

— Дела у меня нынче, почтенная! — проговорил он и слабо улыбнулся. Сказав несколько малозначительных фраз, он хлопнул себя веером по бедру.— Ну, мне пора!

Однако, выйдя за ворота, он сразу же замедлил шаги. Ему хотелось собраться с мыслями. Как старый Ван или другие люди — его современники, молодой человек весьма смутно разбирался в мировых проблемах. Зато он хорошо знал, что иностранцы имеют в его стране большую силу, и мириться с этим не хотел. Наверное, поэтому он и уважал Шичэна. Фухай понимал, что императорский двор никогда не позволит Шичэну задевать иностранцев, а если парень совершит какую оплошность, он жестоко за нее поплатит-

---

[1] Известный полководец раннего средневековья, один из героев эпоса «Троецарствие», славившийся своим стратегическим талантом.

ся. А как быть ему, Фухаю? Стоять на стороне двора, поскольку он знаменный солдат, или перейти на сторону Шичэна? Фухай никак не мог распутать в голове сложный клубок мыслей. Юноша вспотел от напряжения. Его рубашка прилипла к спине, а носки, казалось, приклеились к ступням ног. Молодой человек чувствовал себя прескверно. Словно в каком-то забытьи он дошел до лавки «Торговая удача» и остановился в перешительности: заходить или нет? В этот момент в дверях появился Шичэн. Заметив Фухая, он остановился и упрямо сжал рот. Всем своим видом он говорил: «Пришел меня схватить? Ну хватай!»

Фухай улыбнулся.

— Подозреваешь? Не стоит! — тихо сказал он.— Пошли куда-нибудь, потолкуем!

Губы Шичэна дрогнули, но он не произнес ни слова.

— Не надо меня подозревать! — повторил Фухай.

— Пошли... Мне бояться нечего!

Они направились к северу. Шли быстро, почти бегом, и скоро добрались до водоема с берегами, заросшими камышом. Место тихое, даже пустынное. Только два-три рыболова сидят возле воды, но и от них не исходит ни одного звука. Взлетела встревоженная появлением людей стрекоза. Фухай опустился на камень и вытер со лба пот. Шичэн присел на корточки и уставился на едва подрагивающие листья камыша.

— Шичэн! — Чтобы вызвать юношу на откровенность, он решил не таить своих мыслей.— Я ведь тоже терпеть не могу чужаков, что измываются над нами! Но пойми, я — знаменный солдат. Начальство мне прикажет — я должен исполнять! Я сам себе не хозяин!.. Только, если наступит день, когда ты и я встанем один против другого со своими войсками, я стрелять в тебя не стану!.. Правда, службу свою я потеряю. Но на жизнь я себе всегда заработаю — на то я мастер по лаку!

— Лакировщик? — Шичэн посмотрел на собеседника.— Теперь пытай меня ты!

— Спрашивать о вере не стану!

— О какой еще вере?

— Ты же в секте Восьми триграмм[1]! Верно я угадал? А вы о своей вере посторонним ничего не рассказываете. Так? — Фухай удовлетворенно засмеялся.— А я в секте Белого Лотоса! Соображаешь? Значит, мы вроде бы братья!

---

[1] Восемь триграмм (багуа) — восемь сплошных и прерывистых линий, разные комбинации которых отражают все явления природы. Это понятие часто использовалось в гадательной практике и мистических учениях.

— Никакие мы с тобой не братья! Ты из тех, кто боится наших врагов!

Фухаю казалось, что, открыв свой секрет, он сможет расположить к себе парня, а оказалось наоборот. Его встретили в штыки.

— Я... я дело хотел сказать! — Фухай покраснел.

— Ну и говори дело! Зачем приплел Белый Лотос? — не уступал Шичэн.

— Будет тебе! — Тон Фухая изменился и стал серьезным.— Выкладывай, что ты хочешь делать?

— Уйду отсюда, вернусь домой!.. Знал бы ты, сколько мы в деревне хлебнули горя от иностранцев и их холуев! Вот почему мы и подняли бунт! Правда, правительственные солдаты нас разогнали... много наших погибло!.. В общем, я должен вернуться и разыскать друзей. Мы начнем все сызнова! Чужаки или свои — со всеми будем драться! И никто нас не остановит, потому что на нашей стороне правда! И мысли у нас единые! — Шичэн встал и устремил взгляд вдаль, туда, где находилась его родная провинция Шаньдун.

— Скажи, могу я тебе чем-нибудь помочь? — спросил Фухай. Ему все больше нравился этот парень, который не боялся ни черта, ни дьявола. Родившийся и выросший в Пекине, Фухай никогда не встречался с такими людьми: простыми и открытыми, удивительно чистыми натурами.

— Я ухожу сейчас!.. А старику объясни, что, если не драться и не убивать, значит, ничего не добьешься в нашей жизни! Расскажи ему, что я делаю доброе дело, а не занимаюсь злодейством.— Шичэн взглянул на собеседника.— Скажешь?

— Ладно, ладно!.. Ты же знаешь, парень, что мои предки тоже были не прочь подраться! Вот только сейчас... Впрочем, что об этом говорить?.. Скажи, а деньги на дорогу у тебя есть?

— Нету!.. Только мне они не нужны!

— Как не нужны? Тебе и лепешку не дадут задаром! — В тоне Фухая послышались шутливые нотки, но он тут же их пресек.— Я хотел сказать, что без денег в дороге никак нельзя!

— Взгляни! — Шичэн распахнул куртку и показал матерчатый пояс, который стягивал его стан. От пота красная ткань покрылась бурыми пятнами, а в отдельных местах стала белесой.— С этой вот штукой я с голоду не умру! — И он снова запахнул куртку.

— А если заметят двухволосые? Они ведь могут сообщить солдатам! Что, если...

— Точно! — Юноша весело рассмеялся.— Поэтому я так быстро и закрылся! Ты хороший человек, Фухай! Если бы все солдаты были такими, как ты, мы многое смогли бы сделать! Эхма!.. На-

ступит такой день, когда мы заставим склониться перед нами самого императора.

— На, возьми, Шичэн! — Фухай вытащил несколько чохов — все, что у него было в наличии.— Тебе наверняка пригодятся!

— Ну давай! — Парень взял деньги и принялся их считать.— Сейчас пересчитаю и дам тебе расписку. Когда вытряхнем чужаков и я вернусь домой, с тобой расплачусь!.. После первого же урожая!.. Здесь четыре чоха и еще восемьсот монет! — Он сунул деньги за пазуху.— Ну, пока! — И он зашагал прочь.

— А дорогу-то знаешь? — крикнул Фухай вдогонку.

Шичэн показал на башню ворот Дэшэнмэнь — Победы добродетели.

— Выйду за ворота — там спрошу!

Шичэн исчез из виду, а Фухай остался стоять на прежнем месте. Несмотря на прохладу, которая исходила от воды и зелени — деревьев и тростника, что росли вокруг,— Фухай чувствовал, что ему стало будто бы жарко. Он сел на камень возле невысокого земляного холма и задумался. Его лоб покрылся испариной. Он чувствовал неуверенность и страх... «Что бы ни творилось в этом мире, знаменный солдат не должен покрывать мятежников! — подумал он.— Что-то я не додумал... совершил промашку! А если парня схватят и он во всем признается? Что тогда?.. Может, голову мне и не срубят, а вот из армии выгонят — это точно! Глядишь, еще сошлют в Синьцзян, а то и в Юньнань!.. А может быть, все обойдется? — успокаивал он себя.— Если что случится, придется немного раскошелиться, чтобы отвести беду!» — Потом он подумал, что вовсе он и не покрывает мятежников, а делает то, что нужно. В этой жизни повсюду царит произвол и злодейство. У кого есть деньги, тот может любого задобрить и от всего откупиться! Разве это порядок? Фухай не читал исторических сочинений, но он слышал немало рассказчиков и знал содержание многих столичных опер. Из них он понял, что, если порядка в стране нет, значит, династия разваливается!

Или, скажем, Шичэн, который задумал драться с иностранцами. Всякий порядочный человек станет его за это только уважать, потому что от них все хлебнули горя — ох, сколько горя! Фухай не забыл войны, случившейся в год Цзяу [1], и кампании англичан и французов, которые сожгли дворец Юаньминъюань (других событий он что-то не запомнил). Вспомнив об этом, молодой человек почему-то сразу же успокоился. Да, Шичэн прав, но и он, Фухай, тоже прав, а правые люди должны чувствовать себя уверенно. Фухай решил, что ему надо сходить к старому Вану, и медленно под-

[1] Цзяу — 1894 год, когда происходила война Китая с Японией.

нялся, но, пройдя несколько шагов, остановился... Нет, сейчас он к старику идти не может. Ведь он обещал оставить парня в Пекине. К тому же старик немного болтлив. Не ровен час, скажет где-нибудь лишнее, что сын, мол, ушел, а обо всех его делах знает один Фухай! Нет, не годится! Но с другой стороны, если старику сейчас ничего не сказать, он станет повсюду искать сына, а это еще хуже! Что делать?

Наконец решение было принято. Быстро вернувшись домой, Фухай написал записку левой рукой: «Батюшка и господин Цзиньань! Сообщаю вам, что я возвращаюсь домой на полевые работы. Я боялся, что вы не позволите мне уйти, потому и покинул вас не попрощавшись. О том, что со мной случится в дороге, я сообщу по прибытии. Кланяется вам ваш сын Шичэн». Вложив записку в конверт и заклеив его, Фухай подумал: «Я даже не знаю, умеет ли парень писать?» Он вновь распечатал конверт и задумался. «Эх! Была не была! — решился он и заклеил конверт вновь.— Как стемнеет, схожу в лавку к Вану и опущу в щель ворот!»

8

Старый Ван, как известно, недолюбливал иностранцев и терпеть не мог их товары. А теперь, после посещения Шичэна, в его душе родилась острая неприязнь к чужой вере и к тем, кто ее поддерживает,— к двухволосым. Прожив несколько десятков лет в столице, Ван привык относиться к людям с предупредительностью и доброжелательностью, а повстречав на улице какого-нибудь незнакомого монаха, который, возможно, ничем ему не поможет, лавочник старался проявить к нему почтительность, называл «учителем». Но сейчас его поведение сильно изменилось. Он твердо решил, что никакого уважения к иностранным священникам он оказывать больше не будет. Все чаще он с беспокойством думал о сыне и повсюду старался узнать, не случилось ли где-то волнений или судебных дел, связанных с верой. Проходя мимо христианского храма, он нередко останавливался, разглядывая его с вниманием, но, чем дольше смотрел, тем большие сомнения охватывали душу. Какой же это храм? Нисколько не походит он ни на буддийскую, ни на даосскую обитель, а постройки, что рядом с ним, совсем не согласуются с окрестными зданиями. Старику казалось, что в самом храме и в строениях, его окружающих, скрыта какая-то заморская тайна и там затаились разные диковинные штуки: заморские ружья, а может, и пушки. По воскресеньям, когда прихожане отправлялись на мессу, лавочник останавливался

перед храмом дольше обычного, наблюдая за теми, кто идет в церковь. Многие были ему хорошо знакомы. Некоторые — вполне приличные люди — ему даже нравились, других он недолюбливал. Ван часто задавал себе вопрос, на который никак не мог ответить: «Почему эти вполне порядочные люди верят в заморского бога?» Или еще: «Отчего заморская церковь принимает под своим кровом вон тех непутевых?» Старый Ван недоумевал. Но больше всего его удивляло, что среди верующих много знаменных людей. Лавочник, конечно, знал, что у маньчжуров есть своя вера, правда, ему не очень-то ясно, что она собой представляет. Многие знаменные люди поклонялись Будде и Конфуцию, другие верили в даосизм. Он считал, что этого вполне достаточно. К чему еще нужна какая-то заморская религия? Но чем больше он думал, тем больше путался в мыслях.

Его сомнения, пожалуй, мог разрешить лишь господин До, который частенько заходил в его лавку. Старый Ван уважал своего покупателя за его пунктуальность и аккуратность. Лавочнику, к примеру, очень нравилось, как господин До одевается. В покрое его платья и даже в материале, из которого оно было сшито, виделось что-то древнее. Такой просторный халат с широким поясом, наверное, носили лет этак двадцать, а то и тридцать назад. Вану казалось, что от материи, из которой сшит халат, исходит какой-то особенный запах древности, а своим цветом она совсем не походит на нынешнюю, которую он недолюбливал, особенно «бамбуковку», издававшую странный хруст при каждом движении. Очень нравились Вану и шляпа господина До, и фасон его сапог. Вот, наверное, почему господин До и лавочник, встретившись, могли вести беседу чуть ли не целый день.

Господин До служил мелким чиновником-порученцем в одном из ямыней при маньчжурских войсках. Он получал скромное жалованье, не позволявшее покупать новые вещи, чем и объяснялось его пристрастие к несколько странным одеяниям, которые, на его удивление, удостаивались похвалы лавочника. Некоторые намекали господину До, что его платье, мол, давно вышло из моды, на что старый барахольщик (как его нередко называли за глаза) отделывался шуткой:

— Хм! А вот хозяин Ван похвалил мой древний реквизит!

Наверное, поэтому они и сблизились, а со временем даже подружились. Однако господин До не использовал приятельские отношения с лавочником в корыстных целях, скажем, для того, чтобы брать товар в долг. Иногда лавочник ему даже предлагал:

— Возьмите отведайте! Я даю вам это в долг!

— Нет-нет, почтенный! — улыбался До и качал головой.— Никогда в жизни я в долги не залезал!

Да, очень любил он во всем порядок, этот господин До. Такой уж он был человек. Правда, его одежда немного пообветшала, но зато всегда хорошо выстирана и вычищена. Где надо, он сам подошьет и залатает, причем все сделает заранее, пока платье не порвалось.

У господина До сильно вытянутое лицо и очень густые брови. Он редко смеялся и был скорее молчалив, чем разговорчив. Однако с человеком, которому доверял, он готов был болтать сколько угодно и на разные темы, порой рассказывая собеседнику презабавные вещи.

У господина До был старший брат — человек, надо сказать, довольно непутевый, с которым, к счастью, они жили порознь. Корыстолюбивый и алчный, его брат при каждом удобном случае старался словчить и что-то для себя урвать. Правда, особенно серьезных проступков он не совершал, да и не посмел бы этого сделать, потому что был труслив. Любой вопрос он старался решать с ходу, как говорится, одним махом, отчего людям казалось, что человек он на редкость деловой и находчивый, найдет выход из любого положения. На самом деле трудиться он не любил и никаким усердием не отличался, но зато был горазд сытно поесть и сладко поспать. Кстати, спал он всегда при свете, потому что ленился погасить лампу или задуть свечу, между тем всем объяснял: «Без света спать не могу!»

В один прекрасный день он вдруг решил принять христианскую веру. Многие его отговаривали, но он проявил редкое упорство.

— Рассудите сами,— объяснял он.— Если мне не помог ни Цайшэнь, ни Цзаован, почему бы мне не обратиться к заморскому богу? Ведь в наше время все лучшее идет из-за моря! Вон взгляните вокруг!

Больше всего противился его обращению в христианство брат, господин До, хотя, по правде говоря, сам он не слишком хорошо разбирался в вере и толком не знал, какие блага она дает. Но во время разговора со старшим братом он приводил такой аргумент:

— Брат, неужели ты отказался от наших предков?.. Если ты обратился в чужую веру, тебе уже нельзя ходить на родовое кладбище и возжигать жертвенные деньги!

— Ну так что? Тогда я туда не пойду!

Лицо у старшего брата не столь удлиненное, как у господина До. Когда он весел или, напротив, чем-то сильно встревожен, оно странно сжимается, превращаясь в сморщенную лепешку с начинкой — шаомай. Сейчас оно как раз походило на такую лепешку.

— Вместо меня на кладбище сходишь ты, не все ли равно? ...Лучше послушай, что я тебе расскажу. Сижу я этими днями

дома, и нет у меня, как говорится, никакого проблеска в жизни. Вдруг является мне во сне ангел и говорит: «Иди за город, там найдешь свое счастье!» Вышел я за городские ворота, иду этак не торопясь вдоль рва и вдруг слышу: «Ква-ква!» Неужели, думаю, в лягушках явится мне ангельское предначертание? На всякий случай выловил штук двадцать, а может, побольше. И как ты думаешь, кого я потом встретил?

Он остановился в ожидании ответа, но брат молчал, только его лицо вытянулось еще больше.

— В хоромах французов...— продолжал он.

— В каких еще хоромах? — перебил его господин До.

— Я хотел сказать во французском посольстве!

— Так и говори, что в посольстве, а то «хоромы»!

— Эх ты! Ничего ты не смыслишь в заморских делах, а потому каким ты был бедолагой, таким и останешься!

— В заморских делах, говоришь? Вот Ли Хунчжан[1] очень даже хорошо в них разбирался, а что из этого вышло? Все его считают предателем. Так-то!

— Ай-ай! — Все части лица старшего брата как-то странно сжались. Сморщенная лепешка долго не разглаживалась.— И ты посмел это сказать? О самом канцлере? Впрочем, хватит! Спорить с тобой я не собираюсь!.. Так вот, я продолжаю разговор о лягушках!

— Слушай! Давай по-серьезному!

— А я говорю совершенно серьезно! Поймал я лягушек — а они, к слову сказать, мясистые, жирные,— иду с ними в город. Вошел в ворота и думаю: «Сбудется сон или нет?» И только подумал, откуда ни возьмись навстречу идет поп из французского посольства — Чунь Шань. Как и мы, он из знаменных людей, только знамя у него другое — желтое. Ты его должен знать. У него есть старший брат Чунь Хай, который служит в Тяньцзине поваром у иностранцев.

— Не знаю такого!

— Хм! Никого-то ты не знаешь из людей, близких к иностранцам!.. Так вот, увидев лягушек, Чунь Шань остановил меня и говорит: «Господин До, продайте, пожалуйста, мне!» По его виду я сразу понял, что за этими словами что-то таится, и вполне серьезно ему отвечаю: «Не могу! Они мне нужны как лекарство!» А он не унимается: продайте, мол, и точка!.. А знаешь, в чем дело? Оказывается, французы очень любят лягушек. Теперь скажи: сбылся сон или нет?.. Так вот, начали мы с ним торговаться; он

[1] Ли Хунчжан — государственный деятель конца династии Цин, известный, в частности, своими связями с иностранцами.

папирает — готов выложить две связки монет, — а я не сдаюсь. В общем, продал я ему этих лягушек! Так-то! Значит, сбылось предсказание, что я найду за городом свое счастье! С тех пор каждые несколько дней я непременно шел к нему с лягушками, а вот сейчас лягушки попрятались, потому как наступила зима, и я оказался не у дел. Но того ангела я не забыл, и он, как видно, тоже вспомнил обо мне. Явился мне снова во сне и говорит: «Ню-юшэн!», что значит «В корове счастье!». Ну, думаю, дело это непростое! Если лягушку можно поймать голой рукой, то корову так легко не уведешь! Иду я однажды по улице. Голова пуста — нет в ней никакого путного соображения. Снежок сыплется. Иду, иду, вдруг вижу впереди какого-то иностранца. Поскольку дел у меня в тот день особых не предвиделось, пошел я следом за ним. Как ты знаешь, ноги у неверных длиннющие, идет он бойко, я за ним едва поспеваю. Иду и на ходу повторяю: «В корове счастье! В корове!..» И тут он оборачивается ко мне (я даже подпрыгнул от неожиданности!) и говорит: «Кажется, вы меня окликнули?» Сказал он это на нашем языке, но как-то по-особенному: вроде как звуки от наших отличаются. Я поначалу растерялся, не знаю, что ему и ответить, а он ко мне снова: «Меня зовут Ньюшэн!» Представляешь? Значит, ангел сказал мне правду. Он сказал «Ню-юшэн», а здесь «Ньюшэн» — звучит почти одинаково. Словом, этот самый Ньюшэн оказался пастором и настоящим американцем! Узнав, что он священник, я сразу ему говорю: «Господин Ню! Учитель! Грешен я, очень грешен!» Кстати, запомни, что за этими словами скрыта целая наука! Попы принимают под свое крылышко всех грешников, как старьевщик собирает ветошь и хлам... Мой монах возликовал и, назвав меня заблудшей овцой, тотчас потащил в свой храм. Вот тогда я и подумал: «Он — корова, я — овца, разницы меж нами никакой!» И тогда начал он за меня молиться, а я вслед за ним повторять. Потом он велел мне вступить в группу читающих псалмы, подарил Библию, а к ней впридачу две связки монет.

— Брат! Ты, видно, забыл, что мы сыны Великой Цинской империи! Я, к примеру, никогда не стал бы лебезить перед иностранными дьяволами. С голоду буду подыхать, но заискивать перед ними не стану! — В голосе господина До звучала твердая решимость.

— Ха-ха-ха! Великая Цинская империя... — с усмешкой повторил старший брат. — А ты знаешь, что иностранцев боится даже сам император!

— Ну, договорился!.. Вот что я тебе скажу. Если ты и впрямь решил взять чужую веру, чтобы ноги твоей не было на пороге моего дома! Не обессудь! — Господин До разволновался.

— Ты посмел это мне сказать?! Мне, твоему старшему брату?! Когда захочу, тогда к тебе и приду!..— Запыхтев от возмущения, старший До устремился к выходу.

Знаменным мужам казалось, что они стоят на одну ступеньку выше остальных людей — тех, кто принадлежит к другим национальностям. Поэтому, если кто-то из знаменных терял веру в себя, он обычно переставал верить и во все остальное. К примеру, старший До считал себя очень несчастным человеком, значит, что бы он ни сделал, ему все должно сходить с рук, потому что он достоин прощения. Христианство он принял вовсе не потому, что в него верил, а оттого, что ему хотелось всем насолить или вроде как бросить вызов. «Никого не касается, что я делаю! Буду исповедовать что хочу, и плевать мне на всех!» — словно хотел сказать он своими действиями. Однако чужая вера не была конечной целью его жизни. Вовсе нет. Он прекрасно знал, что сразу же от нее откажется, как только увидит, что выгоды от нее никакой не имеет, и обратится к какой-нибудь другой вере, скажем к Белому Лотосу, тем паче если она поможет ему заработать на лишнее блюдо.

Подумав день или два, он отправился к пастору и сказал, что решил принять обет крещения, другими словами, он укрепился-де в мысли отринуть ересь и приобщиться к истинной вере!

В храме служил один священник — китаец, которому очень не нравилось, что такой человек, как До, принимает христианскую веру, но говорить открыто он этого не стал, так как знал, что пастор Ньюшэн ему ответит: «Если церковь перестанет спасать грешников, кого тогда ей спасать?» К тому же храм построен иноземцами, и деньги в него идут из-за моря... Нет, лучше промолчать! Став священником, он дал клятву говорить правду, и только правду, но одному лишь богу, а все остальное — пастору Ньюшэну. Поэтому со всем, что вещал пастор, он соглашался и кивал головой, а сам думал: «Глаголешь ложь, за что попадешь в ад! Бог видит все!»

Ньюшэн обратился к святым проповедям еще на родине, поскольку ничего другого он делать так и не научился. Краем уха он слышал, что где-то на свете есть Китай, однако к разговорам об этой стране не прислушивался, так как вроде бы не имел к ней никакого отношения. Интерес к далекому Китаю вспыхнул у него лишь тогда, когда оттуда вернулся его дядя, который в свое время был вынужден покинуть родные края по причине кражи соседской коровы, за что, кстати сказать, он лишился одного уха. Попав в Китай, дядя сразу же занялся торговлей опиумом и нажил немалое состояние. Когда он, разбогатев, вернулся назад, все родственники и знакомые, даже те, кто когда-то называл его непутевым бродягой, стали в один голос величать его знатоком Китая. Во вре-

мя разговора они теперь старались избегать слова «ухо», придя к общему выводу, что тогда, мол, бедняга попал в беду, потому и вынужден был поехать в Китай, а поскольку он сейчас разбогател, совершенно неважно, сколько у него ушей: одно или два. Ньюшэн не составлял исключения из тех, кто думал точно так же.

В те времена жизнь Ньюшэна была отнюдь не безоблачной, а его рождественский стол далеко не всегда украшало блюдо из жареной индейки. Однажды его дядюшка подсказал ему выход. «Поезжай в Китай! — посоветовал он.— Здесь ты даже в рождество не полакомишься птицей, а там каждый день на столе у тебя будет жирная пулярка. А какие яйца — вот такие большие! Здесь, сколько ни живи, слуг себе не наживешь, а там тебе будут прислуживать по меньшей мере сразу двое: слуга и горничная. Словом, отправляйся туда!»

Ньюшэн решил последовать дядюшкиному совету и, собрав пожитки, отправился в путь. По приезде в Пекин он быстро понял, что дядя говорил правду. Сейчас он имел небольшой, но зато свой домик и двух слуг. Куры и яйца были настолько дешевые, что он мог устраивать рождественский ужин чуть ли не каждые три дня. Ньюшэн стал неудержимо толстеть.

К своему святому делу он относился с прохладцей, однако забросить его совсем не решался. Ньюшэн мечтал разбогатеть.

Но как? Ведь миссионерская деятельность все же отличается от торговли опиумом. Посвящать всего себя церкви он не хотел, но он знал, что, если в церковных делах не проявить усердия и не добиться результатов, он может лишиться своей обильной плоти, которую приобрел за последнее время. Словом, в исполнении миссионерского долга он разумно сочетал рвение с равнодушием, подобно тому как в одном году существуют вместе лето и зима. В тот самый день, когда он встретил старшего До, его дух находился в состоянии буйного весеннего цветения, и пастор был полон решимости привести к престолу создателя всех грешников Пекина. В такие минуты он очень завидовал католическим священникам, которым, по его мнению, жилось куда вольготнее: у них были и деньги, и сила. С помощью денег они могли купить лишние души, а опираясь на силу, создать им защиту. Католики могли даже построить крепость, начинив ее разным оружием да пушками. Католический священник напоминал Ньюшэну маленького царька. Протестантский пастор, думал он, такой властью никогда обладать, наверное, не будет. Но тут он снова вспомнил слова дяди: «Запомни, что китайцам потворствовать нельзя! Чем строже ты с ними будешь держаться, тем лучше они будут тебя слушаться!» Хотя Ньюшэн и не католический священник, но он такой же служитель господень! Придя к такому заключению, Ньюшэн

переходил к проповеди. Поднявшись на амвон, он на своем особом пекинском наречии, которое, впрочем, назвать так можно было лишь с большой оговоркой, вещал о сатане, аде и конце света. Его громовой голос сотрясал церковный свод, так что сверху сыпалась пыль. Выпустив пар, он чувствовал в душе приятное успокоение. Правда, своей проповедью он заработал немного, но зато приобрел славу! А это тоже своего рода победа!

Ньюшэн не слишком одобрял тех своих прихожан, которые, прикрываясь именем церкви, занимались разными темными делишками с иностранцами и в конечном счете сильно разбогатели. Добившись жизненных благ, они теперь посещали храм уже не так охотно, как раньше. Но пастор их особенно и не попрекал. Ведь как-никак, а именно они приносили ему дорогие рождественские подарки. Среди его паствы встречались люди и не слишком богатые, но зато поведением весьма достойные. Приходя в храм помолиться, они совсем не лебезили перед пастором. По убеждению святого отца, которое он почерпнул из разговоров со своим дядей, такие прихожане не вполне соответствовали нравственным нормам, поэтому, разглагольствуя о геенне огненной, он обычно поглядывал в их сторону. Вы, погрязшие в гордыне,— вы попадете прямо в ад! Да, именно в ад! Людей, похожих на старшего До, пастор любил больше других, так как, по его мнению, они вполне соответствовали нравственным нормам. Они, конечно, не слишком богаты, но зато лишены гордыни и испытывают к пастору трепетное почтение. Перед ними он чувствовал себя царьком!

Пастор Ньюшэн роста далеко не мелкого, но, поскольку в последние годы ел он досыта, а спал всласть, его тело заметно округлилось и стало будто бы короче. Волосы у пастора рыжеватые, редкие. В заплывших глазках виднеются желтые зрачки. Потому-то пастор, наверное, и доволен своей жизнью в Китае, что здесь, куда ни глянешь, всюду желтый цвет — знак удачи. Однако больше всего в пасторе, пожалуй, привлекает внимание его смех, напоминающий кашель человека, который подавился рыбьей костью. Кха-кха-кха! — рвутся из глотки странные звуки, когда он разговаривает с прихожанами. Так порой поступает взрослый, который хочет чем-то позабавить ребенка, хотя самому ему совсем не смешно.

Ньюшэн ничего путного с амвона не говорил, как, впрочем, ничего достойного не сделал в своей жизни. В учении он никогда не был силен, а к знаниям не стремился. Да и зачем, если он приехал из Америки, что уже само по себе должно вызывать уважение! Все к нему обязаны относиться с почтением, и даже сам господь бог должен слегка его побаиваться! Вот почему очень не по

душе ему были те прихожане, которые настойчиво старались ему объяснить (и доказать), что Китай — страна древняя, а его культура необычайно богатая. Давным-давно Китай подарил человечеству фарфор, шелк, бумагу и чай. Пастор обычно отвечал: «Пароходы и поезда способны расколотить весь ваш фарфор!» — и закатывался победоносным смехом: кха-кха-кха!

Кто-то из прихожан ему говорил, что и в Китае, мол, есть свои герои, например Юэ Фэй или Вэнь Тяньсян[1]. Пастор, никогда не слышавший этих имен, поначалу ошалело смотрел на собеседника, мигая глазами, но, узнав о них подробнее, невозмутимо заявлял: «А что в них толку — во всех этих юэфэях и вэньтяньсянах? Все вы грешники, и спасти вас может только всевышний!» Лицо его при этом багровело, и на ладонях выступали капельки пота. В эти минуты он вряд ли мог бы объяснить причину своего волнения, однако ему, несомненно, казалось, что его набыченная поза и багровое лицо лучше всего подходят к торжественному мгновению вещания Истины. Пастор испытывал большое удовлетворение.

Прихожане вроде старшего До никогда не вспоминали ни Юэ Фэя, ни Вэнь Тяньсяна, но зато у старшего До пастор всегда мог увидеть под мышкой Библию, завернутую в кусок ветхой синей ткани, которую он использовал для разных целей во все времена года. Когда господин До оказывался возле пастора, он при каждом удобном случае высовывал кончик книги и в ответ слышал: кха-кха-кха! Услышав знакомые звуки, старший До с великим почтением раскрывал книгу и застывал перед наставником, готовый слушать его наставления. В эти моменты пастор, хорошо знавший свои скромные возможности, превращался в великого ученого.

— Учитель! — Голос До звучал необычайно проникновенно.— А правда ли, что все мы сделаны из праха земного?

— А как же? — Пастор ткнул пальцем в Библию.— В словах о сотворении мира об этом сказано ясно. Бог сотворил человека из праха земного, вдохнул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою!

— Учитель Ню!.. А как же прах земной превратился в мясо?— До, сделав глуповатый вид, воззрился на пастора.

— Я же сказал, что бог вдунул ему дыхание жизни!

— Ах! Да-да! И я тоже так думал, только боялся ошибиться!

Полистав книгу Ветхого Завета и открыв ее на странице «Бытие», господин До передал ее пастору, а сам принялся бубнить:

— Адам родил сына Сифа... Сиф родил Еноса, Енос родил Каинана... Каинан родил Малелеила...

---

[1] Имена известных полководцев-патриотов, прославившихся своей борьбой против иноземцев.

— Ну хватит, хватит!— остановил его пастор. По всей видимости, он был доволен своим учеником.— У вас, сын мой, большие успехи! Китайскому человеку нелегко запомнить эти имена!

— Весьма даже трудно! Для этого надобно иметь не только хорошую память, но и быстрый язык!.. Учитель! Есть у меня еще один вопрос, который я никак не могу уразуметь. Можно спросить?

— Ну конечно! На то я и пастырь!

Господин До принялся листать книгу, пока не наткнулся на главу «Откровение».

— Учитель, никак не пойму вот эти слова: «...вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади...» Скажите, что это за существа?

— Взгляните, сын мой, что начертано далее: «и первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему».

— Так-то оно так, только все ж почему у них со всех сторон глаза?

— Кха-кха!— Пастор запустил руку в рыжеватую редкую растительность.— Кха-кха! Откровение святого Иоанна — часть Завета мало понятная. В стране, откуда я родом, написано множество книг, в которых разъясняются темные ее места, а книг этих столько, что они не уложатся на несколько больших телег! Лучше, сын мой, начните со «Святых благовествований», а когда углубите свои познания, беритесь за «Откровение»!

Хитрый прием пастора возымел свое действие.

— Верно, учитель!— Господин До согласно закивал головой. В его сознании пронеслась счастливая мысль, которой он тут же поделился со своим наставником:— Вот только я не слишком силен в грамоте. Вы бы мне помогли, учитель!

За свою жизнь господин До прочел совсем мало книг, но все же иероглифов он знал несколько больше, чем пастор. Сказав эту фразу, он сразу же высоко оценил и свой быстрый ум, и сладкоречивость, к которым, впрочем, прибегал всякий раз, когда надо было полебезить перед священником. В эти моменты ему казалось, что он походит на только что распустившийся цветок, который с каждым мгновением становится все прекраснее и ароматнее, потому что никаким другим быть не может.

— Разумеется, разумеется!— согласился пастор, доставая четыре чоха. Он уже давно сообразил, что здесь ему не следует беспокоиться о хлебе насущном. Возможно, в Китае он особенно не разбогатеет, но зато, вернувшись на родину, он станет ученым мужем, возможно профессором. Даже такой человек, как госпо-

дин До, просит помочь ему разобрать Библию, к тому же на китайском языке! Значит, у него есть все основания называть себя специалистом по Китаю, как и его дядя! В свое время тот был бродягой и конокрадом! А сейчас! Сейчас его величают китайским знатоком!

Принимая от пастора деньги, старший До изогнулся в почтительном поклоне и, как бы между прочим, заметил, что он не какой-нибудь знаменный солдат, но человек с хорошей родословной: его предки были крупные чиновники, а некоторые даже носили на шляпе красный шарик!

— О! А князья у вас в роду были?— очень серьезно спросил пастор. Такие слова, как «государь», «князь» и даже совсем незначительные звания, обладали для него огромной притягательной силой. Ему очень хотелось, чтобы среди его прихожан оказались потомки (пусть даже один или два человека) старых князей или высоких вельмож. Вот тогда в своем послании домой он сможет расписать сей факт, сообщив, что ему удалось приобщить к лону церкви несколько ванов и знатных сановников.

— Насчет князей точно не знаю, а вот двое вельмож с титулом хоу[1] были точно. Это я помню! — Господин До, дав волю своему воображению, создал новую генеалогию семьи. Разве он мог позволить принизить свой сан, получив четыре чоха, которые он сейчас крепко сжимал в руке. Если он потомок знатного хоу, значит пасторские деньги — это вроде как дань, которую ему платит чужеземец.

— Кажется, титул хоу довольно высокий? Не так ли?— Уважение пастора к своему прихожанину еще больше возросло, и он добавил господину До еще пятьсот медяков, радостно при этом загоготав: кха-кха-кха!..

Приняв от пастора дар, старший До с Библией под мышкой направился в питейное заведение, расположенное в известном отдалении от церкви — никак не меньше десяти ли. Аромат напитков, которым был напоен воздух винной лавки, тотчас развеял все его мысли о храме божием. «Если человек и впрямь сотворен из праха земного, то с земной твердью должна лучше всего сочетаться не простая вода, а водка «Эрготоу»,— подумал он, усаживаясь возле жбана с вином, от которого шел такой крепкий дух, что старший До чуть не потерял сознание. Винный запах, наполнявший комнату, приводил в трепет каждую частичку его плоти, каждый сосудик. «Выпей, выпей «Эрготоу»,— словно призывал он. Успокоившись от первого потрясения, господин До зака-

[1] Хоу — почетный титул, второй после титула ван.

зал порцию доуфу с красным перцем, несколько засоленных мелких крабов и полцзиня водки.

Выпив, он почувствовал, что его сосуды сразу же как будто расширились. Он вдруг вспомнил многоглазого библейского зверя и захихикал: хи-хи-хи! Пошатываясь, он направился к двери и вышел во двор, где продолжил свою веселую трапезу, купив большую порцию свиной головизны, пару копченых яиц, несколько лепешек из белой муки и вина. Насытившись, он отер синей тряпицей рот и, простившись с хозяином питейного заведения, отправился домой.

От обильной закуски и вина в голове появились разные мысли и желания. «А что, если пастор каждый месяц будет давать мне несколько лянов, как выдают жалованье знаменным? Вот была бы жизнь!» — подумал он, но потом вспомнил, что в протестантской церкви добиться этого нелегко, и это его немало опечалило. Он стал корить себя за опрометчивость: «Надо было сначала все разузнать, а потом принимать решение!» Однако он не пал духом. Совсем нет! Ведь выход можно найти из любого положения, надо только немного пошевелить мозгами. «А если с помощью пастора мне пробраться в американские хоромы и попытаться найти там работу?» Подумав об этом, он, однако, тут же дал отбой: «Нет! Исполнять все их предписания — это не по мне!» Он мечтал о такой жизни, при которой мог бы добывать хлеб насущный, пребывая в праздности, как старый министр, удалившийся на отдых. Почему бы и нет? Ведь судя по всему, история в нем не ошиблась. Почему же не помечтать о пироге, который спускается в рот прямо с неба?

Старший До хорошо знал, что несколько прихожан, используя свою близость к иностранцам, открыли большие лавки с заморскими товарами и сильно разбогатели. Он не замедлил нанести визит этим братьям во Христе, надеясь от них чем-нибудь поживиться, однако к своему огорчению скоро понял, что их любовь к ближнему своему не столь глубока, как он себе представлял. Они встретили его равнодушно и даже холодно. Заметив, что кто-то из них как будто умеет говорить по-иностранному, он им сказал на заморский манер: «Адам родил Сифа...» Но его не поняли. Тогда он повторил фразу на «мандаринском речении», на котором обычно изъяснялся пастор. Его опять не поняли и даже закачали при этом головами. Старший До попытался вызвать у них чисто научный интерес, рассказав про глазастых тварей из Библии, на что в ответ услышал: «О таких тварях не слыхивали!» Но самое удивительное было то, что его не угостили даже чашкой чая! Недовольный и мрачный, он отправился к тем братьям по церкви, которые верили по-настоящему, и они сказали ему,

что вера нужна вовсе не для обогащения, но для истины. «Интересно, сколько стоит фунт этой истины?» — подумал До.

Оставались еще прихожане-бедолаги. Может быть, с ними удастся создать нечто похожее на содружество? Увы, те наотрез отказались с ним сотрудничать. У каждого уже сложилась своя жизнь и был свой подход к делу. Одни, используя близость к иностранцам, помогали кому-то разрешать разные судебные дрязги. Другие — понятно, не без выгоды для себя — занимались продажей земельной собственности и домов. Третьи устраивали всякие махинации: скупали краденое и предметы старины, переправляя их в иностранные посольства. Случалось, что кто-то из подобных мошенников по наущению иностранцев проникал в храм и крал там бронзовую статую Будды, за что потом получал солидное вознаграждение. Словом, каждый владел своим секретом, которым не собирался делиться с чужим, а пуще всего со старшим До. Эти люди с насмешкой относились к нему самому, как и к его рассказам об Адаме и Сифе, а также к его разглагольствованиям о многоглазых библейских тварях. Денежные подачки, которых он удостаивался, вызывали у них зависть: «Только окрестился, а уже лезет вверх! Наверное, собирается всех нас прижать!» Они прозвали его Глазастым и при каждом удобном случае нашептывали о нем пастору. Однако пастор, действуя по принципу «разделяй и властвуй!», не отвернулся от Глазастого и не проявил к нему холодного равнодушия. И все же Глазастый До заметил, что после бесед об «Откровениях» он стал получать от пастора лишь один чох, хотя он как-то попытался намекнуть, что на его куртке, как и на библейских тварях, изображены глаза[1]. Что делать? Надо извлечь из новой веры хоть какую-то пользу. Не зря же он ее принял! Пожалуй, надо начать с чего-то небольшого...

Еще до обращения в лоно христианской церкви Глазастый пользовался услугами лавки «Торговая удача», где брал, подобно другим знаменным людям, товары в долг. Из месяца в месяц его долг записывался на особый счет, который потом он вынужден был оплачивать. Теперь он решил долг не отдавать. «Интересно, что сделает лавочник Ван?» — подумал он. Раньше он за один раз брал продуктов совсем немного: свежего мяса монет на 200, пучок овощей на 160 монет. Теперь Глазастый решил взять в лавке Вана курицу под соей. Но Глазастый не учел, что за это время лавочник успел от его брата кое-что о нем узнать, и то, что сказал господин До-второй, совпадало с тем, что когда-то говорил Шичэн, в правоте которого старый Ван теперь нисколько не со-

[1] Здесь имеются в виду круги на куртке или халате.

мневался. Если Глазастый способен на такие пакости в Пекине, можно представить, что он станет вытворять в деревне?! Видно, не случайно Шичэн так их всех ненавидит!

— Хозяин Ван!— В голосе господина До чувствовалось некоторое смущение.— Почтенный Ван! За сколько месяцев вам задолжал старший брат?

— Больше чем за три! И ни гроша не вернул!

— Я... я за него расплачусь! Только постепенно! Ведь он все же мне брат!— Голос господина До дрожал от волнения.

— С какой стати вам тратиться? Вы же с ним живете порознь. К тому же вы не богач!

— Живем-то мы порознь... да предки у нас одни!— Господин До с усилием проглотил скопившуюся во рту слюну.

— Не стоит из-за него переживать!.. Я сам с ним поговорю по душам!

— Эх, почтенный! Все эти пакости он творит потому, что чувствует поддержку иностранцев! А нам не перебороть!.. Одним словом, с его долгом я расплачусь сам. Правда, нелегко будет, но расплачусь!

Лавочник Ван долго думал, как ему лучше поступить, и в конце концов решил, что с долгом Глазастого надо пока повременить. Как бы тот и вправду не приплел чужеземцев! Дело у него с этим Глазастым, конечно, мелкое, и они вряд ли в него станут ввязываться, а впрочем, кто их знает?..

В это время Глазастый принял свое решение: «Точно! Ход неплохой, а главное, сулит выгоду! Если же случится какая накладка, я прибегну к имени пастора. Он мне, возможно, прямо и не поможет (а хорошо бы, если бы он постращал этого лавочника!), но я думаю, что этот Ван сам все поймет и присмиреет... Преподнесет он мне курочку, как самый почтительный сын своему родителю!.. Точно!»

Его мысль летела уже дальше, а желания росли. «Коли подул попутный ветер, надо поднять парус выше!» — подумал он, но вдруг появились сомнения: а поддержит ли его пастор?.. «Выпью-ка я пару чарок для храбрости!» Он выпил сразу четыре ляна вина. Лицо его зарделось и стало походить на лепешку — шаомай. Сейчас Глазастый был готов взять в долг пару свиных пожек и потребовать, чтобы к ним присовокупили четыре чоха монет. Глазастый перешагнул порог лавки.

При виде гостя в сердце старого Вана заклокотал гнев. Сколько он от него натерпелся! Хватит! Как всякий шаньдунец, он был человеком вспыльчивым и прямолинейным. Ван в упор посмотрел на гостя и минуты две не отводил от него глаз, надеясь, что тот его поймет и, смутившись, исчезнет. Не тут-то было! Гла-

застый не только не двинулся с места, но даже дважды презрительно хмыкнул.

— Господин До!— не выдержал лавочник.— Свиные ножки мы в долг не даем! И деньги тоже! Вы не вернули свой старый долг, потому просить не имеете права! Сначала расплатитесь!

— Так-так, лавочник! Только учти, у меня есть друзья! Среди иностранцев! Ты скоро почувствуешь, чем это пахнет!— Глазастый До вынужден был напомнить о существовании пастора, иначе ему пришлось бы ретироваться, испытав горечь поражения.— Если ты все это уразумел своей головой, свиные ножки и деньги принесешь мне домой!.. Почтительно жду твоего визита!— И вышел.

Старый Ван давно привык к спорам из-за долгов — такое уж у него занятие! Во время споров он мог на кого-то накричать, пошуметь, но чтобы по-настоящему осерчать — такого не было никогда. В канун Нового года между ним и его клиентами — знаменными людьми происходили ожесточенные перепалки, однако в первый день нового года недавние враги шли друг к другу в гости, чинно кланялись и желали процветания в делах. Они забыли, что еще накануне они отчаянно спорили и ругались с багровыми от ярости лицами. Но сейчас лавочник рассердился не на шутку. Этот мошенник, прикрывшись своими новыми друзьями, смеет его шантажировать! Старый Ван стерпеть этого не мог. И тут он снова с уважением вспомнил своего сына.

«А что, если все-таки Глазастый в самом деле приплетет иностранцев? Что тогда?» Как и многие другие, лавочник побаивался их, не слишком хорошо представляя, какая сила за ними стоит. Он решил поговорить с братом Глазастого.

Когда Ван обо всем рассказал господину До, тот долго молчал, что-то обдумывая.

— Хозяин Ван! — проговорил он, еле сдерживая возмущение. В его голосе звучала решимость.— Возвращайся к себе, а я пойду к брату! — Чувствовалось, что он готов приступить к действиям немедленно.

— Вы...

— Иди, иди! Я попробую его найти. Жди меня у себя в лавке!

Господин До по своей натуре был человеком мягким и простодушным, однако в минуты гнева мог проявить большую твердость и настойчивость. Он отправился на поиски старшего брата с настроением самым воинственным .

— А-а, братец! Каким это ветром тебя занесло ко мне? — шутливо встретил его Глазастый, а сам подумал: «Кажется, совсем недавно ты проявлял свое недовольство из-за того, что я принял чужую веру. А ну, раскрой-ка пошире глаза, взгляни на меня сейчас!

Разве я такой же, как был прежде? Нет! Я теперь в силе! Туфа с перцем и соленые крабы, головизна и даже курочка в сое — теперь всем этим нас не удивишь. И водочка «Эрготоу», извините, нам сейчас не подойдет! Приглядись-ка ко мне, разве я не поправился?»

— Послушай, брат! — серьезный тон и волнение До второго согнали с лица Глазастого улыбку.— Послушай меня! Я обещал Вану расплатиться с твоим долгом и дал ему расписку, сказав, что верну все до единого медяка. Но только брать у Вана продукты ты больше не будешь!

Глазастого будто что-то кольнуло. Он никак не предполагал, что проклятый лавочник так быстро расскажет обо всем брату. А может быть, Ван струхнул? Вполне возможно. Ведь он же не знает, обещал ли помочь Глазастому пастор Ньюшэн. Но если он так перепугался, стоит попросить пастора припугнуть лавочника на самом деле! Только бы пастор согласился! Ах, господин старший До, до чего же хороша будет ваша жизнь!

— Покорно благодарю за услугу!.. Только прошу тебя мне не мешать! Все равно в заморских делах ты ничего не смыслишь!

— Брат! — Господин До вдруг упал на колени и стукнул головой об пол.— Во имя наших предков, прошу тебя, не стращай людей своими иностранцами! Стыдно это! Срам! — Руки у него тряслись, в лице — ни кровинки. Он с трудом поднялся, решив сейчас же уйти, но не мог двинуться с места. Глазастый опешил, а потом вдруг громко расхохотался:

— Эх, братец!.. Братец!

— Ну как? — с надеждой спросил господин До, думая, что тот одумался.— Ну как?

— Как? — Глазастый снова расхохотался.— Пошел прочь! Катись! — бросил он со злостью.

Господин До посмотрел на брата и, еле сдерживая гнев, медленно двинулся к двери. Он вышел за ворота и остановился, не зная, куда идти дальше. Человек по природе мягкий, он не мог раздавить даже букашку или бросить бранное слово собаке. Он никогда не сердился на брата и прощал ему все его причуды. Но разве мог он предположить, что тот осмелится на постыдную связь с чужеземцами?! Так всех опозорить! В сердце господина До клокотал гнев. «Как же все это произошло? — подумал он.— Почему это случилось именно со мной? Почему в приличном обществе знаменных людей произошла такая мерзость? Неужели мы, сегодняшние люди, превратились в низких тварей, которые должны расплачиваться за грехи своих предков — за то, что те лет двести назад вели войны на севере и юге и совершали свои карательные походы?» Не в состоянии ответить на эти вопросы, он, совершенно

убитый, направился домой, а когда пришел и сел на кан, заплакал.

После разговора с братом Глазастый как будто сначала немного растерялся, не зная, что ему предпринять. «Все же идти мне к пастору или нет?.. Пойду! А если выйдет осечка?.. А может быть, лучше пока не ходить?.. Тогда как я покажу свою силу?.. Эх, была не была, пойду! Если же случится какая-то неприятность, я откажусь от новой веры — вот и все! Любопытно, что тогда пастор скажет всевышнему?.. Точно! Так я и сделаю!..»

— Учитель! — Его голос звучал как-то особенно сладко. Язык послушно двигался во рту. Он с удовольствием повторил: — Учитель!

— Если у вас ко мне дело, выкладывайте быстрей, а то я очень занят! — Пастор куда-то торопился, и сейчас ему было не до утешения агнца. Ему хотелось вздуть Глазастого.

— Если вам недосуг... я зайду в другой раз! — Лицо гостя выражало нерешительность.

— Ну выкладывайте, выкладывайте! — подбодрил его Ньюшэн, поняв, что Глазастый хочет сообщить нечто важное.

Глазастый До сначала издалека и весьма осторожно стал рассказывать последние новости о бунтах против иностранных церковников.

— Очень я беспокоюсь за священнослужителей! Очень болею за них душой! — проговорил он.

— Вы истинный сын святой церкви! И весьма добропорядочный! — одобрительно кивнул головой пастор.

— Самому мне трудно сказать, лучше я других или нет, но порядочность во мне есть — это точно! — Глазастому очень понравилась мысль, которую он только что высказал. В ней не было ни сомнения, ни самовосхваления. Она отражала самую суть.

От дел в Поднебесной они перешли к Пекину.

— А что творится в Пекине? — спросил пастор.

Ньюшэн, зная о мятежах, которые вспыхивали здесь и там, очень интересовался слухами. Его церковь повсюду одерживала победы, чему он, разумеется, весьма радовался, но в то же время его мучило беспокойство. Он боялся за свою голову, которую мог в любой момент потерять. Что ему тогда от всех этих побед?! Он написал письмо дяде и попросил у него совета, как у самого крупного знатока Китая, который лучше самого всевышнего разбирается в китайских душах. В письме он старался намекнуть, что закусывать жирной пуляркой, конечно, неплохо, но вот как быть с головой, которую можно потерять в любой момент? Дядя ответил кратко и ясно: «Ты похож на ту кошку, которая боится мышей! Зачем их бояться? Если заварится каша, мы пошлем солдат. В дикой стране любая неразбериха нам только на пользу! Спроси у все-

вышнего, прав я или нет? И еще одно, самое главное: что бы там ни происходило, тебе следует приобщать души к лону церкви. А ты вроде как собираешься от этого увильнуть! Разве угас в тебе пыл проповедника? Словом, хочу, чтобы жизнь твоя была беспокойной и чтоб в местах, где ты живешь, никогда не было мира!»

Пастор Ньюшэн прозрел. Все, что писал дядя,— сущая правда. Недаром он разбогател. Уверенность пастора сразу окрепла. Он подумал, что эти китайцы вряд ли отважутся на бунт, но на всякий случай решил посоветовать своему посольству держать под рукой солдат, чтобы пустить их в дело, не дожидаясь событий. Надо, мол, держать ухо востро!

— Что творится в Пекине? Наверное, повсюду грязь и смрад! Каково место, таковы и люди! Кха-кха-кха! — закудахтал пастор.

Доверительные и задушевные слова, рассчитанные на полное понимание собеседника, доставили Глазастому До большое удовольствие, которое отразилось в улыбке, расплывшейся на его лице. Если пастор разговаривает с ним по-простому, без всяких церемоний, значит, они стали друзьями. А коли так, надо, как говорится, ковать железо, пока горячо! Он перешел к главному вопросу.

— А вы знаете, святой отец, лавочник Ван, хозяин «Торговой удачи»,— мятежник! Он поносит вашу паству и клевещет на церковь!

— Значит, надо на него заявить! Непременно! — Пастор подумал о дяде. Сейчас его родственник не посмел бы сказать, что племянник похож на трусливую кошку. В голове проносились разные мысли. «До нынешнего дня все судебные дела, связанные с религией, затевали католики. А теперь поднимет голос пастор Ньюшэн и сделает это в защиту своей церкви... Раньше религиозные суды начинались в сельской местности, а сейчас поднимется буча в самом Пекине! И он, конечно, сразу же прославится! А там — и почет и деньги! Посольство находится в Пекине. Если у него под носом готовится бунт, можно заранее послать солдат для подавления. Кроме того...» Ход мыслей все больше приводил его к заключению, что лавочник Ван — мятежник. Он непременно должен быть мятежником!

Глазастый До чувствовал некоторую неуверенность. Чтобы заявить на лавочника, надо иметь доказательства. А где они? Конечно, ему мог бы помочь младший брат, однако в этом случае Глазастый должен признать свою ошибку. Что же делать? А что, если попросить пастора, чтобы он заставил лавочника принести свои извинения? Пусть тот устраивает стол с выпивкой! Правда, Ван может отказаться. Вот тогда он и донесет на него властям!

Пастор также пребывал в нерешительности. Как же все-таки

обстряпать это дело? И вдруг ему пришла в голову хорошая мысль:

— Помолимся! — Он склонил голову и закрыл глаза.

Глазастый До немедленно последовал его примеру и тоже закрыл глаза. «Куда же лавочник нас пригласит? — подумал он.— Можно пойти выпить в Шаньдунский ресторан, что за Передними воротами — Цяньмынь. Но неплохо посидеть в какой-нибудь известной харчевне, где готовят отличное белое мясо! И там, и здесь есть свои достоинства». Мечтая о застолье, он забыл о том, что надо сказать всевышнему.

— Аминь! — Пастор открыл глаза, а Глазастый До закрыл их еще крепче. Его душа, переполненная самыми чистыми чувствами к богу, словно освободилась от земного бремени.

— Итак, сначала заставим его попросить прощения! — сказал Ньюшэн. Он уже смекнул, что прежде всего надо сытно поесть за счет лавочника. Это будет самым разумным!

9

Глазастый До, как и всякий другой невежда, презирал знания. Не любил он также людей с «твердой косточкой», потому что сам такой твердостью не обладал. Что он любил? Пожалуй, больше всего — мясо под соей. Но кое-что он все-таки знал. В его голове, например, хранились всякие пустяшные и малоправдоподобные истории, из которых одну он рассказывал особенно охотно, потому что в ней шла речь о мясе под соусом. «В лавке «Торговая удача»,— говорил он,— есть здоровенный пень от какого-то огромного дерева, на нем хозяин разделывает вареное мясо. Как вы думаете, отчего этот пень такой высокий? Ведь в древности, как известно, стол для разделки мяса делали низким, чтобы нашим знаменным братьям было поваднее брать с него куски мяса: один тянет кус пожирнее, другой попостнее — словом, кому что нравилось. Понятно, что во время трапезы одна рука натыкалась на другую, один нож — на второй. В любой момент могла возникнуть перебранка и пролиться кровь. А где кровь, там и суд! Вот тогда пень стали делать все выше и выше, чтобы ни рука, ни тем более нож не могли столкнуться. Так-то!»

Рассказывая эту преглупую историю, он тем не менее своего мнения не высказывал, но зато с охотой делился своими предположениями, извлекая на свет другой рассказ, в котором слушатель мог обнаружить особый смысл. «Как известно, многие знаменные люди весьма любят нюхать табак. Придет один из них в табачную лавку, вынет свою табакерку, а перед ним уже суетится приказчик. Кладет на прилавок горсточку табака и предлагает гостю

попробовать. Нюхайте, мол, на здоровье и набивайте свою табакерку. Так вот, неплохо, чтобы такой порядок завели во всех пекинских лавках — тогда не будет ни произвола, ни мошенничества... В свое время некоторые приказчики такого правила о понюшке табака не знали, и покупатель часто томился возле прилавка, не зная, что ему делать. И тогда одному знаменному пришла в голову светлая мысль. Если он видит, что на прилавке нет кучки табака, то подзывает к себе приказчика и хвать его по физиономии. Раз, другой — и что же вы думаете? Помогло! «Понюшка с почтением» стала в табачных лавках обычным явлением».

Если вдуматься в истории о пне и понюшке табака и сопоставить их вместе, нетрудно заметить, что Глазастый рассказывал их не случайно. Тот, кто их слушал, должен был сообразить, что лавочнику следует вспомнить некоторые старые обычаи и подавать клиентам «мясо с почтением».

Глазастому было совершенно безразлично, знаменный он или нет и следует ли ему защищать свое маньчжурское достоинство. Но вспоминая обычай «о понюшке табака», он невольно задумывался о преимуществах, которыми когда-то пользовались знаменные собратья. Вот именно! Ведь что не говори, а этот обычай (сколько еще было других!) изобрели именно они, маньчжуры! После обращения в новую веру он пришел к такому интересному выводу: бог вначале создал пекинского человека, а уже этот знаменный пекинец изобрел все хорошие правила и обычаи.

Именно так было в жизни, а потому созидательную деятельность стоит продолжать дальше. Что из того, что лавочник ему отказал в свиных ножках и деньгах? Ха-ха! Потом он раскошелится на выпивку, а заодно принесет и свои извинения! И это только начало. А сколько нового последует после этого! Лицо Глазастого озарила довольная улыбка. С этого момента она не исчезала ни днем, ни ночью. Его лицо походило сейчас уже не на обычную лепешку — шаомай, а на шаомай с тройной начинкой.

Но случилось так, что лавочник Ван извиняться не пожелал, отчего Глазастого чуть было не хватил удар. По правде говоря, все это время лавочнику было как-то не по себе. И все же к брату Глазастого он не пошел. Зачем понапрасну тревожить хорошего человека?! К тому же сейчас он был твердо убежден, что все неприятности идут от чужеземцев, а вот как этому противостоять, не знал, так как не имел опыта, и потому нуждался в поддержке. Старик невольно вспомнил Фухая — не потому, что тот был маньчжуром, а потому, что Фухай мог ему помочь как друг.

С тех пор как ушел Шичэн, Фухай старого Вана избегал. И вдруг лавочник пожаловал к нему сам. «Неужели Шичэн вер-

нулся в Пекин?» — с беспокойством подумал молодой человек.— А может быть, что-то случилось?» Когда лавочник рассказал, Фухай немного успокоился, но ненадолго, потому что скоро понял: дело Вапа совсем не простое. Оно связано с тем, о чем в свое время рассказывал Шичэн. В такие дела лучше не вмешиваться. Их избегают даже правители уезда и области, которые боятся этого пуще огня. А он, Фухай, всего-навсего простой знаменный солдат и служит не где-то в глуши, а в столице. Но отказать старику, небрежно отмахнувшись от его просьбы, тоже как-то неудобно. Надо что-то придумать. После того как ушел Шичэн, Фухаю все время казалось, что он будто бы что-то потерял. Нет, отмахнуться от старика никак нельзя, хотя бы уже потому, что он отец хорошего парня. К тому же нельзя забывать, что Глазастый хоть и приписан к знамени, однако потерянный для своих людей человек, поэтому его следует ненавидеть — ненавидеть всем нутром! В общем, как ни гадай, оставаться в стороне никак нельзя!

— Дядюшка Ван! А что, если нам пойти к господину Дин Лу? Что скажете?

— Удобно ли? — В авторитете богача лавочник нисколько не сомневался. Его смущало сейчас лишь то, что в конце каждого года, а иногда и квартала, он посылал господину Дин Лу счет.

— Сделаем так. Сам я просить не могу из-за своего низкого положения и по молодости лет — вон, видишь, даже усов у меня порядочных нет. Поэтому попросим отца и Чжэнчэня. У отца чин цаньлина, а у того — цзолина. К Дин Лу надобно идти всем вместе. Может быть, сообща найдем какой-нибудь выход! Посмотрим, что из этого получится! Идите, дядюшка, домой и ждите моего ответа!

Мой дядя Юньтин, узнав, что его соплеменник, презрев свою родословную, обратился к чужой вере, высказал резкое недовольство.

— Если в чужую веру обратился маньчжур, что тогда говорить о китайцах? — воскликнул он, хотя в обычной жизни маньчжуров и китайцев он не разделял. Да и в самом деле, кто из знаменных откажется пойти в харчевню закусить или выпить чаю только потому, что ее хозяин и слуги — китайцы? Однако в крупных делах, по его мнению, все должно быть иначе. К ним дядя относил свадьбу между маньчжурами и китайцами или обращение к чужой вере. В подобных случаях знаменному мужу должно проявлять разумную дальновидность и прежде, чем что-то предпринять, хорошенько все взвесить, дабы не промахнуться. Какой бы ни был этот До, глазастый или носастый, он вызывал в душе дяди отвращение. Однако, услышав, что дело касается иностранцев, дядя энергично замотал головой.

— Пустая затея! Лучше в это дело не встревать! — Он любил повторять эту фразу. Ему казалось, что в ней заключен не только его богатый опыт и глубокое знание жизни, но и многолетняя служба на чиновничьем поприще.

Фухай ничего не ответил. Внешне сохранив друг к другу уважение, отец и сын остались каждый при своем мнении. Юноша отправился к Чжэнчэню.

Стоял конец августа, и приближался сентябрь — самый приятный месяц в Пекине. В эту пору ветры бывают редко, а если и дуют, то легкие, приносящие прохладу в жаркие часы дня, что доставляет пекинцам удовольствие. Изменились цвета и оттенки одежды. Они стали более яркие и броские по сравнению с летом, когда все люди стараются одеть платье попроще и поскромнее. Фрукты уже созрели. На прилавках и небольших лотках, которыми забиты сейчас улицы, навалены груды фруктов, привезенных с разных концов страны. Своим многоцветием и сочностью оттенков они украшают город в пору ранней осени. В лучах солнца сияют глазурованная черепица императорского дворца и позолоченная верхушка Байтасы. Оттого что ветры стихли, пыли на улицах мало, поэтому осень — хорошее время, чтобы навести глянец на фасады домов. Лавки разбогатевших купцов украсились новыми вывесками, а двери покрылись свежим слоем лака. У певчих птиц, которых хозяева все лето кормили саранчой и прочими насекомыми, оперенье сейчас особенно яркое и блестящее. В лучах солнца перышки переливаются как самый дорогой атлас.

Во дворе, где жил Фухай, росло несколько финиковых деревьев, на ветвях которых сейчас висят созревшие плоды. Фухай сбил несколько фиников и, завернув их в тряпицу, понес в подарок Чжэнчэню и его жене. Надо сказать, что в ту пору жизнь у знаменных людей была довольно беззаботной, поэтому взаимные визиты друзей и родственников принадлежали к числу событий чрезвычайной важности. Навещая друг друга, люди многое узнавали и цепко держали полученные сведения в своей памяти. Скажем, у такого-то во дворе расгет большое дерево абрикоса, которое согнулось, будто горбун. А у другого возле дальних дверей дома есть две яблони «тигровки», которые хотя и цветут, однако же не плодоносят. Каждый не забывал, что в положенное время кто-то непременно должен принести ему фрукты в подарок, и с нетерпением ждал этого момента, потому что считал такой дар выражением дружеской близости и добросердечия, не говоря уже о том, что в нем заключалась известная выгода.

Но вот свекровь моей сестры никому фруктов не дарила, потому что в свое время поклялась фруктовых деревьев у себя во дворе не сажать. Давным-давно росло у нее несколько белых фини-

ков и медовых персиков, но, охраняя их, она чуть было не проглядела свои глаза. Это обстоятельство, однако, ничуть не мешало ей проявлять большое внимание к тем, у кого фрукты росли. И если кто-то из родни забывал подарить ей персик, или яблоко, или какой-то другой плод, она видела в этом неуважение к себе: непочтительность и бунт! Вот почему Фухай захватил с собой несколько фиников. Без них идти не имело смысла.

Мой зять Дофу, как всегда, гонял во дворе голубей. Задрав голову кверху, он неотрывно следил за «летающим серебром» и крутил головой вслед за каждым поворотом птичьей стаи. Его шея от непрестанного верчения немного побаливала, но — как говорится, «без печалей не может быть радостей» — душу переполняло безмерное блаженство. Голуби поднимались ввысь, отчего казалось, что небо нынче необычайно ясное и синее, и с каждым мгновением становится будто еще выше и глубже. В его лучезарной синеве особенно отчетливо выделяются белые и черные голуби, на крыльях которых поблескивают маленькие золотистые звездочки. Рот у Дофу полуоткрыт и на губах застыла счастливая улыбка.

Люди, голуби, небо — все вокруг напоено духом радости, веселья и счастья.

Сегодня Дофу выпустил всего два десятка своих красавцев, из которых половина чистых, белокрылых с черной головой — черноголовых фениксов и чернохвостых с пятнами, которых еще зовут черно-крапчатыми. Остальные — сизые крапчатые и два голубя железнокрылых: черная голова, черный хвост и крылья. Стая не бог весть какая крупная, но голуби в ней все, как на подбор,— куплены со знанием дела. В эти дни начала осени небо удивительно высокое, а ветерок слабый, немного прохладный. Если сейчас выпустить одних чистых или белохвостых, они своим легким полетом, пожалуй, не смогут оттенить красоту окрестного пейзажа и дуновение осеннего ветра. А взгляните на этих чернохвостых! Какая сила заключена в каждом взмахе их крыльев и коротких хвостов! А вон те несколько сизарей! Конечно, видом своим они немного поскромнее, но зато как ярко переливается их лиловое перо при каждом наклоне и повороте птицы! Поначалу кажется, что чистых больше, чем нужно. Но приглядитесь к паре железнокрылых, которые дополняют ансамбль. Грудка у них белая, а все остальное тело — черное. Будто два диковинных цветка, они украшают всю стаю. Словом, голубиная стая подобрана мастерски. Вот почему Дофу, выпустив своих любимцев, в душе посмеивался над голубятниками-богачами, которым по карману держать сотню, а то и больше голубей. Каких только мастей нет в их стае! Однако досадно, что все у них как-то бестолково перемешано! Посмотришь на такую стаю и невольно на ум приходит давнее изречение:

«Истинная ценность заключена не в количестве, но в утонченности!» Дофу не знал, кто из древних сказал эту фразу, однако проникся к своим познаниям еще большим уважением, потому что еще в старину говорили: «Ищи доказательство в стихе».

Однако, упиваясь радостью в минуты забавы, не следует забывать о бдительности. Надо все время сохранять осторожность. Хотя западный ветер[1] еще не выжелтил листьев на деревьях, Дофу отказался прикреплять к голубиным перьям свистульки. Он боялся, что пронзительные звуки услышит давний голубиный враг «вороний тигр» — ястреб, который осенью появляется в пекинском небе. Надо держать ухо востро! Вороний тигр мог прилететь на несколько дней раньше обычного. Тогда беда! Дофу внимательно следил за стаей. Если в ней появятся признаки беспокойства или смятения, значит, враг где-то поблизости. Надо немедленно звать голубей обратно — не испытывать судьбу. Сегодня голуби летают как будто спокойно, но Дофу не рискнул поднимать их слишком высоко в небо, потому что воздушный разбойник любит нападать в вышине. Дофу открыл клетку и выпустил несколько старых птиц — ветеранов, которые тут же сели на крышу. Летающие голуби, сложив крылья, устремились к земле. Сердце Дофу вместе с ними опустилось вниз и заняло место в груди.

Фухай стоял посредине двора и ждал. Он знал, что в минуты голубиной забавы Дофу ни на что больше не способен, потому что ничего не слышит и не видит. Он терпеть не может, когда кто-то мешает любимому делу. Но вот голуби сели на крышу, и теперь Фухай может с ним поговорить.

— Эй, Дофу! Здорово у тебя получается!

— А, Фухай! — Дофу только сейчас заметил гостя. Он хотел было извиниться, но, поскольку его мысли все еще витали вокруг голубей, забыл это сделать и с удовольствием ухватился за фразу, брошенную Фухаем.

— Что? Только «здорово»? Нет, это настоящее искусство! Ты видел, как я их посадил? А теперь внимательно к ним присмотрись! Каждым из них можно любоваться целый день. А ты говоришь здорово!

Дофу высыпал в клетку горсть гаоляна, и голуби слетели с крыши.

— Взгляни, где ты еще найдешь такого сизаря или вон того крапчатого? А вот этот — Фениксова голова! Обрати внимание, какой крупный! Великолепный экземпляр! А как взлетает, как садится! Одно слово — прекрасно!.. Вот это и есть истинное удовольствие!

[1] Осенний ветер.

Фухай как следует не успел полюбоваться фениксом, а хозяин уже показывал ему других птиц: пару лиловых «тигров»-гривачей.

— Эй, Фухай, посмотри-ка вот на эту пару! Ну разве не драгоценность? Взгляни, воротник у них спускается до самой груди! А какие размеры! И обрати внимание: ни одного лишнего перышка! Откровенно тебе скажу, нигде больше таких птиц не найдешь! — Дофу вдруг понизил голос, будто испугался, что их кто-то может услышать: — Они из поместья князя Цинвана... Служит там некий Сю Цюань — мастер Сю, как его еще кличут. Так вот он умудрился стащить пару голубиных яиц. Перед тобой, можно сказать, княжеская игрушка! Не голуби — фениксы!

— Угу, красавцы! Видно, тебе пришлось хорошо заплатить этому Сю? Глядишь, лян, а может, и побольше?

— Ты что, рехнулся? Да на лян он даже не взглянул бы! Нет, Фухай, я выложил целых три ляна, да и то только по знакомству!.. А ты знаешь, сколько на самом деле стоят эти птицы? Целое состояние! Не веришь? Хочешь, выкладывай сейчас десять лянов!.. Только я еще подумаю, отдавать или нет!

— Нет, деньги я пока приберегу... Они мне понадобятся для свадьбы!

— Ну можно не все...— Дофу заговорил еще тише: — Ты помнишь Бо — сына Бо Шэна? Так вот он умудрился обменять свою жену на пару синеголовых!

Дофу вдруг заметил в руках гостя узелок.

— Никак у вас финики созрели? Ах! До чего же я их люблю, эти ваши «лотосовые»! Косточки махонькие, кожица нежная, а мякоть какая-то необычная — кисло-сладкая! Вкуснотища! Спасибо тебе! — Он поклонился и взял узелок.

Фухай вошел в гостевую комнату и, поклонившись обоим старикам, проговорил:

— Вы уж извините, нечем вас особым попотчевать! Вот только немного фиников с нашего двора! — Он показал на гостинец.

Моя сестра принесла чай. Она что-то сказала (а может быть, всем это только показалось) и, встав в положенном ей месте, застыла, опустив руки.

Дофу не терпелось полакомиться плодами. Его рука старалась проникнуть в узелок, но под бдительным оком матери сделать это ему так и не удалось.

— Невестка! — послышался приказ свекрови.— Сними фрукты ко мне и положи в коробку.

Сестра удалилась. Дофу сильно сконфузился.

В присутствии свекрови Фухай не решался говорить о деле лавочника Вана, опасаясь, что старуха его непременно осадит. Дочь

титулованного чиновника, она всегда напоминала о своем происхождении. Старая женщина на все имела свой собственный взгляд и знала, что надо делать в любых делах, даже в тех, в которых ничего не понимала. Стоило ей сказать: «Нечего в это дело встревать!», и ее супруг, господин Чжэнчэнь, ни за что не осмелился бы нарушить приказ. Это не означало, что Чжэньчэнь до смерти боялся жену, просто он придерживался в жизни одного правила: ни во что не вмешиваться! По его мнению, так жить гораздо спокойней. Фухай решил набраться терпения и ждать, когда старуха покинет комнату. Если надо, он будет ждать хоть целый день. О деле он, разумеется, не говорил, а болтал о всяких пустяках.

Вдруг откуда-то послышалось еле слышное покашливание сестры. Так кашлять умела только она, и в этом заключалось большое искусство. Для одних ее покашливание таило в себе особый смысл, другим оно ни о чем не говорило, но было приятно на слух. Словом, каждый понимал его по-своему. Услышав покашливание, свекровь встрепенулась, и глаза ее округлились. Заметив беспокойство старухи, Фухай улыбнулся.

— У вас есть какие-то дела? Пожалуйста! Пожалуйста!

Старуха с важным видом удалилась. Теперь Фухай мог изложить мужчинам свое дело. Дофу, толком не разобравшись, что к чему, пришел в страшное возбуждение. Как говорилось раньше: злость его поднялась из самого сердца, ярость заполнила печень!

— Что? — заорал он.— Какие еще иностранцы! Да что в них такого. Да я их!.. Им следует знать, что Дайцинская империя — великая держава и все заморские страны должны нести нам дань, как это положено вассалам! — У него тут же созрел план действий.— Фухай, ты сам не вмешивайся, а положись во всем на меня! У меня есть знакомые в войсках: наставники по борьбе и охранники складов. Не скажу чтобы их было очень много, но человек тридцать — сорок наберется. Пусть у этого Глазастого хоть тысяча глаз, как у Будды, выбьем их все до единого!

— Что, руки чешутся подраться? — Фухай засмеялся.

— Точно, будем драться! И положим их на обе лопатки, чтобы запросили пощады, а не попросят, забьем до смерти! — Дофу в сердцах сплюнул и, вскочив со своего места, принялся размахивать кулаками.

— Дофу! — Отец назвал сына не по имени, а по прозванию. Сразу видно, что культура знаменных людей стала очень высокой.— Сядь на место!

Когда сын сел, отец прокашлялся громко и размеренно. Вообще говоря, он кашлять не хотел, но сейчас такая необходимость возникла.

— А как относится к этому господин Дин Лу? — спросил он.

— Не знаю, я пока обратился только к вам!

— Мне кажется, что, если в чем-то нет уверенности, лучше этого не делать! — медленно проговорил он, показывая всем своим видом, что, прежде чем сказать эту фразу, он все трезво обдумал.

— Причем здесь уверенность? Вздуть его надо, а потом разговаривать! — Дофу стоял на своем.— Я хоть сейчас могу позвать двух знакомых с желтым поясом. Проучим его хорошенько, и ничего не случится!

— Дофу! — Отец достал ассигнацию в четыре чоха.— Иди пройдись! Посмотри, не продают ли на улице белые груши! Купи несколько. Что-то у меня эти дни жжет в груди!

Дофу, взяв деньги, направился к выходу. Своей сыновьей почтительностью, которая сочеталась с решительностью, он напоминал Цзылу — ученика Конфуция.

— Фухай! — сказал он.— Ты пока посиди, а я схожу куплю батюшке фруктов! Что до драки, то ты только мне намекни!.. За мной дело не станет!

— Чжэнчэнь!.. Так вы...

— Фухай! — Голос хозяина дома звучал проникновенно.— В мутную воду лучше не залезать!

Надо сказать, что в подобных ситуациях Чжэнчэнь сильно отличался от моего дяди Юньтина. Тэт, отказывая кому-то в поддержке, старался подчеркнуть свое положение, которое заставляло его воздерживаться от поспешных и опрометчивых действий. А вот любитель птиц и заядлый театрал Чжэнчэнь, отказывая в помощи, пытался соблюсти интересы обеих сторон, а потому тон его голоса отличался большой задушевностью.

— Фухай!... Мы с Дофу собрались послушать сказителей: Шуан Хоупина и Хэн Юнтуна... Оба рассказывают «Путешествие на Запад» [1]. Заслушаешься! Пойдем с нами!

— Нет, не могу! Может быть, в другой раз схожу, а нынче...— Он улыбнулся, но улыбка получилась неестественной, потому что он расстроился, хотя и не показывал виду. Напыщенность и позерство Дофу ему не понравилось сразу. Наговорил невесть что, только все это одна пустая болтовня. Сам знает, что не пошевелит и пальцем. А если на самом деле хотел подраться, значит, просто дурак! Неужели не понимает, что у знаменных уже нет прежней силы?.. А Чжэнчэнь — этот еще похлеще! Умыл руки, и все! Видите ли, ему надо послушать «Путешествие на Запад»!..

В комнату вошла старуха, а вслед за ней моя сестра. Сестра возвратила Фухаю тряпицу, в которой было что-то завернуто: по

---

[1] Известный средневековый роман о паломничестве танского монаха Сюаньцзана и его учеников в Индию.

тогдашним правилам гость не должен уходить с пустыми руками. Вот почему свекровь и невестка так долго отсутствовали. Старая женщина, как известно, любила сладко поесть, поэтому в доме обычно ничего из съестного не хранилось. Женщинам пришлось все перерыть, прежде чем кто-то из них случайно не наткнулся на коробочку с абрикосовыми ядрышками. На коробке была надпись: «16-й год Гуансюя» [1].

— Сойдет! — успокоила старуху сестра.— Главное, чтобы в узелке что-то лежало.

Фухай поблагодарил женщин поклоном за редкий подарок и попрощался. Выйдя за ворота, он развернул узелок, и коробка с орешками тут же отправилась в кучу мусора. В те годы такие кучи возвышались на каждом шагу, что было весьма удобно.

10

Фухай — парень настойчивый и деятельный. Прослышав, например, что в лавке, скажем, в заведении «Небесная добродетель», вот уже несколько дней нет какого-то снадобья, он непременно пойдет туда сам, чтобы убедиться в этом собственными глазами, потому что слухам не верил. Вот и сейчас он решил действовать на свой страх и риск. Он не был уверен в том, что господин Дин Лу примет простого знаменного солдата, но почему бы ему не попытать счастья? Если примет — считай, что ему повезло, а если от ворот поворот — придется что-то придумать еще! Но прежде всего надо задобрить управляющего подарком, иначе об аудиенции и не мечтай. В лавке он купил две жареные курицы, но цель покупки от лавочника скрыл. К чему доставлять старику лишние беспокойства. Помогать так помогать! Свой подарок он положил в красный пакет, на который приклеил этикетку с черными иероглифами. Подарок выглядел нарядно. Фухай невольно в душе засмеялся, подумав: «И зачем только все это придумали?» Подношений, походивших на обычную взятку, он не терпел, считая такой обычай ненужным и докучливым, и все же порой находил в нем нечто забавное. К тому же он маньчжур, а потому вряд ли ему удастся вырваться из этого круга «куриных подношений». Выхода нет!

Вручая подарок управляющему, он сказал, что пришел по просьбе лавочника Вана. Дельце, мол, совсем ничтожное, ну прямо с булавочную головку; никаких трудностей оно для вашего господина не составит. Лавочник Ван очень надеется, что господин Дин Лу ему не откажет в поддержке. Сам он прийти не решился, по-

[1] 1891 год.

скольку он всего лишь мелкий торговец, поэтому и поручил свое дело ему, Фухаю. Молодой человек тонким намеком дал управляющему понять, что его отец не простой смертный, а цаньлин, имеющий чин третьей степени. Он сказал это с умыслом, так как знал, что сам господин Дин Лу, хотя и богат, но чиновничьего звания не имеет. Фухай также намекнул, что во время беседы с хозяином он ничего опрометчивого не скажет. Например, и словом не обмолвится о том, сколько сейчас медяков дают за лян серебра или почем продается жареная курица. Он уже смекнул, что деньгами здесь, как и всеми покупками, ведает управляющий. Поэтому, если господин Дин Лу вдруг поинтересуется насчет жареных курочек, Фухай ему ответит, что сейчас, мол, они очень сильно поднялись в цене. В конце концов, не на суде же ему все это объяснять!

Фухай говорил витиевато, сопровождая свою речь неожиданными поворотами, чтобы управляющий лишь уловил суть дела, после чего делал новый крюк в рассуждениях или возвращался к прежней теме. Он готов ждать хоть несколько дней! Куры остались лежать на столе, и управляющий его не выгнал. Это добрый знак! Но управляющему, как видно, в конце концов надоело слушать гостя. Лениво поднявшись с места, он проговорил:

— Ладно! Жди ответа здесь!

К счастью, хозяин дома находился в добром расположении духа, и юноше ждать почти не пришлось.

Господин Дин Лу принадлежал к числу просвещенных маньчжуров. Его дед и батюшка за долгие годы службы в далеких провинциях собрали несметные богатства, которых и сейчас оставалось довольно много. Господин Дин Лу охотно запускал в них руку, потому что нигде никогда не служил и к службе не рвался. В год реформы он немного сочувствовал реформаторам и этим, конечно, отличался от таких людей, как Юньтин или Чжэнчэнь, которые очень беспокоились, что в результате нововведений они потеряют свои знаменные привилегии. Господина Дин Лу эти мелочи нисколько не волновали, так как недалеко от его поместья проходила улица, на которой половина домов принадлежала ему. На аренду от этих построек он мог жить припеваючи чуть ли не до конца своих дней. Господин Дин Лу считал себя мужем возвышенным, потому иногда позволял себе думать, что когда-нибудь в будущем он, как герой Цзя Баоюй [1], примет постриг. Он свысока относился к деловому предпринимательству — «реальному делу»,

[1] Герой известного романа Цао Сюэциня «Сон в Красном тереме» (XVIII в.), который ушел из семьи, приняв постриг.

как тогда говорили,— и всякий раз, когда друзья просили его помочь деньгами, он отрицательно качал головой. Однако своего мнения о Ли Хунчжане и других чиновниках, которые ратовали за развитие делового предпринимательства, он старался не высказывать, поскольку сам не слишком хорошо понимал, что оно означало. Однако отвергать его он тоже не решался, так как эти слова сейчас звучали модно.

Да! Вокруг происходили бурные события. Они коснулись даже таких богачей, как Дин Лу. Не в состоянии отгородиться от жизни, они были вынуждены как-то изменить или подправить наиболее заскорузлые взгляды знаменных людей, хотя смысла происходящего толком не понимали. Из-за своих громадных богатств они порой даже не замечали, что творится у них перед глазами. Вот, скажем, сам Дин Лу. Иногда он вел себя как настоящий мальчишка, который бывает порой понятливым, а порой бестолковым и дурашливым.

Из многочисленных прожектов молодого Дин Лу, пожалуй, лишь один имел долю здравого смысла — план развития просвещения, чтобы с помощью знаний укрепить Дайцинскую империю. Как Дин себе это представлял? А вот как. По его мнению, чем больше в стране людей, способных понимать иероглифические письмена, тем утонченнее и изысканнее делается общество. Ах! Как было бы мило, если бы в праздники Лета и Середины осени или с наступлением дня Двух девяток все вокруг слагали бы стихи, вкушая желтое шаосинское вино! Тогда наверняка в Поднебесной воцарилось бы благоденствие! По правде говоря, господин Дин Лу мог без труда осуществить свои проекты, согласись он, к примеру, отдать под школу один из своих домов — не большой и не маленький, а самый что ни на есть обыкновенный. А если бы он еще продал одно строение, то на эти деньги можно было бы оборудовать школу всем необходимым имуществом. А если бы он принес такую небольшую жертву, то сразу же прославился бы как человек, готовый ради просвещения пойти на любые лишения.

Хозяин дома слушал рассказ Фухая с вниманием, о чем свидетельствовали многочисленные восклицания вроде «Ах!», «Хе-хе!», которые раздавались в подходящих местах. Фухай, поначалу чувствовавший некоторую скованность, обрадовался. На лице юноши появилась улыбка. «Эх, правильно говорят: если сам не сходишь в лекарню, не узнаешь, какие там снадобья!» — удовлетворенно подумал он. Однако приукрашивать события, чтобы пробудить у богача интерес, он не решался: «Кто знает, что у него на уме? Все они с норовом!»

Когда Фухай закончил свой рассказ, Дин Лу закрыл глаза и задумался, но скоро снова открыл глаза и, встрепенувшись, хлоп-

нул по своей ляжке пухлой белой рукой, украшенной кольцом из прозрачного бирюзового нефрита. За громким хлопком последовали восклицания «Э!» и «А!», предварявшие мысль, которую он хотел выразить.

— Я вижу, что ты дельный парень!.. Поможешь мне наладить школу!

— Что?! — Фухай от неожиданности чуть было не подскочил на месте.

— Что ты кричишь? Сначала послушай, что я тебе скажу!.. Ты думаешь, почему наша Дайцинская империя... А? — Его слова прозвучали тихо и как-то торопливо. Когда Дин Лу хотел сказать что-то туманное, он издавал звук «А?», заставлявший собеседника гадать, что он означает.— Вот ты говоришь, что сейчас многие знаменные люди подлаживаются к иностранцам. А отчего это происходит? А?! Оттого, что люди сызмальства не учатся и потому не понимают великих истин! Нет, без школ нам не обойтись! Никак не обойтись! Вот ты этим и займись. Мне кажется, ты для этого вполне подходишь. Ты дельный парень. Ха-ха-ха!

— Мне? Заниматься школой? Так ведь я даже не знаю, какая она, школа! — Фухай растерялся, хотя трудности его не пугали.

Господин Дин Лу продолжал смеяться. Ему впервые приходилось разговаривать с таким человеком, как Фухай. До сего времени он встречался с людьми, которые лишь поддакивали ему и во всем соглашались, что бы он ни сказал, даже если бы потребовал от них разрыть могилу предков. Правда, этим людям было известно, что гробокопательством заниматься все равно не придется, так как через минуту господин Дин Лу уже позабудет о сказанном. Но Фухай, несмотря на свою сметливость, сдержать своих чувств не смог, так как не привык общаться с такими вельможами, как Дин Лу. Между тем хозяина разговор заинтересовал — наверное, своей необычностью, какую богач иногда замечал и во вкусе пресной лепешки — вовотоу.

— Мне кажется, ты из тех, на кого можно положиться. А если на человека можно положиться, значит, с ним все нипочем. А?! Я не один день ищу такого человека, как ты. Всяких видел, а таких надежных не встречал! Вот, скажем, мой управляющий... А?.. Я как-то велел ему купить маленького кролика, а он истратил столько денег, что их хватило бы на целого верблюда! Ха-ха-ха!

Фухаю очень хотелось спросить, почему Дин Лу до сих пор не уволил управляющего, но задавать этого вопроса не стал, чтобы не вызвать у Дина нового приступа хохота.

— А?! Я догадываюсь, о чем ты сейчас думаешь! Да, я хотел его уволить, еще лет пять назад, но потом раздумал. Допустим, я

его прогоню и найму другого. А где гарантия, что этот новый, купив кролика, не предъявит мне счет за трех верблюдов?

Фухай хотел засмеяться, но сдержался.

— Господин Дин Лу! — Он попытался вернуться к прежней теме.— Так как же все-таки с делом лавочника? Можно ему чем-то помочь? Как вы думаете?

— Э! Так ведь он всего-навсего шаньдунец!

Эти слова кольнули Фухая в самое сердце. Он низко опустил голову и надолго замолчал.

— Ты что? — участливо спросил хозяин. В своем доме Дин Лу был царьком, поэтому иногда испытывал тоску и одиночество. Ему порой казалось, что он принимает очень близко к сердцу жизнь людей и судьбы страны. Он мечтал, подобно Чжугэ Ляну, в нужный момент выйти из своей хижины и представить всему миру свои прожекты. Однако, взращенный в холе и окруженный с детства вниманием, он редко покидал свои хоромы с цветниками, а поэтому искренне верил, что рис и мука, как и всякие продукты из птицы, рыбы или мяса, производятся только на кухне, а белые дольки свежего лотоса или кисловатый напиток суаньмэйтан — в его погребах. Ему никогда не приходилось сталкиваться с трудностями, какие испытывают обычные люди, и он не понимал их жизненных тревог. У себя в доме он имел все. Каждая его прихоть мгновенно исполнялась. А когда шел в гости, он сразу же оказывался в центре внимания, как ясный месяц в окружении звезд. Может быть, поэтому ему иногда было тоскливо и немного одиноко. Каждый день одни и те же лица и угодливые речи! Ему хотелось увидеть перед собой хотя бы одно, но живое лицо, познакомиться с человеком, который мог бы стать его настоящим другом. Вот почему он с легкостью необыкновенной вдруг принимался восхвалять первого встречного, теша себя надеждой, что через эту встречу у него завяжутся новые знакомства и он тем самым расширит свое познание жизни. Его новым любимцем мог стать цветовод, только что назначенный на эту должность, или мастер по разведению золотых рыбок. Дня три или четыре он мог с утра до вечера находиться в их обществе, расспрашивая о том, как разводить цветы или рыб. Однако, как и управляющий, они держались с хозяином слишком церемонно и с нарочитой почтительностью, отчего он испытывал огорчение и даже тоску. Новая забота быстро приедалась, и его больше не интересовали ни садовник, ни мастер по разведению рыбок. Каждый из них по-прежнему занимался своим делом, но только без его участия, не обращая на хозяина никакого внимания.

Сегодня в числе любимцев богача оказался Фухай. Парень видный и ладный, Фухай к тому же умел вовремя сказать что надо.

Он хотя и знаменный, но какой-то не такой, как все, совсем не похож, например, на управляющего. Ох уж этот управляющий! Зимой и летом в одном и том же халате, который спускается у него чуть ли не до пят. А как ходит! Бесшумно — прямо двуногий кот!

«Что же делать? — думал в это время Фухай, не зная, как выйти из затруднительного положения.— Эх, была не была! Дин Лу мне не начальник! Может, задену его, но скажу, что думаю!»

— Господин! Шаньдунец он или нет — это неважно! Главное, что он наш соплеменник и что над ним измываются иностранцы! Неужели вы к ним не испытываете ненависти? Ведь они же сидят на нашей шее! — Высказавшись, юноша почувствовал, что у него как будто полегчало на душе, но тут же он с тревогой подумал: «Главное, чтобы его не спугнуть! Как говорится, когда толчешь чеснок в глиняной ступе, помни про пест!»

Слова юноши задели богача за живое. «Этот молокосос вздумал меня учить! Да как он смеет!» Однако Дин Лу сдержал свой гнев. Прогонять парня пока не стоит — он ему приглянулся.

— Ненавидеть? Какой смысл? А?! Главное, надо сделаться сильными! — Высказав эту мысль, Дин Лу подумал про себя, что он как раз и есть такой «сильный человек». Он не курит опиума и знает, кто такой Линь Цзэсюй [1], он нигде не служит, поэтому он честный и лишен всякой корысти. Конечно, он любит широко пожить, но ведь деньги ему достались от предков, поэтому никого не касается, как он их тратит.

— Господин, вы, наверное, слышали, что вокруг шумят ихэтуани!

Упоминание о мятежниках озадачило молодого барина. Палец, украшенный зеленоватым перстнем, стал теребить пушок над верхней губой (брился барин через два дня на третий). Дин Лу считал, что только он один способен понять важные проблемы страны и порассуждать о делах Поднебесной. Среди его приятелей было немало людей с положением, у которых всегда можно что-то узнать. Словом, важные слухи никогда не ускользали от его ушей, и когда он находился в хорошем настроении, то прислушивался к новостям, проявляя интерес к делам страны. Но если он был не в духе, он пропускал новости мимо ушей, не придавая им никакого значения... Что до этого парня, Фухая, то простому маньчжурскому солдату не положено рассуждать о серьезных делах. Нет у него никакого права!

Дин Лу, конечно, давно уже слышал о бунтах против иностранцев, происходивших в разных местах страны, но не придавал

---

[1] Цинский чиновник-патриот, живший в середине XIX в. и прославившийся своей борьбой против торговли опиумом.

разговорам большого значения, потому что мятежи происходили где-то далеко от Пекина. Обсуждая события со своими приятелями, маньчжурскими чиновниками, он, как и другие, не скрывал своего негодования по поводу того, что творили иностранцы, но в душе поддерживал мнение других господ, более знатных и богатых, которые полагали, что лучше пока потерпеть и попридержать язык, тогда целей останутся богатства! Здравый смысл подсказывал Дин Лу, что они правы, но открыто он этого не говорил. В самом деле, что надобно чужестранцам? Всего-навсего немного выгод для себя. Так надо их дать, и дело с концом! Все очень просто! Что до ихэтуаней, то еще неизвестно, к каким бедам приведут их бунты. Вот почему парня следует осадить!

— Слышал, слышал! Только бунтовать нельзя! Представь себе, что вся эта деревенщина полезет с дрекольем против иностранцев! Разве сможет она их одолеть?! А?! — Дин Лу подошел к молодому человеку вплотную и, приблизив свой рот к его лицу, повторил: — А?! — и довольно засмеялся.

Фухай стремительно поднялся. Юноша не слишком хорошо представлял себе силу Цинской империи и мощь иностранных держав. Сейчас его беспокоило и удручало другое: он стал сомневаться в своих собственных силах. Чем ему ответить собеседнику?

— Господин! — Юноша решил подойти с другой стороны.— В нашей округе все знают вас как человека не только влиятельного, но и доброго. Только вы один и можете нам помочь! Если не заступитесь вы, к кому тогда мелкий люд обратится за помощью?

Дин Лу изобразил смех, который на этот раз был искренним, но почти не слышным.

— Хлопотно! Очень хлопотно! — Он покачал головой.

Фухай расценил это как позерство и проявил настойчивость.

— Прошу вас, заступитесь! Пожалуйста!

— Каким образом?

Фухай опешил. Вот тебе на! Он думал, что стоит этому богатому барину немного поднажать и он сразу же сомнет всех миссионеров. Но по всей видимости, господин Дин Лу этого делать не собирался. Фухай снова вспомнил Шичэна. Да! Парень знает, что делает! Этим барам совершенно наплевать на беды простых людей! А если так, то народ должен действовать самостоятельно! Вот какие дела!

— Кажется мне...— Дин Лу пришла в голову какая-то мысль.— Я смог бы пригласить этого попа (как его там зовут?) к себе на обед. И за столом мы с ним обо всем договоримся! А?!

Фухаю предложение барина не слишком понравилось, но он промолчал, потому что понял, что большего все равно не добьется.

— Пожалуйста, постарайтесь! — Юноша поблагодарил Дина низким поклоном. Ему не терпелось уйти отсюда, хотя все, что его здесь окружало, поражало своим великолепием и красотой: и эта мебель красного дерева; и картины на стенах, писанные кистью знаменитых художников; и хрупкие фарфоровые чашечки из Цзиндэчжэня [1], наполненные жасминным чаем самого высшего качества. В комнате то и дело появлялся мальчик-слуга, который подливал кипяток или менял заварку. Но Фухай чувствовал себя здесь неуютно. Он не знал, отчего у него такое состояние, может быть, оттого, что он никак не мог понять хозяина: что он за человек и как с ним надо себя вести. Юноша решил сейчас же уйти, несмотря ни на что, хотя представлял, что на улице грязно, в воздухе вьются тучи пыли и вокруг разносится запах лошадиной мочи. Но зато там, снаружи, чувствуешь себя как-то свободно. Все там тебе милее и ближе. Однако Дин Лу его не отпустил. Юноша собрался было встать, когда его остановил вопрос хозяина:

— Скажи, а что ты делаешь, когда не занят? Сажаешь цветы? Или разводишь рыб? А может, цикад? — Не дожидаясь ответа, богач принялся рассказывать гостю о цветах и рыбах. Рассказывал долго, потом, переменив тему, вдруг поведал Фухаю о своей голубоглазой кошке по кличке Белый Лев. Молодой человек давно понял, что Дин Лу прямо-таки начинен разными сведениями, но знает всего понемногу и очень поверхностно. Юноша молча слушал, не решаясь перебивать рассказчика, чтобы не испортить дело, и ждал случая, чтобы уйти. Фухая удивляла манера Дина говорить. Сам он в своей речи обычно использовал как бы два языка, имеющих свои особые слова. Одни, употреблявшиеся в повседневном разговоре, представляли собой просторечия, недоговорки, всякие замысловатые выражения из словаря ремесленников-краснодеревщиков, а также маньчжурские слова, хорошо понятные на слух китайцам. Он любил такой язык за его живость и образность, говорить на нем было очень легко. Но в разговоре с начальством или при встрече гостей нередко приходилось использовать другой язык — этикетный. Юноша никогда не бывал на аудиенции у императора, но представлял, что, если бы владыка вызвал его к себе, чтобы обсудить какое-то важное дело страны, он, Фухай, отвечал бы именно на таком языке. Лучше всего на нем изъяснялся его отец, витиеватая речь которого могла бы послужить образцом. В ней ты услышишь такие изысканные речения, как «Ваше степенство» и «Ваши уважаемые хоромы», а также замысловатые маньчжурские словеса вроде «драгоценный нюлу» или «цзишалар»,

[1] Город в провинции Цзянси, славившийся своими изделиями из фарфора.

и многие другие. Когда говоришь на таком языке, надо, чтобы каждое слово звучало отчетливо и имело бы определенную тональность и чтобы слова разделялись звуками, выражающими почтение и внимание. Фухай не любил этот манерный и вычурный язык. Ему казалось, что, говоря на нем, сам он тоже делается напыщенным и манерным. Далекий и чужой язык. Но может быть, именно посредством его можно кое-что понять в речи чиновников!

К удовольствию юноши, господин Дин Лу не злоупотреблял высокопарными оборотами, возможно, потому, что ни третья, ни даже четвертая чиновничья степень ему так и не улыбнулась. Но Фухая неприятно удивило то, что во время разговора у богача то и дело проскальзывают разные грубые словечки, находившиеся в обиходе несколько лет назад и сейчас уже почти вышедшие из употребления. Юноше иногда казалось, что эти просторечные слова произносит вовсе не Дин Лу, а какой-то другой, пожилой человек. Он внимательно поглядел на хозяина, словно сомневался в его возрасте. И еще одно, не менее странное обстоятельство озадачило Фухая. В речи аристократа часто слышались выражения, которые, может быть, деревенскими и не назовешь, но которые, безусловно, весьма далеки от изящества. Фухай подумал, что грубые просторечия у Дин Лу, наверное, оттого, что он редко встречается с людьми из средних и низких сословий, а если и встречается, то в какое-то очень неподходящее время. Непонятно, почему у этого отпрыска знатного рода, получившего прекрасное домашнее воспитание, такая грязная речь? Может быть, на правильном языке говорят лишь обычные знаменные и люди среднего сословия, а настоящая знать изъясняется вот на таком упрощенном и довольно вульгарном наречии? Фухаю это было непонятно.

Но больше всего юноше не понравилась путаность речи хозяина. Только что он рассказывал о золотых рыбках и вдруг:

— Как ты думаешь, если я завтра приглашу иностранного попа на обед, через какие двери мне его впускать: через парадные или через черный ход?

Озадаченный Фухай молчал. Дин Лу ответил сам:

— Точно! Пусть идет через задние ворота! С первого же хода его ждет в игре неудача!.. Скажу откровенно: главное, надо проявить во всем решимость! Эти рыжеволосые дьяволы не годятся нам в подметки!.. А?!

После нескольких подобных поворотов в разговоре Фухай понял, что Дин — большой мастер размешивать любое дело во всяких пустяках. Он будто бы намекал собеседнику, что способен решить все походя, во время веселой пустой болтовни. Молодой человек чувствовал, что в подобной манере, внешне вполне естественной и непринужденной, дает о себе знать большой опыт, по-

черпнутый Дин Лу из повседневного общения с лицами влиятельными и богатыми. На первый взгляд кажется, что есть в нем как будто здравый смысл, однако на самом деле это совершеннейшая чушь. Фухаю очень не нравились эти повороты и выкрутасы, потому что ему самому было решительно все равно, через какую дверь должен войти в дом иностранный пастор. «Только бы поскорее уйти!» — думал он с тоской. Больше всего юноша боялся сейчас, что Дин Лу снова заговорит с ним о школах.

11

Получив приглашение на обед, пастор сразу же навел справки о хозяине дома и очень обрадовался, узнав, кто его приглашает. Пастор приехал из Америки, где богатых людей боготворят, поэтому Ньюшэн, как и все его соплеменники, испытывал благоговение перед теми, у кого есть деньги, не задумываясь, каким путем эти деньги добыты. После того как его дядя нажил целое состояние, некоторые знакомые намекали Ньюшэну, что его родственник проходимец. С таким выводом, однако, Ньюшэн решительно не соглашался. «А почему бы не разбогатеть и вам? — парировал он удар.— Значит, вы хуже его!»

Пастор долго вертел в руках пригласительную карточку, не желая с нею расстаться. О том, что приглашение послано китайцем, он, конечно, забыл. Вообще-то он презирал китайцев, но сейчас его охватил дух демократизма Почему бы желтолицему богачу не подружиться с бледнолицым человеком? Он подумал, что с помощью этого Дина ему, возможно, удастся познакомиться с влиятельными людьми, а через тех добыть важные сведения, которые он сможет передать в посольство или прямо отправить домой. Этим самым он поднимет свой авторитет!

Пастор приказал слуге вычистить туфли и отутюжить одежду, после чего принести Библию. Он решил подарить книгу Дин Лу.

Ньюшэн не догадывался, зачем богач пригласил его на обед; впрочем, он не слишком об этом и задумывался. Но Глазастый До, кажется, уже кое-что смекнул, однако свои предположения пастору высказывать не стал. «Ах, пастор, пастор! — думал он и душа его трепетала от возбуждения.— Ведь ты идешь на акульи плавники. Ну конечно, плавники там будут. Это точно!» Глазастый ощущал своим носом волнующие запахи изысканной кухни и проглотил слюну. Вдруг его озарило. А почему бы пастору не захватить его в качестве сопровождающего? Тогда он одел бы чиновничью шляпу с красной лентой и сел на гордого (а лучше покладистого) белого коня. Он — верхом на коне, и в руках у него пастор-

ские подарки, а сам пастор, как положено, едет в экипаже! Точно!

— Господин пастор! Я схожу найму паланкин, чтобы ваш выход выглядел достойно!.. Да, вот еще что, не забудьте, когда мы подъедем к особняку, я крикну: «Есть дело!» [1] Вы не подумайте, будто что-то случилось!

Глазастый До обычно не позволял себе подобную фамильярность, но сегодня он почему-то осмелел, наверное потому, что видел радость священнослужителя, а главное, оттого, что он сам будет сопровождать пастора на обед, где, может быть, ему что-то перепадет (пусть даже из остатков), а глядишь, он получит подарок — два чоха монет.

— Паланкин? — Глаза пастора странно округлились.

— Ну да, паланкин! — Глазастый не знал, что получится из этой затеи, потому поспешил добавить: — Господин Дин Лу ездит только в паланкине, и вам уступать ему никак нельзя!

— В таком случае, мне нужен самый большой! Я выше его по положению!

Глазастый, не ожидавший такого поворота, растерялся.

— Но.. но ведь... каждому положен свой паланкин.

— Если я захочу, ваш император пришлет мне самый большой — с восемью носильщиками. Вот увидите!

— Несомненно, господин пастор. Вам положен самый высокий чин, а шляпа должна быть с красной отметиной... Может быть, и мне тогда улыбнется чиновничье звание... Уж вы постарайтесь! Заранее благодарствую! — Господин До отвесил церемонный поклон.

Пастор захохотал.

Они долго обсуждали, как лучше ехать, но наконец порешили, что пастор не будет настаивать на большом паланкине, а Глазастый — на коне. Оба сошлись на повозке, запряженной мулом. Глазастый уступил пастору по двум причинам. Прежде всего, у него не было уверенности в том, что он не свалится с лошади, и, во-вторых, если не уступить пастору, тот, рассердившись, нарушит все его планы — не возьмет его с собой, и тогда он потеряет прекрасный случай поесть и приобрести лишние деньги.

Прием назначен на одиннадцать. Пастор решил в этот день встать попозже. Он хотел убедить себя в том, что совершенно безразличен к званому обеду. И все же поднялся он рано и, как только встал, сразу же принялся скоблить лицо. Во время бритья он не думал о том, что в особняке богача ему, возможно, придется увидеть какие-то редкие картины, каллиграфические надписи или другие необыкновенные произведения искусства. Его воображение рисовало ему горы золотых и серебряных слитков и бесценных

[1] Слова, предупреждающие о приходе гостя.

жемчужин, которые сияют в ночной темноте. Пастора охватило возбуждение, отчего он дважды порезал подбородок.

Глазастому удалось заполучить у смотрителя улиц Дэ старую чиновничью шляпу, которая, однако, оказалась ему слишком велика и при каждом движении головы странно на ней вращалась. У ворот церкви он появился рано. Увидев на улице ребятишек, собиравших угольную крошку, он не преминул их шугануть. Потом заметил крестьян, отдыхавших у входа.

— Здесь вам не что-нибудь, а божий храм! Сидеть не положено! Расходитесь! — крикнул он.— Или, может быть, вы ждете иностранного господина? Думаете получить от него заморский окорок?

Крестьяне ушли, а Глазастый с удовольствием подумал, что, наверное, в его поведении есть что-то очень внушительное. Он подозвал к себе пасторского слугу.

— Я тебе уже говорил, что перед порогом надо хорошенько подмести! Скоро выйдет господин пастор и, если он увидит все это... Понял?

Обычно Глазастый оказывал слуге знаки внимания, потому что у него можно иногда попросить чашечку чая или что-то еще. Очень удобно и выгодно. Но сегодня на его голове чиновничья шляпа, и он сопровождает пастора к богачу Дину на пир, поэтому слуга должен нынче исполнять все его приказания. Слуга ничего не ответил, а лишь бросил презрительный взгляд на шляпу, напоминавшую ветряную мельницу.

К половине одиннадцатого пастор был уже в полной форме. На душе было немного тревожно. Ведь до сего времени узкий круг его жизненных знакомств ограничивался теми бедолагами, с которыми ему ежедневно приходилось встречаться в церкви. Он питал к ним неприязнь и даже презрение, однако продолжал водить с ними знакомство, потому что без этих людей его кухонный котел сразу бы опустел. Иногда ему казалось, что это кара, которую наслал на него всевышний. Пастор завидовал своим соплеменникам, которые служили в посольстве. С какой уверенностью держатся посольские чиновники: военные и штатские! Сразу видно, что они с Запада! А он? К какому разряду западных людей можно причислить его самого? С уст пастора слетели слова мольбы: «Ах, если бы господин Дин Лу стал моим другом! Может быть, он помог бы мне войти в круг людей богатых и влиятельных. Ну, а тогда...» Тогда он себя покажет! Ньюшэну почему-то вспомнились дешевенькие книжки, которые ему доводилось читать еще в детстве. В этих, с позволения сказать, произведениях литературы рассказывались захватывающие приключения и трогательные истории о любви горничных и слуг. Очень может быть, не все истории цели-

ком выдумапы сочинителями. Например, история о горничной, которая, выйдя замуж за слугу, вдруг узнала, что ее супруг — восточноевропейский граф. А сама она оказалась обладательницей громадного состояния. Несомненно, многие истории вполне правдоподобны!..

Пасторские раздумья были прерваны Глазастым, который пришел сообщить, что экипаж ждет у дверей. Можно ехать. Вообще говоря, пастор испытывал к Глазастому некоторое презрение. Но такой человек пастору нужен, так как с его помощью он может показывать свое пасторское добросердечие, а также всемогущество и всезнание господне. Вспомнив сейчас про дешевенькие книжки с трогательными историями, Ньюшэн подумал, что в Глазастом все же есть что-то симпатичное. Скажем, бывают же иногда вполне забавные и приятные собачонки, может быть, немного жалкие, но зато с полуслова понимающие своего хозяина. Пастор с удовольствием взглянул на поношенную чиновничью шляпу, которая украшала голову Глазастого. «Если я когда-нибудь разбогатею, я найму несколько слуг-китайцев и заставлю их носить платье, которое сам придумаю. А шляпы у них будут вот такие — с красными лентами...» — подумал он и вдруг захохотал: кха-кха-кха!

Обласканный хозяином, Глазастый находился на вершине блаженства. В ногах его появилась приятная слабость, и ему даже показалось, будто они плохо его держат.

Зрелая пора осени. Воздух чист. Пекинское небо по-особенному прозрачно и светло. К одиннадцати часам утренний туман рассеялся, и солнце послало на землю яркие лучи. От их тепла людям приятно, как приятен сердцу легкий ветерок, набежавший откуда-то с северо-запада.

Единственная беда — пекинская улица, которая в ту пору находилась в плачевном состоянии. Проезжая часть ее очень высокая, а в некоторых местах даже на несколько чи выше тротуара. Из-за этого по краям дороги в разных местах появились канавы, наполненные зловонной жижей. Если на дороге случайно перевертывалась повозка, пассажиры, оказавшись в глубокой яме, получали серьезные увечья. Проезжая часть довольно ровная, хотя над ней постоянно вьется облако пыли, так как улицы в ту пору поливались, лишь когда по ним ехал император. В эти торжественные моменты они на какое-то время становились чистыми, но спустя три-четыре часа все принимало прежний вид.

Экипаж, нанятый Глазастым, имел вполне приличный вид. Глазастый заранее заказал его на тележном дворе из опасения, что, когда надо, приличной повозки нигде не найдешь. Держа в руках

дорогое издание Библии, он предложил пастору сесть в экипаж. Ньюшэн попытался было усесться с краю.

— Господин пастор! Прошу внутрь! Вам не положено здесь — неприлично! Здесь место сопровождающего! — Голос Глазастого звучал умоляюще.

Пастор полез внутрь экипажа, а Глазастый, изогнувшись, взгромоздился на край повозки. Глазастый упивался своим счастьем. Еще бы! Исполнилась его заветная мечта, он сопровождает иностранного человека!

Повозка тронулась с места, а вместе с ней из груди пастора вырвался стон: его голова наткнулась на что-то твердое. Оказалось, что, когда господин До накануне выбирал экипаж, он не заметил, что мул хромает на одну ногу. Сейчас животное двигалось с большим трудом, и от каждого его шага пастора качало из стороны в сторону. Ньюшэн никак не мог сохранить равновесие, а его голова то и дело натыкалась на стенки повозки.

— Ничего! Ничего! — успокоил его возница, осклабясь в улыбке.— Вы только сядьте покрепче! Сейчас выберемся на дорогу, и все будет в порядке!.. Вы не смотрите, что мул немного хромает. Он способен пройти несколько десятков ли — и хоть бы что! Чем дальше, чем шибче идет!

Ньюшэн ощупывал голову. Глазастый молчал, наклонившись внутрь повозки. Но вот наконец и проезжая часть. Пастор попытался поудобнее расположить ноги, для чего сначала их скрючил, опираясь в то же время одной рукой на сиденье. Другой рукой он прикрывал свою голову. Некоторое время он пытался сохранить эту позу, после чего вытянул одну ногу вперед. В это время мулу вдруг ни с того ни с сего понадобилось двинуться к краю дороги. Ноги у пастора непроизвольно вытянулись. Глазастый До в это время с довольным видом придерживал рукой чиновничью шляпу, чтобы все прохожие смогли увидеть его нарядный вид. И вдруг... Глазастый почувствовал страшный удар в поясницу: будто его стукнули кувалдой или даже стрельнули снарядом. Как говорится, все произошло быстрее, чем в рассказе. Не успев закричать, он взлетел в воздух и — шлеп! — оказался в канаве с вонючей жижей. Вылетая из экипажа, он попытался было зацепиться, чтобы ослабить тем самым результат катастрофы, но безуспешно. Он угодил в самое глубокое место.

— Помогите! — раздался жалобный крик.

Несколько прохожих припялись его вытаскивать, но, заметив в повозке иностранца, который к этому времени постарался занять освободившееся в экипаже место, бросили Глазастого на произвол судьбы, не желая помогать пасторскому холую. Пастор крикнул вознице ехать вперед. Глазастый, оставшийся без помощи, при-

нялся выкарабкиваться сам. С грехом пополам он выбрался из канавы. Весь облепленный смрадной глиной, чертыхаясь, он побрел обратно, держа в руках чиновничью шляпу.

Возле ворот особняка Дин Лу выстроилось несколько нарядных экипажей, запряженных статными мулами. Вообще говоря, господин Дин Лу, как задумал заранее, решил принять гостя не здесь, а возле черного хода, чтобы сбить с иностранца спесь и поднять свое собственное достоинство. Однако его прислуга упросила хозяина показать им заморского попа, хотя бы в щелочку в воротах. Слово «пастор» простым слугам было непонятно и в их представлении никак не вязалось с верой, поэтому они придумали для простоты «заморского попа», что очень развеселило хозяина и заставило его принять гостя у парадных ворот. Понятно, что для заморского церковника это большая честь, но зато дворня может вдосталь поглазеть на иностранца, как на диковинную обезьяну. А коли так, значит, издержки и приобретения вроде как бы уравновесились. Просто великолепно!

Маленький слуга лет тринадцати-четырнадцати проводил гостя во двор. Мальчишка совсем юный, а халат на нем длиннющий, до пят, как у взрослого. Однако за серьезным обликом слуги скрывается детское плутовство. Желтые зрачки пастора забегали по сторонам. Из груди вырвался вздох восхищения. Прямо перед собой он увидел довольно высокую стену-экран, выложенную резными кирпичиками. Посредине стены в большой деревянной рамке — надпись: два крупных черных иероглифа, начертанных на красной бумаге. Резные кирпичи пастор оставил без внимания, а смысла надписи просто не понял, однако необычность и величественность всего, что предстало перед глазами, произвели на него впечатление. Хоромы настоящего богача!

Справа и слева от стены-экрана высокие ворота, по всей видимости ведущие во внутренний дворик.

— Пожалуйста! — Голос маленького слуги звучал не громко и не тихо, как-то бесстрастно. Они подошли к воротам, находившимся слева. Пастор задрал голову вверх, заметив резной узор на деревянной перекладине. Не посмотрев вовремя под ноги, он наткнулся на приступку ворот, и от туфли оторвался кусок кожи, что очень его расстроило. От ворот тянулась длинная, выложенная квадратными плитками дорожка, украшенная сбоку пятицветными камешками, меж которыми рос темный мох. В стенах с той и с другой стороны пастор заметил «лунные ворота» [1]. Над левой стеной раскачивались изумрудные листья бамбука. Возле правых ворот возвышалась небольшая искусственная горка, закрывавшая внутренний дворик. Оттуда раздавался женский смех. Пастор по-

[1] Ворота в стене, имеющие круглую форму.

смотрел на прислужника. Тот, сощурив глаза, скорчил озорную гримасу. Впрочем, пастору, может быть, это и показалось.

Они подошли к новым воротам, не таким высоким, как первые, но зато более красивым, блестевшим свежим лаком и украшенным резьбой. В обе стороны от них шла длинная галерея, окружавшая дворик. Здесь царила тишина, которая нарушалась лишь трелями птицы, сидевшей в цилиндрической клетке, подвешенной к балке галереи. Возле другого строения, в северной части дворика, росли два крупных дерева дикой яблони, покрытые пунцовыми плодами. На земле возле деревьев резвился белый пушистый котенок, игравший куриным перышком. Пастору показалось, что он услышал шаги. Однако звуки тотчас затихли.

Они завернули за северо-западный угол главного здания и оказались в дальнем дворе, в котором гость увидел купу бамбуков, а рядом небольшую дверь в стене, которая вела в просторный сад. Ньюшэн почувствовал аромат цветов османтуса. Он прикинул: от главных ворот до сада они прошли не меньше одного ли. Возле дверей в цветник — возвышение из белого нефрита, на котором стоит торчком продолговатый камень с озера Тайху[1]. В дальнем углу сада — небольшой искусственный холм, основание которого выложено камнями диковинной формы. На холме растут небольшие деревца и цветы, а на самой вершине виднеется крытая камышом беседка, откуда можно любоваться синеющими вдали Западными горами — Сишань. Возле холма пруд с лотосами. Наиболее крупные листья пожухли, но из воды кое-где выглядывают другие листья, полусвернутые и еще не успевшие распрямиться. По узкой, подернутой зеленым мхом тропинке, которая вьется вдоль водоема, они направились к другому склону холма, где росла белоствольная сосна, а рядом с ней возвышался павильон, разгороженный на три части. Возле входа четыре огромные чаши с кустами османтуса, украшенными серебристыми и золотистыми цветами.

— Важное дело! — крикнул мальчик-слуга. Из беседки послышалось легкое покашливание. Прислужник открыл дверной занавес и, предложив гостю войти внутрь, сам отошел к сосне и принялся отколупывать белесую кору дерева, ожидая дальнейших приказаний хозяина.

Мебель в павильоне — из благородного дерева наньму, с цветом которого хорошо гармонируют голубоватые и зеленые тона. На стене висят разные надписи, сделанные зеленой краской на доске из наньму. Поперечная надпись сделана на такой же доске, но только голубой краской. В вазах — зеленые веточки, а в одном

[1] Камни диковинной формы, употреблявшиеся в декоративных целях.

небольшом сосуде — два цветка осенней розы. Пастор огляделся: ни золотых блюд, ни серебряных бокалов нигде не было. Ньюшэн почувствовал некоторое разочарование.

Хозяин дома находился в обществе двух гостей — обладателей ученой степени ханьлинь [1]. Все трое любовались камнем для растирания туши древней работы. Заметив гостя, хозяин оторвался от созерцания редкостной вещи.

— А-а, господин пастор! Прошу, садитесь! — предложил он. Его голос звучал удивительно звонко.— Меня зовут Дин Лу. Разрешите представить: это — ученый Линь Сяоцю, а это — На Юйшэн. Оба имеют степень академиков-ханьлиней. Прошу, господа, присаживайтесь. Пожалуйста!

Оба ученых мужа, один маньчжур, другой китаец, являли собой полную противоположность друг другу. Один долговязый и худосочный, другой — низенький и полный. Лишь одно их сближало — жиденькие усы. Ученый-китаец держался несколько скованно. По его виду можно было сразу понять, что он без всякого удовольствия садится рядом с заморским попом и делает это лишь из уважения к хозяину. Манеры маньчжура-коротышки более свободные. Сразу чувствуется происхожденне: как-никак, а его предки в свое время покорили весь Китай. Сам же он, многое впитав из китайской культуры, достиг звания ханьлиня. Ученый-маньчжур считал себя гордым детищем самого Неба. Он был уверен, что своим талантом превосходит любого человека на земле и ему по плечу любое дело. Да, он превосходит всех, включая этих светлолицых иностранцев с голубыми глазами, которые, конечно же, стоят на целую ступень, а может быть, на несколько ступеней ниже его. Так распорядилась природа! Ученый муж не имел представления о том, что творится в разных странах света, но зато он знал, как стреляют заморские пушки и ружья, поэтому побаивался иностранцев, в то же время считая их дикарями. Он полагал, что с заморскими дьяволами лучше всего обходиться вежливо, порой даже немного им уступить, и все будет в порядке! Но если, на худой конец, с ними придется столкнуться носом к носу — врукопашную, он, несомненно, найдет нужный выход, который приведет его к полной победе. Маньчжур посмотрел на прямые, будто совсем несгибающиеся ноги пастора. И верно, что ноги словно у черта, не зря говорят люди! «Если у всех у них такие жерди, упав на землю, они подняться уж не смогут. В этом все дело! — заключил ханьлинь.— И в этот самый момент следует

[1] Ханьлинь — почетное ученое звание, присваивавшееся лучшим из цзиньши. Ханьлини (академики) исполняли разные обязанности при дворе, в частности были наставниками государя.

длинным шестом ткнуть его в коленку, а когда он свалится, брать его голыми руками, словно жалкую козявку — живьем и без всякого труда! Правда, у попа ноги не такие уж длинные...» Ханьлиня это обстоятельство огорчило, и он снова принялся рассматривать камень для растирания туши.

— Позвольте узнать, из какого материала делают подобные камни в вашем драгоценном отечестве? — спросил ученый муж На Юйшэн. Он хотел показать, что нисколько не боится иностранцев.

Ньюшэн задумался. Не зная, как ему лучше ответить, он засмеялся: кха-кха!

— А сколько стоит такой камешек? — вдруг спросил он.

— Мне его только что прислали из лавки «Чжэньсючжай» — «Драгоценное изящество». Просят 80 лянов! — ответил хозяин дома и спросил у ханьлиня-китайца: — Господин На, а как считаете вы? Сколько он может стоить?

— От силы 50 лянов! Красная ему цена! — ответил ученый, но, испугавшись, что его поспешный ответ может принизить ученого-маньчжура, тотчас добавил: — А что думаете вы, почтенный Сяоцю?

Линь Сяоцю знал, что, если бы пришлось покупать ему, он выторговал бы камень за 10 лянов. Однако раскрывать перед людьми жадность знаменного мужа как-то неудобно, поэтому он лишь кивнул головой в знак согласия.

На носу пастора выступили капельки пота. Он понял, что до настоящего времени он шел неправильным путем. Подумать только, эти люди готовы выложить 50 лянов за какой-то камень! И почему только он не нашел дорогу в этот дом раньше? Зачем путался с бедняками или бездельниками вроде Глазастого До? Сейчас надо проявить всю свою решимость и обязательно познакомиться поближе с этими людьми, пусть даже ему придется перед ними полебезить! А когда он разбогатеет, он на них поглядит уже другими глазами! Такое время не за горами. Пастор принял решение во что бы то ни стало им понравиться, и сделать это ему надо сегодня, сейчас!

В голове Ньюшэна роились разные замыслы, когда до его слуха донеслись странные звуки, будто легкое пощелкивание. Он заметил возле окна две фигуры, склонившиеся над шашечной доской. Один из игроков был в одеянии буддийского монаха, другой — в халате даоса. Оба были так увлечены игрой в облавные шашки, что, по всей видимости, даже не заметили прихода нового гостя.

Буддийскому монаху, наверное, за пятьдесят, но, несмотря на возраст, его лицо было лишено морщин. Чисто выбритая голова

ярко блестела. Простая серая ряса подчеркивала его несколько необычный облик. Если судить по лицу даоса, едва тронутому желтизной и как будто прозрачному, ему, наверное, также было около пятидесяти, но его длинная красивая борода совершенно седая. Халат даоса и его шляпа привлекали внимание утонченностью покроя.

В сердце пастора вспыхнул гнев. Он и его друзья хорошо знают, что, кроме той веры, которую они исповедуют, нет и не должно быть никакой другой, не исключая католичество и иудаизм. Что касается буддизма и даосизма, то это суть сатанинская ересь, которую следует беспощадно искоренять. Совершенно ясно, что Дин Лу пригласил монахов намеренно, чтобы досадить пастору и тем самым унизить всевышнего! Значит, пастор должен встать и уйти, пожертвовав угощениями, судя по всему прекрасными. Да, да. Он непременно уйдет, чтобы им насолить! Пусть покрутятся!

Перед пастором возникла маленькая служанка с фарфоровой чашечкой, покоившейся на голубом блюдечке из фуцзяньского лака. Украшенная синими цветами, чашка была сверху прикрыта крышкой. Низко склонив голову, девочка-служанка осторожно поставила ее на небольшой чайный столик и бесшумно удалилась.

Ньюшэн, приподняв крышку, увидел на поверхности напитка несколько продолговатых зеленых чаинок. Он не находил вкуса в зеленом чае, поскольку привык пить красный — крепкий, подслащенный сахаром и разбавленный молоком. Раздражение пастора вспыхнуло с новой силой, а его желание уйти еще больше окрепло.

— Есть дело! — раздался снаружи голос маленького слуги.

На пороге появились два ламаистских монаха в шелковых рясах, стянутых в талии поясом, на котором висел расшитый кошель. От красных физиономий лам исходило сияние.

Пастор сидел как на иголках, кипя от злости. Однако к его гневу сейчас примешивался страх оттого, что эти еретики в любой момент могут начать спор о вере. Что ему тогда делать? Ведь всех его религиозных познаний хватало лишь на то, чтобы запугивать таких людей, как Глазастый До. Это он знал сам!

Один из вошедших (кто был телесами потолще), по всей видимости, был образован. Говорил он низким голосом, и с его губ не сходила улыбка. Второй монах, имевший вид бодрячка, едва переступив порог, воскликнул:

— Господин Дин Лу! Хотите, я исполню вам арию из оперы «Казнь у приказных ворот»? Вот послушайте! — Его голос звучал почти фальцетом.

— Прекрасно! — откликнулся хозяин. Его брови радостно

взметнулись вверх.— А я выступлю в роли Цзяоцзаня![1] Пойдет? А?! Только сначала закусим! — И он крикнул слуге, который стоял снаружи: — Можно подавать на стол!

— Все готово! — раздался из сада голос мальчика-слуги.

— Прошу, прошу! — обратился хозяин к гостям.

Как только пастор услышал о еде, гнев его мгновенно исчез, а намерение уйти пропало. Но возникло другое желание: во что бы то ни стало прийти к столу первым, опередив всех этих монахов и ученых ханьлиней. Однако хозяин его остановил.

— Извините, но самый старший среди нас наставник Ли. Прошу вас, учитель!

Седовласый даос, немного для вида поцеремонившись, степенно направился к выходу. К нему тотчас подбежал мальчик-слуга с предложением услуг.

— Нашему учителю уже девяносто восемь, но обратите внимание, какой он бодрый! — засмеялся хозяин дома.

Пастор опешил. Значит, правду говорят, что даосы обладают колдовским искусством, способным предупреждать старость и продлевать годы жизни. Выходит, надо этому верить!

Следом за даосом, не дожидаясь, когда его позовут, двинулся буддийский монах.

— Это учитель Юэлан, обладающий широчайшей эрудицией и редким благочестием! — отрекомендовал монаха Дин.— Он играет на цине[2] и в шахматы, рисует и занимается каллиграфией. Ему нет равных в разных искусствах!

«Несомненно, обед будет на славу!» — подумал пастор и невольно поморщился, видя, что к выходу пошли оба ханьлиня и ламы. На лице хозяина появилось довольное выражение. Пастор решил, что теперь, конечно, наступил его черед, однако перед ним оказался сам Дин.

— Я покажу вам дорогу! — сказал он и пошел вперед.

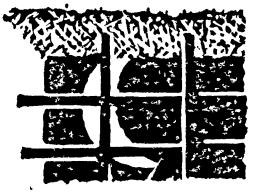
«Дать бы ему хорошего пинка! — подумал Ньюшэн.— Но тогда прощай званый обед!» И пастор, смирившись с судьбой, замкнул шествие.

Пиршественный стол был накрыт в круглой застекленной беседке неподалеку от цветочного павильона. Хозяин обычно заходил сюда, когда находился в дурном настроении, дабы успокоить свое сердце и укрепить дух. Но гнев иногда долго не проходил, и тогда на пол летели безделушки, которых здесь было во множестве и все больше иностранных: фарфоровые фигурки, светильники, заморские часы. На полу беседки лежал ковер заграничной работы...

[1] Цзяоцзань — герой многих пьес, содержание которых восходит к средневековому эпосу о патриотах из семьи Ян.

[2] Цинь — струнный музыкальный инструмент.

РАССКАЗЫ



Перевод
А. Тишкова
А. Ткаченко
А. Файнгара

Серп луны

1

...И опять я увидела серп луны — золотистый и холодный. Сколько раз я видела его таким, как сейчас, сколько раз... И всегда он вызывает во мне самые разные чувства, самые разные образы. Когда я смотрю на него, мне кажется, что он висит над лазоревыми облаками. И постоянно он будит воспоминания — так от дуновения вечернего ветерка приоткрываются бутоны засыпающих цветов.

2

Когда я впервые заметила серп луны, он был именно холодным. На душе у меня тогда было очень тяжело, сквозь слезы я видела тонкие золотистые лучи. В то время мне было только семь лет; на мне была красная ватная курточка и шапочка, сделанная мамой, синяя, с мелкими цветочками,— я помню это. Прислонясь спиной к косяку двери, я смотрела на серп луны. Маленькая комната — запах табака, лекарств, слезы мамы, болезнь папы. Я была на пороге одна и смотрела на серп луны; никто не звал меня, никто не приготовил мне ужина. Я понимала — в дом пришло горе: все говорили, что болезнь папы... И я еще острее чувствовала свою тоску, холод и голод, свое одиночество. Так я стояла, пока луна

не скрылась. Я осталась совершенно одна и снова расплакалась, но плач мой заглушили рыдания матери: папа перестал дышать, лицо его закрыли куском белой ткани. Мне хотелось сдернуть это белое покрывало, еще раз увидеть папу, но я не осмелилась. Было очень тесно — почти всю комнату занимал папа. Мама надела белое платье [1]; на меня поверх красной ватной курточки тоже надели белый халатик, с неподрубленными рукавами — мне это хорошо запомнилось, потому что я все время выдергивала из края рукава белые нитки. Все суетились, шумели, громко плакали, но суетня эта была, пожалуй, излишней. Дел было не так уж много: всего лишь положить папу в гроб, сколоченный из четырех тонких досок. Потом пять или шесть человек несли его. Мы с мамой шли за гробом и плакали. Я помню папу, помню гроб. Этот деревянный ящик навсегда унес папу, и я часто жалею, что не открыла гроб и не посмотрела на отца. Но гроб глубоко в земле; и хотя я хорошо помню место за городской стеной, где он зарыт, могилу так же трудно найти, как упавшую на землю каплю дождя.

3

Мы с мамой еще носили траур, когда я снова увидела серп луны. Был холодный день, мама пошла на могилу папы и взяла меня с собой. Она захватила тоненькую пачку бумаги [2]. В тот день мама была особенно ласкова со мной. Когда я не могла больше идти, она несла меня на руках, а у городских ворот купила мне жареных каштанов. Все было холодное, только каштаны горячие; было жалко их есть, потому что я грела ими руки. Я не помню, сколько мы шли, но мне показалось, что очень-очень долго. Когда хоронили отца, дорога не казалась мне такой длинной — возможно, потому, что тогда людей было больше, а сейчас мы шли только вдвоем с мамой. Она молчала, и мне не хотелось говорить, кругом было тихо; такие желтые дороги всегда тихи и бесконечны.

Дни стояли короткие. Я помню могилу — совсем маленький бугорок земли — и вдалеке высокие желтые холмы, за которые уходило солнце. Мама посадила меня у могилы и как будто перестала меня замечать; она плакала, обхватив могилу руками. Я сидела и играла каштанами. Мама поплакала еще немного и зажгла бумагу, несколько хлопьев пепла поднялись в воздух и потом, кружась,

---

[1] В Китае белый цвет считается траурным.

[2] По китайскому обычаю на могиле умершего родственника сжигали сделанные из бумаги изображения животных и пачки бумаги, символизирующие деньги.

опустились на землю; дул слабый, но очень холодный ветер. Мама снова заплакала. Я тоже вспомнила папу; плакать о нем не хотелось, и все-таки я заплакала — мне стало жалко маму. Я потянула ее за руку: «Не плачь, ма, не плачь!..» Она заплакала еще сильнее и крепко прижала меня к себе. Солнце зашло, кругом никого не было, только мы вдвоем. Мама словно испугалась; глотая слезы, она взяла меня за руку, и мы пошли. Через несколько минут она посмотрела назад; я тоже оглянулась — папину могилу уже нельзя было различить; по эту сторону до самого подножия холмов — могилы, маленькие-маленькие бугорки. Мама вздохнула. Мы шли то быстро, то медленно; еще не дойдя до городских ворот, я увидела серп луны. Было темно, тихо, и только луна лила холодный свет. Я устала, и мама взяла меня на руки. Я не знаю, как мы добрались до города, помню лишь серп луны на пасмурном небе.

4

В восемь лет я уже научилась относить вещи в ломбард. Я знала: если не принесу немного денег, нам нечего будет есть — мама посылала меня закладывать вещи только в самом крайнем случае. Мне было хорошо известно: если мама давала сверток, значит, в котле нет ни крупинки. Иногда наш котел был чист, как добродетельная вдова. Однажды я понесла закладывать зеркало, единственную оставшуюся вещь, без которой можно было обойтись, хотя мама и пользовалась ею каждый день. Была весна, и теплые вещи мы уже заложили. Я знала — зеркало надо нести осторожно, но нужно было торопиться, потому что ломбард закрывался рано. Я боялась его красных больших ворот и длинного высокого прилавка. Когда я к ним приближалась, у меня начинало колотиться сердце. Но я должна войти, вернее, вскарабкаться — так высок порог. Из последних сил я должна поднять свою ношу до прилавка, крикнуть «Возьмите в заклад!», получить деньги и квитанцию и быстро вернуться домой, чтобы мама не беспокоилась. Но зеркало не взяли, а предложили принести еще что-нибудь. Я понимала, что это значит. Прижав зеркало к груди, я со всех ног побежала домой. Мама заплакала — ничего другого она найти не могла.

Я привыкла к нашей комнате, и мне всегда казалось, что в ней много вещей, но теперь, помогая маме найти что-нибудь, я поняла, что их очень мало. «Мама, а что мы будем есть?» Она, плача, протянула мне серебряную шпильку — единственную драгоценность в доме. До этого мама несколько раз вынимала ее из волос, но не решалась заложить. Эту шпильку ей подарила бабушка в в день свадьбы. Мама велела оставить зеркало и отнести в ломб-

бард шпильку. Я побежала обратно, но большие страшные ворота были уже закрыты. Я села на ступеньку, зажав шпильку в кулаке. Громко плакать я не смела; я смотрела на небо и снова сквозь слезы видела свет луны. Я плакала долго, до тех пор, пока из темноты не появилась мама; она взяла меня за руку. Какие теплые у нее руки! Почувствовав их тепло, я забыла все неудачи и даже голод. Всхлипывая, я сказала: «Мама, пойдем спать. Завтра утром я снова приду сюда!» Она молчала. Мы прошли немного: «Мама, посмотри на серп луны, он был таким же, когда папа умер. Почему он всегда висит косо?» Мама молчала, рука ее слегка дрогнула.

5

Мама целыми днями стирала чужое белье. Мне всегда хотелось помочь ей, но я не знала, как это сделать. Я только ждала ее и не ложилась спать. Иногда серп луны уже был высоко в небе, а она все еще стирала вонючие носки, похожие на твердую коровью шкуру,— их присылали приказчики. После стирки этой гадости мама уже не могла есть. Я сидела около нее и смотрела на серп луны; в его луче мелькала летучая мышь, словно нанизанная на серебристую нить, и вдруг мгновенно исчезала в темноте. Чем больше я жалела маму, тем сильнее меня притягивал серп луны; становилось легче на душе, когда я смотрела на него. Летом он был еще красивее, от него всегда веяло прохладой, словно он был изо льда. Мне очень нравилось, когда легкие тени, падающие на землю от лучей луны, вдруг исчезали: становилось особенно темно, звезды светили еще ярче, а цветы пахли еще сильней. В саду соседнего дома было много цветов и деревьев, с большой акации к нам падали белые лепестки, устилавшие землю точно снег.

6

Мамины руки от стирки стали жесткими. Иногда я просила ее почесать мне спину, но не смела часто утруждать — она слишком уставала. Вонючие носки лишали ее аппетита. Я знала: мама что-то обдумывает. Она иногда откладывала белье в сторону и замирала. О чем она думала, я не могла угадать.

7

Мама просила меня не упрямиться и называть его папой. Она нашла мне нового отца. Я знала — это был другой, потому что мой папа лежал в могиле. Говоря мне о новом отце, мама отводила

глаза в сторону. Глотая слезы, она сказала: «Я не могу допустить, чтобы ты умерла с голоду». Да, это заставило маму найти мне другого отца. Я многого тогда не понимала, мне было страшно, но я надеялась, что теперь мы не будем голодать. Какое удивительное совпадение! Когда мы покидали нашу каморку, в небе снова висел серп луны. В этот раз он сиял ярче и казался зловещим; я уезжала из своего дома, к которому так привыкла. Мама села в красные свадебные носилки, впереди шли несколько музыкантов; звуки барабанов и труб оглушали. Носилки двигались впереди, какой-то мужчина вел меня за ними. Зловещий свет луны как бы дрожал на холодном ветру. На улицах было пустынно, и только одичавшие собаки с лаем бежали за музыкантами. Носилки двигались очень быстро. Куда? Может быть, маму несли на кладбище? Мужчина тащил меня за собой. Я с трудом поспевала, мне хотелось плакать, но я не могла. Рука мужчины была потная и, как рыба, холодная. Я хотела крикнуть: «Мама!» — но не смела. Серп луны вдруг стал у́же, словно прищурился большой глаз. Носилки внесли в узкий переулок.

8

В течение трех-четырех лет я как будто не видела серпа луны. Новый папа отноєился к нам хорошо. У него было две комнаты: он с мамой занимал одну, я спала в другой. Сначала я хотела спать с мамой, но через несколько дней полюбила свою маленькую комнатку. Белоснежные стены, стол и стул — мне казалось, что все это мое. И одеяло теперь было толще и теплее, чем раньше. Мама пополнела, на щеках появился румянец, и с ее рук понемногу сошли мозоли. Мне уже не приходилось бегать в ломбард закладывать вещи. Новый папа отдал меня в школу. Иногда он даже играл со мной. Не знаю почему, но я не любила называть его папой, хотя понимала, что он очень хороший человек. Он догадывался обо всем. Он часто шутил, и, когда смеялся, его глаза становились красивыми. Мама тайком уговаривала меня называть его папой, да я и сама чувствовала, что не стоит быть слишком упрямой. Ведь мы с мамой теперь сыты благодаря ему... Я не припомню, чтобы в эти три-четыре года я видела серп луны... Возможно, я видела, только забыла... Но я всегда буду помнить, каким он был, когда умер папа, и каким он был, когда маму несли в красных носилках. Я навсегда запомнила это холодное бледное сияние, словно от куска нефрита...

9

Я полюбила школу. Мне всегда казалось, что в школе много цветов, хотя на самом деле их там вовсе не было. Стоит мне вспомнить школу — и я думаю о цветах; так же как мысли о папиной могиле вызывают во мне воспоминание о серпе луны за городом, о его сиянии, дрожащем на слабом ветру. Мама очень любила цветы, но не могла их покупать. Иногда ей дарили цветы, и она, счастливая, сразу же прикалывала их к волосам. Случалось, и я приносила ей один-два цветка; воткнув их в волосы, она молодела. Мама радовалась, я тоже радовалась. Школу я любила. Может быть, поэтому, думая о школе, я вспоминаю о цветах?

10

В тот год, когда я должна была окончить начальную школу, мама снова послала меня заложить вещи. Я не знала, почему внезапно уехал отчим. Маме тоже как будто не было известно, куда он исчез. Она все еще посылала меня в школу, надеясь, что отчим скоро вернется. Но прошло много дней, а он не возвращался, даже писем не было. Я думала, что маме снова придется стирать вонючие носки, и мне становилось очень больно. Однако она и не думала об этом, а все еще продолжала наряжаться и прикалывать к волосам цветы. Удивительно! Она не плакала, наоборот, смеялась. Почему? Я не понимала. Несколько раз, возвращаясь из школы, я видела маму стоящей у ворот. Прошло еще немного времени. Однажды, когда я шла по улице, какой-то человек окликнул меня: «Передай этот конверт маме... А ты сколько берешь, малютка?» Я вспыхнула и низко опустила голову. Ясно было, что положение безвыходное, и я не могла поговорить с мамой, не могла. Она очень любила меня и временами настойчиво говорила: «Учись! Учись!» Сама она была неграмотна, и я подозревала — и подозрения сменились уверенностью,— что она пошла на это ради меня. Ей больше ничего не оставалось. И, думая об этом, я не могла осуждать маму. Мне хотелось прижать ее к груди и сказать, чтобы она больше не делала этого. Я ненавидела себя за то, что не могла ей помочь. Поэтому я часто думала: что́ меня ждет после окончания школы? Я говаривала об этом с подругами. Одни рассказывали, что в прошлом году нескольких девушек, окончивших школу, взяли вторыми женами. Другие говорили, что некоторые девушки стали «продажными». Я не совсем понимала, что значит это слово, но по их тону догадывалась — нехорошее. Они же как будто всё знали, им нравилось тайком шушукаться о неприличных вещах, и на их

раскрасневшихся лицах было написано неподдельное удовольствие. Я стала думать, не ждет ли мама моего окончания школы, чтобы... С такими мыслями я иногда боялась возвращаться домой: меня пугала встреча с мамой. Иногда она давала мне деньги на сласти, но я не решалась их тратить. На уроках физкультуры я часто была близка к голодному обмороку. Каким вкусным казалось мне то, что ели другие. Однако я должна была экономить деньги. Если бы мама заставила меня... то с деньгами я могла бы убежать. Порой у меня бывало больше мао! Когда мне становилось особенно грустно, я даже днем искала на небе серп луны, словно вид его мог успокоить мое сердце. Серп луны беспомощно висел в серо-голубом небе, и тусклый свет его заволакивала тьма...

11

Тяжелее всего было то, что я начинала ненавидеть маму. Но всякий раз, когда мною овладевало это чувство, я невольно вспоминала, как она несла меня к могиле отца. И я уже не могла ее ненавидеть. И все же должна была ненавидеть. Мое сердце — как серп луны: на мгновение блеснет, открытое, а затем заволакивается непроглядной тьмой. К маме часто приходили мужчины, и она уже перестала меня стесняться. Они смотрели на меня, как голодные собаки, у которых изо рта течет слюна. В их глазах я была более лакомым куском, я видела это. За короткое время я поняла многое. Я узнала: надо беречь свое тело, как драгоценную вещь; чувствовала, что я стала привлекательной, от этого мне было беспокойно, но еще больше — приятно. Я ощущала в себе достаточно сил, чтобы сберечь себя или погубить. Порой я подавляла в себе эти чувства, иногда они захватывали меня. Я не знала, что лучше. Я хотела любить маму, мне нужно было о многом расспросить ее, хотелось, чтобы она меня успокоила; но именно в это время я должна была избегать ее и ненавидеть, иначе я бы не сберегла себя. В часы бессонницы, после трезвых размышлений, я убеждалась, что мама не виновата. Она должна была заботиться о нашем пропитании. Но теперь каждый кусок застревал у меня в горле. Мое сердце то совсем останавливалось, то бешено колотилось, точно зимний ветер, который, затихнув на минуту, начинает метаться с еще большей яростью. Я старалась успокоить свое сердце, но не могла.

12

Дела наши становились все хуже — они не ждали, пока я что-нибудь придумаю. Мама спросила: «Ну как?» — и добавила, если я действительно люблю ее, то должна помочь, иначе она уже не сможет заботиться обо мне. Это было не похоже на маму, но она говорила именно так. Она сказала совершенно ясно: «Я быстро старею, пройдет еще года два, и мужчины отвернутся от меня». В самом деле, последнее время она усиленно пудрилась, но морщины были все равно заметны. И она решила стать рабой одного мужчины — на многих ее уже не хватало. Мама считала, что, пока она еще не увяла совсем, ей нужно торопиться. В это время она нравилась одному торговцу пампушками. Я стала уже взрослой, и мне было неудобно идти за маминым носилками, как в детстве. Мне следовало начинать самостоятельную жизнь. Если бы я решилась «помочь» маме, то она могла бы не идти на это — деньги заработала бы я. Я очень хотела помочь, но такой способ заработка вызывал у меня страх. Что я знала? Могла ли я добывать деньги, подобно потерявшей надежду женщине?! У мамы жестокое сердце, но деньги ведь еще более жестоки. Она не принуждала меня вступать на этот путь, предоставив решать самой — помогать ей или разойтись с ней в разные стороны. Мама не плакала, она уже давно выплакала все слезы. Что же мне делать?

13

Я рассказала все директрисе. Это была полная женщина сорока с лишним лет, ограниченная, но с добрым сердцем. У меня не было другого выхода, иначе кому бы я могла рассказать о маме... До этого я никогда не говорила с директрисой откровенно. И каждое слово, точно раскаленный уголь, жгло мои губы, я заикалась и с трудом выдавливала из себя слова. Она захотела помочь мне. Денег дать мне она не могла, но обещала кормить два раза в день и разрешила жить вместе со школьной уборщицей. Она обещала, что со временем, когда я научусь хорошо писать, я буду помогать секретарю переписывать бумаги. Теперь основное было решено. У меня были еда и жилище. Я могла избавить маму от забот. На этот раз даже носилок не было, мама просто взяла рикшу и исчезла во тьме. Мою постель она оставила. При расставании мама сдерживала слезы, но видно было, что сердце ее обливалось кровью. Она знала, что я, родная дочь, не смогу навещать ее. А я? Я безудержно рыдала, и слезы заливали мое лицо. Я ее дочь, друг, утешитель. Но я не могла ей помочь, не могла решиться встать

на тот путь. Я часто думала потом, что мы с мамой, как бездомные собаки, рыскали в поисках еды и ради этого должны были продавать себя, словно кроме желудков у нас ничего не было. Ненависть к маме прошла, я поняла все. Мама не виновата, не виноваты и наши желудки,— нам просто надо было есть, чтобы жить. А теперь разлука с мамой заставила меня все забыть. На этот раз не было серпа луны, кругом стоял мрак, не было даже светлячков. Мама исчезла во тьме, как призрак тени. Умри она, я, пожалуй, не смогла бы похоронить ее вместе с отцом. Не дано мне знать и то, где будет ее могила. Был у меня единственный друг — мама. А теперь я осталась одна на целом свете.

14

Мы с мамой не могли видеться, и любовь в моем сердце увяла — так весенние цветы погибают от инея. Я прилежно занималась каллиграфией, чтобы переписывать всякие пустяковые бумаги для директрисы. Я должна была хоть что-нибудь делать: ведь я ела чужой рис. В противоположность своим одноклассницам, которые целыми днями болтали о том, кто что ест, как одевается, что говорит, я замкнулась в себе, моим другом была моя тень. В моем сердце была только я, потому что никому до меня не было дела. Я сама себя любила и жалела, ободряла и укоряла; я познавала себя, словно постороннего человека. Малейшие изменения во мне пугали меня, радовали и повергали в смятение. Я относилась к себе, как к нежному цветку, и могла думать только о настоящем, не решаясь мечтать о будущем. Я потеряла всякое представление о времени и вспоминала о том, что наступил полдень или вечер только тогда, когда меня звали к столу; для меня не было ни времени, ни надежд, словно я и не существовала на свете. Вспоминая маму, я понимала, что я уже не ребенок. Я не ждала, подобно сверстницам, каникул, праздников, Нового года. Какое они имели ко мне отношение? Но я понимала, что становлюсь взрослой и через некоторое время появятся новые заботы и тревоги. Я чувствовала, что становлюсь красивой, и это меня немного утешало; впервые за все время появилось нечто поднимавшее меня в собственных глазах. Сначала это радовало, потом огорчало меня. Пока не приходила горечь, я была горда — бедная, но красивая! Это и пугало меня: ведь мама тоже была недурна.

15

Я давно не видела серпа луны — я боялась смотреть на него, хотя мне очень хотелось. Я уже окончила школу, но все еще жила здесь. Вечерами в школе оставались только двое старых слуг: мужчина и женщина. Они не знали, как относиться ко мне: я не была уже ученицей, но не была и преподавателем или прислугой, хотя больше походила на последнюю. Вечерами я гуляла во дворе одна, и часто серп луны загонял меня в комнату — не хватало смелости взглянуть на него. А в комнате я могла думать о нем, особенно если было ветрено. Легкий ветерок словно доносил до моего сердца бледный свет луны, заставлял вспоминать прошлое и еще сильнее грустить о настоящем. Мое сердце было подобно летучей мыши в лучах луны — хотя и озаренная светом, она остается темной; а темное, хоть и умеет летать, все же темное,— у меня не было надежд. Но я не плакала, только хмурила брови.

16

У меня появился заработок: я стала вязать вещи для учениц. Директриса разрешала мне это. Но я зарабатывала мало, потому что ученицы сами умели вязать и обращались ко мне только в том случае, когда не успевали связать нужные срочно чулки или варежки. Однако сердце мое словно ожило, я даже думала: останься мама со мной, я могла бы ее прокормить. Но стоило мне подсчитать заработок, и я понимала, что все это только мечты, хотя они и доставляли мне несколько радостных минут. Очень хотелось увидеть маму. Если бы мы встретились и стали жить вместе, мы обязательно нашли бы выход — так я мечтала, но не очень верила в это. Я думала о маме, и она часто мне снилась. Однажды я со школьницами отправилась на прогулку за городскую стену. Был уже пятый час вечера, когда мы возвращались. Надо было торопиться, и мы выбрали самый короткий путь. И я увидела маму! В маленьком переулке была лавка, в которой торговали пампушками. У входа на шесте была выставлена большая пампушка из дерева. У стены сидела мама; согнувшись, она раздувала мехи. Я еще издали увидела ее и узнала, хотя она сидела спиной ко мне. Хотела подойти и обнять ее, но не посмела: я боялась, что ученицы будут смеяться надо мной, они и думать не могли, что у меня такая мама. Чем ближе мы подходили, тем ниже я опускала голову; я взглянула на маму сквозь слезы, она меня не заметила. Мы гурьбой прошли мимо совсем близко от нее, а она как будто ничего не видела и сосредоточенно раздувала мехи. Когда мы ото-

шли подальше, я огляпулась — мама сидела в том же положении. Я не разглядела ее лица, только заметила, что волосы спадали ей на лоб. Я запомнила название этого переулка.

17

Мое сердце словно точил червь, я не могла успокоиться, не повидав маму. Как раз в это время в школе сменился директор. Директриса сказала, что я должна подумать о себе,— она кормила меня и давала приют, но не может поручиться, что новый директор сделает то же. Я подсчитала свои деньги — всего два юаня, семь мао и несколько медяков. На первые дни этих денег было достаточно, чтобы не умереть с голоду, но куда мне идти? Я не могла сидеть сложа руки и грустить, надо было что-то придумать. Первой мыслью было разыскать маму. Но сможет ли она взять меня к себе? А если нет? Своим приходом я вызову недовольство торговца пампушками, маме будет очень тяжело. Я должна подумать о ней, она моя мама, хотя бедность и разделила нас пропастью. Я думала, думала и решила не ходить. Нужно самой нести свои беды. Но как? Я не могла придумать. Я поняла, что мир слишком мал, чтобы в нем нашлось для меня пристанище или утешение. Собаки были счастливее меня: они могли спать на улице; людям же на улице спать не полагается. Да, я человек, но человеку может быть хуже, чем собаке. Если я не уйду, неизвестно, как отнесется к этому новый директор. Я не могла ждать, пока меня выпроводят за дверь. Стояла весна. Но я не чувствовала ее тепла, я только видела, что распустились цветы и зазеленели листья. Красные цветы были всего лишь красными цветами, зеленые листья — всего лишь зелеными листьями; я различала краски, но все это не имело для меня никакого смысла — весна была холодной и мертвой, она не оживила моего сердца. Я не хотела плакать, но слезы текли сами собой.

18

Я отправилась искать работу. Маму я не разыскивала, хотела сама зарабатывать на жизнь и ни от кого не зависеть. Два дня я выходила с надеждой, а возвращалась в пыли и в слезах. Для меня не было работы. Именно теперь я по-настоящему поняла маму и от души простила ее. Она хоть стирала вонючие носки, а я не могла найти даже такую работу. Путь, на который вступила мама, был единственным. Навыки и добродетели, воспитанные

во мне школой, оказались пикчемными, они годились для тех, кто сыт и свободен. Мои соученицы не допускали мысли, что у меня такая мама; они смеялись над продажными женщинами; да, они могли смеяться — они были сыты. Я почти решилась: если найдется человек, который будет меня кормить, я буду все для него делать; ведь мама могла же покоряться. Я не хотела умирать, хотя и думала об этом; нет, я хотела жить. Я молода, красива и должна жить. В позоре не я повинна.

19

Стоило лишь подумать об этом, как мне показалось, что я нашла себе работу. Я отважилась погулять во дворе, где в темно-синем безоблачном небе висел серп весенней луны. Я залюбовалась им. Мягкий свет сияющего серпа падал на иву; ветерок доносил аромат цветов и шевелил ветки; их трепетные тени то появлялись на освещенной стене, то исчезали; свет слабый, тени легкие — малейшее дуновение ветерка пробуждало все ото сна. Чуть ниже серпа луны, над ивой, словно глаза смеющейся феи, блестели две звезды. Они смотрели то на серп луны, то на колеблющиеся ветки. У стены росло какое-то дерево, осыпанное белыми цветами. В слабом свете луны половина дерева казалась покрытой снегом, другая половина была неразличима в тени. «Серп луны — вот начало моих надежд»,— подумала я.

20

Я пошла к директрисе, ее не было дома. Меня пригласил войти молодой человек. Он был красив и любезен. Я всегда боялась мужчин, но этот не внушил мне страха. Он спросил, по какому делу я пришла, и так улыбнулся, что сердце мое растаяло. Я все ему рассказала. Он был растроган и обещал помочь. В тот же день вечером он принес мне два юаня, я не хотела брать их, но он сказал, что эти деньги посылает директриса — его тетка, и добавил, что она подыскала мне квартиру, куда я смогу переехать завтра. Мне бы нужно было высказать свои сомнения, но я не могла решиться. Его улыбка словно проникала в самое сердце. Я чувствовала, что мои подозрения обидят его, такого милого и ласкового.

21

Смеющиеся губы касаются моего лица, поверх его головы я вижу улыбающийся серп луны. Весенний ветер словно опьяняет, он разрывает весенние облака, открывая серп луны и несколько звезд. Ветки ивы, склонившиеся над рекой, слегка колышутся;

сверчки поют любовную песнь, и аромат цветущего тростника разлит в темном вечернем воздухе. Я слушаю журчание воды, дающей тростнику животворную силу; мне хочется стать такой же, как тростник, и быстро тянуться вверх. На теплой влажной земле наливаются белым соком молодые побеги. Все вокруг жадно вбирает в себя силы весны, впитывает ее всеми порами, источает аромат. Подобно окружающим меня цветам и травам, позабыв обо всем, я вдыхаю весну; перестаю ощущать себя, словно растворяюсь в весеннем ветерке, в слабом свете луны. Внезапно луну заволакивает облако, я прихожу в себя и чувствую — жаркая сила подавляет меня. Серп луны исчезает, я теряю голову и становлюсь такой, как мама!

22

Я раскаиваюсь, успокаиваю себя, хочу плакать, радуюсь, просто не знаю, что делать. Хочу убежать, никогда больше не видеть его, но снова мечтаю о нем и скучаю. Я одна в двух комнатах, он приходит каждый вечер. Он всегда обворожителен и добр. Он кормит меня и даже купил несколько платьев. Надевая новое платье, я замечаю свою красоту; я ненавижу эти платья, и в то же время жалко расстаться с ними. Я не смею думать обо всем этом, да и не хочется думать,— я словно околдована, щеки у меня всегда пылают. Мне лень наряжаться, но я не могу не наряжаться; я изнываю от безделья, мне постоянно приходится искать, чем себя занять. Когда я наряжаюсь, я нравлюсь себе, одевшись — ненавижу себя. Мне ничего не стоит расплакаться, но я изо всех сил стараюсь не делать этого, а глаза у меня весь день мокрые. Иногда я как сумасшедшая целую его, затем отталкиваю и даже ругаю; он всегда улыбается.

23

Я давно знаю, что надежд у меня нет; облако может закрыть серп луны — так и мое будущее темно. Вскоре весна сменилась летом, и я пробудилась от весенних грез. Однажды в полдень ко мне пришла молодая женщина. Она была очень красива, но это была хрупкая красота, красота фарфоровой куклы. Войдя в комнату, она разрыдалась. Я все поняла без расспросов. По-видимому, она не собиралась скандалить, я тоже была далека от этого. Она держалась скромно. Плача, она взяла меня за руку. «Он обманул нас обеих!» — сказала она. Я думала, что она тоже любовница.

Нет, это была его жена. Она не скандалила, а лишь повторяла: «Оставьте его!» Я не знала, что делать, было жалко эту женщину. Я пообещала ей. Она улыбнулась. Глядя на нее, я понимала, что она не хочет ни во что вникать, ничего не хочет знать, ей нужно только вернуть мужа.

24

Я долго ходила по улицам. Легко было пообещать, но что мне самой делать? Подаренные им вещи я не хотела брать; раз нужно расстаться, то надо это сделать сразу. Но что у меня останется, если я откажусь от вещей? Куда идти? Есть ведь тоже надо каждый день. Я вынуждена была взять эти платья — не было выхода. Тайком съехала с квартиры, но не раскаивалась, только чувствовала пустоту, и, как у облачка, у меня не было никакой опоры. Приискав себе маленькую комнатку, я проспала целый день.

25

Я понимала, что такое бережливость, и с детства хорошо знала цену деньгам. К счастью, у меня еще оставалось немного денег, и я решила сразу же заняться поисками работы. Ни на что не надеясь, я все же не хотела подвергать себя опасностям. Я повзрослела за два года, однако это не облегчало поисков. Я была настойчива, но ничего не получалось, и все же я чувствовала: надо быть решительной. Как трудно женщинам заработать деньги! Мама права, у нас только одна дорога — та, по которой пошла она. Я не хотела вступать на этот путь, но чувствовала, что мне не миновать его в недалеком будущем. Чем больше я выбивалась из сил, тем больше мной овладевал страх. Мои надежды, подобно свету молодой луны, быстро исчезали. Прошла неделя, другая, надежд оставалось все меньше и меньше. Наконец вместе с несколькими молодыми девушками я пошла в маленький ресторан — там требовалась официантка. Очень маленький ресторанчик и очень большой хозяин; все мы были недурны собой, более или менее образованны и ждали, как императорской награды, выбора хозяина, похожего на развалившуюся башню. Он выбрал меня. Я не поблагодарила его, хотя и обрадовалась. Остальные девушки, казалось, завидовали мне: некоторые ушли, глотая слезы, другие ругались. Насколько у нас обесценены женщины!

В маленьком ресторанчике я стала официанткой «номер два». Я не имела понятия, как накрыть стол, как убрать со стола, как выписать счет, не знала названий блюд. Я немного робела, но «первый номер» сказала, чтобы я не отчаивалась — она тоже ничего не умеет. Она объявила, что все делает Сяошунь; мы же должны только наливать гостям чай, подавать полотенца и счет; остальное нас не касается! Странно! Рукава у «первого номера» были высоко подвернуты, и на белой подкладке обшлага не было ни единого пятнышка. Кисть руки была повязана куском белого шелка с вышитыми словами «Сестренка, я люблю тебя». Она нудрилась с утра до вечера, ее вывернутые губы были кроваво-красными. Давая посетителю прикурить, она опиралась коленом о его ногу; наливая вино, иногда сама отпивала глоток. С некоторыми посетителями она была особенно предупредительна; иных вовсе не замечала — она умела опускать веки, притворяясь, что не видит их. Я обслуживала только тех, кого она оставляла без внимания. Я боялась мужчин. Мой небольшой опыт кое-чему научил меня: любят они или нет — их надо опасаться. Особенно тех, кто бывает в ресторанах,— они притворяются благородными, наперебой уступают друг другу место и выказывают готовность оплатить счет; они с азартом играют в угадывание пальцев [1], пьют вино, жрут, как дикие звери, придираются и ругаются по всякому поводу. Подавая чай и полотенца, я низко опускала голову, мое лицо пылало. Посетители нарочно заговаривали со мной, старались рассмешить; мне было не до шуток. После девяти часов, когда все заканчивалось, я чувствовала страшную усталость. Придя в свою маленькую комнатку, я, не раздеваясь, сразу засыпала и спала до рассвета. Проснувшись, я испытывала некоторую радость; теперь я самостоятельна, собственным трудом зарабатываю на жизнь. На работу я уходила очень рано.

27

«Первый номер» приходила в десятом часу, через два с лишним часа после меня. Она относилась ко мне свысока, но поучала тем не менее без всякой злобы: «Не надо являться так рано, кто приходит есть в восемь часов? Нечего ходить с таким вытяну-

[1] Угадывание пальцев — распространенная в Китае настольная игра, при которой нужно угадать, какой палец покажет партнер. Проигравший выпивает рюмку вина.

тым лицом; ты официантка, а похоронный вид здесь неуместен. Если будешь ходить, опустив голову, кто тебе даст на чай? Ты зачем сюда пришла? Разве не для того, чтобы заработать? У тебя слишком маленький воротничок; девушки нашей профессии должны носить высокие воротнички, иметь шелковые платки — это нравится!» Я знала, что она права, и знала также: если я не буду улыбаться, она тоже потерпит убыток — чаевые делились поровну. Я не презирала ее, а всегда слушала — она старалась ради заработка. Женщины только так могут зарабатывать деньги, иного пути у них нет. Но я не хотела ей подражать. Я как будто ясно видела: в один прекрасный день я вынуждена буду стать еще общительнее и только тогда смогу заработать на чашку риса. Но это произойдет лишь в безвыходном положении, а «безвыходное положение» всегда подстерегает нас, женщин, и я могу только немножко отдалить его. Эта мысль наполняла сердце гневом, заставляла скрежетать зубами, но судьба женщин не в их руках. Через три дня хозяин предупредил: мне давалось еще два дня для испытания, и если я хочу и дальше здесь работать, то должна поступать, как «первый номер». Та полушутя сказала: «Тобой уже интересовались, чего ты прячешься и валяешь дурака? Зачем нам стесняться друг друга? Бывает, что официантки выходят замуж за директоров банков, думаешь, мы тебе помешаем? Действуй, черт возьми, мы тоже покатаемся на машине!» Это меня рассердило. Я спросила ее: «Когда же ты собираешься покататься на машине?» Ее накрашенные губы скривились: «Нечего привередничать, поговорим начистоту; неужели ты такая неженка, что не способна к этому?!» Я не стерпела, забрала юань и пять мао, которые мне причитались, и ушла домой.

28

Постоянно угрожавшая мне черная тень приблизилась еще на шаг. Когда от нее прячешься, она оказывается только ближе. Я не раскаивалась, что ушла с работы, но меня пугала эта черная тень. Я могла продаться какому-нибудь одному мужчине. После того случая я очень хорошо поняла взаимоотношения мужчины и женщины. Стоит женщине немного размякнуть, как мужчина чувствует это и добивается своего. Его интересует только тело, и, пока оно нужно ему, у тебя есть пища и одежда; потом он, вероятно, начнет тебя бить и ругать или же перестанет платить. Так женщина продает себя; иногда это бывает приятно, как мне тогда. В порыве удовольствия говоришь ласковые слова, но этот момент проходит, и чувствуешь боль и унижение. Отдаваясь

одному мужчине, еще можешь произносить нежные слова; когда продаешься всем, лишаешься даже этого. Мама не говорила таких слов. Можно бояться больше или меньше; я не могу принять совета «первого номера», один мужчина внушает мне меньше страха. Да и вообще, и в тот, первый, раз я не думала продавать себя. Я не нуждалась в мужчине, мне еще не было двадцати лет. Вначале я ждала, что с ним будет интересно; кто знал, что, когда мы окажемся одни, он потребует именно того, чего я боялась. Да, тогда я словно отдавалась весеннему ветру, а он воспользовался этим и потом пользовался моим неведением. Его медовые речи навевали грезы; придя в себя, я ощущала пустоту, это был только сон, мне достались лишь еда и несколько платьев. Я не собиралась снова так зарабатывать на жизнь, но пища — это действительность, и еду надо заработать. А для того, чтобы добыть деньги, женщина должна примириться с тем, что она женщина, и торговать собой!

Более месяца я не могла найти работы.

29

Я встретила нескольких школьных подруг, некоторые учились в колледже, другие сидели дома и ничего не делали. Но я им не завидовала и с первых же слов почувствовала свое превосходство. В школе я была глупее их; теперь они обнаруживали свою глупость. Они еще жили словно во сне. Все они выставляли свои наряды, как товары в лавке. Глаза их скользили по молодым мужчинам так, как будто они слагали любовные стихи. Мне было смешно. Впрочем, я должна была извинить их: они сыты, а сытые только и думают о любви. Мужчины и женщины ткут сети и ловят друг друга; у кого деньги — у тех сети побольше, в них попадается сразу несколько жертв, а потом из них, не торопясь, выбирают одну. У меня не было денег, не было даже пристанища. Я должна была ловить без сетей или стать жертвой; я понимала больше, чем мои школьные подруги, была опытнее их.

30

Однажды я встретила ту маленькую женщину, похожую на фарфоровую куклу. Она ухватилась за меня так, словно я для нее самый близкий человек. «Вы хорошая! Вы хорошая! Я раскаялась,— говорила она очень искренне и страшно растерянно.— Я просила вас оставить его,— (Она всхлипнула.) — а вышло хуже! Он нашел другую, еще красивее, ушел и не возвращается!» Из раз-

говора с ней я знала, что они женились по взаимной любви, она и сейчас очень любит его, а он ушел. Мне было жалко эту маленькую женщину, она тоже жила грезами и все еще верила в святость любви. Я спросила ее, что же она собирается делать, она сказала, что должна найти его во что бы то ни стало. «А если он не найдется?» — спросила я. Она закусила губу; она — законная жена, и у нее еще есть родители, она не свободна. Оказалось, что она даже завидует мне — я ни от кого не завишу. Мне еще завидуют — как тут не рассмеяться! Я свободна — смешно! У нее есть еда, у меня — свобода; у нее нет свободы, у меня нет еды; обе мы женщины.

31

После встречи с «фарфоровой куклой» я уже не хотела продавать себя одному мужчине, я решила получить кое-какой заработок, заигрывая с мужчинами. Я ни перед кем не отвечала за это: я была голодна. Заигрывая с мужчинами, я смогу утолить голод, а если я хочу быть сытой, я вынуждена заниматься заигрыванием. Это замкнутый круг, и отправляться можно из любой точки. Мои школьные подруги и та «фарфоровая кукла» почти такие же, но они только мечтают, а я буду действовать, потому что голодный желудок — величайшая истина. Продав все, что у меня оставалось, я обзавелась новым платьем. Я была недурна собой и смело отправилась на заработки.

32

Я рассчитывала кое-что заработать шутками и заигрыванием. О, я просчиталась. Я еще плохо разбиралась в жизни. Мужчины не так легко попадаются на крючок, как мне думалось. Я хотела подцепить кого-нибудь из образованных и в крайнем случае отделаться одним-двумя поцелуями. Ха-ха, мужчины не таковы, они сразу же норовят ущипнуть за грудь. Они только приглашали меня в кино или погулять по улице, я съедала стаканчик мороженого и возвращалась домой голодная. «Образованных» хватало на то, чтобы спросить, что я окончила и чем занимается моя семья. Из всего этого я поняла: если он хочет тебя, ты должна доставить ему соответствующее удовольствие, а за поцелуй получишь только порцию мороженого. Если же продаваться, надо делать это скорей, брать деньги и ни о чем не думать. Я поняла то, что понимала мама и что невдомек «фарфоровым куколкам». Я часто вспоминала маму.

33

Может, некоторые женщины и могут прокормиться, заигрывая с мужчинами, но у меня не хватает ловкости, и нечего рассчитывать на это.

Я стала продажной женщиной. Хозяин не разрешил мне оставаться у него, он считал себя порядочным человеком. Я съехала с квартиры, даже не простившись, и снова очутилась в двух комнатках, где мы когда-то жили с новым отцом. Соседи не распространялись о приличиях, однако были честными и милыми людьми. После переезда мои дела шли очень недурно. Ко мне заходили даже образованные. Они знали: я продаю, они покупают — и заходили охотно, так как не попадали в неловкое положение и не роняли своего достоинства. Вначале было очень страшно: ведь мне еще не исполнилось и двадцати лет. Но через несколько дней я уже не боялась. Я не оставалась бесчувственной, не ленилась двигаться и все пускала в ход: руки, губы... Гостям нравилось это, и они потом добровольно рекламировали меня.

Через несколько месяцев я стала понимать еще больше и определяла человека почти с первого взгляда. Богатые сразу спрашивали цену, давая понять, что покупают меня. Эти были очень ревнивы — пользоваться продажной женщиной они хотели монопольно, потому что у них были деньги. С такими я не церемонилась. Если они начинали капризничать, я предупреждала, что разыщу их дом и расскажу обо всем жене. Они утихали. В конце концов, годы учения в школе не пропали даром. Я уверовала — образование полезно. Другие приходили, крепко зажав в кулак деньги, и боялись только одного: как бы не переплатить. С этими я подробно вырабатывала условия: столько-то за это, столько за то, и они как миленькие возвращались домой за деньгами; меня это забавляло. Больше всего я ненавидела тех прощелыг, которые не только старались заплатить поменьше, но еще и норовили стянуть полпачки сигарет или флакончик с притираниями. Не трогаешь их — они любезны, а заденешь — могут кликнуть полицию и затеять скандал. Я не задевала их, я их боялась. Что же касается полицейских, то каждого из них приходилось чем-нибудь одаривать. В этом мире — мире хищников и хапуг — преуспевают только подлецы. Чувство жалости у меня вызывали ученики старших классов, в кармане у них позвякивала серебряная монета и несколько медяков, на носу выступали бусинки пота. Мне их было жалко, но я продавалась и им. Что мне оставалось делать! Еще были старики — люди почтенные, имевшие кучу детей и внуков. Я не знала, как им угодить; но мне было известно, что у них есть деньги, на которые они хотят перед смертью купить немного радости.

Я давала им то, что они хотели. Так я познакомилась с «деньгами» и «человеком». Деньги страшнее человека. Человек — зверь, деньги — сила зверя.

34

Я обнаружила на теле признаки болезни. Это повергло меня в отчаяние, мне казалось, что не стоит жить. Я ничего не делала, выходила на улицу, слонялась без цели. Мне хотелось проведать маму, она бы немного утешила меня,— я думала как человек, которому суждено скоро умереть. Я обошла тот переулок, надеясь снова увидеть маму; я вспомнила ее, раздувающую у дверей мехи. Лавочка была закрыта. Никто не знал, куда они переехали. Это придало мне настойчивости: я должна во что бы то ни стало разыскать маму. С отчаянной решимостью я несколько дней ходила по улицам, и все напрасно. Закралась мысль, что она умерла или перебралась с хозяином лавки в другое место, может быть, за тысячу ли отсюда. Подумав об этом, я расплакалась. Надев платье и стерев помаду, я легла на кровать и стала ждать смерти. Я верила, что так я смогу скоро умереть. Но смерть не приходила. Послышался стук в дверь, кому-то я понадобилась. Хорошо же, ты получишь меня, ты тоже заразишься. Я не чувствовала себя виноватой перед людьми: ведь все это явилось результатом не моей ошибки. Я снова повеселела, курила, пила вино и стала выглядеть, как женщина лет тридцати-сорока. Синева окружила глаза, ладони горели, я перестала управлять собой: жить можно, только имея деньги; прежде всего надо быть сытым, а потом уж толковать о другом. Я ела хорошо — кто же откажется от обильной еды! Мне нужна хорошая пища, дорогая одежда — этим я хоть чуть-чуть скрашивала свою жизнь.

35

Однажды утром, часу в одиннадцатом, когда я в длинном халате сидела в комнате, во дворике послышались шаги. Вставая в десять часов, я иногда только к двенадцати надевала платье — за последнее время я стала очень ленива и могла часами сидеть в халате. Я ни о чем не думала, ни о чем не мечтала, просто сидела в одиночестве, как чурбан. Шаги, медленные и легкие, приблизились к моей двери. Вскоре я увидела глаза, они смотрели через глазок в двери. Они появились и исчезли; мне лень было двигаться, и я осталась сидеть. Глаза появились снова. Я не выдержала, тихонько растворила двери — мама!

36

Не помню, как мы вошли в комнату и сколько плакали. Мама не так уж постарела. Лавочник, ничего ей не сказав и не оставив ни одного мао, тайком вернулся к старой семье. Мама продала кое-какие вещи, съехала с квартиры и перебралась в одну из трущоб. Она искала меня больше двух недель. Наконец она решила зайти сюда, на всякий случай, и натолкнулась на меня. Она не узнала меня и, пожалуй, ушла бы, не окликни я ее. Я перестала плакать и рассмеялась как безумная: она нашла свою дочь, а дочь — проститутка! Чтобы прокормить меня, она стала продажной женщиной; теперь, когда я должна кормить ее, я стала такой же! Профессия матери стала наследственной!

37

Я надеялась, что мама утешит меня. Я знала цену пустым словам, но мне все-таки хотелось услышать их из маминых уст. Матери — самые искусные обманщицы на свете, их ложь мы считаем утешением. Моя мама обо всем этом забыла; это меня не удивляло, так как ее страшил голод. Она начала составлять опись моих вещей, интересовалась моими доходами и расходами, словно в моей профессии не было ничего необычного. Я сказала ей о своей болезни, думала, что она станет меня уговаривать отдохнуть несколько дней. Нет, она лишь сказала, что пойдет купить лекарство. «Всегда мы будем так жить?» — спросила я. Она ничего не ответила. Но она, несомненно, жалела меня и тревожилась. Она готовила для меня пищу, спрашивала о самочувствии и часто украдкой глядела так, как смотрит мать на спящего ребенка. А сказать, чтобы я бросила свое ремесло, она не могла. Сердцем я хорошо понимала, хотя мне и было обидно,— другой работы не придумаешь. Нам нужно есть, нужно одеваться — это определило все. Какое имеет значение — мать, дочь, честь... Деньги — бесчувственны.

38

Мама вздумала заботиться обо мне, однако ее подслушивания и подглядывания раздражали меня. Я хотела обходиться с ней ласково, но чувствовала, что подчас она невыносима. Она во все вмешивалась, особенно если это касалось денег. Ее глаза, уже

потерявшие прежний блеск, загорались только при виде денег. Перед гостями она появлялась как прислуга, но, когда они платили мало, начинала браниться. В таких случаях я чувствовала себя очень неловко. Хотя я и занимаюсь этим ради денег, на брань это не дает особого права. Я тоже умела быть резкой, но у меня были свои приемы, которые не коробили гостей, а у мамы приемы были грубые, они легко раздражали. Добиваясь денег, вряд ли стоит раздражать людей. Я полагалась на свои приемы, на свою молодость, для мамы же деньги затмевали все. Впрочем, так и должно быть: ведь она намного старше меня. Пожалуй, через несколько лет я стану такой же, сердце мое постареет и станет жестким, как деньги. Да, мама не отличалась учтивостью. Иногда она шарила в портфеле гостя или забирала шляпы, перчатки, трости. Я боялась скандала, но мама верно говорила: «Была не была, за один год мы стареем на десять лет, кому мы будем нужны, когда станем старухами?». Напившегося гостя она выволакивала наружу, оттаскивала в укромное местечко и снимала с него даже ботинки. Удивительно, но эти люди не приходили, чтобы свести с нами счеты; они считали, наверно, что расследование повредит прежде всего им самим. Или воспоминания о приятных минутах не позволяли им прийти и поднять шум? Мы не боялись ушедших, боялись они.

39

Мама была права: в один год мы стареем на десять лет. Прошло два-три года, и я почувствовала, что изменилась. Моя кожа огрубела, губы посерели, в погасших глазах появились красные жилки. Я вставала поздно и все же чувствовала себя разбитой. Я понимала, что посетители замечают это: они ведь не слепы; постепенно их становилось все меньше. Я еще больше старалась угождать мужчинам и еще сильнее ненавидела их, иногда не могла даже скрыть этого. Я высохла, болтала чепуху, перестала быть самой собой. Мои уста невольно мололи вздор, словно не могли без этого. Теперь лишь немногие из образованных оказывали мне внимание, потому что я утратила ту прелесть и беззаботность, за которую они называли меня «птичкой» — единственное, что я слышала от них поэтического. Я должна была одеваться так пестро, что стала походить скорее на фазана, чем на человека,— только таким образом еще удавалось завлекать мужчин попроще. Я красила губы в кроваво-красный цвет и кусала гостей — это приводило их в восторг.

Иногда мне казалось, что я вижу свою смерть. С каждым полу-

чепным юанем во мне словно отмирало что-то. Деньги способствуют продлению жизни, но способ, которым я добывала их, наоборот, сокращает жизнь. Я видела свою смерть, я ждала ее. Мысль о смерти вытесняла все остальное. И о чем, собственно, думать, когда жизнь изо дня в день была такой. Мама — вот моя тень; в лучшем случае я стану такой же, как она. Распродав свое тело, я останусь с пучком седых волос и темной морщинистой кожей. Такова моя судьба.

40

Я принужденно улыбалась, принужденно безумствовала; горе мое не выплачешь слезами. В жизни моей нечего было жалеть, но в конце концов это была жизнь, и я не хотела опускать руки. К тому же то, что я делала, было вовсе не по моей вине. Смерть страшна лишь тогда, когда жизнь прекрасна. Меня же не пугали муки смерти, мои страдания давно превзошли все, что несет смерть. Я люблю жизнь, но не такую. Я мечтаю об идеальной жизни,— жизни, подобной сну; этот сон исчезает, и реальность еще сильнее заставляет меня ощутить все невзгоды. Этот мир не сон, а настоящий ад. Мама, видя мои страдания, убеждала меня выйти замуж, чтобы я имела пищу, а она без хлопот — обеспеченную старость. Я — ее надежда. Но за кого я выйду замуж?

41

Имея дело со многими мужчинами, я совсем забыла, что такое любовь. Я не могла любить даже самое себя, не то что другого человека. Рассчитывая выйти замуж, я должна притворяться, что люблю, уверять, что хочу быть с ним навеки. Я говорила это многим и даже клялась, но никто не взял меня в жены. Там, где властвуют деньги, люди становятся очень расчетливыми. Распутница для них хуже воровки: ведь воровство приносит деньги. Вот если бы я не требовала денег, они согласились бы говорить, что любят меня.

42

Как раз в это время меня схватила полиция. Новые городские власти много разглагольствовали о морали и решили очиститься от грязи. Официальные проститутки по-прежнему занимались своим ремеслом, потому что они откупились; давшие деньги

считались исправившимися и добродетельными. Меня поместили в исправительный дом и стали учить работать. Стирать, стряпать, вязать — все я умела. Если бы этим можно было прокормиться, я никогда бы не взялась за свое мучительное ремесло. Я говорила всем об этом, но мне не верили, считали безнадежно испорченной. Меня учили трудиться и говорили, что я должна любить свою работу, тогда я в будущем смогу себя прокормить или выйду замуж. Эти люди были полны оптимизма, я же не верила ни во что. Своим самым крупным успехом они считали то, что больше десяти женщин после исправительного дома вышли замуж. Два юаня процедурных расходов да одна рекомендация — вот все заботы о каждой из женщин, попавших сюда. Считалось, что это дешево. Мне эта процедура казалась издевательством. Речи об исправлении на меня не действовали. Когда к нам заявился с проверкой какой-то важный чиновник, я плюнула ему в лицо. После этого меня не решились выпустить: я была опасна. Перевоспитывать меня тоже не хотели. И я очутилась в тюрьме.

43

Тюрьма — прекрасное место, которое помогает тебе окончательно почувствовать никчемность человеческой жизни; даже в своих снах я никогда не видела такого отвратительного фарса. Попав в тюрьму, я уже не думала о том, чтобы выйти отсюда; по своему опыту я знала, что там, на свободе, ненамного легче. Я не хотела бы умереть, если бы отсюда можно было попасть в лучшее место, но на самом деле такого места нет, а потому не все ли равно, где умереть! Здесь, именно здесь я снова увидела своего лучшего друга — серп луны. Как давно я его не видела! Что-то делает мама? Я все вспоминаю.

У храма Великой Скорби

Прошло более двадцати лет с тех пор, как не стало наставника Хуана. Все эти годы я неизменно совершал жертвоприношения на его могиле всякий раз, как мне доводилось бывать в Пекине. Только бывал я там не часто и очень грустил, когда осенние ветры заставали меня в иных местах: приносить жертвы на могиле наставника полагалось на девятый день девятой луны[1]. Именно в эту пору он погиб. Я добровольно взял на себя труд совершать жертвоприношения: Хуан был самым уважаемым и самым любимым моим учителем, хотя он никогда не выделял меня среди других учеников — он равно любил всех нас. И все же из года в год осенью меня тянуло на его низенькую могилу под красными кленами, неподалеку от Дабэйсы — храма Великой Скорби.

Случилось так, что целых три года я не был на его могиле: жизнь бросала меня с места на место, и единственное, что мне оставалось,— это мечтать о Пекине. И вот в прошлом году, не помню уж по какому поводу, я приехал в Пекин, всего на три дня. Был праздник середины осени[2], но я все же отправился в Сишань[3] — кто знает, когда еще доведется попасть сюда вновь. В Си-

[1] Девятый день девятого месяца по лунному календарю

[2] Народный праздник в Китае, справляемый на пятнадцатый день восьмого месяца по лунному календарю.

[3] Западные горы, расположенные в окрестностях Пекина.

шань я поехал, разумеется, для того, чтобы побывать на могиле учителя. Ради этого стоило отложить дела, хотя, говоря откровенно, кто не думает за три дня в Пекине переделать уйму дел? На этот раз я не совершал обряда — просто пошел на могилу, и все. У меня не было ни бумажных денег, ни благовоний, ни вина. Наставник не отличался суеверием, и я никогда не видел, чтобы он пил вино.

По дороге в Сишань я все время вспоминал своего учителя, каждую его черточку. Пока я дышу, живет и он, потому что навсегда остался в моем сердце. Всякий раз, когда я встречаю полного человека в сером халате, я пристально вглядываюсь в его лицо: именно таким сохранился в моей памяти учитель. И стоит теперь нам, его бывшим ученикам, собраться за столом, как слова «А что наставник Хуан?» готовы сорваться у меня с языка. Но я точно знаю, что его уже нет.

И зачем только он стал инспектором? Полный, в своем неизменном сером халате! Кем угодно мог он быть, только не инспектором. Но, видно, была на то воля неба. Ведь, не займи он эту должность, он не погиб бы в сорок с лишним лет.

Полный, с тремя складками на шее. Я часто думал, как трудно парикмахеру добираться до коротких волосков между этими складками. При всей моей любви к наставнику Хуану я не мог не признать, что его лицо, похожее на мясистую тыкву, должно было казаться смешным. Но глаза! Хотя верхние веки заплыли от полноты и превратили некогда большие глаза в узенькие щелочки, в этих глазах, черных и блестящих, угадывалась такая глубина! В них светились энергия, острый ум, мягкий нрав этого человека. Эти черные жемчужинки прямо завораживали тебя и проникали в самое сердце, они могли поймать человека, словно рыбку на крючок, и перенести в иной мир, полный света и добра. В такие минуты мешковатый халат учителя казался священным одеянием.

Случалось, кто-нибудь из учеников придумывал совершенно правдоподобную причину, чтобы отпроситься в город, однако учитель, еще не дослушав объяснение до конца, начинал посмеиваться с таким видом, словно опасался, как бы ученик сам не проговорился, и тут же старательно выводил большими иероглифами увольнительную. И все же отпрашиваться надо было непременно, самовольные отлучки из школы категорически запрещались. Одно дело человеческие чувства, совсем другое — школьные правила, и тут уж ничего не поделаешь. Таков был наш школьный инспектор!

Его нельзя было назвать образованным, хотя каждый вечер в часы самоподготовки он занимался вместе с учениками. Читал он обычно непомерно толстенные книги, таких же устрашающих размеров была и его тетрадь для записей. Его толстые пальцы

с опаской переворачивали тонюсенькие страницы, словно боялись порвать их. Когда бы он ни читал, летом или зимою, лоб его покрывался капельками пота — ведь он вовсе не был человеком книжным. Иногда я украдкой наблюдал за ним: выражение его глаз, сдвинутые брови, вздувшиеся на висках вены и стиснутые зубы — все говорило о том, что он заблудился в таинствах сюжета. Но вдруг его лицо озарялось ему одному свойственной детской улыбкой, из груди вырывался легкий вздох, а огромная рука вытирала со лба пот белым платком величиной с добрую простыню.

Не говоря об остальном, наивного простодушия этого человека, его удивительного трудолюбия было достаточно, чтобы полюбить его.

Человек, у которого есть хоть капля ума и души, даже если это всего-навсего пятнадцатилетний школьник, каким был тогда каждый из нас, не мог не понимать, что теплота и сердечность господина Хуана происходят от врожденного благородства. Но стоило кому-нибудь из нас проявить безответственность, как сразу становилось ясно, что он мягок, но не слаб. Мы видели в нем скорее товарища, чем учителя; его волнение, усердие, пот на лбу и бесконечные вздохи — все это роднило его с нами.

Во всех наших маленьких школьных бедах, казавшихся нам огромными и непреодолимыми, наставник Хуан первым приходил утешать нас, даже если ничем не мог помочь. Когда же это было в его силах, он первым делом помогал, а потом уж приходил утешать. Двадцать лет назад инспектор средней школы получал каких-нибудь шестьдесят юаней, и все же треть своего жалованья он выделял в пользу учащихся. Никто из нас, надо сказать, не испытывал особых материальных затруднений, но и этим деньгам всегда находилось применение.

Когда кто-нибудь из нас прихварывал, наставник Хуан заботливо ухаживал за нами, приносил книжки, фрукты или какие-нибудь лакомства и украдкой клал на постель больного.

Добрый гений в трудные минуты, он в обычное время оставался суровым владыкой и со всей строгостью правил нами. Грязь в общежитии, нерадивость в занятиях гимнастикой после уроков — этого было достаточно, чтобы над нашей головой собрались грозовые тучи. Правда, тучи эти всегда проливались дождем слез.

Но в школе, как и вообще в жизни, не бывает, чтобы все всё понимали. Некоторые ученики терпеть не могли господина Хуана. Не потому, что он не любил кого-нибудь, и не потому, что он в чем-то бывал неискренен, а просто потому, что существует извечный конфликт между великим и ничтожным, в результате которого великое всегда гибнет, будто только и может утвердиться ценой собственной гибели. Господин Хуан был так же добр к этим учени-

кам, как и к остальным, они знали его достоинства и все же не любили его. Они могли возненавидеть его за одно-единственное замечание, даже если прежде видели от него только добро. Я не хочу сказать, что презираю их за это. Я лишь считаю, что на свете очень много таких людей. И дело даже не в том, что они не отличают хорошее от плохого, просто они слепо любят самих себя и не терпят никаких укоров. Спаси такому жизнь и пожури слегка при этом, он ни за что не простит тебя да еще и возненавидит своего спасителя, тут же забыв о всем добром. Став инспектором, господин Хуан совершил непоправимую ошибку. Бывают инспекторы недобросовестные, но наставник Хуан и недобросовестность — понятия несовместимые. Поэтому при всем своем великодушии и искренности он по обязанности должен был держать нас в руках.

Придя в школу, учитель Хуан с первого же раза всем понравился, быть может, потому, что не был похож на других учителей. Другие учителя отличались от книг только тем, что умели говорить, и мы относились к ним так же почтительно, как к книгам. И сами они, и их интересы принадлежали к какому-то чужому, недоступному нам миру. Учитель Хуан ничуть не походил на них — он был простым человеком: ел вместе с нами, спал вместе с нами, вместе с нами читал книги.

Но через полгода появились недовольные: и получившие от него замечания за нарушение порядка, и охотники показать, что у них самих есть голова на плечах — им слово, а они в ответ десять; были и любители сначала набезобразничать, а потом пресмыкаться.

Случилось как-то маленькое недоразумение, после которого оказалось, что друзей и врагов у наставника поровну. Все началось с того, что ученикам захотелось помитинговать во время занятий, а инспектор Хуан не разрешил. Это посчитали бесцеремонным вмешательством. А он по своей наивности потребовал решить голосованием, можно ли проводить собрания в учебное время. Хорошо еще, что его предложение прошло с перевесом в три голоса. И хотя волнения вскорости сами по себе улеглись, авторитет его упал наполовину.

Недоброжелатели Хуана поняли, что настало их время, еще одна такая заварушка — и он полетит. По крайней мере трое учителей претендовали на совмещение должности инспектора и преподавателя. Самым рьяным был учитель ручного труда, который лучше всего умел работать языком. Если не считать полноты, он был прямой противоположностью господину Хуану. Как-то на уроке он сказал, что за восемьсот монет в месяц он с удовольствием подавал бы и ночные горшки. Многим ученикам он нравился: на его уроках можно было хоть спать — все равно свой балл получишь. А при

таком, как он, инспекторе и вовсе настала бы райская жизнь! После той неприятной истории с голосованием у него в комнате каждый вечер происходили совещания, что вскоре принесло первые плоды. Учителя Хуана старались скомпрометировать перед директором, на классных досках то и дело появлялись надписи «жирный боров», «заплывшая харя».

Господин Хуан знал о происходящем от учеников. И как-то неожиданно взял отпуск на день. А вечером в комнату для самоподготовки явился сам директор и сообщил, что господин Хуан приходил к нему с прошением об отставке, но согласия не получил. Директор сказал:

— Если кому не нравится наш прекрасный инспектор, можете оставить школу. Если же им недовольны все, я уйду вместе с ним.

Никто не произнес ни слова. Но не успел директор ступить за дверь, как несколько учеников помчались к преподавателю ручного труда и устроили там экстренное совещание.

Через день учитель Хуан, как всегда, был на посту, только сильно осунулся. После занятий он собрал учеников. Явилось не больше половины. Он взошел на кафедру, словно намереваясь произнести речь. Но вдруг улыбнулся, помолчал, а потом тихо сказал всего одну фразу:

— Простим друг друга!

И больше ничего.

После летних каникул в школе день ото дня ширилось движение за отмену ежемесячных экзаменов. Взрыв произошел перед праздниками. Ученики отказались сдавать экзамен преподавателю английского языка, и, когда он выходил из класса, вслед ему неслась брань.

Скандал дошел до самого директора, но тот поддержал систему ежемесячных экзаменов. Тогда учащиеся потребовали убрать преподавателя английского языка. Некоторые предлагали, правда, разделаться заодно и с директором, но большинство решило пока ограничиться сменой учителя. Не идти же, в самом деле, против директора! Бойкот экзаменов был временно снят с повестки дня. Уже тогда наставника Хуана предупреждали:

— Не накличьте беду на свою голову!

И зачем он только стал инспектором? Теперь он обязан был блюсти порядок в школе.

Тут же, разумеется, нашлись люди, которые повели кампанию против него.

Директор не согласился сменить преподавателя. Кто-то пустил слух, что на педсовете, где обсуждался этот вопрос, инспектор Хуан высказался за строгие меры, чтобы преподаватели совмест-

ными усилиями приструнили учащихся, инспектор Хуан... инспектор... инспектор...

Словом, все обернулось против инспектора Хуана, и теперь уже не преподаватель английского языка, а он сам оказался под обстрелом.

Чего только не делал наставник Хуан: бегал к ученикам, предупреждал, разъяснял, смеялся и плакал со свойственным ему простодушием и искренностью. Все напрасно!

Ученики, которые не возражали против месячных экзаменов, не осмеливались рта открыть. Те, кому было безразлично, предпочитали говорить резкие слова, чтобы завоевать авторитет у товарищей. Даже доброжелатели господина Хуана не решались поддержать его: бунт, словно заклятье, парализовал всю школу.

Как-то я встретил наставника на улице.

— Будьте осторожны, учитель,— предупредил я его.

— Разумеется! — улыбнулся он.

— Знаете, против кого все обернулось?

Он кивнул и опять улыбнулся.

— Я же инспектор!

— Сегодня вечером, кажется, общее собрание. Вам лучше не ходить.

— Но ведь я же инспектор!

— Они могут пустить в ход кулаки.

— Ударить? Меня? — Он изменился в лице.

Я понял: он и мысли не допускал, что его могут избить. Был слишком уверен в себе. И все же испугался немного. Он не был твердокаменным героем, он был человеком, за это я и любил его.

— Но за что? — Он словно вопрошал свою совесть.

— Их подстрекают за вашей спиной.

— О! — Он, пожалуй, не понял, что я имел в виду, и, сощурившись, спросил: — А если я попытаюсь усовестить их, все равно побьют?

Я едва сдержал слезы, тронутый его простодушием и детской наивностью. Он все еще верил во всепобеждающую силу добра. Ему и в голову не приходило, что на свете бывают люди вроде преподавателя ручного труда.

— Я вас очень прошу, не ходите на собрание!

— Но я же инспектор! Я постараюсь их уговорить. Ведь от этого вреда не будет. А вам спасибо!

Я стоял как вкопанный и смотрел вслед человеку, готовому пожертвовать собой ради долга. Но сам он не предполагал, что приносит себя в жертву. Услышав о том, что его могут избить, лишь переменился в лице, но от своего не отступил. Я понял, что теперь он и не помышлял об отставке. Не мог он уйти, когда в

школе такое творится. «Я же инспектор!» — до сих пор не могу забыть этих слов и тона, каким они были сказаны.

Вечером и в самом деле состоялось общее собрание. Мы впятером — больше всех любившие Хуана — нарочно сели поближе к кафедре. Решили, если дойдет до драки, нам, может быть, удастся его защитить.

Господин Хуан появился в дверях минут через пять после начала собрания. Воцарилась мертвая тишина. Председатель как раз излагал новости, полученные от учителя ручного труда, зачитывал «список преступлений» инспектора, а инспектор тут как тут. У меня даже дыхание перехватило.

Наставник Хуан зажмурился, будто от яркого света, опустил голову и, словно слепой, медленно притворил дверь. Потом широко открыл похожие на черные бусинки глаза и обвел ими всех нас. При свете лампы лицо его казалось серым, как зола. Он шагнул к кафедре, ступил на возвышение и улыбнулся:

— Уважаемые ученики! Я хочу сказать вам несколько слов не как инспектор, а как друг!

— Мягко стелешь!

— Предатель!

Кричали из задних рядов.

Голова наставника Хуана поникла. Таких оскорблений он не ожидал. Он не рассердился на тех, кто его поносил, а лишь усомнился в самом себе. Быть может, он не сумел быть искренним до конца или...

Эта склоненная голова решила его судьбу.

Когда при его появлении наступила мертвая тишина, я подумал, что в душе все уважают его и он вне опасности. Но склоненная голова — конец. Значит, он принял их упреки, и теперь ему стыдно.

— Бей его! — заорал самый близкий дружок преподавателя ручного труда.

— Бей! Бей!

Сзади все повскакали со своих мест. Мы встали плечом к плечу, пять человек. Только бы устоять! Стоит нам сдвинуться с места, и начнется свалка. «Учитель, уходите!» — сказал я намеренно тихо, чтобы услышал он один, человек, которого я хотел спасти во что бы то ни стало.

Уйди он в тот момент — до дверей ему было всего два шага,— я уверен, ничего бы не случилось. Мы впятером смогли бы хоть на секунду сдержать тех, кто напирал сзади.

Но наставник Хуан не двинулся с места. Словно собравшись с силами, он решительно поднял голову. Взгляд его был страшен. Но это длилось какое-то мгновение. Он сдержал свой гнев, гото-

вый прорваться, и вновь склонил голову, словно придавленный тяжким раскаянием. У этого человека хватило сил встать надо всеми. Я понял движение его души: ничуть не задетый грубой бранью, он лишь сомневался в собственной правоте, но сердце подсказало ему, что совесть его чиста. Когда закричали «бей!», он разгневался, но тут же спохватился — ведь это же дети... Он вновь опустил голову. И тогда вопль «бей!» перерос в настоящий рев.

Если бы он и вправду рассердился, никто не посмел бы поднять на него руку, но он вновь склонил голову. Так было, и крик висел в воздухе, но никто не хотел бить первым, и к тому же у всех на уме был один вопрос: «С какой стати бить этого честного человека?» Конечно, большинство поверило председателю, но не так-то легко было забыть все, что сделал для них учитель Хуан. К тому же некоторые понимали, что обвинения против Хуана дутые и что это дело рук одной шайки.

«Уходите!» — сказал я снова. Я знал, что в такой ситуации «выкатывайся» прозвучало бы куда убедительнее, но язык не повернулся.

Наставник Хуан по-прежнему не двигался с места. Только голову поднял — на губах улыбка, глаза подернуты влагой. Он смотрел на нас, как смотрит ребенок на тигра — любуясь им и страшась его.

И вдруг в окно влетел обломок кирпича, а за ним осколок стекла, словно хвост за кометой. Он попал учителю прямо в висок — сразу показалась кровь. Хуан схватился за кафедру. Все сидевшие сзади бросились вон из комнаты. Мы поддержали его.

— Ничего, ничего! — через силу улыбнулся он, а кровь уже залила его лицо.

Ни директора, ни заместителя, ни школьного врача не оказалось на месте. Мы решили сами отвезти наставника в больницу.

— Отведите меня в мою комнату,— выговорил он с трудом.

По неопытности мы послушались его и, поддерживая под руки, повели. Войдя к себе, он пошатнулся, хотел было умыться, но, обессилев, упал на кровать. Кровь уже не текла, а хлестала.

Пришел старенький служитель Чжан Фу, взглянул на наставника и сказал:

— Побудьте с господином учителем, я схожу в школьный лазарет за врачом.

Школьный врач обмыл рану, наложил повязку и велел отвезти Хуана в больницу, поскольку опасность еще велика. Глоток коньяка, казалось, прибавил ему сил, он вздохнул и закрыл глаза. Когда врач снова повторил, что необходимо ехать в больницу, Хуан улыбнулся и сказал шепотом:

— Умирать, так здесь. Ведь я инспектор. Как же я покину школу, когда директора нет на месте!

Старик Чжан Фу вызвался провести эту ночь возле «господина учителя». Мы бы тоже остались, но знали, что десятки глаз будут с презрением смотреть на нас там, на улице; чего доброго, обзовут подлизами. А что может быть страшнее в юности! Людям свойственно принимать сострадание за пресмыкательство. В молодости благие порывы часто уживаются с равнодушием. И нам пришлось покинуть нашего учителя. А когда выходили, до нас донеслось: «Полюбуйтесь! Выкормыши этого борова Хуана!»

На следующее утро старик Чжан Фу сообщил нам:

— Господин учитель заговаривается.

Пришел директор и велел отправить Хуана в больницу, как бы тот ни противился.

Но в этот миг к учителю вернулось сознание. Мы стояли за дверью и все слышали. Рядом с нами был этот тип, преподаватель ручного труда. Он все улыбался, посматривая на белую табличку с надписью «Инспектор» на дверях комнаты наставника, а перед нами прикидывался, что хмурится, словно его очень беспокоило состояние господина Хуана.

Мы слышали, как наставник сказал:

— Хорошо, я поеду в больницу. Но прежде позвольте мне повидаться с учениками.

— Где? — спросил директор.

— В актовом зале. Хочу сказать им несколько слов. Иначе никуда не поеду.

Прозвенел звонок. Собрались почти все ученики.

Старик Чжан Фу и директор под руки ввели наставника Хуана. Кровь просочилась через бинт, повязка, словно ядовитая змея, обвилась вокруг его головы. Он изменился до неузнаваемости. Войдя в зал, остановился, силясь открыть глаза — мешала повязка. Огляделся вокруг, словно искал среди нас своих детей, и склонил голову, не в силах держать ее прямо. И, не поднимая головы, тихо, но очень ясно произнес:

— Кто бы ни бросил в меня камень, я... я не в обиде!

Он вышел. Все замерли на несколько мгновений. Потом вдруг кинулись к выходу, догнали его — стояли и смотрели, как он садился в машину.

Через три дня он умер в больнице.

Кто его убил?

Дин Гэн.

Но в то время никто не подозревал, что это дело рук Дин Гэна.

Его прозвали Барышней, а барышни, как известно, не умеют бросать кирпичи.

Дин Гэну было всего семнадцать лет. Неизменная короткая курточка, лицо в красных прыщиках, глаза мутные, словно в них закапали лекарство. Угрюмый и молчаливый, он сегодня был хорош с одним, завтра с другим; иной раз сам вызовется в комнате прибирать, а иногда ходит по целым дням неумытый. Вот таким он был, наш Барышня,— на неделе семь пятниц.

Когда волнения улеглись, преподаватель ручного труда занял по совместительству должность инспектора. Наставник Хуан умер, и директор не стал доискиваться, кто повинен в его смерти. По правде говоря, никто точно не знал, чьих это рук дело.

Однако не прошло и полугода, как все узнали, что это Дин Гэн. Он не был больше Барышней, стал совсем другим человеком. Теперь он любил поболтать, чаще всего о вещах непристойных. Завел дружбу со всякими лоботрясами, попыхивал сигаретой — все сходило при новом инспекторе. Вечерами он где-то пропадал, по временам от него попахивало вином. Дин Гэн стал председателем ученического совета. Словом, с того злополучного вечера, когда погиб наставник Хуан, Дин Гэна словно подменили. Кто бы подумал, что Барышня способен убить человека. Но теперь он стал совершенно другим, и этот другой, по общему мнению, был способен.

Через полгода он сам об этом проболтался, скорее всего, из хвастовства, чтобы поддержать свою репутацию сорвиголовы. Больше всех этого сорвиголову боялся преподаватель ручного труда и по совместительству инспектор. Он даже заискивал перед Дин Гэном — понимал, что так безопаснее. После того как учитель Хуан покинул кабинет инспектора, наша школа перестала походить на школу.

Что заставило Дин Гэна бросить кирпич? По его словам, для этого было достаточно причин, одна другой основательнее. Но правды так никто и не узнал.

Видимо, Барышня просто дал волю своему «девичьему» нраву. Ведь он даже не посмел прийти на собрание, стоял и слушал под окном, ожидая, какой оборот примет дело. И тут на него нашло; может, ему показалось, что наставник Хуан в чем-то его обвинил, или он увидел его улыбку и подумал, что неплохо бы запустить кирпичом в это жирное лицо, или... неважно, как это пришло ему в голову. Мальчишка в семнадцать лет с прыщавым лицом, со звериной тоской во взгляде, с вечно меняющимся настроением способен на все. Именно таким он и был. Еще при наставнике Дин Гэн менялся сто раз на день, ему даже нравилось, когда его называли неженкой — Дайюй. После смерти Хуана с ним стало тво-

риться что-то неладное. То, услышав несколько слов похвалы, он весь день, склонившись над столом, примерно выводил прописи уставным почерком, что ему, кстати, очень удавалось, то вообще не являлся на занятия.

И таким он был не только в школе. По окончании нам пришлось проработать вместе полгода, и, наблюдая за ним, я понял, что он нисколько не изменился. Уместно вспомнить об одном случае. Работали мы в начальной школе, я вел четвертый класс. Через два месяца он вдруг надумал поменяться со мной группами, единственно оттого, что у меня было тремя учениками меньше. Конечно, он не мог прямо сказать директору, что ему лень проверять лишние три тетради, он мотивировал свою просьбу тем, что по положению учитель четвертого класса выше, чем учитель третьего, а он не желает быть хуже других. Это, конечно, тоже не бог весть что за довод, но тут уж речь шла о моральной стороне вопроса. Кроме того, он сообщил директору, что еще в школе был бессменным председателем ученического совета, а председатель — вождь масс. Потому и сейчас он должен быть впереди.

Директор посоветовался со мной, я сказал, что мне безразлично, и предоставил все на его усмотрение. Но директор не захотел начинать ломки посреди учебного года, и все осталось без изменений. На том дело и кончилось. Незадолго до каникул директору потребовался двухнедельный отпуск, и он попросил меня заменить его. Дин Гэну это не понравилось: он сам хотел замещать директора и на сей раз обратился прямо ко мне — просить об этом директора ему, видимо, было неловко. Не помню, что я ответил, но вышло так, что мне пришлось пойти к директору с просьбой не оставлять меня заместителем. Мы обо всем договорились, как вдруг Дин Гэн отказался и ни с того ни с сего подал в отставку. Не захотел даже подождать до конца учебного года. Уговоры не помогли. Не успел директор уехать, как он собрал свои пожитки и исчез.

С тех пор мы с ним больше не виделись.

Глядя на могилу учителя, я вспоминал все пережитое за эти двадцать лет. Могила почти сровнялась с землей, на небольшом холмике выросли полевые цветы; они были прелестны, и от этого мне стало еще горше. Солнце уже склонилось над бамбуковой рощей у Дабэйсы — храма Великой Скорби, но я не торопился уходить. Так хотелось, чтобы наставник Хуан, полный, в сером халате, пришел и поговорил со мной хоть немного.

Вдруг вдалеке показался какой-то человек — без шляпы, с отросшими волосами, в короткой синей куртке. «Видно, прохожий»,— подумал я и не обратил на него особого внимания, но он

свернул на тропинку и шел прямо ко мне. Неужели еще кто-то вспомнил об учителе?

Он увидел меня, лишь когда подошел к могиле, увидел и остановился как вкопанный. Издали он не заметил меня — я сидел под кленом.

— Ты? — Он назвал меня по имени.

Я так и замер, но все никак не мог его припомнить.

— Не узнаешь? Дин...

Не успел он договорить, как я вспомнил — Дин Гэн. Его невозможно было узнать, так он переменился за эти двадцать лет, хотя в чем-то, я даже не мог понять в чем, он оставался Барышней. Длинные волосы были спутаны, лицо черное, глубоко провалившиеся глаза гноились, на белках проступили красные прожилки, зубы наполовину сгнили. Я невольно перевел взгляд на его руки — указательный и средний пальцы были до половины совершенно желтые. Он смотрел на меня, вытаскивая из кармана сигареты.

Не знаю почему, на меня вдруг пахнуло человеческим горем. Я не питал к нему никаких чувств, и все же... старый школьный товарищ... Я подошел и пожал ему руку — рука у него сильно дрожала. Мы всматривались друг в друга влажными глазами, потом, не сговариваясь, посмотрели на низенький холмик. Я едва сдерживался, чтобы не спросить: «Ты тоже пришел к нему?» Эти слова вертелись у меня на языке. Он закурил и, выдохнув дымок в голубое небо, улыбнулся.

— Я тоже пришел к нему, смешно, не правда ли? — проговорил он и опустился на землю.

Я не знал, что сказать, как-то неопределенно хмыкнул и присел рядом с ним.

Он долго молчал, понурившись, попыхивая сигареткой, словно думал о чем-то. Сигарета догорела уже до половины, когда он наконец поднял голову, стряхнул пепел и сказал с улыбкой:

— Двадцать лет! А он все еще не простил меня! — Дин указал сигаретой на могилу.— Он!

— Что? — Мне стало как-то не по себе. Уж не рехнулся ли он?

— Помнишь, как он тогда сказал: «Я не в обиде!» Помнишь?

Я кивнул.

— Когда мы учительствовали в начальной школе, я вдруг уехал. А до этого просил тебя отказаться замещать директора. Помнишь, что ты мне на это ответил?

— Не помню.

— «Я не в обиде!» Вот что ты ответил. И в тот раз, когда я хотел поменяться с тобой группами, ты сказал то же самое. Может, и без всякого умысла, но для меня эти слова — месть, кара! У них

свой цвет — красный цвет бинта, похожего на ядовитую змею. У них свой цвет. Они превратили всю мою жизнь в кошмар. Мечты, долг — все облетело, как осенние листья с деревьев. Как листья с этих кленов. Ты, наверное, догадался, почему я тогда хотел замещать директора? Я действовал исподволь, все давно подготовил, чтобы он не вернулся. Но ты сказал эту фразу...

— Неумышленно,— словно оправдываясь, ответил я.

— Знаю. Уйдя из школы, я поступил на службу в речное управление. Работа — не бей лежачего, а деньги хорошие. Через полгода подвернулась выгодная вакансия. Я знал, что некий Ли метит на это место. Я действовал, но и он не зевал — силы оказались почти равными, поэтому долго не было приказа. И тут мы с ним встретились в доме начальника управления, играли в мацзян. Директор намекнул, что из-за нашего соперничества он в затруднительном положении. Я промолчал, а тот, Ли, выбрасывая красную кость, сказал: «Красная! Я уступаю, но я не в обиде!» «Красная!» Не в обиде!» И вновь встал перед моими глазами Хуан... и бинт, сквозь который сочилась кровь! Из последних сил я едва доиграл партию. Я не мог больше видеть этого Ли: он казался мне двойником инспектора Хуана. Он доконал меня этими словами, проклял мою душу. Если существуют оборотни — он один из них. Я бросил работу. Я больше не мог! Не мог! — На лбу у него выступили капли пота.

— У тебя, видно, со здоровьем плохо, нервы не в порядке.— Я говорил так, чтобы успокоить его, сам я не верил россказням о чертях и духах.

— Клянусь тебе, я вовсе не болен. Хуан в самом деле преследует меня. Лживый он человек. Все добреньким прикидывался. Он и проклял меня так — будто простил. Все одно к одному, ясно. Уволившись из управления, я вскоре женился...— Тут лицо у него исказилось, он стал похож на коршуна, потерявшего птенца.

Уставившись на пожелтевшую травинку, он долго молчал — видно, не мог собраться с мыслями. Я слегка кашлянул. Он вздрогнул, потом вытер со лба пот.

— Красавица. Она была красива, но порочна. В первую же ночь наша комната превратилась в ад. Крови не было — понимаешь, о чем я? Комната новобрачных без крови — сущий ад! Конечно, это устаревшие взгляды, но я женился по старинке, так что и чувства мои были старомодны. Она призналась мне во всем, умоляла простить ее. Говорят, красота может кого угодно растрогать. Но тогда сердце мое было тверже стали — я решил, что ни за что не стану рогатым. Чем сильнее она плакала, тем больше я свирепел; сказать по правде, мучить ее доставляло мне удовольствие. Наконец, когда слова и слезы ее иссякли, она сказала напоследок:

«Возьми кровь моего сердца,— она обнажила грудь,— убей меня, ты имеешь на это право. Пусть я умру. Я не в обиде!» Это был конец — сам Хуан смеялся надо мною с порога брачной комнаты. Я остолбенел. На другой день я ушел, стал бродягой, хотя у меня был дом. Бросил там женщину без крови и окровавленного дьявола. Но я не смог убить себя. Он преследовал меня повсюду, отнял все мои радости. Я не мог ему позволить лишить меня и жизни!

— Дин, по-моему, ты все же нездоров. Ведь ты же убил его тогда неумышленно, все вышло потому, что мы замешкались. Отвези мы его в больницу сразу, он, конечно, остался бы жив.— Я говорил все это потому, что совершенно точно знал: скажи я, что наставник Хуан был прекрасным человеком и не стал бы никого проклинать после смерти, Дин вышел бы из себя.

— Верно. Конечно, я не по злобе, но все дело в том, что он прикинулся добреньким, вроде бы простил меня, а на самом деле наслал на меня страшное проклятие. А то разве пошел бы он в этот зал говорить такое, глядя в глаза смерти? Ну ладно, я тебе еще расскажу. Став бездомным, я мог ехать, куда мне вздумается. Объехал не меньше дюжины провинций. Под конец вступил в Гуандуне в революционную армию. Когда с боями пришли в Нанкин, я уже командовал полком. И наверняка дослужился бы до командира корпуса. Но началась чистка партии, и мне снова не повезло. Случилось так, что один мой друг по фамилии Ван оказался с левым уклоном. По должности он стоял значительно выше меня. И если бы мне удалось спихнуть Вана, я занял бы его место. Навредить ему было проще простого — у меня на него было полно материала, но я все тянул. Больше года мы вместе смотрели смерти в глаза, даже в госпитале два раза вместе валялись. Но не мог же я упустить такой случай. Тут и смелому нужно время, чтобы решиться, а я особым героем не был, так что искал путь попроще. Подобрал одного человека и послал к Вану передать, что над ним нависла серьезная опасность и ему лучше всего скрыться, а дела передать мне — я, дескать, обо всем позабочусь. Он не послушал. Я вышел из себя, решил действовать. И вот как раз, когда я обмозговал это дельце, этот бесстрашный черт заявился прямо ко мне. Совсем один. Бывают такие типы: пыжатся до самой смерти, будто жизнь им нипочем, а смерть — самое милое дело, шуточка... Тот парень как раз из таких был, все со мной хи-хи да ха-ха. Мудрить я не стал — все равно он был в моих руках. Поглаживая кобуру, я ему все прямо сказал. А он выслушал и засмеялся мне в лицо: «Если хочешь меня убить — валяй. Я не в обиде!» Разве сам он мог такое сказать? Попасть в самую точку? Я знаю, я точно знаю, что всякий раз, когда я уже держу успех в руках, «он» приходит, чтобы покарать меня, лживый призрак

с улыбкой на устах, придумавший эдакий способ уничтожить человека. Я и руки поднять не мог, не то что вытащить пистолет и застрелить его. А Ван, смеясь, ушел. Что хорошего мог я после этого ожидать? Он был выше меня по службе. Идти доносить было, пожалуй, поздно. Он ведь тоже не стал бы сидеть сложа руки. В конце концов мне пришлось бежать. Теперь все пешки, бывшие под моим началом, выбились в полковники, а я? Я женат, но у меня нет дома, не монах, а ночую в храме. Я и сам не знаю, что я такое!

Наступила пауза, и я спросил:

— В каком храме?

— Да вот в Дабэйсы. Чтобы быть к нему поближе.— Он указал на могилу и, не дождавшись моего вопроса, пояснил: — Рядом с ним. Каждый день прихожу его проклинать!

Не помню, о чем мы еще говорили и говорили ли мы вообще. Да и важно ли это! Я шел по склону горы, усыпанному опавшим золотом осени, и солнце садилось у меня за спиной. Я не смел посмотреть назад. Все боялся увидеть те клены. Их красные листья были так похожи на кровь!

Разящее копье

Дом, где раньше помещалась «фирма» телохранителей Ша Цзылуна, давно превратился в обычный заезжий двор...

Восток не мог не пробудиться от глубокого сна. Гром пушек заглушил рев тигров в малайских и индийских джунглях. Люди спросонок протирали глаза, молились богам и предкам; вскоре они потеряли свои земли, свободу, независимость. Люди другой расы стояли у дверей, и дула их ружей еще дымились. Разве могли теперь помочь длинные копья, отравленные стрелы и толстые щиты, ярко расписанные цветами и змеями? Даже предки и боги, в которых верили предки, потеряли силу. Китай драконового знамени перестал быть загадкой; появились поезда, их рельсы пересекли могилы предков, растоптали местные святыни. Оранжево-красные знамена с кисточками, мечи с ножнами из зеленой акульей кожи, звенящие колокольчиками уздечки, острословие, крепкая брань всевозможных бродяг, слава и доблесть, а вместе со всем и Ша Цзылун, его военное искусство и предприятие минули как сон, как вчерашний день. Сегодня — поезда, скорострельное оружие, торговля, террор... Поговаривают даже, что нашлись люди, которые хотят отрубить голову самому императору.

То было время, когда телохранители потеряли кусок хлеба, а революционная партия вместе с просветителями еще не начала пропагандировать национальное военное искусство.

Кто не знал Ша Цзылуна, невысокого и худого, быстрого, крепко сбитого, с глазами, горящими, как звезды в морозную ночь? Теперь Ша растолстел. Он занимал три северные комнаты в заднем дворе, его славное копье стояло в углу, а во дворе устроили голубятню. И только по ночам, заперев ворота маленького дворика, Ша снова пробует свой коронный «удар, поражающий пятерых тигров». Это «разящее копье» с его «поражающим пятерых тигров

ударом» двадцать лет удерживало за ним на всем Северо-Западе славу «Ша Цзылуна с волшебным копьем», не знавшего себе равных. Теперь и копье и искусство не могли больше приумножать его славу, и, только поглаживая гладкое, холодное, твердое и дрожащее копье, он находил — пусть небольшое — облегчение своему страданию. И только по ночам, держа в руке копье, он мог поверить, что «несравненный Ша Цзылун» — это он сам. Днем он не очень любил говорить о военном искусстве и прошлых временах; его мир унесло урагапным ветром.

Обученная им когда-то молодежь изредка еще навещала учителя. Большинство учеников опустились и нигде не могли применить свое мастерство. Многие выступали на ярмарках и храмовых праздниках, притопывали ногами, раскладывая свои принадлежности, проделывали сальто, а попутно... торговали таблетками, дающими великую силу. Все это давало им возможность заработать пару-другую медяков. Иные из них в самом деле не могли сидеть без дела — они плели корзины для фруктов, возили на рынок фасоль и спозаранку выходили на улицы, громко зазывая покупателей.

В те времена мясо и рис были дешевы, и всякий, кто хотел заработать силой своих мускулов, не остался бы голодным. Но не таковы были эти люди. Запросы соответствовали аппетитам: сухие хлебцы и наперченные лепешки были им не по вкусу. И они предпочитали выступать на ярмарках — конечно, в сравнении с работой телохранителя все эти фокусы были сущей безделкой, но все же давали им возможность продемонстрировать свое искусство.

Выступления — занятие унизительное, приходилось подобающим образом наряжаться — ну хотя бы в синие атласные шаровары, белые куртки гонкого полотна, туфли, украшенные рыбьей чешуей, или синие атласные туфли с вышитыми на них головами тигров.

Ученики «Ша Цзылуна с волшебным копьем» (хотя сам он за учеников их не признавал) должны были ходить повсюду, чтобы показать себя, участвовать в храмовых праздниках ради пары юаней, а иной раз и ввязываться в драки. Когда денег у них не было, они шли к Ша Цзылуну. Старый Ша не был жадным, он им не отказывал, не отпускал с пустыми руками. Но когда его просили научить каким-то приемам — будь то для драки или же просто для выступления, приемам защиты (как голыми руками отнять нож) или удару «голова тигра»,— старый Ша обращал разговор в шутку, спешил уйти или говорил: «Чему еще учиться! Давай-ка лучше согреем чаю!» — а иной раз и просто-напросто выпроваживал своих учеников. Они никак не могли понять, что творится со старым учителем, и расходились недовольные.

Но повсюду они пели Ша Цзылуну громкую славу. Делалось

это с двоякой целью: во-первых, показать, что свое искусство они заимствовали от настоящего учителя, что оно подлинное, а не поддельное, и, во-вторых, чтобы подзадорить старика — вдруг кто-нибудь да не поверит и пойдет разыскивать самого Ша Цзылуна. Неужели и тогда он не продемонстрирует своих заветных приемов? А посему: «Учитель Ша ударом кулака повалит быка, пинком забросит человека на крышу дома, и — заметьте! — без особых усилий». Сами они такого, конечно, не видели, но, чем чаще повторяли эти слова, тем больше верили в их истинность: могли указать даже время и место и поклясться, что это правда, сущая правда!

Ван Победитель, старший ученик Ша Цзылуна, расчистил сцену перед местным храмом, разложил свои принадлежности. Он растер последние крошки нюхательного табака, по цвету напоминавшего чайные листья, взмахнул, как бы раздвигая сцену, хлыстом. Затем положил хлыст и, не поклонившись публике, сказал:

— Молодцы, шагающие по дорогам Поднебесной! Перед вами боец, чей кулак известен бродягам на любой дороге.— Он снова обвел глазами публику.— Земляки! Ван Победитель не циркач, а на что, собственно, способен циркач? Знает несколько приемов, и все. Я был телохранителем на дорогах Северо-Запада. Встречал молодцов из зеленых чащоб. Сейчас же свободен, езжу без дела и вот, чтобы развлечь, выступаю здесь перед вами. Кто хочет попробовать — любой,— пусть выходит. Ван Победитель встретит его — пусть с оружием, но как друга. Кто хочет удостоить меня такой чести? «Ша Цзылун с волшебным копьем» — мой учитель, и искусство мое настоящее. Итак, господа, есть желающие? — Он осмотрел всех, наперед зная, что никто не решится выступить. Как ни убедительны его слова, хлыст с железным наконечником весом в восемнадцать цзиней [1] еще убедительнее.

Ван Победитель, верзила с мясистым лицом, с большими черными сверкающими глазами, осматривал собравшуюся публику. Стояла глубокая тишина. Он снял куртку, подпоясался потуже, выпятил живот. Поплевал на руки, взял в руки меч и сказал:

— Господа, Ван Победитель потренируется, а вы посмотрите. Когда я закончу, кто может — бросит мне несколько медяков. У кого нет денег, тот просто похвалит меня, и это придаст мне новые силы. Здесь не торги. Ну что ж, смотрите!

Большой меч приблизился к телу, зрачки закатились, лицо напряглось, грудь выпрямилась. Он стоял, как старая сосна, пустившая в землю корни. Прыжок — меч поперек груди, красные кисточки трепещут. Меч рассекает воздух, Ван приседает, согнув ноги в коленях, и делает стремительный разворот, руки описывают полукруг. Вдруг меч оказывается в правой руке, он крутится, тело

[1] Цзинь — мера веса, равная 0,6 кг.

Вана слегка подается назад, а кругом ни звука, ни птичьего гомона, только слабо звенит колокольчик. Но вот меч застывает в руке, ноги быстро притаптывают землю, тело распрямляется, и Ван, подобно черной пагоде, оказывается выше толпы на целую голову. Мгновение — и он принимает обычную позу.

— Господа! — Одна рука сжимает меч, другая упирается в бок, он обводит взглядом окружающих. Летят медяки, он наклоняет голову.— Господа! — вновь говорит он и ждет, но, кроме уже брошенных медяков, на земле ничего нет. Люди расходятся. Он вздыхает.

— Никто не поймет! — шепчут его губы, но все это слышат.

— Я желаю! — говорит старичок с желтой бородкой.

— А? — Ван Победитель делает вид, что не расслышал.

— Я говорю, что желаю помериться силами,— неприятно подчеркивая каждое слово, повторяет старик.

Отложив меч, Ван Победитель смотрит, как и все собравшиеся, на старика. Старик никому не понравился: маленький острый подбородок, грубый синий халат, обтянутое кожей лицо, глубоко посаженные глаза. На плечах — косы, тоненькие, как палочки для еды, но не такие прямые.

Видя, что старик готов с ним сразиться, Ван оживился, глаза его заблестели. Глубоко посаженные глаза старика, черные, как дно колодца, сверкали огнем. Ван Победитель не испугался, он смотрел, не хочет ли еще кто-нибудь принять участие. Он верил в свое мастерство — ведь он чувствовал себя генералом под командой самого Ша Цзылуна.

— Ну что ж, идите сюда, сразимся, почтенный дядюшка! — сказал Ван с чувством собственного достоинства.

Кивнув, старик вышел в круг. Кругом засмеялись. Руки старика казались малоподвижными, правая нога волочилась. Он выглядел как человек, перенесший тяжелую болезнь. Очутившись на сцене, он скинул халат, не обращая внимания на смешки публики.

— Ученик «Ша Цзылуна с волшебным копьем», говоришь? Отлично. Ты бери пику, а я? — Старик был возбужден и торопился, будто давно искал случая сразиться.

Публика снова стала собираться. Циркач с медведем, стоявшие неподалеку, больше никого не интересовали, несмотря на настойчивые призывы гонга.

— Будешь защищаться против пики трезубцем? — спросил Ван, желая прощупать старика. Ведь Ван знал, что пользоваться трезубцем надо уметь.

Старик молча согласился и поднял трезубец. Ван Победитель закатил глаза, потряс пикой в воздухе. Вид его был страшен.

Глаза старика, казалось, стали еще меньше, еще чернее; они

напоминали два тлеющих кончика палочек фимиама. Двигаясь из стороны в сторону, они неотрывно следили за острием пики. Вану стало не по себе: черные горящие глаза, точно магнит, притягивали острие пики. Кругом собралась такая толпа, что дождь и ветер не могли бы пробиться. Все поняли, что старик не новичок. Чтобы както заслониться от пронзающего взора черных глаз, Ван взмахнул пикой, и кисточки на ней заиграли. Бородка старика взметнулась.

— Прошу!

С пикой в руке Ван шагнул вперед, нацелил пику в горло старика и метнул ее. Кисточки закружились красным вихрем. Тело старика вдруг точно ожило, он слегка пригнулся и, ловко избежав удара, сделал бросок вперед и сам нанес удар по руке Вана. Бам-бам! Пика Вана Победителя лежала на земле. Из толпы раздались одобрительные крики. Ван Победитель покраснел до корней волос, снова поднял пику и направил ее в грудь старика. Снова засверкали черные угольки глаз. Старик присел на ногу и, оттолкнувшись, прыгнул вперед, прежде чем Ван успел пошевельнуть пикой. Удар! И пика снова оказалась на земле.

Кругом царило оживление. С Вана градом катил пот, он больше не нагнулся за своей пикой. Старик аккуратно положил трезубец, накинул халат и, волоча ногу, подошел к Вану.

— Надо еще потренироваться, приятель!

— Не уходите,— сказал Ван, вытирая капли пота с лица.— Ван побежден, но не уходите. Встретьтесь с учителем Ша!

— Ради этого я и приехал.— Подбородок старика сморщился, точно в усмешке.— Пошли, собирай вещи, за ужин плачу я!

Ван Победитель сложил свои принадлежности возле фокусника по прозвищу Рябой и зашагал со стариком. За ним следом двигалась толпа. Ван разогнал любопытных.

— Ваше почтенное имя? — осведомился он.

— Сунь,— сухо ответил старик.— Люблю упражняться в военном искусстве, давно мечтаю встретиться с Ша Цзылуном.

«Ша Цзылун с тобой да не расправится!» — подумал Ван. Он прибавил шагу, но старика не обогнал. Старик при каждом шаге выбрасывал вперед руку, и ноги двигались в такт движению рук. Шел он очень быстро, и Ван едва поспевал за ним.

— Откуда родом почтенный Сунь? — поинтересовался Ван.

— Из Хэцзяни. Место незначительное.— Голос старика слегка потеплел.— Для меча и пики нелегко найти время. А у тебя получается неплохо! — похвалил он Вана.

У того снова на лбу пот проступил, но он смолчал.

Подошли к заезжему двору Ша Цзылуна. Сердце Вана сильно колотилось: он боялся, что учителя Ша нет дома... Ван знал, что старый учитель не любит заниматься подобными делами, ученики

его не раз попадали впросак. Но Ван был уверен, что ему учитель не откажет, ведь он его старший ученик... А кроме того, люди, которые были на празднике, разнесут о случившемся далеко вокруг — ведь это позор и для него, Ша Цзылуна.

Ша сидел за столом и читал.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

Ван покраснел, губы его зашевелились, но слова застыли на языке. Ша Цзылун поднялся из-за стола.

— Так что же случилось, Победитель?

— Я побежден!

Ша усмехнулся и ничего не сказал. Ван Победитель нервничал, но старался сдерживать себя. Ему хотелось подзадорить учителя.

— Старик по имени Сунь ждет вас за дверями. Он... мою пику... вышиб из рук два раза подряд!

Ван знал, что слово «пика» много значит для старого учителя. Не дождавшись приказания, Победитель выбежал из комнаты.

Гость вошел. Ша Цзылун ждал его в первой комнате. Они приветствовали друг друга, сложив руки, сели. Ша послал Вана приготовить чай. Ван ждал, что старики тотчас померятся силами, уходить ему не хотелось, но пришлось. Старик Сунь молча изучал Ша Цзылуна, не спуская с него пытливых глаз. Тот был отменно вежлив:

— Если Победитель с вами обошелся не так, как надо,— простите его. Он еще молод.

Сунь был несколько разочарован, но почувствовал, что перед ним человек умный.

— Я пришел к вам поучиться! — сказал Сунь.

Ша Цзылун не принял вызова. Вошел Ван с чайником. Он спешил посмотреть, как схватятся старики, поэтому принес невскипевшую воду и разлил ее в чашки.

— Победитель,— сказал Ша, поднимая чашку,— разыщи-ка Сяо-шуня и Тянь-хуэя, мы с почтенным Сунем будем ужинать.

— Что, что? — упавшим голосом переспросил Ван.— Вот как! — Он был вне себя, хотя и не решался высказать это.

— Нелегко с учениками? — спросил Сунь.

— У меня нет учеников. В чайнике не кипяток. Пойдемте в чайную. Перекусим, выпьем чаю.

Ша Цзылун положил в атласный кошелек нюхательный табак, деньги и упрятал его за пояс.

— Нет, я не голоден,— решительно заявил Сунь.

— Тогда поговорим немного.

— Я пришел поучиться вашему искусству.

— Вы опоздали.— Ша показал на свой живот.— Я растолстел!

— Ну и что же. Научи меня своему «поражающему пятерых тигров удару».

— Моему удару? — усмехнулся Ша.— Забыл. Начисто забыл! Говорю тебе: поживи здесь у меня несколько дней, мы погуляем с тобой, а потом я дам тебе денег на обратную дорогу.

— Зачем мне гулять? В деньгах я не нуждаюсь. Я приехал учиться искусству.— Сунь поднялся.— Посмотри, я покажу, что умею, а ты скажи, достаточно ли я овладел мастерством.

Не дожидаясь ответа, он так стремительно выбежал во двор, что спугнул голубей. Скинув халат, старик заработал кулаками, ноги его стали подвижными, руки — стремительными. Косички закружились в воздухе, как спустившиеся с неба бумажные змеи. Быстрые удары сыпались во все стороны с удивительной точностью... Он двигался по кругу, приближался и снова удалялся. Но вот кулаки замерли, старик остановился. Так спугнутые птицы вдруг сразу возвращаются в свои гнезда.

— Отлично! Отлично! — сказал Ша Цзылун.

— Научи меня своему удару!

Ша Цзылун спустился со ступенек.

— Почтенный Сунь, истинно говорю тебе: мое копье и мое искусство вместе со мной лягут в гроб!

— Не научишь?

— Не научу!

Бородка Суня зашевелилась, но он не сказал ни слова, затем вбежал в комнату и собрал вещи.

— Ну что ж, прощай!

— Отужинай со мной, тогда поедешь!

Сунь промолчал.

Ша Цзылун проводил гостя до двери, вернулся в комнату и склонил голову перед стоящим в углу копьем. Затем он направился в чайную, где его должен был ожидать Ван Победитель.

С тех пор Ван не выступал на храмовых праздниках и ярмарках, и никто больше не воспевал Ша Цзылуна. Наоборот, говорили, что Ша Цзылун смалодушничал и не решился сразиться со стариком; а тот старик — о! — он может ударом кулака быка повалить! Ему проиграл не только Ван Победитель, но и сам Ша Цзылун не смог ему противостоять!

Между тем Ван не раз навещал старого Суня, а Ша Цзылун молчал, будто это его не касалось. И постепенно «Ша Цзылун с волшебным копьем» был всеми забыт.

По ночам, когда все расходятся, Ша запирает двери, перебирает свои пики, стоит, опираясь на них, и задумчиво смотрит на звездное небо. Он вспоминает свое былое величие... Он вздыхает, медленно гладит рукой свои копья, их холодные гладкие древка и с усмешкой повторяет:

— Не научу! Никого не научу!

СТАРЫЙ ВОЛ, РАЗБИТАЯ ПОВОЗКА

Эссе

(ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ)

Перевод В. Сорокина

От переводчика

В самом начале книги Лао Шэ вспоминает популярнейшую китайскую легенду. Жил когда-то молодой Пастух; однажды его выгнали из дома, разрешив взять с собой лишь старого вола и разбитую повозку. Но оказалось, что вол умеет говорить человеческим голосом, и он помог Пастуху взять в жены небесную фею Ткачиху. Когда вола не стало, Ткачиха сбежала в свои чертоги, но Пастух так горевал, что боги разрешили ему раз в году — в седьмой день седьмого месяца по лунному календарю — видеться с женой. Для этого сороки устраивают мост через Небесную реку — Млечный Путь.

Писатель уверяет, что название книги лишь случайно связано с этой легендой. Но разве так уж неправдоподобно предположение, что, сравнивая себя со «старым волом», 36-летний Лао Шэ хочет сказать, что и он может дать хороший совет, что и в его, тогда еще не очень длительном, опыте есть нечто достойное внимания? Сам он рассматривает свой опыт критически, иногда излишне строго, иногда с долей иронии, но в целом ведет серьезный откровенный разговор об отношении писателя к своей работе, к самому себе и к окружающему миру. Не со всем написанным обязательно соглашаться — позже сам Лао Шэ о многом говорил иначе,— но читать эти очерки, имеющие немалое историко-литературное значение, интересно и поучительно.

Книга состоит в оригинале из 14 небольших глав. Для перевода отобраны те из них, которые либо связаны с помещенными в настоящем издании произведениями, либо более полно раскрывают идейные и творческие позиции писателя в начале 30-х годов.

1. Как я писал « Философию Чжана»

Только что миновал седьмой день седьмого лунного месяца, когда по обычаю вновь в несчетный раз прозвучала легенда, в которой фигурируют старый вол и разбитая повозка. Мальчишки и девчонки слушали ее со слипающимися глазами и частенько, не дослушав до конца, улетали во сне на берег Небесной реки. А на следующий вечер они снова, с не меньшим удовольствием внимали словам предания. Разумеется, я — этот старый вол с разбитой повозкой — не имею никакого отношения к «Встрече на Небесной реке», название же для книги взято мной лишь из-за случайного совпадения во времени. Я даже не обижусь, если меня упрекнут в желании «примазаться к чужой славе». Наверное, самым подходящим заглавием было бы что-нибудь вроде «Творческого опыта» или «Десяти бесед о творчестве»: ведь я действительно хочу говорить об опыте, накопленном мной за годы литературной деятельности, и опубликовал я ровно десять книг. Что ж, заглавия неплохие, но в сравнении со «Старым волом, разбитой повозкой» им чуть-чуть недостает поэтичности. К тому же, произнося такие слова, как «творчество» или «опыт», человек часто напоминает «раздутого вола» [1], так что пусть уж лучше будет «старый вол»: излишняя скромность не нужна, но и хвастовство к достоинствам не

[1] Игра слов: по-китайски «раздувать вола» означает хвастаться.

отнесешь. Итак, мы остаемся со старым волом и разбитой повозкой.

До того как я написал «Философию Чжана», у меня не было ни предназначенных для печати произведений — школьные сочинения и стихотворные упражнения, конечно, не в счет,— ни писательских амбиций. Правда, в Нанькайском школьном журнале я опубликовал один рассказец, но сделал это лишь для того, чтобы заполнить оставшееся место. При этом я не испытал даже гордости от сознания, что могу сочинять не хуже любого другого преподавателя родной речи. Литературу я любил всегда — иначе не стал бы преподавать ее, но, если говорить по совести, преподаванием я занимался только ради заработка. Это занятие было для меня вынужденным (как участие в навязанном противником бою) и временным, случайно подвернувшимся под руку, а амбиции мои были направлены в сферу дел государственных. В ту пору я был уверен, что у меня есть к этому способности и что при удачном стечении обстоятельств я вполне могу стать премьер-министром или кем-нибудь в этом роде. Литературу же я любил так, как любят котят или щенков,— не придавая этому чувству большого значения и не собираясь стать специалистом-ветеринаром. Продолжай я работать преподавателем родной речи, возможно, меня через пару лет выставили бы из школы Само по себе это вряд ли особенно огорчило бы меня, но, если в тот момент место премьер-министра оказалось бы как на грех занятым, мне наверняка пришлось бы испытать кое-какие жизненные неудобства. Одним словом, до того как мне пошел двадцать седьмой год, я и во сне не мечтал о том, чтобы писать ради публикации. Заодно признаюсь, что до сих пор не смирился до конца со званием «писатель» и по-прежнему подумываю о карьере, хотя теперь уже согласен побыть некоторое время просто министром.

На двадцать седьмом году жизни я выехал за границу. Чтобы лучше усвоить английский, я читал романы, но все еще не помышлял писать сам. Новизна впечатлений от пребывания в чужих краях постепенно притуплялась: спустя полгода я начал ощущать одиночество и все чаще думал о доме. В родном доме я не жил с тринадцати лет, так что в понятие «дом» я включал все, что знал о родной стране. Воспоминания о пережитом — конечно, те из них, что были окрашены в самые яркие цвета,— словно картины, возникали в моей душе, и часто, держа в руках книгу, я забывал о ней и предавался думам о прошлых днях. Картины, запечатленные в романах, перемежались с картинами, всплывавшими в моих воспоминаниях,— так почему бы не попробовать и их запечатлеть в книге? Мне захотелось взяться за перо.

Но ведь художник, прежде чем взяться за кисть, делает пред-

варительные эскизы. С чего начать? В ту пору я еще не знал, что на свете существуют самоучители для пишущих романы и прочие пособия этого рода. Я был знаком с китайской классической прозой — новеллами танской эпохи [1], «Неофициальной историей конфуцианцев» [2] и т. д., но иностранных романов прочел немного. К тому же чтение было бессистемным: то попадался шедевр признанного мастера, то россказни о любви принца к официантке. Но поскольку иностранные книги были прочитаны позднее, они взяли верх над отечественными, и я не захотел возвращаться к форме китайского традиционного романа. Знания же мои в мировой литературе были ограниченными, так что я не мог решить, кого же взять за образец. Ладно, подумал я, буду писать как бог на душу положит, и неважно, если получится ни то ни се — ведь все равно для печати это не предназначалось. К тому же как раз незадолго до того я прочел такие свободные по композиции книги, как «Николас Никльби» и «Записки Пиквикского клуба»; это придало мне храбрости: значит, можно писать, не заботясь ни о каких правилах. Так возникла форма романа «Философия Чжана», при мысли о котором я до сих пор краснею.

Итак, форма была определена, что же до содержания, то я писал обо всех людях и событиях, которые приходили на ум, не пытаясь как-то сгруппировать их. Я походил на человека, впервые приобретшего фотокамеру и снимающего все, что попадется под руку, не думая ни об экспозиции, ни о выборе кадра. Стоило более или менее яркой фигуре или событию всплыть в моей памяти, как я хватался за них; не успев расставить все по местам, охотился за следующими... Персонажи теснили друг друга, эпизоды налезали один на другой — я не успевал перевести дух. Если бы я писал сейчас, втиснутого в первый роман материала мне хватило бы на добрый десяток книг.

В те времена я считал себя крупным мыслителем, поэтому без церемоний вставил в заглавие романа слово «философия». Философия!!! Теперь-то я познал себя: если у меня и есть хоть какие-нибудь достоинства, то отнюдь не в идейном плане. Чувства у меня всегда обгоняют рассудок. Я могу быть искренним другом, но умного совета от меня не дождешься. Когда эмоции заставляют мое сердце биться чаще обычного, я теряю способность к размышлению и начинаю исходить в своих оценках всего происходящего из самых распространенных поверхностных суждений. С одной стороны, это придает моим писаниям эмоциональность, но с другой —

---

[1] Авантюрные, любовные и фантастические новеллы танской эпохи, относятся к VII—IX вв.

[2] Сатирический роман У Цзинцзы, создан в середине XVIII в.

делает мои высказывания тривиальными. Конечно, многие полагают, что чувства в произведениях искусства более важны, нежели рассудок; но эмоции не могут помочь людям увидеть перспективу, они лишь застилают глаза слезами, которые порой, увы, ничего не стоят. Часто заставлять людей плакать — значит скоро надоесть им. Пускаться в длинные рассуждения, основываясь лишь на неглубоких чувствах,— многим ли это отличается от пьяных излияний завсегдатая кабаков? Сейчас я научен горьким опытом, но десять лет назад я еще так не думал.

Впрочем, если бы я исходил только из своих эмоций, я, быть может, и написал бы выдающуюся трагедию. Но беда в том, что я не был последователен до конца: я хотел через эмоции ощутить вкус окружающего мира и в то же самое время пытался сдержать свои чувства, не позволяя себе произносить приговоры на основании одних лишь собственных симпатий и антипатий. Истоки этого противоречия лежат в моем характере и в окружающей среде. Я с детских лет рос в бедности и находился под сильным влиянием личности матери. Она принадлежала к тем людям, которые скорее будут голодать, чем попросят о помощи, но к другим относятся с большим благородством. Бедность воспитала во мне недовольство окружающим; материнская твердость обернулась во мне склонностью судить о других, исходя из собственных эмоций и взглядов; ее благородство — умением в той или иной мере сочувствовать людям. После сказанного не трудно понять, почему я люблю высмеять и побранить, но не хочу разить. Пусть я что-то теряю в сфере сатиры, зато кое-что приобретаю в царстве юмора. Говорят, что юмор включает в себя сочувствие. Я ненавижу плохих людей, но и у плохого человека могут быть свои достоинства; я люблю хороших людей, но и у хорошего человека могут быть свои недостатки. Недавно я открыл для себя, что «для бедняка хитрость есть средство добиться справедливости», а десять лет назад в моем отношении к миру в равных дозах смешивались ненависть и смех.

Иногда говорят, что в «Философии Чжана» нет юмора, а есть лишь скука. Я не хочу ни соглашаться с этим, ни спорить. Есть люди, от рождения лишенные чувства юмора,— что ж, каждый на свой лад, и нечего об этом рассуждать. Другие горят желанием спасти мир, спасти страну или по крайней мере литературу и потому терпеть не могут юмора. Такие люди выступают с открытым забралом, и в этом, если не считать излишней самоуверенности, нет большой беды. Но пусть те и другие находят меня скучным — я полагаю неудобным оправдываться, но и не собираюсь бить себя по щекам. Иные понимают юмор, но считают, что я пересаливаю и в конце концов опять-таки заставляю скучать. С этим я готов согласиться. Как я уже говорил, приступая к сочинитель-

ству, я понятия не имел ни о мастерстве, ни о чувстве меры. Я писал, что придет в голову, хватался за какую-нибудь тему и громоздил гиперболу на гиперболу, не зная, где остановиться. Да еще в душе радовался легкости своего пера. Может это раздражать? Еще бы!

Но больше всего, наверное, вызывал раздражение стиль, в котором перемешивались разговорный и старый письменный языки. Стилистические ухищрения легче всего приводят к пустозвонству, но удержаться от этого соблазна очень нелегко. Когда имеешь дело со смешными ситуациями или фактами, естественно, хочется писать как можно смешнее, чтобы представить их более выпукло. Очень трудно в таких случаях остановиться вовремя. Лишь издав два или три романа, я понял, что сильные вещи — даже юмористические — не должны быть многословными. Тем не менее на практике я еще не сумел окончательно освободиться от этого порока. До чего же трудное дело — писать книги! Я могу лишь сказать, что до сих пор учусь. Не надо стесняться исправлять неудачно написанное, только тогда можно надеяться создать что-то лучшее. Я и в мыслях не представляю себя в гордой позе — мол, я сотворил шедевр Все старания в лучшем случае позволят автору пореже краснеть за свое детище.

Мне осталось сказать еще несколько слов о том, как шла работа над «Философией Чжана».

Она заняла почти год: выпадало свободное время — писал понемногу, бывал занят — откладывал рукопись. Если бы не эти перерывы, столько времени не потребовалось бы. Писал я стальным пером поперек страницы на школьных тетрадях по три пенса за штуку, не очень заботясь о разборчивости почерка Я упоминаю об этих мелочах, чтобы показать, что я вовсе не собирался удивить своим «творчеством» весь Китай — как уже говорилось, писал я для собственного удовольствия. Когда роман был окончен, в Лондон приехал Сюй Дишань [1]; однажды, исчерпав тему разговора, я прочел ему два отрывка из написанного. Он не высказался по поводу прочитанного, а лишь улыбнулся. Потом он посоветовал мне отослать рукопись в Китай. Я не решался — если и посылать, думал я, сначала нужно доработать. Но Сюй не сказал мне, какие места нуждаются в исправлении, сам же я, естественно, не ощущал собственного аромата. Тогда я махнул рукой и послал рукопись Чжэн Сиди [2] — просто бросил ее в почтовый ящик, даже не

---

[1] Сюй Дишань (1893—1941) — известный писатель-реалист и ученый.

[2] Чжэн Сиди (Чжэн Чжэньдо, 1898—1958) — виднейший исследователь китайской культуры и писатель, один из редакторов ведущего литературного журнала 20-х годов «Сяошо юэбао» («Ежемесячник прозы»).

заказным письмом. Месяца через три «Сяошо юебао» неожиданно для меня решил публиковать роман. На радостях я устроил пир — съел в китайском ресторанчике чоп суй [1]. А о том, что было дальше, читатель узнает из следующих глав.

6. Как я писал «Записки о Кошачьем городе»

Все свои книги, начиная с «Философии Чжана», я отдавал в журнал «Сяошо юебао», а затем они выходили отдельными изданиями в типографии «Коммершэл пресс». Но вот рукопись романа «Озеро Даминху» сгорела вместе с типографией [2], а наборный экземпляр повести «День рождения Сяопо» пришлось впоследствии передать издательству «Шэнхо Шудянь». Журнал «Сяошо юебао» прекратил существование. Тогда-то ко мне обратился с предложением написать «большую вещь» Ши Чжэцунь — редактор «Сяньдай», единственного пользовавшегося успехом журнала в подвергшемся интервенции Шанхае. Так я впервые стал писать не для «Сяошо юебао». Этой «большой вещью» стали «Записки о Кошачьем городе». После публикации в журнале они вышли отдельной книгой в «Сяньдай Шуцзюй», и это явилось началом моего сотрудничества с другими издательствами, помимо «Коммершэл пресс».

Мне самому кажется, что «Записки о Кошачьем городе» не удались. Книга безжалостно открыла всем, какие ординарные у меня мозги. Дойдя до середины, я уже хотел было отложить перо, но обстоятельства не позволили мне пойти на это, и пришлось довести дело до конца. Некоторые считают, что «Записки» заслуживают похвал за то, что в них нет юмора,— точно так же, как Мэй Ланьфан вызывает восторг, имитируя исполнителей мужских ролей [3]. Но это говорит не о достоинствах книги, а лишь о том, что авторам высказываний надоел мой юмор. Когда приелись пшеничные лепешки на пару, и чумиза покажется ароматной — но такова ли она в действительности?

На самом деле в «Записках о Кошачьем городе» юмор должен был присутствовать: ведь это сатирическое произведение, а юмор и сатира строго различаются лишь в теории. На практике же между ними почти невозможно провести четкую грань. Чем злее са-

---

[1] Чоп суй — дешевое, рассчитанное на непритязательный вкус горячее блюдо

[2] Пожар произошел во время нападения японских войск на Шанхай в 1932 г.

[3] Великий актер Мэй Ланьфан обычно исполнял женские роли в пекинском театре музыкальной драмы.

тира, тем живее и занимательнее она должна быть написана. Вымышленные персонажи и события должны быть представлены так подробно, объемно, естественно и полнокровно, чтобы у читателя не возникало сомнения в их подлинности. Только тогда скрытый до поры сатирический замысел сможет обрести достойное словесное выражение и будет достигнут желаемый эффект. О чем бы ни шла речь — об империи трехвершковых лилипутов или о Стране благородных педантов и зануд,[1] — нужно прежде всего оживить персонажи, заставить события подчиняться воле автора и лишь потом высмеять достойное осмеяния, ударяя по больному месту. Вот тогда можно вызвать у читателя и смех, и слезы. Но чтобы достичь живости, легкости и изящества, необходим юмор. Можно обойтись и без него, но тогда нужны очень острое перо и очень умная голова, чтобы каждая пощечина оставляла красную полосу, чтобы за каждой молнией следовал гром. У меня нет ни такого пера, ни такой головы; когда же я отошел от более или менее освоенного мною юмора, «Записки» стали трепыхаться в пыли, подобно птице с перебитым крылом.

Что касается идейной стороны, то у меня нет позитивных концепций и предложений. Наверно, это недостаток, свойственный большинству сатириков. Но в лучших сатирических творениях автор одним ударом обнажает пороки человеческого общества и указывает на их корни; даже не выдвигая позитивных идей, он помогает найти лекарство тем, кто полон желания лечить болезнь. Я же не гожусь в идейные руководители и не умею безошибочно указывать истоки недуга. Следовательно, недостаток, обычный для сатиры, налицо, а должного эффекта она не достигает. Мои мысли обращены к тому же, о чем думает каждый человек, поэтому я мог бы и не писать — всем и так все известно. Мне не дают покоя мерзости, творящиеся на наших глазах, но, в чем причина их возникновения, я сказать не в состоянии. Как и большинство окружающих, я пробавляюсь сетованиями на то, что «люди стали не те, что раньше» (лично я подобную формулу не употребляю, но дела это не меняет). В таких рассуждениях звучит сожаление по поводу несовершенства мира и обращенное к людям увещевание, но сожаления и увещевания более приличествуют сочинениям моралиаторского толка, практический результат от которых равен нулю. Возможно, написанное мною вообще не дотягивает до уровня сатиры. Ведь если сатирик высказывает оригинальные или парадоксальные суждения, он демонстрирует блеск своего ума, даже если созданное им никому и ничему не поможет. Я же всерьез

[1] О Стране благородных говорится в романе Ли Жучжэня «Цветы в зеркале» (начало XIX в.).

толкую об общеизвестном — так имею ли я право величать это сатирой? Можно переделать сатиру в проповедь, но тогда читать её будет еще скучнее. Проповедями могут заниматься либо мудрецы, либо дураки. Я знаю, что я не мудрец, но и круглым дураком себя не считаю. Правда, я все-таки написал «Записки о Кошачьем городе»...

Следует сказать, что созданию этой не слишком удачной книги способствовал ряд внешних импульсов. Первый из них — разочарование положением дел в стране. Наши военные, дипломатические и прочие неудачи легко вызывают у эмоциональных, но не слишком разбирающихся в сути проблем людей, вроде меня, сначала гнев, а потом разочарование. Испытав его, такие люди начинают увещевать, а ведь это скорее женское дело. Человек, которого не заботят высокие материи, вполне может находить себе пропитание на навозной куче. Люди высоких помыслов стараются не приближаться к ней. И только межеумки хотят сохранить эту кучу и одновременно предостерегают мух: «Здесь антисанитарные условия!» Моя беда в том, что я позволил внешним импульсам овладеть моей душой, забыл о том, что у меня есть еще «мозги», и начал предостерегать мух!

Могут возразить, что и лишенный высоких помыслов человек в состоянии написать очень неплохую книгу. Верно, в истории литературы тому есть немало примеров. Но они должны либо владеть искусством реалистических описаний, либо уметь заражать читателей своими эмоциями. Если автор подробно и правдиво воспроизведет свои внешние впечатления от предмета, он сыграет роль пусть не микроскопа, но хорошо отполированного стекла, отражающего мир. Если писатель сильно выразит даже самое обыкновенное чувство, он вызовет ответную реакцию А вот я взялся за сатиру. Она предполагает, что автор стоит выше изображаемого, но я не сумел оказаться на высоте. Сатира должна быть хладнокровной, потому я не стал метать громов и молний, выражался сдержанно. Я не смог ни поставить перед людьми зеркало, ни бросить им в душу гранату. А жаль!

Было бы неплохо, если бы мне удалось за счет юмора компенсировать недостатки моей сатиры. Юмор и сатира отражают разные душевные состояния, но равно требуют от автора ума, пусть не самой высшей пробы. Автор может также выразить — хотя бы через стиль — свой характер. Я же сознательно отказался от юмора, и таким образом у «Записок» вообще не осталось достоинств. За неудачей «Озера Даминху» последовала неудача «Записок о Кошачьем городе». Друзья часто уговаривали меня не злоупотреблять юмором; я им благодарен, ибо и сам знаю, что юмор может наскучить. Но после этих двух неудач я понял, что собака

имеет мало шансов превратиться в кошку. Когда я очень стараюсь преодолеть себя, мне иногда удается написать серьезную, благопристойную вещь. Но таким произведениям всегда недостает естественности — как накрашенной и нарумяненной женщине с забинтованными ножками. Позвольте же мне говорить, что придет в голову! Да, это может надоесть, но ведь в этом есть и что-то милое, наивное. Я не мечтаю достичь вершин, аристофановское веселое буйство выше моих возможностей, но и чрезмерная скромность тоже не нужна.

Конечно, было бы неправильным сказать, что эти две вещи — «Орезо Даминху» и «Записки о Кошачьем городе» — не принесли мне никакой пользы: они дали мне возможность набить руку в правдоподобных описаниях, научили убедительно говорить заведомую ложь. Выходит, и неудача может обогатить определенным опытом.

Безусловно, та форма, в которой написаны «Записки», обычна для сатирической литературы и многократно использовалась до меня. Кошка или человек отправляется в путешествие, на поиски приключений и записывает все, что с ним произошло. Куда отправляется — неважно: на Луну, в ад или куда-нибудь еще. Такой корреспондент бывает настроен либо критически, либо сентиментально. Герой «Записок» явно принадлежит ко второй категории: критика у него не получается, преобладают поверхностные эмоции, его суждения напоминают ворчание матроны, вернувшейся с банкета голодной.

Форма эта мне давно знакома. Кстати, город кошек — а не, скажем, город собак — возник у меня случайно: просто в тот день я принес домой рыжую с белыми полосами кошку. Уэллс в «Путешествии на Луну» сравнивает организацию общества на Луне с разделением труда у муравьев, ясно, что он хочет показать один из возможных путей развития человеческой цивилизации. У меня другое дело: если бы в тот день я принес кролика, в книге появился бы город кроликов, который ничем не лучше города кошек.

Бесспорно, изображенные в книге кошки мало приятны. Но бесспорно и то, что я критиковал их из любви к ним. Жаль, что мне не удалось придумать, как им помочь. Значит, и я не лучше! Но следует сказать, что, дай я им самый лучший совет, они умудрились бы так извратить его, что получился бы забавнейший анекдот. Мне совестно, что при всей любви к кошкам я смог лишь написать на них сатиру. Впрочем, побыв с кошками некоторое время, я понял, что, если бы я откровенно высказал свои претензии к ним, а затем предложил им самый лучший совет, они нашли бы способ тайно расправиться со мной. Значит, я смалодушничал, и это еще более оттеняет храбрость кошек. Но хватит об этом.

8. Как я писал рассказы

Я уже упоминал, что свой первый рассказ я написал, еще будучи преподавателем Нанькайской средней школы, причем единственно ради того, чтобы уважить редактора школьного журнала. Это случилось почти тринадцать лет тому назад. Рассказ ничего из себя не представляет и не сыграл никакой роли в моей литературной судьбе — мой творческий путь начался с «Философии Чжана».

В том-то и беда — я начал сочинять романы, еще не имея опыта работы над рассказами. А ведь хороший рассказ требует полной отдачи сил, тогда как роман допускает послабления. Достаточно нескольких хорошо написанных эпизодов с парой ярких фраз в каждом из них — и роман уже может постоять за себя. Конечно, это не лучший вариант, но на деле так бывает сплошь да рядом, и даже читатели склонны, по-видимому, многое прощать роману за его размеры. Немало весьма несовершенных романов продолжают свое существование, а вот к рассказам отношение куда более строгое. Естественно поэтому, что, создав пять или шесть романов, я очень недалеко продвинулся в технике письма. Рассказ как жанр возник позже романа, причем это единственный жанр, в котором почти все зависит от мастерства автора. Начав прямо с романов, я уподобился атлету, который начинает тренировки не с упражнений, развивающих силу ног, а прямо берется вырывать тяжелый вес: хорошо, если этот вес не раздавит его. Эту премудрость я понял лишь после того, как написал несколько рассказов.

Я сказал «несколько». Всего в сборники «Написанное в спешке» и «Вишни и море» вошло двадцать пять рассказов, недавно написано еще несколько — «Разящее копье», «Старая трагедия в новое время»... Их можно объединить в три группы. Первую группу составляют четыре рассказа, открывающие «Написанное в спешке», вместе с более поздними вещами — «Господин в бриджах» и «Внук». Во вторую группу я включаю все созданное в промежуток между рассказами «У храма Великой Скорби» и «Серп луны». В третью группу входят «Серп луны», «Разящее копье» и «Старая трагедия в новое время». Рассказы из первой группы я сочинял походя: самый ранний, «Девятое мая»,— по просьбе «Ежемесячника Цзинаньского университета», «Горячие пирожки» — для литературного приложения к газете «Иши бао» (он получился таким коротким потому, что более длинных там не принимали). В то время я вовсе не предполагал всерьез заниматься рассказами; «наскрести нужное количество знаков» было моей

единственной заботой. Лишь после 28 января[1] я понял, что без рассказов мне не обойтись. Появилось много новых журналов, все они обращались с заказами, и удобнее всего было рассчитываться с ними рассказами. Именно «удобнее» — тогда я еще относился к рассказам немного свысока, порой ставя знак равенства между ними и юморесками вроде «Внука». Так я тогда и планировал: изредка писать рассказы-юморески, всерьез же заниматься сочинением романов. Но свободного времени было мало, предложений от издателей становилось все больше, так что мне пришлось пересмотреть свое несерьезное отношение к этому жанру. «У храма Великой Скорби» открыл собой вторую группу рассказов.

Вошедшие в эту группу «Видение» и «Черный и белый Ли» переделывались мной по три раза: раз уж начал относиться серьезно к рассказам, надо делать их как следует. И все-таки некоторые были написаны одним духом, без должной отделки — на это просто не было времени. Гонорары малы — значит, лучше написать побольше; не хочешь подвести приятеля — значит, надо спешить. Эти два соображения определили мой, а возможно, и не только мой, принцип «оптовой торговли»: больше и хуже предпочтительнее, чем меньше и лучше. Это не было сознательной установкой — так уж получалось. Я чувствовал себя виноватым перед искусством, но не хотел обижать ни деньги, ни друзей. Однажды Ван Пинлин[2] предложил мне написать что-нибудь; я писал и отбрасывал написанное, накопилось около трех печатных листов, а вещь не получалась. Тогда я собрал все листки и отправил их Вану, чтобы убедить его в своей добросовестности. Я не хочу бравировать серьезным отношением к творчеству — просто рассказываю про этот случай, кстати говоря, единственный, не то я умер бы от переутомления или от голода. Смерть от переутомления мгновенна и почетна, а вот от голода умирают медленно и некрасиво. Если вместо полулистового рассказа ты пишешь три листа заготовок, а в результате получаешь те же двадцать юаней или того меньше, чего можно ожидать, кроме голодной смерти? Впрочем, я заговорился.

Материал, легший в основу пятнадцати рассказов второй группы, можно поделить на четыре подраздела: 1) мой личный опыт и впечатления от известных мне людей и событий; 2) истории, услышанные от других; 3) подражания другим писателям; 4) вымышленные люди и события, вставленные в заранее придуманный сюжет.

Начну с подражаний, ибо к их числу относится лишь рассказ

---

[1] 28 января 1932 г. японцы начали интервенцию в районе Шанхая.

[2] Ван Пинлин — прогоминьдановский литератор.

«Косичка», написанный по образцу «Отшельника» Ф. Д. Бересфорда. Читая студентам курс художественной прозы, я перевел эту полную выдумки вещь. Потом она все не выходила у меня из головы, и мне захотелось написать нечто в этом духе. Но сколько я ни старался, оригинальных ходов найти не удалось, так что материал рассказа принадлежит мне, а замысел — другому автору.

В первый подраздел входят семь рассказов; один или два из них повествуют о лично мною пережитом, остальные о том, что я наблюдал. Об этом не стоило бы много говорить, если бы не та разносная критика, которой подвергся рассказ «Самопожертвование». В нем изображены действительные люди и события, но каждый из писавших о моих рассказах непременно проходился по нему, причем иные даже называли его нереалистическим. Поначалу я, как и любой на моем месте, защищался от критики ссылками на то, что «ведь так было на самом деле!». Но потом я внимательно перечитал рассказ и понял, что он действительно не удался. Конструкция его шатка, последняя часть не очень работает на ту идею, которая обозначена в начале. Ткань его рыхлая, словно одеяло из старой ваты. Нельзя полагаться лишь на достоверность взятых из жизни фактов: сами по себе они не образуют рассказа, главное в том, как ты их изобразишь. Слишком большое доверие к материалу может означать недооценку искусства.

Напротив, рассказы, включенные во второй подраздел, получились довольно крепкими, хотя о положенных в их основу событиях я знал лишь понаслышке. Может быть, именно поэтому я был особенно осторожен. Равным образом удались и рассказы из четвертого подраздела, в которых действуют исключительно вымышленные персонажи. Совершенно ясно, что в «Черном и белом Ли», а также в «Железном быке и больной утке» главные герои являются олицетворением двух разных идей. При этом сначала возникали идеи, и только потом их олицетворения. Так что персонажи с самого начала были поставлены в определенные рамки — «их же не прейдеши» — и развивались в заданном направлении; мне думается, что это лучше, чем валить все в одну кучу. Опыт обогащает воображение, а воображение подкрепляет опыт.

В стилистическом отношении эти вещи безыскуснее, нежели романы. Иногда это объясняется неоднократными переделками, иногда необходимостью скорее сдавать рукопись в печать. В первом случае рассказ лишается первоначального огня, во втором — не имеет его с самого начала. А вообще я стараюсь сохранять «общедоступность» и «разговорность». От стиля я прежде всего требую ясности, все остальное может подождать. Если ясность стиля порождена четкостью мысли, она превращается в силу. Не

знаю, удалось ли мне достичь ясности и силы стиля, но я к этому стремился.

Теперь настала очередь третьей группы рассказов («Серп луны», «Солнечный свет», «Разящее копье», «Старая трагедия в новое время»). Ко времени их создания мое отношение к рассказам изменилось. Обстоятельства заставляли меня втискивать в рассказ материал, достаточный для романа. Заказов поступало все больше, добывать новые материалы становилось все труднее, и вот приходилось черпать из хранившихся в глубине души заготовок для романов. Оптовая торговля таким образом превращалась в розничную. Жалко было из рассчитанного на десяток печатных листов материала делать коротенький рассказ вроде «Разящего копья», но вдруг ко мне пришло понимание того факта, что я вовсе не проигрываю (какая великая вещь — опыт!). Ведь если я из груды материала выбираю один эпизод, ясно, что я выберу самый интересный. Как говорится, лучше съесть кусочек райского персика, чем корзину гнилых абрикосов. Далее, хотя в романе есть центральная идея, из-за обилия событий и множества персонажей она неизбежно обрастает другими, менее существенными. Если же оставить лишь одну главную мысль, изложение станет более концентрированным и ярким. Да и на основе других идей, содержащихся в романе, можно написать хорошие рассказы, меж тем как в сюжетных переплетениях романа каждая из них невольно скрадывается. В романе важна соразмерность, в рассказе — концентрированность.

Вот, к примеру, «Серп луны». Первоначально это был один из эпизодов романа «Озеро Даминху». Когда рукопись романа сгорела, я без сожаления расстался со всеми остальными эпизодами, но не с этим. Вне сомнения, это был лучший эпизод романа, но там он не производил впечатления такой стройности, как в рассказе, потому что был зажат среди множества других сцен. Сейчас я готов предпочесть «Серп луны» «Озеру Даминху» — не потому, что это особо выдающееся произведение, а потому, что высвобожденный из оболочки романа эпизод звучит сильнее.

То же можно сказать и о «Разящем копье». Первоначально это была небольшая сцена из задуманного мной романа «Учитель кулачного боя». Роман этот — если мне удастся его написать — будет относиться к батально-авантюрному жанру. Думаю о нем я давно, но все боюсь — что-то из него получится? Но сейчас говорить о нем рано, в творчестве нельзя выдавать авансы. В «Разящем копье» у меня изображены три персонажа и одно событие. Я отобрал их из большой кучи материала, не раз тщательно обдумал все, что с ними связано, оттого-то они могут стоять на собственных ногах. Пусть я пожертвовал материалом, зато выиграло

искусство. Ведь искусство — не свинина, его цена не обязательно зависит от размера куска. И все-таки я получил девятнадцать юаней вместо возможных трехсот пятидесяти, а потому не всегда решаюсь оставаться с искусством на короткой ноге. «Он жертвует собой ради искусства!» Звучит это хорошо, но зачем же доводить писателя до голодной смерти? Мне это непонятно.

Если бы не было «Серпа луны», «Солнечный свет» мог бы показаться очень неплохим произведением. Некоторые считают, что «Солнечный свет» проигрывает из-за выбора темы. Мне же кажется, что «Серп луны» затмевает «Солнечный свет» вот по какой причине: «Серп луны» представляет собой несколько переработанную часть готового романа «Озеро Даминху», изложение идет плавно, в рассказе нет ничего лишнего, чужеродного. «Солнечный свет» тоже написан на материале предполагаемого романа, но этот материал не был основательно продуман, выношен, мне пришлось вставлять в рассказ то, что быстрее приходило на ум, а это порождает ощущение чего-то непереваренного, неестественного. Здесь уместно напомнить, что творчество требует времени. Это означает, что писатель должен иметь возможность потратить на работу столько времени, сколько необходимо для создания хорошей вещи. А тут все решает одно великое слово: «еда». Часто приходится слышать вопли: увы, нет великих произведений!!! Внимая этим воплям, я думаю: неужели эти крикуны представляют себе писателя в виде крошечного насекомого, питающегося росой? Я понимаю, что мой талант не так уж значителен и вряд ли в этой жизни можно ждать от меня великих творений. Но я уверен, что, если бы мне дали достаточно времени и еды, я мог бы написать неплохие вещи. Не верите? Что ж, давайте попробуем!

В «Старой трагедии в новое время» есть много недостатков. Главный из них состоит в том, что многие персонажи, только появившись, вскоре исчезают — недостает развития. Произошло это потому, что я сначала предполагал писать роман, а затем переключился на повесть. Поэтому мне пришлось сосредоточить внимание на одном персонаже, а всех других отодвинуть в сторону — ведь я должен был уложиться в три печатных листа с небольшим. Может быть, сделай я из этого материала рассказ, получилось бы лучше. Когда я обдумывал роман, я хотел сделать ведущими персонажами старого Чэня, его двух сыновей и Сун Лунъюня. Старый господин Чэнь олицетворял прошлое, его старший сын на одну треть уже принадлежал новому, второй сын делил себя пополам между старым и новым, тогда как Сун выступал символом новой эпохи. Преобразуя роман в повесть, я вынужден был расстаться с тремя четвертями материала и как следует заняться одним ста-

рым Чэнем. Остальные персонажи превратились в силуэты и выполняли одну функцию — помогали движению сюжета. Такой метод опасен, и он в действительности не привел к хорошему итогу. И все же старый господин Чэнь получился крепким орешком; не знаю, удался ли бы он в такой степени, если бы я писал роман. Потому-то я все же не раскаиваюсь в том, что распродал в розницу материалы, заготовленные для романов. Наоборот, мне кажется, что я достиг больших результатов; так актер, играющий в батальной пьесе в мягкой, утонченной манере, производит большее впечатление, чем тот, кто умеет лишь орать и принимать воинственные позы.

Вот то немногое, до чего я додумался, сочинив три десятка рассказов. Но одно дело — понять умом, другое — действительно начать писать лучше. Когда я думаю о своих будущих книгах, меня порой пробирает дрожь. Впрочем, кто знает? Вдруг «старый вол» начнет тащить свою «разбитую повозку» с новой силой!

12. Изображение персонажей

В старое время считалось, что центральная задача творчества — изображение людей. Населить мир еще несколькими придуманными, но бессмертными персонажами вроде У Суна и Линь Дайюй[1] — вот это и есть творчество. Потому успех или неудача произведения зависели от изображения людей, а не фактов. Фактов много, они моментально сменяют друг друга, сегодня кажутся важными, а завтра начисто забываются; поэтому один У Сун стоит больше, чем «Деяния судьи Ши»[2] с десятью продолжениями.

Но в наши дни литература испытала на себе неодолимое влияние двух факторов: науки и общественного самосознания. Воздействие науки проявилось в том, что стали требовать не только достоверного и подробного описания фактов, но и соответствия изображения персонажей законам биологии и психологии. Немыслимые красавицы, невероятно талантливые юноши и богатыри сверхъестественной силы должны были постепенно сойти со сцены, а простое воспроизведение душевного мира героев заменил его анализ. Персонажи стали достовернее и сложнее, но творчество понесло урон — ведь анализ еще не есть творчество. А в результа-

[1] У Сун — силач, герой романа «Речные заводи» (XIV в.). Линь Дайюй — хрупкая, поэтичная героиня романа Цао Сюэциня «Сон в Красном тереме» (середина XVIII в.).

[2] «Деяния судьи Ши» (началоXIX в.) — роман неизвестного автора, повествующий о том, как сановник Ши Шилунь раскрывал преступления и карал повстанцев.

те роста общественного самосознания литература стала уделять столько времени выполнению своего социального долга, что ей уже не до создания образов героев; она старается привести как можно больше фактов, чтобы вскрыть темные стороны общества и направить читателей на путь социального прогресса. Общество представляет собой цельный и сложный организм; выделить из него одно явление, показать его значение, предложить методы устранения недостатков — все это, конечно, нелегко, и можно понять писателя, не успевающего заняться своими героями. К тому же ему кажется, что стремления и судьбы отдельных личностей слишком ничтожны в сравнении с социальной революцией. И вот обличительные репортажи стали считать литературой, а стремление создать яркие образы заклеймили как пережиток индивидуализма.

Что же будет дальше? Очевидно, человечество движется по пути ко всеобщему равенству. Героизм подходит к своему концу — в мире будущего героям вряд ли уготовано место. Если так будет продолжаться, неизбежно настанет день, когда никто не будет ни выше, ни ниже других, когда каждый станет отдавать все свои способности ради блага коллектива. Тогда личные стремления утратят свое значение, а конфликты между людьми уступят место противоборству человечества с природой. Если же не останется ни борьбы, ни драматических ситуаций, наверное, исчезнет и искусство: интерес к людям утратится, а информацию о фактах с бо́льшим успехом смогут давать телефон, телеграф, кино и прочие человеческие изобретения, развитие которых нельзя предугадать.

Но если каноны прошлого перестали быть незыблемыми, а будущее не сулит ничего хорошего, что же делать с изображением литературных персонажей? Молча ждать, пока оно окончательно выйдет из моды? Не думаю. Во-первых, до полного исчезновения литературы пройдет еще немало времени, и вряд ли есть резон сейчас же откладывать перо в сторону. Во-вторых, хотя современная литература уделяет фактам больше внимания, нежели людям, тот, кто поступает наоборот, не обязательно окажется в проигрыше. Коль скоро нас продолжают интересовать персонажи Гомера и Шекспира, значит, образы людей воздействуют сильнее, чем описание фактов. Говоря по правде, если бы не образы героев у Гомера и Шекспира, кто стал бы читать повествования о тогдашних диких нравах и о невероятных событиях? В-третьих, сила литературы в конкретности изображения. А можно ли изобразить что-то конкретно, минуя людей? Если литература хочет заниматься фактами, это должны быть очеловеченные факты. Как ни насыщен событиями роман «Возведение в сан божеств», ему не сравниться

с повествованием о добрых молодцах, вынужденных уйти в горы Ляншань [1]. Кроме того, литература через изображение фактов старается воздействовать на нас, направлять нас, но мы — люди, поэтому нас больше всего волнует изображение нам подобных. Взять сцену погребения цветов [2] — взволновала бы она нас, если бы не было Линь Дайюй или если бы вместо нее фигурировала мировая чемпионка по легкой атлетике? Воспевание подвигов и заслуг единичных героев сегодня отдает анахронизмом, но и груды фактов в безлюдной пустыне выглядят не слишком привлекательно.

Но продолжим разговор об изображении персонажей, не боясь повторить уже сказанное другими.

Самое трудное при описании человека — сделать его живым. Конечно, указание профессии, сословия, национальности может помочь воссоздать характер человека, но обилие подробностей часто приводит к противоположному результату — в них могут потеряться подлинно индивидуальные черточки, портрет может получиться статичным. Чтобы изобразить человека, нужно знать о нем все, но не обязательно сразу обо всем рассказывать, как это делают гадатели-физиономисты. Пусть о человеке больше говорят его поступки. Чем больше черточек характера будет передано через действия персонажа, тем более живым, натуральным он будет казаться. Профессия и место жительства героя представляют интерес для читателя, но еще более важны его человеческие качества. Если персонаж выступает лишь представителем чего-то, сила его воздействия будет ограничена. Возьмем, к примеру, книгу русского классика. Разумеется, знакомый с положением в России читатель извлечет из нее больше, чем тот, который не представляет, где эта страна расположена. Но величие такой книги состоит не в том, что она помогает небольшому числу знатоков узнать еще больше о России, а в том, что она дает возможность самому неосведомленному человеку понять, что русские — тоже люди. Или обратимся к библейским преданиям и пьесам Шекспира: в них обычно сообщается мало сведений о героях, но эти персонажи сотни и тысячи лет волнуют все человечество. Для контраста возьмем «Маленькую француженку» Энн Дуглас Сэджуик, в которой описываются различия между женщинами Франции и Англии, вышедшую под псевдонимом Элизабет книгу «Путешественники», в которой сопоставляются немцы и англичане, или «Верную нимфу» Маргарет Кеннеди, где говорится об отличиях

[1] «Возведение в сан божеств» — фантастический роман неизвестного автора конца XVI в. В горах Ляншань находился лагерь повстанцев — героев романа «Речные заводи».

[2] Речь идет о романе «Сон в Красном тереме».

художника от других людей. Все это неплохие, довольно интересные книги, но великими их не назовешь. Коль скоро речь идет о специфике определенной группы людей, общее, групповое начинает диктовать свои законы. Индивидуальные особенности, играющие главную роль в жизни людей, как бы перемещаются на периферию. В результате изображается то, что отделяет одних людей от других, но забываются общие для человечества устремления и идеалы; сообщаются новые сведения, но оставляются без внимания коренные жизненные проблемы В таких описаниях на первый план выступают детали, главное же — то, что помогает людям в их совместной борьбе,— предается забвению. Если авторы подобных книг не очень глубоко понимают своих персонажей, они часто пробавляются картинками общественных нравов, а живая жизнь остается где-то в стороне. В последние годы на Западе появилось много романов, в которых изображены китайцы; девять десятых из них описывают различия между нациями Востока и Запада, но знания авторов поверхностны, и в итоге китайцы выглядят какими-то чудными животными, не очень напоминающими людей Если бы эти писатели искренне старались понять и воссоздать жизнь своих персонажей, они могли бы ошибиться в частностях, но преуспели бы в главном Противоположность этому являют те книги, действие которых происходит вне времени и пространства, чьи авторы пренебрегают изображением пейзажей, нравов и вообще реальной жизни, стремясь лишь к художественной гармонии. Если такая книга создана талантливым мастером, живущим в царстве своих грез, в ней есть своя прелесть. Но от таких произведений нельзя ожидать большой впечатляющей силы. А о безделушках, сочиненных малоталантливыми, но набившими руку авторами, и говорить нечего. В произведениях писателей романтической и эстетской школ отчетливо видно, как проза вторгается в сферу поэзии. Но мы должны ясно понимать: романы в новейшую эпоху одержали верх над поэзией не только потому, что в них можно изобразить все, о чем говорится в стихах. Главное другое: в прозе можно сказать и о том, о чем в стихах нельзя или не принято говорить. Уолтер Рэли говаривал, что крупный прозаик должен быть прежде всего юмористом, а автор романсов — поэтом. Слово «юморист» здесь, по всей видимости, употреблено не в его современном значении, а в смысле «знаток людских нравов и окружающей жизни, умеющий воспроизвести ее на бумаге». Поэтом же Рэли именует одаренного фантазией человека, способного посреди обыденной действительности создать свой романтический, идеальный мирок. Но для нас самое главное в том, что «крупный прозаик» должен уметь воспроизвести окружающую жизнь.

Понятно, что предметом изображения является не только профессия или социальное положение героя, но и его внешность, а для этого требуется наблюдательность и меткость характеристик. Если написать, что у такого-то персонажа подбородок блестел, как пятка, или шея напоминала куриную ногу, эти детали наверняка запомнятся читателю и придадут живость облику героя. Напротив, чрезмерно подробные или приложимые к множеству людей описания — напрасная трата времени. Нельзя описывать все — от шляпы до подметок сапог; следует выделять лишь то, что действительно характеризует данного человека. Обилие подробностей легко превращается в обузу. Читатель ждет, что каждая сообщаемая ему деталь сыграет впоследствии какую-то роль, и разочаровывается, убедившись, что автор стремится лишь к полноте описаний. Совсем не обязательно сразу же давать полный портрет человека; можно сначала нарисовать лишь силует, а потом постепенно добавлять новые черточки, делая облик персонажа все более отчетливым для читающего. Так, люди, прежде чем стать друзьями, постепенно узнают друг друга, находя во взаимном общении все больше удовольствия. И не обязательно каждый раз, вводя новый персонаж, стараться немедленно достичь драматического эффекта. «Раздался грозный крик, и вот стремительно появился полководец, обликом подобный тигру» [1] — подобные фразы, конечно, привлекают внимание аудитории, но в эстетическом плане более оправданно употребление не слишком ярких красок, которые как бы указывают на возможности дальнейшего развития характера человека и изменений в его судьбе.

Характеризуя персонаж через его речь, внешний облик или привычные телодвижения, не надо злоупотреблять этим приемом. У Диккенса второстепенные герои, как правило, имеют какую-нибудь раз навсегда заведенную привычку и набор любимых выражений. Один из множества примеров — Бегнет из «Холодного дома», который то и дело пускает в ход военный лексикон и щеголяет военной выправкой. Но Диккенсу это простительно как юмористу — многократным повторением похожих слов или ситуаций он добивается комического эффекта. Для серьезных целей этот прием не годится. Если персонаж все время повторяет одни и те же обороты речи или движения, читатель вправе усомниться, в своем ли тот уме. Иное дело — стремиться к тому, чтобы в изображаемом человеке все соответствовало его профессии, семейному положению и т. д., но это требует очень глубокого понимания

[1] Словесная формула, часто встречающаяся в старинных китайских романах.

и очень тонкой наблюдательности. Так что не следует рисковать, берясь за изображение не очень знакомых людей.

Есть еще один прием, внешне противоположный только что обсуждавшемуся, но тоже продиктованный стремлением облегчить себе труд: изображая мужчину и женщину, ограничиваться самыми общими фразами, предоставляя читателю угадывать остальные подробности. Чем писать о героине, что она молода, весела и подвижна, со здоровым цветом лица и золотистыми волосами, лучше не писать ничего. Все равно конкретного впечатления читатель не получает.

В рассказах желательно несколькими тщательно выверенными фразами сразу закрепить в читательском восприятии внешний облик персонажа. В романе же можно сначала передать лишь общее впечатление, а затем постепенно уточнять его через воспроизведение телодвижений персонажа. Допустим, представляя два персонажа, вы сказали, что у одного большой рот и толстые губы, а у другого рот небольшой и губы тонкие. Потом вы можете свести их за обеденным столом и описать их рты и губы в процессе поглощения пищи. Этим вы сможете не только оживить в читательской памяти облик персонажей, но показать через действия различие в их характерах. Ведь даже незначительные поступки всегда приоткрывают те или иные черточки характера человека.

Что бы ни изображалось — окружающая обстановка, события, поступки,— в центре внимания всегда должен быть человек. Мало передать содержание беседы двух героев; опишите, как во время разговора они пьют чай, как потеют, если дело происходит летом... Тогда не понадобится отдельного описания погоды, а различия в манере пить чай скажут что-то новое о характерах героев. Это прием сильный, но не производящий впечатления искусственности.

Пожалуй, диалог больше всего помогает раскрыть характеры персонажей. У каждого своя манера говорить, каждый воспроизводит в разговоре свой образ мыслей. Нельзя только вставлять в уста героев длинные речи, какими бы блестящими они ни были сами по себе. Роман — не граммофонная пластинка. Надо сделать так, чтобы слышалась живая речь самих героев. В реальном разговоре ход мыслей человека не может быть таким последовательным и логичным, как в заранее написанной лекции, воспроизводя речи персонажей, мы должны учитывать скрывающиеся за ними внутренние побуждения. Слова персонажа должны соответствовать не только его социальному статусу, но и его настроению в описываемый момент.

Все, о чем мы говорили, направлено на одно — выявление индивидуальности персонажа, индивидуальность же ярче всего ска-

зывается в поступках. Чем говорить, что такой-то персонаж — человек плохой, а такой-то — хороший, лучше дать им возможность действовать. Иначе герою, как говорится, негде будет показать свое умение владеть оружием. Через реакцию персонажа на совершающиеся вокруг события можно показать и его индивидуальность, и то, что роднит его со всем человечеством. В каждом человеке найдется что-нибудь особенное, но есть вещи, которые почти всеми переживаются одинаково. Трагедия равно волнует всех, но одни при этом плачут, другие нет; причем может оказаться, что наиболее глубоко переживает как раз тот, кто не плачет. Плакать или нет — дело индивидуальное, тогда как испытывать волнение — свойство всех людей, за возможным исключением чудаков и глупцов. Но ведь мы не собираемся делать наших персонажей непременно чудаками или глупцами! Впрочем, не нужно также стремиться, чтобы герой во всем соответствовал идеалу — идеальным героям часто недостает нормальных человеческих чувств, а это не украшает произведение. Кто из маломальски образованных молодых людей, в чьих жилах бурлит кровь, не думает о революции, кто хочет плестись в хвосте? Но если молодой человек в романе занят одной только революцией, ни о чем другом не помышляет, никаким слабостям не подвержен, он становится похож на мраморное изваяние. Слов нет, это красиво, да только в нашем мире таких совершенных людей не бывает. Искусство допускает преувеличение, но превращать живого человека в ангела, не оставив ни малейшего намека на то, что и он произошел от обезьяны,— это уже обман.

Итак, прежде всего необходимо воспроизвести индивидуальный характер персонажа, дать ему, так сказать, утвердиться на собственных ногах, а потом показать его сквозь призму общих для всех людей чувств и отношений. Индивидуальное пробуждает интерес к данной личности, общее же рождает сопереживание. В зависимости от своего характера и от ситуации персонажи могут поразному плакать и неодинаково смеяться, но важно, чтобы они плакали и смеялись, как люди. Это в баснях Чжан или Ван выступают олицетворениями абстрактных понятий, в романе же они должны быть живыми людьми. В конце концов, человек — не марионетка, которой манипулируют другие, у него есть и свои мысли, и свои чувства.

14. Язык и стиль

В повествовательной прозе — рассказах и романах — следует добиваться прежде всего естественности. Использование поэтических украшений в прозе редко приводит к хорошим резуль-

татам. Дело в том, что поэтическая идея и поэтический язык в равной степени создаются автором, тогда как главная задача прозы — точно передать мысль, пользуясь готовыми языковыми ресурсами. В поэзии неожиданное словоупотребление, которое подчас трудно обосновать с точки зрения логики, может придать стиху таинственную прелесть. В прозе этого делать нельзя, да и нет нужды. Конечно, если нам очень захочется, мы можем каждый эпизод романа переделать в стихотворение в прозе. Но красота стиля — не единственная забота прозаика, в погоне за ней он может упустить главное. Исходя из этих предпосылок, перейдем к некоторым конкретным вопросам.

1. *Словоупотребление.* Флобер утверждал, что каждое слово имеет лишь одно полностью соответствующее ему определение. Этим подчеркивается, во-первых, необходимость большой осторожности при выборе слов, во-вторых, невозможность заниматься в прозе словотворчеством, как в поэзии; следует подбирать самые естественные, самые подходящие слова из существующего лексикона. Мы можем сказать, что в прозе точность словоупотребления важнее остроумия, а живость языка важнее, чем точность. Язык не может не быть живым, если мы хотим, чтобы проза передавала звуки и краски. Украшать прозу поэтическими побрякушками — значит демонстрировать узость и негибкость своего мышления. Как говорил Монтень, «стремление выделиться особенным, необычным покроем одежды свидетельствует о мелочности характера; то же самое относится и к языку, если кто-то из педантизма или ребячества займется поисками новых и причудливых слов». Действительно, молодой человек в древнем одеянии выглядел бы нелепо. Нам стоило бы прислушаться к совету Флобера и не жалеть усилий для поиска подходящих слов, причем искать их нужно, как учил Монтень, в уже существующем живом языке. Он достаточно многообразен и изменчив, чтобы можно было писать живо и легко.

2. *Сравнения.* Д-р Джонсон с восхищением говорил о Свифте, что «этот парень никогда не употребит лишнего сравнения». В прозе важна отчетливость и энергичность изложения, а обилие «подобно тому, как» мешает этому. Сравнения очень важны в поэзии, в прозе же их излишек лишь вредит силе и естественности изложения. Вспомним, как описана Линь Дайюй в «Сне в Красном тереме»: «Два изгиба вроде бы нахмуренных, как бы окутанных дымкой бровей, пара вроде бы радостных, таящих в себе чувство глаз. Печаль застыла в ямочках на щеках, в нежном облике чувствуется болезненность. Блестят на свету капли слез, еле заметно нежное дыхание. Когда покоится — словно грациозный цветок смотрится в воду, когда движется — словно молодую

иву колеблет ветер». В этом описании есть два недостатка. Во-первых, использование поэтического языка ослабляет силу изображения — при чтении ощущается поэтичность, но конкретного впечатления читатель так и не получает. «Капли слез, блестящие на свету» и «смотрящийся в воду грациозный цветок» хороши в стихах, где мгновенная зарисовка может заменить длинное описание: достаточно сказать о блестящих каплях слез, чтобы передать самое главное в образе девушки. От прозы же мы ждем достоверного изображения, а его нельзя достичь иначе, чем через описание различных сторон характера в различных ситуациях. Разве у Линь Дайюй всегда слезы на глазах? Разве она никогда не бывает сердитой или капризной? Во-вторых, здесь использованы сплошь готовые обороты, писатель не стал искать в живом языке слов, способных изобразить именно Линь Дайюй. Слова Флобера о «единственном определении» можно дополнить: если не нашел этого определения, лучше не употреблять никакого. Это в еще большей мере относится к сравнениям. Точное сравнение производит неотразимое впечатление, неточное же выглядит ненужным довеском. Так зачем же понапрасну тратить силы и время?

С точки зрения производимого эффекта сравнения можно разделить на раскрывающие и украшающие. Прозе больше подобают первые. Поясним эту мысль конкретным примером. У большого мастера раскрывающих сравнений Чжуанцзы[1] мы находим рассказ о том, как повар разделывает тушу быка. Рассказ вроде бы очень конкретный, но он призван пояснить отвлеченную философскую мысль. Уподобляя разделку туши проникновению в тонкости философии, Чжуанцзы достигает желаемого результата. В длинных речах нет нужды, когда мысль можно пояснить конкретным фактом или действием. Что же касается украшающих сравнений, то их по возможности лучше избегать. Поэтические украшения не могут придать прозе поэтичности. Ведь к сравнениям прибегают по нужде — в тех случаях, когда прямые описания оказываются недостаточными (...).

3. *Фраза.* Короткие фразы хорошо передают быстрое чередование поступков, длинные более подходят для изображения устойчивых душевных состояний. Самые короткие, из одного-двух слов, фразы помогают создать значительный драматический эффект. Правда, одна фраза не всегда способна передать законченную мысль, но в любом случае ее конструкция должна быть рассчитана на то, чтобы произвести определенное впечатление, иначе фра-

[1] Чжуанцзы (Чжуан Чжоу, IV в. до н. э.) — философ, один из виднейших представителей даосской школы.

за не может считаться удачной. Важен также ритмический рисунок отдельных фраз, влияющий на ритм целых пассажей. Каждая фраза должна иметь самостоятельную ценность, но, когда пассаж завершен, в зависимости от требований ритмики отдельные фразы могут быть укорочены или удлинены. Насыщенный действиями эпизод лучше изображать через последовательность коротких фраз, каждая из которых воспроизводит одно действие. Вот, к примеру, отрывок из «Речных заводей» под названием «Кровь обагрила Павильон любящих супругов»:

«У Сун сказал: «Раз уж начал, так надо довести дело до конца. Убью хоть сотню, все равно казнят один раз!» С кинжалом в руках он сбежал вниз по лестнице. «Что там за шум наверху?» — спросила супруга командующего. Но У Сун уже ворвался в ее комнату. Увидев здоровенного детину, госпожа воскликнула: «Кто это?» Кинжал У Суна уже был занесен над ней, последовал удар прямо в лицо, женщина повалилась, испуская крики. У Сун придавил ее и хотел отрезать голову, но кинжал не слушался его. У Сун удивился и при свете луны осмотрел кинжал. Оказалось, что он сломан. «Так вот почему я не мог отрезать ей голову!» — сказал У Сун. Он отправился на кухню и взял тесак, отбросив сломанный кинжал. Затем он снова вернулся вниз...»

В этом эпизоде так много действий, отделенных друг от друга короткими промежутками времени, что длинные фразы никак не смогли бы передать быстроту развития событий. По контрасту нетрудно представить себе, какой эффект производят длинные фразы. Их конструкция, как и выбор слов, не имеет самодовлеющей ценности, а определяется исключительно характером изложения в каждом отдельном эпизоде. В большинстве случаев есть смысл чередовать длинные и короткие фразы — это разнообразит ритм и дает отдых читателю. Не вызванное необходимостью пристрастие к коротким фразам производит впечатление торопливости. Длинные фразы всегда требуют от читателя дополнительных усилий и создают монотонность.

Поскольку в китайском языке отсутствуют относительные местоимения, очень трудно конструировать уравновешенные, приятно звучащие сложные предложения. Если же заменять придаточные предложения развернутыми определениями, фразы могут получиться такими громоздкими, что читателю будет трудно добраться до конца. В переводах порой приходится идти по такому пути, но в оригинальных произведениях следует максимально использовать возможности родного языка, не прибегая к неестественно звучащим оборотам, взятым из иностранных грамматик. Естественность должна быть на первом месте, а тут фразу до кон-

ца не дочитаешь. Для достижения естественности важно, во-первых, раскрывать красоту языка, избегая ненужных новаций, а во-вторых, избегать ненужной болтовни и украшений.

Написав несколько фраз, очень полезно прочесть их вслух.

4. *Абзац.* Абзац — это как бы увеличенная фраза. В прозе часто случается, что какую-то мысль можно полностью выразить лишь в семи-восьми фразах. Значит, деление текста на абзацы должно помочь выявить ход мысли автора и последовательность изложения. Если бы мысль могла обрести зримую форму, ею был бы абзац. Четкое, рациональное выделение абзацев весьма помогает прояснению мысли.

В романе или рассказе выделять абзацы нетрудно — ведь изображаются события и поступки, а у них всегда есть начало и конец. Трудность состоит в том, чтобы ритм каждого абзаца помогал воспроизведению событий и поступков, чтобы подбор и расстановка слов соответствовали смыслу изображаемого, как музыкальное сопровождение в звуковом кино. Если о важном событии повествуется в легкомысленном тоне — это провал. Подобно музыке, ритм прозы должен в каждом отдельном случае рождать соответствующее настроение.

5. *Диалог.* Диалоги в художественной прозе должны выглядеть особенно естественно. В описаниях пейзажей или персонажей еще можно иной раз употребить редкое слово или нарочито усложнить фразу, диалогу же это противопоказано. В нем должны употребляться самые обычные, взятые из бытовой речи слова, но их следует подобрать так, чтобы создавалось впечатление живости и силы. Если автор хорошо знает своих персонажей, они всегда будут говорить то, что уместно при данных обстоятельствах, и так, как это им присуще... Диалог — не запись речей, а связующее звено между сценами романа. Он должен выполнять не только служебные, но и эстетические задачи, должен помогать правдиво воспроизвести тот или иной тип, ту или иную индивидуальность.

В принципе диалоги должны быть короткими. Бесконечные словоизлияния только снижают драматичность изложений. Но если никак не обойтись без длинной речи, ее восприятие можно облегчить сменой интонаций, изображением реакции слушающих. Без этого читателю покажется, что он внимает граммофону, а не присутствует при беседе живых людей. Живости диалога помогает также, когда говорящий не отвечает прямо на заданный ему вопрос: в реальной жизни люди часто заняты своими мыслями, спешат поделиться собственными заботами или теряют нить разговора из-за внезапно нахлынувших чувств. Одним словом, диалог должен быть естественным и эмоциональным, а не состо-

ять лишь из вопросов и ответов, как в «цивилизованном театре»[1].

Писатель, владеющий искусством диалога, может в ходе разговоров сообщить читателям нужные сведения, не тратя время на их подробное изложение. Этим достигается разнообразие приемов. Если А дал Б какое-то поручение, не обязательно показывать, как Б выполнял его — достаточно устного доклада об исполнении. Рассказ о событии может придать ему добавочные краски и сократит количество описаний. Да и диалог станет более насыщенным и содержательным.

6. *Стиль.* Не будем стараться дать определение стиля или изложить общие требования, предъявляемые к стилю художественной прозы. Остановимся лишь на некоторых моментах.

1) О чем бы ни шла речь, в ней должна чувствоваться искренность, а не желание блеснуть образованностью. Цитаты и ученость обычно лишь утяжеляют текст.

2) Косноязычие — смертельный грех, сила изложения заключена в ясности и простоте. Пристрастие к малопонятным фразам имел Мередит; хотя его талант позволял ему как-то компенсировать этот недостаток, подражать ему не стоит.

3) Стиль не есть простое нагромождение слов и фраз, в его основе лежит музыка души. Шопенгауэр называл определения «врагами существительных». И действительно, обилие прилизительных определений или редкоупотребляемых слов не есть признак хорошего стиля; каждое отобранное слово должно пройти через сердце автора.

4) У писателя есть свой собственный стиль или нет никакого. Пытаться подражать чужому стилю бесполезно. В стиле проявляется не столько специфическая манера письма, сколько сила мысли. Лишь четкость мышления может породить отчетливость письма Можно научиться подбирать слова и строить фразы, но, если в основе произведения не лежит мысль, оно не может удаться. Если все тщательно обдумано и ясно изложено, произведение остается жить, пусть не достало таланта выработать свой особый стиль. Когда же нет ясности — нет ничего.

---

[1] «Цивилизованный театр» — появившаяся в 10-е годы XX в разновидность представлении, в которых безуспешно пытались соединить особенности традиционного китайского театра и европейского.

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Федоренко. Лао Шэ и его творчество 5

Рикша. *Перевод Е. Молчановой* 17

Записки о Кошачьем городе. *Перевод В. Семанова* 183

Под пурпурными стягами. *Перевод Д. Воскресенского* 297

РАССКАЗЫ

Серп Луны. *Перевод А. Тишкова* 437

У храма Великой Скорби. *Перевод А. Ткаченко* 461

Разящее копье. *Перевод А. Файнгара* 476

ЭССЕ

Старый вол, разбитая повозка. Главы из книги. *Перевод В. Сорокина* 483

ЛАО ШЭ

Избранное

Составитель
Алексей Александрович Файнгар

ИБ № 662

Художник *В. А. Клавсуц*
Художественный редактор *А. П. Купцов*
Технический редактор *Е. Ф. Кольцова*
Корректоры *Н. Е. Ужтупене, Н. И. Шарганова*

Сдано в набор 16.09.80. Подписано в печать 22.06.82. Формат 60×84/16. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Условн. печ. л. 29,76. Уч.-изд. л. 32,19. Тираж 100 000 экз. Заказ № 229 Цена 3 р. 60 к. Изд. № 189

Издательство «Прогресс»
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, 119021, Зубовский бульвар. 17

Отпечатано в Ленинградской типографии № 2 головном предприятии ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29, с матриц ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28